



**Владимир
Салимон**

Очень мне обидно
за всех нас,
тихо доживающих
свой век,
для кого не за горами
смертный час -
белый, все равно
как первый снег.



**Николай
Верещагин**

На пороге стояла
особа лет двадцати.
Мертвенно-
фиолетовая помада на
губах и голубые тени
придавали ей какой-то
болезненный и
одновременно
вульгарный вид. Он
слышал, что в этой
гостинице можно
«снять» девочку на
ночь, но чтобы сами в
номер стучали, не
ожидал.

**ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В НОМЕРЕ:**

Спик
Ларисы Миллер

Статьи и очерки
Марка Копелева,
Ольги Масловой,
Владимира Можегова,
Ильи Переседова,
Ольги Седаковой

А также
«Дневник редактора»
Игоря Виноградова,
выпуск 4-й
и наши постоянные
разделы
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА»
и
СВИДЕТЕЛЬСТВА
МЕДЖУТОРЬЯ

**Сергей
Арцибашев**



Я с детства
думал, что
буду либо
учителем, либо
тренером, либо
актером. А
потом понял,
что все это есть
в режиссуре –
и учитель,
и тренер,
и актер.



**Александр
Морозов**

Претензия религиозного сознания пол-
ностью пронизать собой сферу политичес-
кого и общественного – неосуществима.
Светское и религиозное будут сосущест-
вовать до конца истории – иногда в
конфликте, иногда автономно, а иногда в
плодотворном сотрудничестве.

**Татьяна
Кутковец**



Уничтожать демокра-
тическую практику
во имя будущего
торжества демокра-
тии, защищать
народовластие от
народа – это почти
то же самое, что
бороться с
безграмотностью
посредством ликвида-
ции школ и учителей.

**Игорь
Клямкин**





Сердечно поздравляем

нашего постоянного автора, литературного критика

Валерию ПУСЛОВУЮ,

ставшую лауреатом

литературной премии «Дебют»

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*

Выходит 4 раза в год

131

2007, № 1
январь — март

ПАРИЖ · МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

*Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ*

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И.И. Виноградов

Издатель:

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА “КОНТИНЕНТ”»**

Адреса редакции: ул. Мясницкая, д. 22, офис 114-115
ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

ВНИМАНИЕ! Рукописи принимаются по адресу:
119121, Москва, ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

E-mail: idugina@mail.ru

Телефон редакции:
(495) 248-62-35

Internet: www.magazines.russ.ru/continent/

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

Материалы, присланные по электронной почте, не рассматриваются

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала “Континент”»
© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Марина АДАМОВИЧ
Василий АКСЕНОВ
Юрий АФАНАСЬЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Николай ЗЛОБИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН

Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Адам МИХНИК
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Валерий СОЙФЕР
Виктор СПАРРЕ
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Редакция:

Галина ВЕЛИКОВСКАЯ, Ирина ДУГИНА, Евгений ЕРМОЛИН,
Марина КОПЫЛОВА, Александр КЫРЛЕЖЕВ,
Сергей ЛЕБЕДЕВ, Светлана ОПАРИНА

Представители «Континента»

АВСТРИЯ

Елена ВОРОНЦОВА
Buchengasse 133/2/32
1100, WIEN, OSTERREICH
☎/fax 0043-1-607-30-23

БОЛГАРИЯ

Наталья ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ

Лев УКЕЛЬСОН
Wertachstraße 11,
86153 AUGSBURG, BRD
☎/fax (821) 41-77-08

ИЗРАИЛЬ

Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

КАНАДА

Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША

Татьяна ХОХЛОВА
U1 Belwederska 25, Rosyiski osrodek
nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

США

Марина АДАМОВИЧ
315 Oak Street
Garwood NJ 07027
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ

Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalign, 75116 PARIS,
FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА
62-bis, Avenue du general Leclerc
78230 LE PECQ, FRANCE
☎ (1) 30-61-11-24

ШВЕЙЦАРИЯ

Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА
15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ

Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «КОНТИНЕНТА»

Лариса МИЛЛЕР

Земное дитя, неразумное чадо... *Стихи* 9

Николай ВЕРЕЩАГИН

Свеча горела. *Роман* 14

Владимир САЛИМОН

С некоторых пор... *Стихи* 138

РОССИЯ И МИР

Игорь КЛЯМКИН, Татьяна КУТКОВЕЦ

Кремлевская школа политологии 144

У книжной полки

Игорь КЛЯМКИН

Против течения 176

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

Комментарий к событиям российской жизни
/ноябрь — декабрь 2006 г./ 190

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Проблемы российской современности
в русской сетевой и бумажной периодике
четвертого квартала 2006 г. 219

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Марк КОПЕЛЕВ

Письма с того света 259

РЕЛИГИЯ

Александр МОРОЗОВ

Наступила ли постсекулярная эпоха? 314

В сетевом пространстве...

Илья ПЕРЕСЕДОВ

Прибежище барсуков 321

Свидетельства Междугорья

От редакции 327

Ирина ДУГИНА

Оазис любви 329

Основные события церковной жизни

в зеркале прессы (*декабрь 2006 — февраль 2007*) 350

ГНОЗИС

Ольга СЕДАКОВА

«Лучший университет» 356

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Философская, социологическая и политологическая мысль

в русской периодике 2006 г. 361

ПРОЧТЕНИЕ

Владимир МОЖЕГОВ

Август: последняя песня птички 372

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Ольга МАСЛОВА

Современный человек: внутренняя одиссея, или

крестовый поход на восток 393

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Художественная литература и критика

в русской периодике 2006 г. 406

ИСКУССТВО

Беседы в редакции

Сергей АРЦИБАШЕВ

Для меня театр — это храм... 457

Игорь ВИНОГРАДОВ

ДНЕВНИК РЕДАКТОРА

Выпуск четвертый. Январь—март 2007 г.

Еще о Солженицыне, «национальной идее»

и «особом» русском пути 484

Лариса МИЛЛЕР

ЗЕМНОЕ ДИТЯ, НЕРАЗУМНОЕ ЧАДО...

* * *

Дитя лежит в своей коляске.
Ему не вырасти без ласки,
Без млечной тоненькой струи.
О Господи, дела твои.

Тугое новенькое тельце
Младенца, странника, пришельца,
Который смотрит в облака,
На землю не ступив пока.

* * *

А если прокрутить назад
Всю эту пленку — будет сад,
В котором вишни созревают,
И гнезда ласточки свивают,
И яблони до самых крыш,
И спит в коляске наш малыш,
И я в купальнике открытом
Тружусь, склонившись над корытом,
И пена мыльная густа,
А ты малину ешь с куста,
И мы еще почти в начале
Дороги нашей. И печали
Светлы, как говорил поэт.
Куда ни глянь, повсюду свет,
И я живу, себя не муча
Сознанием, что жизнь летуча.

**Лариса
МИЛЛЕР**

— родилась в Москве. Окончила Государственный институт иностранных языков. Автор книг «Безымянный день», «Земля и дом», «Стихи и проза», «Стихи о стихах», «Сплошные праздники», «Заметки, записи, штрихи», «Между облаком и ямой», «Мотив. К себе от себя», «Где хорошо? Повсюду и нигде» и др. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

* * *

Рожденного под небесами
Снабди земными адресами.
Пусть он не будет одинок.
Ты стольким, Господи, помог.
Пусть он в объятьях спит ночами,
Пусть упивается речами
Нежнейшими. Пусть будет он
Доверчивым, как детский сон,
Пока Ты не поставишь точку,
Заставив гибнуть в одиночку.

* * *

Все было — и кровь и расстрельные списки,
Баланда тюремная в прогнutoй миске,
И пытки, и дым смертоносных печей,
Но снова ты млеешь от нежных речей,
Земное дитя, неразумное чадо.
И снова ты солнышку вешнему радо,
И снова ты греешься в вешних лучах
И бродишь в лесу при осенних свечах.

* * *

Тихо живу. Никуда не спешу
И над тобой, мой родной, не дышу.
Только бы все это длилось и длилось.
Целую жизнь бы об этом молилась.
Рядом с тобой мне светло и тепло.
Только бы время неспешно текло.
Только бы слышать, как ходишь и дышишь.
Только бы знать, что и ты меня слышишь.

* * *

Он умер вечером, а днем
Писал с натуры анемоны:
Цветы и стебли, и бутоны,
И вазу, что горит огнем,
Такого красного стекла,
Что даже глазу было больно.
И жизнь текла легко и вольно
И незаметно истекла.

* * *

А небо... Небо так бело,
Как голубиное крыло.
Неспешно я живу с любимым
Под этим небом голубиным,
Которому предела нет,
Которое дарует свет,
Чтоб, не сходя с земного круга,
Мы вечно видели друг друга.

* * *

Я с миром в переписке состою.
Ей-богу, ничего не утаю.
Он то чужой мне, то родной и близкий.
Я с миром в постоянной переписке
И отвечать ему не устаю.

То перышком, то веткой, то звездой
Мне женщине давно немолодой
Он почему-то пишет регулярно.
Ему я отвечаю рифмой парной.
Его молчанье стало бы бедой.

Он пишет на земле и на весу.
Я все, что им начертано, спасу.
Я разберу каракули любые.
Очки надену на глаза слепые,
Письмо поближе к свету поднесу.

* * *

Жить в краю этом хмуром, в Евразии сумрачной трудно.
Все же есть здесь и радости. И у меня их немало.
Например, здесь рябина пылала по осени чудно.
Например, я тебя, мой родной, по утру обнимала.
Сыновей напоила я чаем со сдобным печеньем.
А когда уходили махала им вслед из окошка.
Нынче день отличался каким-то особым свеченьем.
Разве есть на земле неприметная мелкая сошка?
Что ни особь, то чудо и дар, и судьба, и явленье.
Разве может такое простой домовиной кончатся?
После жизни земной обязательно ждет нас продленье,
Да и здесь на земле неземное способно случаться.

* * *

Играет старик в переходе
На старенькой флейте своей.
О том, чего нету в природе,
Осипший поет соловей.

О счастье, которого нету,
Покое, что вечно в цене,
Играет старик за монету,
Прижавшись к холодной стене.

Поет его флейта о чуде.
Слезятся глаза старика,
А мимо торопятся люди —
Глухая людская река.

* * *

Так летим — обмирает душа.
А по мне бы — с ленцой, не спеша
В середине текущей недели
Просто так, без особенной цели
Книгу толстую с полки достать,
С тихим шелестом перелистать
И прочесть: «В доме лампа горела.
Дождь по крыше стучал. Вечерело».

* * *

А утром, когда я открыла глаза,
Текла по стеклу дождевая слеза.
Ночь кончилась. День начинается снова.
Что делать? Я к жизни совсем не готова.
Совсем не готова смешаться с толпой.
Просить свою пайку у жизни скупой.
Куда-то спешить, говорить, улыбаться,
На чем-то настаивать и колебаться.
Глаза закрываю и время тяну.
О Господи Боже, продли тишину,
Продли этот миг заревой и дремотный,
И дождь, шелестящий за шторой неплотной.

* * *

Придумали себе рубеж.
А хорошо б остаться меж
Минувшим годом и грядущим
И жить во времени текущем,
Где этот свет и этот мрак
Не обозначены никак,
Где нет ни имени, ни даты.
И если крикнут мне: «Куда ты?»
Скажу: «Спешу я к той заре,
Которой нет в календаре».

Читая мемуары Марка Талова¹

1.

Наверно, хорошо скитаться,
Случайной корочкой питаться,
С друзьями пить аперитив,
Когда ты молод и ретив,
Когда, ночуя без копейки
В парижском парке на скамейке,
Бездомный, нищий, молодой
Ты спишь под яркою звездой.

2.

Модильяни

Художник, пьяница, драчун,
Ты гениален, беден, юн.
Живешь, буяня, дебоширя
И если что-то любишь в мире,
То это краски и мольберт.
Мир, как маршан, жестокосерд.
Пойди, сложи свои полотна
У райских врат, закрытых плотно —
Едва ли ты получишь мзду.
И все же верь в свою звезду.
Едва отдашь ты душу Богу,
Твоя звезда найдет дорогу.

¹ *Марк Талов. Воспоминания, стихи, переводы. М. — Париж, «Альбатрос», 2006.*

СВЕЧА ГОРЕЛА

Роман

Мы в книге рока на одной строке.

В. Шекспир

1

Плотная серая пелена, затянувшая небо с утра, так и держалась до самого вечера. Без облаков, без солнца, без синевы небо казалось пустым, отсутствующим. Лишь дымные шлейфы на заводских окраинах пятнали его безликую пустоту.

Сквозь пыльное окно на девятом этаже гостиницы город был виден далеко и подробно, но без теней, без красок и полутонов, точно макет, увеличенный до размеров натуры. Декабрь, но снега в этих краях еще не было — лишь серый иней на проводах да крошево льда на месте вымерзших луж; окаменевшая грязь тротуаров хранила следы осенней распутицы. Холодный ветер тащил по асфальту хвосты серой пыли, остатки черной, давно опавшей листвы. При сильных порывах дребезжало оконное стекло в номере, тугой, порывистый шум ветровой переходил в завывание.

Все эти дни на улице у Дорохова слезились глаза: какие-то соринки, залетая под веки, вызвали острую боль и жжение. Стоило избавиться от одной, как тут же заносило другую, и опять приходилось моргать и морщиться, промокая глаза платком — точно плакал с утра и до вечера. И прежде несло пыль и копоть с заводов, но такого все-таки не было. За двадцать лет отвык он от уральского дыма, дышалось ему здесь нелегко.

Из газет он знал, что город наращивал свою индустриальную мощь — теперь это видно было воочию. К старым добавилось на окраинах много новых заводов: их мощные трубы с клубами дыма стояли на горизонте, как сплошной частокол. Однообразные улицы и жилые районы ничем не выделялись в городской панораме, и только множество труб с разноцветными шлейфами дыма придавали городу впечатляющий вид. Клубами желтого и голубого выделялся район «Химмаша»; широкой белой полосой выстилал горизонт цементно-шиферный; сплошной сизый смог стоял над «Коксохимом». Правее наклонным строем тяну-

**Николай
ВЕРЕШАГИН**

— родился в 1944 г. на Урале. Закончил сценарный факультет ВГИКа, но дебютировал еще в студенческие годы как прозаик. Автор десяти книг, выходивших в издательствах «Современник», «Советский писатель» и «Молодая гвардия». В последние 15 лет ничего как прозаик не издавал. «Свеча горела» — первая публикация прозы после долгого перерыва. Живет в Москве.

лись рыжие «лисы хвосты» с мартенов; а доменный и прокатный цеха металлургического комбината застилали небо целым каскадом разномастных дымов. Гигантским призрачным лесом вставали их клубящиеся столбы над городом, косматыми кронами расплывались над ним.

Здесь, в центре, мало что изменилось, но город все равно казался незнакомым, чужим. Особенно сейчас, без зелени, оживлявшей его летом, но и без снега — точно какой-то окаменевший скелет. Красавицы сосны и густые таежные лиственницы, которые прежде так нравились Дорохову на здешних бульварах, теперь большей частью высохли; на месте многих зияли пустоты, торчали коротенькие обрубки-пеньки. И глядя из гостиничного окна на знакомые улицы и бульвары, он испытывал странное чувство: словно не сам бродил по ним в юности, а кто-то другой жил здесь вместо него. Затуманенный смогом город и сам он, оказавшийся здесь ненадолго, встретившись, не узнали друг друга — точно и не были знакомы никогда.

Гостиница была новая и считалась лучшей в городе. Здесь гордились своим редким для провинции сервисом и охотно напоминали о нем. Как извещал глянцевого проспекта на столе, к услугам проживающих имелись касса «Аэрофлота», парикмахерский салон, ресторан, буфеты на шестом и девятом этажах, почтовое отделение и пункт Госбанка по обмену валюты. В магазине «Березка» при гостинице тут предлагались меха, ювелирные изделия, оригинальные сувениры из уральских камней, а также водка, крабы, икра и другие традиционные предметы русского экспорта.

Что касается валюты, ее у Дорохова вообще не водилось, а относительно ресторана еще следовало подумать. На банкет, который устраивали коллеги по случаю окончания симпозиума, идти не хотелось — гораздо охотнее остался бы в номере за правкой почти законченной уже статьи. Но *ex professo*¹ он должен быть там, и заглянуть хотя бы на полчасика придется.

Согласившись в конце концов на участие в этом симпозиуме, он настроился на полезную работу, научные контакты, а все вылилось в показуху, пустопорожную суету. Лучшие специалисты не приехали, интересных докладов почти не было, зато нудных самоотчетов и мероприятий для галочки хоть пруд пруди. Пустые официальные приемы в начальственных кабинетах, бесполезные экскурсии, отнимающие массу времени, дежурные обходы в клиниках, рассчитанные на чью-то наивность и слепоту. В палатах спешно наводили марафет, больные все в новеньких пижамах, но хватало беглого взгляда, чтобы заметить отсталость и рутину, на которую давно уже махнули рукой. Устаревшая аппаратура, убогий инструментарий, методики, не обновлявшиеся много лет — стоило ради этого лететь за две тысячи верст?..

Но большинство коллег, приехавших на симпозиум, остались вполне довольны. Для них это был род отпуска, туристическая поездка, приятная смена обстановки на несколько дней. Женский контингент устра-

¹ Положение обязывает (лат.).

ивал «культпоходы» на толкучку, обсуждая и примеривая тряпки, которые по дешевке удавалось закупить; мужской предпочитал пивбар и вечерние трансляции хоккейных матчей. В качестве культурной программы предлагались билеты в местный театр оперетты на «Фиалку Монмартра» и «Веселую вдову». Никто, кроме Дорохова, не скучал, а ему оставалось только пенять на себя — кой черт понес его на эту галерею, ведь все заранее предвидеть мог.

Душ в номере был хороший, с новыми, еще не проржавевшими кранами, с сильным напором горячей и холодной воды. Меняя воду от ледяной до горячей и опять к ледяной, он резко взбодрил себя этим и, с удовольствием чувствуя острое покалывание под кожей, хорошенько растерся от затылка до пят.

Душ и растирание сделали свое дело — упавшее было настроение поднялось. И с уверенным чувством точно найденного ответа он решил, что на банкет в ресторан не пойдет, а попрощается с коллегами завтра перед отъездом, отговорившись тем, что неважно чувствовал себя. Бутылка кефира на ужин, покой, тишина, статья, уже написанная, но требующая небольшой редакции, и парочка шахматных задач перед сном — вот и все, что нужно ему на сегодняшний вечер. А завтра на самолет — и домой.

Отоспался ли здесь, отдохнул ли в безделье, но выглядел он, причесываясь перед зеркалом, лет на десять моложе своих сорока двух. А кроссовки и ладный спортивный костюм делали похожим на тренера какой-то молодежной команды, вчерашнего игрока, не растерявшего еще свою спортивную статью. Так и надо — распускаться он позволить себе не мог. Вот только бы взгляд еще чуть веселее, и о болезни, с которой он жил двадцать лет, можно было бы хоть на время забыть.

Да, распускаться он позволить себе не мог — это бы слишком дорого ему обошлось. Уже многие годы распорядок дня его был прост и строг, как монашеский. Ранний подъем, гимнастика, ледяной душ, салат из сырых овощей и овсянка на завтрак. Весь день работа в клинике, операции, консультации, а вечером опять работа, но уже дома за наглухо зашторенными окнами, за старым, привычным письменным столом. Лет десять, как бросил курить, давно не брал в рот спиртного, кофе и чая дома не держал. Среди коллег, у которых здоровый образ жизни совсем не в чести, он слыл сухарем, педантом, но к этому привыкли давно, и сложностей не возникало. Втянулся и так день за днем исполнял свой суровый устав, без поблажек, не делая никаких исключений.

Было время, он пережил сильнейший кризис, поставивший его на грань самоубийства, и должен был считаться с этим всю жизнь. Ипохондрия, неврастения, депрессивный синдром — как это ни называй, а душевная болезнь, принявшая форму неодолимого патологического отвращения к миру, зашла в тот момент далеко. Как врач он ясно сознавал это — диагноз мог поставить себе и сам.

Еще в юности у него развилось то, что называется гиперестезией — болезненная чувствительность ко всяким раздражителям, ко всякого рода

язвам и несовершенствам бытия, болезненно острая реакция на них. Буквально всюду, куда ни глянь, он видел, как несправедливо и уродливо устроена жизнь, как много в ней страданий, убожества, нищеты. Все то фальшивое, безобразное, нездоровое, что для других заслонено толстокожестью или привычкой, ему, встречаясь на каждом шагу, терзало мозг, травило душу, кололо глаза. Бывали особенно черные дни, когда отвращение к жизни делалось тотальным, всепроникающим, абсолютным. Непереносимо было все: улицы, по которым ходил, люди, которых встречал, вода, которую пил, еда, которую ел, — все казалось отравленным, тошнотворно-нечистым. Неделями куска не мог проглотить без отвращения, без позывов на рвоту. А череда ничтожных каждодневных забот и сует, вся эта «жизни мышья беготня», своей рутинной доводила до бешенства. Требовалось усилие, чтобы заставить себя жить, но жизнь не стоила этих усилий.

Самые тщательные обследования, которые он проходил в своем же институте, ни со стороны внутренних органов, ни со стороны головного мозга никакой патологии не выявили, да и не могли выявить, поскольку это был не эндогенный, вызванный внутренними причинами, а экзогенный, вызванный внешними обстоятельствами, психоз. Но ему от этого не было легче, ибо депрессия, мигрень и бессонница никогда не давали о себе забыть. Глядя на себя в зеркало, все чаще замечал угрюмое выражение лица, скорбные складки в уголках рта, взгляд был тусклый, безрадостный. Нередко заставлял себя в тоскливо-согбенной позе, которая не менялась часами. Понимал, что сделался психопатом, что может сойти на этой почве с ума, но не хотел, не видел смысла лечиться. Психиатров не признавал за врачей, считал шарлатанами — с ними недолго и в психушку загнать.

Да и в нем ли причина, и какой смысл лечиться, если сама окружающая действительность больна? Достаточно было раскрыть любую газету, чтобы в этом убедиться — и газет он давно не читал, радио не слушал, к телевизору близко не подходил.

В таком состоянии обычно спиваются, но алкоголь даже временно ему не помогал. В хорошем настроении не прочь был выпить рюмку-другую, но если усиливалась хандра, без отвращения думать о выпивке не мог. Алкогольная интоксикация лишь ухудшала душевное состояние — попробовав напиться несколько раз, он вплотную приблизился к суициду. Оставались психотропные средства и наркотики. Транквилизаторы перепробовал все, но наркотиков остерегался. Знал, что скажется на работе — и тогда уж точно конец.

Работа — единственное, что помогало, что не давало сойти с ума. Среди столичных нейрохирургов у него был высокий рейтинг, и многие стремились оперироваться у него. Суховатый, замкнутый во всякое другое время, в операционной он становился иным — живым, раскованным, даже анекдоты рассказывал, шутил. Он любил операционную с ее светлыми стенами, с обилием света и воздуха, сверкающими никелем инструментами и приборами, с этой физи-

чески необходимой ему стерильной ясностью и чистотой. Только здесь дышалось легко и свободно, только тут находил он душевный покой. Здесь все было на месте, здесь все с полуслова понимали друг друга — тут, в ясном свете бестеневой лампы, не было места ни демагогии, ни лжи. Ассистировали ему всегда охотно, коллеги часто приходили посоветоваться, посмотреть, и этот простой рабочий контакт, избавлявший на время от тоски, одиночества, был ему как воздух необходим. Работа лечила и примиряла с жизнью — работа была для него все.

В болезни, в какой-нибудь опухоли, которую приходилось оперировать, он видел проявление все той же мерзости, все той же порчи, что поражала и уродовала повсюду жизнь. Но тут уж и он не чувствовал себя безоружным, здесь и в его арсенале имелось кое-что. Если болезненную, дегенеративную действительность ни исправить, ни вылечить ему не дано, то справиться с каким-нибудь тромбом или абсцессом вполне по силам. Сделав удачную операцию, уже понимая, что все получилось, что вытащил пациента и болезнь отступила, он испытывал минуты такого подъема, которого в обычной жизни не знал. Это было особое, мстительно-торжествующее чувство отпора, как у боксера, измороженного, загнанного в угол, но сумевшего все же нанести пусть редкий, но красивый и мощный ответный удар. В такие минуты дышалось легче; радость жизни, здоровье, энергия — все как будто возвращалось к нему.

Но отступившая на время хандра, словно мстя за них, охватывала затем с новой силой. Стоило переступить порог операционной, как здесь же в институте и в клинике, точно метастазы какой-то злокачественной опухоли, все пронизывали продажность и ложь. Смолоду он не так представлял себе свою жизнь, свою будущую карьеру и, хотя не ошибся в себе, ошибся в другом — в тех правилах, по которым велась игра. Он готовился играть по одним, а они оказались совершенно другими. Но, обнаружив это, он не сделал поправок, а угрюмо остался верен своим. Он так и не защитил докторскую, ни разу не бывал за границей, не занимал никаких начальственных должностей. И хотя классно лечил и много работал, но это не сулило особых перспектив.

Зарабатывал он, казалось бы, прилично, но денег этих едва хватало на жизнь. Больше половины отсылал Тамаре и сыну, а то, что оставалось, деньгами не считал. Как и другим врачам, больные и родственники их то и дело приносили подарки, иной раз и конверт с деньгами пытались сунуть в карман, но никогда ничего не брал. Знал, что обижает этим людей, даже вредит своей репутации (значит, не уверен, что лечит хорошо), и все равно ничего ни под каким видом не брал. Даже цветы при выписке принимал неохотно и никогда не уносил домой, оставляя роскошные букеты нянечкам.

С тех пор как три года назад разъехались с Тамарой, он жил один и к одиночеству в своей однокомнатной квартирке в Чертаново, к своему холостяцкому быту привык. Свою «схиму», свой монастырский устав он сделал какой-то особой формой протеста, отстранившись от

окружающей его жизни, сведя до минимума контакты с ней. Ни с кем не поддерживал тесных дружеских отношений, ни в каких компаниях давно не бывал. Единственными друзьями его были книги, единственным развлечением — шахматы. Кандидатом в мастера он сделался давно, еще в студенческие годы, но с тех пор в официальных турнирах не участвовал, а играл с самыми сильными из любителей, собиравшихся по выходным на Тверском.

Было ясно, что жизнь не удалась. Но лица при этом терять не следовало, и он старался — неудачником его никто не считал. Моложавый, стройный, подтянутый, он еще нравился женщинам, но о любовных увлечениях даже не думал, никаких интрижек не заводил. Трезво воспринимая убогую «совковую» действительность, он видел, что для любовной романтики места в ней нет. Юнцы могли еще заблуждаться на сей счет, но людям зрелым, вроде него, от этой пошлой истины никуда не уйти. К тому же любой стресс, любое душевное потрясение могло плохо кончиться для него — настолько плохо, что лучше об этом не думать. Его отношения с болезнью определились раз и навсегда. Она грозила немощью, могла отлучить от работы, а жить в таком состоянии он бы не смог. Своей «схимой», своим размеренным образом жизни, своим одиночеством он очертил некий круг, за который болезнь к нему сунуться не смела, и в этом кругу был свободен, был относительно здоров.

2

На первый стук Дорохов не откликнулся: кто-нибудь из коллег по дороге в ресторан. Но постучали громче, настойчивей — пришлось идти открывать. Только отворил дверь, как ветер, ворвавшийся с улицы в форточку, вспучил оконную штору, смахнул зашелестевшие листы со стола. Оглянулся с досадой, но поздно: покрытый линолеумом пол в номере весь усеян страничками статьи.

В коридоре, у порога его номера, стояла особа лет двадцати в джинсах, заправленных в короткие сапожки, и в куртке из жеваной ткани «варенка». Мордашка симпатичная, но волосы, висевшие унылыми сосульками, мертвенно-голубые тени на веках и фиолетовая помада на губах придавали ей какой-то болезненный и одновременно вульгарный вид.

— 3-здравствуйте, — слегка заикаясь, сказала она. — М-можно войти?

— Прошу, — слегка отступил он в сторону.

Неуверенно прошла в номер, встала у двери. Глаза тоскливые, вид несчастный, понурый. Дорогая замшевая сумка на плече, но какая-то замызганная, вроде нищенской торбы.

— Слушаю вас, — сказал Дорохов, глядя на рассыпанные листки на полу и решая, сейчас их собрать или после ее ухода. Кто-то говорил, что в этой гостинице можно «снять» девочку на ночь, но чтобы сами в номер стучали, не ожидал.

— Так слушаю, — не скрывая раздражения, повторил он. — У вас дело ко мне?

— Да нет... Просто хотела позна-акомиться, — все так же заикаясь, сказала она. — Довольно глупо, конечно...

Из темного форточного проема несло холодом и неприятным сернистым запахом с заводских окраин, ветер, врываясь в него, трепал и пузырил оконную штору, позвякивая кольцами о металлический каркас. Дорохов потянулся через стол, притворил форточку. Он не пригласил визитерку сесть и сам остался стоять, показывая, что занят и разговаривать долго не намерен. Молчал, ожидая дальнейших пояснений, но она стояла, покусывая губы, точно не решаясь начать.

— Извините, — тихо сказала она. — Я вам по-омешала. Я пойду...

Большие светлые глаза ее вдруг наполнились слезами. Отвернувшись, шмыгнула носом, поправила на плече сумку.

— Странно, — пожал он плечами. — Вы, наверное, ошиблись номером. Вы кого-то здесь ищите? Вам помочь?..

— Н-нет, не надо, — мотнула она головой, хотя явно собиралась расплакаться. Но сделала усилие и справилась с собой. Достала платок из сумки и промокнула глаза.

— Так в чем же дело? — начиная уже раздражаться, спросил он. Непонятно, что этой девице тут надо, каким ветром ее занесло. А она стояла молча в прихожей, шмыгая носом в платочек и повернувшись к двери. Взялась за ручку, но вдруг спросила:

— Вы ведь Дорохов? Ал-лексей Петрович?..

— Да, — удивленно подтвердил он.

— Узнала, что в-вы здесь, в гостинице, и вот решила зайти. — И пояснила: — Я тут в «меде» на четвертом курсе учусь. Вы ведь тоже учились у нас когда-то. Вас еще по-омнит здесь кое-кто.

Его не растрогало, что помнят: сам он прежних своих однокашников не хотел вспоминать. Ни с кем никогда не переписывался, не поддерживал никаких отношений, и вообще закончил он другой институт. А о том, что начинал здесь когда-то, обычно даже не упоминал. Сама эта юная особа уж точно учиться вместе с ним не могла — ее в те далекие времена и на свете-то еще не было.

Наклонился, машинально поднял с пола листок, потом другой.

— Извините, это из-за меня, — сказала она виновато. — Давайте я соберу.

— Ничего страшного... Ну, присаживайтесь, — непонятно зачем вдруг пригласил он. Собрал все листочки, аккуратно сложил их вместе, скрепив канцелярской скрепкой на столе.

Все такая же мрачная, она сняла свою торбу, откинула за спину светлые-русые волосы, и в печальной позе села в кресло у стола. Бледное лицо, взгляд отрешенный. Легкие отеки под глазами, зрачки заметно расширены — возможно, гадости какой-нибудь накурилась или просто пьяна. Но, может, больна и хочет проконсультироваться — с этим к нему приходили не раз.

— У вас в Москве есть «телефон доверия»? — застывшим взглядом уставившись в одну точку, вдруг спросила она.

— Как будто бы да...

— А у нас его нет. Считается, что нам он не нужен. Несчастных в нашем городе не должно быть. А я вот исключение, паршивая овца в стаде. Мне бывает так плохо, что, если не поговорю с кем-нибудь по-человечески, брошусь под трамвай. Вы можете это понять?

— Почему же нет?

— С вами когда-нибудь такое бывало?

— Случалось, — спокойно кивнул он.

— Да?.. А вид у вас — не подумаешь.

— Видимость бывает обманчива, — сказал он. — Как вас зовут?

— Марина. Возраст — двадцать один. Русская. Беспартийная. Пол женский. — И добавила, непонятно усмехнувшись: — Похожа на маму.

— Бывает, — в тон ей ответил Дорохов. — А при чем здесь мама?

— О, маман у меня — известный человек. Ее в городе все знают. Вы тоже должны знать.

— Я не здешний.

— Ну, может, раньше знали...

Дорохов пожал плечами. Если в студенческие годы и знал кого-то из местных, то давно уж всех забыл. Если она за этим пришла, то вечер лирических воспоминаний у них тут никак не получится и разговор пора завершать.

— Маман в облздраве работает...

Их встречала на вокзале и устраивала в гостинице какая-то деятельница из облздрави — возможно, она и была. Но какое, собственно, значение имеет, что мать у нее в облздраве работает? Какое отношение это имеет к нему?

— Значит, вы по стопам матери в медицинский пошли?

— О да! Ее неусыпными заботами. По благу, проще говоря. Хотя вообще-то на филфак собиралась.

— А специализируетесь?

— Психиатрию выбрала. Сама с детства психом была, отсюда интерес к этой сфере. «Что он помешан — факт. И факт, что жалко. И жаль, что факт. Дурацкий оборот». Это Полоний о Гамлете говорит. А чей Гамлет вам больше нравится: Высоцкого или Смоктуновского?

— Гамлет Шекспира, — сказал он.

— Само собой, — кивнула она. — «Кто вертит кем, еще вопрос большой: судьба любовью иль любовь судьбой». Вот кто понимал, что к чему в этом мире.

Дорохов усмехнулся, но ничего не сказал,

— А я еще во вторник узнала, что вы на симпозиум приехали, — помолчав, сказала она. — Хотела даже прийти послушать ваш доклад. Но не вышло, не получилось.

— Это не по вашей специальности. Я не психиатр, а нейрохирург.

— Все равно мне было бы интересно. Только не вышло, сорвалось. С утра у одной подружки на даче тусовались. Ее отец — директор химкомбината. Ну этого, знаменитого на весь Союз, который тут всю окру-

гу загадил. Забалдели, само собой, а на обратном пути Гаррик тачку в кювет загнал. Пока эти козлы с ней корячились, опоздала, конечно.

— Не стоит огорчаться, — перебил Дорохов этот увлекательный рассказ. — Доклад был для специалистов. Вы не много потеряли.

Она замкнулась опять, помрачнела. Глянула странно, с каким-то разочарованием, точно сомневаясь, не ошиблась ли дверью, тот ли перед ней человек. Обвела глазами весь номер, зацепила взглядом бутылку кефира на подоконнике. Глаза у нее выразительные и мордашка ничего, если нормально причесать и стереть «боевую раскраску». Рука узкая, с золотым колечком на безымянном пальце, но не гладким обручальным, а с крохотным зеленым камешком, похожим на изумруд.

— А недавно к нам Розенбаум приезжал, — сказала она. — Жил в этой гостинице. После концерта мы с ребятами из театрального завалялись к нему сюда. Нормальный мужик. Не занудный. — И посмотрела выразительно: мол, не такой, как вы.

Дорохов снова почувствовал раздражение. Дурью мается девка, а он сидит и слушает, точно других забот нет. Выставить — и дело с концом! Он хоть и врач, но не обязан возиться с каждым неврастеником. В клинике своих пациентов хватает.

— Представляю, за кого вы меня принимаете, — точно угадав его мысли, сказала она. — За пьяную истеричку.

— А что, совсем непохоже?

— Есть немного, но это не главное. В данный момент у меня депрессивный синдром, а в анамнезе стойкая суицидомания. Диагноз точный, проверенный. Две попытки. В последний раз — эфир. Маман всю нашу реанимацию на ноги поставила — еле откачали. Только напрасно старались — все равно скоро уйду... «Я жизнь свою в булавку не ценю», — как говаривал принц датский.

«Ну вот! Этого еще не хватало! А он-то, Дорохов, тут при чем? К нему за каким дьяволом явилась?.. Ах да, “телефон доверия”, излить душу, найти поддержку... Значит, обязан утешить, морально поддержать. Долг врача, Гиппократ... С удовольствием бы выставил ее за дверь, но делать нечего, придется потерпеть». Спросил, стараясь подавить раздражение:

— Что жизнь не мила?

— Да какая в нашем городе жизнь? Живем, как в сортире. То серой, то хлоркой на улицах воняет. Выйдешь из дома, хоть противогаз надевай. Мы же «кузница страны», «опорный край державы» — вот и загигаем тут в дыму и копоти. По раковым заболеваниям — второе, по психическим — третье, по суициду — первое место в стране. Закрытая статистика. Мамочкины тайны из облздравики выдаю.

— Это не только ваши проблемы, — сказал Дорохов, — Этого сейчас повсюду хватает.

— То-то и оно! Будь где-нибудь получше, давно бы свалила туда. Только ведь некуда — кругом этот бардак!.. Загадили шестую часть Земли, а ради чего — неизвестно. Вы случайно не знаете, какого черта мы все «толчемся между небом и землей»? Какой смысл в нашем суще-

ствовании?.. Нет, эвтаназия все-таки хорошая вещь. Я бы разрешила ее всем и каждому. Хочешь жить — на здоровье. А нет, проглотил таблетку — и чао, арриведерчи!..

— Так говорят, пока молоды и здоровы, — возразил он. — А я сотни больных оперировал, и все жить хотели.

— Ну, конечно, «жизнь дается нам только раз», — насмешливо парировала она. — Знаем, в школе проходили. «И жизнь хороша! И жить хорошо!» — а сам взял пистолет и застрелился. Железная логика!

За словом в карман эта девка не лезла. И заикаться перестала — куда делось смущение. В разговоре она оживилась глаза блестели, лицо утратило застылую неподвижность, казалось, энергии хоть отбавляй.

— И жизнь хороша!.. — язвительно повторила она. — До того хороша — мутит от нее!.. Не жизнь, а сплошная блевотина! А что, не так? А вам эта жизнь нравится?

Нравится? Господи, кому она это говорит?.. Но соглашаться с ней тоже не хотелось. Он-то знает жизнь, «потолкался между небом и землей». А эта маменькина дочка откуда?

— Жизнь всегда не сахар была, — сказал он. — Войны, эпидемии, голод. Это только кажется, что прежде веселей жилось или завтра станет лучше.

— Вот именно! А на кой жить тогда? На кой черт рожать новых мучеников?

— У вас сегодня на редкость мрачное настроение.

— Оно у меня с детства такое. Говорю же, суицидные склонности. Ужасно любила представлять себя мертвой в гробу, — понизив голос, сказала она. — Во всем белом и почему-то с фатой. И обязательно свечи у гроба. Знаете, тонкие такие розоватые свечечки с желтым крохотным огоньком. Очень красиво!.. Как-то взяла и в церкви штук сто накупила. Запрусь у себя, «травки» покурю, а потом лягу на тахту, зажгу свечи в изголовье, накроюсь белой простыней и лежу. Вот так, — смежила ресницы и скрестила руки на груди. — Жутковато, но хорошо. Лежу и думаю: «Господи, если ты есть, возьми меня к себе!..» Так и лежу, пока свечки не догорят.

Дорохов покачал головой, но ничего не сказал Пора бы выставить ее, но как это лучше сделать?..

— Гарик недавно снимочек мне устроил обалденный! Он у нас с пятого курса ушел, устроился фотографом в похоронном бюро. И, между прочим, хорошо упакован, бабки у него есть. Мы с ним выбрали гроб, сиреневый такой, с черным восьмиконечным крестом на крышке. Я саван надела, легла. Венчик из бумажных цветов, свечи зажгли. Классно получилось! В институте показывала — полный отпад! Да он у меня с собой...

Ползла в торбу, покопалась в ней, вынула цветной, потертый на углах снимок. И в самом деле, лежит в гробу, строгая, повзрослевшая и очень красивая. Сомкнутые веки, заострившийся нос, бледные тонкие руки сложены на груди. На темном фоне желтыми пятнышками мерцали свечи вокруг головы. Иллюзия была полная.

Но на Дорохова это не произвело впечатления.

— Зря все это, — возвращая снимок, поморщился он. — Не вижу тут никакой романтики. В прозекторской смерть не так красиво выглядит. У меня к ней профессиональная вражда.

— Отчего же? — довольно ядовито заметила она. — Вы к ней лучше должны относиться. Ведь она вас кормит — это ваш хлеб. Вы на страхе смерти зарабатываете.

— У меня лично другая цель. Я стараюсь не просто вытащить человека из могилы, а вылечить, дать ему в жизни шанс.

— Сначала саму нашу жизнь не мешало бы подлечить. Чтобы шанс этот хоть чего-нибудь да стоил. Вы лечите, а жизнь калечит — мартышкин труд!.. И вообще, я не о том, Алексей Петрович. Вы имеете дело с плотью, с человеческим мясом, а я говорю о чувствах, о душе. Как по-вашему, есть у современного человека душа?

— Это не по моей части. Я врач, а не священник. Мне некогда сантиментами заниматься.

— И всегда были таким?.. — спросила она как-то странно.

— Сколько себя помню.

Чего все-таки хочет эта девица от него? Не просто же так она явилась? Странная особа. На медичку не очень-то и похожа. Хотя в психиатрию собирается идти, а там все с приветом. На будущего психиатра да, смахивает. Уже сейчас выработала этот искоса, но цепкий взгляд, умеет разговаривать, войти в доверие. То нахальна, то смущается до заикания. Крутой хочет казаться, но явно закомплексована, не уверена в себе. Да, пора прекратить эту беседу. Теперь уже точно пора!..

— А в соседнем номере Валерий Леонтьев жил, — без всякой связи с предыдущим вдруг сказала она. — Летом на гастроли приезжал. У него номер, правда, получше был, люксовый. Автограф еще где-то дома валяется.

— Вы что, всем заезжим знаменитостям наносите визиты? Но ведь я не знаменитость.

— Как сказать, — загадочно улыбнулась она. — Для кого нет, а для меня — да. Я вас сразу узнала по снимкам. Вы не очень-то изменились с тех пор.

— По снимкам?..

— Ну да. В альбоме у маман. Среди друзей ее юности вы занимаете там почетное место.

Еще прежде, чем это дошло до сознания, у Дорохова кожу стянуло на лбу и сердце болезненно дернулось в груди. Как будто на мгновение раньше, чем умом осознал, нутром почувствовал, о ком идет речь. Ах вот оно что!.. Бог ты мой!.. Так, значит, Анечка здесь и знает о его приезде... Наверняка же знает, если работает в облздраве... И фотки хранит...

Казалось, толща этих лет неодолима, она надежно защищает от прошлого, от каких-либо отзвуков его. И вот мгновенно эта стена обрушилась — точно и не было ее...

Похоже, он здорово изменился в лице — во взгляде, который Мария на бросила на него, можно было прочесть это.

— Не думал, что меня еще помнят здесь, — пробормотал он, стараясь взять себя в руки. — Столько лет... Сколько воды утекло...

— Что вы! — развязно сказала она. — Старая любовь не ржавеет. Маман этими фотками дорожит.

Черт! Как же его тряхнуло! Пульс лихорадочный, лицо горит. Не хватало еще обморока или припадка. А ведь и это могло быть... Он встал, потер лоб ладонью, прошелся по номеру из угла в угол. Потянулся к графину, хотел налить себе воды в стакан, но понял, что не сможет, не расплескав, и отказался от этой попытки.

Исподлобья, из-под нависших спутанных волос Марина внимательно следила за ним. Явно фиксирует его реакцию.

— Я представляла вас старше, — сказала она. — А вы классно смотрите, почти не изменились с тех пор. У нас некоторые аспиранты и то старше выглядят.

— Благодарю, — ответил он механически, пытаясь успокоиться, снять этот неприятный спазм в груди. — Спасибо за комплимент.

— А маман состарилась, — с нескрываемым злорадством сообщила она. — Вы почти такой же, как на тех снимках, а у нее морщин уже до фига. Это раньше мужики, завидя ее, пузыри пускали. Теперь, конечно, не то.

— Но, может, ей трудно жилось. Переживания...

— Да какие переживания! Обычная номенклатурная суета. Они же все там, как пауки в банке!.. А тут еще эта перестройка, а теперь вот новая битва за власть. Маман выживают. Ну ничего, она не пропадет. Ее у нас, как Тэтчер, «железной леди» прозвали. Правда, проржавела уже слегка, но палец в рот ей все равно не клади.

— Не очень-то, я гляжу, вы ладите со своей матерью.

— Почему же? У нас с ней «детант». Холодная война уж позади. Бывают, конечно, «теракты» с обеих сторон, но это так, пустяки. Просто не переношу я этой их номенклатурной тусовки. Терпеть не могу!

— Она в терапии, кажется, специализировалась? — спросил Дорохов, все еще не в силах успокоиться, стараясь вести просто светский разговор.

— Куда там! Врачом и часу не была. Сразу в облздраве пристроилась. Мне в детстве даже насморка вылечить не могла. Но жаждет, чтобы я пошла по ее стопам. А мне наш «мед» надоел до чертиков. В этом семействе и на лекциях, можно сказать, не была.

— А как же зачеты?

— Ха, зачеты. Маман не только зачеты — она и диплом мне хоть завтра устроит. Не допустит же она, чтобы ее дитя осталось без корочек. Скандал в номенклатурном семействе.

Внезапно, как это уже случалось здесь по вечерам, в номере погас свет — опять где-то что-то замкнуло. Помолчали в ожидании, но света все не было. Лишь с улицы просачивалось какое-то призрачное свечение через окно, и слышно было, как там завывает ветер. Дорохов даже

рад был этой темноте — она позволяла расслабиться, получить передышку.

Марина притихла, точно в рот воды набрала, но силуэт ее был виден в темноте и до галлюцинаций отчетливо напоминал ему Анин. Но нет!.. Он плотно прижал ладони к лицу и, выдохнув, сделал несколько легких массирующих движений.

Но не сидеть же весь вечер так, в темноте: он выдвинул ящик стола, на ощупь полез за свечою. И тут с прежней силой вспыхнул над головой потолочный плафон, брызнув в глаза ярким светом. Вместе они прищурились и улыбнулись друг другу, точно встретившись после короткой разлуки опять.

— У вас с электричеством всегда так?

— У нас со всем, что угодно, так. Говорю же, загибаемся тут.

Новым, словно очищенным темнотой взглядом он увидел ее; действительно, похожа на Аню. Но как-то странно похожа, точно всем своим обликом опровергает мать. Светло-русые волосы — но у той короткие были и аккуратно уложены, а у этой растрепанные и длинные, с нарочитой небрежностью рассыпанные по плечам. Аня всегда прямо держалась, стараясь казаться выше ростом, — а эта словно нарочно сутулится, хоть от природы высока и стройна. Странно было все это и слегка нереально, похоже на бред или сон.

— И чем же вы занимаетесь, если не учебой? — возвращаясь к прерванному разговору, спросил он.

— Сама не знаю, — сказала она. — Зачем-то вот зубрю итальянский по самоучителю. *Le piace l'Italia, signore?*²

— *Sì*, — ответил он. — *È il paese bellissimo*³.

— Вы знаете итальянский? — поразилась она. — В самом деле?

— Не так, чтобы очень. Тоже по самоучителю.

— Обалдеть!.. — протянула она. — Вот это номер так номер! Вы же первый человек, с которым я «парло итальяно». А то хожу, как идиотка, и сама с собой разговариваю. *Lei è stato in Italia, signore?*⁴

— *No*, — уже вовлекаясь в этот неожиданный диалог, сказал он. — *Ma ho tutto in futuro*⁵.

— А хорошо бы как следует выучить язык и поехать в Италию.

— *Va bene*⁶, — кивнул он. — Но куда именно? Андыамо а Венеция? Андыамо а Наполи? А Сан-Ремо?..

— Андыамо а Наполи! — воскликнула она. — Это ж надо! У меня даже крыша поехала, ей-богу! Я и представить себе не могла, что когда-нибудь встречу с вами, а тем более по-итальянски буду болтать. Жаль, плоховато знаю язык.

² Вам нравится Италия, синьор? (*ит.*)

³ Прекрасная страна (*ит.*).

⁴ А вы бывали в Италии, синьор? (*ит.*)

⁵ Нет, но у меня все впереди (*ит.*).

⁶ Ладно (*ит.*).

— Я тоже подзабыл, — сказал Дорохов. — Не с кем было практиковаться, да и времени нет.

— А давайте вместе учить! Можно на итальянском переписываться. Как будет «письмо»?

— Lettera, — сказал он.

— Scrivo una lettera, — старательно подбирая слова, сказала она. — Ricevo una lettera da Lei⁷. А вправду, пришлите хотя бы одно. У вас это здорово получается! Обалденные у вас письма! Со стихами, рассуждениями, цитатами из классиков. Маман их в отдельной шкатулочке хранит.

— Что?! — чувствуя, как кровь вдруг отхлынула от лица, проговорил Дорохов. — Ты их читала?..

— А что т-такого? — округлила она глаза. — Это же древность, антиквариат! Они же когда написаны? С ума упасть! Меня тогда и на свете-то не было.

— Но это же чужие письма! — почти заорал он. — Мать что, сама их тебе давала?

— Зачем? Я без спросу.

— Черт!.. — выругался он. — Ты что, ребенок? Не знаешь, что чужие письма нельзя читать?

— Была ребенком, когда нашла их. А что такого? Нормальные письма. Я мамочке завидовала даже — мне таких никто не писал.

— Ну, знаешь ли!.. — развел он руками.

Идиотское положение! Терпеть он таких ситуаций не мог! Явилась тут аферистка — вся в мамочку! — водит его за нос, а он, дурак, и уши развесил. На кой черт ему все это? Вся эта мура!.. Воспоминания, фотокарточки, письма. На кой черт Аня вообще их хранила?.. «Нормальные письма!» Да он сам был псих ненормальный, когда их писал. Сколько там глупостей, если припомнить! Сто раз пожалел, что отдал ей в Усть-Алыше тогда... Думал, давно уже все затерялось, а она их в шкатулочке, значит, хранит... Черт!.. Он едва сдерживал себя. Этого ему еще не хватало!.. Мог бы предвидеть подобные встречи — знал ведь, куда едет, в конце концов!.. Хорошо хоть сама не явилась... Что бы он делал, если сама пришла? И чем бы это кончилось для него в таком случае?.. Эх, черт, лучше бы в ресторан пойти, запоздало пожалел он. Сидел бы сейчас за столом среди подвыпивших коллег, жевал свой шашлык и слушал их анекдоты. А завтра на самолет — и домой.

— Мне что, уйти?.. — спросила Марина тихо.

— Не задерживаю, — пожал он плечами.

— Извините, — сказала она с непонятной улыбкой. — Я, наверное, что-то не то сделала. Но я не нарочно, по глупости... Не думала, что на вас так подействует... — Медленно встала, застегнула куртку на «молнию», повесила торбу на плечо. — Ну, я пошла...

Шагнула в прихожую. Постояла, точно хотела еще что-то сказать или ждала, что он скажет. Потянула дверь на себя. Неловко, боком как-то

⁷ Я пишу письмо... Я получаю от вас письмо (*ит.*).

протиснулась в коридор. Но прежде чем прикрыть за собой дверь, обернулась. И взгляд ее из полутемного коридора опять разительно напомнил Аню. Точно одна выходила, а другая тут же следом вошла к нему.

По крайней мере, в воспоминаниях...

3

С теперешней точки зрения он бы квалифицировал это как бред, помешательство на эротической почве, но в те годы для него это была жгучая, полная блаженства и муки любовь. Насколько жгучая, правда, никто вокруг не догадывался. Видели, что ему нравится Анечка Смолина — скрыть, конечно, не удавалось, — но не только же ему одному. Всем нравились ее приветливые темные-голубые глаза, ее точная фигурка, ее легкий общительный характер, ее веселый заразительный смех. Поклонников в институте у нее было хоть отбавляй, так что одним больше, одним меньше — не имело значения.

Хотя Дорохов готовился стать медиком и половую сферу предметно изучал, он был в свои двадцать лет еще девственником, что составляло личную, тщательно охраняемую тайну его. Страстный по натуре, с рано пробудившейся чувственностью, он, однако, ни разу еще не спал с женщиной; не целовался даже ни с кем. Не то чтобы это было недоступно для него, но мешало какое-то внутреннее «табу», какое-то возвышенно-романтическое отношение к любви. Размышляя впоследствии обо всем этом, он понял, что юношеская сексуальная фаза влечения к женщине совпала для него в тот момент с затянувшейся подростковой, романтической, а это не сулило успеха в любовных делах. Его либидо оказалось в тисках противоположных установок, примирить которые он не сумел.

Он был влюблен в Анечку и хотел обожать ее романтично и нежно, а вопреки этому, грубо, болезненно ее вожделел. При одном взгляде на нее у него пресекалось дыхание, кожа почему-то стягивалась на лбу, а сердце бешено и неровно колотилось в груди. Случайная встреча с ней, пусть даже и мельком, на целый день могла выбить из колеи. С маниакальной навязчивостью, не способный переключиться, он вновь и вновь переживал эту встречу, этот вызвавший в нем целую бурю чувств и желаний, доводивший до изнеможения короткий миг. Притом он долго не замечал, какого цвета у нее глаза или волосы, как она одета, как ведет себя, не задумываясь даже об этом. Завидев или услышав ее, он тут же впадал в состояние какой-то прострации: ничего не воспринимал уже; не улавливал смысла сказанного — само присутствие или звучание ее голоса завораживало его. «Привет, Дорохов!» — проходя мимо, бросала она, и с колотящимся сердцем, не успев даже ответить, он долго еще впитывал этот обращенный к нему глубокий альтовый звук ее голоса, ощущал движение воздуха, коснувшееся его разгоряченных щек. А лишь потом, с большим запозданием, понимал наконец, что выражал этот голос, что она, собственно, сказала ему.

В аудитории он старался не глядеть в ее сторону, не думать о ней, но все равно непроизвольно смотрел, все равно только о ней и думал, а из прослушанной при этом лекции ничего не воспринимал. Измученный, засыпая ночью, он жаждал покоя, жаждал отдыха, но по ночам она снилась ему. И снилась так, что, очнувшись среди ночи, с горящими щеками и весь в испарине, он долго не мог успокоиться, забыть этот сон. Его заклинило на Анечке, параноидально заклинило, и шансов избавиться от этой напасти у него не было никаких.

Как и всякая мания, его страсть к Анечке обростала фобиями, всякого рода зажимами, комплексами, мешая ему просто сблизиться, быть естественным с ней. В присутствии ее он буквально цепенел, терял себя, делался туп и косноязычен. Ему казалось, что он некрасив, зауряден, неинтересен, что нечистые помыслы видны у него на лице. Если приходилось заговаривать с ней, бледнел, начинались сбои дыхания, легкий тремор конечностей, и даже заикался слегка, чего в присутствии других девиц с ним никогда не случалось. Презирал, ненавидел себя за это, но ничего с собой поделать не мог. Конечно, рассчитывать на взаимность в таком состоянии не приходилось. Да он и не рассчитывал, не веря, что это возможно — ведь не было лекарства, чтобы излечить этот «Анечкин синдром», как с горьком иронией он сам окрестил свою болезнь.

И все же Аня относилась к нему неплохо — теплее, чем можно было бы ожидать. Никогда не болтала с ним дружески и не смеялась так заразительно, как с другими ребятами, что толпой вились вокруг нее, но изредка и его не забывала одарить то теплым взглядом, то рукопожатием, то дружеским приветствием, брошенным вскользь. А у него от одного ласкового слова кровь стыла в жилах и кожу стягивало на лбу. Всякий раз после этого охватывала похожая на наркотическую эйфория, он испытывал радость, удивительный подъем. Но потом, будто «ломка», снова спад, тоска и уныние оттого, что все это ровным счетом ничего не значит — ведь в другое время она практически не замечает его. От этих ласковых взглядов ему в конце концов становилось лишь хуже, на целые дни впадал в состояние, близкое к реактивной депрессии, даже транквилизаторы приходилось применять. Уж лучше бы вовсе не знать ему любовного влечения, чем сделаться неврастеником на этой почве. Подумывал даже, не уехать ли ему в другой город, перевестись в другой институт. Может, там исчез бы этот «Анечкин синдром».

Но жить как-то нужно было, на лекции, на семинары ходить. И вот, поставив себе диагноз, он и лечение выбрал сам. Истязал себя гантелями в спортзале и кроссами в парке, сек по утрам ледяными душами, а днем, чтобы поменьше думать об Анечке, до помутнения в глазах сидел в читалке над книгами, писал сразу две курсовые под руководством профессора Ларионова, а в клинике, наблюдая за работой ведущих хирургов, часами торчал у смотрового фонаря. С учебой проблем у него не было. Залезал даже в те предметы, которые не входили в учебную программу, а кроме обязательного английского, занялся еще итальянским — нравился ему этот красивый музыкальный язык. Продвинулся он тогда и

в шахматах — победив в представительном межвузовском турнире, стал кандидатом в мастера.

Эта собранность, этот суровый аскетический распорядок жизни позволяли ему успевать куда больше, чем прежде, добавляли в учебу много времени и сил. Успехи его были замечены, его все чаще ставили в институте в пример. О нем стало складываться мнение, как о начинающем карьеристе, нацеленном на аспирантуру, на вступление в партию, но на эти разговоры ему было наплевать. В партию он не собирався, хотя парторг факультета как-то обронил, что такую исключительную честь для студента третьего курса ему, как отличнику с рабоче-крестьянским происхождением, могли бы оказать. Его же совсем не тянуло заниматься общественной работой — он хотел стать хорошим врачом, сделаться классным хирургом; ради этого и старался больше других.

Понемногу все стало приходить в норму. Он втянулся, привык к своему «лечению» и какого-то результата все же достиг. Спал теперь крепко и почти без сновидений, меньше нервничал, лучше владел собой. Понемногу он выработал такую отстраненно-озабоченную маску поглощенного учебой студента, которая позволяла не терять лица рядом с Анечкой в аудитории. А сбои дыхания прикрывал лаконичный отрывистый тон. И добился все-таки своего. Общеизвестно было, что ему нравится Анечка — ну и что ж, она многим нравилась, — а об истинном накале его чувств не догадывался никто.

Как и положено красавице, Анечка пользовалась повышенным вниманием мужской половины курса, но постоянного парня у нее в институте не было, хотя со многими была дружна. И все же от ревности, порою болезненно-жгучей, это его не спасало. Одно то, что другие парни вечно «пасутся» возле нее, провожают с лекций домой, танцуют на институтских вечерах, смеют дружески обнять, а то и чмокнуть на людях в щечку, в то время как он сам без внутренней дрожи не мог даже взглянуть на нее, — одно это страшно мучило и рождало самые черные подозрения. Ему бы, наверное, даже легче стало, выйди она замуж, наконец, или займей любовника — многое упростилось бы само собой. Глядишь, сам собой исчез бы тогда этот проклятый, измучивший его не меньше самой жестокой болезни «Анечкин синдром».

Несколько облегчало его участь то, что за стенами института жизнь у них с Анечкой протекала в разных сферах. Он жил в общежитии и кормил себя сам, подрабатывая по вечерам санитаром в больнице, а она в высотке на проспекте Жданова, известной всему городу как «обкомовский дом». Родители ее работали в аппарате обкома и, значит, были хоть и не на первых ролях, но в том особом, незримо очерченном кругу, где обитает начальство, где жизнь какая-то иная, недоступная большинству. У него с ней не было общих друзей и компаний — и это избавляло его от частых встреч с Анечкой, а значит, и от худших, может быть, мук ревности: с кем и как проводила она время вне стен института, он в общем-то понятия не имел.

А в институте Анечка была душою курса, была бессменным комсоргом у них. Реально общественной работы она не вела, да и не любила ее,

но всем нравилось, что комсоргом у них не какая-нибудь постная мымра, а красавица Анечка, и каждый год все дружно голосовали за нее. И институтскому начальству это нравилось. На собраниях, на съездах и городских конференциях она хорошо смотрелась на трибуне: миловидная, в простой белой блузке, с короткой стрижкой, так идущей к ее живому открытому лицу. Пусть выступления за нее писали другие, но память у нее была отменная — говорила она легко и звучно, почти не заглядывая в бумажку, с улыбкою глядя прямо в зал. Оживлялись утомленные долгим заседанием делегаты, теплели лица преподавателей, улыбка расцветала на губах представителя обкома, ретиво щелкал своей фотокамерой репортер. Членом институтского бюро она была с первого курса, и делегатом на все городские, областные конференции обязательно выбирали ее. Ничего в ней не было сухого, идейного, да она и не прикидывалась такой. Первой начинала плясать шейк на институтских танцульках, за просто могла опрокинуть стаканчик в компании, не курила, но баловалась сигаретой, если курили все. «Мне жалко, что ли? — пожимала она плечами относительно успехов своих на общественном поприще. — Пусть выбирают, если им хочется». Карьеристкой ее никто не считал.

Училась она слабовато, нередко плавала на экзаменах, могла завалить даже простенький зачет. Но все готовы были прийти ей на помощь, даже сами экзаменаторы. Никому не хотелось, чтоб потухли живые Анечкины глаза, сошла с лица приветливая улыбка — и завалов у нее практически не было. При очень скромных успехах в учебе она была всеобщей любимицей и большей гордостью факультета, чем старательные, но неприметные отличницы или те, кого считали подающими надежды, вроде самого Дорохова.

Для него, безусловно способного, но кому любой успех, любая удача давались только трудом, непостижима была та легкость, с которой Анечка получала все даром, пользовалась всеобщей симпатией просто так, ни за что. В этом он видел благоволение судьбы, знак какой-то особой избранности и, будучи далек от людей из так называемого руководящего круга, склонен был думать, что все это изначально свойственно им. Уверенность в себе, раскованность и внешняя привлекательность должны быть обязательны для тех, кто руководит, кто властвует, для тех, кто всегда на виду. Он еще и потому не верил, что может понравиться Анечке, что внутренне ощущал себя принадлежащим к иной породе — к какому-то рядовому трудящемуся большинству. К той массе обыкновенных людей — неважно, физическим или умственным трудом они заняты, — которым все дается непросто, которые даром не получают ничего. Он был горд и вовсе не страдал, не завидовал, даже и не стремился попасть в этот круг, но женщины нравились ему именно такие, и Анечка прежде всего.

Так и продолжалось, так и тянулось бы, наверное, все шесть лет до диплома, если бы не практика после третьего курса, не Усть-Алыш. Неожиданно в этот глухой таежный угол их послали на практику вдвоем.

Анечка могла бы остаться в городе, но зимой переболела бронхитом, и доктора посоветовали ей Усть-Алыш. Тамошний сосновый бор славился своим целебным воздухом, и ни одной заводской трубы на сто верст вокруг. А после практики она должна была поехать отдыхать в Крым.

Узнав эту новость в последний момент, Дорохов не обрадовался, а скорее, растерялся. Он так был измучен своим чувством к Анечке, так устал от этой безнадежной любви, что даже хотел бы оказаться от нее подальше, остаться в одиночестве, уехать куда-нибудь в самую глушь. И вдруг все это полетело к черту, весь распланированный долгожданный покой.

Он не спал всю ночь, страшно нервничал, а под утро решил было, что не поедет на практику в Усть-Алыш, сдаст билет. Но в вагоне местного поезда с допотопными дощатыми полками, где они с Анечкой остались в купе вдвоем, все вдруг чудесным образом переменялось.

— Дорохов, — накинулась она еще возле вагона. — Ты чего опаздываешь? Я тебя уже полчаса жду! Беги скорее, возьми три бутылки ситро. Только от поезда смотри не отстань!

А через пять минут, попивая ситро прямо из бутылок, поглядывая в окно на уходящие назад трубы заводов и городские окраины, представляя лицо свежему ветерку с луговым, травянистым запахом, они запросто болтали о каких-то пустяках, смеялись много и весело. Алексей рассказал ей недавно слышанный студенческий анекдот, потом еще один. А начав пересказывать еще не виденную ею итальянскую комедию, так увлекся, что Анечка хохотала и слушала его битый час.

— Вот уж не думала, Дорохов, что ты умеешь острить, — сказала она удивленно. — Ходишь важный, вечно надутый. Точно профессор без пяти минут.

— Это я так, дурака валял, — пряча волнение, сказал он. — Бзик такой был, но теперь он кончился.

— Ну и хорошо, — улыбнулась она ободряюще. — Терпеть не могу зануд!

Все Анечкино обаяние, вся редкостная ее синтонность достались в то утро ему одному, и это сразу излечило его, буквально возродило к жизни. Через полчаса он уже напрочь забыл свои прежние комплексы, свое уныние и всю дорогу балдел от немыслимого счастья, от этой внезапно появившейся в их отношениях невероятной легкости и простоты. В поезде, а потом в Усть-Алыше Анечка оказалась совершенно иной — проще, милее, доступней, чем в городе. Никакой стены между ними, которую он по глупости в своем воображении воздвиг, и в помине не было. Как не было никакой другой Анечки, кроме этой милой однокурсницы-практикантки, в ситцевом платье в горошек и в простенькой белой косынке, по-деревенски низко надвинутой на лоб. И как же ласково из-под этой косыночки сияли ее фиалковые глаза!

Усть-Алыш, от которого до райцентра еще долго пришлось трястись по колдобинам и болотным гатям на попутном лесовозе, оказался старинным таежным селом с кондовыми, по-старинному рубленными из-

бами, с огородами, сараями, овинами и прочими хозяйственными постройками, о которых прежде Дорохов только в книжках читал.

С запада к поселку примыкало большое торфяное озеро с очень чистой и чуть желтоватой, как бы золотистой водой. Вода была теплая и по ночам парила таинственным маревом, загадочно-красивым при свете луны. Густо заросшее по берегу камышом, с низкими травянистыми островками, разбросанными по нему там и сям, озеро не имело четких очертаний, незаметно входя то в прибрежный кустарник, то в потопленный пойменный луг.

На подходе к воде густая растительность создавала непроходимые заросли, пробраться через которые можно было лишь узкими, еле заметными тропками. Многолетние слои камыша и травы создавали столь плотный настил на воде, намертво сросшийся с берегом, что с точностью нельзя было определить, где кончается берег и начинается этот плотный торфянистый настил. Стоило подойти к самой воде, как то, что казалось твердой сушей, вдруг начинало едва заметно покачиваться, зыбко колебаться под ногами, и вода просачивалась снизу вверх. А если проткнуть торфяной слой удильцем, то оно уходило в воду, не доставая дна. Если не двигаясь оставаться у самой воды, то ненадежный этот берег начинал медленно погружаться в нее. Сначала теплая озерная водица омывала подошвы и щиколотки, потом поднималась до лодыжек, и тут уж приходилось перебираться на другое место, чтобы через какое-то время не оказаться по пояс в воде.

Здесь во множестве гнездилась озерная дичь, парили над озером и хватали рыбешку с воды белокрылые чайки, метались в поднебесье ласточки и стрижи. А в жаркий полдень налетало к воде много стрекоз: крупных, с выпуклыми глазами, радужно-слюдянистыми крыльями, и мелких, синекрылых, носившихся тесными стайками, похожими на призрачно-голубую, летящую над верхушками камыша кисею.

Больница, а точнее, здравпункт с крохотным, всего на пять коек, стационаром располагался в бревенчатом двухэтажном доме еще дореволюционной постройки; сохранились даже бронзовые ручки на дверях и затейливые старинные шпингалеты на окнах. Несмотря на почерневшие от времени стены, внутри все сияло чистотой, а крашенные яркой охрой полы блестели в солнечный день, как расплавленные. Стационар был небольшой, но вполне оборудованный, а в перевязочной, в условиях хорошей стерильности, можно было делать и малую хирургию.

Персонал больницы состоял всего из четырех человек: Ивана Исавича Кондырева, хирурга, который вел первичный прием и как терапевт, его правой руки и незаменимой помощницы фельдшерицы и акушерки Клавы, а также медсестры Лены и сторожихи-уборщицы тети Поли. И приняли их с Аней здесь очень хорошо. С первых же дней Дорохов был не только зван Кондыревым на все обходы и операции, но в простых случаях и сам брался то за ланцет, то за иглу.

Лысоватый, морщинистый, с крупной мужишкой бородавкой на щеке, Кондырев выглядел по-деревенски непритязательно, но дело свое знал.

Какая-нибудь простенькая операция вместе с ним по удалению жировика или гигромы превращалась для Дорохова в полезный практикум: как правильно держать скальпель, как иглу, как делать шов, как пользоваться зажимами. Даже аппендэктомия он мог бы сделать уже и сам — ведь, ассистируя Кондыреву, он мысленно проделывал вместе с ним каждый этап операции, убеждаясь, что ничего не забыл, не упустил.

Довольно скоро Кондырев стал доверять ему в простых случаях поработать непосредственно в операционном поле и, похмыкивая, почесывая свою бородавку, одобрял: «А ничего. Сойдет для сельской местности. Будем шить». Больные здесь все были народ кондовый, таежный и выздоравливали на удивление быстро. И всякий раз, видя во время очередной перевязки, как у больного затягивается рана и зарубцовывается шов, сделанный им накануне, Дорохов наливался еще недоверчивой, но радостной уверенностью в себе: «Значит, могу — получается! Ведь Кондырев, по сути дела, просто ассистировал мне. Ведь это я и один мог бы сделать.»

Квартировали они с Аней рядом с больницей, в соседних избах, и могли встречаться при желании хоть каждые пять минут. У тети Поли, хозяйки Дорохова, была даже не изба, а большой бревенчатый дом, когда-то полный детей и внуков. Но муж умер несколько лет назад, дети разъехались по всей стране, и только множество похожих на нее молодых лиц и детских мордашек на выцветших любительских снимках, украшавших стены, остались как бы эхом тех времен. Места в доме было много, но Алексей попросился жить в летней комнате наверху, в мансарде, куда вела наружная лестница и где они с Аней могли бы без помех оставаться одни.

Днем непрерывно сталкивались в приемной, в стационаре, а вечером Аня запросто забегала к нему и к тете Поле, чтобы поболтать о том о сем. Пила у них чай из самовара, ела шаньги, пирожки с клубникой, стряпать которые старушка мастерица была, а то затаскивала их обоих к себе, к своей хозяйке, Авдеевне, бабке тоже одинокой и к тому же любительнице выпить. Снисходя к ее слабости, Анечка посылала Дорохова в сельмаг за портвейном, и вот, выпив за ужином по стаканчику вчетвером, они так и сидели весь вечер — две старухи-бобылки и двое студентов из мединститута, городских молодых людей. Подшучивали над собой, над такой удивительной компанией, но получали от этих посиделок немалое удовольствие. Приняв по стопочке и напившись по-деревенски чаю с молоком, старухи затягивали старинные протяжные песни на два голоса, а Дорохов с Аней пели им свои, бардовские, под гитару, и едва умевший брэнчать на гитаре, никогда прежде не игравший на людях, Алексей осмелел и наяривал вовсю — да больше аккомпанировать было и некому.

С хозяйками в Усть-Алыше им просто повезло. И тетя Поля, и Авдеевна сразу привязались к своим молодым постояльцам и старались угодить, чем только могли. Считая, что не только Аня, но и он, Дорохов, из какой-то особенной, непростой семьи, они все хлопотали вокруг них, боялись не то подать, не так накормить, вечно оправдываясь незнанием их городских вкусов и привычек.

С каждым днем Дорохову все больше нравилось в Усть-Алыше. Все было удивительно хорошо здесь — и комнатка, где он жил, с ситцевыми занавесочками на окнах и пестрыми домоткаными половичками на полу, и вкусная, здоровая деревенская еда, и замечательный уют этого крепко срубленного деревенского дома с деревянными наличниками, которые затейливым своим узором просто радовали глаз.

Запах карболки и эфира в больнице мешался с ароматами сосновой хвои. Сосны и во дворе росли, и стояли вдоль улицы — лес был повсюду окрест, зрелый, чистый сосновый бор. Со всех сторон огораживала поселок его плотная зеленая стена, и оттого особенно уютными казались дворы и улочки, усыпанные хвоей и шишками, точно скрытые от мира в большом зеленом гнезде. По утрам и вечерам Дорохов купался в озере, по субботам парился с Иваном Исаичем в бане, и это постоянное ощущение чистой воды, чистого неба, чистого воздуха, вообще какой-то телесной и душевной чистоты на всю жизнь запомнились ему.

Ему нравились люди в поселке, нравилась больница, в которой он работал, нравилась сама эта работа в ней. Когда в белом халате и шапочке выходил покурить на крыльцо, мужики, смолившие на ступеньках «Дымок» и «Беломор», уважительно поднимались и здоровались первыми — доктор все-таки, хоть и молодой. Нравилось, что каждый день к обеду тетя Поля ставила на всю больницу ведерный, позеленевший от времени тульский самовар, который до дна выпивался больными и персоналом с огромным количеством всяческих медов, варений, домашних шанег и пирогов. Нравилась роль такого старорежимного сельского интеллигента, к которому, несмотря на молодость, обращаются по имени-отчеству, которого уважают здесь и признают. Так, наверное, земские врачи прежде жили.

Их сразу приняли и полюбили в поселке. Анечка, понятно, всегда всем нравилась, но и сам Дорохов впервые в жизни почувствовал себя здесь на каком-то особом положении, компанейским, обаятельным парнем, с которым всякий приветлив и словом перемолвиться рад. Подтянутые, стройные, на голову выше деревенских, особенно пожилых, они с Аней были из того первого, родившегося уже после войны поколения акселератов, не знавших ни голода, ни лишений, которое заполнило студенческие аудитории в шестидесятые годы. Завидя их на улице, бабы покачивали головами и тут же, не дав отойти на достаточное расстояние, по-деревенски бесхитростно вздыхали за спиной: «Хорошая пара! Дай Бог!..» Местные ребята не клеились к Анечке, а девки не заглядывались на Дорохова, уважительно считая их готовой парой, которую не след «разбивать». И потому им весело было ходить по вечерам в клуб на танцы, где учили местную молодежь отплясывать шейк, а сами с удовольствием танцевали танго и фокстроты под голосистую деревенскую гармонь.

Однажды на Троицу (по старой памяти ее отмечали еще в поселке) Авдеевна, у которой муж и трое сыновей в один год, в сорок третьем, погибли на фронте, вдруг заплакала, глядя на них, сидевших рядышком, за столом: «Господи, красивые-то какие! Молодые какие!.. Дай бог сча-

стья! Деток хороших дай... Только бы не было войны!..» — И захлебнувшись подступившими к горлу рыданиями, уткнулась в лежавший на коленях рушничок.

Другие бабы тоже, как по команде, заморгали, зашмыгали носами, готовые расплакаться вслед за ней. Дорохов страшно смутился, у него пресеклось дыхание, задергались губы, предательским образом защекало в носу. И только Анечка не растерялась: кинулась к старушке, обняла ее крепко и так весело, от души расцеловала в морщинистые мокрые щеки, что все заулыбались опять — и слезы, подступившие было к глазам, так и остались непролитыми.

Анечкина хозяйка слыла в округе знахаркой и травницей, умела заговаривать, снимала «сглаз». Нередко пациент, которого утром Дорохов видел на приеме у Кондырева, вечером вдруг объявлялся у нее. Но узнав об этом, хирург лишь посмеивался добродушно: «Пускай пошепчет, хуже не будет. Может, и вправду вылечит — нам меньше работы». Аню она учила, как травами и заговорами сберечь красоту, шептала над какими-то зельями, колдовала с настоями, заставляла мыть волосы ромашкой, умываться по утрам собранной с каких-то особых трав росой. Аня слушала ее с интересом, расспрашивала, все записывала в тетрадку и даже решила заняться народной медициной всерьез.

Настои ли эти так действовали, таежный ли воздух, солнце ли, золотившее ее кожу, но такой изумительно красивой, как в Усть-Алыше, Анечка не была еще никогда. Дорохов буквально балдел от нее и, будь они далеки, как прежде, дня бы не выдержал таких мучений, сбежал бы на первом попутном грузовике.

Но в том-то и дело, что все было не так! Совсем иначе все было у них. И эта чудесная перемена в их отношениях произошла так легко, так естественно, что он сам до конца в нее поверить не мог. Просыпаясь по утрам, еще сонный, с закрытыми глазами, он начинал улыбаться от счастья, даже не осознав еще, в чем оно. А вспомнив, что Анечка здесь с ним, в Усть-Алыше, что, если захочет, может увидеться с ней хоть сейчас, пружинисто вскакивал с постели, готовый пуститься по комнате в пляс.

В своем белом крахмальном халатике, туго стянутом на талии, в белой шапочке на золотистых от утреннего солнца волосах, она страшно нравилась ему — во всем белом он особенно ее любил. Чистота белого очень шла к ее темно-синим, фиалковым глазам, а они у нее (погода все дни стояла солнечная) были яркими, как никогда. Он шалел от этой жизни, от ежечасного Анечкиного присутствия рядом, от возможности видеть ее, говорить с ней, касаться ее, от блаженного сознания, что это не кончится завтра, а продлится еще много-много дней. Да и в городе все теперь станет иначе, ведь и там она будет с ним.

Все то, что было прежде, все эти комплексы, мученья, психозы — все казалось теперь нелепостью, бессмыслицей, каким-то кошмарным сном. Он сам выдумал эти проблемы, воздвиг все эти преграды, с упорством завязатого психопата создал для себя тот безнадежный проект. Выстро-

ил в душе какую-то мрачную темницу и сам же запер себя в ней. Но вот, благодаря счастливой случайности, забросившей их вместе в этот удивительный Усть-Алыш, двери темницы распахнулись и он вырвался на свет. То, что казалось невыносимым, — свершилось, недоступное вдруг приблизилось, нереальное стало явью. И каждый день повторялось так просто, так естественно, как будто иного и быть не могло.

Утром они встречались в больнице, днем пили чай вместе со всем персоналом в ординаторской, а вечером шли в кино или на танцы в клуб. И кроме того, бесчисленные случайные встречи то просто на улице, то в палате, то на больничном дворе... И всякий раз сияющая Анечкина улыбка, ласковый взгляд, короткий, на ходу, бессвязный, но счастливый разговор. А ночью допоздна на лавочке во дворе, под кустом доцветающего жасмина, под огромным, усеянным звездами небом, которое приобрело в разгар лета какую-то особую огромность и глубину.

На третий день они уже целовались на лавочке, и все произошло так естественно и неотвратно, точно иначе и быть не могло. Когда в тот вечер безотчетно, сомнамбулически он обнял ее и увидел обращенное к нему с полураскрытыми губами и медленно закрывающимися глазами Анечкино лицо, он понял, что счастье достигается легче и проще, чем ему представлялось, что почти даром дается, если только вообще дается оно.

Целовались они много и упоенно, особенно после того, как Аня научила его целоваться по-настоящему — оказалось, что это тоже надо уметь. «Вот так!.. — всем своим нежным прохладным ртом прикладывая к его непослушным, разгоряченным губам, шептала она. — Вот так... и-и... Вот так...» — И шаловливым юрким язычком щекотала его язык, доводя его этой лаской до умопомрачения. «Ты-то где научилась?» — придя в себя, ревниво попытывался он. — «Глупый, это вас надо всему учить, а мы все умеем от рождения». Его и заедало слегка, и вместе с тем еще желанней делалась она с этим оттенком соблазнительной опытности, хотя всего-то на полгода и старше была.

Днем она не давала себя ласкать, даже если оставались одни. Зато ночью (а с лавочки они вскоре перебрались к нему в мансарду) позволяла ему и себе очень многое. Целуясь, она расстегивала ему рубашку, ласкала шею растопыренными, как у пианистки, чуткими пальчиками, медленно поднимаясь к затылку и вновь опускаясь до ключиц. Она заставляла его напрячь бицепсы, втянуть живот и любовалась им, трогая ладонями затвердевшие мышцы, гладила плечи, ласкала спину и грудь. Ей нравилось, что у него интеллигентное лицо, но сильные рабочие руки и крепкие плечи, что в нем, как однажды она сказала, «еще чувствуется мужицкая кровь».

Получив первые уроки от Анечки, он быстро начал совершенствоваться и сам. Сначала робко, потом все смелее и решительнее он обнимал ее, привлекал к себе, с наслаждением зарывался в ее густые, пахнущие ромашкой волосы, целовал щекочущие ресницами полуприкрытые глаза, бархатистые, всегда чуть прохладные щеки, ловил губами

нежные мочки ушей. Она запрокидывала голову, и тогда шею можно было целовать очень долго от гладкого округлого подбородка до самой ключичной ямки, в глубине которой бился часто-часто трепещущий Анечкин пульс. Его поражал — к этому он так и не мог привыкнуть — немыслимо щедрый избыток ее красоты, роскошь того, что дала ей природа. Зачем давать столько, если одной только крохотной родинки, что темнела слева на шее, было достаточно, чтобы его потрясти?..

Незаметно они заходили в этих ласках все дальше и дальше. Он уже знал изумительную податливость ее нежных, окруженных смугло-розовым загаром грудей, головокружительную доступность весомых, плотно-округлых бедер, все чаще несмело, почти случайно, касался самых потайных уголков.

Бывало и так, что, выключив свет, она сбрасывала с себя всю одежду и, мраморно-белая в лунном свете, как нагая статуя, предстала перед ним. И странно, это не вызывало в нем вожделения, скорее, какой-то благоговейный восторг. Она не стеснялась своей наготы. «Что естественно, то не стыдно», — говорила с невозмутимостью медички, и он, конечно же, соглашался с ней. Себя он не считал хорошо сложенным, немного смущался какой-то мосластой, юношеской своей худобы, она же так прекрасно была сложена, что одежда, казалось, и не нужна была ей. В такие минуты Аня не позволяла ему приближаться к себе. Лишь на расстоянии он мог смотреть на нее, но и это становилось сладостным потрясением.

Но не всегда он был тих и послушен. Иной раз, не в силах совладать с собой, бросался к ней, рывком притягивал к себе, но, отбиваясь, уклоняясь от этих объятий, она в последний момент ловко выскальзывала из них, быстро надевала юбку и кофточку, включала свет и, то шлепками отгоняя его, тянущегося к ней, то ласковыми поцелуями утешая и успокаивая, в конце концов заставляла смириться и отступить. «Ну что ты, милый, — говорила ласково-непреклонно. — Всеу свое время. Нельзя, отстань!..» И сладостно уверенный, что время придет, и очень скоро, еще здесь, в Усть-Алыше, он покорялся, смирял себя, хоть это и непросто давалось ему.

Но однажды он все-таки не позволил ей выскользнуть, сумел удержать в своих крепких объятиях и, бешено целуя, почувствовал, как сопротивление ее вдруг ослабло, сменилось чем-то иным. Пальцы ее сквозь рубашку впились ему в спину, по всему телу прошло содрогание, и слабый прерывистый стон вырвался из груди. Он был счастлив и почти напуган, что довел ее до этого, а она, непривычно смущенная и притихшая, ушла в тот вечер раньше обычного, не позволив проводить себя даже до ворот.

Странно, но не так уж и стремился он в те дни к полной близости. Гораздо меньше, чем прежде, когда и взглянуть-то на нее толком не смел. Раньше, если приснится нечто подобное, тут же просыпался в горячем поту. А тут держал ее в объятиях, целовал, где хотел, а после этого в короткие летние ночи спал как убитый — глубоким, крепким, счастливым сном.

Случилось чудо — он исцелился, он был здоров. Своей нежностью Анечка излечила его. Не было и в помине прежних зажимов и комплексов, даже не верилось — как рукой сняло. Он точно заново родился. Прекрасно было ощущать себя смелым, раскованным, дышалось как-то необычайно легко. Было счастливым открытием, что не только он, но и она может терять от него голову, трепетать в его объятиях — что казалось прежде немыслимым ему. И радость этого открытия, радость вновь обретенной свободы помогала сдерживать себя. Их свидания лунной ночью в мансарде были точно ставшие реальностью сны, но реальность оказалась прекраснее снов, и это смирало в нем грубую чувственность. Он понял, что не любил Анечку прежде, а только хотел, что лишь теперь он любит по-настоящему.

Все в то лето удавалось ему, любое дело горело в руках. Отношения с Кондыревым сразу сложились хорошие, а после совместной рыбалки и субботних бань с рюмочкой сделались такими, что лучше некуда, прямо-таки задушевными стали они. Дорохову, собственно, и не нужна была эта медбратовская практика: подрабатывая по вечерам в хирургическом отделении, он еще на втором курсе освоил все. И Кондырев понял это, с ходу оценил. Вместо обычного практиканта Алексей стал при нем чем-то вроде хирурга-стажера, временами заменяя его за операционным столом. Вправив больному грыжу или удалив аппендикс, Иван Исаич говорил, отдуваясь: «Ну, давай, лекарь Дорохов, теперь шей», — и уступал ему место у операционного стола. А проследив, как Алексей делает шов и накладывает повязку, бросал свое обычное: «Сойдет для сельской местности!» — что означало, однако же, высшую похвалу.

С первых же дней в институте Алексей решил, что будет хирургом, только хирургом и больше никем. Предметы, не имеющие прямого отношения к хирургии, мало интересовали его, хотя с всегдашней своей педантичной добросовестностью он учил и сдавал на «отлично» все. Пять операций, обязательных для любого врача, он знал в теории назубок, но впервые взял в руки скальпель лишь здесь, в Усть-Алыше. Рядом с Кондыревым все казалось еще проще, доступней, и, ассистируя ему при той же аппендэктомии, Алексей в любой момент готов был взять скальпель в руки и продолжить операцию вместо него. Но в тот день, когда и вправду пришлось в одиночку приняться за дело, растерялся и струсил порядочно.

С раннего утра на директорском «газике» Кондырев уехал в районный центр выбивать для больницы какие-то фонды, а к обеду вдруг потемнело до сизых сумерек и ударил такой густой, такой обложной ливень, что все дороги в полчаса развезло.

Тучи с запада все ползли и ползли тяжелыми эшелонами, обрушиваясь на поселок все новыми потоками проливного дождя. Ливень хлестал и хлестал, хотя, переполнив канавы, вода сплошным озером уже стояла на улицах и огуречные грядки в огородах полностью скрылись под водой.

На простой телеге, с комьями грязи на колесах, которую едва волокла запаренная лошадь, двое парней привезли в больницу отца, лес-

ничего со 2-го участка, темнолицего, жилистого, бородатого мужика. Промокший до нитки, тот охал и стонал, держась с перекошенным от боли лицом за свой правый бок.

Часть двадцатикилометрового пути, посреди которого на них налетел ливень, больной прошел пешком, помогая лошади преодолеть грязь и, это, конечно, усугубило положение. Уже при элементарном пальпировании стало ясно, что у мужика острый приступ аппендицита: боли в области слепой кишки, температура 38,5, пульс за сто, а язык сухой. При таком анамнезе больного срочно направляют на операцию, а тот еще и перемогался у себя целые сутки, надеясь, что просто съел что-то несвежее и скоро сам по себе живот пройдет. Он и теперь оперироваться не хотел — все просил дать ему каких-то желтеньких таблеток, от которых боль как рукой снимет, и отпустить подобру-поздорову домой.

Дозвонившись через жуткий треск и помехи до районной больницы, Алексей попросил позвать Кондырева. Тот, к счастью, оказался рядом.

— Говорил я этому обалдую еще в прошлый раз: резать надо. Так нет, дай ему таблеток! — разразился руганью врач. — Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, черт бы его побрал!.. Слушай, Алексей, как дождь кончится, я сразу с бригадой приеду. А ты пока глаз с него не спускай. Снимай показания пульса, температуру и сообщай мне сюда в район. Только бы не перитонит, не дай бог.

А дождь все лил — вспухшая от бесчисленных ручьев речонка повредила рядом с райцентром мост, раскисшая на все сорок верст дорога местами вообще была непроезжей, и сколько ждать леснику операции, оставалось неясным. Боли усиливались, мужик вопил уже благим матом, кричал, что кишка болит, что, мать-перемать, пусть дадут ему этих желтых таблеток, а то он им всю больницу тут разнесет. В пудовых кирзовых сапогах, облепленных грязью, в брезентовом дождевике с капюшоном, Дорохов бегал под проливным дождем из больницы в контору, где был телефон, и обратно в больницу, ошалевший, взмыленный, чувствуя себя уже не знающим лекарем, как рядом с Кондыревым, а бесполезным, ни на что не годным мальчишкой, недоучкой-студентом, каковым он и был. Прижимая трубку к уху обеими руками, он слышал, как Кондырев и главврач районной больницы обсуждают положение, решая, что делать. «А справится молодой?..» — В ответ что-то неразборчивое. — «А где гарантия?..» — «Гарантию дает только страховой полис...» — «Ты его знаешь, а я нет. Тебе в случае чего отвечать». — «Знаю дело, мы же стрелочники...» Главврач ушел куда-то еще звонить, а в следующий раз сквозь треск и шипенье Дорохов услышал, холодея: «Слышь, Алексей, давай!.. Твое дело аппендикс отнять и кисетный шов наложить. А брюхо ему зашить тебе и Клава поможет. Советуйся с ней. Она в этом деле мастак. А распогодится, сразу вышлем машину с бригадой».

Когда в половине первого ночи больного положили на операционный стол, ассистировала Дорохову фельдшерица Клава, а на подхвате у них была Анечка. Страшно было вскрывать брюшную полость, от на-

пряжения пот градом катил со лба, но, действуя уже непосредственно в операционном поле, Дорохов и сам не заметил, как спало напряжение, как весь ушел в работу, как ясно и четко заработал мозг. Добрался до отrostка быстро — тот весь был сине-багровый, еще бы час-другой и все — перитонит. Наложил кисетный шов, перевязал основание отrostка лигатурой и, тщательно все еще и еще раз проверив, погрузил культю в просвет слепой кишки. Операцию делали под местным наркозом, больной страшно скрипел зубами и крыл их матом от боли, но не дергался, дотерпел. Ничего непредвиденного, слава богу, не встретилось, но тридцать-сорок минут операции показались Дорохову часами из-за жуткого напряжения и большой траты физических сил.

Все, что он делал в ту ночь, помнилось отчетливо, каким-то видением, но Анечкины глаза и ее маленькие руки в резиновых перчатках запомнил на всю жизнь. Каждые две-три минуты она осторожно прикасалась марлевым тампоном к его лбу и щекам, залитым потом, и эти частые нежные прикосновения вместе с любящим ободряющим взглядом добавляли ему сил. Раз или два он заставил ее сделать это без всякой надобности, наслаждаясь ее взглядом и нежной покорностью этих близких, любимых рук.

Закончив операцию, переложили больного с помощью дюжих его сыновей на каталку и увезли в отдельную палату. Дело было сделано. До чертиков усталый, прислонившись к стенке, Дорохов отдыхал в коридоре, и Анечка сама вложила ему в губы сигарету, поднесла зажигалку. А когда, после первой глубокой затяжки, сладко выдохнул и прикрыл глаза, отняла сигарету и поцеловала в губы, шепнув восторженно: «Ну, ты даешь, Алешка! Оперировал, как настоящий хирург».

Всю ночь он не сомкнул глаз у постели больного, но прибывшие утром Кондырев и еще один врач из района, осмотрев того, остались довольны. Лесник всю ночь крепко спал, температура не поднялась, пульс был нормальный.

На всякий случай его увезли в районную больницу, но на шестой день тот выписался и проездом на свой участок зашел поблагодарить Дорохова с таким аккуратным ровным шовчиком на животе, будто не студент его оперировал, а матерый со стажем хирург. Приятно было посмотреть на свою работу, и Дорохов четверть часа без всякой нужды пальпировал сосредоточенно подвздошную область, а больной, лежа на спине с задранной рубашкой, говорил смущенно: «Ты, парень, того... не обижайся, что я тогда матом на тебя... Дюже сильно прихватило. Но теперь все ладом. Ни хрена уже не чувствую. Нигде не болит. Ты, слышь, того... Приезжай ко мне на участок. У меня пасека есть. На охоту, слышь, сходим. Медвежатиной угощу!..»

Как раз в тот день, когда дороховский «крестник» выписался из стационара, прикатил на собственном ярко-красном «москвиче» корреспондент областной «молодежки» Юлий Сушеня. Фамилию его Алексей знал по статейкам и репортажам в газете, но лично не был, конечно,

знаком. По его душу приехал: писать заметку о нем, об этой самой истории с аппендицитом. Дорохов занервничал — глупо как-то предстать в роли такого газетного героя, понятия не имел, как себя с ним вести. Но все оказалось проще, чем представлял, от него ничего и не требовалось. Сушеня даже расспрашивать ни о чем не стал, а так, щелкнул несколько раз своим «Зенитом», черкнул пару строк в блокнотик — на том дело и кончилось.

С Анечкой они оказались старыми знакомыми, жили по соседству на улице Жданова, родители их с давних пор были дружны. Она чмокнула Сушеню при встрече, называла по-свойски Юликом, и хотя газетчик был лет на десять-двенадцать старше и на макушке у него уже явственно просвечивала плешь, обращалась с ним запросто, как с ровней. У нее было много знакомых старше ее, Дорохов это и раньше замечал. Несмотря на возраст и солидную профессию, Сушеня оказался очень прост в общении, а в клетчатой ковбеечке и фирменных, очень редких по тем временам джинсах вообще имел вид «клевого чувака». С первого взгляда он не вызывал особой симпатии: у него были тонкие губы и остренькая, лишенная подбородка челюсть, как у грызуна, но непринужденные манеры и шутивно-простецкий тон быстро располагали к нему любого. Сушеня беспрерывно хохмил, сыпал жаргонными словечками и весело издевался над их деревенским житем-бытьем. «Ты, мать, совсем уже сельской стала, — подшучивал он над Анечкой и, передразнивая местный говорок, частил: — Корову-т сябе яшо не купила здесь? Творожок-то, чай, слаще свой!» Смеясь, они распевали втроем куплеты из популярного на сельхозработках студенческого фольклора:

За овином сидишь — юбка с разрезом,
И корову доишь с хвостом облезлым.
Ах ты, чува моя, чува, тебя люблю я!
За твои трудодни дай поцелую.

Дорохову всегда нравились хваткие, компанейские и уверенные в себе люди, хоть сам он был не такой. Нравились те, кто дело делал играючи, никогда не терялся, не комплексовал. Писать для газеты казалось ему ответственно, а Сушеня вел себя так, точно приехал не на работу, а просто расслабиться, отдохнуть, покайфовать на лоне природы денек.

Они с Анечкой много болтали об общих знакомых, сыпали фамилиями, известными только им, озабоченно толковали о каких-то перемещениях в областном партаппарате, о делах ответственных, но вовсе не знакомых Дорохову людей. Сушеня сказал, что на уровне Совета министров уже решен вопрос о строительстве в городе двух новых крупнейших заводов общесоюзного значения. Миннефтехим и Минтяжмаш выделяют колоссальные средства, с началом строительства ожидается значительный приток рабочей силы — город станет миллионером (ему давно уже не хватало каких-нибудь сорока тысяч жителей), а это новые возможности: усиление промышленного и строительного отделов об-

кома, расширяется номенклатура главков, открывается новая газета. Их заводделом переходит туда ответственным секретарем, а Сущеню прочат на его место.

Юлий, ясно, журналист — ему такие вещи надо знать. Но почему Анечка так заинтересованно вникает — этого Дорохов не понимал. Сам он в их разговорах не участвовал, а, слушая, томился и скучал. Для него все эти управленческие структуры, органы власти были чем-то абстрактным и непонятным, да и неинтересным, по правде сказать. Никогда не мог до конца уяснить, чем, например, обком отличается от облисполкома, а райсобес от какого-нибудь облпрофсожа, и каковы, соответственно, их функции. Уже сами эти аббревиатуры требовали какой-то расшифровки, но и произведя ее, трудно было понять, чем же конкретно там занимаются, к какому ведомству та или иная «контора» принадлежит, как соотносится с другими, кем командует, кому подчиняется, а главное, какое отношение имеет все это к нему.

У него, Дорохова, был простой, реальный склад ума, а именно конкретная деятельность всех этих организаций и учреждений плохо прослеживалась и реально была не видна. Зачем-то нужны они, раз существуют, но можно, наверное, обойтись и без них. И видя, как другие серьезно интересуются этим, он их серьезности не понимал. Растить хлеб — это серьезно, поднять в воздух авиалайнер — тоже серьезно, лечить людей — еще как! А быть служащим, хоть они нужны, конечно, какое-то эфемерное, не совсем серьезное занятие. Ведь в реальной жизни без многих таких работников можно обойтись. Не перестают же в больницах лечить, ставить диагноз, делать операции оттого, что замзав облздравотделом ушел на пенсию, а другого на его место пока не назначили. Для больного в палате, для рядового врача и санитарки это ровным счетом не имело никакого значения.

У него было ощущение, может быть, наивное, что многие из этих структур совсем не нужны, что именно малопонятностью своего устройства и назначения они сами же это и подтверждают. Насколько яснее, определенной, конкретнее выглядит рядом с ними любая природная система, взять хотя бы тот же человеческий организм. Здесь все понятно, разумно, каждый орган занимает свое место, имеет свои четкие функции: сердце качает кровь, печень очищает ее, легкие снабжают ткани кислородом. Ничего лишнего, случайного в организме нет — не то что органы административные (тоже ведь «органы»), где что ни год производились какие-то реорганизации, таинственные перемены, перестановки, едва ли необходимые в самом деле и вызванные непонятно чем. Упразднялись министерства, вводились совнархозы, обком партии делился на два: промышленный и сельскохозяйственный. Потом это отменялось как ошибочное, и два обкома опять сливались в один. Совнархозы вдруг снова исчезали, а вместо них появлялись прежние министерства, но теперь уже в большем количестве. Притом что в реальной жизни ничего, собственно, не менялось — она как прежде, так и теперь ни шатко ни валко шла своим чередом.

Имея обо всех этих делах весьма смутное представление, он не видел в том особой беды. Пусть разбираются, кому по должности положено, а ему достаточно просто лечить людей. Чего ты стоишь, должно быть видно на деле: стань классным врачом, выиграй шахматный турнир. Он понимал, конечно, что в жизни не все так просто, что тебя могут не допустить к ответственной операции, не заявить на этот турнир, но воспринимал подобные случаи как исключение — пока ты заурядный разрядник, такое может случиться, но сделайся мастером — и все поймут, кто ты есть. Как и многие в его поколении, он вдохновлялся образцами книжно-киношных интеллигентов того времени. «Дело, которому ты служишь», «Девять дней одного года», «Иду на грозу» — ему нравились эти широко известные книги и фильмы о талантливых ученых, инженерах, о настоящих, широко образованных врачах. Он и сам хотел быть одним из них, таким же классным специалистом, настоящим интеллигентом, хотел добиться успеха — втайне он был очень честолюбив.

Однажды у них с Анечкой зашел об этом разговор, но они тогда не поняли друг друга. Она сказала, что шансы пробиться у него есть: биография подходящая, родом он из глубинки, происхождение рабоче-крестьянское, легко будет в партию вступить. Растолковала ему значение анкеты. Даже то, что первый секретарь его земляк и в аппарате обкома из его родного городка много людей, было, по ее словам, немаловажно. Дорохов показали нелепыми, даже забавными ее рассуждения, как будто все это и впрямь играет какую-то роль. Он не удержался и прямо ей об этом сказал. Она же в ответ сама высмеяла его как наивного простака, — даже не ожидала, что он такой. Он обиделся тогда, но спорить не стал. Анечкины родители (а та на них часто ссылалась) просто отсталые, с шаблонными взглядами люди — чувствуется влияние определенной среды. Может, в сталинскую или в недавнюю хрущевскую эпоху так оно и было, но они-то, молодые, живут в другие времена. В стране начинается хозяйственная реформа, повеяли новые ветры. Старого Кукурузника, который немало дров наломал, наконец-то отправили на пенсию. Способных людей, классных специалистов повсюду начинают все больше ценить.

В стране разворачивается научно-техническая революция; в космосе, да и во многих других областях науки мы первые в мире — в Новосибирске вон какой отгрохали Академгородок. И в медицине: новые методы лечения, успешные пересадки органов — еще немного и первая в мире пересадка сердца будет сделана у нас. Те времена, когда «интеллигент» было ругательным словом, а партбилет заменял ум и знания, слава богу, уже прошли. И совсем не обязательно вступать в партию, козырять анкетой, достаточно в деле себя показать. Просто Аня росла в служивой, чиновничьей, можно сказать, семье — вот и усвоила эти замшелые взгляды. Ни к анкете, ни к общественной работе никто уже всерьез не относится — не от этого зависит карьера, не те времена.

Сушеня не показался ему образцом настоящего интеллигента, был для этого как-то мелковат. Но он уважал таких, как этот журналист из

«молодежки» — их реальный мир казался чем-то шире его собственно-го, ограниченного лишь стенами института и клиники, одной лишь студенческой средой. Тем более что журналист, которого Анечка называла то Юликом, то в шутку Кай Юлий Сушеня, не выпендривался, не козырял своей опытностью и осведомленностью, а заметив, что Дорохов молчит и скучает, менял тему, стараясь и его вовлечь в разговор. Да и Анечка умела ободрить ласковой улыбкой, а при мысли, что вечером Сушеня уедет, а они пойдут вместе в кино, а потом до полуночи будут целоваться в мансарде, Дорохов еще больше повеселел. Он даже с симпатией начинал относиться к этому плешивому «чувачку» в джинсах, у которого почти все уже позади — не то что у них с Аней.

Прекрасно они провели день втроем: загорали, купались, собирали землянику в бору, рыбачили. Успели даже партию в шахматы сыграть. Сушеня начал уверенно, он был сильный игрок, но в эндшпиле все же Дорохову проиграл. А к вечеру сварили уху на костре, позвали Кондырева и выпили под это дело по стопочке. Хорошо посидели. Юлий привез с собой импортный «кассетник» — большая редкость по тем временам — и музыка звучала вокруг них целый день: Клифф Ричард, Пресли, «битлы». Много было шуток, смеха, живых разговоров, острот. Приезд этого разбитного газетчика привнес какую-то свежую струю в их хорошую, но не слишком богатую развлечениями поселковую жизнь, остался приятным воспоминанием в ней.

Вечером Сушеня уехал в район — у него еще было два задания: написать о передовой свинарке в соседнем колхозе и дать информацию о районной партконференции. Чтобы «бензин зря не жечь», как выразился он. Дорохов с Аней проводили его до околицы. Обменялись на прощание крепким рукопожатием. «Ну, будь здоров, Алекс! — сказал журналист. — Звони, заходи. Редакция знает где? Не теряй контакта!» Аня на прощанье чмокнула его в щеку, обняла и чмокнула еще раз. «Смотри, не изменяй мне тут с Дороховым!..» — шутливо пригрозил он в окошко, а она засмеялась: «Ну ладно, катись!..» И красный «москвич» укатил в облаке проселочной пыли.

— Ну как тебе Юлик? — спросила она, возвращаясь с околицы. — Не правда ли, классный кадр?

Дорохов стал искренне расхваливать журналиста, его остроумие, компанейский характер, сказал, что рад был познакомиться с ним.

— А ведь это я подала ему идею написать о тебе, — сообщила Аня. — В прошлую пятницу, когда звонила домой. — И видя, как он недовольно поморщился, назидательно добавила: — Нужно уметь использовать обстоятельства. В личном деле такая статейка не повредит.

Алексей не стал спорить. Он очень соскучился по ней, по ее теплым губам, шелковистым волосам, по ее нежным объятьям и опасался, что, если возникнет спор, она может уйти после кино слишком рано и вечер сегодняшний для него пропадет.

— Я хочу, чтобы вы подружились с Юликом, — сказала она задумчиво. — Я рада, что он понравился тебе.

Это прозвучало так, словно их отношения были уже предрешены и пора вводить друг друга в круг общих дел и знакомых. И это было прекрасно! Как много вместе с Аней в его жизнь входило нового, интересного! Удивительно расширился мир, словно раскрывался ему навстречу.

Заметка в областной «молодежке» появилась вскоре — не прошло и недели. Сущеня прислал вырезку и несколько своих снимков. В заметке описывалось, как скромный студент-медик, рядовой комсомолец, ничем не выделявшийся среди товарищей, в решительную минуту не дрогнул, не растерялся — сделал в сложных условиях операцию тяжелобольному леснику, чем спас жизнь передовому труженику лесного хозяйства, отцу четверых детей. В этом поступке, внешне неброском, виден будничный героизм советских людей, каждый из которых готов выполнить свой долг до конца, будь то на дрейфующей станции в Ледовитом океане или в скромной поселковой больнице. Упоминалась и Аня. Отдавалось должное институтским профессорам и преподавателям, которые растят себе достойную смену. В связи с этим автор посвятил целый абзац заведующему кафедрой профессору Крючкову, которого Алексей в общем-то недолюбливал, о котором даже не было разговора. Упомянул и ректора в том смысле, что его заботами процветает институт, хотя ректор, престарелый членкор, едва ноги таскал и почти не появлялся в институте. Но не было ни слова о руководителе практики Ларионове и, что особенно досадно, о Кондыреве, который за какой-нибудь месяц так многому его научил.

Заметка Алексею не понравилась. Он выглядел в ней и на снимке в газете каким-то примитивным, деревянным, словно топорно сработанный манекен. К тому же неудобно было перед Кондыревым и Ларионовым, точно он проявил неблагодарность к ним, подлизываясь при этом к Крючкову. Но Анечка была другого мнения. Ничего страшного: Ларионов и так будет доволен, что его студента хвалят в газете, а Крючков — человек нужный, влиятельный, может и на кафедру к себе взять. «Это для тебя хорошее “паблисити”», — сказала она Дорохову. А когда он ответил, что само это слово ему не нравится — пустозвонное и скользкое — да и вообще выставяться ни к чему, сделала выговор за неотесанность и грубость.

Не нравился ему стиль этой заметки, написанной безликим, шаблонным языком. Сущеня был явно неглупым человеком, остроумным в разговоре, но писал плохо. Конечно, не ему, Дорохову, судить, но видно же, если живо написано, а тут лишь примитивные газетные штампы,

Лучше удались другие снимки, сделанные журналистом просто на память. В операционной, где Дорохов вместе с Аней в белых халатах; на озере в лодке — оба шурят на солнце, а вокруг на воде много ярких солнечных пятен. Хорош и дом тети Поли с мансардой, с резными затейливыми наличниками, которые так нравились ему. А снимок, где они с Аней в горнице за самоваром, а на заднем плане сама тетя Поля с чугуном в руках у полукруглого зева русской печи, был хоть и темно-ват, но очень колоритен, точно сошлись прошлый и нынешний век.

Хорошие, выразительные получились снимки. Он долго потом хранил их у себя, пока однажды в один из кризисов не разорвал на мелкие клочки и не выбросил в мусоропровод.

Тех писем, о которых упоминала Марина, было двенадцать. Он писал их в хирургическом отделении по ночам, когда дежурил, подрабатывая в клинике. У него был в конце коридора небольшой столик с лампой-грибком, но, разложив там учебники и тетради для конспектов, он, вместо того чтобы готовиться к семинару, письма Ане писал. Часто приходилось отрываться: то укол сделать, то судно больному в палате подать. Но возвращаясь к своей лампе, излучавшей в ночи уютный конус света, он забывал обо всем и принимался писать дальше. У него было двенадцать одинаковых конвертов с портретом улыбающегося Гагарина в скафандре (незадолго до этого Юрий Гагарин погиб), и каждое письмо он клал в такой конверт, запечатывал, но не отсылал, прятал на дно своего чемодана — больше в общаге спрятать было некуда. С этим чемоданчиком письма и оказались в Усть-Алыше, там же, где Аня, которой они были адресованы.

Ничего особенного в этих письмах не было. Просто, зная, что Аня их никогда не прочтет, он писал ей все, что хотелось сказать, но что, немея в ее присутствии, сказать не решался. На бумагу же все ложилось легко и свободно. Первое он даже собирался послать, но в последний момент передумал. Однако в следующее дежурство написал еще одно, потом третье, потом четвертое. Сама идея ему понравилась — заменяла недостающий контакт. В письмах, которые не дойдут до адресата, можно ведь все, что думаешь, все, что чувствуешь, написать — и никаких неприятных последствий. Так, вечер за вечером, и накатал он двенадцать писем, каждое все с большим чувством и пылом, а в последнем было уже почти открытое признание в любви.

Тогда он еще и поэзией увлекался, и в каждом письме были какие-то стихи. В последнем — его любимое, элюаровское, которое помнил наизусть.

Чудеса из чудес — приливы, отливы!
Море вдаль откатилось лениво, а ты,
Как растение морское, под ласковым ветром
На прибрежном песке погрузилась в мечты.

Чудеса из чудес — приливы, отливы.
Море вдаль откатилось лениво.
Но остались в глазах твоих
Две волны — их море тебе подарило.

Две волны остались в глазах твоих,
Чтобы я утонул, погружаясь в них.

Он был уверен, причем стопроцентно, что Аня никогда не прочтет этих писем. Но ошибался — сам же ей и отдал. Это произошло в конце

практики, накануне отъезда, когда скорое расставание добавило грустную нотку в их дни. На каникулы ему предстояло уехать домой, но мысль об отъезде приводила в уныние: как можно расстаться хотя бы на месяц, он уже просто не представлял. Да и после, когда осенью начнутся занятия, не вернется ли в городе все на круги своя? Ведь не будет уже многого, что сблизало их здесь, в Усть-Алыше, зато появится то, что разделяло их там.

В их среде не принято было говорить о любви, само это слово всерьез не употреблялось. Да и зачем слова, когда ясно и так, когда потерян уже счет поцелуям. Но однажды то ли в шутку, то ли всерьез Аня упрекнула его, что он не говорит ей о своих чувствах, не клянется, не пишет любовных писем, стихов. То ли дело в прежние времена, когда мужчины были романтичнее и просто красноречивей, читали избранницам хотя бы чужие, если уж сами сочинять не умели, стихи. В ответ у него хватило глупости упомянуть о тех письмах, и она загорелась: «Покажи!» И вынудила его в тот же вечер отдать их все до последнего.

Он в общем-то не пожалел, даже рад был, что так получилось. Прочитав эти письма, Аня стала еще нежнее и ласковей с ним, но при этом появилось и нечто новое в отношении к нему: она стала серьезней, задумчивей, немного иначе вела себя с ним. Какая-то легкая виноватость сквозила в ее поведении, в тех ласках, которые дарила ему. То она вдруг начинала рассуждать, что, увы, жизнь сложна и мы сами, бывает, не принадлежим себе, то называла брак мещанским предрассудком, уверяя, что из нее получится очень плохая жена, то начинала придумывать, на какой бы девушке ему, Дорохову, стоило жениться. Все это скорее в шутку, чем всерьез, да и многие девушки любят рассуждать в таком духе — эти разговоры он пропускал мимо ушей. Пожалуй, лишь тон чуть-чуть настораживал, но в тоне он не очень-то разбирался тогда.

А в общем, жизнь по-прежнему была замечательной — и не верилось даже, что могут быть мрачные дни. Откуда им взяться, если единственное, чего не хватало, — Анечкина любовь так счастливо досталась ему? Все остальное будет, все остальное для него пустяки. А с Аней они теперь никогда не расстанутся, и в городе она будет с ним. И сознание этого, что было еще вчера так несбыточно, вызывало ощущение счастья и какой-то особенно острой, как после выздоровления от тяжелой болезни, полноты и радости бытия.

Таким счастливым, как в те дни в Усть-Алыше, он не был уже никогда.

Долгие годы потом, стоило ему увидеть лунную дорожку на воде, как сразу вставала в памяти последняя их ночь в Усть-Алыше; шалаш на острове, запах сена, пустая лодка у берега под луной...

Уже отплыв, хватились, что не взяли с собой ни наживки, ни удочек, хотя есть ведро для ухи. Смеялись, что так отправились на рыбалку, но именно то что никакой рыбалки не будет, а будет что-то другое, о чем молчали они сами и таинственно молчала эта тихая, объявшая всю вселенную ночь, — именно это кружило голову, дурманило сильнее вина.

Весь последний день прошел в сборах и хлопотах, в оформлении бумаг, в выяснении, как ехать завтра на станцию, в прощальных визитах и разговорах, в долгом вечернем чаепитии с обеими хозяйками за общим самоваром. И хотя прощались они с поселком, а не друг с другом, было грустное ощущение, что кончается многое и для них. Их с Аней расставание тоже было не за горами: вернуться в город и тут же разведутся до сентября. Дорохов ждал момента, чтобы улизнуть из-за стола и, когда разомлевшие от наливки и чая старушки затянули: «Пое-едем, кра-со-о-тка ката-а-ться!» — он шепнул Ане: «Поедем?» — и она ответила с улыбкой: «Махнем!»

Она ждала его на крыльце в своем синем облегающем тренировочном костюме, в коротких резиновых сапожках и в белом платке, по-деревенски туго повязанном на лбу и щеках. Было что-то монашеское в этом белом, закрывающем пол-лица и шею платочке, из-под которого загадочно мерцал темный взгляд. Но совсем не по-монашески обрисовывал ее бедра и грудь этот тонкий трикотажный костюм, а улыбка была скорее бесовской. Не всходя на крыльцо, Дорохов плотно обнял ее ноги повыше колен, она оперлась ему на плечи руками, и так он нес ее до самой калитки, запрокинув голову, ощущая колеблющуюся тяжесть ее гибкого тела, от которой кругом шла голова.

Нашли в камышах, посвечивая фонариком, полузатопленную древнюю плоскодонку, с черными натеками смолы на бортах. Дорохов ведерком вычерпал воду. На вслах вышли на темную озерную гладь, местами осветленную луной, местами подернутую желтоватым туманцем.

Была та ясная, уже августовская ночь, с очень темным, но чистым небом и россыпью звезд на нем, когда, вместе с тонким лунным серпом, все созвездья видны отчетливо. И оттого при черном небосводе много было призрачного бисерного света на темной воде — сонмом блесков и мерцающих искр отражала она звездное небо, точно стремясь неверной гладью своей повторить его вечный, ровно сияющий строй.

— Не хочется уезжать, — медленными гребками двигая лодку вперед, сказал он. — Хорошо здесь! Давай останемся навсегда?..

— Ну что ты! — покачала она головой. — Немного пожить, как на даче, хорошо. А всю жизнь в этой сельской глуши врачом... Я думала, Алешка, у тебя больше честолюбия.

— Честолюбия у меня хватит, — сказал он. — Но глушь эта мне тоже нравится. В глуши проще оставаться самим собой.

Пробравшись сквозь заросли камыша и осоки, втащили лодку на упруго-податливый берег острова, направо и налево посвечивая фонариком, нашли поодаль знакомый шалаш. Забрались и уселись в тесном его пространстве на охалке свежего сена. От нагретого за день сена тянуло теплом. Оно было не сухим, не ломким еще, а мягко-податливым и издавало густой, приторно-сладкий запах. Соломинки, свисающие с крыши, золотились в свете фонаря. Какая-то крохотная полупрозрачная мушка трепещущей точкой плавала в конусе света, не в силах выскочить за его невидимый барьер.

Дорохов стянул свою зеленую стройотрядовскую куртку и бросил ее на сено. Аня откинулась на спину, сладко потянулась, закрывая глаза.

— Тебе не жарко? — спросил он.

— Жарко, — сказала с томной улыбкой она.

— Сними куртку.

— Лень.

Он придвинулся вплотную, с бьющимся сердцем, осторожно развязал и снял с головы ее белый платок. Нашел губами свою любимую крохотную родинку на шее... Легкий Анин трикотажный костюм не мешал чувствовать ее всю, чувствовать так, словно на ней ничего не было. И не в силах больше сдерживаться, он сжал руками ее утопающие в мягком сене плечи, покрывая быстрыми лихорадочными поцелуями губы, щеки, глаза...

Медленно, точно в каком-то полусне, она отклоняла голову то в одну, то в другую сторону, ловила и мягко удерживала его руки, сжималась и вытягивалась всем телом, то ли стараясь выскользнуть из его объятий, то ли стремясь прижаться еще сильнее. И оба изнемогали в дурмане этой сладостной борьбы. Знал, что на этот раз не уступит — на этот раз уступит она. И счастливо уверенный в близкой победе, был нежен с ней, но неумолим. Захваченный, распаленный этой любовной борьбой, он не сразу осознал, когда ее томное полусопротивление вдруг превратилось в жесткий, решительный отпор. Превозмогая себя, он расслабил объятия. «Ну, хорошо! Я не буду... Хорошо, в другой раз... Я люблю тебя... Но ладно, потом, в другой раз...»

Как-то странно, нежно и в то же время горько рассмеявшись, она порывисто обняла его, прижалась всем телом, и тут отпрянула, быстро села, поправила волосы торопливыми движениями рук в полутьме.

— Ты знаешь... Ты не обижайся, Алеша, — учащенно дыша, сказала она. — Я к тебе хорошо отношусь. Очень-очень хорошо!.. Глупо, конечно, но я выхожу замуж...

— Ну да, — подтвердил он с готовностью, — подадим заявление, когда вернемся.

— Я выхожу за Юлика, — сказала она.

— За какого Юлика?

— За Сушено.

Он думал, что ослышался, что речь о чем-то другом или, по крайней мере, о ком-то другом, о каком-нибудь парне, которого даже не знает — это он еще мог допустить. Но то, что Аня выходит замуж, и не за когонибудь, а за Юлика, было настолько нелепо, абсурдно, что просто не укладывалось в голову. Немыслимо было и представить себе этого плюгавого плешивого Юлика рядом с ней, представить, что он... может стать ее мужем

— Ты что, ты любишь его? — спросил он глупо.

Аня усмехнулась:

— Я выхожу за него.

Вспоминая ту ночь, он ощущал всегда и этот густой, приторный запах сена, почти задыхался от него. Было душно в шалаше, и сено, застряв-

шее в волосах, щекотало лоб, шею, уши; а мелкая труха, попавшая за воротник, саднила потную спину. Он нервно сбрасывал в темноте невидимые травинки, но они продолжали колотиться и щекотать, липли к лицу невидимой паутиной. С силой провел он ладонями по щекам, рванул тесный ворот рубашки.

— И давно у тебя с ним?

— Что давно?

Сказать «любовь» — прозвучало бы глупо, а как сказать, он не знал. Спросил вместо этого:

— Давно вы надумали?

— Давно. Наши предки дружат домами. Они давно уже хотели этого.

— Фантастика! — потрясенно воскликнул он. — Предки решают за вас. Мы в каком веке живем?..

— Это не фантастика, Алеша, — тихо сказала она. — Это реальная жизнь.

— Жизнь, как ее понимают предки?

— Как ее понимаю я.

Этот нелепый, так неожиданно возникший ночной разговор, после всего, что у них было тут, в Усть-Алыше, казался бредом, бессвязным сном. Так и хотелось тряхнуть головой и проснуться. Так дико, абсурдно все повернулось, точно с ума он сошел или вправду спит. Еще чуть-чуть и, наверное, проснется, очухается, а пока, в тенетах этого безумного сна, он, как заведенный, продолжал разговор.

— Зачем ты это делаешь?

— Юлик будет хорошим мужем. Его ценят в редакции. Недавно в партию приняли. Скоро сделают ответственным секретарем...

— И ради этого? — не понял он.

— Не только. Но и это важно. Ты знаешь, кто у него отец?..

— Да на фиг мне это знать!

— Ты неисправимый идеалист, — сказала она.

Крохотная мушка все так же уныло кружила в конусе света. Сенная труха, набившаяся под рубашку, нестерпимо колола спину. Он яростно сорвал с себя рубаху, скомкал, вытер ею потную шею и грудь. Ребром ладони пробил брешь в стенке шалаша — озерный ночной воздух чуть овеял прохладой горевшее лицо.

— Что же тогда у нас здесь было? Как ты могла?..

— А что? — грустно усмехнулась она. — Ты мне понравился. Мне хорошо было здесь с тобой. Ты обаял меня, я не могла устоять, — добавила чуть шутливым тоном. — Я ведь не собиралась ехать вместе на практику. Случайно так вышло, ты же знаешь.

— Почему же не сказала мне раньше? Зачем целовалась со мной?

— А тебе что, плохо было?

— Но есть же какие-то правила, черт подери! Или тебе на них наплевать?

— Станный ты, Дорохов, — печально сказала она.

— Ты что же, за него замуж, а меня хотела любовником сделать?

— Любовника найти не проблема.

— Так зачем же я тебе?

— Не знаю... Просто понравился... Нравилось, что три года на меня смотрел, а подойти не решался. Нравилось, что из-за меня к другим не клеился. Мне ведь тебя жалко было. Не такая уж я жестокая, Дорохов... И потом здесь, в Усть-Алыше, я как-то по-другому увидела тебя. Ты в городе не такой был — вечно угрюмый. А здесь стал другим. Что-то сильное, решительное в тебе появилось... Знаешь, а Юлий наоборот. Он в городе солидно смотрится, вполне на уровне, нормальный кадр. А тут как-то несерьезно выглядел. В чем дело, не знаю...

— Так чем же он лучше меня?

— Ничем.

— Тогда почему? Что за нелепая логика?

— Логика как раз простая. Мне скоро двадцать два — пора определяться. А тебе двадцати одного еще нет. Три года учиться, потом три года в какой-нибудь дыре по распределению. Потом аспирантура. Мне к тому времени уже будет за тридцать. Четвертый десяток — жуть, кошмар!..

— Меня могут и сразу на кафедре оставить.

— Тем более. Значит, со студенческой стипендии сразу на аспирантские девяносто рублей. Разве можно на эти деньги жить?

— Ах, так тебя деньги волнуют! — поразился он. — Деньги достать не проблема. Я две ставки возьму, я умею вкалывать.

— Не сомневаюсь, — усмехнулась она. — Но за пару модных сапожек придется вкалывать целый месяц. Разве смогу я купить еще одни?.. Ты способный, Дорохов — у тебя прекрасные руки, светлая голова. Лет через десять ты станешь классным хирургом, а до той поры... До той поры мы будем нищие, Дорохов. А я боюсь нищеты... Не так уж и нужны мне дача, машина, всякое там престижное барахло. Без этого я еще могла бы прожить. Но я не могу ютиться всей семьей в тесноте, по два-три года носить одно платье, с утра до вечера только готовить, стирать, убирать. Не хочу всю жизнь простоять по очередям. Не хочу превращаться в это выючное животное! Но ведь получится так — вот в чем ужас! Мы будем нищие, Дорохов! Такие же нищие, как все... Это только говорится, что с милым рай в шалаше. В шалаше он — на одну ночь. И наша с тобой райская ночь уже подходит к концу...

Батарейка садилась, свет фонаря сделался серым, тусклым. В этом свете почти неразличимо было ее лицо — лишь бледное пятно с темными впадинами на месте глаз. Было тесно и душно в их темном, похожем на нору шалаше. Задышавшись, он выбрался наружу и, не видя дороги, наугад пошел прочь.

В туманной предутренней мгле звезды на небе уже пропали, а месяц тускло светил, точно в полусне. Взвинченный, весь сотрясаясь от какого-то нервного озноба, Дорохов брел наугад, туда, где оставил лодку; брел, застревая в камышах, поминутно сходя с твердого берега на зыбкий торфяной настил, по щиколотку проваливаясь в воду. Сворачивал к берегу, но тут же терял его и снова чувствовал ступнями, как колеблется под ним настил, как хлопает холодная вода в кедах.

Это конец! Конец всему! А он-то думал, только начало... Так что же получается: все, что было у них здесь — ложь? Ее ласки и нежные поцелуи — ложь? Это счастье, переполнявшее его каждый день — иллюзия, ложь? Сама она, с синим взором, с белом платочке — тоже ложь?.. — Элементарная эта догадка так поразила его, что он остановился, как вкопанный. — И весь месяц молчала. Собирается замуж за Сушеною, а каждый вечер целовалась с ним, Дороховым?.. Фантастика! И кто же она после этого?.. Все взвесила, все просчитала!.. Но что же тогда у нее было здесь с ним?.. А ничего: на безрыбье и Дорохов — рыба! А вернется в город — там Юлик, там куча знакомых, там старые друзья. Для него, Дорохова, там места нет. А на безрыбье и Дорохов — рыба!..

Само словосочетание это показалось так глупо, так абсурдно, что он вдруг громко захохотал, хотя совсем и не хотел этого. Смеялся каким-то странным, чужим, точно не ему принадлежащим смехом, и ничего не мог поделать с собой. «Обманули дурака на четыре кулака! А на пятый кулак вышел Леха дурак!..» — хохоча, приговаривал он. Сам не знал, почему смеется, но остановиться не мог и, хохоча в этой глухой черной тьме, приплясывал, шлепая по воде кедами.

Усилием воли он взял себя в руки, остановил, прекратил этот истерический смех. Провел рукой по лицу — на глазах слезы. Наклонился, зачерпнул прямо из-под ног пригоршню воды — плеснул в лицо. Холодная вода привела его в чувство. «Что случилось? Что со мной?..»

Некоторое время он не помнил ничего. Стоял в густой тьме, ни зги не видя вокруг, лишь ощущал ступнями холодную воду и шаткий настил, который постепенно уходил из-под ног... Чувствуя, как с подбородка на грудь стекает вода, старался вспомнить, понять... «Что случилось? Где я?.. Что это я...» Но ощущал только сырой и тинистый воздух, глухую тьму вокруг, а под ногами какой-то колеблющийся, тихо погружающийся в воду настил, точно земля уходит из-под ног. «С ума схожу, что ли?.. Где берег? Где лодка?»

Кинулся, с шумом разбрызгивая воду, в одну сторону, в другую. Завяз в тине. Запутался в камышах. Двигаясь вправо, начинал погружаться в воду, поворачивал влево — и сразу проваливался по грудь. Не сразу, но каким-то чутьем в конце концов выбрался на берег. Почти случайно, ударившись коленом о борт, нашел в этой тьме лодку. Торфяная кромка просела под ней — лодка протекла, затонула наполовину, ведро, которое взяли с собой, куда-то пропало из нее. Стоя по колено в воде, он яростно вычерпывал воду какой-то ржавой жестянкой, которую нашел на корме. И только когда дело подошло к концу и лодка полностью всплыла, слегка успокоился, перевел дух.

А, может, и не так уж все безнадежно? Может, все еще поправимо, ведь Аня здесь еще с ним!.. Неужто все было просто флиртом, притворством, а в городе все вернется на круги своя? Нет, не может быть. Это прежде там у нее была другая жизнь. И в той жизни для него. Дорохова, действительно не было места. Зато был Юлик — и ей могло прийти в голову выйти за него. Там это было вполне возможно — ведь решение-

то было принято еще там. А он, Дорохов... Его просто не было в Аниной жизни тогда. Но теперь-то он есть! Теперь другое дело. И то, что было здесь, в Усть-Алыше, из жизни их вычеркнуть уже нельзя. Она просто не понимает еще, что все переменялось, что прежняя ее логика неверна. Все надо перерешивать, переигрывать. Ведь Усть-Алыш меняет многое в их жизни, меняет навсегда.

Брезжил рассвет, светлел над сероватой озерной водой восточный край неба, когда, усталый, насквозь промокший, дрожа от холода, он вернулся в шалаш. Аня лежала, свернувшись калачиком под его зеленой стрейчовой курткой, лежала неподвижно, даже дыхания не слышать. Забытый на сене фонарик почти не светил — батарейка окончательно села. Оранжевым червячком под выпуклой линзой едва теплилась чуть тлеющая нить.

— Ты спишь? — спросил он.

Ясным печальным голосом она ответила:

— Конечно, нет.

— Тогда давай договорим до конца.

— Давай, — согласилась она.

— Ну ладно. А если я переиграю: не стану врачом, не пойду в науку, а вместо этого в партию вступлю, карьеру стану делать, деньги делать любым путем?

— Не получится у тебя.

— Интересно, почему?

— Ты не такой. Иной пороку не выдумает, но сумеет устроиться. А ты, наоборот, скорее порох изобретешь, а устроиться не сумеешь. По крайней мере, в обозримом будущем.

— Ха! — засмеялся он. — Плохая ты гадалка. Плохо ты меня знаешь. Я ведь хороший шахматист, я классно умею варианты просчитывать. В карьере это тоже не пустяк. Так что не уверен в твоём прогнозе.

— А я уверена, — сказала она, поднимаясь. Села рядом, положила голову ему на плечо. — Знаешь, Алешка, очень грустно все это. Просто хочется реветь!.. Так привязалась здесь к тебе. Ты меня приручил. — Гладкой нежной своей щекой она потерлась о его щеку. — Ужасно привыкла, не могу без тебя... Я, наверное, влюбилась в тебя. Ты знаешь, я никого еще не любила. И, наверное, не полюблю. Ты первый, к кому я так привязалась...

— А Юлик?

— Что Юлик? Он тут совсем ни при чем — это другое... Алешка, милый! — почти плача, сказала она. — Я так привыкла, так привязалась к тебе! Не представляю, как без тебя жить... Давай не будем расставаться, несмотря ни на что?.. И Юлику ты понравился. Давай останемся друзьями?.. — прошептала теплыми губами, касаясь его губ.

— Я не Желтков из «Гранатового браслета». На роль платонического воздыхателя не годюсь.

— Почему же платонического?.. — едва слышно прошептала она.

Он мог ослышаться, неправильно понять, но руки, обнимавшие его, и губы, прижатые к его губам, без слов сказали ему то же самое. Мягким

кошачьим движением она приникла к нему и медленно откинулась на спину, не размыкая объятий, не отнимая своих целующих губ... Все могло еще повернуться иначе, ничего еще не было до конца потеряно, но... Но это была уже другая Аня, и сам он уже был другим.

— Не надо, — размыкая ее объятия, сказал он. — Ночь прошла. Пора возвращаться.

Под пологом прозрачного, розоватого на востоке тумана плыли к близкому берегу. Воздух, тихий и теплый, несмотря на туман, обещал ясный день. Лодка протекала, все днище ее залило водой, но вычерпывать уже не было смысла. Со стороны поселка доносился петушинный клич, скрип колодезного журавля, тарахтенье какого-то мотора. Проступали в тумане силуэты ближних домов, размытые контуры деревьев, столбы вдоль дороги. Начиналось новое, хорошее усть-алышское утро, но радости от него не было: все перечеркнула прошедшая ночь, все сгубила своей душной тьмой.

Аня зябко поеживалась, слегка позевывая на корме, грустная, но больше, казалось, просто усталая. Раз или два она заговаривала о чем-то, но Дорохов, сцепив зубы, молчал. Когда до берега оставалось совсем немного, она достала маленькое круглое зеркальце, заглядывая то справа, то слева, затормозив осмотрела лицо, слегка помассировала щеки и подбородок.

На берегу она сказала:

— Не забудь, машина в половине второго.

— Я не поеду, — сквозь сжатые зубы пробормотал он.

— «Я тут решил навеки поселиться!..» — слегка поддразнивая, шутливо продекламировала она. И ласково прислонилась к плечу. — Ну, хватит. Перестань дуться, Алешка. Не воспринимай все слишком серьезно, не делай из мухи слона.

Он молча сделал шаг, отстраняясь.

— Тогда прощай! — протянула руку она. — Не злись на меня, Дорохов. Расстанемся друзьями...

И глядя не в лицо ей, а на маленькую ее руку с розовой раскрытой ладонью и смугло-загорелым запястьем, такую любимую, так нежно ласкавшую его здесь, он развернулся и в яростном ослеплении врезал ей страшную пощечину, от которой она едва удержалась на ногах.

...А перед началом учебного года забрал документы из института и, никому ни слова не говоря, ни с кем даже не попрощавшись в этом городе, уехал из него навсегда.

4

Дверь открылась бесшумно — он бы и не заметил этого, если б не сквозняк, опять ворвавшийся в форточку, потащивший листы со стола. Успел прихлопнуть ладонью всю стопку, но два-три листочка, заперхав, умчались в прихожую кого-то встречать. Обернулся: Марина. Все с той

же «нищенской» своей торбой и с тем же грустным, неприкаянным выражением лица.

— Не прогоняйте меня, — сказала она тихо. — Мне некуда деваться, я из дому ушла.

— Вот как... — протянул он, пытаясь понять, врет она или всерьез говорит. — И давно?

— Наделю назад. Я в общаге у девчонок кантовалась. А сегодня маман позвонила, больше не пускают туда. Воля совсем озверела — проходу не дает!

— Воля Владимировна? — удивился он.

— Ну да. А вы откуда ее знаете?

— Еще бы! Я ведь сам три года в этом общежитии провел. Костлявая старуха в гимнастерке с кимовским значком на груди.

— Точно! С этим музейным значком и сидит.

— Крепкая бабка, — покачал он головой. — Говорят, еще в ГУЛАГе охранницей была. Одряхлела небось?

— Куда там! Ей сносу нет. Лютует по-прежнему. Я ее ужасно боюсь.

Надо же, та самая Воля, которая гоняла их в общаге в его время, и с этой девчонкой воюет. И даже не одряхлела еще. Его поразило это совпадение. Оно как будто сокращало разницу в возрасте — не таким уж давним студентом делало и его самого.

— Ну что ж, прошу, — сказал Дорохов, захлопнув извергавшую холлод форточку. Собрал листочки невезучей своей статьи, сложил их в папку и окончательно убрал в ящик стола.

Марина не заставила себя долго упрашивать. Бросила в угол торбу, скинула куртку и осталась в черном, ладно облегающем ее свитере, заправленном с джинсы с широким ремнем. Без куртки она оказалась стройней и изящней, а фигурой очень напоминала мать. Анечка тоже любила черные свитера, собирающие фигуру, хорошо оттенявшие ее золотисторусые волосы. Но ростом дочь была чуть повыше, хотя в движениях скованней, чем она. И выражение лица совсем другое: Анечка открыто, приветливо смотрела всегда, а эта мрачновато и настороженно. Уселась напротив в низкое кресло, выжидательно, исподлобья глядя на него.

— Что случилось? Не поладила с родителями?

— Да ну. Я с ними всю жизнь не лажу, сколько помню себя. С детства мечтала от них избавиться, куда-нибудь подальше сбежать. Убегала из дому, но летом, когда тепло. Один раз уехала на Памир. Познакомилась с ребятами из альплагеря, почти месяц у них провела. Осенью вернулась, но дома жить не стала. Сняла у одной тетки угол, сама за него платила — у предков ничего не брала. Устроилась уборщицей, лестницы по ночам мыть. Все спят уже, а у меня в руках тряпка и ведро с грязной водой. С девятого до первого этажа на коленях спускаюсь, все плевки, окурки смываю.

Дорохов посмотрел на ее руки — не похожи они на руки уборщицы, холеные, с розоватым мерцающим маникюром. На правой тонкое с зеленым камушком золотое кольцо.

- Ну а дальше что?
- Обрыдла эта пролетарская жизнь. Надоело за «стольник» целый месяц горбатиться. Маникюр облез, руки красные, как клешни. В зеркало на себя противно глядеть. Пришлось вернуться в родное стойло.
- Ну а теперь куда, на Памир или опять в уборщицы?
- Да хоть к черту! — кривясь, сказала она. — А лучше вообще на тот свет.
- Зачем же так мрачно?
- А-а, у меня сегодня вообще ужасное настроение, — пожаловалась она. — День рождения. Двадцать один.
- Солидный возраст, — хмыкнул Дорохов. — Есть от чего впасть в отчаянье.
- Вам можно смеяться, для мужчины возраст не проблема. А тут как вспомнишь, так вздрогнешь. Это начало конца!..
- Можно заказывать похоронные дроги, — в тон ей поддакнул Дорохов. — И все же не надо так унывать. Уныние старит, учтите.
- Лады, постараюсь. Хоть на пустой желудок трудно.
- Что, без ужина?
- И даже без обеда.
- У меня, — развел он руками, — к сожалению, ничего нет. Вот только бутылка кефира. Но можно в ресторан спуститься или в буфете перекусить.
- Ресторан!.. — скривилась она. — Чего я там не видела? Свиной шашлык, разбавленный коньяк и Жоржик-пидор, бывший одноклассник, на эстраде. У меня тут есть кое-что, — показала она торбу. — Только я грязная, неделю не мылась. Можно я сначала ванну приму?..
- К вашим услугам, — сказал Дорохов. — А я все-таки в буфет наведаюсь.
- Очереди в буфете не было, но на полках хоть шаром покати. Спустился на третий этаж — там были пирожки с капустой, сосиски, но, пока очередь подошла, то и другое кончилось. Взял две бутылки местной, пахнувшей ржавчиной минеральной воды, пачку печенья и плавленые сырки «Дружба» — все, что нашлось. А вернувшись, увидел на столе такую картину. В центре красовалась бутылка молдавского с белым аистом и с медалями марочного коньяка. Справа и слева два ярко-желтых пупырчатых лимона, круглая баночка с крабами и еще одна, увесистая, похожая на угрю, с югославской ветчиной. Кроме того, две плитки шоколада, пачка «Мальборо», банка бразильского кофе и небольшой кипятильник с накрученным спиралью шнуром. Похудевшая торба валялась в углу. На спинке стула «вареные» джинсы и какие-то тряпки, довольно интимного вида, а под столом ее старенькие, со сбитыми каблуками сапоги. Из ванной, где шумела и klokотала вода, доносились какие-то всплески, шорохи.
- Что это за натюрморт на столе? — крикнул он туда через дверь.
- Скромный ужин в честь дня рождения! — прокричала Марина в ответ. — Накрывайте на стол. Я скоро.

Ничего не оставалось, как достать перочинный нож и приняться за работу. Аккуратными дольками он нарезал лимон, вскрыл баночку с розоватыми крабами, вспорол увесистую, как кирпич, банку с ветчиной. Коньяк повертел в руках, подумал и поставил обратно. Бутылку кефира, что стояла на подоконнике, убрал с глаз долой.

Марина вышла из ванной розовая, распаренная, расчесывая пряди мокрых волос. На ней был короткий с открытой шеей шелковый халатик-кимоно и вьетнамки на босу ногу. Купание явно оживило ее и подняло настроение. Без краски на лице, без этого нарочитого грима она была проще, милее. Заметней стало и сходство с матерью — даже эта родинка на шее у нее тоже была. От ее влажных, только что вымытых шампунем волос исходил заполнивший весь номер свежий яблоневый запах, как будто летом вдруг повеяло в декабре. В своем коротком халатике, с розовыми после ванны локотками и гладкими коленками, она казалась почти девочкой и в то же время по-женски соблазнительной была.

— У-У!.. — сказала она, плотоядно оглядывая накрытый стол. — Жрать хочется, сил нет!

— Откуда все это? — поинтересовался Дорохов. — Кругом ведь дефицит, пустые прилавки.

— У кого дефицит, а у моих предков изобилие. Это я у них экспроприировала из холодильника. Пускай хоть чем-нибудь поплатятся за то, что в этот день произвели меня на свет двадцать один год назад. Я же их об этом не просила. У вас есть телефон? Мне надо быстренько позвонить. А вы пока что кофе сварите.

Быстро набрала номер, нетерпеливо покусывая губы, пока шли длинные гудки.

— Фреди, милый! Слушай, я тебе издалека звоню. Мы тут на даче с утра... Да, мой день рождения отмечали. Поехали обратно — тачка сломалась. Тачка?.. Ну, машина, автомобиль... Нет, нет, ни в коем случае! Это такая глушь! Ты дороги не знаешь, да и машина твоя не пройдет... Нет — я завтра сама. Клянусь!.. Честное слово! Завтра в семь вечера у тебя!..

И, с облегчением бросив трубку, сразу села за стол. Выразительно показала глазами на бутылку.

— Коньяк, это не слишком? — усомнился было Дорохов. — Может, в ресторан за шампанским сходить?

— Шампанское — вода-а! — скривилась она. — Его пьют зануды и пижоны. Вы вообще-то умеете открывать коньяк? А то у вас такой вид, точно в жизни ничего, кроме кефира, не открывали. Однако с мамочкой вы пили даже спирт.

— Вы удивительно хорошо осведомлены о моем прошлом, — пробормотал он, открывая бутылку.

— Больше, чем вы думаете, — сказала она.

Пододвинув стаканы, Дорохов плеснул ей и себе по чуть-чуть.

— Ну-у! — вздохнула она разочарованно. — Вы что, гомеопат? Настоящие медики такими дозами не пьют. Да вы не бойтесь, уголовное наказание за спаивание малолетних вам не грозит. Двадцать один стук-

нуло, значит могу по указу свободно приобретать и распивать спиртные напитки. К тому же это не вы меня спаиваете, а я вас.

Он усмехнулся, долил ей немного, но себе так и оставил на доньшке.

— Ну, — сказала она, нетерпеливо схватив свой стакан, — за вами тост. Только не очень занудный, совсем коротенький. Выпить хочется, сил нет! — Глаза ее бесовски поблескивали, губы знакомо, по-аниному, улыбались. Стакан держала обеими руками прямо перед собой, точно выглядывая из-за него, то ли нахально, то ли пряча смущение.

— Поздравляю, Марина! — сказал Дорохов, сближая с ее стаканом свой. — Будь счастлива...

— Все! — прервала она. — Вполне достаточно. Хватит за глаза.

Лихо опрокинула коньяк, зажмурилась и несколько мгновений сидела так, уйдя в себя. Потом выдохнула, как опытный в этом деле человек, потянувшись за лимонной долькой. Дорохов намеревался лишь пригубить свой коньяк, но, точно заразившись ее примером, тоже выпил одним махом неожиданно для себя.

Все-таки выбила она его из колеи своим появлением — явно чувствовал себя не в своей тарелке, и глоток коньяка ему мог помочь. Да что такого в конце концов? Дело сделано, обратный билет в кармане — небольшая доза не помешает, можно и расслабиться чуток.

Так вот какая у Анечки дочь!.. Странная девица. То нахальна — то заикается от смущения, то уныние — то энергия бьет ключом. Лицо красивое и глаза неглупые — но эта вульгарность, этот пошлый, развязный тон. Не утруждала себя Анечка воспитанием дочери; сама в эти годы тоньше была. Могла и выпить, «похипповать» в компании, но меру знала. Правда, и мера другая была. А дочь не такая — нервная, дерганая. Как, впрочем, и вся теперешняя молодежь...

— Что вы на меня так смотрите? Сравниваете с маман? Ну и как, похожа я на свою мамочку?

— И да, и нет, — сказал Дорохов. — Никак не пойму, что у тебя свое, а что от матери.

— Все хорошее — свое, все плохое от матери.

Вот за словом в карман она уж точно не лезла, на язык очень даже остра. И характер не вялый, как могло показаться вначале, а просто лабильный, с резкими перепадами, хотя решительный и живой.

— Маман у меня большой человек, — набив рот едой, сказала она. — Вся наша медицина у нее в руках. И не только медицина. Областное начальство сплошь старички. Не столько руководят, болезные, сколько лечатся. Маман для них просто ангел-хранитель: любые лекарства, любые врачи. Спецкорпус четвертого управления, можно сказать, ее вотчина. Сама лечить не умеет, зато те, кто умеют, все у нее в руках...

Рассказывая, она с молодым аппетитом ела, поглощая то крабов из банки, то куски ветчины и орудия, за неимением вилки, ножом и чайной ложечкой.

— Интересное кино, — сказал Дорохов. — И ты мне все это выкладываешь?

— А что я такого говорю? Подумаешь, тайны мадридского двора... У вас в Москве не так, что ли? Или вы не в курсе, как в нашей державе дела делаются? Вы что, с луны свалились, сэр?

Это прозвучало почти грубо, но Дорохов невольно усмехнулся: «Остра!» Крыть ему действительно было нечем. Не станешь ведь ей мораль читать. Пора было кончать этот разговор, но напоследок он спросил:

— А мать знает?

— О чем?

— Что я здесь.

— Она все знает. Больше знает, чем наш областной «ка-ге-бе». Налейте еще по одной. Сегодня мой день. Эх, пить будем, гулять будем, а смерть придет — помирать будем.

Сама налила нетерпеливо в оба стакана. Один подала ему. Чокнулись. Выпили. Причем Дорохов и спросить себя не успел, а надо ли пить вторую. Как-то в голову не пришло. Не привыкший так поздно ужинать, да еще с вином, он ничего не ел. Но Марина сделала ему бутерброд с ветчиной, потом подсунула еще один, с крабами, и, чувствуя вдруг проснувшийся сильный голод, он с аппетитом съел все это, запивая вкусным горячим кофе. Ей доставляло явное удовольствие хозяйничать за столом, угощать его своими припасами. В этом ладном розовом халатике, в мягких шлепанцах на босу ногу, так уютно расположилась в его номере, точно у себя в доме. «Все свое ношу с собой» — даже кипя-тильничек в торбе.

— Жаль, подарка у меня нет, — сказал он. — Чего бы ты хотела на день рождения?

— А вы уже сделали его мне, — быстро ответила она. — Вот этот вечер с вами вдвоем и будет подарком для меня.

— Весьма польщен, — сказал Дорохов. — Но чем заслужил, так сказать?

— Фамилия ваша мне нравится, — усмехнулась она. — Такая твердая, шероховатая. Настоящая мужская фамилия. А у отца — Сущеня. Ненавижу свою фамилию! — скривилась она. — Выбрала же она мне папашу! Дорохова Марина — правда лучше, благородней звучит?..

— Ты так говоришь о родителях, точно они враги тебе.

— А что, нельзя? Знали бы вы про все их делишки. Такого могу рассказать, что вам и не снилось, сэ-эр!..

— Ты и отца не любишь?

— Не-а!.. — мотнула она головой. И вдруг добавила, хмельно улыбаясь: — Вот если бы вы оказались моим отцом, тогда, наверное, любила бы.

Дорохов невольно отвел глаза. Слишком много позволяет себе эта взбалмошная девица. К тому же пьяна. Он и сам слегка захмелел — сказывалась непривычка. «Не стоило вторую пить», — пожалел запоздало. Но, с другой стороны, не мог же он выставить ее в депрессивном состоянии за дверь, да еще в день рождения. По себе знал, каково в одиночестве в такой день. Хотя пить, наверное, все же не стоило. Посидеть, поболтать, почему бы и нет, а пить с ней, конечно, не стоило. А впрочем, что здесь такого? Билет в кармане — завтра на самолет и до-

мой. Эта мысль, что билет в кармане, все упрощала и успокаивала: ничего не случилось, все в общем-то пустяки.

Марина отодвинула пустую консервную банку, взяла сигарету, потянула к себе пепельницу.

— Чистая. Вы что, не курите?

— Бросил давно.

— Не курите, не пьете. И женщин, наверное, не любите? — окутываясь дымом и хмельно улыбаясь, сказала она.

— Я не равняю женщину с бутылкой и сигаретой.

— Хорошо сказано, — одобрила она. — А про меня вы думаете, наверное, что я распушенная, нахальная. И ошибаетесь. Я трусила ужасно, когда шла к вам сюда. Я почему осмелела? Приняла «колесо» — вот и все.

— Наркотики?..

— Да какие там наркотики? Так, «колесико», слабенькая доза. Не балдеешь даже, а просто становишься смелей. Я ведь не ширяюсь, как некоторые, не нюхаю кокаин.

— Но ты же медик в конце концов. Должна знать, чем рискуешь!

— Да ну, — вяло отмахнулась она. — Курить — здоровью вредить... К чему оно мне с моими суицидными склонностями?

— Знаешь что, — жестко сказал Дорохов, — ты с этими суицидными бреднями кончай! Мамочку этим пугай, а я диагноз с десяти шагов ставлю. Гемоглобин в норме, сердце в порядке, давление сто двадцать на восемьдесят. Возможно неблагополучие в эндокринной сфере, но на уровне функционального — пройдет. С таким аппетитом, как у тебя, не вешаются, с таким цветом лица сто лет живут!

Она слушала, подняв брови, с легким удивлением глядя на него.

— А вы умеете ругаться! И наверное, здорово, если вас разозлить. А наш патер фамилия никогда не ругается — все тишком-смейшком. Так значит, по-вашему, я симулирую?.. Ну ладно, замнем пока этот вопрос. Вы лучше скажите, зачем тянуть эту волюнку, если жизнь все хуже становится? Какой тут смысл?

— Не вечно же ей ухудшаться — будет и в лучшую сторону поворот.

— А-а!.. Старая песенка. «Послушайте, Аня, какая чудесная жизнь будет здесь через сто лет!.. Не плачь, дорогая, мы еще увидим небо в алмазах!..» А вы уверены, что она изменится в лучшую сторону? Столько лет уже нам обещают, а толку что? Да, кое-кто теперь в шоколаде, а остальные пусть в голоде живут.

— Тебе это, кажется, не грозит.

— Ну да! Мамочка предупредила уже: «На нас с отцом не рассчитывай. Отцу на пенсию скоро, а я еще для себя пожить хочу».

— Сама взрослая, без них проживешь.

— Хо-хо!.. Это у вас в Москве хоть как-то можно протянуть, а у нас пустые полки и жизнь по талонам. Килограмм мяса в месяц, кусок мыла да сахара два кило — вот наши жизненные стандарты.

— А крабы, ветчина?.. — кивнул он на стол.

— У тех, кто «умеет жить», как моя маман. Она ведь разве что борзыми щенками не берет.

— Какого черта ты мне это выкладываешь! — поморщился он. — Такие вещи скрывают обычно.

— Да вы что, Алексей Петрович! Никто и не скрывает уже. Сейчас скрывают, если на одну зарплату живут.

— Все равно заткнись! — оборвал он ее. — Меня не интересуют эти ваши семейные дела. Что ты себе воображаешь?..

— Очень вам неприятно слышать о ней такое, — проговорила Марина, как-то пристально и мрачно глядя на него. — Вы даже в лице изменились. Удивительно, чем это мамочка так вас приворожила. По письмам видно, как сильно вы были в нее влюблены.

— А тебе не кажется... — сдерживая бешенство, начал он.

— Кажется, — перебила она. — Хамлю направо. Можете выгнать еще раз. Я ведь предупреждала, что ненормальная. Психопатическая личность, что с меня взять.

— Давай договоримся, — жестко сказал он, — о матери больше ни слова. У тебя с ней свои отношения, у меня свои... Были, — добавил он. — Но тебя это не касается.

— Ужасно интересно, что у вас там произошло... Ну не буду, не буду! — подняла она руки. — Ни слова, ни полслова! Ни гугу!.. — Помолчала, уставясь куда-то в одну точку, потом спросила задумчиво: — Сто лет... А будет хоть один счастливый день за сто лет?

— От тебя самой зависит.

— Да бросьте, — отмахнулась она. — Ничего в этой жизни от меня не зависит. Все мы, как в лагере, тут живем, и никуда из этой «зоны» не деться. Карьеру сделаешь — все равно «лагерник», только привилегированный, номенклатурный. Пайка побольше да нары просторней, а жизнь такая же гнусная, как у других.

— А чего бы ты хотела?

— Не знаю. Ничего уже не хочу. Карьеру делать не хочу — на мамочку нагладелась. За карьериста замуж не хочу — на папочку нагладелась. Другие вот за «бугор» махнуть спят и видят, а я и этого не хочу. Как свиньи: загалили свой двор, и на чужой, где посытней, рвутся. Было время, думала хорошим врачом стать, но теперь и этого не хочу. Насмотрелась: «люди в белых халатах», «самая гуманная профессия», а кругом взятки берут, не о больных, а только о шмотках да о деньгах думают. Да и не лечат, а только калечат. По-хорошему надо ведь не болезни, а саму жизнь лечить, которая их порождает.

— Что, никогда не встречала настоящих врачей?

— Как же! Попадают еще. Но они все нищие. Какой-нибудь грузчик-алкаш, и тот в три раза больше зарабатывает. Почему все так гнусно, несправедливо у нас? Была здесь когда-нибудь нормальная жизнь?

— Не знаю, — сказал он. — Может быть, и была.

— А будет еще?

— Возможно. Но очень нескоро.

— Не повезло, — вздохнула она. — Не вовремя родилась. Не в ту дверь попала... «Кто вы такая? Откуда вы? Ах, я смешной человек! Просто вы дверь перепутали, улицу, город и век». — И помолчав немного, спросила: — А вы стихи любите? Могу еще почитать:

В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
О, если б распахнуть, да как нельзя скорее,
На Адриатику широкое окно.

— «Над розой мускусной жужжание пчелы, — кивнув, продолжил он. — В степи полуденной кузнечик мускулистый. Крылатой лошади подковы тяжелы, часы песочные желты и золотисты».

— Как, вы и это знаете?.. Широко раскрытыми глазами взглянув на него и как-то странно, почти болезненно вздрогнув, произнесла она. — Ну и ну! Телепатия какая-то. Чудны дела твои, Господи!.. Мы с вами как будто лет двадцать знакомы, а ведь встретились-то пару часов назад.

Отвернулась, кусая губы, задумалась, потом тряхнула головой:

— А не выпить ли нам еще? — И не успел он перехватить бутылку, как сцапала быстро, плеснула ему и себе в стакан. — Ваше здоровье, профессор! — И выпила одним махом.

Дорохов пить не стал.

— Хорошо сидим, — сказала она, переводя дыхание. — Душевно сидим. А знаете, Алексей Петрович, почему я вернулась, хоть вы и выставили меня за дверь?.. Ужасно захотелось понять, что же вы за человек. У вас внешность интеллигентная, а вид совсем не убогий. У нас ведь теперь если интеллигент, то обязательно взгляд затравленный и пузыри на коленях. Я уж думала, что иначе и быть не может.

— Ну да, — сказал он. — Само слово «интеллигент» придумали у нас в России, но мы единственная страна, где оно звучит как ругательство. Самая знаменитая пьеса называется у нас «Горе от ума». Веселого в этом мало.

— Но вы-то не такой. Вы, похоже, сильный человек. Но у вас такое лицо... Как у капитана, у которого все мачты сорваны, но который nonetheless чисто побрился и воротничок сменил. Я на тех снимках еще заметила: у вас и там уже такие глаза. Вы вообще-то счастливый человек?

— Кто счастлив в нашей больной стране? Не сойти бы с ума — и то ладно.

— Как странно вы это сказали: «в нашей больной стране». А чем она больна? Ваш диагноз?

— Маниакально-депрессивный психоз с прогрессирующим течением.

— Пожалуй, верно, — подтвердила она. — Анамнез, пожалуйста.

— Первая стадия, меланхолический синдром, имела место еще до семнадцатого года. Недовольство жизнью, тоска, недовольство собой. Дисфория, одним словом. Затем маниакальная вспышка, жажда переделывать весь мир, поиски объекта, в котором сосредоточилось бы все мировое зло, навязчивая идея искоренить все одним махом. На этой почве

развился острый психоз с ярко выраженным бредом величия. *Mania grandiosa*⁸, как это чаще всего бывает, сочеталась с манией преследования, аутоагрессией. В исступлении больная не раз калечила себя, покушалась на самоубийство. При этом она так фанатично уверовала в свои бредовые идеи, так искренне и страстно проводила их в жизнь, что заразила своим сумасшествием полмира. То, что называется индуцированный бред. Знаешь, наверное, из курса психиатрии.

— И вправду, — грустно кивнула Марина. — А дальше?

— А дальше наступил хронический период с моментами относительной ремиссии. Это уже на нашем веку. Бредоподобные фантазии и безумные идеи продолжали доминировать, но маниакальная убежденность в их истинности ослабла. *Mania grandiosa* в последнее время сменилась бредом самообвинения. Предпринимались попытки излечения, но неудачные, поскольку основной патогенный фактор не был устранен.

— А именно?

— Ну, это отдельный разговор. Тут целую диссертацию написать можно.

— Это помешательство могло появиться только у нас?

— Не думаю. Мир должен был им переболеть. Но нам не повезло — мы оказались в самом эпицентре этой пандемии безумия. В России она приняла самый опустошительный характер.

— И каков же прогноз? — помолчав, спросила она.

— Неблагоприятный. Распад личности с грубой дезинтеграцией сознания и исходом в слабоумие. Так называемый аментивный синдром. Кого Бог хочет погубить, того он лишает разума...

— Печально, — сказала она. Неужели совсем нет надежды?

— *Dum spiro spero*⁹, — откликнулся он. — Кто знает, что у Господа Бога на уме. Возможно, смилостивится в последний момент, и дела пойдут на поправку. Но медицина бессильна, остается лишь молитву творить. «Господи, устави гневный Твой пламень, простирающийся на ны, рабы Твоя!...»

— Аминь, — в тон ему сказала она. — Выпьем за то, чтобы смилостивился.

Не стоило, конечно, продолжать пить, но тост такой, что нельзя отказаться. Да и смутно сделалось на душе. Не любил он болтать о таких вещах, а тут что-то разговорился. Сумела все-таки расколоть, есть у нее эта способность. Неглупа, конечно, и какая-то искренность есть, немного оголтелая, но неподдельная, ненаигранная. И обаяние... Синтонность, обаяние — это от Анечки. Это уж точно от нее! Всякого умела привлечь, запросто к себе расположить...

Чокнулись, кивнув друг другу с улыбкой, сделали по глотку и закусили, отломив от плитки шоколада по равной дольке с разных концов. Тихо и спокойно было в номере, тихо до звона в ушах. Прекратились

⁸ Мания величия (лат.).

⁹ Пока дышу — надеюсь (лат.).

хождения, дверные хлопки в коридоре, улегся спать хлопотливый гостиничный люд. Казалось даже, что нет и самой гостиницы, ничего за стенами нет — а лишь глухая ночь вокруг, и они вдвоем во всем городе одни, а может, и во всем мире в глухой ночи...

— Я вам не очень еще надоела? — спросила она

— Нет, не очень.

— Ну, все равно, минутку посижу и уйду. Вам, наверное, уже спать пора... — И, помолчав, вдруг вскинула на него широко открытые глаза: — А скажите, Алексей Петрович, вы все-таки слегка презираете меня?..

— С чего это? — поднял он брови.

— Ну как же! Явилась без приглашения. Ее прогнали — а она опять пришла. Как бездомная собака — ее гонят, а она все равно следом бежит.

— Перестань, — поморщился он. — Никто тебя не прогонял. А что вернулась, я рад. По правде говоря, я пожалел, что так вышло, что не успели поговорить.

— Правда? — испытующе глянула Марина.

— Вот те крест!.. — шутливо сказал он.

— А с чего вам жалеть?

— Ну как же! Заинтриговала ты меня. Редкий случай, можно сказать... Я, конечно, понимал, что могу здесь встретить кого-то из своих прежних знакомых, но... такого визита не предполагал.

— Редкий случай, — повторила она. — Что верно, то верно... А все равно вы неправильно поняли меня. Я в норме ведь совсем не такая. Просто состояние у меня сегодня какое-то странное. Точно несет... — Голос ее сделался хриловатым и ломким. Сжавшись, она куталась зябко в халатик, хотя в номере было тепло. — Завтра самой стыдно будет, что так вот явилась... а сегодня все нипочем. Вы опасный человек — вы внушаете доверие. С вами на откровенность тянет, хотя вид у вас суровый и явно не любитель вы откровенничать.

— Если потом сожаления возникают, то да.

— А без риска какая же откровенность? Все взвесить, все рассчитать... Я в какой-то книжке читала, что истинная откровенность опасна, губительна. Недаром организм на нее, как на опасность и реагирует: мурашки по коже, сердцебиение, одышка, то в жар бросает, а то в озноб. Рассказать всю-всю правду о себе или узнать о близком человеке — это ведь страшноватая вещь. Но и влекущая. Там было так сказано: «Откровенность — это эротика души. А секс — это откровенность тела». Тоже ведь открытие сокровытого. Представляете, на одном уровне? Получается, что откровенность эротична, что она как бы акт духовного соития. Я почти дословно передаю.

— Интересная мысль, — усмехнулся Дорохов. Он устал и в самом деле хотел уже спать. Пора было закруглять этот разговор, но как остановить ее поделикатнее? Не хотелось все-таки быть грубым и во второй раз просто выставить ее за дверь.

— А правда, будто в Священном Писании сказано, что перед концом мира охладает в людях любовь?

— Да, — кивнул он. — Есть такой текст.

— Значит, конец мира близок.

Опустила глаза, слегка пригубила свой стакан и не убрала, а держала высоко, словно чашу, прозрачными длинными пальчиками. Взглянула на Дорохова сквозь тонкое стекло и вдруг проговорила быстро, точно решившись.

— А хотите, Алексей Петрович, напоследок сказочку расскажу? Сама сочинила. Никому не рассказывала, а вам — так уж и быть... Только выключите, пожалуйста, этот свет, — щурясь на потолочный плафон, сказала она. — Глаза очень режет.

Дорохов встал и, помедлив, выключил свет, оставил только ночник на стене. Так действительно стало лучше: комната погрузилась в уютный полумрак. Конусом падающий свет ночника, скрадывая углы, делал номер шарообразным, похожим на степную юрту или шалаш.

— Вот так хорошо, — сказала она тихо. Опять поднесла свой стакан ко рту, но только пригубила, прикрыв глаза, то ли смакуя, то ли давясь с отвращением.

— Жила-была девочка. Росла диковатой, какой-то неуклюжей, психованной, не как все. Маму не любила, папу не любила, бабушку с дедушкой терпеть не могла. Вот изводить их любила, нравилось все делать им назло. Даже болела, чтобы им досадить. Даже заикой притворялась, да так хорошо, что и в самом деле начала заикаться... Отчего не любила? А так — невротическая личность. Невротики, ведь известно, не способны любить. К тому же наследственность — от них же уродилась, а они и сами никого любить не способны. Хотя и прикидываются без конца. Сойдутся: «Дорогая, я тебя обожаю! Старик, ты знаешь, как я тебя люблю!..» Целуются, обнимаются — смотреть противно. А дверь закроется — такого наговорят... До ребенка им дела нет, а соберутся гости: «Маришечка, ты меня любишь? А кого больше: папочку или мамочку, бабулечку или дедулечку?» А та послала бы их всех!.. Чувствовала, что она для них только вещь, да к тому же еще дефективная. Не дошли еще до того, чтобы детишек себе, как и все остальное, в спецраспределителях подбирать. Вот и приходится дефективное чадо терпеть, делать нечего. Вы слушаете? Мне продолжать?..

Дорохов молча кивнул. Мягкая тьма окутала, скрыла ее, сделав иной, незнакомой, загадочной. Темнее взгляд, темнее вино в стакане, темнее нежная смугловатость руки. Даже голос и тот потемнел — глуше сделался, ниже.

— Не любила их, а все-таки слушалась. Ни в чем не соглашалась, а делала, как они хотят. С детства каждый шаг ее контролировали: все за нее решали — с кем дружить, что читать, где гулять. Дома вчетвером по очереди пасли, а из школы классная каждую неделю звонила, докладывала. Под колпаком у них росла, рабски зависимой от них, внушаемой, как сомнамбула. Ненавидела и себя и их за это, а поделаться ничем не могла...

Но кого-то надо любить. А девочка большая фантазерка была. Взяла и выдумала себе вместо этих родителей — других. Вместо красивой, но холодной маман, простенькую, как домработница Нюся, но душевную

мать. А вместо морщинистого лысоватого папочки — другого, «правильного» отца. Такого сильного, надежного мужика, с простым и честным лицом. Чем-то похожее на Высоцкого, там, где он в черном свитере в роли Гамлета. На снимке видела в журнале... Компенсаторное воображение детей, если по-научному. Одно время даже вбила себе в голову, что Сущеня не отец ей, а отчим, что тут какая-то таинственная история, что он, как Клавдий у Шекспира, чуть ли не убил ее родного, законного отца, чтобы жениться на матери. Конфабуляторный бред, если хотите. Не надоело еще? Ну, тогда слушайте дальше...

Полезла однажды в мамин секретер и нашла там шкатулочку, а в ней письма, фотки. Один мамин поклонник, когда та еще девушкой юной была, ей эти письма писал. И на снимках там они вместе. Где-то он уже мелькал в мамином альбоме и раньше, но на втором плане, в толпе. А тут они с мамочкой только вдвоем, все время вдвоем. На лавочке под окошком с резными наличниками, в больничной палате в белых халатах, с какими-то старушками у самовара. И так хорошо вместе смотрятся — прямо классная пара! Письма девочка, конечно, прочитала. Да еще и не один раз. Очень ей эти письма понравились, да и сам этот парень на фотках. В точности, как придуманный ею отец. На одном снимке, где в черном свитере, и в самом деле на Высоцкого похож. И подумала она вот что: «Почему же мамочка не за этого парня вышла, который такие хорошие письма ей писал и, по всему видно, очень ее любил, а за нашего плешивого папочку?» Интересная сказка, да?..

Дорохов ничего не ответил, даже не кивнул. Он не смотрел ей в лицо, и она на него не смотрела. Сжав голову руками, он старался унять вновь возникшую боль в висках, но она все равно нарастала.

— Спрашивать у маман, конечно, не стала, но вопрос этот покоя не давал. Никому про те письма и фотки ни слова, а доставала тайком и разглядывала. Всякие истории про маман и этого парня сочиняла. С детства была малость шизоидная. Придумала даже, что не Сущеня, а может быть, этот парень настоящий ее отец. Такая вот чудачка, хоть и «гемоглобин в норме»... Потом, когда подросла, выбросила, конечно, эти глупости из головы. Но зато влюбилась в того парня на фотках. Завела себе тайную любовь. Нравилось его лицо, нравился черный свитер, как у Высоцкого. А больше нравился белый халат. Не чиновник, как маман и отец, а доктор, настоящий врач. Даже фамилия его воспринималась примерно так: «Доктор добрый хороший». Решила и сама стать врачом, как он. Собиралась даже замуж за него выйти когда-нибудь. Навоображала себе черт-те что! Целый сериал — всего и не перескажешь. Почему-то представлялось, что он болен, несчастен, одинок — переживала, жалела его до слез. Хочется ведь кого-то жалеть и любить, пусть даже воображаемого... Потом выросла, поступила в институт. И тут узнала, что этот бывший мамин поклонник в Москве обретается. Говорили, что хороший нейрохирург. Видела как-то его статью в журнале, но конкретно в институте о нем никто ничего не знал. А мамочку так и не спросила ни разу: не ее это дело, нечего ей знать...

Вот такая история, доктор Дорохов. Вы думали, о вас тут забыли, никто не помнит вас. А здесь жила одна девочка, которая знала и помнила... Интересно получилось: вы матери эти письма писали, а дошли они до дочери...

Быстро опрокинула остатки коньяка в рот. Задержала дыхание, прерывисто вздохнула. Странная, то ли горькая, то ли насмешливая улыбка замерла у нее на губах. Вдруг повернулась и в упор взглянула на него.

— Забавную сказочку сочинила? Фантазия по пьянке работает будь здоров. Как и положено шизофреничке.

— Не надо больше пить, — помассировав виски пальцами, глухо сказал он.

— А больше и нечего, — перевернула она пустую бутылку кверху доньшком. — Все выпито до капли. Финита ля комедия! Спокойной ночи, малыши!

Взяла сигарету, щелкнула зажигалкой. Затянулась, точно старый курильщик, жадно, глубоко. И тут же надсадно закашлялась, страдальчески морщась, хватаясь рукой за грудь.

— Зачем ты куришь? — сказал он с легкой досадой. — И без того у вас тут воздух ужасный. Не лучше ли легкие побережь?

Этот простой безобидный вопрос как-то странно подействовал на нее. Замкнулась, застыла с оскорбленным лицом, словно что-то ужасное от него услышала.

— Простите, сэ-эр, — нервно гася окуроч в пепельнице, звенящим голосом протянула она. — Пардон, я накурила у вас, я загадила ваш номер. Къедо скуза, синьоре! Тысяча извинений! — Придавила наконец рассыпающийся искры окуроч и порывисто поднялась. — Я удаляюсь. Простите, что засиделась. Ради бога, простите! Буона нотте! Счастливых снов!..

То, как резко изменилось, буквально исказилось ее лицо, как торопливо хватала и бросала в торбу свои вещи, указывало на крайнюю степень возбуждения, какого-то маниакального, пугающего своей внезапностью и болезненностью. Время позднее, на улице глухая и зимняя ночь, и в таком состоянии Дорохов не мог ее отпустить.

— Не спеши, — сказал он спокойно. — Посидим, заварим еще кофейку.

— Нет, я пойду, — заявила она решительно.

— Куда? В общежитие Воля не пустит, а просто на улицу я тебя не пушу. Эта штука раскладывается, — указал он на кресло-кровать. — До утра она в твоём распоряжении.

— Благодарю, но у меня другие планы, синьор, — сказала она многозначительно. — Прощайте! Едва ли встретимся на этом свете еще раз. А на том свете подавно.

— Да брось ты! Не валяй дурака! Посмотри на часы: половина второго ночи. Трамваи уже не ходят.

— Ха-ха! Остроумно!.. — скривилась она... — Но поезд мне тоже подойдет, поезда еще ходят.

Кинулась в прихожую, схватила свою куртку, торопливо, не попадая в рукава, напялила прямо на халатик, сунула голые ноги в сапоги. Лицо бледное, взгляд ненормальный. Этому ему только не хватало! Связался с психопаткой на свою голову. Кой черт позволил ей пить!.. Сейчас напорется на дежурную: кто такая? откуда? — подымется шум. Нельзя ее в таком состоянии выпускать.

Он встал, включил верхний свет по дороге и вышел в прихожую, загородив спиной дверь.

— Послушай, Марина! Погоди, успокойся! Сначала нужно прийти в себя. Я же отвечаю, в случае чего...

— Не тревожьтесь, — с холодной надменной grimасой сказала она. — «В случае чего» лишнего шума не будет. Ни одна душа не знает, что я здесь у вас была. Ни-ни!.. Все будет шито-крыто. Вы человек уважаемый — ваше дело сторона. Железное алиби вам обеспечено!..

— Перестань! — донельзя усталый и раздраженный всей этой каникелью, оборвал он. — Ну хорошо. Пойдем вместе. Сейчас оденусь и провожу тебя. Поймаем такси...

— Не надо мне вашего такси, — решительно прервала она. — Не надо меня т у д а провожать. Я и без провожатых т у д а доберусь. Пустите!.. — рванулась она, отталкивая его, но он уперся рукой в косяк и не дал ей уйти.

— Пустите!.. Ну, пустите же меня! — в иступлении рвалась она. — Все равно вам меня не удержать. В любом случае у й д у!.. Не в ту дверь попала? Так выход простой — уйти, хлопнув этой поганой дверью... Пустите меня! Какое вы право имеете не пускать? Кто вы мне?.. Никто... Вы, может, думаете, что я к вам сюда шла? Как бы не так! Ошибаетесь, синьор! Совсем не к вам — меня в другом номере ждут. Просто я дверь перепутала.... Но это нетрудно исправить: захочу и туда уйду. А ну пропустите меня!..

Растрепанная, в сапогах с голыми ногами, в своем коротеньком халатике и в линялой куртке поверх него, она выглядела нелепо, почти непристойно. В самом деле, как сумасшедшая была. То, что пьяна, за версту видно. Не выпустят ее из гостиницы в таком виде, тут же в отделение загребут. А там начнется: с кем пила, к кому приходила?.. Значит, и до Ани дойдет.

— Давай кофейку на дорожку? — еще раз попытался Дорохов отвлечь, успокоить ее. — Посидим, потолкуем. О матери ты мне толком не рассказала. Как она сейчас живет?

— Ага, вот оно! — точно поймав его наконец на чем-то предсудительном, со злорадной улыбкой сказала она. — Значит, маман вас все-таки интересуется. Старая любовь не ржавеет, да?.. Так-так!.. Не думаете ли вы, что она тут по вас тосковала? Хи-хи, ха-ха!.. Письма хранит — это точно. Но никогда даже не упоминала о вас. Ожидать от маман постоянства было бы весьма опрометчиво. Это не ее ампула!.. Хотите, расскажу о ее любовниках? Ну что, хотите? — выкрикнула она.

— Нет, не хочу, — сказал он. — Оставь это при себе.

— Слабо!.. — протянула она с презрением. — А то много интересного могли бы узнать. «Чудеса из чудес». Такое узнали бы, что крыша поехала. Маман переспала тут с половиной горкома. Со всеми нашими партайгеноссе переспала, лишь бы самой в номенклатуру попасть. В царство свободы дорогу грудью (выразительно показала она руками) проложим себе!.. А вы как думали: отдает себя людям, горит на работе? Отдается, конечно, но только нужным людям...

— Заткнись! — ощутив вдруг острую тошноту и отвращение ко всему этому, оборвал ее он. — Заткнись и мотай отсюда! Явилась тут счеты свои сводить? Ненавидишь мать, ненавидишь отца, ну и катись! Мне-то какое дело? Давай мотай отсюда! Закрой дверь с той стороны, и чтоб я тебя больше не видел!..

Заметив, что стоит у нее на пути, он сделал шаг в сторону, вышел из прихожей. Довела мерзавка — его уже просто трясло. Сердце частило, лицо горело, голова точно обручами стиснута. Дрянь, психопатка! Свадилась тут на его голову. Не хватало ему только нового срыва. Уйдет — нужно что-нибудь на ночь принять.

— Да, ненавижу!.. — в истерике твердила она за его спиной. — Всех ненавижу! Весь мир, всю эту засранную вами страну! Все загадили, испортили, испохабили!.. И вас ненавижу, так и знайте! Чистеньким хочет быть, а сам холодный, черствый. Ненавижу таких! Все, что я здесь напле-ла, — ложь. Дурачила его, «сказочку» сочинила, а он и уши развесил. Слюни-то распустили, Алексей Петрович!.. В дочки ему набивалась. А может, думаешь, в любовницы? Пошел ты в жопу такой!.. Все вы гады! — заходилась, всхлиывая, она. — Идите в жопу!.. Гады! Загадили весь мир! И нас такими же гадами вырастили. Ненавижу всех вас! И себя ненавижу! Думаешь, я болтаю только? Черта с два!.. Возьму и вычеркну себя сейчас же! Минус на минус — будет плюс!

«Это ж надо было так вляпаться! — чувствуя нарастающую головную боль, запоздало пожалел он. — Зачем с ней пил? Зачем ей позволил пить?.. Видел же, что девка в ненормальном состоянии, и все-таки пошел у нее на поводу. Теперь и отпустить ее нельзя, и оставить у себя невозможно».

Внезапно в номере погас свет. И верхний плафон, и ночник на стене. Словно опомнившись, Марина затихла в прихожей — лишь прерывистое дыхание да частые всхлипы в темноте. Дорохов подошел к окну, отогнул штору — по всем этажам гостиницы ни одного освещенного окна. Опять на линии что-то случилось — черт бы их всех побрал!.. Ощупью он нашарил в ящике стола спички, заглянул, посвечивая себе, в тумбочку, но свечного огарка, который специально на такой случай оставляли в каждом номере, там не нашел. Ничего не сказав Марине, точно ее тут и не было, он вышел в коридор и пошел к дежурной за свечой.

Тьма в коридоре была крошечная, но в дальнем конце его на столе у дежурной по этажу желтой точкой горела свеча. Никто не вышел из других номеров — за полночь, все давно уже спали. Осторожно ступая

по невидимой под ногами ковровой дорожке, он дошел до озаренного свечой стола.

Пожилая дежурная в овчинном кожухе, зевая, поднялась с кушетки, нашарила в своей тумбочке огарок свечи. «Гуляете?» — уловив, видно, запах спиртного, сказала она. — «Да так, посидели немного, — ответил Дорохов. — Расходиться пора». — «Чего ж вам? Гуляйте, пока молодые, — в полутьме приняв его, видно, за молодого еще парня, сказала она. — Только не очень шумите — люди уже спят».

Прикрывая крохотный огонечек ладонью, Дорохов медленными шагами пошел назад. Свеча разгоняла мрак на два шага впереди, но дальше он делался только гуще. Огромная изломанная тень скользила, крадучись, слева за спиной, точно хотела вслед за ним проскользнуть и в номер. Растопившийся от пламени свечи парафин, стекая капельками по ней, обжигал пальцы

Едва он открыл свою дверь, как резкая волна холода ударила в грудь: свеча погасла мгновенно. Застыв от неожиданности, он увидел перед собой пустой оконный проем, за которым сверкали уличные огни и тянулись заводские дымы по ночному небу. Разверстые оконные створки, как два стеклянных крыла, тускло отсвечивая, покачивались в номере...

То, что он увидел в следующий миг, буквально пригвоздило его к месту парализующим столбняком: с улицы, из темного пустого провала окна, вцепившись в нижний край оконной рамы, тянулись тонкие кисти рук с крохотным, слабо мерцавшим колечком на левой...

Все дальнейшее он делал холодно и расчетливо, не отвлекаясь ни на какие эмоции, как в самый ответственный момент операции, когда на карту поставлено все.

Два мягких бесшумных шага к окну, цепкий перехват ее тонких запястий... Огромная темная яма улицы дохнула в лицо ледяной пустотой... Отвесная стена и черная пропасть, на дне которой окаменевшая грязь и асфальт... А над этой пропастью, на полметра ниже окна, меж двух вцепившихся в подоконник рук, белело с отрешенно закрытыми глазами ее запрокинутое лицо. Ветер вскидывал и трепал легкие пряди ее волос, то разбрасывая по серой бетонной панели, то русой завесой застилая глаза и лоб.

— Не делай глупости, — стараясь покрепче перехватить запястья, спокойно сказал ей Дорохов. — Влезай обратно. Ты выстудила мне весь номер. Ну-ка, давай влезай!..

Плотно прижатые к бетонной панели запястья не давали замкнуть на них пальцы. Он наклонился и перехватил ее руки пониже локтей. Но тут же почувствовал, что теряет в этом положении точку опоры: еще немного — и сам опрокинется вниз вслед за ней.

— Подтянись! — приказал он ей. — Дай запястья!

Она правильно поняла его и сделала судорожную попытку подтянуться, но тонкие холодные руки лишь бессильно напряглись. Ее белое

как мел лицо с жутко зажмуренными глазами говорило, что она близка к обмороку. А это... Это конец...

Новым резким порывом ветра отбросило в сторону ее волосы; растегнутые полы халатика, точно какие-то эфемерные крылья, затрепетали за спиной...

Нет, он выбрал не тот путь. Невозможно вытащить ее за руки. В этом шатком, неустойчивом, внаклон, равновесии втащить ее в окно он не мог. Не на что опереться — точки опоры нет. Сорвись она — и либо выскользнет из его рук мгновенно, либо вместе загремят вниз... Что делать? Кричать, звать на помощь?.. Но пусть уже город в половине второго в эту стылую декабрьскую ночь!..

— Подожди, — сказал он уверенно, точно речь шла о какой-то пустяковой проблеме. — Сейчас, девочка, я вытащу тебя...

Он быстро отнял левую руку, скользнул ладонью по оконному косяку. Ни единого выступа, а хлипкая рама на крутящихся петлях — плохая опора... «Не нервничать! Нельзя горячку пороть!.. — сказал он себе. — Найти опору, нужен прочный захват... «Будь на ней ее джинсы с ремнем, он дотянулся бы и вытащил за этот ремень, но хлипкий халатик, конечно, не выдержит, нельзя рисковать... Нельзя... Надо что-то придумать другое, а думать времени уже нет. Он видел ее запрокинутое, залепленное тонкими прядями волос побелевшее лицо, он чувствовал терзающий ее тело ледяной ветер и предельным усилием воли удерживал себя от дрожи, от страха, от бессмысленной слепой паники, которая, если охватит сейчас, погубит и его, и ее...

Пытаясь выбраться, Марина сделала еще одно судорожное движение, подтянулась было немного, но тут же обвисла бессильно, и пальцы медленно поползли с окна.

— Не шевелись! Держись!.. — крикнул он, и страх, пронявший его до костей, подсказал единственно возможное решение.

Оседлав подоконник, он вцепился в край его левой рукой и, перевесившись наружу, всем телом нависая над Мариной, вдоль ее спины дотянулся до промежности правой рукой. Ухватился покрепче и, напрягая все силы, потянул окаменевшее холодное тело на себя.

— Ну, давай! Давай понемногу!.. — распластанный вместе с ней по ледяной бетонной стене, уговаривал он ее. — Ну, милая, постарайся, — сквозь сжатые зубы бормотал он. — Ну, давай, подтянись!..

Вместе висели они теперь над бездной, но, повинаясь его напряженному усилию, Марина сдвинулась, подалась наверх. Оживая, лихорадочно дыша, она подтягивалась, извивалась, тянулась, но выше продвинуться не могла. Ветер, с воем беснующийся здесь на высоте, швырял из стороны в сторону пряди ее волос — бесчисленными тонкими нитями они застилали Дорохову лицо, лезли в рот, мешали видеть, мешали дышать. Хватая разинутым ртом холодный уличный воздух, он так и эдак пытался втащить ее в окно, но без ее собственных активных усилий это было абсолютно невозможно.

— Ну, работай же ты!.. — хрипел он. — Тянись! Работай давай!..

Левая ее рука вдруг сорвалась с подоконника и тут же крепким судорожным захватом захлестнулась на шее у него. Как утопающий в безумной панике топил спасителя, так, сжав ему горло, она душила его. Теперь уже всей тяжестью она висела на нем, а вместе они зависли над бездной, сцепившись друг с другом, содрогаясь в конвульсивных объятьях, в безумном трансе цепляясь за жизнь...

Чувствуя, как с каждым мгновением оставшиеся силы покидают его, Дорохов не умом, а уже каким-то инстинктом вдруг нашел тот последний, отчаянный выход, который оставался в этой ситуации. Повиснув мертвой хваткой у него на шее, Марина дала ему возможность освободить правую руку. И оставив ее висеть в таком положении, а сам обеими руками схватившись за подоконник, он неимоверными усилиями, но сумел дотянуться корпусом до проема окна. Задышавшись, хрипя, почти теряя сознание, он собрался, сгруппировался и, отдав этому последние силы, коротким рывком перебросил в номер ее и себя...

Вместе они рухнули на покрытый ковриком пол. На коленях Дорохов приподнялся и непослушными руками торопливо захлопнул обе створки окна, задернул шторы.

— Тварь! Психопатка!.. — замахиваясь на Марину, сидящую на полу, сипло заорал он. — А если бы я задержался?.. Ты что вытворяешь, дура!..

Она отшатнулась, втянув голову в плечи, и это детское испуганное движение остановило занесенную для удара руку — а то бы он вышиб ей мозги. «Идиотка! Черт тебя принес!..» Крупный озноб до судорог сотрясал все его тело, воздух с трудом проходил сквозь сдавленное горло, перед глазамиплыли какие-то багровые круги. Кашляя, держась за шею, матерно ругаясь сипящим горлом, он сидел на полу, не в силах сбросить с себя эту трясушку, этот запоздалый, только сейчас накативший животный страх. Попытался подняться на ноги, но они, точно парализованные, не слушались его. И только держась за спинку стула, помогая себе обеими руками, он сумел наконец оторваться от пола, чтобы зажечь эту только что принесенную и чуть не стоившую ей и ему жизни свечу. С проклятьями, ломая одну за другой непослушными руками спички, посветил себе, нашел на полу этот злополучный огарок и, кое-как закрепив его в блюдечке, зажег на столе.

Желтый свет слабо озарил номер, и тут наконец дошло, что самое страшное уже позади, что все обошлось, слава Богу, что она здесь живая, рядом с ним. Не там, внизу, распростертая в кровавой луже, а здесь, невредимая, по эту сторону стены... И только тут отпустило дыхание, он сделал первый глубокий вдох.

Но этот жуткий озноб все не проходил. Все тело содрогалось, точно в пляске святого Витта, а челюсть выстукивала какую-то неровную дробь. Заметив на столе среди остатков ужина то ли свой, то ли ее недопитый стакан с коньяком, Дорохов схватил его и, придерживая, чтобы не расплескаться, выпил все одним духом. Он даже не почувствовал вкуса спиртного, но коньяк согрел и немного успокоил его.

Сжавшись в комок, с посиневшим лицом и остановившимся бессмысленно взглядом, Марина дрожала на полу, выстукивая зубами мелкую дробь. «Надень!» — швырнул он ей куртку. Но куртка упала рядом, а она в своем легком халатике, сидя на полу и обхватив плечи руками, продолжала все так же дрожать. Дорохов нагнулся, взял ее на руки и осторожно перенес на кровать. Заледенела вся, и мышцы были каменно-жесткими, все тело судорожно, каталептически напряжено. Халатик расстегнулся, открыв сжавшуюся в ознобе маленькую девичью грудь с темными крохотными сосками. На коленках, на бедрах ссадины и царапины со следами цемента, на тонких голубых трусиках такие же цементные следы.

Дорохов потянул из-под нее одеяло вместе с простыней, но шерстяное одеяло застряло — вытянулась лишь скользкая простыня. Он накрыл ее этой простыней, стал мягко растирать и массировать мышцы через тонкую ткань, стараясь, согреть, расслабить, освободить их от страшного зажима. «Ничего, — бормотал, он. — Все в порядке. Ничего не случилось. Сейчас согреешься. Я тебе помогу...» Энергичными движениями он растер ее заледенелые ступни, помассировал через простыню голени и бедра. Исцарапанные о бетонную стену живот и колени протер платком, смоченным остатками коньяка. Это расслабило, успокоило и его самого — в привычной роли врача все становилось на место. Чувствовал, как судорога ее проходит, как мягчают, податливей становятся ткани, возвращается подвижность суставов. Но безучастное лицо и какой-то странный застылый взгляд тревожили его.

— Подожди, — сказал он, кончив массаж, — сейчас кофе согрею. Горячего тебе хорошо.

Сунул кипятыльник в кружку с водой и пошел в ванную мыть чашки, оставив все-таки на всякий случай дверь распахнутой за спиной. Вернулся — вода уже весело булькала, закипая. Бросил две ложечки кофе, подумал и добавил еще. Беря ложечку, заметил, что руки еще подрагивают мелкой дрожью. Осторожно разлил кофе по чашкам, протянул Марине, но она не взяла — точно не видела его своим остановившимся взглядом. Тогда он сел на кровать, левой рукой приподнял ее голову, а правой поднес чашку с дымящимся кофе к губам.

Внезапно лицо ее исказилось и слезы хлынули из глаз. Она закрыла лицо руками, но слезы все сочились сквозь стиснутые пальцы, а из горла рвался какой-то сдавленный крик. Плечи так содрогались, что, удерживая ее, он расплескал на коврик горячий кофе. «Ну, ничего!.. Ничего... Все в порядке... — легонько сжимая и поглаживая ей плечи, говорил он. — На, глотни кофейку. Станет легче».

Он понимал, что это реакция на происшедшее, что ей нужно выплакаться, и не мешал, терпеливо ждал. Так оно и вышло — после первой бурной волны рыданий ей стало легче, плач сделался приглушенным и постепенно стал затихать. Наконец Марина успокоилась, села, закутавшись в простыню, с заплаканным, чуть опухшим от слез лицом. Взяла чашку из его рук, но долго еще всхлипывала и вздрагивала, как от озноба, прежде чем в первый раз осторожно отхлебнула из нее.

Молча пили кофе редкими глотками, оба уйдя в это занятие, стараясь не встречаться взглядами. Время от времени Марина вздрагивала и зябко ежилась, но лицо ее, высохшее от слез, уже разгладилось, порозовело. Ветер бесновался и выл за окном, бился о стекла, точно припадочный. Но было тихо и по-ночному покойно в номере, где, чуть подрагивая шелковистым лепестком пламени, безмятежно горела свеча.

— Хорошо горит. Красиво... — сказала Марина с прерывистым вздохом. — А меня могло бы уже не быть...

Он поморщился, отхлебывая свой кофе, — не надо об этом, ни к чему.

— Я не хотела, — всхлипнув, сказала она еле слышно. — Но вдруг накатило, точно ополоумела. Какой случай сразу всем отомстит! И себе, ничемной, и мамочке, и папочке, и вам — всех в одну яму столкнуть. Такая вот дрянь, такая вот психопатка!..

Она закусила губу, слезы опять показались на глазах — одна скатилась, упала в чашку.

— Перестань, — строго сказал он ей. — Не делай кофе соленым. Допивай — остыл уже.

Она послушно поднесла чашку ко рту, но не сделала и глотка — губы прыгали, из глаз катились слезы.

— Дрянь! Какая дрянь!.. — кусая губы, повторяла она. — Господи, как я себя ненавижу! Бесчувственная, холодная, как лягушка. Я фригидная, я просто урод!.. Я никого не могу любить. И вас почему-то возненавидела. Нет, вы хороший, хороший!.. — уже сотрясаясь в легкой истерике, твердила она. — Это я ненормальная, я!.. Напилась, наговорила тут гадостей, как сумасшедшая вела себя. Ну что мне делать с этим, как жить?.. Мне вычеркнуть, уничтожить себя хочется. Уж лучше руки на себя наложить.

— Прекрати! Ну перестань сейчас же! — встревоженный, он снова пересел на кровать. Взял из ее рук готовую расплескаться чашку, согнутым мизинцем осторожно убрал слезинку со щеки. — Ты нормальная, ты совершенно здорова! Холодные люди не мучаются, они-то как раз спокойно живут. Душа болит, потому что живая. Раз мучаешься, значит, сердце у тебя есть.

— Нет, — мотала она головой. — Будь я нормальной, хоть кого-нибудь да любила бы, хоть к кому-то относилась хорошо. А у меня ни черта не получается. Чувствую себя какой-то холодной лягушкой. Я боюсь, ведь патологическая бесчувственность — это начальная стадия шизофрении. Меня скоро в психушку запрут.

— Перестань болтать о шизофрении. Обычная реактивная депрессия — только и всего.

— Депрессия, которая никогда не проходит. Она у меня всю жизнь.

— Зациклилась — вот и не проходит. Голоса слышала? Галлюцинации бывают?

— Нет, до этого еще не дошло.

— Ну вот, а стонешь. У меня в твоём возрасте хуже было.

— Не может быть, — сказала она. — Я читала ваши письма. Они такие тонкие, поэтичные. Их не написал бы больной человек.

— Ты не знаешь, что было потом.
— Когда потом?
— Когда мы с ней расстались...
— Что, — тихо спросила она, — были попытки?
— Да, — кивнул он.
— Господи! — выдохнула Марина, широко открытыми глазами глядя на него. — Она что, какая-то другая была? Неужели вы могли ее так любить? Может, вы и сейчас?..

— Нет, — качнул он головой. — Нет, конечно. Но тогда я совсем было с катушек сошел. Готов был решиться на что угодно.

Свеча покойно горела на столе, и они помолчали, следя за этим ее безмятежным горением, за нежно-розовыми отсветами пламени, бесплотные скользкими по задернутым шторам.

— Я несколько раз был на краю суицида. И под рукой всегда было верное средство. Я мог уйти без проблем, как уходят из дома на прогулку. И однажды уже решился совсем. Но позвонили из клиники — больному нужна была срочная операция, и спасти его на тот момент мог только я. Профессиональное чувство сработало или что-то еще — не знаю, но тут же поехал к больному в клинику, и операция прошла хорошо. А уйди я из жизни за минуту до этого, и ему пришлось бы уйти вслед за мной. После этого случая я понял, что мы, врачи, не можем выбирать между жизнью и смертью, а нравится нам или нет, обречены жить. Ведь мы ответственны за всех тех, кого могли бы вернуть к жизни, а значит, не имеем права на суицид. Для нас это вдвойне грех.

— Ко мне это не относится, — сказала она. — Я не врач. Да если и стану врачом, никого не вылечу. Меня саму надо лечить и лечить.

— Именно из тех, кто сам страдал от болезни, обычно и получаются лучшие врачи, — возразил он. — К тому же, что ни говори, а есть в жизни и хорошие вещи. Дело, которое удастся, природа, музыка, хорошие книги. Сына вот на ноги нужно поставить — не хотелось бы своим уходом отравить ему жизнь.

— А у меня... у меня нет сына, — с подступающими к горлу слезами выговорила она. — Меня здесь не держит ничто.

— Ты молода. У тебя еще все впереди. Тебе еще рано решать.

— Нет, — покачала она на подушке головой. — У вас частичное отравление, а у меня полное. Мне надо уходить. Или уехать к чертовой матери! В ту же Америку...

— Или в Австралию, — шутливо подсказал он. — Пара пустяков.

— Никогда бы не подумала, что у вас могут быть суицидные мысли, — все еще с легким сомнением сказала она. — На вид вы спокойный, психически устойчивый человек.

— Я просто хроник. Научился ладить с болезнью, заключил с ней сепаратный мир. К тому же неясно еще, кто больше болен: мы с тобой или этот наш свихнувшийся век.

Кончиком простыни Дорохов вытер ей мокрые от слез глаза. Невольно задержал руку на волосах, мягким жестом провел по щеке —

она всем телом подалась к нему со смущенной доверчивой улыбкой. Прекрасно было ее лицо, в полутьме так похожее на Анино. Так сблизились их глаза, что он видел расширенные ее зрачки, в смоляной черноте которых мерцал дальней точкой огонек свечи.

— Я удержалась только из-за вас, — почему-то шепотом сказала она. — Уже хотела отпустить руки, но вдруг подумала: что будет с тобой?.. С вами... — смущенно поправилась она, но легким кивком он показал, что можно и так, что так даже лучше. — Начнется следствие, могут в чем-то ужасном обвинить... Записки ведь, дура такая, не оставила. Ужас, что могло быть!..

— Дай слово, что никогда больше не станешь этого делать. Ни одной попытки, ни при каких условиях.

Она кивнула, судорожно вздохнув.

— Клянусь, что не сделаю этого никогда в жизни, — подсказал он слова. — Даже думать об этом не стану.

— Клянусь... не сделаю... — как эхо, повторила она. — Даже думать не стану...

Он взял ее лицо в ладони и мягким движением больших пальцев провел от переносицы по темным шелковистым бровям. Медленно, покорно, как под наркозом, она опустила веки с тем трогательно-беспомощным выражением, которое появлялось при заикании. Точно хотела что-то сказать, но не смогла выговорить — лишь легкая гримаска усилия осталась на лице. И медленно переводя взгляд с ее опущенных век на припухлые от слез неплотно сомкнутые губы и дальше, на эту давно знакомую ему крохотную родинку на шее с правой стороны, он безотчетно привлек ее к себе.

То страстное, порывистое движение, которым она мгновенно прильнула в ответ, передалось и ему. И запрокинув ей голову, кусая ее нежные солоноватые губы, он сорвался с нею в безумие, блаженное безумие греха и любви...

Красиво, легко и покойно горит свеча... Тонкие жилки продольных натеков, мягко зазубренные края. Крохотное озерцо парафина, словно в кратере, вокруг фитиля. И, бликуя в этом светлом расплаве, пламя струится прямо из него. Призрачно-темная шелковинка копоти, легкими извивами стекающая с пламенного острья... Красиво горит свеча...

Нежно вползая в гортань и бронхи, горьковато рассасываясь в груди, дым усыплял, счастливо обезволивал, точно погружая в сон наяву. Дорохов курил, сидя в кресле, редко и неглубоко затягиваясь, почти не чувствуя вкуса дыма, но пристально следя за его волокнистыми стелющимися слоями, осторожными извивами ползшими к окну. Покой... Тишина... Такого полного, безграничного, глубокого, как наркоз, покоя он не испытывал еще никогда. Краем сознания он подумал, нет ли в этой сигарете чего-нибудь наркотического — но если и было, что с того.

Вытянувшись на спине, с головой накрытая белой простыней, Марина неподвижно лежала на кровати. Лишь над губами вздымался кушочек тонкой ткани, выдавая дыхание...

Потом возникло легкое шевеление под этой натянутой тканью, едва заметное подрагивание складок ее. Какое-то шмыганье под ее тонким навесом, торопливое движение узкой руки, как будто утирающей слезы. Там, где ткань коснулась правой щеки, и впрямь расплзлось влажное пятнышко. Но ни слова, ни звука рыданий. Да и шмыганье скоро прекратилось. Свободнее стала двигаться под простыней, чуть изгибаясь в одну и в другую сторону, то выпукло оттягивая полотнище бедром, то остро оттопыривая локтем...

Тихо выскользнула узкая рука, зеленой искрой блеснуло колечко. Потом рука вновь исчезла, а из-под края простыни пугливо выглянул мокрый глаз. Стрельнул в его сторону и скрылся... Пошмыгав еще немного, она смущенно приоткрыла лицо, шурясь, заслоняясь от света рукой. Попросила: «И мне сигарету».

Он протянул ей, достав из пачки, щелкнул зажигалкой, подвинул пепельницу.

Сидел и молча курил вместе с ней, даже не вспоминая, что бросил давно, забыв о себе, забыв обо всем в этом полном глубоком покое.

— Думаете, я плюха? — вдруг сказала она.

— Не говори глупостей, — ответил он строго.

— Мне действительно было плохо, и я не за этим пришла. Но вот пришла и осталась. Вашу кровать заняла. А вы где спать будете?

— На коврике, у твоих ног, — указал он глазами на пол.

Чуть усмехнулась. Потом спросила:

— А у вас с ней ничего не было?

— С кем?

— С матерью.

— Не было, — сказал он.

— Я так и знала. — И помолчав, тихонечко хмыкнула: — У нее не было, а у меня вот было. Дела-а...

— Хочешь кофе еще? — спросил он.

— Хочу, все равно ведь не уснуть. Хотя кажется, что именно сплю, а это все снится. Не поверите, но были подобные сны.

— Ты не замужем?

— Была...

— В разводе?

— Да. Фактически.

— Кто он?

— Это тяжелая история, — сказала она, помрачнев. Пепел с сигареты упал на простыню — не заметила.

— Пил?

— Хуже.

— Наркотики?

— Да.

— Зачем же выходила за него?

— Когда выходила, этого еще не было. А может, и было, но я не знала. А-а!.. — сказала она, судорожно вздохнув. — Не стоит об этом.

Сигарета затрещала, докуренная до фильтра. Морщась, Марина вдавила окурок в пепельницу. И вдруг уронила голову, закрыла лицо, сжимая край простыни руками. Из-под пальцев на простыне опять расплывалось влажное пятно.

— Извини, — сказал он. — Я не должен был ни о чем расспрашивать. Лучше я сварю еще кофе.

— Да ничего, — стараясь справиться с собой, сказала она. — Это я так... Изошла слезами сегодня. — Ладони ее, прижимавшие к лицу простыню, были плотно сомкнуты, точно руками пыталась слезы унять. — За Витю они меня еще на первом курсе выдали. Папочка сосватал — это ведь его шефа сынок. Такая же семейка, как и моя. Меня это и привлекало к нему, что у нас много общего. Витя ведь тоже своих предков терпеть не мог.

Он старше меня, — продолжала она, помолчав. — Давно уже закончил институт. Взрослый мужчина — это мне тоже в нем нравилось. Компанейский, веселый, английский знает хорошо. Предки его в загранкомандировку на три года уехали, квартиру, дачу, машину — все оставили нам. Витю они в одну внешторговскую фирму устроили, но он там просто мелкий клерк. Работу свою не любит, да и не знает — до лампочки она ему. Он, как ребенок, без игрушки не может — ему любая работа скучна. Он только в компании оживляется, особенно с наркотой... Писал стихи. Уверял, что книжку вот-вот издадут в Москве, что Давид Самойлов к ней предисловие пишет. А оказалось, что переводил кое-что из английских поэтов, а выдавал за свое.

Денег предки нам подбрасывали, но Витя очень быстро втянулся, почти все уходило на наркоту. Потом и вещи стал продавать. Как-то у меня исчезло кольцо, дорогое, с бриллиантом. Потом признался, что он взял. Будто бы рэкетиры к нему «подъехали» — гони выкуп, а то убьем жену. Чем дальше, тем больше сочинял. Такую чепуху нес, что страшно за него делалось. Якобы он вошел в какую-то криминальную группировку, что все они там кровью повязаны, что за ним охотятся и в любой момент могут убить. Иногда по нескольку дней дома не ночевал. Я сначала думала, что у него любовница, но куда там, он от этих наркотиков в постели никуда не годным стал. Но обвинял меня. Говорил, что я холодная, что сексуально я его не устраиваю, и в то же время страшно ревновал. Все время запугивал, что его дружки из мафии день и ночь следят за мной, и если я начну изменять, тут же засекут, и тогда я исчезну — меня растворят в какой-то особой кислоте...

Хуже всего, что он не просто врал, а уже и сам верил в это вранье. Я обратилась к знакомому психиатру, он пообщался с Витей и сказал, что это еще не болезнь, но уже и не норма. Пограничное состояние. Инфантильная психика у взрослого человека. Результат родительского деспотизма и тепличного образа жизни. Ему уже за тридцать, а он ни на что не годен, реальной жизни не знает, не может обеспечить семью. Сам это чувствует и уходит в фантазии, в наркоту.

Я потом уже поняла, что просто наши предки за моей спиной сговорились. Те боялись своего Витеньку без присмотра здесь оставить, а мои согласились сделать меня сиделкой при нем. Отцу это нужно было для карьеры, да и маман имела какой-то свой интерес. Они говорили, что я должна повлиять на Витю, перевоспитать его, а что я, девчонка, со взрослым мужиком могла сделать? Его уже не воспитывать нужно было, а лечить. Я уговаривала его «завязать», прятала от него деньги и вещи, и тогда он сам стал приторговывать наркотой.

Я уже беременна была, — сказала она, помолчав. — Очень ребенка хотела. Никого не любила, а его, ребеночка моего, знала, буду любить. Он даже во сне мне снился, точно живой. Особенно ясно глаза его видела и пальчики — такие крохотные, розовые и растопыренные, знаете, как у всех малышей. Из-за этого только и замуж вышла... Беременность тяжелая была, но я держалась. У меня в жизни впервые смысл появился. Тошнит, выворачивает, но все равно, знаю же, за что мучаюсь, знаю, что скоро буду уже не одна. Если бы Витя был рядом, завязал с наркотой, может, и ничего. Только он еще больше стал «торчать», совсем опустился. А мне страшные мысли лезут в голову: не может у меня нормальный ребенок родиться. Муж психопат да еще наркоман, сама какая-то ненормальная — ребенок наверняка родится дебильным. Потому и беременность тяжелая, что-то у меня не так. Застряло в сознании — и все. С утра до вечера переживала, психовала по-страшному — и накликала...

Она закрыла лицо руками, ее плечи, обтянутые простыней, затряслись. Дорохов не спрашивал ни о чем. Держа в руке погасшую сигарету, он не двигался и молчал.

— Ребенок родился мертвым, — тихо, но отчетливо сквозь сомкнутые ладони сказала она. — Я еще в роддоме хотела выброситься из окна, но Витя пришел, оставил таблетки. «Спас» меня этими таблетками. Я от них забывалась сразу. Он меня и к травке приучил. Сам давно уже травку курил, а к тому времени и колоться начал. Быстро втянулся, он же слабак. Сейчас в спецбольнице — не человек уже, ничего ему не помогает. Маман о разводе хлопочет. Она мне уже нового жениха нашла. Теперь саму меня за границу хотят сплавить... Вот такие у нас тут дела.

— Прости, — сказал Дорохов глухо. — Я не знал.

— А-а!.. — сказала она с прерывистым вздохом. — Сама виновата, на божиху уже стала похожа. Опустилась в последнее время, перестала следить за собой. Ничего не хочется, все обрыдло! Спрашиваю себя, что мне дорого на этом свете, и получается — ничего. Родных ненавижу, родину не люблю, друзей настоящих нет, с мужем фактически в разводе. А ведь, казалось бы, не так уж много и надо. Совсем немного, ну хоть чуть-чуть.

Огонек умалился, тускнея — свеча догорала. Крохотный лепесток пламени еще цеплялся на кончик фитиля, то вспыхивая на миг, то едва тлея. Он не мог уже осветить всю комнату, а только блюдце и угол стола. Потом почерневший фитиль склонился, свернулся червячком в расплавленной лужице — и погасла свеча...

Проснулся он от едва слышного шороха. Уже одетая, торопливо, но бесшумно Марина собирала свои вещи в торбу, стараясь не потревожить его, не разбудить.

— Уходишь?..

Она вздрогнула — вопрос уже у двери настиг.

— Мне п-пора, — сказала она тихо, не глядя на него. Еще не рассвело толком, в номере был полумрак, и лица ее он не видел.

— Постой, — приподнялся он на локте. — Когда мы сегодня встретимся?

Опустив голову, она молчала у двери: ни да, ни нет, точно ждала, что он еще скажет.

— Где тебя найти?.. Куда звонить?

— Н-не знаю. У меня сейчас нет те-елефона.

— Тогда сама позвони. Нам нужно встретиться. Обязательно позвони. И оставь на всякий случай хоть какой-нибудь телефон.

Она подошла к столу, черкнула номер на бумажке. В едва брезжащем свете он по-прежнему не видел ее лица, только гибкий девичий силуэт. Поправила торбу на плече, пошла к двери.

— Марина!..

— Что? — Она остановилась, не поворачивая лица.

Он хотел сказать «подойди», чтобы поцеловать ее, но почему-то не решился. Только повторил: «Позвони обязательно. Не пропадай».

В нагнетой за ночь постели тут же опять задремал. От подушки исходил слабый запах ее волос, простыня пахла ею. Постель хранила память о ней, тепло ее молодого тела. В полусне он потерялся щекой о подушку, потянулся, ощущая, точно ее кожу, нежную гладкость этих простыней, и тотчас же погрузился в новый сон, на редкость спокойный и крепкий.

Беспокойство охватило потом, когда окончательно проснулся: сколько упущений и нерешенных проблем! Самолет улетает в девять вечера, но в аэропорт нужно ехать уже в семь. Когда же успеют они побыть вместе, если встретятся, скажем, в шесть? И как предупредить, чтоб пришла пораньше?.. О чем он только думал? Зачем вообще ее отпустил?..

Бумажка с номером телефона лежала на столе. Но неизвестно, когда Марина появится там, удастся ли быстро связаться с ней. Прикинул время, оставшееся до полета, — всего ничего. Куда меньше, чем казалось вначале.

С этой минуты в нем точно счетчик включился, непрерывно множивший цифру его потерь. Хотелось тут же позвонить, но пересилил, взял себя в руки. Едва ли она там сейчас окажется — не стоит горячку пороть. Встал, тщательно побрился, принял холодный душ. Взболтал вчерашнюю бутылку кефира, до краев наполнил стакан. Решил позавтракать и потом позвонить. Но, сделав пару глотков, ощутил, что давится этим кислым кефиром, что взгляд прикован к телефону, а спазмы в горле мешают пить. Отставил стакан, быстро набрал номер. Были длинные гудки, никто не подходил. Положил трубку и тут же заново набрал — опять те же длин-

ные гудки. Нет там с утра никого и неизвестно, когда появятся. Чей это она дала телефон? Может быть, свой, домашний?.. Но явно не общежитский — там взяли бы трубку. Черт, зачем ей вообще нужно было уходить?.. Зачем он утром ее не удержал! Какой же глупостью с его стороны было вот так ее отпустить!..

Не допив свой кефир, он оделся и вышел на улицу.

Морозец был по-уральски крут, но снега за ночь так и не выпало — лишь тонкий призрачный иней промерзлую землю слегка подбелил. Бледным контуром он оттенял края мерзлых луж на асфальте, серебрил на газонах пучки блеклой мертвой травы. От неба ли, затянутого пеленой, от смога ли, заполнявшего улицы, но на всем вокруг был какой-то сизый металлический налет, какой-то специфический холодный отблеск.

Даже в центре город был странно пуст, людей на улице очень мало. Пустые бульвары и скверы, безлюдные перекрестки, пустые, с голыми деревьями дворы. Но заводы работали, трубы дымили... С высокой точки проспекта открывалась широкая панорама города с густыми дымами на всех окраинах, с отдаленными силуэтами домен, мартенов, с частокотлом труб и коробками заводских корпусов. Пересекаясь в центре, улицы и проспекты расходились в разные стороны, но повсюду, в любой перспективе, упирались в какую-нибудь дымящуюся трубу. Днем и ночью, в будни и праздники, непрерывно, безостановочно, с монотонностью углубленного в свое дело маньяка, не зная отдыха, город трудился: дробил руду, варил сталь, строил машины, отправляя все это эшелонами, оставляя себе лишь дым и угар.

Пустые, темные, заиндевелые по краям витрины магазинов были украшены свежими еловыми ветками, и на каждой один и тот же новогодний плакат: Дед Мороз с малиновым носом и малиновыми щеками алкоголика, сжимающий в левой руке тощий мешок с подарками. Правую, короткую и толстую, он держал возле уха — то ли приветствуя прохожих, то ли по пьяной лавочке отдавая кому-то честь. «С Новым 1992 годом!» — округлыми буквами, похожими на румяные бублики, вилась затейливая надпись над его головой.

Возле каждой витрины пристроилось по несколько закутанных в шерстяные платки женщин, разложивших тут же, прямо на асфальте, свою выставленную на продажу снедь: банки с квашеной капустой и солеными огурцами, оранжевые ломти тыквы, грязноватую морковь и картошку, молоко в разнокалиберных бутылках и воблу с металлически отсвечивающей чешуей.

На углу возле почтамта продавали цветы с лотков. Кипы роз и букеты гвоздик, защищая их от холода, держали в прозрачных, запотевших изнутри плексигласовых ящиках; и в каждом из них горела свеча. Озаренные ее призрачным феерическим пламенем, цветы казались странными, почти нереальными в своем заточении, точно все это галлюцинация или привиделось во сне. Свеча уютно горит в доме, благочестиво в церкви, но на зимней улице, под открытым небом... Что-то ненормальное, почти истерическое было в этих горящих на улице свечах...

Из автомата Дорохов позвонил по бумажке, и снова никто не взял трубку — унылые длинные гудки. Тщательно, боясь ошибиться, он еще раз набрал этот номер — и тот же результат. Было ясно, что никого там нет у телефона, никто ему не ответит, а он все стоял, прижимая к щеке холодную трубку, и ждал — на что-то надеясь, ждал. Господи, как ему хотелось сейчас видеть Марину, слышать Марину. Вновь ощутить этот свежий яблоневый запах ее волос! Как досадно, что не условились, когда и где встретиться! Зачем вообще ее отпустил?!

Он уже не мог без нее. «Дорохова Марина... Правда, неплохо звучит?» Он вспомнил ее лицо, этот грустный глубокий взгляд, эту родинку на щеке, этот плавный изгиб бровей... Да, такая у него могла быть дочь, у него с Аней. И хотя совсем иное, не отцовское чувство он испытывал к ней, сейчас эта мысль не показалась нелепой.

Как похожи они, как близки, как легко понимали друг друга! Тут не внешнее сходство, а иное, какое-то глубинное, душевное сродство. Душевный настрой у них одинаков, психический статус сходен — недаром так быстро нашли вчера общий язык. Даже невротические проявления были похожи — точно сработал какой-то наследственный механизм. В его сознании Марина была связана с Усть-Алышем — казалось, не будь его, не родилась бы у Ани такая дочь. И странное чувство это не нуждалось в обоснованиях: оно было за пределами их. Это как наследственность влияния, механизм которой неведом, загадочен, но которая существует несмотря ни на что.

Что роднило их, так это тоска по осмысленной жизни, отвращение к той бессмыслице, что царила кругом. «Зачем мы живем? Какой смысл в такой жизни?..» Сколько раз он и сам задавал себе этот вопрос. «Не хочу существовать как белковое тело, не хочу гореть, как копеечная свеча». И она права — все это бессмысленно. Так что же остается: выпрыгнуть из окна?..

Да, для многих, кто болен этим отчаянием, единственным выходом представляется суицид. Временами и сам он был близок к этому. Но такое решение ошибочно, и теперь он знал, почему. Ведь как поступает самоубийца? Вместо того чтобы покончить с «болезнью», с проблемами, мучающими его, он просто кончает с собственным «я», как будто, отчаявшись спасти свою партию, с досадой смахивает фигуры с доски. Но жизнь — не шахматы, и выиграть можно, бороться можно — в ней всегда есть ход, который все может спасти!.. Ведь как бы ни был человек недоволен собой, как бы ни мучил себя упреками, как бы строго себя ни судил, уже сам факт, что он поступает так, доказывает, что он способен на многое, что не такое уж он жалкое создание, каким представляется себе. Человек может встать надо всем; способен он встать и над самим собой. Ведь я не обязан терпеть самого себя таким, каков я есть на данный момент, каким сложился под влиянием обстоятельств. Я могу отмежеваться от многого, что есть во мне, а значит, и от психической патологии тоже. Вот выход из кризиса, из болезни! И не только для отдельного человека — для всей страны!..

Все это так внезапно и так отчетливо представилось ему, что Дорохов остановился как вкопанный, стараясь зафиксировать, удержать в памяти такое простое и ясное решение задачи, безнадежно решаемой им всю жизнь. Еще не осознав толком, не додумав до конца эту мысль, он уже чувствовал, понимал, как невероятно важна она для него. И не только для него — для Марины. Нужно срочно как-то связаться с ней!.. Дозвониться, встретиться, и как можно скорее!.. Ведь до отлета осталось так мало времени, а он так много должен успеть ей сказать — и все исключительно важные вещи.

Периодические приступы хорошо знакомой ему головной боли, начавшиеся еще с утра, то ослабевали, то так усиливались, что он вынужден был прямо на тротуаре останавливаться и стискивать зубы, пережидая особенно острый приступ, от которого свет меркнет в глазах. Но это сейчас не слишком заботило его, не до этого ему было. Зато от быстрой ходьбы, от встречного ветра лицо его разгорелось, все чувства обострились, кровь по жилам струилась быстрее. Несмотря на полубессонную ночь, на эту острую головную боль, он чувствовал себя полным сил, энергии, и голова работала хорошо.

Да, она оживила его, эта ночь, пробудила! Это прежде он жил, как во сне, сходя с ума от бессилия, не надеялся уже ни на что. Но настоящий мужчина не может жить с таким чувством — нельзя быть душевно здоровым, ощущая себя слабоком. А он, во цвете лет, жил вяло, без задора, без страсти, жил в каком-то болезненном полусне. Смысл жизни он заменил простым долгом, механически исполняемым профессиональным долгом. Точно по обязанности, жил и работал, как заведенный механизм... Нет, он не сбросил фигуры с доски, но видя, что игра идет не по правилам, вообще отказался участвовать в ней. Но правильно ли он поступил? Ведь эта партия — жизнь, и она для него единственная; другую не сыграешь уже никогда. Часы заведены и пущены в ход — они непрерывно тикают, а отвернувшись от жизни, отказавшись от этой игры, заведомо обрекаешь себя на поражение.

Не все еще потеряно, нельзя сказать, что его жизнь кончена — она ведь, в сущности, и не начиналась еще. Пусть партия в дебюте сложилась неудачно, но почему он решил, что положение безнадежно и нет смысла ее продолжать? Да, надо снова вступать в игру. Пусть грязь и скверна кругом, пусть все заражено и пропитано ею, но разве может врач перестать бороться с оттого, что больных слишком много, а эпидемия слишком далеко зашла? Нет, он не имеет права отчаиваться. Он должен верить в здоровье, как верят в Бога, как верят в любовь!.. «Я видел твои слезы, но не видел еще твоей воли». Где это сказано? Это Бог обращается к человеку, но где это сказано?.. А впрочем, неважно — главное, сказано хорошо!.. Врач, исцелился сам, и ты исцелишь так же и твоего больного. Да, его дело спасать, лечить, а значит, самому нужно быть здоровым. И даже счастливым, несмотря ни на что, хоть это и казалось невозможным.

Его бросало то в жар, то в холод. То он распахивал пальто на ходу, разматывая шарф, чтобы ветер остудил грудь и шею, то снова застегивался на все пуговицы, чувствуя какой-то нервный озноб. Шагая по проспекту, он повсюду высматривал телефон-автомат, бросался к каждой телефонной будке, но целой, как нарочно, не встречал ни одной. Сорванные двери, срезанные трубки, пол, усыпанный битым стеклом. Точно не нужны были в городе телефоны, точно не звонят уже здесь никому. Лишь в одной на десяти аппарат был исправен, кое-как, но вращался разболтанный диск. Не доверяя ему, Дорохов дважды или трижды набирал нужный номер, но в ответ лишь унылые длинные гудки. «Да что же это за номер она дала ему, черт возьми?.. Дома не живет, значит, не домашний. Но и не общежитский — там всегда на вахте у телефона кто-нибудь да сидит».

Он взглянул на часы и глазам не поверил: стрелки показывали уже без четверти три. Что случилось сегодня со временем — час пропал в пять минут! И с чего он взял, почему так уверен был, что они вообще до отлета встретятся — разве номер на бумажке гарантию давал? А вдруг там вообще никто не появится, а сама она тоже не позвонит?.. Где она, что она? Ведь понимать должна, что он с утра будет названивать по этому номеру — могла бы как-то выйти на связь... Продолжая дальше свой путь, он не думал уже ни о чем, а когда глядел по сторонам, видел только телефонные будки и, обнаружив занятую или испорченную одну, тут же бросался искать глазами другую. Он звонил из всех автоматов подряд, вставляя в щель одну и ту же нагретую в кулаке монету, но все без толку: дозвониться так и не смог.

Зачем он вообще ушел из гостиницы? Надо быстро вернуться в свой номер — вдруг Марина сама туда позвонит. Увидев впереди остановку, он на ходу вскочил в пустой обшарпанный трамвай и за четверть часа доехал на нем до гостиницы. По коридору почти бежал: ему казалось, что телефон в его номере трезвонит, надрываясь. Но телефон на столе молчал.

Тут же, не снимая пальто, лишь сдернув с правой руки перчатку, он накрутил эту затверженную комбинацию цифр... Набрал и еще и еще раз — тоскливо знакомые длинные гудки.

Пока ходил, ветром распахнуло форточку — так выстудило номер, что пар изо рта. Но не мог заставить себя подняться, прикрыть; так и сидел под распахнутой форточкой с перчаткой на левой руке, не снимая шапки, пальто...

Постель не убрана с утра; на столе пепельница, полная вчерашних окурков; пустые стаканы; две чашки с кофейным налетом; пустая бутылка, выпитая вчера. И свеча, догоревшая, растекшаяся по блюду, застыла твердым, бесформенным, тусклым пятном... Что же с Мариной, что могло с ней случиться? Почему ни там, куда он названивал, никто не берет трубку, ни сюда, ему в номер, она не звонит?.. Ведь знает же, что ему через пару часов улетать. Неужели даже попрощаться по телефону у нее желания нет?.. В это трудно поверить... после вчерашнего невозможно поверить. Но если не это — что же тогда?..

Глухие гостиничные шумы за дверью, стук лифта, шаги, голоса в коридоре... Невольно прислушивался, затаив дыхание, ждал: вот-вот замрут ее легкие шаги у двери, раздастся тихий неуверенный стук... Плохо пригнанная дверь время от времени вздрагивала от коридорных сквозняков, и всякий раз что-то ответное вздрагивало в нем. Понимал, что нет там за дверью никого, что не может Марина, не постучавшись, уйти, повернуть обратно, но бросался, распахивал... Полутемный пустой коридор.

На часах была только половина четвертого, но за окном уже начинало темнеть. Утренние сумерки, так до конца и не просветлевшие, смешались вечерними, точно и не было дня. От нетерпения, от надежды, угасавшей с каждой минутой, Дорохова уже просто трясло.

Нужно было отвлечься, занять себя чем-нибудь, и, достав чемодан, он начал укладывать вещи. Но такая жуткая тоска затопила внезапно душу, что слезы выступили и руки опустились без сил. «Нет, так нельзя, — сказал он себе, стараясь успокоиться. — Так нельзя, иначе ты скоро дойдешь». Встал, немного прибрался в номере, застелил постель. Когда зашел в ванную помыть чашки, то собственное лицо, мелькнувшее в зеркале, показалось ему постаревшим, несчастным, чужим. Лицо человека, потерявшего что-то бесконечно дорогое и вдруг осознавшего, что потерю уже не вернуть.

И снова он то сидел у телефона, то ходил из угла в угол, стараясь не смотреть на неумолимо двигавшиеся стрелки часов. Один за другим возвращались в свои номера постояльцы, по соседству хлопали двери, доносились какие-то разговоры, шумы. Чужие шаги, чужой разговор... И вдруг Марина рассмеялась с кем-то за дверью. «Наконец-то!..» — вскочил с облегчением он. Но она прошла, не замедлив шагов, дальше, к лифту — и смех ее, удаляясь, уже где-то в конце коридора звучал. «Абсурд! — остановил он себя. — Бред какой-то! Не могла она просто так пройти мимо». И все-таки не выдержал, выглянул, приоткрыв дверь. Никого там вообще не было — совершенно пустой коридор... «Галлюциназ?.. Похоже, начинается. Не пора ли кончать со всем этим, старик?..»

Что-то мелкое, тускло отсвечивающее перламутром привлекло его внимание на полу под окном. Нагнулся: пуговица с двумя аккуратными дырочками, с обрывком розовой нитки, продетой сквозь них. «Ее пуговица... От халатика... вчера, когда из окна ташил...» И точно ударило: «А что, если новая попытка?.. Вот почему нет звонка от нее!..» Сознание еще искало доводы «против», но доводы были только «за». Разводится с мужем, поссорилась с матерью... тяжелая депрессия, из дома ушла... С чего он решил, что вчера все закончилось и утром она в другом состоянии ушла? Почти бессонная ночь... рецидив вчерашней депрессии... бред самообвинения, острое недовольство собой... Все выстраивалось с жуткой последовательностью — классический предсуицидный синдром. А ведь попытки самоубийства повторяются, и зачастую на следующий день...

О Господи, как же он мог забыть! Зачем ее вообще отпустил?.. Ведь он единственный, кто знал о вчерашнем, кто новую попытку мог бы

предотвратить... Он вспомнил, как утром она уходила, каким странным тоном отвечала, как упорно прятала от него лицо. Легкомысленно настроенной она не выглядела, скорее подавленной, это да. Не заметить, не догадаться, не понять!.. Каким же тупицей он был! Сидя у телефона, сначала каждые пять минут, потом каждые две минуты, потом почти непрерывно он набирал и набирал оставленный ею номер, но на том конце провода так и не откликнулся никто. И его гостиничный телефон молчал. Лишь однажды коротко звякнул аппарат; он бросился, задышавшись, к столу, но не успел схватить трубку, как звонок захлебнулся, замолк. Случайный? Ошибся кто-нибудь или все-таки сигнал от Марины? Точно хотел оживший на секунду аппарат передать какую-то весть от нее, но в последний момент передумал.

Его собственное состояние шаг за шагом уже приближалось к критическому. Хорошо зная свою болезнь, он не мог уже заблуждаться: характерная головная боль, звуковые галлюцинации — что ему предвещало все это, он достаточно хорошо знал. Он то лежал, то сидел у стола, то расхаживал нервно по номеру, то снова валился пластом на кровать. Вчера, когда столько на его голову обрушилось, выдержка почти не изменяла ему, а тут, словно вдогонку, так накатило, что не унять. Уже и зубы слегка постукивали, и руки начинали дрожать. Он принял таблетку реладорма, завалявшуюся в кармане пальто, но заметного улучшения не ощутил. Да и что реладорм, если и в самом деле сорвался с резьбы. Тут реладорм не поможет... Он знал, чем все это может кончиться, но старался не думать об этом. С собой он в Москве успеет заняться, а Марина... Что с ней случилось, почему на звонки не отвечает, почему от нее нет звонка?.. А времени до отлета осталось немного: еще час-другой — и пора в аэропорт.

Нет, надо успокоиться, взять себя в руки, не выдумывать понапрасну всякие ужасы, не паниковать. Возможно, звонила в его отсутствие и решила, что он уехал уже. Не нужно доводить себя до истерики, надо успокоиться и собирать чемодан. Уехать, а там видно будет. Можно завтра же из Москвы позвонить... Но хотя это было разумно и верно, и много еще доводов в пользу этого можно было найти, он пошел и сделал все наоборот: не раздумывая, сдал в кассу билет и вернулся в свой номер к телефону; благо номер еще оставался за ним до утра.

В половине седьмого, когда, усталый и оцепеневший, вконец измученный тревогой и ожиданием, он в сотый раз накручивал пальцем диск, привычные длинные гудки внезапно оборвались и хриплый мужской голос отозвался в трубку: «Алло!..»

— Здравствуйте, — с радостным облегчением сказал Дорохов. — Марину можно к телефону?

— Какую Марину? Нет здесь таких, — недовольно буркнул мужик и тут же бросил трубку.

«Вот черт! Рука устала, не туда попал». И тщательно фиксируя каждую цифру, Дорохов набрал нужный номер еще раз.

— Слушаю, — сказал тот же голос.

— Извините, мне нужна Марина Сушеня. Она не звонила, не передавала для меня ничего?..

— Сказано же — нет таких!

— Но послушайте, это ваш телефон? Я правильно набираю? — И четко выговаривая цифру за цифрой, Дорохов назвал оставленный ею номер.

— Ну этот, — рывкнули там. — Только не знаем никакой Марины, нет здесь таких!..

— Не может быть, — похолодел Дорохов. — Значит, какая-то ошибка?..

Но тут же, слыша резкие отбойные гудки в трубке и глядя на эти шесть цифр, небрежно написанных на клочке бумаги, понял, что нет, никакая не ошибка, что так и хотела, что она обманула его. Не желала лишних объяснений утром — и такой вот простой выход нашла... А он, идиот, ждал звонка! А он, ненормальный, переживал и мучился! И какого же черта он сдал свой билет!..

Ситуация, в которой он оказался, была настолько нелепа, что не укладывалась в голову. Он, в чьей жизни давно уже не было никаких глупостей, очутился в ситуации почти водевильной, глупее которой и выдумать нельзя. «Смейся, паяц, над разбитой любовью! Смейся и плачь! Смейся и плачь!..» — без музыки, каким-то прозаическим рефреном назойливо звучало в ушах. Ну и дела!..

Да, он оказался в роли паяца, в роли какого-то одураченного Пьеро. И самое поразительное, как легко обманулся, как запросто ей позволил одурочить себя. Точно мальчишка, юнец желторотый — с ума сходил, мучился, страдал!.. Но она-то, чего же она хотела? Какого дьявола явилась к нему?.. «Сказки» рассказывала, черт-те что наплела... А вот так! Захотела и явилась, а надоело — махнула хвостом. Ну и артистка! Почтище мамочки! Классный устроила ему спектакль!.. С истериками, с попыткой суицида, с душераздирающей исповедью; разжалобила, залезла к нему в постель. А потом — поиграла и хватит. «Финита ля комедия», как сама же сказала вчера. Ну, был такой бзик — пошалить захотелось девочке. Решила свою «сказочку» в натуре разыграть. Только пьеса игралась всего один раз, продолжения спектакля не будет. А он-то завелся всерьез, а он-то сдал билет и остался! И вот сходит здесь с катушек в гостиничном номере, а она и думать забыла о нем.

Ну что ж, все ясно, ждатель больше нечего! Но и в номере весь вечер сидеть в одиночестве в таком состоянии он просто не мог. И хотя идти ему в этом городе было некуда, оделся и куда-то пошел.

Густые, с фиолетовым отливом зимние сумерки переходили уже в долгую зимнюю ночь. Но улицы были многолюдней, чем днем, — народ возвращался с работы. На трамвайных остановках стояли толпы, но мало кому удавалось втиснуться в подходящие переполненные вагоны. У рабочих, что шли с заводов, лица были темные, словно закопченные. Некоторые кашляли; у многих красные, с воспаленными веками глаза.

У Дорохова и самого от заводского дыма першило в горле; опять на улице начали слезиться глаза. Чувствовал себя скверно; состояние дневного подъема давно и бесследно прошло. Об этом и вспоминать не хотелось — ясно, что был в тот момент не в себе. За тот кратковременный маниакальный подъем придется заплатить тяжелой депрессией. И она уже начиналась: болела голова, слегка подташнивало, какой-то мучительный хаос в душе. Здесь ему из этого состояния уже не выбраться, да неизвестно, что еще будет и в Москве. Надо поскорее сматываться. Страшной глупостью было сдать билет!..

Он шел, заслоняясь рукой от ветра, вытирая платком слезящиеся глаза, шел по пустым, плохо освещенным улицам, шел неведомо куда и зачем и, стискивая зубы, почти стонал от досады, от осознания того идиотского положения, в которое попал. Понимал, что нужно взять себя в руки, что и так уже «сходит с катушек», но ничего поделать с этим не мог. Давно уже с ним не случилось такого, чтоб так терял контроль над собой. Шагая, он мысленно разговаривал с Мариной, к ней обращал свой бессвязный монолог: «Ну зачем же так, так нелепо, жестоко?.. Могла бы позвонить, отказаться от встречи. Я бы все понял, настаивать не стал. Ведь знала же, что вечером мне улетать — хотя бы по телефону могла попрощаться... Так сблизилась вчера, так понимали друг друга! Но что же случилось, почему так ушла? Не могла же разом забыть все вчерашнее, забыть эту “сказку” свою!.. Допустим, тут не было серьезного чувства — минутная фантазия, просто каприз. Но зачем же так? Фальшивый номер телефона... Зачем весь этот дешевый обман?.. “Затем, что ветру, и орлу, и сердцу девы нет закона”». Все время всплывали и назойливо крутились в мозгу какие-то стихотворные строки. «Черт! Что такое со мной происходит? Что с моей головой?..»

6

На проспекте Ленина, в самом центре города, было светлее и многолюдней, а по контрасту с другими улицами как будто и веселей. Яркие фонари, подсвеченные фасады, неоновые вывески, рекламные щиты и плакаты создавали иллюзию благополучия, иллюзию нормальной вечерней жизни. Конец недели, и город силился быть веселым и беззаботным, хоть это и не очень удавалось ему.

Проходя мимо ярко освещенной парикмахерской, где за стеклянной стеной, отражаясь в зеркалах, сидели женщины, задрапированные белым, Дорохов отметил одну из них, уже вставшую с кресла стройную шатенку в нарядном вечернем платье, с роскошной прической, затейливыми локонами уложенной на голове. Стоя спиной к нему, она расплатилась с парикмахершей и, застегнув сумочку, пошла к выходу, красиво ставя длинные ноги в легких туфельках и ажурных чулках. Какое-то мгновение он еще не верил своим глазам, тем более что яркий свет после уличного мрака, эта бликующая стеклянная стена и блестящие зеркала, фрагментарно отражавшие всю сцену за ней, еще более усиливали

ощущение галлюциноза, нереальности того, что он видел... Но тут Марина вышла из зала и, слегка притронувшись перед зеркалом в вестибюле к своей новой прическе, к этим пышным, только что окрашенным и красиво уложенным волосам, прямо в платье, не надевая пальто, устемилась к выходу.

Дорохов настиг ее в тот момент, когда она бралась за ручку стоявшей тут же у тротуара «тойоты», размалеванной под спортивную машину, с надписью «РАЛЛИ» и стартовым номером «67» на боку.

— Ой!.. — вскрикнула она. — Ох, как вы меня н-напугали, Алексей Петрович!.. А вы разве не улетели? У вас же с-самолет... — И, сделав шаг в сторону, торопливо сказала, умоляюще глядя большими, подведенными гримом глазами: — Извините, пожалуйста, но я очень спешу. Так п-получилось... Вы извините, но мне надо ехать...

— Ну!.. Ты даешь!.. — мотая головой и растягивая губы в тугой усмешке, пробормотал он, не находя в этой столбнячной своей немоте других слов. — Ну, ты даешь!..

— Извините, так получилось... — еще раз повторила она, пытаясь открыть дверцу машины и поеживаясь в своем легком коротеньком платьице на холодном ветру.

Это платье, которое очень шло ей, эта новая прическа и цвет волос, этот вечерний грим делали старше, взрослили ее, доводя до зрелой безусловности ту поразительную, ту сумасшедшую красоту, даже половины которой он вчера не заметил. Анину красоту, но еще более яркую и вместе с тем хрупкую, какую-то беззащитную на этом стилем декабрьском ветру. Он видел, понимал, что ей очень холодно, что нужно сделать что-нибудь — хотя бы в парикмахерскую войти, — но, потрясенный этой неожиданной встречей, все еще никак не мог в себя прийти.

— Я правда не могла позвонить, — умоляющим голосом лепетала она. — Тут свадьба у подружки... Меня свидетельницей... Мне надо ехать... Я вам п-потом позвоню, хорошо?.. Завтра или даже сегодня, позднее...

Метнулась было к машине, но он удержал. Схватил инстинктивно, как птицу, которая вот-вот вспорхнет, улетит, но вышло резко и грубо, точно ударить хотел. Марина съежилась, обхватив руками голые локти, умоляюще-боязливо глядя на него. Он прикрыл ее от ветра спиной, но не отпустил, держа руками в перчатках за плечи и сам не замечая, что крепко стискивает их.

— Ты обещала позвонить, — сказал он. — Я сдал билет. Я места себе не находил!.. Ты что себе позволяешь!..

— Но мне надо, — упрямо твердила она. — Я опаздываю. У меня встреча с иностранцем.

— С каким иностранцем?! — закричал он. — Что ты плетешь?..

— С американцем одним. Договорились еще вчера.

— Что ты мелешь, — задыхаясь, сказал он. — Какие, к черту, американцы? Ты бы хоть думала, прежде чем врать. Город закрыт для иностранцев.

— Уже открыт, — показала она. — С этого года открыли.

На несколько мгновений он вообще потерял логическую нить. Какая свадьба?.. При чем здесь американцы?.. Какие у нее вообще могут быть с ними дела?.. Врет, не думая, как все истерички — лишь бы отболтаться, лишь бы удрать.

— Ты сейчас же поедешь ко мне, — стараясь взять себя в руки, сказал он. — Нам нужно серьезно поговорить. Поймаем такси и поедем.

— В гостиницу? — спросила она.

— В гостиницу.

— Ну так прекрасно! Садитесь, мы вас подвезем.

— Нет, ты поедешь со мной, — стоял он на своем, решив, что она хочет высадить его у гостиницы и удрать.

— Само собой, — улыбнулась она. — Вместе поедем. Этот американец там и живет. Вы на девятом этаже, а он на шестом. Ну, садитесь скорей.

Открыв дверцу, она юркнула на переднее сиденье, он сел на заднее, и машина тут же рванулась вперед.

— Это Дорохов, — сказала Марина водителю. — А это Гаррик, — обернувшись, кивнула она на того.

Парень за рулем не обратил на Дорохова никакого внимания, даже ухом не повел. В кожаных черных штанах и такой же кожаной безрукавке, несмотря на холод, надетой прямо на голую грудь, с короткой стрижкой бобриком и вздутыми мышцами культуриста, он был похож на какого-то киношного Рэмбо, хотя сросшиеся на переносице брови и коротковатый нос придавали ему не столько грозный, сколько глуповато-напыщенный вид. Но парень был красив той грубой, с оттенком животности красотой, которая часто претит мужчинам, но нравится, Дорохов это знал, очень многим женщинам. По той насупленной сосредоточенности, с которой он без нужды резко вертел баранку и дергал со скрежетом рукоятку скоростей, можно было предположить, что водитель пьян. Да и Марина, похоже, успела вместе с ним приложиться.

Как только сели в машину, она быстро оправилась от смущения и улыбалась Дорохову, оглядываясь, так спокойно и дружески, точно ничего особенного между ними и не произошло. Достала зеркальце и тут же принялась поправлять свою новую привеску, приводить в порядок спутанные ветром волосы. В салоне витал тонкий запах духов, нарядное платье ее мерцало на груди бижутерией, вместо вчерашней торбы на коленях была изящная сумочка.

Все заднее сиденье в машине было завалено какими-то свертками, коробками, банками пива и тоника, блоками импортных сигарет. Тут же валялась Маринина куртка, а рядом в обертке из целлофана два букета живых цветов. Привалась к Дорохову, на этой груде коробок сидела большая плюшевая обезьяна почти в натуральную величину. Вспыхивая скользящими бликами от бегущих навстречу огней, стеклянные глаза ее казались живыми, а рот был растянут в какой-то глумливой улыбке. «Ничего не понимаешь? — точно говорила она этой улыбкой. — И не старайся, все равно не поймешь».

До гостиницы доехали быстро — тут было рукой пожать.

— Гаррик, жди, — приказала Марина водителю и уверенно, даже не оглядываясь на Дорохова, зацокала каблучками по лестнице. Визитки, обязательной для всех постояльцев, у нее не было, но бородатый швейцар с позументом, приветливо ослабившись, пропустил ее к лифту. Не колеблясь, Марина нажала кнопку с номером шесть, и лифт тронулся.

— Кто он такой, этот американец? — все еще недоверчиво спросил Дорохов.

— Фред Нешвилл, из штата Висконсин.

— И что он тут делает?

— Учит маркетингу наших охломонов.

— А у тебя что за дела о нем?

— Практикуюсь в английском.

Было не очень понятно, но переспрашивать Дорохов не стал.

— Я к вам зайду, Алексей Петрович, — сказала она в лифте. — Я скоренько. Минут через десять.

— Нет, — решив ни на миг больше не упускать ее из виду, сказал он. — Я тебя в холле подожду.

Подняла брови, посмотрела с какой-то особенной улыбкой.

— Ну хорошо, только зачем же в холле? Пойдемте со мной. — И ступив на ковровую дорожку из лифта, бросила не очень понятное: — Это даже интересно в конце концов...

Номер, куда Дорохов вошел вслед за Мариной, был вдвое больше и много лучше его собственного: стильная мебель, хрустальная люстра, пол застлан ворсистым ковром. На рабочем столе у окна компьютер с принтером, аккуратные стопки чистых и уже отпечатанных листов. Весь ближний угол занимал широкий, обитый золотистым плюшем диван, а перед ним с бутылками и закусками хромированный сервировочный столик на колесиках.

— Фортинбрас, это я! — крикнула Марина.

В ванной чуть стихла kloкотавшая там вода, и сочный мужской голос откликнулся: «Ол райт! Я ошчень рад. Я буду один момент».

— Присаживайтесь, — показала Марина Дорохову на диван. — В ногах правды нет. — И первая уселась, положив ногу на ногу, нарочито приняв картинную позу, точно на обложке журнала мод. Стройная, изящная в своем нарядном вечернем платье, она эффектно смотрелась в обстановке этого номера, как-то сразу вписалась в него. Вчера у него в номере совсем иначе выглядела — там она уместней в своем простеньком халатике была. Сам Дорохов лишь снял шляпу и расстегнул пальто, но не сел, остался стоять.

Судя по голосу, он ожидал увидеть холеного представительного босса средних лет, а из ванной появился невысокий шупленький парень в ковбойке и джинсах, белобрысый, веснушчатый, с оттопыренными ушами. Увидя Дорохова, он слегка приподнял белесые брови, но стандартная американская улыбка скрыла удивление, промелькнувшее на лице.

— Это профессор Дорохов, Алексей Петрович, — представила Марина. — Известный нейрохирург. Старый друг моей матери. А это Фред Нешвилл, мой американский друг.

— О, я очень рад, мистер Дорохов! — сказал тот, с уважением пожимая протянутую ему руку. — Очень приятно!..

Как все невысокого роста люди, он держался подчеркнуто прямо, но с той непринужденной американской простотой, которая не делала его натянутым. Пожалуй, ему было уже все тридцать, но, худощавый и светловолосый, он выглядел почти что юнцом.

— Профессор приехал из Москвы на симпозиум, — сообщила Марина. — И тоже остановился в этом отеле.

— О, профессор занимайт более комфортабельный апартамент, — осклабился Фред, явно желая сказать ему что-то приятное.

— Да, у профессора двухкомнатный люкс, — не моргнув глазом подтвердила Марина. — Лучших в этой гостинице просто нет.

Не только внешне, но и в манерах, в поведении она была совсем другая, чем вчера. И в этой светской роли очень напоминала Аню: так же находчива, легка в разговоре, так же приветлива, оживлена. Ни следа вчерашней депрессии не было и в помине: можно было подумать, что это не она висела вчера за окном в его номере на волосок от смерти.

— Я хотел бы предложить вам рюмочка, — сказал Фред, показывая на сервировочный столик, явно приготовленный в ожидании гостей. — Ви предпочитает виски или водка?

— Спасибо, — сказал Дорохов. — Я воздержусь.

— Что есть «воздержуйс»? — не понял Фред, обращаясь за пояснениями к Марине.

— Это очень редкий коктейль, — сказала она. — Обычно профессор пьет только его, но с нами он выпьет и просто виски.

Эффектная, красивая, на полголовы выше Фреда, она свободно и уверенно вела себя с ним. Видно было, что знакомы они хорошо и отношения уже установились, но какого рода эти отношения, трудно было понять. Сама по-хозяйски налила рюмки, подала им. Как люди, только что встретившиеся, Дорохов и этот белобрысый американец просто не знали, о чем говорить. Словно на каком-то официальном приеме, стояли с рюмками в руках друг перед другом, а Марина между ними и вовлекала их в разговор.

— У Фреда в жилах есть русская кровь, — сказала она, обращаясь к Дорохову.

— О да! — закивал американец. — Моя бабушка... О нет, как это сказать?... За той бабушкой другая бабушка была русской. Она жила штат Аляска.

Дорохов кивнул и вежливо улыбнулся в ответ.

— Фреду нравится Россия, наш Урал. Он хотел бы вести здесь свой бизнес.

— О да! — охотно подтвердил тот. — У вас много возможность для бизнеса. Но почему-то русские люди немножко спят. Их надо немножко разбудить.

— Очень крепкий сон! — желчно подтвердил Дорохов. — Не добудись. Летаргический.

— Удивляюсь, — пожала плечами Марина, — чего они там на Западе в нас находят? Сами себя терпеть не можем, а им нравимся. Сами себе до чертиков надоели, а им интересны.

— Мы загадка природы, — сказал Дорохов. — Аномальное явление. А все редкое и странное вызывает интерес. На нас там смотрят, как на загадочных придурков: чего еще они выкинут, эти русские, чем еще мир удивят?

— О да! — подтвердил Фред, внимательно слушавший, но не все понявший. — У вас много способных людей. Русский человек неплохо соберяйт, — с мягкой улыбкой и помогающим движением руки ввернул он новое, видно, только что освоенное словцо. — Русский человек имеет хороший голова. Но почему он не применяет эта голова на практик?..

— У нас есть поговорка: умная голова, да дураку дана. Такой поговорки нет больше нигде в мире.

Американец улыбнулся вежливо, но вся соль, похоже, до него не дошла. По-русски он говорил неплохо, но только в медленном темпе, с трудом подбирая слова.

— Вы знаете, — сказала Марина, — ему нравятся наши девушки. Он говорит, что только в Италии и у нас так много красивых девушек. Но у нас очень мало красивых женщин.

— Красота молодых — это генотип, — кивнул Дорохов. — Она зависит от предков. Мы хоть и нищие, но все же хороших кровей. Нас пока еще поневоле уважают. В нас видят не просто вульгарного нищего, а этакое беспутного малого, промотавшего огромное состояние и теперь вот впавшего в нищету. Но внушительные размеры промотанного производят впечатление сами по себе.

— Я хочу выпить за русски девушки, — приподняв свою рюмку, сказал Фред. — Когда ехать к вам, я читал Тургенев «Дворянское гнездо». Там есть Лиза Калитин. Я был влюблен в нее. Но почему она ушла в монастырь? Ведь это есть идеальная мать и жена.

— Как вы думаете, почему? — спросила, взглянув на Дорохова, Марина.

— Такая уж почва у нас в России, — мрачно сказал он. — На ней родится немало хорошего, но это хорошее на ней не живет. В дурдом, в острог, в монастырь — три дороги для порядочных людей. Процветает только пошлость и посредственность.

Все еще взвинченный этой внезапной встречей с Мариной, он все же немного теперь успокоился. Удивительно, но про американца она не соврала, и он уже чувствовал себя не таким обманутым. Хотя и непонятно, что за отношения у нее о Фредом, для чего она явилась сюда. Если вечер с ним провести, зачем оставила того недоумка в машине, а если на минутку — с какой целью тогда? Резкий контраст между вчерашним ее состоянием и сегодняшним шиком, который демонстрировала она, был так велик, что не укладывался в голове. В этом было что-то сомнительное — самые худшие подозрения тут могли в голову прийти.

Не очень-то деловой тон у нее с этим американцем, скорее, приятельский. Но что за этим? Трудно понять.

— Мне очень жаль, что так вчера получилось, — сказал Фред, обращаясь к Марине. — Я очень долго ждал... Вы починили этот сломанный авто?..

— Да, — бросив быстрый взгляд на Дорохова, перебила она. — Извини, дорогой, что так получилось. Я очень сожалею, что не смогла... Весь вечер провозились с починкой.

— Я имею подарок для твой день рождения, — сказал американец, старательно подбирая слова. — Как говорят русски люди, лучи поздно, чьем никогда.

С этими словами он поставил свою рюмку, распахнул дверцы шкафа, встроенного между прихожей и диваном, и торжественно извлек из него коротенькую дамскую шубку из темного с серебристым отливом меха и с черной атласной подкладкой, прекрасно гармонирующей с ним. Подошел, держа ее на вытянутых руках.

— Поздравляю день рождения, — немного волнуясь, сказал он. — Желая счастья! — И осторожно набросил шубку на плечи Марине.

Впечатление было такое, что платье надела и прическу она сегодня сделала специально под эту шубку, так ладно и красиво лег ей на плечи мех. Но вид у нее был, скорее, смущенный, чем обрадованный.

— Ой, спасибо тебе, Фреди, — растерянно улыбаясь, сказала она. — Но это слишком дорогая вещь. Я не могу принять такой роскошный подарок.

— Нет, нет! — замахал тот руками. — Это стоит много рублей, но мало доллар. Совсем недорого!.. — И медленно проговаривая, похоже, заранее заученную фразу, добавил: — Маленький презент от хороший друг. Как это по-русски?.. Преданный душой и телом.

— Ты еще не все правильно понимаешь по-русски, — нервно улыбаясь, сказала Марина. — Нет, это невозможно... Я не могу...

Но не скинула шубку, а стояла в нерешительности, точно досадуя, что так получилось, и в то же время не зная, что предпринять.

— Вот видите, — сказала она, обращаясь к Дорохову, точно спрашивая его совета. — Не было ни гроша, да вдруг алтын. Гуманитарная помощь заокеанских друзей.

Но Дорохов, хмуро уставясь на свою рюмку с желтоватым виски на дне, промолчал.

Фред, который явно рассчитывал на другую реакцию, слегка приуныл, но, как истый американец, все равно улыбался и вида старался не показать. Он лишь немного покраснел, отчего веснушки почти исчезли на лице, а белесые брови и ресницы сделались заметней. Повисла неловкая пауза. Дорохов, как посторонний во всех этих делах, с отчужденным видом молчал.

— Может, поужинаем в ресторан, — сказал Фред, обращаясь уже не к Марине, а к нему. — Я хотел пригласить...

— Нет, нет, — взглянув на часы, как-то нервно заторопилась Марина. — Извини, дорогой, но нам пора. Ты не обижайся, но я и сегодня ненадолго к тебе. У подружки в общежитии свадьба, нужно заехать поздравить. Машина внизу ждет.

— Я очень сожалею, — огорчился явно обескураженный американец. — Это есть очень короткий визит. Может быть, еще виски?..

— Нет, нет, Фреда, в другой раз, — сказала Марина решительно. — У профессора завтра важный доклад, ему нужно подготовиться. А меня невестушка ждет.

Легким движением она сбросила шубку с плеч, поискала глазами, куда положить.

— I'll take it next time, — сказала она. — Let it be here for time being¹⁰.

Но американец подошел и дружески-настойчиво снова набросил ей шубку на плечи:

— There is Russian frost outside, but you're dressed so lightly¹¹.

Она пожалала плечами, покоряясь, с грустной улыбкой. Шубка опять соскользнула и повисла на правом плече. Так с шубкой на одном плече она и направилась к двери.

В прихожей Фред заговорил с ней по-английски и, разговаривая, положил руку на плечо. Дорохову показалось, что американец привык нежнее прощаться, но не знает, как в его присутствии поступить. Марина тоже отвечала ему по-английски, и Дорохов из их разговора почти ничего не понял. Заметил только, что английским она владеет уверенно, гораздо лучше, чем итальянским, хотя сам разговор был коротким — явно спешила она.

Уже открывая дверь, Марина слегка чмокнула Фреда в щеку и мягким движением сняла его руку с плеча.

— Я тебе позвоню еще, — пропуская Дорохова вперед, пообещала она. — Гуд бай, Фортинбрас!.. Не надо нас провожать. Лифт мы сами найдем.

Они вышли и в конце коридора остановились у лифта. Весь этот визит занял не больше десяти минут. Кабина поднялась снизу; мягко клацнув, раскрылись двери. Вошли, но не успел Дорохов протянуть руку к кнопке «9», как Марина, опередив его, отправила кабину вниз.

— Мы же договорились, что зайдем ко мне, — сказал он.

— Что вы! — отмахнулась она. — Мне на свадьбу надо. Я и так уже опоздала. Меня там Гаррик в машине ждет.

— Ну знаешь! — вскипел он. — Что ты из меня дурака делаешь? Чего ты мне сочиняешь? Утром ни о какой свадьбе и речи не было...

Он протянул руку и решительно нажал на кнопку «стоп». Лифт послушно замер между этажами.

— Да что вы?.. — сделала она большие глаза. — Я правду говорю, честное слово... У Зойки свидетельница заболела, пришлось ее заменить. Нельзя было отказаться.

¹⁰ Я ее возьму в следующий раз. Пусть пока здесь останется (англ.).

¹¹ На улице русский мороз, а ты так легко одета (англ.).

Она потянулась к кнопкам, но Дорохов перехватил ее руку и дернул так резко, что шубка соскользнула, а сама Марина, потеряв равновесие, чуть не упала на высоких своих каблуках. Он нагнулся, поднял эту шубку, накинул ей на плечи, но не отпустил, держа за мягкие скользкие борта.

— Прекрати!.. — в бешенстве сказал он. — Перестань, наконец, врать! У тебя свадьбы, дни рождения каждый день. Ты лжешь, как дышишь, не задумываясь. Я не знаю, куда ты наводрилась с этим недоумком в машине, но ты никуда не поедешь. Останешься у меня!

— Я правду говорю!.. — разозлилась и она. — Сколько вам можно повторять? И отпустите меня — я не ваша собственность!.. — Она смотрела исподлобья, сжавшись, как загнанный зверек. — Вы слишком много себе позволяете, Алексей Петрович. Вы мне никто, и я вам никто — так, случайные знакомые. А если вы думаете, что оказали большую услугу, вытащив меня прошлой ночью из окна, то глубоко заблуждаетесь. Мне уже целые сутки было бы хорошо, а впереди была бы целая вечность такого же кайфа...

— Черт! Что за чушь ты мелешь!.. — проговорил он, сдерживаясь, лихорадочно соображая, как из этого дурацкого положения выйти. — Ты что, забыла? В самом деле считаешь, что мы друг другу никто. Нас ничего не связывает?..

— Конечно, — усмехнулась она. — Случайная связь, и только. Случайные связи — опасные связи. Избегайте случайных связей.

Лифт стоял почти на уровне первого этажа. За дверцей в вестибюле переговаривались ожидавшие его люди — наверняка там слышен был их разговор. Снаружи окликнули, потом постучали. Видно, сочли их заспавшими в лифте и пытались установить связь. Дорохов решительно нажал кнопку «9», молча дождался своего этажа и, крепко взяв за руку, почти выволок Марину из кабины. Какая-то пожилая чета, ожидавшая лифта, удивленно воззрилась на них.

Тут же в десяти шагах сидела дежурная за конторкой. Чувствуя, что Марина упрется и в номер к нему не пойдет, Дорохов сразу свернул на лестницу, и она покорно пошла за ним. Спустились на один пролет и остались на полутемной площадке вдвоем.

— Ну и что? — с какой-то странной улыбкой сказала она. — Что дальше?

— Кто этот парень? — невпопад перебил он.

— Какой?

— Ну этот, в машине.

— Да просто знакомый. Гаррик его зовут, я же вам говорила. Кооператив ритуальных услуг. Помните, вчера его снимок показывала. Личный гробовщик и фотограф в одном лице...

— Куда едешь с ним?

С той же странной улыбкой, чуть хмельными глазами глядя на него, ответила е готовностью, как на допросе:

— На свадьбу. Свадьба в общежитии. Невесту Зоя зовут, жениха — Валеркой.

Дорохов поморщился, что так нагло сочиняет, но вспомнил о шубке, вспомнил об американце — ведь тоже думал, что она врет.

— А этот американец? Что у тебя с ним? Такие подарочки с какой стати?

— Фред мой жених, — сказала она просто. — Вчера договорились вместе с ним день рождения отметить. Я ведь к нему вчера шла. Да вот не дошла, не в ту дверь попала.

— Как жених?.. — переспросил Дорохов остоленело. — Ты же сказала, что замужем.

— Пока еще да, но маман уже смотрит вперед. Она мне его и сосватала. Готов предложить руку и сердце. В штате Висконсин у него собственный дом. Приглашает в гости. А маман здесь пока оформит развод. Так что через пару месяцев могу заделаться миссис Нешвилл... Неплохо звучит? Даже аристократично.

— Ты шутишь, — сказал он, понимая уже, что не шутит, с обреченным чувством сознавая, что все так и должно быть. Ведь было уже все это однажды, происходил когда-то такой разговор. Не здесь... А где?.. В Усть-Алыше... — Ты и в самом деле хочешь выйти за него?..

— А что, это многое упрощает. Маман считает, что он здоровый, нормальный парень и может хорошо повлиять на такую психопатку, как я. Правда, я другого мнения. Скорее дурак сделает сумасшедшим нормального, чем нормальный исправит дурака. Прежде это считалось парадоксом, теперь доказано.

— Перестань, — все еще не придя в себя, сказал он. — Ты помешана на «Гамлете».

— Я помешана только в норд-норд-ост, — в том же тоне отпаривала она. — При всякой другом ветре я еще могу отличить сокола от цапли.

Она смотрела на него в упор тем блестящим, злым и готовым к отпору взглядом, что был у нее, когда ссорились перед дверью вчера. Что за этим последовало, Дорохов хорошо помнил и, смирив себя, обострять разговор не стал.

— Послушай, Марина, — беря ее за руку, сказал он. — Я не могу просто так, вот здесь на лестнице, расстаться с тобой. Ты не представляешь, как я ждал твоего звонка. Я ведь сдал свой билет. Не мог улететь, не выяснив, что с тобой. Ты что же, и в самом деле думаешь, что мне все равно?.. Весь день я места себе не находил! Я не могу без тебя.

Она опустила голову, помолчала, потом спросила тихо:

— Зачем все это, Алексей Петрович? Ну, наделали глупостей, и хватит. Я, конечно, должна была позвонить — извините. Но вы и сами могли бы понять, что продолжения не будет. Никакого продолжения и не может быть.

— Наверное, — сказал он тоже тихо. — Но я не для того открыл тебе вчера дверь, чтобы сегодня вычеркнуть из памяти. Ты не случайный человек в моей жизни. Нам все-таки надо поговорить... И насчет Америки, и всего остального. Пусть мы расстанемся навсегда, но не так же, не здесь, на лестнице.

— Ну, хорошо, — помолчав, согласилась она. — Только мне правда нужно в общагу. Заскочим на минутку и вернемся сюда.

— Что, и в самом деле не врешь про свадьбу? — все еще недоверчиво спросил он.

— Нет, не вру, — усмехнулась она. — Если это можно свадьбой назвать.

7

Из головы выпало, что едут они не в какую-нибудь, а в ту самую мединститутскую общагу, где и сам он когда-то три года провел. Но как только машина затормозила возле казарменно-красного кирпичного здания, Дорохов сразу ее, родную, узнал. Голые кусты боярышника и акации за низким, покосившимся вкривь и вкось забором; знакомые окна с больничными белыми шторами; пакеты и сумки со снедью под каждым окном. Но прежде по вечерам все окна сияли огнями, а нынче темны что-то многие, да и в оставшихся свет приглушенной, слабей.

Прихватив цветы и обезьяну, все трое вылезли из размалеванной этой «тойоты», но двинулись не к главному входу, а за угол. Со стороны двора, обогнув большую кучу угля, спустились по каким-то разбитым ступенькам вниз. Сначала оказались в сыром и темном подвале, откуда попали в котельную. Гул моторов, жаркий парной воздух, толстый слой пыли на асбестовом покрытии труб. Мелькнул слева освещенный закуток с низкой кушеткой, на которой под старой изодранной телогрейкой спал какой-то парень, не снимая сапог.

Протиснулись еще в одну дверь и оказались в новом подвале. Полнейшая тьма, хоть глаз выколи. Пахло сыростью, плесенью, запахом тления. Дорохов остановился невольно, боясь оступиться, но Марина подала ему руку и уверенно увлекла в эту тьму. Гаррик щелкнул зажигалкой — при голубоватом слабеньком свете ее шмыгнула из-под ног здоровенная крыса. Двинулись в подземных катакомбах дальше, пока не уперлись в узкую железную дверь в стене.

Дверь оказалась запертой наглухо. Попытки открыть ее и стук кулаком к успеху не привели. Ничего не оставалось, как повернуть назад. Тем же путем выбрались обратно во двор. По обломку доски, приставленному к стене, Гаррик добрался до окна, просунул руку в форточку, распахнул створки и прыгнул внутрь. «Быстрее, а то заметят!» — нервно поторапливала Марина. Времени на размышления не оставалось, и Дорохов по той же доске влез в окно. Марина подала ему обезьяну, букеты, ловко впорхнула следом сама.

Это был туалет, причем мужской. Ряд писсуаров налево, ряд унитазов направо, и все до предела загажено; стены сплошь разрисованы похабщиной. Самый ближний к окну унитаз лежал в развалинах, а зеленое стекло и уцелевшее серебряное горлышко от бутылки шампанского, валявшееся среди мраморно-белых обломков, не оставляли сомнений, чем был поврежден сей предмет. Какой-то заспанный лохматый парень, спиной к ним мочившийся в писсуар, дико глянул через плечо.

Не обращая внимания на него, Марина прыгнула на кафельный пол и сразу потянула Дорохова в коридор. «Атас! Засекуг!» — шепнула она, удерживая его перед лестницей. Осторожно выглянула из-за угла и, только убедившись, что на лестнице никого нет, дробно простучала каблучками по ступенькам вверх.

На третьем этаже свернули в узкий, длинный, полутемный коридор. Лишь в середине его горела лампочка — дальний конец терялся во тьме. Грязный потолок, облезлые стены, давно не крашенный, разошедшийся пол. Потому ли, что света здесь было мало, оттого ль, что проник сюда столь странным путем, но изнутри свою бывшую общагу Дорохов не узнавал. Что-то мрачное было в ней, нежилое, точно в доме, предназначенном на слом. Только неистребимый запах карболки да жаренной на постном масле картошки напоминали его прежний студенческий быт.

Торопливо и по-прежнему с какой-то опаской Марина шла впереди. Гаррик слева, а Дорохов справа молча следовали за ней. Одинаковые двери по обе стороны коридора — менялись лишь номера на них: триста третья... триста четвертая... триста пятая... На следующей мелом было выведено в рамочке: «Дурдом. Палата № 306». Туда и увлекла Марина Дорохова, без стука распахнув эту дверь.

Если на лестнице и в коридоре электрический свет присутствовал слабо, то здесь его не было вообще. Пустой патрон без лампочки сиротливо свисал с потолка, а комната освещалась лишь несколькими свечами. Одна горела на подоконнике, другая на тумбочке между кроватями, еще две среди бутылок и закусок на застеленном рваной газетой столе. Слабые колеблющиеся огоньки свечей озаряли комнату лишь частями — зыбкие блики, хаотичные тени мешали толком ее разглядеть.

Это никак не походило на свадьбу, даже общежитскую — скорее, на какой-то притон или ночлежку для бомжей. Из гостей только один был в костюме при галстукe, остальные кто в чем. Трое бритоголовых в сероватых больничных пижамах, точно пациенты в палате, играли в карты на койке в углу. Какой-то тип с косичкой меланхолично брэнчал на гитаре, очкастый парень в белом халате, листая книжку, что-то жевал за столом. Остальные просто трепались, кто сидя на койке, кто прямо на полу. И все нещадно дымили, передавая после каждой затяжки «бычок» по кругу; судя по запаху, «бычок» с травой. Слоистый дым висел над их головами, медленно таял над свечным огнем.

В углу, на кровати, застеленной серым одеялом, полулежала девица в свадебном платье, в белых туфельках и с прозрачной фатой на голове. Рыжеватая, но довольно смазливая, она смотрелась бы неплохо, если бы не какая-то ранняя обрюзлость в лице. Вид у нее был сонный, а может, просто нетрезвый — при слабом свете Дорохов не мог разобрать.

Странный урод, головастый карлик, большелобый, но почти безносый, сидел у нее в ногах. На нем был кургузый пиджачок самого малого размера, хотя рукава все равно пришлось подвернуть, а полы, точно пальто, свисали ниже колен. С детским взглядом и крохотный, как ребенок, но с

усами и жиденькой бородкой, с каким-то сморщенным, старообразным лицом, он производил жутковатое впечатление, но внимания на него здесь никто не обращал.

— Ты что, мать, уже отпала?! — крикнула Марина невесте с порога. — Принимай-ка гостей. А этого плюшевого предка держи в подарок. — И кинула ей на кровать обезьяну.

— Ну, ты ваще-е!.. — поднимаясь с тягостным вздохом, сказала та. — Застряла там со своим «стейсом»... — И заметив на Марине новую шубку, удивленно раскрыла рот. — Он подарил?..

— Он, родимый, — сказала Марина, скидывая шубку и бросая ее на кровать. — Ну что, не все еще тут без нас вылакали?

— Везет тебе, — сказала завистливо невеста. — Такой парень, да еще и американец. Мне бы хоть монгол какой подвернулся, и то умотала бы на верблюде в ихнюю степь.

— Это Дорохов, — представила Марина. — Алексей Петрович. Тот самый.

Что означает «тот самый», Дорохов не понял, но не время было выяснять.

— Поздравляю, — сказал он. — Желаю счастья. — И, поскольку цветы были у него в руках, розы он протянул невесте, а гвоздики жениху. Тот удивленно посмотрел на него.

— Да нет, — засмеялась Марина. — Это Сева — бывший наш комсомольский секретарь. А жених вон тот охламон, — кивнула в сторону бритоголовых, но кого из сидевших там за картами в больничных пижамах она имела в виду, Дорохов так и не понял. Кроме невесты и Марины, девушек в компании не было видно. Зато был парень с косичкой, игравший на гитаре, женоподобный и манерный, с подведенными карими глазами — явный педераст.

— Вы профессор? — томно глядя на Дорохова, спросила невеста. — У вас очень серьезный вид. А вы умеете предсказывать судьбу?

— Это не моя специальность, — пожал он плечами.

— А жаль, — качнула она головой. — Интересно было бы заглянуть в книгу своей судьбы. Вдруг это книга разбитых надежд, книга жалоб или всего лишь поваренная книга?..

Не зная, что на это сказать, Дорохов из вежливости лишь слегка улыбнулся. А Марина, видя, что невеста едва держится на ногах и светский разговор у них явно не клеится, увела ее на кровать.

— Подвинься, Вовик, — оказала она карлику, оттеснив его к стенке бедром. Тот вскочил, обнял ее, стоя на кровати, короткопалой сморщенной своей ручкой и нежно погладил по щеке.

— Мгоя Мангина пгишла, — каким-то жутким утробным голосом загугнил он. — Нги гому не огдам. Сам жегнюсь на Мангине.

— Ну вот! Еще один, — засмеялась она. — Отбою от женихов нету.

— А что, — сказал один из картежников. — Ты не за «стейса» своего выходи, а за Вовика. Не прогадаешь. Он у нас богатый жених. У него «бабками» все карманы набиты. Вовик, «бабки» покажи!..

Уродец сунул руку в карман и действительно достал внушительную пачку мелких купюр. Полез в другой — и еще достал.

— Геньги геть, — бормотал он, размахивая пачками. — Жегнюсь на тебе.

— У тебя деревянные, — сказал кто-то, поддразнивая его. — А у того баксов полно. Так что не видать тебе Марины как своих ушей. Свалит она от нас в Америку.

— Не поедешь в Амегику! — сердился урод. — Гья тебя не пугчу!..

Странное впечатление производили они рядом. Ее блиставшая даже в этой пещерной полутьме красота и его чудовищное уродство создавали разительный контраст. Ничего от обычного лилипута, которые бывают по-своему изящными, у этого Вовика не было. Его тело, точно сдавленное, спрессованное в какой-то давилъне, было жутко дисгармоничным. Искривленный позвоночник выпирал между лопаток острым горбом, а вздутая грудь без признаков шеи упиралась прямо в подбородок. На его безносое сморщенное лицо с огромным сократовским лбом, но с выражением какого-то младенческого идиотизма в глазах, неприятно было даже смотреть, а Марина приятельски обнималась с ним. Не снимая пальто, расстегнув только пуговицы, Дорохов сел у стола в ожидании ее. Никто здесь не обращал на него особого внимания, присутствующие вяло перебрасывались словами, продолжая какой-то малопонятный свой разговор.

— После гашиша крутой кайф?

— Фуфло! Гашиш — это для гопников.

— А что, «долбиться» лучше?

— Долбиться надо с умом.

— Хошь анекдот, медицинский, специфический.

— Ну, трави.

— Знакомится наш чувак медик с какой-то телкой на дискотеке. Ну, и решил подхохмить. Меня, грит, Пенис зовут, а вас? А та не будь душой, а меня Вагиной, грит.

— Даешь, блин! Я этот анекдот еще в детском садике слышал.

— Ну да. Ты у нас с детского садика в латыни сечешь.

Комната, причудливо озаренная этим неровным светом свечей, была такая же, в какой Дорохов и сам некогда жил. Те же тумбочки, те же койки, тот же круглый расшатанный стол. Но грязь ужасная: пол, как асфальтовый, стены в потеках и трещинах, потолок дочерна закопчен. Точно ни разу не убিরали с тех пор. У них тоже не блистало уютom, но порядок, хотя бы казарменный, был. А тут какой-то нарочитый бардак: все словно бы перевернуто вверх дном. Кровати и тумбочки сгрудились в одном месте, шторы оборваны, стол не в центре, а почти у самой двери стоял. А в правом углу, где отвалился порядочный кусок штукатурки, прямо на стене была надпись фломастером: «Извините за беспорядок — в нашем дурдоме перестройка. Пардон!»

Разговор между тем продолжался.

— Вчера был нормальный сейшн?

— Да ну, фуфло! А ты куда слинял?

— На «толпе» был. Уматные прикиды схватил.

— Слышь, кто читал «Доктор Живаго»? — подал голос какой-то парень в углу.

— Это про медиков?

— Ну да, в натуре! Это роман Пастернака.

— А по-каовски он пишет, по-соцреалички?

— Ну и темный ты, блин. Ему еще Нобелевскую премию кинули, а Хрущев его посадил.

— За что посадил?

— За то, что родину продал.

— Да ну? И за сколько продал?

— Я бы ее за кусок дерьма продал, — вставил Гарик, сидевший рядом с гитаристом, мрачно курая.

— Да кончайте там про политику! — крикнул им один из картежников в пижамах. — На хер она нам нужна. Нам бы яблочка куснуть, побараться и уснуть.

Эти бритоголовые в пижамах играли в подкидного на деньги. За игрой они корчили нарочито зверские рожи, издавали какие-то внезапные вопли, явно изображая из себя сумасшедших: «Ухо — хо!.. Пиф-пиф-паф!.. Держи, блин!.. Тра-та-та!..» Но чувствовалось, что «приколы» это старые, давно уже надоевшие, и на остальных не производят никакого впечатления. Да и сами они кривлялись скорей по привычке — завелись и остановиться не могут, сами не замечают уже за собой.

Дорохов показал Марине на часы, и она кивнула: мол, да, скоро, сейчас, но есть еще дело. Подошла к столу, отыскала три относительно чистых стакана, налила до половины. Один подала Дорохову, другой Гаррику, третий взяла себе.

— Эй, шарага! Слушай меня! Хочу сказать тост.

Компания прекратила свой треп, обернулась к ней. Картежники в больничных пижамах (кто из них жених, было так и неясно) тоже сразу же прервали игру. В своем нарядном вечернем платье, с прической только что из парикмахерской, благоухающая духами, сверкающая бижутерией, она странно, почти балаганно выглядела в этой обстановке — точно в шутку так вырядилась или с бала явилась вдруг в сумасшедший дом. Но явно своя тут была — к ней давно здесь привыкли.

— Дорогие новобрачные! — возгласила она, как чиновница из загса. — Поздравляю вас с законным браком! Вы совершаете идиотский поступок. Благословляю вас на него! Будьте достойными согражданами нашего вселенского дурдома, высоко держите драное знамя его!..

— Плодитесь и размножайтесь! — осенил их крестным знаменiem один из картежников.

— Но не делайте из coitus культа, — добавил другой.

— Протестую, — сказал третий. — Это единственное, что достойно культа. Древние были не глупее нас.

— А чего мы пьем, ребя?

- Валериус спирт принес.
- Где взял?
- В анатомическом театре. Из банки с препаратами.
- А чо, кайфно! На чем настоено, на почках?
- На яичниках.
- Самый кайф!
- Минздрав предупреждает: это опасно для импотентов.
- Ништяк, нам подойдет.
- Жора, эпиталаму давай!.. — крикнул кто-то.

Парень с косичкой, сидевший рядом с Гарриком, взял гитару, резко ударил по струнам и, нарочито подвывая, запел:

Мы скоро поженимся, купим квартиру,
Я кафель наклею на стенки сортира.
Так будем жить мы хорошие оба,
Будем любить мы друг друга до гроба.
Хорошие оба до хорошего гроба.

Впечатление такое, что дурака они валяют с этой свадьбой, хотя невеста при полном параде и даже в фате. Могли и напрокат взять, конечно, но на кой черт?.. Не свадьба, а пародия какая-то, какой-то шутовской балаган. Пусть развлекаются, как умеют, ребята, но он-то зачем тут торчит? Довольно глупой и двусмысленной была здесь его, Дорохова, роль. У себя в клинике он неплохо ладил со студентами-практикантами, легко находил с ними общий язык. Но там его знали, он был классным специалистом для них, а тут сидит в пальто никому не знакомый хмырь и ждет неизвестно чего.

Гаррик, поигрывая ключами от машины, тоже вроде бы ждал Мариону, хотя возвращаться отсюда втроем в планы Дорохова совсем не входило. Та острая неприязнь, которую внушал ему этот тип, еще больше усилилась здесь. Супермен с «тойотой», гробовщик с медицинским уклоном. Что общего у него с Мариной, какие отношения связывают их?.. Да и вся компания, собравшаяся здесь, симпатий никак не вызывала. Дура-невеста, этот жуткий урод, и эта троица, изображающая из себя сумасшедших. Устроили из своей комнаты дурдом и находят это весьма остроумным. Все не нравилось здесь ему, но, с другой стороны, и захал-то он сюда на минутку, так какое же ему дело до всего этого.

Сидевший рядом с ним сутуловатый парень в очках молчал и, все время жуя, читал по-прежнему какую-то медицинскую книжку. В расстегнутом белом халате с торчащим из кармана фонендоскопом, он сидел здесь один, выделяясь из компании своим трезвым видом, и не пил ничего, а только ел, листая при свете коптящей свечи страницу за страницей.

— Это что, для экзотики? — спросил Дорохов, кивнув на горевшую перед ним свечу.

— Да нет, — сказал тот. — Просто лампочка Ильича у нас в городе сейчас в большом дефиците.

— Во всем мире ее называют лампочкой Эдисона, — заметил Дорохов.
— Это у них на Западе лампочка Эдисона, а у нас тут пока еще Ильича, — философски ответил тот.

— Что верно, то верно, — согласился Дорохов и посмотрел на него внимательней. — Слушай, что здесь происходит? — кивнул он в сторону компании головой. — Эта свадьба всерьез или шутки ради?

— Обыкновенная фиктивная свадьба, — сказал тот. — Валерка на последнем курсе сейчас, ему срочно в городе зацепиться надо, прописка нужна. Родители его две тысячи баксов Зойке кинули, ну и на свадьбу дали пятьсот.

— И за эти деньги она...

— Она и за полста с кем хочешь свадьбу сыграет.

— В каком смысле?

— По таксе. За вечер — четвертак, на всю ночь — полста.

— Даже так... — пробормотал Дорохов и, глядя, как Марина в обнимку шушукается на кровати с невестой, почувствовал, как кровь прилила к лицу. — Она что, тоже в медицинском учится?

— Нет, юридический окончила.

— Шлюха с юридическим дипломом?

— А что, нормально. Пусть лучше собой торгует, чем правосудием.

— Ну и ну! — усмехнулся Дорохов. — Ну и дела!..

Урод между тем соскочил с кровати, заковылял, переваливаясь, к их столу, сцапал стоявшую с краю бутылку и, зацепив по дороге стакан с тумбочки, тем же ходом вернулся назад. Кровать была ему выше пояса, но, слегка подпрыгнув, с бутылкой в одной и стаканом в другой руке, он шлепнулся на прежнее место.

— Мангина, пгей! Зоя, пгей!.. — бормотал он, наливая вина в стакан. Подал Марине, она засмеялась и выпила. Потом невесте налил, потом себе — так они и выпили друг за дружкой из одного стакана, изначально уже не внушавшего доверия своим грязноватым видом.

Глядя на это, Дорохов чувствовал, как ему все больше становится не по себе: опять он вляпался с ней куда-то.

— Что это за монстр? Чего тут делает? — спросил он у соседа, потирая ноющие виски рукой.

— Володька-то? А шут его знает! Прибился с лета, так и живет. Иногда даже ходит на лекции. Сидит с тетрадкой, ставит какие-то каракули. Говорит, что в детстве его плохо лечили — вот выучится на врача и вылечит себя сам. То в одной комнате ночует, то в другой. Когда у ребят, когда у девчонок. Он для них вроде собачонки. Бывает, в одной кровати с ними спит. «Бабки» у него водятся, хотя и полный идиот. Говорят, наркотой приторговывает, но Воля его не трогает, Вовик — ее фаворит. Здесь вообще приبلудных полно: бомжи, беспризорники, шпана всякая. Медики — значит морфий, спирт, «колеса», вот и лезет всякая шушера.

— И Воля всех их терпит?

— Не просто терпит — они ей нужны. Доход немалый, а главное, всех остальных с их помощью можно в руках держать. Никто и пикнуть

против не смеет. У нее тут своя «бригада» из шпаны. По одному ее слову до полусмерти отделают. Девчонку запросто изнасиловать могут. Вся общага давно в их руках.

— Даже так? — качнул головой Дорохов. — Ну и ну!.. — Настроение, и без того скверное, испортилось окончательно. Сидеть в пальто неудобно и жарко, а в духоте, в накуренной комнате было трудно дышать. Давно пора уходить отсюда, но Марина вроде и не собиралась. Уверяла, что лишь на минутку заедут, но, кажется, понемногу вошла здесь во вкус. Оживленная, нарядная, она уже сделалась как бы центром компании: чокалась, пила здесь со всеми, то с одним, то с другим вступала в разговор. А на него, Дорохова, ноль внимания. Взглядом он показывал ей, что пора, но она делала вид, что не замечает.

С момента их неожиданной встречи у парикмахерской все происходило так быстро, обстановка менялась так стремительно, что даже не было времени толком все осознать. Он-то считал, что вчерашнее сблизило их, а встретились как чужие. Не было того понимания, что возникло между ними вчера, и ясно уже, что не будет. Марина явно и не стремилась к этому. Ну что ж, пожалуй, она и права — для нее вчерашнее не имеет значения. Он просто принял все слишком всерьез, и вот, как дурак, завелся. Оба они были вчера в ненормальном состоянии. Но только она уже вернулась к норме, а он все бредит, все сходит с ума.

О черт, чего только он не навоображал себе, чего только не придумывал! Даже смысл отыскал в этой полной бессмыслице! Но действительность тут же все расставила по местам, очень быстро его отрезвила. Все это иллюзия, галлюциноз, обман — продукт возбужденной и расстроенной психики. Поверить в это, потерять контроль над собой в конце концов означало бы просто свихнуться.

«Ну, хватит! Все. Пора уходить! — решил он, морщась от усиливающейся головной боли. — С тебя достаточно. Пора кончать. Ведь ты переболел уже этим когда-то в юности, и в очень тяжелой, хронической форме. Зачем тебе это нужно? Зачем тебе этот рецидив?..»

Он встал и вышел, не говоря ни слова, без стука, но плотно затворив за собой дверь. Шагая по коридору, старался ни о чем не думать и, чтобы отвлечься, соображал, трамваем или троллейбусом лучше добираться до гостиницы и какой номер отсюда ходил. Кажется, «двойка», и оставка через улицу за углом.

— Алексей Петрович!.. — услышал он за спиной. Быстрый перестук Марининых каблучков настиг его уже в конце коридора, Обоюнала, загорючила дорогу. — Вы что же, по-английски, не прощаясь, да?..

Голос спокойный и даже, как в комнате, весело-оживленный, но дышит часто, точно бежала издалека.

— Мне пора, — оказал он тоже спокойно, хоть это и нелегко далось ему. — Завтра рано на самолет.

— Ах, да! Вы спешите. Вы у нас гость мимолетный... Ну что ж, прощайте, не поминайте лихом! Извините, что так получилось, что с самолетом вас подвела. Мне очень неудобно, мне искренне жаль.

— Ничего, — сказал он. — Утренним рейсом улечу.

Этот грязный общежитский коридор был пуст и темен. Лишь единственная тусклая лампочка горела вдали, и, стоя рядом, слыша дыханье Марины, он в полумраке почти не различал лица ее.

— Вы уж простите, не судите нас строго, — настойчиво повторяла она. — Я вижу, компания наша вам не по вкусу.

— Да, — сказал он холодно. — И зря ты притащила меня сюда. Я не вписываюсь в нее.

— Вы что-то путаете, Алексей Петрович. Никто вас сюда не тащил. Вы сами, кажется, напросились.

— Ты сказала, что едешь на свадьбу, а здесь какой-то притон. Достаточно на невесту взглянуть. У нее же на физиономии написано...

— Вы и меня такой же считаете? — звенящим голосом перебила она. — Что ж, у вас есть для этого все основания. Ведь вчерашнюю ночь я провела с незнакомым мужчиной в гостинице. С неким Дороховым. Вы, случаем, не знаете его?

— Прекрати, — оборвал он, поморщившись. — Но я не понимаю, что ты находишь в этой компании. Что у тебя за друзья?

— Какие есть, других не имеем.

— Ну знаешь! Эта Зойка, и тот коротышка-урод...

— Вовик, да, не красавец. А знаете, почему он такой? Он из деревни, над которой прошел ВУРС. Может, слышали такую аббревиатуру? Восточно-Уральский радиоактивный след. В пятьдесят седьмом у нас тут на плутониевом заводе «могильник» с радиоактивными отходами рвануло. Над двумя областями, над сотнями деревень радиоактивное облако прошло. И никакой дезактивации не было. Двести семьдесят тысяч облученных, а жителям ни гугу. Так что Чернобыль-то здесь у нас еще тридцать пять лет назад был, только никто о нем и понятия не имел. Родители Вовика в тот год как раз поженились, а вскоре у них и сыночек родился. Вот такусеньким и вырос, каким его видели. И не один в той деревне такой. Из тех, конечно, кто еще жив остался.

— Ужасно!.. — пробормотал Дорохов. — Я слышал об этом, но не знал, что он...

— Да-а, как говорил принц датский, много, друг Горацио, есть на свете такого... А у Зойки родители пьянь, алконавты. Пока в институте училась, не они дочери помогали, а она им. Посылки каждую неделю отправляла, чтоб не сдохли там с голоду, родимые. Деньги зарабатывала понято чем. Предки живы и здоровы, водку глушат по-прежнему. Молодцы, заботливую вырастили себе дочь... Мои нет, мои, конечно, не такие. Но они у меня из тех, кто под знаменем КПСС вот эту жизнь всем нам устраивал. Ум, честь и совесть нашей эпохи!.. Я у них в детстве шоколад и икру жрала, каждый год в Крыму отдыхала, а Вовик вот таким сделался. Только мне это тоже не помогло — видите, какой психопаткой выросла, так что все мы в этой компании мутанты, уроды. Одни как Вовик, другие — как я.

— Перестань, — сказал он. — Не наговаривай на себя.

— А разве нет? Вы сами могли вчера убедиться. Диагноз верный, — упрямо твердила она. — А знаете, почему я не позвонила вам и тем более не пришла? Потому что вы меня презираете. И спорить нечего, есть за что. Явилась вчера, напилась, залезла в постель, чуть не выпрыгнула в окно. Кто же я после этого? Как могла показаться вам на глаза?.. А все-таки не вспоминайте обо мне плохо. Лучше забудьте, не вспоминайте никак вообще. Считайте, что меня просто не было. Галлюциноз, расстройство воображения. Я вам привиделась, а вы мне...

Совсем иначе уже голос ее звучал, напряженно, болезненно, а глаза, он чувствовал, наполнялись слезами. Дорохов смотрел на нее молча, почти не видя ее в этой тьме, но ощущая исходящий от нее запах духов. Вот сейчас разойдутся в разные стороны этого тусклого общежитского коридора, и она исчезнет из его жизни навсегда. Исчезнет та, с которой он одну только ночь, всего одну безумную ночь, не чувствовал себя одиноким.

— Запиши телефон, — сказал он.

— Нет, — качнула она головой. — «Телефон доверия» мне больше не нужен. Спасибо, что поговорили со мной. Раз в жизни поговорила с кем-то по-человечески. В первый и последний...

— Почему? Что ты имеешь в виду?..

Не ответила. Только губы дрогнули, и она закусила их.

— Не смей. Помнишь, ты давала мне слово, — чувствуя, как тревожно сжимается сердце, сказал он.

— Не давши слово — крепись, а давши — держись. Но я не это имела в виду. Я в Америку уезжаю.

— Когда?

— В конце недели, на их Рождество. Билеты уже заказаны.

— Надолго?

— Навсегда.

— Ты собиралась всего на два месяца.

— Если уеду, то навсегда.

— Тогда прощай... — помолчав, сказал он.

— Прощайте и вы, Алексей Петрович.

Дорохов сделал шаг в сторону, освобождая ей дорогу в один конец коридора, а себе в противоположный, другой. Но Марина стояла, не двигаясь, и тогда, чуть помедлив, первым двинулся он.

И тут на лестнице, в ближнем к ним конце коридора, послышался шум, дробный топот по ступенькам, зазвучали чьи-то громкие голоса. Судя по ним, там было несколько парней, но среди них выделялся и какой-то резкий старушечий голос. «Бандиты! В окно лазать?.. Ну, я им сейчас покажу! Все побили, все поломали! Я их блядскую шайку сейчас разгоню!»

— Атаc! Воля с дружинниками!..

И не успел Дорохов опомниться, как Марина втолкнула его в какую-то темную комнату, быстро, но бесшумно захлопнув за собой дверь. Тут же схватилась за массивный, обитый поверху жестью стол, он по-

мог ей с другого конца, и вместе они прижали дверь этим столом, за-баррикадировались изнутри.

— Тихо! Не шевелитесь!.. — паническим шепотом заклинала она. — Это за мной, меня ищут.

Так страшно перепугалась, так учащенно дышала и вздрагивала, что Дорохов и сам заразился от нее этим испугом, точно и в самом деле старуха эта была так страшна.

— Ну что ты? — привлек он Марину к себе. — Что с тобой?

Прильнула, обняла его крепко, прижалась щекой к щеке.

— Тише! Молчите! Тихо... Услышит — ворвется сюда.

Остервенело ругаясь, в сопровождении двух или трех парней, старуха, как вихрь, пронеслась мимо двери. От топота их даже тут под ногами вздрагивал прогнанный пол, но сюда, за дверь, они, слава богу, не сунулись.

— Да что с тобой? — еще сильнее привлекая ее к себе и сам теснее прижимаясь к ней, прошептал ей на ухо Дорохов. — Что тебе эта старуха?

— Тише!.. Вы ее не знаете. Она ведьма. Она меня ненавидит! Она способна на все!.. — И вдруг разрыдалась сдавленно. И тихая истерика — вся дрожит. — Не уезжай! Мне страшно!.. Не оставляй меня здесь одну!.. Я не могу! Не могу!.. Да что же это со мной? Не могу!..

— Я здесь, я с тобой, — успокаивал он. — Чего ты боишься?

— Не знаю, — плача, шептала она. — Я всех боюсь! Всего боюсь. Все время чего-то ужасного жду. Я жить не хочу из-за этого. Я скоро с ума сойду!..

Комната, в которой они прятались, освещенная лишь слабым отблеском уличного фонаря, была общежитской кухней, впитавшей запах всех варившихся в ней супов и жаренной на постном масле картошки. Но даже этот грубый затхлый запах не мог перебить нежный яблоневый аромат ее волос. Мягкие пряди их из полураспавшейся прически почти закрывали ее лицо. И, теряя голову, чувствуя тяжкие глухие удары своего сердца вместе с торопливым перестуком ее испуганного сердечка в прильнувшей к нему груди, Дорохов нашел среди этих прядей, уже намокших на щеках, ее теплые покорные губы и долго своими жадными губами не отпускал... Все вчерашнее, блаженное и сумасбродное, вновь вернулось, нахлынуло вновь, и, утопая в нем, пропадая в нем, чувствуя трепещущие, как крылья бабочки, ее ресницы у щеки, он был счастлив в этот миг.

— Зачем?.. Не нужно!.. Зачем все это?.. — шептала она, не размыкая объятий, не отнимая губ, таких покорных и бесплотно нежных, что, целуя, он почти не чувствовал их. — Все глупо... Мы чокнутые, мы ненормальные... — Но, говоря это, еще теснее прижималась, сливаясь с ним, легким и гибким телом, до такой степени легким, что, оторвав ее от пола, он не ощущал никакой тяжести в руках.

— Почему? Почему ты не позвонила?.. Я ждал звонка, я места себе не находил.

— Не знаю, — потерянно шептала она. — Сто раз подходила к телефону, а позвонить не могла. Наберу номер — и тут же вешаю трубку...

Не знаю, не пойму, что делается со мной. Я точно в бреду. Ты ведь не существуешь на самом деле. Я сочинила, придумала тебя. И вдруг явился. С ума сойти!

Поцелуем он прервал ее, и перерыв этот длился долго — столько времени, сколько сам поцелуй, и еще, пока отдышалась. Понемногу она приходила в себя, успокаивалась, как-то по-детски прильнув к нему, но слезы еще не высохли на щеках, и голос слегка прерывался.

— А ведь я вчера не к тебе, а к Фреду шла. Знала, что ты в этой гостинице, но заходить не собиралась. Тянуло, конечно, но решила: нет, ни к чему. А вошла в лифт и вместо шестого этажа нажала вдруг на девятый. Дай, думаю, только взгляну и уйду. Даже какую-то фразу наспех придумала насчет того, что ошиблась дверью, что другого человека ищу. А ты открыл — и все вылетело из головы... Я потом уже поняла, что хотела разочарования. Мне нужно было избавиться от этой мании, от этого фантома, который сама же себе создала. Поначалу так и вышло — ты мне не понравился, сухим каким-то показался, хотя удивительно молодо выглядел и внешне такой, как я и представляла себе. А в остальном совсем другой человек. Когда прогнал, разозлилась ужасно, ну, думаю!.. Собралась пойти к Фреду, а сама встала на лестнице и курю. Курю и реву. Выкурила сигарету, а все стою. И вдруг поняла: нет, такой. Другой бы слюни распустил, когда о письмах услышал, или растерялся бы, заюлил. А ты рассвирепел, чуть не ударил... Вот и вернулась. А ведь я к Фреду шла.

— Ты любишь его?

— Хотела бы... Он умный парень и очень порядочный. Но я не чувствую к нему ничего. Маман хочет сплавить меня за него — спит и видит меня в Америке. А я не хочу. Ведь я не буду счастлива с ним — я и там буду сходить с ума.

— Он знает об этом?

— Да. Я честно сказала ему... Но он надеется, что со временем, может быть... Согласен даже жениться фиктивно, чтобы просто помочь мне уехать, устроиться там у них. Он добрый, хороший, он меня любит. Но видишь, не успела выйти за него, как изменила уже с первым встречным... С первым встречным, которого знаю всю жизнь...

Она всхлипнула в его объятьях, еще теснее прильнула к груди. Губами Дорохов ощущал тепло ее волос, руками нежные лопатки и плечи. И каждый вздох, каждый трепет в ее теле передавался ему, точно он и она были неразделимы. У Марины не оказалось с собой платка, и тыльной стороной ладони она по-детски вытирала слезы. Он достал свой платок и принялся осторожно помогать ей, уголком осушая глаза, ее милое, залитое слезами лицо, изломанные гримасой страдания тонкие брови.

— Ну перестань, — успокаивал он. — Я с тобой. Ну перестань же, мы вместе. Ты видишь, я здесь, с тобой.

— Не могу, — кусая губы, говорила она. — Я со вчерашнего дня сама не своя. После этих ужасных родов я пропадаю, меня затягивает куда-то

на дно... Маман нашла для меня выход, и вот все рухнуло, все полетело кувыркком!.. Я совсем уже было согласилась, а вот теперь поняла: не будет мне счастья там, в Америке, еще хуже начну доходить. Фред меня не понимает и никогда не поймет, а ведь там, в чужой стране, можно только с тем, кто тебя хорошо понимает, жить.

— А ты уверена, что стоит уезжать, что это лучший выход? Ведь надо знать, зачем ты едешь туда.

— Да, — вздохнула она. — От себя не уедешь. Но что же делать? Я здесь не могу. Как вспомнишь всю эту мерзость, которая кругом!.. А вы когда-нибудь испытывали это?..

— Когда-нибудь... — тихо сказал он, — если бы так... Я уже лет двадцать с этим живу. А ты говоришь, что не можешь. Помнишь, ты спрашивала, что у нас случилось там, в Усть-Алыше. Так вот, в последний день она сказала мне, что выходит замуж за Юлика... за твоего отца. И для меня это было... как землетрясение, от которого внезапно рассыпается все. А когда на следующий день я возвращался домой, у меня случился острый психический криз. Маниакальное возбуждение, переходящее в делирий, спутанное сознание, галлюциноз. Я то бешено хохотал, то внезапно впадал в задумчивость, то, уходя в вагонный тамбур, рыдал. Было пасмурно, весь день лил дождь, а я видел за окном какие-то изумительной красоты пейзажи, освещенные ярким солнцем лужайки, роскошные клумбы с цветами, играющих возле них детей. Я возбужденно бросался к окну, показывал на них своим спутникам руками и не мог понять, почему они испуганно сторонятся меня, вместо того чтобы радоваться вместе со мной... В общем, с поезда в моем родном городе меня сняли уже в горячечном бреде. Вызвали «скорую», срочно госпитализировали, и до конца лета я лечился в стационаре. Прогрессиентного течения болезнь, к счастью, не приняла, и вскоре все психические функции восстановились. Но наступило ли полное выздоровление или то была просто интермиссия, этого никто не смог бы мне сказать. Такие интермиссии нередко длятся годами, а в некоторых случаях могут растянуться и на всю жизнь. Бывает, что человек перенесет один-два приступа, прожив нормально всю остальную жизнь. Хотя и под угрозой рецидива, который может случиться в любой момент. Тебе понятно, о чем идет речь?

— Да, — кивнула Марина, подавшись к нему. Она совсем перестала всхлипывать и слушала, глядя слабо поблескивающими от уличного света глазами ему в лицо.

— Так вот, — сказал он. — С учетом всего я и стал дальше жить. Психотравмирующим фактором для меня могло стать что угодно — любая из тех мерзостей, которыми кишит наша жизнь. И я избрал для себя такой образ жизни, чтобы как можно меньше соприкасаться с ней. Не стал делать карьеру, не влезал в обычные склоки, интриги, не сходил близко с людьми. Женился, но семейная жизнь оказалась таким психотравмирующим фактором, что пришлось с женой и сыном раздельно жить. Так вот и живу уже много лет, если это можно назвать жизнью. Но и так, как все вокруг живет, тоже не хочу.

— Да, я понимаю, — прошептала она. — Я чувствовала это, когда рассматривала те фотографии в альбоме.

— И знаешь, за все эти годы я ни разу не усомнился в собственной правоте. И только вчера... Теперь я и сам знаю. Возможно, я не все просчитал, возможно, допустил ошибку. Ведь, стараясь приспособиться к своей болезни, я как бы пошел на поводу у противника, а этого не следует делать. В любой позиции нужно искать эффективный ответ — иначе все равно проиграешь. Я хотел свести свою партию к ничьей, но ничьей в таком случае не бывает. Нужно все-таки рисковать. Как говорится, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. На колени я себя поставить не дал, но и жил как бы на полусогнутых ногах.

Марина все так же неотрывно смотрела на него, словно побуждая еще говорить, и, глубоко вздохнув, он продолжил:

— Мне казалось, что иначе в этой нашей жизни нельзя, но сегодня утром я понял, что все-таки можно. Ситуация не безнадежна. Пусть мне не дано изменить обстоятельства своей жизни, но я всегда могу измениться сам, и те же самые обстоятельства сделаются для меня иными. Нужно перестать ненавидеть окружающую жизнь, а отнестись к ней, как врач относится к больному. Она ведь не чужая нам, эта большая страна, и не все еще потеряно — возможно, улучшение наступит. Все должны излечиться. И в первую очередь, мы сами, врачи. Нельзя лечить других, чувствуя себя несчастным, подавленным человеком. Не стоит жить на коленях, но и так, на полусогнутых ногах, нельзя. Как бы ни было трудно и даже рискованно, надо распрямиться. А там будь что будет.

— Вы сможете распрямиться, а я, наверное, нет. Вы сильный, умный, а я не такая. Я все время ношу зло в себе, значит, я никому не смогу принести счастья. Мне это просто не дано. Я от природы не способна на это.

— Неправда, — сказал он. — Зло не в тебе — оно извне проникает в тебя. Это как проникающая радиация. Она проникает в нас, и тогда мы сами становимся источником радиоактивного заражения. Но начнешь лечить других и выздоровеешь сама. У тебя очень нужная специальность. Лечить психику, врачевать души людские сейчас, наверное, важнее всего.

Они говорили об этом негромко, почти шепотом, точно сговариваясь о чем-то и боясь, что их могут подслушать, каким-то особым, интимным тоном, еще больше роднившим и сближавшим их. Но Марина еще всхлипывала от незатихших рыданий, временами по всему ее телу пробегала крупная дрожь.

— Ничего не могу поделать с собой, — вздрагивая, говорила она. — Я дошла, никак не могу успокоиться. Уколоться, что ли, разок?

— Ты колешься? — насторожился он.

— Да нет, конечно, — быстро сказала она. — Так, травку курю. Иногда «колесико». Но это же в наше время пустяк. Медик — и без «колеса»... *Sei stato bene con me?*¹² — снова обращаясь к нему на «ты», но по-итальянски, вдруг спросила она.

¹² Тебе было хорошо со мной? (*ит.*).

— Sono stato felice¹³, — сказал он.

— Anch'io¹⁴, — прерывисто вздохнув, прошептала она. — Странно, но я впервые в жизни чувствовала, что разговариваю с родным человеком. Ты для меня в самом деле родной, но в каком смысле, не знаю: родной, как отец, родной, как старший брат, или родной, как муж. Все подходит и не подходит. Я глупая, да?..

— Я тоже с приветом, — сказал он шутливо. — А минус на минус дает, как известно, плюс. Два сумасшедших всегда с полуслова поймут друг друга. В особенности если говорят на одном, непонятном для других, языке. Мы даже разговаривать, как настоящие психи, будем только по-итальянски. D'accordo?¹⁵

— D'accordo, — тихо сказала она. — Я глупо сделала, что не позвонила. Как было бы ужасно, если бы ты улетел. Весь день я мысленно разговаривала с тобой. Так много хотелось сказать, а толком ничего не успела.

— И я не успел. Но ведь я сдал билет, и у нас целая ночь впереди. А может, и вся жизнь... Поедем ко мне? D'accordo?

— D'accordo, — чуть помедлив, кивнула она.

В «палате № 306» по-прежнему тускло коптили свечи, а вся компания так же балдела. Бритоголовые в пижамах перебрасывались в картишки, остальные трепались и курили. Невеста все в той же позе валялась на кровати, уродец сидел у нее в ногах.

— Магина, пячься! — размахивая ручонками, возбужденно забормotal он. — Воля пхиходига. Игчет тебгя!..

— Знает, что я здесь? — спросила Марина испуганно. Невеста махнула рукой.

— Ей маман твоя позвонила, вот она и устроила по всей общаге шмон. Даже под кровать заглядывала. Из-под земли, говорит, достану.

— Воля вышла на тропу войны! — сострил кто-то из картежников, и все захохотали.

Но Марине было явно не до смеха, казалось, она напугана не на шутку.

— Переждем, — шепнула она Дорохову. — Не дай бог нарвемся! Выпьем пока на дорожку. Только вдвоем, как вчера.

— Не стоит, — сказал он. — Хватит нам на сегодня.

— По чуть-чуть, — сказала она, наливая в первые попавшиеся под руку стаканы. — Мне нужно согреться. Меня всю трясет.

Она накинула на плечи свою новую шубку и протянула Дорохову его стакан. Вид у нее был и в самом деле неважный — лицо осунулось, глаза припухли, а нарядное платье и шубка лишь подчеркивали болезненность лица и губ.

— Ну хорошо, — уступил Дорохов, взяв свой стакан. — Давай по глоточку.

¹³ Я был счастлив (ит.).

¹⁴ И я (ит.).

¹⁵ Согласна? (ит.).

Ему и самому не мешало бы расслабиться — он и сам слишком был возбужден. Лицо горело, а в накуренной комнате вернулась мучившая его весь день боль в висках. Надеясь, что это хоть как-то поможет, он сделал из стакана глоток-другой. Марина лишь на минутку присела за стол и тут же поднялась, явно нервничая. «Я скоро приду», — шепнула она Дорохову и тихо выскользнула за дверь. Гаррик встал и, поигрывая ключами, вышел следом. Он вскоре вернулся, сел рядом с гитаристом на прежнее место, и это успокоило Дорохова, подозревавшего, что у этого Рэмбо с Мариной какие-то особые отношения, и все еще не разрешившего для себя сей вопрос.

От выпитого у Дорохова вдруг проснулся аппетит — весь день ведь ничего, кроме утреннего кефира, не ел — и, найдя на столе бутерброд с сыром, он стал закусывать им. Знакомый парень в очках и белом халате сидел все так же за столом и, жуя, листал все ту же книжку. Абсолютно трезвый, он, похоже, и не пил ничего, будто пришел сюда просто поесть. Вместе потянулись они за последним куском колбасы и разом отняли руку, с улыбкой взглянув друг на друга.

— Уступаю его вам, коллега, — сказал Дорохов.

— Нет, что вы! — запротестовал тот. — Я сыт уже, наелся тут под завязку. Это я так, по инерции.

— Тогда пополам, — решил Дорохов, не утоливший голод одним бутербродом, а только раздраживший свой аппетит. Он нашел на столе складной нож с шатким лезвием и кое-как разрезал оставшийся кусок надвое.

— Я слышал о вас, — сказал парень. — Встречал ваши статьи в журналах. Нейрохирургией интересуюсь.

— А вы студент? — спросил Дорохов.

— Нет, кончил уже. Хотелось в ординатуру, конечно, но дите кормить надо — на «скорую» вот пошел. Прямо с дежурства сюда, — показал на свой халат. — Не снял, чтоб на вахте пропустили: в халате — значит, свой.

Рассказывая, он с аппетитом уплетал колбасу, что никак не подтверждало слова о сытости. Сам заметил, сказал оправдываясь:

— Давно колбасы не ел. У нас тут знаете как? Впроголодь живем. У меня жена и ребенок, а зарплату не выдавали с лета еще. Жена в декрете, к весне второй намечается, как мы будем вчетвером... Квартиры нет, денег нет. Вкалываешь, как ишак, только за солому. Не о больном думаешь, а как до полочки дотянуть, талоны отоварить.

— Самый опасный для общества человек — это бедный врач, — помрачнев, подтвердил Дорохов. — Это не я, это Бернард Шоу сказал. И был на сто процентов прав. Как тебя зовут?

— Гоша... Георгий.

— Давай, Гоша, выпьем за знакомство, — сказал он, чувствуя неудержимое желание еще выпить. — Я вообще-то не пью, но давай.

Они чокнулись и выпили; чего именно, Дорохов не понял, этикетку на бутылке не разобрал. Гоша поставил перед собой непечатую консервную банку и, отломив изрядный кусок от батона, принялся с новой

силой жевать. Чем-то нравился Дорохову этот парень, с простым, но при этом интеллигентным лицом и спокойными серыми глазами за стеклами очков. Белый халат подходил ему, а его чуткие руки с длинными пальцами были руками врача.

— Послушай, — сказал Дорохов, положив руку ему на плечо. — Давно хотел спросить у кого-нибудь из вас, молодых. Как вы относитесь к тому, что вокруг, как собираетесь жить?

— Кто как, по-разному. Я вот хирургом собирался стать, но подамся, наверное, в кооператоры. Шапки шить из собачьих шкур. У меня тесть в кооперативе. Им нужен человек шкуры выделывать. Заработок до тысячи баксов и выше, а с собаками я еще в институтском виварии дело имел.

— А кто же будет лечить?

— Не знаю. Оставаясь врачом, я просто с голоду скоро загнусь и своих детей уморю. А я не для того их заводил. Знания, которые в институте получил, мне и самому пригодятся. Детей своих буду лечить, постараюсь вырастить крепкими и здоровыми. Жена у меня классный педагог. Но тоже из школы, наверное, скоро уйдет. Детей наших будет учить — даст им домашнее образование. А заработать она и дома репетиторством может.

— Значит, будем работать каждый на себя, а государство пусть развалится.

— Туда ему и дорога! — хмуро сказал Гоша. — У меня дед всю жизнь в колхозе работал, в войну три года провел на передовой. Отец тридцать лет на мартене вкалывал, а ради чего? Государство что, процветает?.. Раньше требовали жертв ради его процветания, теперь нужны новые жертвы, потому что, оказывается, оно разорено. Была революция — люди терпели, была война — люди терпели. Но сейчас-то за что?..

— За то, что терпели, — усмехнулся Дорохов. — Не надо, значит, было терпеть.

— Вот именно, — сказал Гоша. — Если прежние жертвы были напрасны, так почему же новые будут спасительны?.. Да вы не думайте, я в лепешку расшибусь, если надо больному помочь — это у меня в крови. Но как посмотришь иной раз: на кой черт это нужно? Мы лечим, а жизнь калечит. Все равно что таскать воду решетом.

— Ты прав, Гоша, — стиснув ему плечо, сказал Дорохов. — Ты прав. Жизнь в нашей стране построена на лжи. Мы извратили все законы природы. У нас чем лучше человек работает, тем хуже он живет; чем он умнее, тем большим дураком считается; чем он честнее по натуре своей, тем меньше у него шансов выжить и оставить потомство. Своего рода геноцид. Теория и практика неестественного отбора — сохраняются лишь слабые, покорные, недалекие, которыми легко управлять. Не слишком, коллега, нам с тобой повезло. Бывают времена, когда верх берет бездарность и наглость, когда правила игры устанавливают шулера. Нам выпало жить в такое время.

Свеча на перевернутой консервной банке, горевшая перед ними на столе, точно обособляла их вдвоем в этой комнате, за этим столом. И,

чувствуя в этом серьезном худошавом парне что-то близкое, родное (сам он когда-то был вот таким), Дорохов заговорил горячо и страстно — его словно вдруг прорвало:

— Интеллигенцию в России принижали всегда, но до последнего предела дошли только сегодня. Про Эдисона за океаном говорили с гордостью: «В Америке есть мозг, который стоит четырнадцать миллиардов». А наши Эдисоны жили и живут в нищете. Охранник-мордovorот получает у нас больше профессора, уборщица в офисе больше врача.

— Считается, что интеллигенция материальных ценностей не производит, — усмехнулся Гоша.

— И это самая главная ложь. Изобилие в наше время связано не с тем, что рабочий стал больше напрягаться, а с новыми технологиями, новыми машинами, с более совершенной организацией труда. А ведь все это придумали инженеры и ученые. Нам внушают, что весь национальный доход, как и сто лет назад, производится мозолистыми руками, тогда как большая его часть давно уже создается светлыми головами. Кто воистину ничего не производит, но захапал себе все, так это наша номенклатура, эта нынешняя бандократия, поработившая и разорившая всю страну. А чтобы сделать народ покорным и бессильным, она систематически развращает и его. Народ наш презирает нищего интеллигента, а кровопийцу своего в начальническом кресле невольно уважает и чтит. Но есть одно древнее пророчество, и звучит оно так: «Где чтут недостойных и презирают достойных, там воцаряются трое: голод, страх и смерть». Печально, но, презирая интеллигента, народ наш обрекает на гибель и себя самого. Не просветит его тот, кто, голодный, стоит по очередям, не вылечит тот, кто от скверной жизни сам болен. Где нищая интеллигенция, там народ никогда не станет богатым. Нам грозит вырождение, Гоша! И не просто грозит. Оно для нас уже страшная реальность. Еще недавно на редкость здоровый народ, мы почти поголовно больны. Генофонд нации, ее жизненные силы подорваны. Организм ее уже не производит ничего здорового, одни токсины, которые еще больше отравляют его.

Он остановился, чувствуя, что заводится, вздохнув, провел ладонями по лицу. Нет, нельзя. Надо успокоиться. Он и так уже вторые сутки на взводе, — совсем ни к чему. Голова раскалывалась, давление явно поднялось — он знал, чем это может закончиться.

— Вот так и живем, Гоша, — слегка морщась от боли в висках, закончил он. — Страна больна, но нищие у нас как раз те, кто лечит. Те, кто калечит, ни в чем не знают нужды. Они калечат — мы лечим, но другого выхода все равно нет. Гнусно, конечно, обидно, конечно, и все же самоустраняться мы не должны. Я прошел через это, я знаю. Это не выход из положения, поверь. Мы с тобой врачи, Гоша, — в наших руках жизнь человеческая. И сытые ли, голодные, а должны лечить народ. «Не уважают достойных...» Но что же делать? Не можем же мы бросить тут все и уйти куда-нибудь к черту, если «не уважают». Ты ведь не перестанешь лечить больного, который, потеряв рассудок, оскорбляет и поно-

сит тебя. Остается лишь, как Сизиф, вечно вкатывать на гору этот камень, который раз за разом все равно ведь скатывается вниз. Вот так-то, Гоша!.. Что у нас тут, что это за бурда?.. Ну да ладно, давай чокнемся этой бурдой. Я вообще-то не пью. И ты не пей. Нам, медикам, пить нельзя. Но бывают такие моменты... Раз в жизни имею право сойти с ума. Ну давай, Гоша! За Сизифа и Гиппократа, наших покровителей. Ну давай, будь здоров!..

Занятый этим разговором, Дорохов не сразу заметил, что народу в комнате поубавилось, компания поредела. Не было Гаррика, исчез куда-то «голубой» с гитарой. Картежники в пижамах бросили игру. Невеста поднялась со своего ложа. Нетрезво пошатываясь, со сбившейся набок фатой, она пыталась, но никак не могла попасть в рукав своего пальто. Уродец, приподнявшись на цыпочки, старался помочь ей. Коротышка тянулся изо всех сил, но не доставал и до ее плеча.

— Где Марина? — спросил Дорохов у невесты.

Та качнулась и вяло махнула рукой.

— Уехала... С Гарриком...

— Как уехала? Куда уехала?..

Она посмотрела на него пьяно-значительным взглядом, подмигнула и, точно желая сообщить что-то на ухо, поманила рукой. Дорохов подался к ней, но она только чмокнула его в шею липкими от помады губами и глупо засмеялась. Поморщившись, он вытер шею платком. Один из бритоголовых, наверное жених, обнял ее за талию, и новобрачные, пошатываясь, вышли в коридор. Прогугнив что-то им на прощанье и помахав своей маленькой ручонкой, уродец закрыл за ними дверь.

Дорохов пересек комнату и выглянул в окно. У бортики тротуара, там, где стояла машина Гаррика, теперь было пусто. Неужели Марина уехала с ним? При одной мысли об этом Дорохов почувствовал, как кровь приливает к лицу. «Нет, это невозможно. Не пори горячку! — сказал он себе. — Уехал один или просто поставил машину в другое место. Ведь на проезжей части стояла. Только и всего».

Он вышел в коридор, прошел в один его темный конец, в другой — никого, везде пусто. Заглянул на лестничную площадку — тоже никого. Он проделал это спокойно, неторопливо, раздосадованный в душе, но еще не допуская мысли, что Марина опять обманула и куда-то уехала, оставив его здесь одного. Слишком абсурдно было бы представить себе такое, слишком нелепо даже для этого сумасшедшего дня. Почему Зойка, пьяная дура, решила, что Марина уехала вместе с Гарриком? Одно временно еще не значит вместе. Да она ведь еще раньше куда-то ушла. Но эти доводы уже не могли успокоить тревоги, ревнивой мерзкой тревоги, охватившей все его существо.

Он поднялся на четвертый этаж — здесь вообще не было света. Длинный темный коридор зиял, как тоннель. Тем не менее он вступил в него, надеясь хотя бы на слух сориентироваться, найти в нем какой-нибудь проблеск. Медленно, с вытянутыми вперед руками, двинулся в

этой катакомбной тьме. Двери комнат были ему не видны, но какие-то звуки и голоса за дверьми, точно слуховые галлюцинации, возникали во мраке то справа, то слева. Там кто-то плакал за дверью, там кто-то насвистывал, там колотили чем-то тяжелым по столу. «...Болезнь вызывается гистолической амебой, которая может существовать в двух формах: вегетативной и инцистированной, — монотонно бубнил, видно, над учебником, чей-то голос. — Испражнения больных амебиозом содержат в себе вегетативные формы гистолической амебы...»

С грохотом распахнулась внезапно соседняя дверь, и с шумом, едва не сбив его с ног, кто-то пронесся мимо по коридору, и, добежав до лестницы, запрыгал через две ступеньки вниз. Дорохов даже не понял, парень это был или девушка — услышал только шумное запаленное дыхание и рвущийся из груди то ли стон, то ли смех.

До конца коридора, судя по всему, оставалось немного, и он решил добраться до второй лестницы, а уж по ней спуститься обратно на третий этаж.

На лестничной площадке курили четверо, но самих курящих не было видно, лишь хаотически двигались в темном пространстве огненные точки их сигарет. «Стой!» — приказали ему внезапно, и луч фонарика коротко плеснул в лицо. «В чем дело?» — спросил Дорохов, невольно сощурясь. Но ему не ответил никто. «Это не Соболев, — наконец сказал один хрипло. — Старпер какой-то. Вшивый доцент». — «А, может, пришлем, чтоб студентам мозги не пудрил», — пьяно хохотнул за спиной другой. — «Да ну его, пусть канает. Он и так уже в штаны наложил.» — «Фу-у, воня-яет!..» — нарочито гнусая, затянул еще один. И расхохотались во тьме, довольные своей шуткой. Сцепив зубы, чтобы не связаться, не ответить, Дорохов молча прошел мимо, спустился снова на третий этаж.

Взвинченный, он вернулся в 306-ю. Пьянка закончилась, и комната опустела, кроме Гоши и коротышки Вовика, здесь не было уже никого. Свечи догорали, освещая лишь пустые кровати да заваленные обедками тумбочки и стол. А затхлый запах окурков, дешевых рыбных консервов и недопитого в стаканах вина сделался еще тяжелее. Подаренная невесте обезьяна враскорячку лежала на полу, словно лакая из лужицы пролитое вино, а намокшая невестина фата валялась в той же самой темно-красной винной луже.

Низко наклонившись над книжкой при свете догорающей свечи, Гоша досматривал последние страницы. А уродец на кровати пересчитывал свои деньги, раскладывая по кучкам мятые купюры.

— Марина не появлялась? — спросил Дорохов резко. — Куда она могла деться? Куда уйти?..

— У Гаррика тут есть один кореш, — сняв очки и устало потирая переносицу, сказал Гоша. — Может, к нему «квасить» пошли. Не знаю, правда, в какой он комнате.

Карлик, слышавший их разговор, вдруг спрыгнул с кровати и торопливо загугнил что-то, возбужденно размахивая ручонками, задирая к ним свою большелобую голову.

— Гагик гню шепатуту, — неразборчиво бормотал он, теребя Дорохова за штанину. — Навег могук покагак.

— Говорит, что знает эту комнату и может показать, — перевел Гоша.

Как ни претило ему идти с таким провожатым, но делать нечего, и Дорохов угрюмо кивнул. Вышли в коридор, и, по-утиному переваливаясь на своих ногах-обрубках, уродец шустро заковылял впереди. По лестнице он взбирался боком, цепляясь за прутья перил, оглядываясь на Дорохова и дружески улыбаясь ему безносым страшным своим лицом. Тот шел, отставая немного, как бы сам по себе.

Так одолели они два этажа, вышли на пятый. Уродец выкатился в коридор, такой же пустой, но хорошо освещенный, и побежал по нему, знаками поторапливая Дорохова. На ходу указал короткой ручкой на одну из дверей и засеменил дальше, кивая, мол, эта дверь, та самая. Добежал, переваливаясь, до конца коридора, спрятался за угол и выглядывал оттуда низко от пола большелобой уродливой своей головой.

Прежде чем постучать, Дорохов помедлил, прислушался. Ни звука, ни голоса не доносилось из комнаты — впечатление такое, что нет там никого. Стараясь успокоиться, взять себя в руки, он набрал полную грудь воздуха и негромко постучал. Прошелестели какие-то неясные шорохи, послышался быстрый шепот за дверью, скрип кроватных пружин — но никто на стук не откликнулся. С остановившимся сердцем, чувствуя, как глаза стремительно заволакивает какая-то кроваво-темная мгла, Дорохов ударил кулаком в дверь, задергал ручку решительней и злее.

— Кто там? — осторожно прозвучал из комнаты голос Гаррика.

— Открой! — задыхаясь, крикнул Дорохов. — Открой, ты... Сейчас же!.. — Голос срывался, не слушаясь его.

— Чего надо? Вали отсюда! — ответил Гаррик из комнаты. — Зако-сел, так иди проспись.

То, что случилось в следующий момент, было похоже на буйное помешательство, на внезапно помрачивший сознание аффективный разряд.

— Открой, падла!.. — чужим сиплым голосом заорал Дорохов и с короткого, в два шага разбега обрушился правым плечом на дверь.

Хлипкая фанерная дверь хряснула, проломилась на уровне плеча, но устояла. Со второго удара она вдруг легко сорвалась с запора и, грохоча какими-то разлетающимися во тьме табуретками, Дорохов по инерции, точно в яму, упал из коридора в темный комнатный провал.

Падая, он ударился головой о ножку кровати и на короткий миг потерял сознание. А когда очнулся, ощутил на своем горле чей-то жесткий удушающий захват. Извиваясь, хрипя от удушья, он сумел-таки вывернуться, оторвать вцепившуюся в горло руку противника и сам нанес ему наугад удар коленом в пах. Тот охнул, откатился в сторону и замер, скорчившись на полу. При жидком свете из коридора Дорохов узнал Гаррика. На нем ничего не было, кроме плавок и знакомой кожаной безрукавки, расстегнутой на волосатой груди. Черные кожаные штаны валялись на полу возле койки. А в постели, затаившись под одеялом,

кто-то лежал. Край одеяла не полностью прикрывал округлые ягодицы, обтянутые голубыми трусиками.

Вскочив, вне себя от ярости, Дорохов рванул это одеяло... С кровати, заслонясь рукой, моргая карими подведенными глазами, на него испуганно смотрел пухлолицый парень с косичкой — «голубой», что на гитаре на свадьбе играл. Секунды две или три Дорохов стоял, ничего не соображая, в тупом столбнячном оцепенении пытаюсь понять, что произошло. Потом отбросил это серое, мерзко-теплое общежитское одеяло и быстро вышел из комнаты, давясь подступающей к горлу тошнотой.

В коридоре он вынужден был прислониться к стенке — перед глазами, как у пьяного, все плыло. Из соседних комнат выглядывали привлеченные шумом лица, зыркали чьи-то любопытные глаза, но ему уже было все равно, он не обращал на это внимания. Страшная боль в голове, но не в месте удара, а в височной части, особенно с правой стороны, нарастала и делалась невыносимой. Машинально он отер лоб рукой — на ладони размазалась кровь. Сквозь горло, перехваченное жуткой спазмой, воздух с хрипом проходил, тяжело. Он видел на своей ладони размазанную кровь, ощущал под черепом жестокую боль, но все это словно не в реальности, а в каком-то ночном кошмарном бреду. Надо только вздохнуть, набрать воздуха полной грудью, чтобы очнуться, сбросить с себя этот бред, этот морок. Но вздохнуть полной грудью не мог...

Держась обеими руками за голову, он оттолкнулся от стенки и, скрипнув зубами, сделал первый шаг. Никто не удерживал его, никто ничего не сказал. По лестнице, переступая со ступеньки на ступеньку, он спускался медленно, как инвалид. Горло слегка отпустило, но голова еще страшно кружилась и усиливались позывы к тошноте. Боясь, что вырвет прямо на лестнице, он свернул в туалет. И тут же при одном только виде этих загаженных, перепачканных дерьмом унитазов, его буквально вывернуло в один из них. Три приступа рвоты один за другим. До желудочных колик, до желчи... Выпрямившись, он с минуту еще не в силах был двинуться с места — координация нарушена, как у пьяного, все кружилось в голове. Но он не был пьян. По крайней мере, не настолько. Это не опьянение — это другое. Возможно, сотрясение... Этого ему еще не хватало! Но это вполне могло быть...

Он подошел к раковине, вымыл холодной водой руки под краном, мокрым платком осторожно протер кровоточащую ссадину на лбу. Рана небольшая, но место удара располагалось близко к виску. Зеркало над раковиной было вдребезги разбито — лишь несколько узких неровных сегментов на фанерной основе кое-как еще держались в углу. Из этих мутных, едва державшихся в раме осколков какими-то рваными фрагментами выглядывало его страдальчески перекошенное лицо. В глаза своему отражению он старался не смотреть — глаза были с расширенными зрачками и точно безумные. Будто чужой человек был там, в зеркале, по ту сторону; какой-то ненормальный, какой-то больной психопат. «Надо уходить, — сказал он себе. — Все, хватит! Уматывать, пока не поздно».

Медленно, стараясь не делать резких движений, чтобы не усиливать боль в голове, он шаг за шагом опустился вниз. И только добравшись до площадки первого этажа, вспомнил, что на нем нет пальто, что оставил его там, в 306-ой комнате. Еще разговаривая с Гошей за столом, снял пальто и там же на соседней табуретке оставил. Не было сил одолеть эту лестницу еще дважды, но делать нечего, и, выругавшись, он повернул назад.

Войдя в 306-ю, при догорающих оплывших свечах Марину он увидел сразу, с порога. Она полулежала на прежнем месте, на невестинной кровати, а уродец стоял перед ней с каким-то темным пузырьком в руке. Короткое платьице ее задралось, сильно заголив ноги, темные колготки на бедре распустились — просвечивали круглым бледным пятном.

— Ой! — вскрикнула она испуганно. — Это вы, Алексей Петрович. А я думала, это Воля опять!

Уродец, настороженно глядя на Дорохова, спрятал руку с пузырьком в карман.

— Давай, Вовик, — сказала Марина, но тот попятился и, все так же не спуская глаз с Дорохова, спрятался за спинку кровати. Марина потянулась и выхватила у него пузырек. Сыпанула в горсть несколько таблеток, бросила их в рот.

— Ун моменто, — сказала она Дорохову, запивая. — Ун моменто, синьоре!.. «Колесико» не хотите? — протянула ему пузырек.

В бешенстве Дорохов ударил ее по руке — пузырек вылетел и вдребезги вместе со всем содержимым разбился о стенку. Белые таблетки рассыпались по полу, подпрыгивая, как мелкий горох.

— Ой!.. — вскрикнула Марина, отдернув руку. — Ой, больно!.. — заскулила она.

— Вставай! — рявкнул Дорохов. — Одевайся, пошли!..

Боязливо, точно ожидая от него нового удара, она повиновалась и, накинув на плечи дареную шубку, молча вышла за дверь. По коридору шла, слегка покачиваясь на высоких каблуках, точно пьяная. Но вдруг остановилась и, забыв всякую осторожность, забыв свой прежний страх, начала, перескакивая с одного на другое, бессвязно и громко болтать.

— Куда вы меня ведете? — бормотала она. — Бросьте, оставьте меня здесь, вы опоздаете на самолет... Зачем вы со мной возитесь? Думаете, у меня мозги набекрень? Ну и что, сейчас многие так носят — это даже модно... А вы ведь починаете мозги, Алексей Петрович? Ну тогда починайте мои — я охотно сдам их в починку. Куда это мы так спешим? У нас целая ночь впереди. Такая же, как вчера, — скучать мы с вами не будем... Постойте, у вас волосы растрепались. Дайте, я вам поправлю. И не думайте, что я в вас влюбилась. А если влюбилась — ну и что такого? Раз в жизни имею право. «Кто вертит кем, еще вопрос большой...» Я вам письмо написала. Письмо в двенадцати стихах. Или нет, наоборот, двенадцать писем в стихах. Хотите, прочитаю?..

Теперь уже он, Дорохов, боялся натолкнуться на вахтершу. Ни слова не говоря, он увлек Марину дальше на лестницу. В полной тьме там ни

черта не было видно. Приходилось нащупывать ногой каждую ступеньку. На первом же пролете Марина подвернула ногу и сломала каблук.

— Ну вот, — захныкала она. — Туфли любимые, итальянские... Сотню баксов стоили.

— Перестань, я тебе другие куплю, — сказал Дорохов, торопясь выбраться на улицу, пока их тут не засекли. Попадись они в лапы старухи-вахтерши — без скандала им отсюда уже не уйти.

— Вы купите? У вас денег не хватит, — заспорила Марина.

— Ты хочешь сказать, что я бедный?

— *Poverino*¹⁶, — погладив его по щеке, сказала она. — Мне тебя жалко. У тебя такие грустные глаза. Я выйду замуж за тебя и увезу с собой в Америку.

Беспрерывно работая языком, она несла уже просто чушь и почти не держалась на ногах, все время валилась на сторону. В таком состоянии да еще со сломанным каблуком, сама она спускаться по лестнице уже попросту не могла. Отпусти он ее, и сразу загремела бы вниз. Перехватив ее правой за талию, а левой рукой держась за перила, Дорохов почти нес ее на себе.

— *Poverino*, — бормотала она, повиснув на нем. — Куда вы несете меня? Вы что, меня похитили? И что вы будете делать со мной?.. Может, вы удочерите меня? А что, идея! Я всегда хотела такого папочку... Или нет, лучше возьмите меня замуж. Захочу и женю вас на себе. После вчерашнего, как честный человек, Дорохов, вы обязаны на мне жениться... Ништяк получится — вы женитесь на мне, а маман станет вашей тещей...

— Заткнись! — оборвал он ее. — Заткнись, идиотка!

— А что вы мне сделаете, в угол поставите, папочка?.. — Ясно было, что она не в себе, что она уже просто бредит.

— Мне плохо! — по-детски хныкала она. — Зачем ты нас с мамой бросил, папочка?.. Зачем уехал? Разве так делают?.. Видишь, какая я выросла плохая... Дрянь какая, видишь? Назло тебе стала такой.

На площадке между первым и вторым этажом, где просачивался жиденький свет из коридора, он увидел ее лицо. Губы сухие, глаза полузакрыты, на щеках какой-то темный румянец. Черт возьми! Что с ней такое? Что за дряни она наглotalась? А если передозировка, не дай бог?..

— Мне плохо! — прижимая ладони к щекам, простонала она. — О господи, как мне плохо!.. Зачем вы меня вчера вытащили из окна? Все бы кончилось давно. Зачем вы лезете не в свое дело? Все равно ведь кончится этим... Неужели не понимаете? Не ясно вам, да?... А еще такой умный...

— Потерпи, — сказал Дорохов. — Сейчас выйдем на улицу, там свежий воздух — тебе полегчает...

— Нет, нет! Этот воздух убьет меня! — бормотала она. — Мы все отравлены им. Мне нужен другой воздух, как в том поселочке... Ну в

¹⁶ Бедненький (ит.).

этом, Дорохов, вы должны его знать. С таким симпатичным, шершавым названием. Маман знает — она там была... И вы там были с ней, не отпирайтесь... Ой, почему мне так плохо? — опять пожаловалась она. — Вот здесь давит!.. Ужасно давит... Мне нужен доктор. Доктора Дорохова позовите ко мне. Он знает, что делать, он меня вылечит...

Тащить ее через вахту в таком состоянии было немислимо. Тем более что их в общежитии уже ищут. Оставалось выбираться только прежним путем, через окно в туалете — другого выхода просто не было. Прислонив Марину к стенке у входа, Дорохов вошел в туалет. Здесь не было никого, но этот общежитский сортир показался сейчас еще грязнее и гаже. Все стены понизу, весь кафельный пол и все унитазы загажены. Один, расколотенный, в обломках лежит, другой до краев полон бурой зловонной жижей.

Подавив тошноту, Дорохов вернулся за Мариной и быстро, пока не заметили, провел ее в туалет. Она послушно в каком-то беспамятстве, проковыляла за ним. Взгляд застывший, точно в прострации. Нарядное платье вымазано известкой, сломанный каблук нелепо торчал. Новая шубка, державшаяся лишь на одном плече, сорвалась, соскользнула на этот засранный пол. Дорохов нагнулся, поднял, но снова накинуть на плечи ей уже не решился — бросил на подоконник и начал торопливо открывать окно.

Верхний шпингалет открылся легко, но нижний никак не поддавался. Нужно было спешить — с минуту на минуту кто-нибудь войдет, а этот чертов шпингалет застрял, как приваренный. Резко дергая, сотрясая со звоном всю раму, Дорохов безуспешно пытался вырвать его, но тот застрял намертво.

От всего происходящего, от гнусного запаха дерьма, густо стоявшего здесь, его страшно мучило, тошнота подкатывала к горлу. Еще немного и, он чувствовал, больше не выдержит, его просто-напросто вырвет сейчас...

Шпингалет наконец выскочил из гнезда, и ночной холодный воздух, ворвавшийся в распахнутое окно, позволил перевести дух. Теперь вопрос, как выбраться отсюда. До земли далеко — Марине не спуститься самой. Лучше первому вылезти, пожалуй, и снизу подстраховать ее. Он выглянул в окно, высматривая доску, прислоненную снаружи, но тут из коридора донесся быстрый топот множества ног и возбужденный гул голосов.

Несколько человек разом ворвались в туалет и остановились в дверях. Это были здоровенные парни в брезентовых стройотрядовских куртках и почему-то с резиновыми дубинками в руках. Возглавляла их сморщенная седовласая старуха в гимнастерке, перепоясанной армейским ремнем, с допотопным кимовским значком на груди.

— Вот она где! — закричала старуха, тыча в Марину костлявым пальцем. — Вы посмотрите, чем она тут занимается! Мужика привела... Прямо в мужском туалете, шлюха!.. Вы только посмотрите на них!..

Из-за спины ее, из-за спин ворвавшихся с нею парней заглядывали в дверь из коридора еще чьи-то любопытные глаза, высовывались еще

какие-то головы. Кто-то там засмеялся, что-то издевательски засвистел. Марина сжалась и в ужасе закрыла лицо руками.

— Что такое? Что вам надо?... — холодея, сказал Дорохов.

— Что надо! — загремела вахтерша. — Он еще спрашивает, сукин сын! Это тебе чего здесь надо? Ты кто такой? Ты чего здесь делаешь, кобель паршивый?... Ты зачем ее в туалет приволок?..

У Дорохова потемнело в глазах. Он раскрыл рот, но только хватал им воздух и не мог ни звука произнести. Лицо похолодело, стянулось, превращаясь в какую-то тугую маску, и, чувствуя, как сознание покидает его, ощущая закипающую в уголках губ слюну, он вытянул руки вперед и бросился на эту старуху, ловя ее морщинистое горло растопыренными пальцами, точно желая тут же на месте ее задушить.

Двое здоровенных парней перехватили его, еще один подлетел спеша, а он рвался хрипел, тянулся руками к старухе, изо всех сил стараясь ее достать.

— Вон отсюда, старая карга! Вон отсюда! — в безумном трансе бормотал он. — Иди!.. Иди в могилу!.. Иди! Уходи!..

Его ударили чем-то тупым в живот, он точно переломился и, медленно оседая, с искаженным от боли лицом, упал на грязный кафельный пол. Он дергался, пытался сбросить наевших на него парней, но ему до христа вывернули руки и лишь сильнее вжимали лицом в этот загаженный, пахнувший дерьмом пол.

— А-а!.. — закричала Марина.

Снизу он видел, как она вскочила на подоконник, покачнувшись на подломившемся каблуке и головой вперед выбросилась во тьму. Двое парней в стройотрядовских куртках вымахнули в окно вслед за нею.

Дорохова подняли и, не давая ему толком встать на ноги, внаклон, как пьяного, поволокли по коридору. «Да отпустите же, сволочи! Я сам!..» — мычал он, но его не слушали и все так же внаклон, с заломленными руками, быстро, как куль, волокли к вахте. В своем белом халате возник откуда-то сбоку Гоша.

— Вы только не скандальте, а то дело пришьют, — наклонясь, торопливо шептал он. — Там милиция приехала, машина под окном. В отделении разберутся, отпустят. Только не скандальте, а то заметут...

— Марине помощи, — морщась от боли в ключицах, сказал ему Дорохов. — Она там, на улице, выпрыгнула в окно. У нее «передоз», депрессия, возможен суицид... Сделай укол. Кодеин, адреналин, что есть под рукой... Помогите...

— Понял, понял, — согласно кивал тот. — Все сделаю. Не беспокойтесь!..

А в коридоре, заслышав шум, собралось уже много народу. Одни выглядывали из дверей, другие толпились вдоль стен. Так Дорохова и волокли, точно сквозь строй, через весь коридор к вахте, где, в начищенных до блеска сапогах, поигрывая черными дубинками, стояли уже два милиционера из прибывшей к месту происшествия ПМГ. Машина ждала их у подъезда.

В отделении Дорохова подвергли обыску и унижительному допросу. «Фамилия, имя, отчество?.. Постоянное место жительства?.. Цель приезда?.. С какой целью проникли в общежитие?.. Имелось ли с собой спиртное, наркотики?..»

Он думал, с ним просто побеседуют, как с интеллигентным человеком, снимут показания и отпустят, что недоразумение это быстро рассеется. Но безликий, похожий на партработника следователь в темном костюме вел допрос жестко, напористо — а лампу поставил так, чтобы свет бил прямо в лицо.

От яркого света болели глаза, ломило в висках, было трудно сосредоточиться. Временами Дорохов почти отключался, отвечая на задаваемые вопросы невпопад — на вопрос, сколько ему лет, почему-то ответил: «Двадцать один». И тут же, спохватившись, добавил: «Было — 22 года назад».

Загоняемый прямыми жесткими вопросами в тупик, он путался, запинался, уже и сам начиная понимать, что не так невинно все это выглядит со стороны, что он, кажется, влип в историю. И в самом деле, документов при нем нет, изо рта пахнет спиртным, а на лбу после драки кровотокающая ссадина. Так что для них здесь сейчас в отделении он не столичный медик, кандидат наук, а какой-то сомнительный тип, неизвестно с какой целью проникший в студенческую общагу, учинивший в ней драку и скандал, якшавшийся там с наркоманами. Глупость, нелепость, но как доказать?..

— Понимаете, — пытался он объяснить, — тут просто какое-то недоразумение. Я никого в общежитии не знаю. Случайно оказался на этой свадьбе. А за дверь я заплачу...

— Так вы утверждаете, что в комнате 306 происходила свадьба?

— Ну да, конечно.

— Ни о какой свадьбе в этой комнате не было оповещено. Не поставили в известность коменданта общежития, не получено разрешения администрации. Да и регистрации брака, по нашим сведениям, не было. Была обыкновенная пьянка с наркотиками и разврат.

— Да мне и самому показалось, — торопился подтвердить он. — Но мало ли что. Я ведь случайно в эту компанию попал...

— Вы что, без приглашения явились туда?

— Нет, почему же, меня пригласили.

— Кто пригласил? Кто провел в общежитие?..

Он замаялся, не хотел называть Марину, но запираться было бессмысленно, и он сказал. Тогда вопросы пошли о ней: «Откуда знакомы с гражданкой Сушеной?.. Употребляли ли вместе наркотики?.. Почему не через вахту прошли, как положено, а влезли через окно в туалете? Кстати, за разбитый унитаз тоже придется заплатить».

— Унитаз? — не понял Дорохов. — Какой унитаз?..

— В туалете на первом этаже. В туалете, через который вы проникли.

— Ах, этот! — вспомнив обломки на кафельном полу, — так он же был разбитый. Там еще бутылка валялась, из-под шампанского. Этой бутылкой его и кокнули.

— Есть свидетели, которые утверждают, что «кокнули» именно вы.

Только сейчас Дорохов заметил, что ошибся: следователь был не в костюме, а в темном свитере, поверх которого был наброшен белый медицинский халат.

— Да что вы, коллега! — поразился он. — Да как вы могли подумать! Это уже просто бред какой-то! Еще и унитаз!.. — Ему было совсем не до смеха, но, не в силах переварить еще и эту нелепость, он невольно захохотал: — «Как у нас, как у нас поломался унитаз! Все соседи в страшном горе собрались в коридоре». Песенка такая была в наше время, — пояснил он следователю. — Тогда много было таких дурацких песенок. Про черного кота, например. Помните?.. «Только черному коту и не везет».

Следователь уставился на него, подняв брови, и не спрашивал уже ни о чем, только смотрел как-то очень внимательно, как смотрит врач на больного.

«Что это со мной? — вдруг спохватился Дорохов. — Что за бред я несу? Уж не за психа ли он меня принимает?.. Но ведь я и в самом деле веду себя, как псих. Черт, надо взять себя в руки!» И твердо, стараясь говорить сухим, официальным тоном, заявил:

— Давайте я подпишу протокол и пойду к себе в гостиницу. Я очень устал, а завтра с утра на самолет. Завтра я должен быть в Москве. У меня в клинике важный консилиум, коллега.

— Какой я вам коллега? — удивленно поднял брови тот. — Вы что, в правоохранительных органах служили?

— Я?.. Нет, но ведь вы же врач. Я вижу белый халат, вот и... — В следующий момент он уже понял, что опять несет околесицу, что перед ним не врач в белом халате, как на мгновение померещилось, а следователь в костюме, и что беседуют они не в клинике, а в отделении милиции. Наверное, этот яркий свет в глаза так подействовал. — Извините, — сказал он. — Я плохо себя чувствую, мне немного не по себе.

Что-то изменилось в отношении к нему следователя. Тот уже не задавал каверзных вопросов, немного смягчил свой сверлящий взгляд и не то чтобы вежливым сделался, а словно бы потерял к нему интерес.

— Боюсь, что консилиум состоится без вас, — сказал он, кончив писать. — А вам придется задержаться у нас. До утра мы вам предоставим ночлег, а завтра будет виднее.

— «Задержите? — не поверил Дорохов.

— Приютим, — усмехнулся тот.

Ему велели снять галстук, ремень, шнурки, отобрали часы, бумажник и заперли в холодной, с узкими скамеечками вдоль стен и маленьким зарешеченным окном пустой комнате.

Впервые в жизни он оказался под арестом. Привод, задержание, не хватало только суда. «А это не исключено, гражданин Дорохов, — ска-

зал он себе. — Дело сшить найдется из чего». По-настоящему он не думал так, но эта мрачная холодная камера, с цементным заплыванным полом и тусклым блеском изморози в углу, была тем не менее реально-стью, и неизвестно, что впереди его ждет. Это мерзкое ощущение арестанта, паническое чувство бессилия, обреченности нарастало и, как ни крепился он, как ни старался взять себя в руки, затопляло душу тошнотворной тоской.

Он устал, все тело ныло, ноги плохо держали его. Но и лежать на узкой лавке можно было лишь на боку, неудобно скрюченным, прижавшись спиной к холодной стене. Мороз к ночи, видно, усилился, в камере тоже похолодало. Изморозь в углу от его дыхания заметно увеличилась, ее мертвенно-белый налет еще больше расплзся под потолком. Дорохов вставал, ходил от стены к стене, размахивал руками, чтобы согреться, но это совсем не помогало — озноб пробирал до костей. Единственная батарея, подвешенная высоко над полом, была маловата и едва теплилась, но своими чугунными ребрами все же согревала немного руки и грудь. «Я спокоен... спокоен... спокоен... — монотонно шептал он, обняв ее твердые чугунные ребра и легонько постукивая об них головой. — Я в порядке... Все образуется... Я спокоен... спокоен...»

Не спавший толком вторые сутки, он очень устал и хотел бы заснуть, но расхोдевшиеся нервы уснуть не давали. Он слишком мало здесь заботился о них, и это не прошло ему даром. Его психика вышла из-под контроля, и с этим он ничего уже поделать не мог. Слава богу, что хотя бы сознавал все это — значит, все могло еще обойтись. Но по возвращении в Москву его ждут не лучшие дни — ему еще аукнется все, что с ним здесь случилось. Это состояние разбитости, сердцебиение, тошнота, неприятные сами по себе, были только предвестниками другого, куда более скверного состояния, которое вскоре могло наступить. И беда, если не дома, а в пути, в самолете... Сознание, точно ласточка над водой, крылом на мгновение касалось бреда, и тут же снова взмывало ввысь. «...Я спокоен, спокоен, — твердил он себе. — Ничего не случится, сейчас все пройдет. Просто болит голова... Всего лишь голова болит... Сейчас пройдет... Я спокоен, спокоен...»

Батарея остывала, ее твердые ребра едва теплились, и, чтобы согреться хоть немного, он прятал в них руки, вжимался в пахнувшее пылью и ржавчиной железо лицом.

...Усть-Алыш... Теплый летний день, запах сосен, солнечное тепло на лице. Как хорошо! Как легко и приятно дышится! Как искрится вода на солнце, как густо растет у берега камыш... Яркие бабочки, стрекозы... Вот только ноги с ночи заledenели и никак не могут согреться, хотя давно уже день... Он глянул вниз — ботинки подошвами вмерзли в лед. Откуда лед, этот покрытый белой изморозью лед? Почему он с зимы не растаял?.. Ведь вот же летний берег в трех шагах. Там теплый ветерок ветки качает, цветы среди зеленой травы цветут... А здесь лед. Что за нелепость — лед?.. Пытаясь вырваться из этого льда, он кинулся в сторону, к берегу, и тут же проснулся, больно ударившись о батарею лбом.

Так, то впадая в короткое бредовое забытие, то вновь просыпаясь от холода, он провел в этой камере ночь.

9

Под утро Дорохова выпустили из камеры. Серый от недосыпа дежурный в расстегнутом кителе, устало позевывая, вернул ему ремень, бумажник, часы; заставил расписаться в получении.

После ночи, проведенной в холодной камере то стоя, то на узкой жесткой скамье, все мышцы у Дорохова одеревенели; нагнулся зашнуровать ботинки — заболела затекшая спина. На левом шнурке слетел наконечник, размахившийся кончик никак не хотел влезать в ботиночную дырку. Пришлось поспониявать пальцами, и кое-как, с грехом пополам вдел.

Сознание к утру прояснилось, но не прошла головная боль. Ее волнообразные приступы имели тенденцию к нарастанию, и это был очень скверный знак. В запасе у него оставалось немного времени, а надо еще достать билет и сесть в самолет.

На часах в отделении было четверть девятого, но за окном еще сизая декабрьская тьма. С гулом шли мимо утренние троллейбусы, где-то подальше вызванивал трамвай. «Как мне добраться до гостиницы? На каком номере?» — спросил он у дежурного. — «Вас отвезут», — буркнул тот. Очень любезно с их стороны и очень кстати в его положении. Что это, компенсация за моральный урон, за ночь, проведенную в камере?

Он думал, что отвезут в милицейской машине, но у крыльца вплотную к ступенькам стояла черная «Волга» с мигалкой и броским запоминающимся номером: 01-01. Мотор работал на холостых оборотах, горели в сизом полумраке ее рубиновые огни.

— Садись, Дорохов, — сказала ему женщина за рулем. И не удивляясь, точно ждал этого, словно так и должно было быть, он открыл дверцу с другой стороны и сел рядом с ней в душноватом, пахнущем духами и бензином салоне.

— Здравствуй, — сказал он просто, словно не виделась не двадцать два года, а каких-нибудь пару месяцев всего.

— Здравствуй, Дорохов, — сказала Аня.

Взглянула не прямо, а искоса в темное зеркальце над лобовым стеклом и сразу тронула; так круто вывернула с милицейского двора, что кативший мимо троллейбус был вынужден резко затормозить.

До гостиницы и потом, пока не выехали за черту города, не было сказано и двух слов: Аня не спрашивала ни о чем, и Дорохов молчал. Ровная, как стрела, без подъемов и спусков, без единого поворота, шла дорога в аэропорт. Ни кустика, ни деревца кругом, лишь пустые колхозные поля с низкими скирдами побуревшей соломы да взъерошенные вороны, косо взлетающие с них... Почерневшие телеграфные столбы вдоль дороги торчали прямо из пашни — столбы без проводов. Заиндевелые обрывки провода спиралью свисали с изоляторов, чуть покачиваясь на

холодном ветру... И ничего больше под низким облачным зимним небом, недвижимым, плоским, без признаков синевы...

Машина, управляемая Аней, мчалась легко, стремительно, лишь приплясывая на выбоинах и сильно забирая влево, почти касаясь колесами полустершейся разделительной полосы. Редкие встречные машины отшатывались к обочине, точно завидя начальственный лимузин.. После двух бессонных ночей, после всех этих вчерашних событий его чувства словно бы притупились — остро реагировать он ни на что уже просто не мог. Минутами все это воспринималось как продолжение ночного бредового сна: и эти столбы, как черные кресты, мелькающие за окном, и внезапный переход из холодной пустой камеры в салон черной «Волги», и Аня, сидящая за рулем.

В машине он почувствовал себя хуже, но усилием воли старался прогнать дурноту. Болела голова, какая-то обморочная тошнота подступала к горлу, а запах бензина и качка от быстрой езды только усиливали ее. Морщась, он расстегнул пальто, оттянул душивший его узел галстука, но тошнота не проходила. И только приспустив со своей стороны боковое стекло, глотнув немного свежего воздуха, он почувствовал себя лучше.

...Что-то необычное привлекло его внимание с правой стороны, и, повернув туда голову, метрах в пятидесяти от дороги он увидел вдруг на фоне промерзлой непаханой земли и тускло-пасмурного зимнего неба залитый солнцем сосновый лес... Как через прорезь в огромном блекло-сером холсте он видел искрящееся под яркими солнечными лучами озеро, и сосны, и блеск воды между ними, а над вершинами их удивительной голубизны кусок другого, летнего высокого неба... Лес был ровный, густой, настоящий сосновый бор, и солнце красиво золотило стволы, но они немного не доставали до земли — точно отпиленные, зависли в воздухе.

«Галлюциноз», — сумел осознать он, и в тот же миг ни леса, ни озера с блистающей водой, ни голубого неба не стало. Да и не было, значит, вообще.

Это был нехороший знак. Он чувствовал, что болезнь вступает в свои права, что она уже стягивает его в ту ложную логику вещей, которая свойственна ей, которой трудно сопротивляться. Он вполне это понимал, и старался не смотреть в правую сторону, но взгляд, помимо его воли, все время устремлялся туда, чтобы увидеть то, чего на самом деле не было и быть не могло; и голубое небо, и залитые ярким солнечным светом золотисто-коричневые стволы, и проблескивающую между ними озерную воду... Жаль, что всего этого нет; лишь редкие скирды соломы среди оставленных плугом борозд да мертвые стебли незапаханного бурьяна.

Его вдруг начало сильно знобить, хотя в салоне было тепло, даже душно, и он с сожалением закрыл окно. Он чувствовал, что маляриный этот озноб связан с теми, промелькнувшими справа виденьями, что у него жар и температура растет — ему знакомы были эти симптомы, но он надеялся, что время в запасе у него еще есть и сесть на самолет он успеет.

— Пристегнись на всякий случай ремнем, — бросила Аня.

— Мчимся так, будто уходим от погони, — сказал он, послушно пристегиваясь.

— Надо, — усмехнулась она. — Пока дело не завели.

— Ты это серьезно? В чем меня могут обвинить?

— В хулиганстве, порче государственного имущества, нанесении телесных повреждений и сбыте наркотиков.

— Чушь какая-то! — поморщился он. — И ты веришь в эту чепуху?

— Суд в нее может поверить, Дорохов.

— Меня что, до суда освободили?

— Тебя полностью освободили, Дорохов. Иначе ты бы ехал сейчас в другой машине и с наручниками.

— Своим спасением я обязан тебе?..

— Больше тебя спасти было некому.

Она говорила, не поворачивая к нему лица, глядя прямо вперед на дорогу — руль держит крепко, уверенно, резкими, почти мужскими движениями орудует рукояткой скоростей. Не так уж сильно изменилась она, и холеное лицо ее не подурнело, но жестким каким-то стало оно, и это не очень-то шло к ней. Новые черты наслоились на прежние, не сгладив давнюю прелесть, но словно бы притушив ее. Пронзительно синий взгляд сквозь жесткий прищур набрякших век, припудренные, но все же заметные круги под глазами. Точно замурована в ней прежняя Аня, и все-таки это была она.

— Что с Мариной? — спросил он. — Как она себя чувствует?

— Ничего, все в порядке, — сказала Аня, не отрывая глаз от дороги. — Откуда она знает о тебе?

— Из писем.

— Из каких писем?

— Из тех, что я писал тебе когда-то.

— Вот как, — сказала она. — Это в ее духе... Ну и как тебе моя сумасшедшая дочь?

— Она не показалась мне сумасшедшей. У нее просто депрессия, ей надо помочь.

— У нее всю жизнь депрессия. Она достала нас этой депрессией. Симулянтка, ты ее больше слушай.

— Позапрошлой ночью, — сказал он, — я вытащил ее из окна моего номера на девятом этаже. Еще минута, и мы бы встретились на похоронах. А впрочем, нет, я находился бы сейчас под следствием по обвинению в убийстве.

Машина резко сбавила ход и затормозила. По инерции он подался вперед, едва не задев головой лобовое стекло.

— Это правда?

— Да, — сказал он. — Ее нельзя оставлять одну. Попытки к суициду часто повторяются. Нельзя ей в таком состоянии ехать в Америку.

— Ты и про Америку знаешь?

— Да, — кивнув болезненно тяжелой головой, сказал он. — Марина мне говорила.

— Ну а что ее здесь, у нас, ждет? Разве в нашем бардаке можно жить? Ты посмотри, что вокруг-то делается! Все сгубили, все испохабили, сволочи! — пристукнула она по баранке кулаком. — Такую державу развалили, скоты!.. Ну скажи, почему у нас одни ублюдки повсюду, куда подевались нормальные мужики?

— Ты у меня спрашиваешь?

— Да, — махнула рукой она. — Вопрос не по адресу.

Ненадолго отступившая боль сдавила вдруг виски с новой силой. Дорохов закрыл глаза, прижал ладони ко лбу, готовясь переждать, перетерпеть, но бешеный озверелый напор ее был так силен, что сознание поддалось, замутилось — и сделать с этим он уже ничего не мог.

...Блестящий, точно облитый маслом, ярко-красный поплавок в камышах. Колеблется, слегка подныривая в прозрачную зыбь, пуская легкие круги по воде... Жаркий полдень, синее небо, а сквозь прямые тонкие стебли камыша блестит, переливаясь, вода в озере... Сосны. Под ними усыпанный хвоей желтый песок... Зыбкий настил, погружающийся в теплую прозрачно-золотистую воду... И стрекозы. Золотисто-зеленые, крупные, что садятся на головки камыша, а поближе, легкими стайками скользящие вдоль берега над водой, почти прозрачные голубые... Чьи-то нежные прохладные ладони прикрывают ему глаза. Он знает чьи, он слышит ее легкое дыхание, и волна счастья наполняет грудь.

— Что с тобой, Дорохов!.. Послушай, что с тобой? На тебе же лица нет.

Медленно, словно пробуждаясь от какого-то крепкого сна, он открыл глаза. Машина стояла на дороге, среди голой равнины, а вокруг пустые вспаханные поля. Одинокие скирды соломы, покосившиеся столбы вдоль дороги, столбы без проводов. По мерзлым бороздам от столба к столбу катились, подпрыгивая, сухие серые шары перекати-поля. Ворона потерянно каркали, летая низко над промерзшей землей.

— Что с тобой? — круто повернувшись к нему, спрашивала Аня с тревогой. — Что случилось? Ты так побледнел.

— Куда мы едем?..

— В аэропорт, — сказала она. — Что случилось?

— Да нет, ничего, — сказал он, прямее садясь на сиденье. — Не обращай внимания. Пустяки... Голова болит, укачало. В камере с неприкрытыми не выспался, но ничего, в самолете досплю.

Он с силой провел по лицу ладонями и, медленно набирая в грудь воздух, глубоко вздохнул. Сознание прояснилось; эту серую завесу беспмятства удалось отодвинуть, отогнать, но тут же вернулась мучительная головная боль. И болезненная слабость, сердцебиение. Он чувствовал себя выжатым, совершенно разбитым: побыстрее бы сесть в самолет!

Машина стояла, мотор рокотал незаглушенный; тихо посвистывал ветер в какой-то щели. Автобусы, легковые машины, грузовики время от времени с шумом проносились мимо. С тяжким гулом снижался в сторону аэропорта рейсовый самолет.

— Ты болен, Дорохов, — внимательно вглядываясь в него, сказала Аня. — Похоже, ты серьезно болен.

— Возможно, — согласился он. — У тебя нет чего-нибудь обезболивающего?

— Сапожник без сапог, — пошарив в аптечке, вздохнула она. — Нет ничего, даже анальгина. На вот, глотни! — достала стеклянную фляжку коньяку. — В народе говорят, расширяет сосуды.

Поставила на панель два пластмассовых тонких стаканчика, уверенным точным движением разлила. Коньяк был молдавский, с белым аистом, тот самый, что позавчерашней ночью с Мариной пил.

— Ты за рулем, — напомнил он.

— А-а, думаешь, найдется инспектор, который меня остановит?.. Ну, за встречу, давай!..

Он тоже выпил, надеясь, что станет легче, но вкуса коньяка, его терпкой спиртовой жгучести совершенно не ощутил. Даже влаги во рту не почувствовал — точно пустой был стакан. «Значит, все-таки сплю, — решил он. — Или нет?.. Но тогда дело плохо». Мельком он увидел в зеркальце над лобовым стеклом свое бледное, все еще с гримасой боли лицо, и это тоже ему не понравилось. Ничто из случившегося здесь не пройдет безнаказанно, как ничто никогда безнаказанно не проходило для него.

— Кури, — протянула Аня ему сигареты.

— Спасибо, я бросил.

— А я, как видишь, погрязла в пороках, — закуривая, сказала она. Сидела и молча курила, быстро и нервно затягиваясь, выпуская дым в приоткрытое окно. В затяжке она сжимала губами сигарету, отчего морщинки в уголках рта явственней стали видны.

— Встретились все-таки... — с непонятным выражением проговорила она. — Я знала, что ты приехал на симпозиум. Была даже мысль позвонить. Но подумала: зачем?.. Двадцать два года прошло. Двадцать два с половиной. А вместе не были и двух месяцев. Два месяца — и целая жизнь. Но иногда кажется, что они больше, чем вся остальная жизнь. Такое чувство, что все было только вчера. У тебя нет этого чувства?

— Есть, — сказал он, болезненно морщась. Боль усиливалась, когда он говорил.

— А помнишь Усть-Алыш? Нашу больничку, этих старушек, мансарду твою?.. Я помню, хотя старалась забыть. Но помню все, даже росу по утрам. Выйдешь во двор, солнце только встает из-за леса, а роса так сверкает на траве и цветах! В каждом цветке капля росы, как слеза. Но слеза счастливая. Как-то утром об этом подумала, а запомнилось на всю жизнь. Ничего так ясно не помню... Только быстро все прошло в этой жизни, — кусая сухие губы, проговорила она. — Как та роса...

Дорохов молчал. Он тоже помнил эти цветы в росе и тотчас же со стереоскопической ясностью увидел их перед собой. Но говорить ему было трудно. Да и о чем тут говорить!

— А ведь неплохо все у нас начиналось, Дорохов. Помнишь, космос, Гагарин, спутники, лунники, барды с гитарами, кинофестивали. Все страш-

ное: голод, война, разруха — было уже позади. Нас чаша сия миновала. Казалось, нам крупно повезло, жизнь наконец-то пошла хорошая, а впереди еще столько всего!.. Помнишь ту старушку у тети Поли, что умирала, какая мы хорошая пара, за столом на Троицу? Какие мы юные да красивые. Счастья желала. Еще заплакала тогда: «Лишь бы не было войны».

Он молча кивнул. Он помнил.

— Войны не было, а где наше счастье, Дорохов?..

Справа налево летали понизу вокруг машины две стаи ворон. Их почему-то много здесь собралось. Они то взлетали, поднимались высоко, облетали машину сзади и спереди, показывая сероватый испод своих черных крыл, то садились на промерзлые борозды пашни, то снова, растопыря зубчатые крылья свои, скользили над полем кругами. Пролетают близко, вертя черными головами, на которых почти не видны их такие же черные глаза, отчего птицы кажутся слепыми. Кричат отрывисто, однообразно, и это сухое резкое «карр!..» вплетается в шум пронесшихся мимо машин да посвист холодного ветра в поле.

— А знаешь, Дорохов, — сказала она. — Если бы тогда, после Усть-Альша, ты не уехал, будто испарившись, ни слова никому не сказав, я бы, наверное, не вышла за Сущеню. Сначала я возненавидела тебя за ту пощечину, что ты мне врезал, но потом... Если бы ты не уехал, Дорохов!.. Но ты ведь исчез тогда, исчез бесследно, пропал навсегда. И в этом, — ее голос зазвонел от слез, — ты был неправ, Дорохов.

— Да, — сказал он. — Наверное.

...Эта женщина должна была принадлежать ему. Они вдвоем должны были прожить эту жизнь, пройти ее вместе, не расставаясь. У них были бы дети. Сын и дочь. Дочь, похожая на Марину... И этой другой, несостоявшейся, жизни ему было страшно жаль. Наверно, он делал бы в ней то же самое: лечил больных, писал статьи, защитил диссертацию, но это была бы другая жизнь, и все в ней было бы по-иному. Он видел ее сейчас, эту жизнь, очень ясно, точно заглянул в какую-то приоткрытую ему на считанные мгновения даль, видел то, что видеть немислимо, но ему сейчас было дано. «Кто вертит кем, еще вопрос большой: судьба любовью иль любовь судьбой».

Новый приступ головной боли заставил его сжать зубы и прикрыть глаза. Слава богу, он был коротким и тут же начал ослабевать. Но некоторое время он держал глаза закрытыми, опасаясь, что боль вернется. Она вернется, конечно, и очень скоро, но самое скверное, что он уже не успеет сесть в самолет.

— На утренний рейс я уже опоздал, — сказал он, взглянув на часы. — Регистрация заканчивается, а у меня даже еще нет билета.

— Пусть тебя это не волнует, Дорохов, — ответила Аня, трогая с места и набирая скорость на пустынном шоссе. — Улетишь этим рейсом.

До аэропорта оставалось совсем немного. Уже показались на огромной плоской равнине, окаймленной слева низким леском, его вытянутые корпуса и квадратная стеклянная башня. С далеким гулом входил в

облака, набирая высоту, самолет. Точно призрак, он сквозил еще сквозь их сероватую пелену стрекозиным своим силуэтом, и тут же сгинул, пропал, не оставив следа.

Даже не притормозив у главного входа, Аня не остановилась и на стоянке машин у служебного, а подъехала прямо под козырек. Какой-то подтянутый молодой человек, поджидавший их в накинутах на плечи пальто, подскочил и вложил в ее властно протянутую руку билет. «Возьми», — передала она билет Дорохову. Он полез было за бумажником, но Аня решительно остановила: «Не надо. Служебный».

Тихим ходом они проехали вдоль ограды, за которой простиралось летное поле, и остановились перед какими-то малозаметными воротцами с будочкой. Вышедшему из будки охраннику в армейском полушубке с карабином через плечо Аня показала пропуск, и тот, кивнув, пошел открывать. Выехали прямо на бетонное поле аэродрома и покатали к стоящему возле стеклянного здания аэровокзала громадному серебристому «Ту». Метрах в сорока от трапа Аня остановила машину. Вышли одновременно по разные стороны ее. Пронизывающий ледяной ветер рванул полы пальто, обжег Дорохову лицо. Серая поземка из пыли пополам со снежной крупой, хищно змеясь, ползла по бетонным плитам. И туда же, в сторону взлетной полосы катились, точно примчавшиеся вдогонку за ними, сухие серые шары перекаати-поля. С утробным гулом, медленно поворачивая свое огромное дюралевое тулово, выруливал на взлетную полосу очередной самолет. Тугой мощный рев турбин его бил в уши, сверлящей болью отдавался в голове.

Посадка на московский рейс уже заканчивалась. Последние пассажиры продвигались к трапу и редкой цепочкой по черным рифленным ступеням его поднимались вверх. Бортпроводница в коротком синем пальто и форменной пилотке, поеживаясь на ветру, проверяла билеты. Стоявшие в конце очереди с любопытством оглядывались на черную «Волгу», подкатившую прямо к трапу, на Дорохова и Аню, вышедших из нее.

— Ну вот все. Пора на посадку, — сказала Аня, взглянув на него.

— Пора, — сказал он, чувствуя приближение нового приступа боли, но уже понимая, почти с облегчением, что оставшихся до посадки минут ему хватит наверняка. Невольно он оглянулся в сторону трапа: бортпроводница в пилотке и коротеньком своем пальтеце, зябко поеживаясь, поджидала его одного.

Стоя близко к нему и подняв лицо, Аня что-то говорила ему, но резкий вибрирующий звук турбин отлетающего в эти минуты самолета, уже вставшего на взлетную полосу, заглушал ее слова. Гул то усиливался, то слабел на мгновенье...

— ...на тебе лица нет. Тебе нельзя лететь, Дорохов, — расслышал он последние слова.

— Ничего, все в порядке, — едва шевеля губами, проговорил он. — Теперь уже я долечу. Прощай!..

Она обняла его и, как делала когда-то, слегка притянув к себе, приподнявшись на цыпочки, поцеловала в губы. Он видел, как она его целует, но не ощутил губами ее целующие губы, как не почувствовал до этого ни запаха сигареты, ни вкуса выпитого коньяка.

— Прощай!..

— Прощай! — сказал он.

Повернулся и как-то вслепую, почти что с закрытыми глазами стал медленно подниматься по трапу, ступенька за ступенькой одолевая его. Он долго шел по этим черным рифленым ступенькам, а подъем все не кончался, как будто во сне. Правой рукой он держался за поручень, сколько ладонью в перчатке по гладкой поверхности его.

На самом верху, на заиндевелом поручне этом, сидела, ломко треща гнушимися от ветра слюдянисто-прозрачными крылышками, крупная золотисто-зеленая стрекоза. Ее длинное членистое тело напряженно изгибалось, стремясь удержаться на поверхности, а неподвижно-выпуклые глаза точно всматривались с удивлением в этот непостижимый для нее зимний пейзаж. «Странно, как все сместилось в природе, — убирая руку, чтобы не задеть стрекозу, подумал он. — Уже и стрекозы летают зимой...»

И вдруг с невероятным облегчением понял: «О Господи, да это же сон!..» Все, что он видит сейчас, это просто предутренний сон. И зима, и пустой мрачный город, и поля, и дорога, и сухие шары перекати-поля, и прощание в аэропорту... Но сон закончился — надо проснуться! Да он уже и проснулся: вот теплый ветер, вот запах хвои, вот летнее солнце светит прямо в лицо... Он потянулся, чувствуя, как жаркое, уже подходящее к полудню солнце припекает сомкнутые веки и лоб — и заранее шурясь, открыл глаза.

Усть-Альш... Сосновый бор... Солнце. Яркое, ослепительное, оно щедро изливало свой свет, и блестящая от полуденного зноя гладь озера искрилась и сверкала мириадами бликов внизу... Сквозь какое-то зыбкое марево перед глазами, еще не привыкшими к яркому свету, он увидел лодку у берега и Аню, стоящую в ней. В своем облегающем синем спортивном костюме, в белом платочке, по-деревенски низко повязанном на лбу, она звала его к себе, махая рукой...

«Ну вот, — до конца еще не веря, но уже радуясь тому облегчению, которое вдруг наступило, вздохнул он. — Ведь это же и вправду был только СОН!..» А эти двадцать два года, словно прожитые наперед — тоже всего лишь сон. Как же нелепо он прожил их — ужасная приснилась ему жизнь!.. Какое счастье, что он еще так молод, что ему только двадцать один! Вся жизнь впереди!.. Вон Аня улыбается и машет внизу из лодки — ждалась его там.

Он ответно помахал ей рукой и с откоса легко побежал к воде. Но нога не нашла вдруг опоры и, сорвавшись с отвесной кручи... по каким-то рифленным черным ступенькам внутри наклонного металлического желоба, головой вперед на забеленные снежной крупой бетонные плиты, он стремительно полетел вниз...

Эта клиника, расположенная в подмосковном сосновом бору, мало кому известна. В ней лечатся в основном медики, вернее, те, кто врачами был. Дорохов здесь второй год. Поступил он с диагнозом: коммоция головного мозга, острая психогения, галлюциноз по типу Шарля Боне. После двухмесячного курса лечения наступила относительная ремиссия, но перед самой выпиской состояние его резко ухудшилось, участился бред, появились галлюцинации, и в конце концов ему диагностировали шизофрению; галлюцинаторно-параноидальную форму ее.

Надежды на улучшение уже нет. Отмечается расстройство мышления, изменение личности, практически полная амнезия: больной не помнит из своего прошлого ничего. Восприятие окружающего у него нарушено, настроение по большей части подавленное; крайняя истощаемость, непереносимость громких звуков, яркого света, резких запахов — болезненная гиперестезия. В клинике он замкнут, с больными и врачами необщителен, но старается никого не обидеть, грубостью не задеть. Речь его изобилует словами извинения и благодарности: «спасибо», «простите», «извините за беспокойство», но говорит вообще мало и первым в беседу не вступает никогда.

Лишь изредка вдруг начинает разговор, но с кем-то невидимым, воображаемым и только на итальянском языке. Обычно задумчивое, даже угрюмое, лицо его в такие минуты светлеет, глаза проявляются, взгляд становится мягким и нежным. Он улыбается, даже вроде бы шутит и может показаться в такие минуты вполне здоровым, если бы не то, что разговаривает он... с пустотой. Говорит негромко, почти шепотом, но слова произносит ясно, отчетливо; звуки его итальянской речи своей музыкальностью нравятся всем. Однако в клинике никто не владеет этим языком, собеседника своего он по имени не называет, и непонятно, с кем это он так часто беседует и о чем. Добиться же ответа от него невозможно: сразу замыкается, каменеет и, отведя глаза в сторону, отчужденно молчит.

Пациент он спокойный, дисциплинированный — все назначения и предписания выполняет неукоснительно, к агрессивным поступкам не склонен, аффективных реакций за ним не наблюдается никаких. Одержим чистотой, аккуратен до педантизма. Не садится за стол без бумажной салфетки, не терпит ни пятнышка на одежде, каждый день стирает свои платки и носки. На первый взгляд он вообще не выглядит больным, и если бы не бо́льничная пижама да серая фланелевая шапочка на голове, никто бы и не принял его за пациента, а скорее за доктора, весьма интеллигентного на вид.

Когда заведующий отделением делает обход, Дорохов незаметно присоединяется к свите врачей, молча следует за ними из палаты в палату, стоит чуть поодаль и внимательно слушает, о чем идет речь. Обдумывая что-то про себя, он то согласно кивает, то с сомнением покачивает головой. Иногда шутки ради его спросят, что думает коллега по поводу обсуждаемого диагноза, каково его просвещенное мнение. Но

он только вздрагивает, словно застигнутый врасплох, и тут же поворачивается, быстро отходит, заложив руки за спину, с отрешенным видом глядя в потолок.

Персонал клиники относится к нему хорошо, нянечки стараются дать ему кусок получше, постельное белье почище, а заведованием как-то сказал, что, если бы все психи были такие, как Дорохов, он мог бы открыть у себя школу хороших манер.

Среди санитаров у него прозвище Гроссмейстер, и от нечего делать они играют с ним в шахматы по вечерам. Здесь его умственные способности ничуть не пострадали — выиграть у него партию по правилам или хотя бы свести ее вничью не удавалось еще никому. Но если противник начинает плутовать, нарушать правила, Дорохов не возражает, не спорит — он просто не замечает этого, а, погруженный в раздумье, сосредоточенно продолжает игру. Сам он играет только по правилам, но противник, сражаясь с ним, может позволить себе все: менять местами фигуры на доске, ходить своей фигурой как угодно и сколько угодно раз, двигать слона по прямой, а ладью по диагонали — и не было еще случая, чтобы Дорохов заметил это, чтобы он бросил игру или как-то возражал. Он просто принимает это как собственный промах, а новую ситуацию на доске как реальную и, стараясь выправить положение, с еще большим вниманием продолжает игру. Долго думает, мучительно напрягается, отыскивая из безнадёжной ситуации хоть какой-нибудь выход, и бывает, что находит неожиданный, прямо-таки блестящий, исключительно эффектный ход. Положение на доске выравнивается, он опять начинает выигрывать, но противник бьет не по правилам — и все начинается сызнова.

В конечном счете он всегда проигрывает.

С НЕКОТОРЫХ ПОР...

* * *

Разочаровавшись в светлом будущем,
стану ли писать воспоминания,
грязным и лохматым буду чудищем
пол мести по залам ожидания?

Мысли навевая невеселые,
ночью под окном моим качаются,
гнутся на ветру деревья голые,
будто бы со мной друзья прощаются.

Будто бы со мной мои товарищи
расстанутся горячо любимые.
А земля черна, как на пожарище.
Ясно дело — не взойдут озимые.

* * *

День солнечный, какие в ноябре
случаются невероятно редко,
а сад наш пуст, как будто на дворе
оставленная в спешке птичья клетка.

Как пташка Божья в теплые края
стрелюю мчится, вырвавшись из плена,
так, верно, отлетев, душа моя
навек избежать сумеет тлена.

* * *

Кошкин дом — не тот, что прежде был.
Чтобы мой зверек не бедовал,
я бы грешным делом застолбил
в царстве Божьем для него подвал.

**Владимир
САЛИМОН**

— родился в Москве в 1952 году. Окончил Педагогический институт. Автор тринадцати поэтических книг, в том числе: «Уличное братство» (1989), «Невеселое солнце» (1994), «Красная Москва» (1996), «Бегущие от грозы» (2001), «Возвращение на землю» (2002), «Опрокинутое небо» (2004), книги избранных стихотворений «Раз и навсегда» (2003), «Счастливым происшествиям свидетель» (2006). Живет в Москве.

Иногда мелькнет в подъезде тень,
скрипнет на железных петлях дверь,
вздрагну я, как будто и не день,
будто ночь крошечная теперь.

* * *

Поземка шевелит усами,
как насекомое зловредное,
как будто мертвыми глазами
чудовище ветхозаветное.

О чем свидетельствуют двери
железные?

О том, что, в частности,
нередко на своей *фатере*
мы подвергаемся опасности.

* * *

Может, сук на ветру обломился
для того, чтобы я увидал,
как туман над равниной сгустился,
светонепроницаемым стал.

Будто в занавесе театральном
лишь один оставался глазок,
то есть о рассмотренье детальном
и помыслить я даже не мог.

* * *

Чтобы факт его существования
не подверг никто сомнению,

он
был запечатлен на фоне здания
знаменитого на весь район.

С выбором натуры дело сложное,
но в конце концов ему видней,
все же не кафешко придорожное,
ресторашко плохонький, верней.

Все же баня — место деликатное.
Если что случится, тут как тут,
тотчас полотенчиком прохладное
с виноватым видом поднесут.

* * *

Вечно льется из крана вода,
невзирая на муки сантехника.
Лампочка не горит никогда,
несмотря на усилия электрика.

Может, им, раз такие дела,
поменяться местами при случае,
может быть, и рассеется мгла,
надо мною нависшая тучею.

* * *

Деревья умирают в позах заживо
сгоревших,
в толще пепла погребенных,
а небо нынче розово,
оранжево,
с прожилками на веках воспаленных.

Так и твои непостижимым образом
глаза от слез сухими остаются,
хотя ты и кричишь истошным голосом,
а все вокруг ликует и смеются.

* * *

Знают наши точки болевые,
знают уязвимые места —
вероятно, капли дождевые
крайне редко мажут неспроста.

Каждодневно и еженедельно,
даже если вовсе не по мне
бьют с утра до вечера прицельно,
чувствую себя, как на войне.

* * *

Лес, над рекой поднявшийся, спасет
от разоренья древние могилы
и оградит нас, если повезет,
от козней мировой нечистой силы.

Не умозрительная красота —
дремучий ельник на прибрежных кручах,
он черен, как стоячая вода,
как Демон, заточенный в снежных тучах.

* * *

Откуда между рам оконных
зимой так много дохлых мух?
Вопросов множество законных,
к которым остаюсь я глух.

Мое вниманье привлекает
лишь неисправный шпингалет,
что, как затвор ружейный, лает
и часто будит нас чуть свет.

* * *

Часто неспортивным поведением
учащенное сердцебиение
можно объяснить, или волнением
небольшое головокружение.

Будто, пребывая в невесомости,
ощущаю нечто тошнотворное,
стиснув зубы лишь из чувства скромности,
дабы не явить нутро позорное.

Снег идет весь день с утра и до ночи.
Встать с колен на паперти убогая
силится без посторонней помощи,
мне печалью черной сердце трогая.

* * *

На ветру где-то хлопают окна и двери,
в полумраке скрипят половицы,
а вокруг обитают лишь дикие звери,
только хищные рыбы и птицы.

Но никто не посмеет будить до рассвета,
сладко спящих, уткнувшись в подушки,
паренька, обожженного солнцем за лето,
и его белокожей подружки.

Им неведомы детские страхи ночные,
леденящие сердце кошмары,
черные, будто бы трубы печные,
мокрые после дождя тротуары.

* * *

Мне почудилось, что будто навсегда
лес осенний поутру затих,
и мучительно мне сделалось тогда
больно за себя и за других.

Очень стало мне обидно за всех нас,
тихо доживающих свой век,
для кого не за горами смертный час —
белый, все равно как первый снег.

Тот нехоженный, нетоптанный снежок
ясно представляю я себе,
под собой с недавних пор не чуя ног,
только слепо следуя судьбе.

* * *

Речь впереди о тонкой технологии,
но обратясь к действительности грубой,
смотрю на речки берега отлогие,
полупридушенный тяжеловесной шубой.

Я в ней похож едва ли на боярина
во цвете лет румяного красавца,
я в ней едва ли похожу на барина,
которого в округе все боятся.

Казалось бы, Кириллу Троекурова
чего страшиться нынешним крестьянам,
хотя бы и сурового и хмурого —
веселым и задиристым, и пьяным!

* * *

Овраг прекрасен до поры до времени, пока
нешадно не кровоточат облезлые бока.

И ребра не торчат до времени у рощи,
пока она еще не превратилась в мощи.

Изрядно затянувшимся мне кажется процесс.
Дорога тянется. Мост строится. Редет лес.

* * *

Не успею досчитать до десяти,
как пройдет моя земная слава,
но хотел бы дней остаток провести
не на содержание у Минздрава.

Как я выгляжу в рентгеновских лучах
тайной навсегда должно остаться —
безнаказанно нельзя в чужих вещах
недругам своим давать копать.

* * *

Лучше в шутку говорить о смерти,
чем всерьез перемывать ей кости —
вы уж мне, пожалуйста, поверьте,
и курить и пить немедленно бросьте.

Дождь идет, хотя по разумению
моему, скорее снегопаду
было уместней легкой тенью
с некоторых пор скользить по саду.

Редакция «Континента» очень редко отступает от своего правила — не публиковать тексты, где-то уже опубликованные. Причем отступает лишь в тех случаях, когда материал, с которым мы считаем важным познакомить читателя «Континента», был напечатан ранее незначительным тиражом. Но сегодня мы отступаем даже и от этого неизменного условия. Мы предлагаем вниманию читателя работу Игоря Клямкина и Татьяны Кутковец «Кремлевская школа политологии», хотя она была опубликована уже не только в виде малотиражной брошюры, изданной фондом «Либеральная миссия» и предназначенной для узкого распространения в соответствующей профессиональной среде, но и на протяжении ряда номеров печаталась — в несколько сокращенном виде — и многотиражной «Новой газетой». Мы идем на этот беспрецедентный для нас шаг только потому, что анализ современной ситуации в России, предложенный И. Клямкиным и Т. Кутковец и очень близкий к тому, как видит и понимает современную ситуацию в России редакция «Континента», столь, на наш взгляд, глубок, обстоятелен, точен и ярок, что чем больше вменяемых россиян познакомится с ним, тем, мы уверены, это будет полезнее для нашего общества. Так что если через «Континент» обретет эта работа хотя бы еще несколько тысяч читателей, наше нетрадиционное решение вполне будет, на наш взгляд, оправдано.

В этом же разделе журнала, сразу вслед за «Кремлевской политологией», мы печатаем в подрубке «У книжной полки» и еще один текст Игоря Клямкина — его размышления по поводу книги Григория Водолазова «Идеалы и идолы». Такой сюжет тоже достаточно необычен для нас — предоставить кому-то возможность дважды выступить на страницах одного и того же номера. Но и это объясняется опять-таки лишь исключительной, на наш взгляд, содержательной значимостью обоих текстов и их очевидной — и очень важной — взаимодополнительностью. Мысли, высказанные Игорем Клямкиным в его диалоге с Григорием Водолазовым, позволят читателю составить себе более полное и масштабное представление о том исходном мировоззренческом пространстве, в координатах которого как раз и становится необходима и закономерна та оценка нынешней ситуации в России, которая выражена в «Кремлевской школе политологии». А всякая возможность помочь читателю более основательно познакомиться с тем направлением современной российской мировоззренческой мысли, которое обязывает к такой оценке, непременно должна быть, на наш взгляд, использована. Уже потому хотя бы, что каналы большинства наших СМИ, едва ли не полностью уже сервилизовавшихся, давно уже наглухо закрыты для любой сколько-нибудь содержательной информации о существовании и сущности такой мысли. Между тем это по-настоящему крупное, действительно одно из самых значительных явлений в нынешнем российском мировоззренческом ландшафте, иметь ясное и точное представление о котором должен, на наш взгляд, опять-таки каждый вменяемый россиянин. И нам тем отраднее этому способствовать и на этом настаивать, что тот, — в общем, безусловно секулярный, — тип мировидения, в рамках которого развивается мысль и И. Клямкина, и Т. Кутковец, и Г. Во-

долазова, вовсе не идентичен тому, который органичен для «Континента», журнала безусловной религиозной ориентации. Но и область совмещения в пространстве социальности столь у нас велика, что свидетельствует не просто о ситуативном, но и куда более глубоком, едва ли даже не о корневом, как это ни парадоксально, родстве. Иначе бы, наверное, и невозможно было такое важное для современного мира понятие, как *христианская демократия*.

В предлагаемом ниже вниманию тексте «Кремлевской школы политологии» авторами восстановлены те фрагменты, которые из-за недостатка места были сокращены редакцией «Новой газеты», когда под заголовком «Как нас учат любить Родину» работа И. Клямкина и Т. Кутковец печаталась в ее 49-58 номерах за 2006 год. В публикуемом полном ее варианте авторами сделаны также и некоторые новые смысловые уточнения.

Игорь КЛЯМКИН, Татьяна КУТКОВЕЦ

КРЕМЛЕВСКАЯ ШКОЛА ПОЛИТОЛОГИИ

Деконструкция кремлевского дискурса

Мы попытались проанализировать некоторые особенности современной официальной пропаганды в России. Для этого мы обратились к публичным высказываниям конкретных людей, которые на данном поприще трудятся. Нас не интересовали мотивы, которыми каждый из них в своей деятельности руководствуется и которые могут быть самыми разными. Нас интересовало исключительно содержание того, что они пропагандируют. На этом основании мы сочли возможным объединить их в одну группу. Потому что все они едины в том, что нынешний политический курс Кремля считают движением в направлении современной демократии. Мы же полагаем, что тем самым они вводят российское общество в заблуждение. А свою цель видим, соответственно, в том, чтобы это показать и доказать.

**Игорь
КЛЯМКИН**

— родился в 1941 г. в Московской области. Окончил Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор философских наук, профессор. Вице-президент Фонда «Либеральная миссия». Автор восьми книг и более 300 статей, опубликованных в России и за рубежом. Живет в Москве.

**Татьяна
КУТКОВЕЦ**

— родилась во Львове. Окончила Филологический факультет Львовского государственного университета. Социолог, работала во ВЦИОМе (ныне «Левада-Центр») и Фонде «Общественное мнение». В настоящее время ведущий аналитик IQ Marketing. Автор широкомасштабных социологических исследований «Народ и 100 умов», «Особый путь России», «Самоидентификация россиян в начале XXI века», результаты которых представлен в многочисленных публикациях в России и за рубежом. Живет в Москве.

В последние годы на российских телеэкранах обосновалась группа политологов, которым предоставлено привилегированное право комментировать текущие политические события в стране и за рубежом. Они выступают в роли экспертов, но избыточный — для аналитических комментариев — пафос выдает в них пропагандистов. Можно сказать, что это пропаганда, представляемая как экспертиза. Свою задачу комментаторы видят в том, чтобы обосновывать правильность любых действий Кремля и показывать несостоятельность аргументов его российских и зарубежных критиков. Сложилась своего рода школа кремлевской политологии, использующая стандартный и уже почти не обновляющийся набор аналитических схем, внедряемых в массовое сознание. Нам кажется, что эти схемы сами заслуживают того, чтобы их проанализировать.

Из публичных высказываний Вячеслава Никонова, Сергея Маркова, Андраника Миграняна, Глеба Павловского, Алексея Пушкова и некоторых других кремлевских пропагандистов (в дальнейшем будем называть их КП) мы выбрали наиболее часто повторяющиеся тезисы и попробовали оценить их экспертное качество. Считаем такую работу небесполезной, потому что эти тезисы и есть не что иное, как ключевые аргументы, призванные обосновывать стратегическую безупречность политики Кремля и несостоятельность критики в его адрес.

Демократия не возникает сразу в развитых формах. В первые 100 лет американской истории демократия в США сочеталась с рабством, в первые 150 лет — с отсутствием избирательных прав у женщин, в первые 190 лет — с отсутствием этих прав у негров.

Если «развитые формы демократии» — это отсутствие рабства и политической дискриминации по отношению к тем или иным группам населения, то в России с демократией давно уже все в порядке и развиваться ей больше и дальше некуда. Однако КП, насколько можно понять, так не думают. Зачем же тогда понадобились им ссылки на бывшее бесправие американских негров и американских женщин? Затем, что они хотели бы внедрить в общественное сознание представление о неопределенно *долгом* пути России к демократии. Не надо, мол, торопиться. Надо подождать. Всему свое время.

КП правы: «развитые формы» народовластия в одночасье не возникают, им предшествуют формы недоразвитые. Но, как говорится, есть вопросы. Если уж Америка двухсотлетней или столетней давности ставится в пример гражданам современной России, то при чем тут все-таки чернокожие невольники и политически бесправные американские женщины? Ведь наша нынешняя демократическая недоразвитость проявляется совсем в другом. И почему бы тогда в истории тех же США не поискать аналоги таких сегодняшних отечественных явлений, как выборы под опекой начальства, устранение оппозиции, превращение парламента в управляемую извне машину для голосования, а суда — в придаток исполнительной власти?

Будь такие аналоги представлены, можно было бы содержательно поговорить о том, чем обусловлена бывает недоразвитость, что мешает ее превращению в «развитые формы» и благодаря чему они рано или поздно в

жизни утверждаются. Тогда экскурс в американскую историю помог бы лучше понять, что происходит сегодня в России и в каком направлении она развивается. Однако КП предлагают нам в поучение нечто такое, что с современной российской реальностью заведомо не сопоставимо. Поисками же более актуальных для нас исторических сведений они себя не обременяют. Полагают, очевидно, что их читатели, слушатели и зрители не настолько искушены в логике, чтобы уловить отсутствие прямой связи между бузиной, которая в огороде, и дядькой, который в Киеве.

Не утруждают они себя, соответственно, и вопросами о том, что мешает России продвинуться в направлении демократии хотя бы до тех точек, до которых за то же время, что имела и она, продвинулись венгры, чехи, поляки, словенцы, словаки, хорваты, болгары, румыны, литовцы, латыши, эстонцы, а недавно и украинцы. Возможно, стесняются объявить русский и другие народы России политическими младенцами, менее подготовленными к народовластию, чем народы, перечисленные выше. С этим представлением трудно согласиться, однако нежелание афишировать его можно понять. Но если даже оно не лишено оснований, то интересно бы узнать, насколько отечественная властная и околотовластная элита, к которой принадлежат и КП, помогает россиянам политически повзреть.

На наш взгляд, не только не помогает, но и препятствует. Уже одним тем, что внушает им, будто нынешнее движение страны в сторону, противоположную демократии, есть вынужденно медленное движение именно к демократии. Получается, что ее «развитые формы» время создает само, заменяя собой уничтожаемую во имя будущего торжества демократии демократическую практику. Но если так, то всеисильное время призвано замедлить и сознательное участие народонаселения в движении к грядущему народовластию, равно как и его подготовку к такому участию. Однако подобных чудес не бывает, как не бывает ликвидации безграмотности посредством ликвидации школ и учителей.

КП же хотят убедить нас в обратном. Для этого вопрос о векторе исторического развития подменяется вопросом о его темпах. Для этого ссылаются на то, как долго готовили к демократии тех, кого считали для нее не дозревшими, в самой развитой стране западного мира. Сроки настолько впечатляющие, что должны, очевидно, заставить людей ждать их приближения так же сознательно и терпеливо, как при советской власти они ждали приближения коммунизма.

Разумеется, об исторических фигурах вроде Мартина Лютера Кинга, благодаря которым эти сроки не превращаются в вечность, КП не вспоминают. Не вспоминают они и о Джоне Кеннеди, откликнувшемся на идущий снизу запрос и приступившем, несмотря на жесткое сопротивление американских традиционалистов, к практическому решению негритянского вопроса в соответствии с принципом гражданского равноправия. Не затем же держат КП на экранах наших телевизоров, чтобы они рассказывали о влиятельных борцах за демократию в других странах, способствуя тем самым их появлению и в России. Их держат затем, чтобы они таких борцов дискредитировали еще до того, как те появились. В том числе и посредством отсылок к истории демократических стран. И не только Соединенных Штатов.

Наши либералы и демократы крайне невежественны. Они не знают мировой политической истории. Они не знают, что даже в Англии с ее многовековой демократической традицией в начале XIX века избирательным правом наделялось лишь четыре (всего четыре!) процента населения. Надо ничего не понимать в политике, чтобы требовать демократии для России, никогда при демократии не жившей.

Скажи нашим любителям и знатокам истории, что их исторические экскурсы и поучения отдают ретроградством, вряд ли согласятся. Поэтому попробуем их убедить. На успех, по понятным причинам, рассчитываем мало. Но при определенных обстоятельствах, как учили когда-то мыслители-экзистенциалисты, действие без надежды на успех лучше и достойнее бездействия.

Английский пример сам по себе имеет к современной России такое же отношение, что и американский, т. е. никакого. Но ретроградство не в этом: ограничивать избирательные права КП все же пока не призывают. Оно в том, как они воспринимают мировую политическую историю и в чем видят ее поучительность.

Убеждать Россию и россиян не спешить с демократией, апеллируя к рабству негров в Америке, — значит солидаризироваться задним числом с американскими рабовладельцами, которые уж точно не торопились отпускать невольников на свободу, а тем более давать им политические права. Ссылаться на британский избирательный ценз начала XIX столетия, закрывавший подавляющему большинству англичан доступ к выборам, — значит вставать на позиции английской землевладельческой аристократии, отстаивавшей свои политические привилегии, свое право монопольно представлять в парламенте интересы всего населения. А аргументируемые с помощью таких ссылок упреки современным отечественным либералам и демократам равнозначны упрекам в адрес английских либералов и демократов того времени, равно как и в адрес поддерживавших их (в том числе на улицах и площадях) британских промышленников и рабочих, которые и заставили аристократию отступить. Без такого «нетерпения» полумиллионный Лондон гораздо дольше был бы представлен в британском парламенте лишь четырьмя депутатами, Манчестер и другие крупные города не были бы представлены вообще, а небольшие местечки с несколькими десятками жителей, находившиеся под контролем крупных землевладельцев, продолжали бы выбирать по два законодателя. Послушай англичане своих поборников исторической неспешности (а такие люди есть всегда и везде), чем была бы сегодня их страна?

История постепенного становления демократии независимо от «несвоевременной» активности демократов и стоящих за ними массовых групп населения — это история, придуманная специально для нынешней российской власти и российской элиты. Предполагается, что только им ведомо, как и какими темпами продвигать в стране демократию. Предполагается, что любое вмешательство общества в политическую жизнь представляет угрозу и для демократии, и для самой отечественной государственности. Поэтому украинская бархатная революция с ее требованием честно считать бюллетени, опущенные в избирательные урны, именуется КП «оранжевой чумой». А создание Общественной палаты, сформированной из

отобранных Кремлем людей, которым и в голову не придет протестовать против административно насажденной монополии «Единой России» на политическом рынке, — укреплением гражданского общества. А дозволение политическим партиям, победившим на региональных выборах, предлагать президенту кандидатуры на должности губернаторов, чтобы он затем предлагал эти кандидатуры для утверждения региональным законодателям, — важным шагом к парламентскому способу формирования исполнительной власти. О том, что это будет означать на деле, благоразумно умалчивается. На деле же это будет означать, что «Единая Россия» лишится права проигрывать выборы. Или, что то же самое, все другие партии окончательно лишатся возможности, и без того призрачной, их выигрывать.

Вот зачем понадобились ссылки на политическую историю развитых демократических стран. Они шли к своему нынешнему состоянию медленно и осторожно, и нам не грех у них поучиться. Их властные элиты долго готовили свои народы к ответственному политическому поведению, и у нас не может и не должно быть иначе. Загвоздка лишь в том, что ничего подобного эти элиты не делали, как не делают и нынешние российские. Та же английская аристократия, повторим, не только не готовила население к демократии, но и перекрывала доступ к политике городскому бизнесу и низшим классам до тех пор, пока могла выдерживать давление с их стороны. К демократии же те были готовы еще до того, как лишили аристократию властной монополии. Или, говоря иначе, до того, как помогли дозреть до демократии землевладельческой элите. И доказать это не так уж и трудно.

В Австралии, заселявшейся английскими колонистами, сильная землевладельческая элита сформироваться не успела, хотя и пыталась. Поэтому население сумело «подготовить» ее к демократии быстрее, чем на покинутой родине. Всеобщее избирательное право было введено в Австралии на несколько десятилетий раньше Англии. А рабочая партия, возникшая там, была сильнее, чем в любой европейской стране.

Правда, австралийские либералы и демократы оказались более пригодными для эффективного управления страной, чем либералы и демократы постсоветские, прошедшие курс обучения и воспитания при коммунистическом режиме. Но это — другой вопрос. И касается он опять же не населения, а элиты, которая в первые два года после распада СССР не удосужилась даже преобразовать позднесоветскую государственность, учредить на ее месте новую и провести выборы для формирования новых властных институтов. Восточноевропейские посткоммунистические политики эту историческую работу выполнили безотлагательно. Российские — опрометчиво отложили на потом. Но кто мешал им проделать ее сразу кроме них самих?

КП не устают ругать отечественных политиков 90-х годов за все, что те делали и что не делали в пору пребывания у власти. Но — только не за то, что они не решились на более глубокие демократические преобразования государственной системы. Рассматривать такие темы не в интересах КП. Их цель — отмежевать от этих непопулярных сегодня политиков президента Путина и именно его сделать единственным символом российской демократии. Как? Да очень просто: представив его наследником и продолжателем мировой демократической традиции.

Путина можно отнести к правым консерваторам. Среди них политики от Черчилля до де Голля, от Аденауэра до Рейгана, от Тэтчер до Ширака. Этих политиков, как сейчас и Путина, тоже часто обвиняли в антидемократизме, в авторитарных тенденциях.

Путин выглядит как политик, идеалами которого являются Петр Великий и де Голль.

Порой трудно понять, сознательно КП запугывают внимающих им людей или заблуждаются сами. Сомневаемся, что Аденауэр, Рейган, Тэтчер и другие правые консерваторы того типа, к которому принадлежат эти политики, согласились бы признать Путина продолжателем своего дела. Генерал Франко (тоже правый консерватор), может быть, и не возражал бы. Не возражали бы, возможно, и не менее известные и тоже правые германский и итальянский «вожди наций» первой половины прошлого века, хотя и пожурили бы, наверное, нынешнего российского президента за чрезмерный, по их меркам, либерализм. Но те, кого называют КП, наверняка были бы их политологической типологией смущены.

Аденауэр вместе с Эрхардом создавали и создали свободную немецкую экономику, в которой бизнес отделен от государства, права собственности гарантированы, а принцип верховенства закона остается не только на бумаге. Результатом стало германское экономическое чудо. Рейган и Тэтчер создавали дополнительные условия для активизации предпринимательской инициативы, стимулировали ее снижением налогов и — преуспели тоже. Все они были консерваторами, опиравшимися на традиционные для западной цивилизации ценности семьи, индивидуальной свободы и конкуренции. При этом никому из них не нужно было нанимать пропагандистские спецбригады, чтобы исторически обосновывать необходимость в ограничении демократии. Потому что они были не только консерваторами, но и демократами. Но что общего с такими политиками у Владимира Путина?

Он, разумеется, тоже консерватор. Однако, в отличие от стран Запада, консерватизм в России может опираться лишь на отечественную традицию единоличного властвования с неизбежно сопутствующей ему и столь же неизбежно коррумпированной бюрократической «вертикалью власти». А это, увы, такая традиция, в которой извечно первичны не интересы человека с его индивидуальными правами и свободами, а интересы всеильного государства, в котором базовые ценности демократии и законопослушания не могут укорениться в принципе. Безусловно, лидер, опирающийся на сложившуюся в его стране традицию, по праву именуется консерватором. Но безусловно и то, что в российской традиции консерватор — это хранитель самодержавия.

Казалось бы, различия между природой двух политических традиций — русской и западной — столь очевидны, что проигнорировать их без риска быть уличенными в непрофессионализме невозможно. Но КП на это идут. Зачем? Затем, что им нужно убедить публику в том, что раз Путин, как и вышеупомянутые политики, консерватор, то и ему, подобно им, ничто не мешает быть политиком западного типа. Однако ни одного серьезного аргумента КП привести не могут. Поэтому им и понадобились — в роли символов, аргументы заменяющих, — именитые зарубежные консерваторы. А то, что они кроме бесспорной репутации успешных экономических реформа-

торов обладали еще и репутацией крупнейших лидеров западных демократий, уходит на задний план, становится несущественным.

Политически породнив с ними Путина на том единственном основании, что им, как и ему, приходилось выслушивать упреки «в антидемократизме, в авторитарных тенденциях», КП пытаются решить сразу две важные задачи. Во-первых, такая постановка вопроса освобождает российского президента от необходимости обращать внимание на аналогичные упреки со стороны всех противников его курса внутри страны. С какой стати, если такова судьба всех реформаторов? А во-вторых, этот прием позволяет ничтоже сумняшеся разместить современную Россию в западном демократическом пространстве. Ловко. Но — не убедительно. Ведь в антидемократизме и авторитаризме обвиняют обычно и любого диктатора. Неужели таких обвинений достаточно, чтобы и ему нашлось место рядом с Черчиллем, Аденауэром, Рейганом, Тэтчер и де Голлем?

Мы сознательно завершили этот список де Голлем. Потому что если кто из перечисленных деятелей и подвергался серьезным нападкам за «авторитарные тенденции», то именно он. И если Пугин действительно находит в нем свой идеал, то это позволяет лучше увидеть то, что российский президент уже сделал, а в чем и почему идеал оказался не достигнутым.

Де Голль существенно отличался от других послевоенных лидеров европейских демократий. Он хотел править, как выборный монарх, и ему удалось в принятой по его инициативе новой конституции перераспределить властные полномочия в пользу президента. Удалось ему и создать пропрезидентскую партию, доминировавшую в парламенте, хотя, в отличие от нашей «Единой России», и не за счет монопольного использования административного и прочих ресурсов: на принцип свободной политической конкуренции генерал не покушался. И экономическую стратегию де Голля выстраивал совсем не так, как другие консервативные реформаторы. Он выстраивал ее в духе «дирижизма», т. е. на основе целенаправленного вмешательства государства в хозяйственную жизнь. И если по части концентрации власти Пугин де Голля давно уже превзошел, то в этом отношении он еще только приближается к своему идеалу. Только вот результаты, которых французский президент добился в экономике в первые годы своего правления, для его российского последователя оказались недостижимыми и за более длительный срок. Но если КП об этом и знают, то нести свое знание в массы не считают нужным.

Сравнивая Путина с французским генералом, ставшим президентом, они не рассказывают нам о том, что за шесть лет после прихода де Голля к власти объем промышленного производства во Франции увеличился вдвое. А главное — рост происходил не только за счет нефтегазовой отрасли, но и благодаря быстрому развитию предприятий органической химии (девятикратное увеличение продукции), авиационно-ракетной отрасли (третье место в мире), автомобильной промышленности, радиоэлектроники и созданию самой передовой в Европе атомной промышленности. Это, как сказали бы экономисты, совсем другая структура роста, чем в современной России.

Стать русским де Голлем Путину не удалось. И уже не удастся. Потому что историческое время голлистской политики стало навсегда прошедшим еще при де Голле.

Он осуществлял свою программу на излете индустриальной эпохи, когда прямое государственное управление ключевыми секторами экономики могло еще способствовать созданию и модернизации отдельных отраслей. В наступавшем постиндустриальном мире это становилось невозможным. И французскому выборному монарху пришлось столкнуться с тем, что даже концентрация огромных властных полномочий перед вызовами времени бессильна. Экономический подъем сменился застоем, переросшим в кризис и студенческую революцию 1968 года, заставившую де Голля досрочно уйти в отставку.

Так что идеал Путина, ставший нам известным благодаря КП, давно устарел. Но их это не интересует. Им важно, чтобы президент России был вмонтирован в западный истеблишмент. Не исключаем, что это повышает значимость и их самих в собственных глазах: все-таки не белорусского «батю» обслуживают, не какого-нибудь азиатского диктатора, а крупную политическую фигуру мирового демократического сообщества, которую лишь по недомыслию могут обвинять в «авторитарных тенденциях».

Ну да ладно, тут вроде бы все ясно. Но как все же быть с нашей собственной отечественной историей, нашим самобытным опытом? Мы что, отказываемся от него?

С этим, однако, у КП тоже все в полном порядке. Патриотическую общечеловечность они успокаивают тем, что у российского президента есть еще один идеал, а именно — первый российский император Петр Великий. И все становится на свои места. Фактически КП признались в том, что вовсе не утверждение демократии, пусть и медленное, воодушевляет Кремль и обслуживающий его пропагандистский корпус, а державное величие государства, его престиж и международное влияние, всегда достигавшиеся в России превращением ее народа в один из необходимых для побед ресурсов. Словом, их воодушевляет все то, что как раз и не позволило стране до сих пор достичь ее, демократии, «развитых форм». Но как тогда в одном ряду с Петром оказались западные лидеры XX века?

Ведь Петр I в представлении того же де Голля, не говоря уже о тех, кто упрекал его в «авторитарных тенденциях», был не просто «антидемократом». Он был в их глазах деспотом. И когда на Петра равнялся такой политик, как Сталин, это ни у кого в мире вопросов не вызывало. Сталин осуществлял военно-технологическую модернизацию страны и строил свою великую державу петровскими (и даже более крутыми) методами. Но он посчитал бы врагом любого, кто обнаружил бы его политическое родство с известными ему западными лидерами. Скажем, с тем же Аденауэром. Или, например, с Черчиллем. В постмодернистскую эпоху к таким сопоставлениям несопоставимого стали относиться терпимее, но от этого они не стали более убедительными. Впрочем, ничего другого КП придумать и не могли.

Они не ошиблись, посчитав расположение Путина рядом с Петром пропагандистски выигрышным: основоположник российского великодержавия и сегодня воспринимается большинством россиян как самая яркая фигура отечественной истории. Однако КП вынуждены считаться и с тем, что монолитного народа, готового доверчиво и смиренно внимать каждому слову правителя-отца, будь-то Петр Алексеевич, Иосиф Виссарионович или кто-то еще, давно уже не существует. Народ в своих мыслях и идеологических

предпочтениях разнообразился, монолит исчез. Поэтому глава государства, претендующий и сегодня на роль «отца нации», не может уже не воплощать в своем образе единство возникшего многообразия. Вот и приходится КП сопоставлять несопоставимое, чтобы соединить несоединимое. Поэтому они и ищут Путину место между прорубившим «окно в Европу» российским императором-самодержцем и демократическими политиками Запада. И, соответственно, конструируют образ такого современного российского государя-президента, причудливо сочетающего в себе и нового русского Петра, и, одновременно, де Голля, Черчилля, Аденауэра, Тэтчер, Рейгана и Ширака.

Но КП отдают себе, похоже, отчет и в том, что такой образ не очень-то консолидирует общество. Скорее — наоборот. И если отклонение от западной демократии в сторону царственного «отца нации» вызывает ликование в душах проимперских державников, то по тому же самому поводу сразу начинается брожение среди тех, кто усматривает в этом возврат в прошлое, покушение на нормальную жизнь, ассоциируемую с цивилизованным Западом. И как тут быть? Ну не менять же в самом деле из-за этого политику блистательного маневрирования и манипулирования на внятную политику ясных целей и четких задач! Чтобы люди наконец поняли, куда страна идет, что строить! Нет, конечно: дело сделано, пропагандистская машина запущена. И КП ничего не остается, как сетовать на незрелость народа, который мешает Путину стать тем, кем он хочет, т. е. сочетать взаимоисключающие политические идеалы.

Правда, тема народной «незрелости» тоже достаточно скользкая: ведь и президента у нас избирает тот же самый народ. Поэтому КП и предпочитают рассуждать о медленной поступи демократии в мире, не объясняя при этом, отчего она медленная и кто препятствует ее ускорению. Но иногда все же проговариваются.

Путин гораздо более либерален, демократичен и прозападен, чем как минимум 90 процентов населения России. Альтернатива этому человеку и этому режиму возможна, но отнюдь не либеральная. Реально такая альтернатива может быть либо коммунистической, либо националистической.

Мы не знаем, откуда взялись эти 90 процентов. Более того, социологическая информация, хорошо известная и КП, свидетельствует совсем о другом. Она, например, свидетельствует о том, что почти половина наших сограждан выступала за сохранение выборности губернаторов населением, Путиным отмененной. Что система правосудия, ставшая при нынешнем президенте еще более зависимой от исполнительной власти, не по душе подавляющему большинству россиян. Да и политика Кремля по отношению к СМИ всеобщего восторга тоже не вызывает. Или все это никакого касательства к либеральности и демократичности не имеет?

Но кроме социологии есть еще и результаты выборов. На свой второй срок Путин действительно шел с откровенно либеральной избирательной платформой. И за него проголосовало более двух третей пришедших на выборы. Либеральная риторика их не отпугнула и шансов коммунистам и националистам не добавила. Поэтому нет никаких оснований утверждать,

что, стать вновь избранный президент воплощать свои слова в дела, он лишился бы поддержки своих избирателей. Но если так, то ему, быть может, мешает распрямиться во весь его либеральный, демократический и западнический рост совсем не то, о чем говорят КП? Быть может, корректнее было бы сравнивать его не с «90 процентами населения России», а с 90 процентами политической элиты и отечественной бюрократии, интересам которых укрепившаяся под руководством Путина государственная система вполне соответствует?

Ведь нашему правящему классу, который получил от системы все, что хотел, и рассчитывает получить еще больше, либерализация с демократизацией и через сто лет не понадобятся. И западничество ему ни к чему: он давно уже живет в России так, как будто она и есть Запад. Но тогда, может быть, и в самом деле не российское население, а российская элита не позволяет Путину раскрыть его богатый либерально-демократический потенциал, если, разумеется, таковой имеет место?

Однако в любом случае потенциал этот лишается общественного значения и разговор о нем становится бессмысленным. А поговорить КП очень хочется. Но так, чтобы правящий класс и удобное для него государственное устройство оставались вне критики. Поэтому они и возвышают Путина не над созданным при его непосредственном участии государственной системой, а над народом, превращаемым тем самым в главного ответчика за то, что президент не делает того, к чему расположен и что при другом народе давно бы уже сделал.

Не исключаем, что КП тоже чувствуют себя более либеральными, демократичными и прозападными, чем подавляющее большинство их соотечественников. Если так, то пусть попробуют объяснить, почему они, обращаясь к нам с телеэкранов, обрушивают свой гнев на Запад, едва оттуда раздается критика политики Кремля именно с точки зрения демократизма и либерализма. Впрочем, это предположительное несовпадение их мироощущения и публичного поведения существенного значения не имеет. Это — их личные проблемы. Тезис же, согласно которому альтернатива «этому человеку и этому режиму» может быть только коммунистической либо националистической, представляет и общественный интерес.

Прогноз относительно возможности реанимации в России коммунизма оставим на профессиональной совести КП. Что касается националистической альтернативы, то она вполне реальна. Но она стала таковой как раз при «этом человеке и этом режиме». Именно в годы правления нынешнего президента резко возрос процент людей, солидарных с лозунгом «Россия для русских!». И именно в эти годы стали чуть ли не повседневной обыденностью убийства инородцев и выступающих против ксенофобии правозащитников. При взгляде же на политическую сцену обнаруживается, что в допутинской России процент голосующих за ЛДПР уменьшался от выборов к выборам, между тем как теперь он тоже резко возрос. «Родину» же, как известно, именно «этот режим» благословил на политические подвиги, надеясь с ее помощью контролировать разбуженную им националистическую стихию.

Зачем ее будили, пока достоверно не известно. На сей счет существуют две версии.

Первая версия — пробуждение произошло вопреки первоначальному замыслу. Хотели «поднять Россию и русских с колен», взбодрить несколько подувший народ, вдохнуть в него задор государственного патриотизма. При этом рассчитывали на инерцию советского интернационализма, который, как казалось, свидетельствовал о том, что этническая ксенофобия русским не свойственна, что против нацизма и фашизма у них выработан стойкий иммунитет.

Вторая версия — трансформация русского патриотизма в русский национализм не только не исключалась, но и сознательно планировалась. Из разбуженного национализма хотели сделать политическое пугало для либералов и идеологически нейтральных обывателей, поставив их перед выбором между «фашистами» и кремлевской партией власти. Тем самым предполагалось обеспечить ей триумфальное шествие от победы к победе. Одновременно предполагалось, что русский национализм, глубоких корней не имеющий (здесь вторая версия смыкается с первой), серьезной угрозы для Кремля не представляет и что его, при желании, легко можно будет удерживать в управляемом состоянии — подобно тому, как удерживалась в таком состоянии партия Жириновского.

Какая из двух версий верна, мы, возможно, когда-нибудь узнаем из мемуаров КП. Но в любом случае получилось не только то, что хотелось. Националистическую стихию вольно или невольно разбудили, а остановить ее нарастающую агрессию становится все труднее. Зато у КП и их последователей появились дополнительные основания для того, чтобы пугать этой стихией избирателей, что они и делают. А еще призывают общественность к активному противодействию новому злу. Не объясняя ей, откуда и почему оно вдруг возникло и какую роль сыграла здесь та тотальная «жириновизация» общественной атмосферы, которая происходила и происходит — при непосредственном участии КП — в течение всего путинского правления.

Нынешняя официальная «борьба с национализмом и фашизмом», в которой КП играют не последняя роль, — это борьба властей и обслуживающего их пропагандистского корпуса со следствиями их собственной политики и пропаганды. Вопросом же о том, можно ли одолеть следствия, не затрагивая причин, КП по-прежнему не задаются и внимание общества по понятным причинам к нему не привлекают.

Похоже, они уже приступили к осуществлению нового спецпроекта: представить «борьбу с национализмом и фашизмом» как борьбу Кремля за торжество демократии против ее противников. А чтобы защищать ее монопольно, т. е. при отсутствии конкурентов, в основной состав нынешних недругов демократии включили и тех, кто из серьезной политической игры давно уже выведен. И речь идет вовсе не о коммунистах.

Кремль видит свою задачу в том, чтобы защищать демократию от ее противников. Для этого он вынужден ее ограничивать. Партии власти никому сегодня эту власть передать. В оппозиции к Кремлю находятся политические силы, которые хотели бы вернуть ельцинскую «олигархию», или откровенные националисты. От них движения к демократии ждать не приходится, от них и надо ее защищать.

Этот тезис, развивающий и корректирующий предыдущий, подкупает своей откровенностью. Действующая власть объявляется единственным в стране оплотом демократии. Поэтому защита демократии — это защита власти от ее противников. Поэтому противники власти и противники демократии — это одно и то же. Следовательно, сохранение власти равнозначно сохранению демократии.

Фактически КП договорились до того, что Кремлю предстоит защитить народовластие от народа, который при свободной политической конкуренции может проголосовать «неправильно». И как бы странно их позиция ни звучала, попробуем отнестись к ней серьезно. Она того стоит.

В истории был случай, когда лидер партии, победившей на свободных демократических выборах в парламент, получил пост главы правительства, а потом использовал свою власть для ликвидации демократии и установления режима личной диктатуры. Имя этого человека — Адольф Гитлер. Нужно ли защищать демократию от таких людей? Ответ очевиден. Нужно ли защищать ее так, как защищает Кремль вместе с помогающими ему КП? Уверены, что нет. Потому что так, как они это делают, защитить ее нельзя. Если, конечно, помнить о том, что альтернатива демократии может быть не только нацистской, а альтернатива нацизму — не только демократической.

КП полагают, что для достижения благой цели Кремля можно пожертвовать такой «мелочью», как политическая конкуренция. Но вместе с этой «мелочью» исчезает и то, ради чего она приносится в жертву. Потому что демократия без политической конкуренции — это уже не демократия, а ее профанация. Поэтому суть идеи, озвученной КП, сводится, в конечном счете, к тому, чтобы свернуть демократию во имя ее спасения. Или, что то же самое, ради сохранения у власти людей, объявляющих себя ее спасителями.

Германский эксперимент с нацизмом очень дорого обошелся человечеству. Но люди приобрели такой опыт, какого раньше не было, и извлекли из него важные уроки. Они поняли, что необходимы конституционно-правовые механизмы защиты демократии от ее концептуальных противников. И сегодня во многих странах мира действуют четко прописанные законы, перекрывающие потенциальным фюрерам дорогу к власти. Нам же, и таких законов не имеющим, предлагается поручить сбережение демократии нынешним обитателям Кремля и контролируемой им правящей партии. Предлагается также примириться с их правом принимать и избирательно применять любые юридические нормы, ограждающие их от политических конкурентов. Предлагается, наконец, признать их особые полномочия, ни в каких законах не зафиксированные вообще, но позволяющие кулуарно решать, достойны ли другие политические силы сменить их у власти или хотя бы стать влиятельной оппозицией, либо еще не дозрели. Таким образом, ради защиты демократии допустимо еще и беззаконие. Что же мы в таком случае бережем и сберегаем?

Если оплотом демократии объявляется одна-единственная политическая группировка, то гарантировать она может не демократию, а свою властную монополию и свое право (тоже монопольное) выбирать себе подсобные политические группы поддержки, контролирующие оппозиционно настроенных избирателей. Поэтому «свой» националист Жириновский не сходит с телеэкранов. Поэтому ему дозволяется то, за что других снимают

с выборов. Поэтому националист Рагозин, демонстрирующий управляемость и лояльность, получает возможность провести свою созданную на скорую руку «Родину» в парламент, а тот же Рагозин, с поводка сорвавшийся, показательно наказывается. Но о попустительстве Кремля «своим» националистам и о том, как влияет их риторика на сознание людей, мы от КП не слышим. Равно как и о том, почему деятельность «оплота демократии» сопровождается не уменьшением, а нарастанием националистической угрозы.

Демократия нуждается в защите от ее недругов? Кто бы спорил! Но защитить ее может только неукоснительно соблюдаемый закон, блокирующий деятельность тех политических сил, чья цель — демократию уничтожить. А значит, и деятельность тех партий и политиков, которые хотели бы уполномочить себя быть ее единственным «оплотом» и определять, кто ей друг, а кто — недруг. В противном случае друзьями демократии могут оказаться и уже оказываются лишь друзья спецуполномоченных.

Если действующие ныне юридические нормы для этого недостаточны, то они должны быть дополнены, чтобы стать достаточными. А тем партиям и лидерам, программные установки и деятельность которых под законодательные ограничения не подпадают, должна быть предоставлена свобода политической конкуренции. И как их при этом называют КП и их кремлевские работодатели — сторонниками «олигархов», националистами или как-то еще, — никакого значения не имеет. Любая другая защита демократии так или иначе сведется к неправовой или квазиправовой защите от конкурентов властного монополиста, что мы сегодня и наблюдаем.

Понятно, что такие дела нуждаются в солидном пропагандистском обеспечении, что, в свою очередь, обеспечивает спрос на интеллектуальные услуги КП и других представителей кремлевской политологической школы. Непонятно только, какими политологическими критериями они руководствуются, называя защиту монополиста защитой демократии. Непонятно также, как долго нам ждать, пока она будет защищена окончательно. И уж совсем непонятно, откуда при такой защите (она же зачистка) возьмутся когда-нибудь политические силы, достойные того, чтобы монополист признал их право на равных ему противостоять, а тем более — право сменить его в результате выигранных свободных и честных выборов.

Впрочем, в последние год-два КП нашли универсальный ответ на все подобные вопросы, который позволяет отмахиваться от самих этих вопросов как заведомо несерьезных. Они обручили понятие демократии с понятием суверенитета. Или, говоря иначе, обогатили внутривнутриполитическую проблему внешнеполитическим смыслом. Получилось, как им кажется, убедительно.

России нужна демократия, которая не ущемляла бы государственную независимость страны во внутренней и внешней политике. России нужна суверенная демократия.

Это терминологическое новшество в кремлевской политологической школе считается не только эффектной пропагандистской идеологемой, но и значительным вкладом в мировую политическую мысль. И когда недавно один из западных политиков тоже упомянул о «суверенных демократиях»,

некоторые представители школы не смогли скрыть свой патриотический восторг: их интеллектуальный «креатив» получил мировое признание. Но вот ведь какая незадача: в отличие от них, он воздержался от использования этого термина применительно к современной России, выразив лишь надежду, что в число «суверенных демократий» со временем войдет и она. Нынешний же ее политический маршрут воспринимается на Западе как этой цели не соответствующий. А тот смысл, которым наполняют «суверенную демократию» Кремль и КП, там вызывает тревогу, в последнее время все чаще высказываемую публично. В ответ КП — уже практически машинально — обвиняют Запад в покушении на российский суверенитет, демонстрируя тем самым слабую способность говорить по существу и развиваться способностью подменять понятия.

В современном мире на государственный суверенитет ядерной державы, каковой является Россия, покушаться никто не может. Опасно. Поэтому и не покушаются. Сомнения же вызывают ее притязания на статус «суверенной демократии». И если КП хотят их развеять, то не так уж много от них и требуется. Им надо показать, что Россия не только суверенная, но и демократическая страна. Или, на худой конец, что она развивается именно в демократическом, а не в каком-то ином направлении.

Допускаем, что это неспросто. Возможно, мы даже хотим невозможного. Но коли так, то у КП есть и другой, вполне достойный для экспертов, выход.

Они могли бы прямо сказать, что демократия в России усекается ради сохранения устоев нашей политической системы с ее «вертикалью власти». Что свободные и честные выборы, свободные СМИ, независимые законодательная и судебная власти, гарантированность прав собственности угрожают безопасности этой системы и потому для нее неприемлемы. И тогда стало бы понятно, что «суверенность» российской демократии заключается в независимости российской властной вертикали от стандартов демократии западной. Правда, при этом пришлось бы доказывать, что неприемлемое для политической системы неприемлемо и для народа России, а также объяснять, почему такую систему надо во что бы то ни стало спасать и сохранять. Но, будь доказательства и объяснения представлены, было бы хотя бы что обсуждать.

Однако мы, похоже, вновь хотим невозможного. Ведь двинувшись по этому пути, рано или поздно придется признать, что формула «суверенной демократии» исполняет сегодня в России примерно ту же роль, какая в свое время отводилась демократии «социалистической». Что, в свою очередь, будет означать признание в интеллектуальной несостоятельности или сознательном обмане. Но таких подвигов мы от КП не ждем.

Кстати, и сама формула придумана не в России, а потому нет и повода гордиться «креативом». Ее, как рассказала российской общественности политолог Лилия Шевцова, придумали на Тайване. И там эта формула имеет вполне конкретный политический смысл: она фиксирует и демократическое устройство Тайваня, отличающее его от коммунистического Китая, и подчеркивает его независимость, которую Китай хотел бы оставить в прошлом. Больше нигде, кроме России, проблемой «суверенности» демократии не озабочены. В частности, и потому, что основной вектор развития демократических стран заставляет их ставить во главу угла не столько свою неза-

висимость и самодостаточность, как в пору формирования и самоопределения национальных государств, сколько взаимоинтеграцию.

Отсюда не следует, что эти страны вообще отказываются от самостоятельной внутренней и внешней политики в пользу надгосударственных институтов, о чем можно судить хотя бы по поведению Германии и Франции, отказавшим в поддержке США и другим своим союзникам по НАТО во время иракского кризиса. Но когда речь идет не об отношениях с незападным миром, а о проблемах внутри самого западного сообщества, входящие в него государства руководствуются отнюдь не идеей суверенитета. Потому что от значительной его части они давно уже добровольно и сознательно отказались, исходя из соображений собственной выгоды. Но, возложив на себя обязательства соблюдать совместно выработанные нормы и процедуры всего сообщества, эти государства не перестали быть суверенными демократиями. Именно потому, что такие обязательства сами же в своих интересах и приняли.

Мы напоминаем об этих общеизвестных вещах лишь затем, что КП, зная о них не хуже нас, в своих рассуждениях о «суверенной демократии» не утруждают себя разъяснениями относительно ее соотносимости с европейской интеграцией, частично затронувшей и Россию. Аргументы в пользу присвоенной ими тайваньской формулы они ищут не в Европе, а в США.

Что правда, то правда: там их можно найти. И в политике нынешней администрации, и в документах, исходящих из близких к ней традиционалистских неоконсервативных кругов. В этих документах слово «суверенитет» призвано символизировать гегемонистскую мировую роль Америки и ее свободу от каких-либо ограничений, мешающих эту роль исполнять. Но такого рода идеи не находят широкой поддержки и в самих США, свидетельство чему — рекордно низкий рейтинг Джорджа Буша-младшего. Поэтому и интересно было бы узнать, что же все-таки имеют в виду КП, ссылаясь на США в подтверждение своих тезисов. Если России полезно заимствовать идеологию американских неоконсерваторов, то чем тогда продиктован обличительный пафос КП, направленный против американской гегемонистской политики? Принципиальным неприятием любого подобного гегемонизма или желанием обосновать свою собственную претензию на него?

Не думаем, что у них есть время задаваться такими вопросами. КП озадачены совсем другим. Им надо убеждать сограждан в том, что с демократией в России все в порядке, страна движется в правильном направлении, однако в мире есть силы, которые могут воспользоваться демократическими свободами для причинения вреда государству российскому. Поэтому КП внимательно за миром наблюдают, чтобы первыми врага выявить и первыми же его разоблачить.

В своей политике Запад использует двойные стандарты. Америка крикует Россию за свертывание демократии, а коммунистический Китай не трогает. Благоволят США и к казахстанскому лидеру Назарбаеву, авторитаризм которого их не смущает. Запад избирательно и предвзято критикует Россию, потому что боится ее усиления. Ему нужна Россия слабая и зависимая, а не сильная и влиятельная, какой она в последнее время быстро становится.

Ни в чем, пожалуй, КП не обнаруживают свою плутоватость так выразительно, как в этом суждении. Казалось бы, предмет спора — яснее некуда. Запад укоряет Россию за то, что она все дальше отходит от общепринятых стандартов демократии. Ответов на такой укор может быть всего два. Первый — объяснить критикам, что они в своей констатации не правы, т. е. что этим стандартам политика Кремля вполне соответствует. Второй — заявить, что критика вообще не по адресу, ибо «суверенная демократия» потому и суверенная, что у нее свои собственные, самобытные стандарты. Но первый ответ использовать нельзя, ибо в таком случае нашу недоразвитую форму народовластия пришлось бы объявить развитой, что несовместимо с исходным тезисом КП. А второй плох тем, что должен сопровождаться формулированием критериев, позволяющих «суверенную демократию» называть демократией. Однако тут дела обстоят еще хуже. Потому что решение задачи, которая при этом возникает, требует не менее новаторской формулы, чем для создания вечного двигателя.

Считаясь с возникшими трудностями, КП придумали третий ответ. Они просто изменили предмет полемики и выдвинули встречное обвинение Западу в том, что проблема не в России, а в нем самом: это у него двойные стандарты, и пользуется он ими избирательно и предвзято. Насчет избирательности — чистая правда. А насчет предвзятости — как посмотреть. Поэтому что Россия сама согласилась на то, чтобы Запад относился к ней иначе, чем к Китаю, Казахстану и многим другим странам.

Никто не навязывал нашей стране ни вступление в Совет Европы, ни участие в работе его парламентской ассамблеи, ни членство в «восьмерке». Более того, она целенаправленно стремилась оказаться и в европейском, и в мировом клубе западных демократий, в чем ни Казахстан, ни, тем более, Китай до сих пор замечены не были. А в этих клубах существуют свои стандарты, причем не двойные, а единые для всех. И если какая-то страна не только не приближается к ним, но все дальше от них отклоняется, то она тем самым демонстрирует претензию на учреждение двойного стандарта в самом демократическом сообществе: одного — для себя, другого — для всех остальных. Но этим остальным притязание на такую исключительность может не понравиться и вынудить их к открытому выражению недовольства. Что они и делают.

Мы опять-таки не сообщаем КП ничего нового. Как профессиональные политологи, они не могут всего этого не понимать. Но задача, которую они решают, требует не столько профессионализма, сколько весьма своеобразно понимаемого патриотизма. Он заключается в том, чтобы всеми доступными средствами обеспечить сохранение сложившейся в России государственной системы. Только она, по мнению КП, есть единственная опора и гарантия существования российской государственности. На чем зиждется их убежденность, они не объясняют. Эта тема табуирована, а сама убежденность все больше смахивает на некое религиозное верование, доступное лишь избранным. Но такой подход позволяет им каждого, кто подобный политический фатализм не разделяет, кто считает нынешнюю госсистему устаревшей, неэффективной и препятствующей развитию страны, кто видит альтернативу ей в современной либеральной демократии, автоматичес-

ки зачислять в разряд непатриотов и, соответственно, врагов России. Он же избавляет их и от бремени полемики с оппонентами — и здешними, и, тем более, зарубежными. Какая полемика с врагами?

Лукавая, однако, позиция. Неприличная. И очень, на наш взгляд, вредная для страны. Ведь что происходит? Группа политологов, несомненно имеющая право на свою точку зрения и свое толкование патриотизма, но, судя по всему, не распространяющая это право на других, навязывает свое видение развития России в современном мире как единственно правильное. Людям, что называется, дурят голову, произвольно подменяя понятия, а порой и переворачивая их смысл до противоположного. Западу нужна Россия слабая и зависимая, говорят КП. Но дело обстоит с точностью до наоборот. Запад, как никогда, нуждается в сильной и стабильной России-партнере, а в идеале — и в России-союзнике. Поэтому он так остро и тоже как никогда заинтересован в том, чтобы Кремль не реализовывал в своей стране политический проект, альтернативный демократическому. Таких тенденций Запад и в самом деле опасается. Потому что в нынешнем быстро меняющемся мире это может превратить Россию в его потенциального стратегического противника. Да еще с атомным оружием. Да еще, в отличие от того же Китая, живущего по соседству. Да еще в условиях обозначившихся 11 сентября 2001 года глобальных террористических угроз.

Ведь в своих отношениях с обновляющейся Россией Запад с самого начала исходил из того, что либеральные демократии, как показала жизнь, между собой не воюют. Поэтому он и поддерживал Москву в ее стремлении войти в международное демократическое сообщество, включая и сотрудничество со структурами НАТО. Такова была логика его действий и во времена Горбачева, и в годы правления Ельцина, и в первый период президентства Путина. Но с кремлевским проектом «суверенной демократии», ставшим идеологической заявкой на великодержавную политическую альтернативу демократическому миру, эта логика уже не стыкуется.

Запад к такому повороту оказался не готов. И не только он — множество россиян тоже. Впрочем, эта неготовность выглядит несколько странной, учитывая, что признаков смены Кремлем политического курса было немало и до появления «суверенного» от демократического сообщества проекта. А вот что действительно изменилось, так это стремительность темпа отхода. Он резко ускорился сразу после украинских событий. В Кремле осознали, что либерализация всей российской жизни зашла слишком далеко. И что если дело пойдет так и дальше, то точка невозврата к старым, исконно русским отношениям власти и общества может быть пройдена. А это — самая большая из всех мыслимых угроз госсистеме. Тогда-то Кремлем и его командой и начала вестись очень осмысленная и целенаправленная «работа с населением».

КП быстро сообразили, что одним лишь превращением западных и отечественных противников «суверенной демократии» во врагов России, использующих «двойные стандарты» и другие неблагоприятные приемы, здесь не обойтись. Осознали они, похоже, и то, что «суверенная» демократия, в отличие от прежней «управляемой», не может уже быть всего лишь промежуточной недоразвитой стадией на пути к чужим «развитым формам». Предстояло повысить ее статус до «развитой формы», но своей, «нашей». Тут,

правда, есть свои трудности. Советским пропагандистам было легче: «социалистическая» демократия считалась заведомо превосходящей западную или, как тогда говорили, «буржуазную». КП богатым опытом предшественников пока не воспользовались. Возможно, это у них впереди. Покуда же они сумели придумать лишь нечто совсем уж убогое: у нас все в порядке, потому что у других порядка не больше.

КП стали убеждать российское теленаселение в том, что никаких принципиальных различий между западной демократией и ее «суверенной» российской версией не существует. С точки зрения взаимоотношений власти и общества, а также власти и закона, это, мол, примерно одно и то же. Ведь и «у них» есть свои коррумпированные чиновники, бесчинства тюремщиков, превышения служебных полномочий высшими должностными лицами и прочие безобразия. Но при этом опять опускаются некоторые весьма существенные «мелочи». А именно, что в западной демократии любое подобное безобразие рано или поздно выявляется и становится предметом гласного разбирательства. Что и главам государств, и депутатам, и любым госчиновникам за допущенные ими злоупотребления приходится дорого расплачиваться — утратой поддержки избирателей, карьерами и репутациями, а то и просто на долгие годы отправляться в тюрьму. А главное, что в западной демократии сами эти злоупотребления — не продукт государственной системы, как у нас, а нещадно караемые законом без учета чинов аномальные отклонения от ее принципов. Соблюдаются же они вовсе не потому что власть там так бескорыстна и сознательна, — отнюдь нет! Они соблюдаются потому, что власть на Западе вести себя иначе не может. У нее есть ограничитель — люди, там живущие. Западное гражданское общество — обычные налогоплательщики и избиратели — это не просто сила, полноправно участвующая в принятии решений относительно своей собственной судьбы. Это сила, способная сместить любых правителей, если те перестают считаться с ее мнением и жизненными интересами. И именно здесь проходит основной водораздел между западной демократией и «суверенной», о чем КП, разумеется, хорошо знают, но своим соотечественникам не сообщают.

Их миссия в другом. Она в том, чтобы не допустить подобное в России. Проект «суверенной демократии» требует втолковывать людям: то, что на Западе граждане требуют от власти, здесь власть делает сама. И это — вопреки тому, что при такой «демократии» только случайность позволила обществу узнать об искалеченном солдате Сычеве, а о многих других жертвах государственной системы оно так и осталось не осведомленным. Вопреки тому, что законность российские граждане все чаще ищут и находят в Страсбургском суде по правам человека, а не в отечественных судах. И вопреки многому другому, хорошо нашим согражданам известному. Понятно, что подобные сюжеты КП интересуют мало: привлекательности «суверенной демократии» они добавить не могут, а вызвать ненужные вопросы способны.

«Суверенная демократия» — это не только отказ руководствоваться в политике универсальными демократическими правилами, любое напоминание о которых извне вызывает одну и ту же стандартную реакцию: «Никому не позволим нам указывать!» Это еще и попытка государства в очередной раз обрести полный суверенитет от российского демоса, не допус-

тить его самоорганизации и превращения в гражданское общество, дабы и оно не вздумало ему указывать. При такой «демократии» для населения предусматривается только одна роль — исправного избирателя правящей партии и просителя-челобитчика, во всем власти подконтрольного и никак на нее не влияющего.

Так что «суверенная демократия» — это еще и тест на зрелость и величие российского народа, вольно или невольно предложенный ему Кремлем. Потому как великий народ не может добровольно соглашаться быть только электоральным ресурсом и вечным горемыкой, ни в чем не участвующим, ни на что не влияющим и в результате ни за что происходящее в его стране не отвечающим. Ну, а если соглашается, то великим может провозглашаться его правителями в награду за послушание и покорность, но ни в собственных глазах, ни в глазах других народов таковым выглядеть не будет. КП же нужно внушить россиянам нечто прямо противоположное. Для этого им и предлагается особая картина мира, в которой различия между западной демократией и «суверенной» сознательно размыты. И очень даже понятно, почему КП не считают нужным информировать соотечественников о деятельности демократических институтов, отстаивающих права и свободы людей в западных странах.

Потому что «суверенная демократия» — это ведь новый вариант старой идеологии «особого пути России», суть которой всегда сводилась к воинствующему антизападничеству. Иногда совсем вульгарному, как в СССР, а иногда, как теперь, чуть менее вульгарному, но более изощренному, с учетом членства в «восьмерке» и Совете Европы. А для движения по этому «особому пути» правящему классу всегда был нужен и «особый» народ.

Русского человека веками воспитывали идеалистом, верящим, что все подлинное только на небесах, а жизнь земная мнима и с идеалом не соотносима, что в ее устройстве ничего изменить нельзя, а потому нечего и суетиться. Идеал задавался настолько высокий и недостижимый, что мог понуждать человека либо к полному мироотреченству, либо к инертному и безвольному существованию, либо к бунту, после которого все возвращалось на круги своя. Поэтому в России не пробуждался и тем более не поощрялся интерес к вопросам общественного и государственного обустройства страны, а целенаправленно формировалась философия «маленького человека» с ее квинтэссенцией — «там, наверху, им виднее, а наше дело маленькое». Именно к такому народу, — никуда не высовывающемуся и ни на что не претендующему, — и апеллируют КП, уверяя людей в том, что не только в России, но и на Западе «верхи» своевольно принимают решения, а «низы» и там ни на что не влияют.

А раз там все примерно так же, как и у нас, то это значит, что западная демократия ничуть не лучше «суверенной» и стремиться к ней нет никакого резона. Поэтому и западные демократы со своими деньгами, советами и опытом формирования гражданского общества пусть к нам не лезут.

Западные государства финансируют наши неправительственные организации не во имя демократии, а как средство реализации своих национально-государственных интересов в России. Демократия сама рассматривается как инструмент для облегчения прихода к власти фигур, которые дружески относятся к США и в целом к Западу.

Можно ли утверждать, что страны Запада в отношениях с Россией действуют «не во имя демократии»? Можно, если предположить, что национально-государственным интересам этих стран соответствует не демократическая Россия, а какая-то другая. Но какая именно? И какой такой режим могут установить в России после прихода к власти «фигуры, которые дружески относятся к США и в целом к Западу»? Почему, наконец, надо бояться этих прозападных фигур? Не потому ли, что они будут продвигать страну от «нашей» демократии к западной?

Думаем, ответов у КП нет. А если есть, они вряд ли осмелятся их обнародовать. КП можно даже пожалеть. Будучи образованными специалистами, они не могут не понимать, что западная госсистема по своей природе демократична, а русская — самодержавна. Первая — в том виде, в каком она сегодня существует, — во всех своих решениях зависима от гражданского общества, без участия которого их принятие невозможно. Вторая же с гражданским обществом несовместима по определению. Оно для нее убийственно. Потому что как только гражданское общество возникает и начинает требовать, чтобы власть учитывала его волю по всем жизненно важным вопросам, самодержавие свое историческое существование заканчивает и уступает место ранним формам демократии, неизбежно перерастающим в ее «развитые формы». И вот это-то коренное различие систем КП публично признать не могут. Более того, они вынуждены его скрывать, выдавая наше единовластие за народовластие.

Муторная работа. Ведь КП приходится не только утаивать хорошо им известное, но и разоблачать то, что ни от кого не утаивается.

Западные страны никогда не скрывали, что рассматривают продвижение демократии как средство обеспечения своих национально-государственных интересов. Для них, в отличие от КП, это не разные вещи, а одно и то же. Для них демократия — не только самый эффективный способ развития, но и надежная гарантия мира, средство обеспечения безопасности всех входящих в демократический альянс государств. Вам эта концепция кажется неверной? Доказывайте обратное. Аргументы неубедительными? Опровергайте. Вам не нравятся люди, которые «дружески относятся к США и в целом к Западу»? Ваше право. Но имейте в виду: тем самым вы признаетесь в антипатии к более чем половине своих соотечественников.

Если же хотите закрыть доступ в страну идеям современной демократии, то опускайте «железный занавес». А если не хотите или не можете, то учитесь жить и конкурировать в современном свободном и открытом мире. В таком мире нельзя правовыми способами запретить продвижение демократии, осуществляемое, в частности, и посредством информационной, финансовой и организационной поддержки тех сил за пределами западного цивилизационного пространства, которые хотят утвердить ее принципы в своих странах. И если Запад публично заявляет, что он руководствуется при этом и своими собственными интересами, то зачем изображать его открыто декларируемую позицию как тайную цель?

Затем, очевидно, что скрываемое и разоблаченное легче представить как враждебное. А от враждебного надо обороняться.

Будь КП уверены в том, что идея сохранения российской госсистемы способна консолидировать нацию, они не придумывали бы небылиц, а сказа-

ли бы вслух то, что говорить не решаются. Они сказали бы, что демократия в ее западном толковании соответствует интересам народов Запада, а интересам россиян не соответствует. Что все то, что позволило людям, там живущим, достичь своего нынешнего достойного положения, в России людям не нужно. Что разделение властей, свободные и справедливые выборы, равенство возможностей в политической конкуренции, независимость суда и СМИ — это не для нас. И тогда не нужно было бы ссылаться на примеры из американской и английской истории, не имеющие к нашим сегодняшним реалиям никакого отношения, и провозглашать Путина самым продвинутым русским либералом, демократом и западником. Зачем хвалить руководителя страны за то, что стране не нужно? Тогда не понадобилось бы и выводить Запад на чистую воду, предварительно приписав ему свою собственную предрасположенность к ведению двойной политической бухгалтерии.

Все это — от неуверенности в том, что наши сограждане хотят того же, что и их руководители. Она-то и заставляет Кремль и его спецпропагандистов конструировать мнимых врагов: под шумок борьбы с ними легче осуществлять зачистку всех источников, из которых проистекают и через которые распространяются вредоносные для системы идеи современной демократии. А когда дело дошло до неправительственных некоммерческих организаций (НКО), пришлось вспомнить и о приемах советского агитпропа: задание спецслужбам, находка спецкамня и триумфальное разоблачение в спецэфирах. Так НКО превращались в шпионские сети. Но грубость и топорность такой спецоперации, смутившей даже отдельных КП, — это ведь тоже от общей неуверенности.

С помощью старого советского приема Кремль решал новую и самую для себя актуальную задачу. Начав наступление на возникающее в стране гражданское общество, он должен защищать себя от обвинений в антидемократизме, в ущемлении конституционных прав и свобод граждан, с чем изменившийся за двадцать лет народ может уже и не согласиться. Да, полноценное гражданское общество в России еще не сложилось, людям не хватает солидарности, навыков самоорганизации. Нет у них и понимания своей роли в своем государстве. Но это уже и не прежнее бессловесное и покорное народонаселение.

Предоставленные государством самим себе, люди взяли всю ответственность за свои жизни на себя. Они крутились, вкалывали, учились и перестраивались, сами принимали решения и сами же их реализовывали. Они приняли на себя полное обеспечение своих семей и родственников, более удачливые подтягивали друзей и знакомых, помогали соседям и постепенно, сами того не замечая, создавали свою горизонталь взаимоотношений и взаимодействий, стараясь как можно меньше пересекаться с занятой собой властной вертикалью. Люди стали значительно самостоятельнее и, ощутив законное самоуважение и уверенность в себе, почувствовали себя в этой жизни субъектами. И совершенно естественно, что многие из них стали утверждаться в мысли, что эта их субъектность должна распространяться и на отношения с государством, мало чем им помогающим и много чего требующим. Именно так и возникает гражданское общество во всех странах: снизу и благодаря органически задаваемым жизнью условиям.

Понятно, что обществу, в демократии и рынке никогда не жившему, остро не хватает знаний — и о самой сущности демократии и рынка, и о том, как пользоваться их возможностями для своей пользы. А НКО — это и есть организации гражданского общества, которые учат людей пользоваться их правами, противостоять произволу государства и отстаивать в сложных жизненных коллизиях свои интересы. Но если они работают на «их» спецслужбы за «их» деньги, если об этом сообщают все телеканалы...

Старый прием должен был сработать так, чтобы люди испугались и впредь поостереглись иметь с НКО дело, опасаясь быть обвиненными в предательстве. Расчет был на то, что россияне, занятые выживанием, не смогут осознать, что их патриотические чувства используются против них самих. Против страны, у которой крадется время. Но многие, не сомневаемся, осознали. Надеемся, разберутся в этом и остальные.

Кремль же, нанеся удар по НКО, пытался продвинуться и в решении другой проблемы, которую с помощью КП решает повседневно. Больше всего апологеты российской госсистемы боятся того, что люди в России перестанут бояться Запада. Образ западного врага — это ее, системы, основной идеологический, политический и управленческий ресурс. И она использует его, чтобы дискредитировать западную демократию, не вдаваясь в разбор ее особенностей и отличий от нашего «народовластия». А используя, воспроизводит и сам ресурс, не дает ему иссякнуть. Перечитайте под этим углом зрения тезис КП, он того заслуживает.

Однако обличать и разоблачать других — это все же оборонительная позиция, которая КП долго удовлетворять не могла. Они, наверное, не забыли о том, что «социалистическая» демократия, противостоявшая «буржуазной», обеспечивала устойчивость советской системы не сама по себе, а в сочетании с международным весом и влиянием Советского Союза. Поэтому и демократии «суверенной» предстояло из обороняющейся превратиться в атакующую. КП взялись за решение и этой задачи.

К своему статусу ядерной державы Россия добавила статус энергетической сверхдержавы. Это позволяет ей претендовать на место среди современных мировых лидеров. Хватит болтать о «сырьевом придатке». Мощные сырьевые отрасли потянут за собой всю российскую экономику, станут локомотивом модернизации других отраслей, стимулом для создания новых, современных производств.

В отличие от заимствованной «суверенной демократии», «энергетическая сверхдержавка» — оригинальный отечественный PR-проект. И он, безусловно, самый удачный из всех, озвучиваемых КП. «Сырьевой придаток», еще вчера означавший экономическую и технологическую неполноценность, посредством простого переименования превратился в символ самодостаточности и международного престижа. Слабость, вызывающая чувство стыда, предстала как сила, которой можно гордиться.

Это переименование и сопутствующие ему внешнеполитические амбиции произвели эффект не только в России, но и в других странах, осознавших свою энергетическую зависимость от нее как серьезную стратегичес-

кую угрозу. Сама же Россия, казалось бы, нашла ключ к проблеме, которая до того выглядела неразрешимой. Проблема заключалась в том, что наличие атомного оружия после окончания холодной войны перестало восприниматься в мире как достаточное основание для великодержавного статуса и соответствующего ему влияния. Сам распад СССР наглядно продемонстрировал, что в современную эпоху величие и международный вес страны определяются в первую очередь эффективностью ее экономики и качеством жизни ее граждан. Сверхвысокие цены на сырье при растущем мировом спросе на него и были использованы для того, чтобы дополнить ракетно-ядерную составляющую величия составляющей экономической.

Так появилась «энергетическая сверхдержава». Первая в мире. Подобно первой стране победившего социализма. И, подобно ей же, лишенная стратегических перспектив развития. Еще один вариант временного выживания, пропагандистски оформленный как долговременная стратегия. Как светлый путь к будущему процветанию. Как надежная экономическая основа для осуществления нынешних масштабных национальных проектов, от которых — прямая дорога, как выразился один из КП, к «национальному (т. е. мировому) лидерству». Для начала — по темпам экономического роста, а затем, надо полагать, и во всем остальном.

Нам, как и другим россиянам, тоже хотелось бы, чтобы Россия стала страной экономически эффективной, чтобы национальные проекты были успешно реализованы, а жизнь людей улучшалась. Но для обретения уверенности в завтрашнем дне нам все же многого не хватает. Нас, например, очень смущает, что КП, опьяненные своей информационной монополией, не считают нужным реагировать на суждения экспертов, знакомых с проблемами энергетики не понаслышке, но по разным причинам на роль пропагандистов не претендующих. Ведь «суверенная демократия» пока еще не лишила их права голоса. Пусть и очень далеко от центра информационного влияния, но им этот голос дозволено подавать. Их суждения и оценки можно, разумеется, оставлять без внимания, благо до широкой публики они не доходят. Ну а если вдруг со временем выяснится, что эти суждения и оценки правильны? Не будет ли это означать, что люди, вводящие сегодня страну в заблуждение, своим патриотическим усердием приносят ей не пользу, а вред?

Поэтому во избежание будущих неудобств и вымученных неловких оправданий мы посоветовали бы КП хоть изредка прислушиваться к тому, что говорят их оппоненты. И, если есть что возразить, возражать по существу и со знанием дела, а не в духе хорошо освоенной нашими героями «мочилочки».

Оппоненты же утверждают, что переименование «сырьевого придатка» в «энергетическую сверхдержаву» — это или самообман, или сознательный обман.

Что не было и нет в мире такой страны, в которой богатые природные ресурсы, даже при высоких мировых ценах на них, стимулировали бы устойчивое развитие других секторов экономики.

Что нынешние относительно высокие темпы экономического роста в России, обеспеченные прежде всего благодаря постоянно растущим ценам на сырье, вуалируют устойчивое падение этих темпов в других отраслях, которое не может быть остановлено.

Что техническое оснащение самого нефтегазового сектора в значительной степени устарело, а добыча нефти и газа в последнее время почти не увеличивается.

Что в ресурсозатратной российской экономике преобладающая часть добываемого сырья идет не на экспорт, а на внутренние нужды и что экономический рост в других секторах, не сопровождающийся увеличением добычи, может быть обеспечен лишь за счет уменьшения сырьевого экспорта.

И еще много о чем говорят неангажированные эксперты, озабоченные пропагандистской эйфорией наших энергетических державников, а еще больше — попытками властей форсированно вернуть стране былое влияние, используя зависимость зарубежных потребителей российского сырья для оказания на них политического давления.

Эти эксперты понимают, что политическое влияние, добываемое за счет такой зависимости, зыбко и быстропреходяще, ибо на энергетическом рынке поставщики еще больше зависят от потребителей, чем потребители от поставщиков. Не исключаем, что КП понимают тоже. Однако свое предназначение они видят не в том, чтобы посвящать «массы» в реальные проблемы, стоящие перед Россией, а в том, чтобы оставлять эти «массы» в полном на сей счет неведении: ведь так намного проще внушать им оптимизм и ощущение державного величия их страны, будто бы возвращаемого ей мудрой и патриотической политикой Кремля. Но при сложившихся внешних и внутренних обстоятельствах такая пропагандистская установка может принести и уже приносит лишь вред — и населению страны, и ее руководству.

Проблемы, перед которыми оказалась современная Россия, беспрецедентны по своей новизне и сложности. Ей предстоит не просто осуществить технологическую модернизацию. Ей предстоит осуществить модернизацию такими методами, каких она прежде не использовала. И при Петре I, и на рубеже XIX—XX веков, и во времена советской индустриализации она могла обходиться заимствованиями нужных ей зарубежных технологий, инициировавшимися государством и происходившими под его патронажем. В наши дни, когда технологии быстро и непредсказуемо меняются, это уже совершенно невозможно. В современную эпоху модернизация может быть осуществлена только посредством перехода от экстенсивной экономики, какой она всегда была в России, к интенсивной. Или, говоря иначе, к экономике, развивающейся и за счет своих собственных, а не одних лишь заимствованных инноваций. Однако государство (не только российское, но и любое другое) не в состоянии сегодня самолично инициировать инновации, оно может лишь создавать для них условия, стимулирующие деловую активность частных лиц и корпораций. Если же оно вместо создания таких условий для инноваций технологических тешит себя инновациями терминологическими, изобретая неведомому миру «энергетическую сверхдержаву», то это равносильно полной и безоговорочной капитуляции перед современными мировыми вызовами, прикрываемой демонстрацией возросших международных амбиций и ура-патриотической пропагандистской риторикой.

КП, разумеется, тоже упоминают об инновациях и их важности для страны. Раз уже и президент о них заговорил, то и они молчать не могут. А вот как именно инновационная среда соотносится (и соотносится ли вообще) с

природой российской государственной системы, от КП не услышишь. «Энергетическая сверхдержава» и в самом деле соотносится с этой природой лучше. Она, правда, и вопросов вызывает немало, но на них ведь можно и не реагировать.

Такая риторика не только не готовит население к решению насущных проблем страны, но и препятствует их осознанию. Можно, конечно, в очередной раз попенять в оправдание на «незрелость народа»: он и в самом деле очень плохо осведомлен о том, что России грозит выпадение из мирового времени и превращение в необратимо отставшую технологическую периферию. Но если эти проблемы и вытекающие из них новые требования к людям ему не разъяснять, а тем более скрывать их, то более зрелым он уж точно не станет.

«Энергетическая сверхдержава», обслуживающая развитие чужих экономик, — это, мягко говоря, благоглупость. Это — еще одно, наряду с «суверенной демократией», идеологическое обрамление нынешней «вертикали власти», которая может поддерживать свою устойчивость лишь при полном подчинении себе не только политических, но и экономических субъектов. Последние же при таких обстоятельствах не могут чувствовать себя свободными рыночными игроками, чьи права надежно защищены законом: к естественным предпринимательским рискам здесь добавляются риски противоестественные, связанные с непредсказуемостью «вертикали» и произволом ее отдельных агентов. Поэтому нечего удивляться тому, что российский бизнес не торопится вкладывать деньги в долгосрочные инновационные проекты. В этих, не им заданных условиях его поведение трудно назвать неадекватным. В свою очередь, и сама властная вертикаль не способна производительно использовать свои огромные финансовые ресурсы, накопленные благодаря торговле ресурсами природными, и вынуждена их замораживать. И, понимая все это, КП уверяют публику в том, что сырьевые отрасли дадут толчок бурному развитию всех остальных, что у изобретенной при их участии «энергетической сверхдержавы» — не только великое настоящее, но и еще более великое будущее.

Если колоссальные государственные капиталы не находят применения в стране, остро нуждающейся в модернизации и, соответственно, в широко-масштабных инвестициях, то это как раз и свидетельствует о том, что в наступившей информационной эпохе государство не может взять на себя роль монопольного субъекта модернизации, которую в эпохи предыдущие неоднократно брало на себя в России. И не только потому, что при нынешнем состоянии нашей экономики любой вброс в нее денег грозит всплеском инфляции, но и потому, что время таких модернизаций в их самобытно российских и зарубежных воплощениях типа голлистского безвозвратно ушло. Но если при этом от долгосрочных инвестиций в отрасли развития предпочитает воздерживаться и частный капитал, то будущее страны оказывается под большим вопросом.

При нынешнем положении вещей роль субъекта технологической модернизации в России взять на себя попросту некому. Инновационная среда, без которой глубокая модернизация в наши дни невозможна в принципе, в стране не формируется. Не формируется же она именно потому, что

сложившаяся в России государственная система возникновения такой среды не только не стимулирует, но и блокирует. Между тем как раз эту систему и ее историческую прогрессивность и безальтернативность не устают воспевать КП.

Историческая заслуга Путина заключается в том, что он воссоздал российское государство, разрушенное его предшественниками и приватизированное ельцинскими «олигархами».

Этот тезис — базовый для КП. Он вбирает в себя все те смыслы, которые содержатся в других тезисах, от него производных.

Президент Путин действительно воссоздает российское государство. Именно воссоздает, т. е. выстраивает его по лекалам государства советского и досоветского. Сконструированная Путиным «вертикаль власти» с единоличным правителем на ее вершине — прямая наследница вертикалей прежних. А чтобы избежать хотя бы внешнего сходства с ними, формально сохраняются конституционно-демократические институты и процедуры ельцинского периода. Изначальная сложность задачи в том-то и заключалась, чтобы представить воссоздаваемое государство не как перелицовку старого, а как принципиально новое, которое вправе претендовать на сохранение обретенного при Ельцине места в сообществе демократических стран. Ради этого и были задействованы знания и дарования московских политологов, изъявивших готовность переквалифицироваться в пропагандистов. И они, чтобы выполнить столь почетное спецзадание, сделали все, что могли, и продолжают делать все, что могут.

Напомним вкратце об их заслугах.

Они бросили на помощь кремлевским работодателям свою богатую историческую эрудицию, рассказав неосведомленной публике о долгом бесправии американских чернокожих невольников и английском избирательном цензе позапрошлого века, а также о де Голле и других не менее именитых западных политиках. После этого ни у кого уже не должно было оставаться сомнений в том, что российская «вертикаль власти» — не антипод демократической государственности, а одна из ее исторических форм, имеющая свои зарубежные аналоги, и что Владимир Путин — это де Голль, Черчилль, Аденauer, Тэтчер, Рейган (а заодно и император Петр Великий) сегодня.

Они обнаружили незаурядную способность к освоению политического и интеллектуального опыта не только Европы и Америки, но и Азии, заставив послужить российской «вертикали власти» тайваньскую «суверенную демократию», превращенную ими в суверенную российскую, т. е. от западных стандартов и критериев демократии, в отличие от одноименной тайваньской, независимую.

Они явили стране и миру глубокое проникновение в тайны и хитросплетения мировой политики, уличив сам Запад в двойных стандартах на том основании, что он упрекает Россию в недостаточной демократичности, а Китай и Казахстан ни в чем подобном не обвиняет.

Они проявили не менее острое политическое чутье, разоблачив западные страны и в том, что те финансируют российские неправительственные

организации не ради продвижения в России демократии, которой у нее и без того хватает, а ради своих собственных национально-государственных интересов. После этого российская общественность уже вряд ли усомнится в том, что национально-государственные интересы не совпадают с демократией не только в недемократических, но и в демократических государствах.

Они поразили нас нестандартностью своего мышления, сочетающейся с уникальной для взрослых людей непосредственностью, когда объявили Кремль единственным в стране защитником российской демократической государственности, вынужденным и обязанным отстаивать ее посредством свертывания самой демократии.

Они, наконец, обнаружили немалую творческую силу, отыскав причинно-следственную связь между «суверенной демократией» и «энергетической сверхдержавой». Теперь стало окончательно ясно, что только воссоздаваемая отечественная государственность, официально объявленная новой и демократической, позволит вернуть и былую сверхдержавность.

КП и их менее известные последователи с чувством глубокого удовлетворения могут передохнуть. Им удалось внушить многим людям, что нынешняя кремлевская «вертикаль власти» и демократическое государство суть одно и то же. Или, по крайней мере, что пугинская вертикаль гораздо больше совместима с продвижением к такому государству, чем ельцинский режим, которому некоторые из наших героев тоже служили верой и правдой. Удалось им создать и низкую моду на хулу всех 90-х годов, представляя первое свободное от коммунизма десятилетие России как самое страшное время в ее истории. И все это у них получилось, потому что они сумели отождествить весь ельцинский период исключительно с властью «олигархов», с разной степенью удаленности отодвинутых сегодня от властной вертикали. Однако в последнее время не только маргинальные оппозиционеры, но и сами КП сообщают нам о том, что государство снова оказалось приватизированным — на сей раз уже не столько «олигархами», сколько бюрократией.

Этот факт не отрицается никем и прежде всего президентом Путиным, который среди важнейших пунктов политической повестки дня называет очищение «вертикали власти» от коррупционной ржавчины. КП, как им и положено, стараются донести президентскую установку до широких народных масс. И некогда им задуматься о том, что, как и во многих других случаях, жизнь столкнула их и их работодателей с непредусмотренными последствиями самой кремлевской политики и кремлевской пропаганды. Возможно, задумаются после того, как убедятся, что эти последствия успели укорениться в «вертикали власти» настолько глубоко, что при ее сохранении искоренить их из нее не получится. Ни у Путина, ни у любого его преемника.

Такую вертикаль можно было строить только при опоре на бюрократию — цивилизную и силовую. А она могла стать такой опорой только при условии, что получает строящуюся вертикаль в свою теневую собственность. Или, говоря иначе, получает неписаное право обирать бизнес, контролировать суды, формировать выражающие ее интересы выборные властные институты и даже свое собственное «гражданское общество», помогающее ей сохранять независимость от населения и гражданского общества без кавычек. Реализуя кремлевский проект, бюрократия незаметно, но упорно

и настойчиво устраняла плюрализм в СМИ, способствовала созданию «Единой России», обеспечила ее доминирование в Государственной Думе и региональных законодательных собраниях. Потому что политический плюрализм и свободная политическая конкуренция мешают ей жить и управлять так, как ей хочется и можется.

Какими бы ни были исходные мотивы, которыми руководствовались кремлевские конструкторы «вертикали власти», результат мог получиться лишь таким, каким получился. И очистить эту вертикаль от всего того, что первоначальным замыслом, быть может, и не предусматривалось, не удастся. Потому что для многих давно уже не секрет: речь идет не об отдельных изъянах воссоздаваемой Путиным государственной системы, а о природе самой этой системы. Она возведена на бюрократическо-коррупционном фундаменте. Никакими законами, призванными ограничить возможности для чиновничьего лихоимства, его не изменишь. Точечными назидательными репрессиями против отдельных чиновников — не изменишь тоже. А при более массовых репрессиях система рискует остаться без фундамента вообще. Подобные задачи оказывались непосильными даже для таких самодержцев, как Петр Великий, который казнил высокопоставленных казнокрадов, объявляя их государственными изменниками. Однако устроить этим других чиновников ему не удалось, а на тотальную чистку он так и не решился. И даже самого крупного и бесцеремонного тогдашнего казнокрада Александра Меншикова лишь предупреждал и пугал, но не трогал: нужный, а главное, незаменимый был человек. Так что если Путин, по информации КП, видит в Петре свой идеал, то в данном отношении тот ничему его научить не может.

Тем не менее Кремль все же начал очередное наступление на коррупцию. Оно всегда инициировалось в России, когда произвол чиновников достигал масштабов, опасных для самой государственной системы. Но методы, которые она использовала для обуздания этого произвола, во все времена напоминали лечение туберкулеза аспирином.

Коррупция, существующая везде, перестает быть системным явлением и сводится к минимуму лишь там, где сама госсистема зависит от общества, где бюрократия постоянно находится под светом софитов, т. е. под контролем свободных СМИ и независимых гражданских организаций, где чиновники несут юридическую и экономическую ответственность за ущерб, наносимый их действиями либо бездействием гражданам. В России ничего этого нет и пока не предвидится. Более того, нынешняя «вертикаль власти» для того и выстраивалась, чтобы все это исключить. Зато есть шумная антикоррупционная кампания. Иницируется принятие специальных законов, возбуждаются новые уголовные дела на высокопоставленных «оборотней» в погонах и без погон, реанимируются некоторые старые. То, что говорят о коррупции на всех телеканалах, впечатляет масштабностью намерений. КП довольны, — может быть, даже верят, что «вертикаль власти» будет наконец очищена и станет прозрачной.

Если так, то нам трудно разделить их чувства, хотя и мы за то, чтобы воры сидели в тюрьме — только настоящие, а не назначенные. Трудно, потому что мы помним о неудачах на этом поприще, которые постигли Петра

и всех других российских правителей. Даже некоторые люди, близкие к власти, не считают нужным скрывать от широкой общественности, что в таких государственных системах, как нынешняя российская, законодательное сужение возможностей для чиновничьих злоупотреблений и репрессии по отношению к отдельным коррупционерам могут не уменьшить, а еще больше увеличить объемы теневого оборота. Потому что система эта функционирует как своего рода рынок коррупционных услуг, где репрессии означают возрастание рисков, а возрастание рисков на любом рынке сопровождается ростом цен. В нашем случае — размеров взяток.

Что бы ни говорили КП о преимуществах путинского государства перед ельцинским, никакого нового цивилизационного качества оно не обрело. Оно лишь из слабого неправого превратилось в более сильное неправовое. И трудно сказать, что лучше. Ведь это, очень сомнительное, преимущество — результат очередного упрочения традиционной для России бюрократическо-силовой (она же коррупционная) компоненты власти, что не приближает утверждение принципов законности и права, а еще больше от него страну отдаляет. Между тем во всем том, что касается главных внутренних проблем России и ее модернизации, такое государство остается беспомощным.

Будучи не в состоянии гарантировать право собственности и другие базовые права людей, оно не в состоянии установить и единые и повсеместно соблюдаемые правила деловой игры, без чего к нему нет и не будет доверия. Поэтому у него нет и не может быть внятных стратегических целеполаганий. Поэтому в лучшем случае оно обречено на постоянное суетное латание дыр, а в худшем — на стагнацию и разложение. Поэтому оно и впредь вынуждено будет, движимое инстинктом самосохранения, именовать свою скрываемую за демократическим фасадом бюрократическо-авторитарную природу «суверенной» или какой-то другой «демократией» и маскировать свое стратегическое бессилие PR-проектами вроде «энергетической сверхдержавы».

Но долго так продолжаться не может. Рано или поздно наши сограждане начнут осознавать, что под разными названиями им предлагается некая особая демократия, из которой исключено общество, замененное «Единой Россией», Общественной палатой и административно насажденными общественными организациями — неестественными, казенными и холодными. И число прозревающих будет со временем лишь увеличиваться. Именно об этом свидетельствует мировая политическая история, а вовсе не о том, в чем тщатся убедить своих соотечественников КП.

Рано или поздно большинство россиян поймет и то, что ничего в их жизни существенно не изменится, пока сохраняется властная монополия одной политической группировки. Поймут люди и то, что басманное правосудие, при политической монополии неизбежное, во вред не только отдельным «олигархам», но и им самим. Равно как и то, что не отвечают их интересам интерпретация происходящего в стране и за ее пределами конформистски ориентированными КП и предоставленная последним привилегия на такую интерпретацию.

Все это произойдет неизбежно. Вопрос лишь в том, какую цену придется заплатить стране, ведомой сегодня ее властной элитой в прямо противо-

положном направлении, за трансформацию бюрократическо-коррупционной государственности в демократически-правовую. Но чем больше времени уйдет на опробование очередного тупикового варианта, тем цена будет выше. Не лучше ли поэтому одуматься как можно раньше?

Российское государство нуждается именно в трансформации, причем коренной. Просто реформам оно не поддается, как не поддалась в свое время КПСС. Готовность же к таким трансформациям зависит от состояния народа и его элиты. Российский народ, даже после пятилетки грамотной обработки его мозгов КП и их единомышленниками, тому не препятствие. И не потому, что весь он очень уж либеральный и демократичный, а потому, что никаких его интересов и ценностей это не ущемит. Для давно назревшего преобразования государственной системы стране не хватает ответствующей элиты, имеющей ясное представление об исторической развилке, на которой оказалась сегодня Россия, и проистекающей отсюда исторической ответственности ее правящего класса. Альтернатива предельно жесткая: либо прорыв в постиндустриальную информационную эпоху, либо выпадение из нее. При том, что изыскать свой «особый путь» гонки за временем, как то удавалось в эпоху индустриальную, уже не получится.

Чтобы ответить на современные внешние и внутренние вызовы, России нужна элита, готовая оставить в прошлом образ народа-объекта, воспроизводившийся из века в век элитами прежними — дворянской и советской. Те элиты, попадая на исторические развилки, находили свои ответы на мировые вызовы, хотя это и не спасло их от последующей деградации и краха. Нынешней же российской элите деградация может быть уготована без предшествующих достижений, но с тем же конечным результатом. Потому что в наши дни, в отличие от досоветских и советских времен, без *субъектности общества*, его свободной и сознательной самоорганизации на решение стоящих перед страной новых задач никакой правящий класс их не решит.

Это не интеллигентский идеализм с его народопоклонством и властенавистничеством. Необходимость изменения в России статуса общества — это самая что ни на есть политическая прагматика. От осознания нашей элитой, прежде всего интеллектуальной и культурной, такой необходимости напрямую зависят и жизнеспособность российской государственности, и конкурентоспособность страны в современном мире, и ее в нем место.

Соответственно, России нужна элита, способная признать, что «суверенная» пародия на современную либеральную демократию не возвышает, а унижает страну и ее граждан. Пародия на чужое, публично исполняемая как гимн державному величию, — это, согласитесь, не совсем то, что могло бы придать россиянам чувство национального достоинства, о чем так пекутся некоторые КП. Гораздо достойнее было бы полезное чужое освоить, сделать своим собственным достоянием и использовать в интересах своей страны. Но это значит, что Россия нуждается в такой элите, которая оставит в прошлом и принцип политической монополии как несостоятельный и для России сегодня пагубный. В элите, осознавшей неизбежность выбора в пользу политической конкуренции, причем не как средства борьбы за монополию, а как безальтернативного способа государственного существования, обеспечивающего сменяемость власти.

А это, в свою очередь, уже само по себе будет означать и принципиальное изменение взаимоотношений власти и общества. При политической монополии оно рассматривается как ее придаток. Как ресурс, наподобие природного, подлежащий пропагандистской обработке в духе КП или их советских предшественников. При свободной же политической конкуренции общество стимулируется к превращению из объекта воздействия в субъект развития. Излишне говорить, что при этом оно должно обладать всей полнотой информации о происходящем в стране и мире, что и позволит ему осмысленно и ответственно участвовать в выборе пути и способа развития страны. А без такого субъекта политики, для России совершенно нового, нынешняя властная элита будет лишь тянуть время, заботясь исключительно о том, чтобы комфортная для нее архаичная госсистема просуществовала как можно дольше. И уже одним этим подпитывая надежды своих оппонентов из националистического стана на возможность замены одного властного монополиста другим. Неужели большевистского эксперимента стране недостаточно и для обучения демократии и праву нам нужен дополнительный негативный опыт с еще более катастрофическими, чем раньше, последствиями?

Между тем Россия подошла к такому историческому рубежу, на котором, повторим, именно традиционная для страны государственная система, в новой форме сегодня воспроизводимая, стала главным тормозом технологического, экономического и политического развития. При ее сохранении переход от экстенсивной сырьевой экономики к интенсивной экономике инноваций невозможен в принципе. А значит, невозможно и продвижение к существенно иному, чем сейчас, качеству жизни людей. Такая вот историческая развилка.

КП часто говорят о необходимости постоянного обновления общенациональной политической повестки дня и желательности ее максимально широкого обсуждения. Мы готовы поверить, что они этого действительно хотят, но совсем не уверены в том, что они предрасположены обсуждать не только то, что считают уместным в Кремле. Или, говоря иначе, обсуждать не только повестку дня, спущенную сверху, но и то, какой она должна быть. Со своей же стороны мы хотели бы предложить в эту повестку три вопроса.

Вопрос первый: что и кому нужно делать для трансформации российской экономики из экстенсивной в интенсивную? Что и кто этому мешает?

Вопрос второй: можно ли такую трансформацию осуществить в неправовом государстве, и если нельзя, то как его превратить в правовое? Что и кто этому мешает?

Вопрос третий: возможно ли подобное превращение при «суверенной демократии», т. е. при полном отключении общества от политики и бюрократической опеке над ним? И если нельзя, то как продвигнуться от «суверенной демократии» к демократии современной? Что и кто этому мешает?

Мы уверены, что при отсутствии ответов на эти вопросы ни одна из серьезных проблем, стоящих сегодня перед Россией, не может быть решена. КП здесь не помогут.

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

Григорий Водолазов. Идеалы и идолы. Мораль и политика: история, теория, личные судьбы

М.: Культурная революция. 2006. — 864 с.

Мало с чем могу сравнить впечатление, которое произвела на меня в начале 70-х гг. книга Григория Водолазова «От Чернышевского к Плеханову». И то интеллектуальное воздействие, которое она на меня тогда оказала.

В книге шла речь о русских публицистах второй половины XIX века, о движении их мысли от вопроса «что делать?» к ответам на него. Но написано это было так, что их вопрошания и искания воспринимались обращенными непосредственно к нам — людям, живущим столетием позже.

Да, так писали в 70-е многие. Однако чаще всего это был литературный прием, позволявший обозначить свое неприятие советской политической реальности и донести его — в обход цензуры — до читателя. На этом фоне книга Водолазова выделялась тем, что прошлое в ней служило не просто подспорьем, позволявшим выразить критическое отношение к настоящему: смотрите, мол, как все похоже и одинаково мерзко. Автора интересовало другое: как люди столетие назад в схожей исторической ситуации искали выход из нее, какие предлагали программы и способы ее преодоления.

Конечно, подробно анализировались и тактические приемы, которые помогали донести до читающей публики со страниц подцензурных изданий нужную мысль. Но главным для автора все же было не то, *как* доносились до читателя взгляды, противостоявшие официальным, а то, *что* доносилось. Этого почти никто в то время, кроме Водолазова, не делал.

Потом уже, познакомившись с автором, я узнал, что книга, помимо прочего, была направлена, по его замыслу, и против умеренно оппозиционного, не противостоявшего всей политической системе страны в целом («системного») либерализма «Нового мира» периода его наибольшего влияния. Точнее — против той части редакции, которая определяла в 60-е гг. идеологическое направление журнала.

Григорий Водолазов, тогда еще совсем молодой человек, начинал уже писать для него и успел до увольнения Твардовского с поста главного редактора опубликовать несколько статей. Он примыкал к тому крылу редакции, которое было представлено Юрием Буртиным и Игорем Виноградовым и которое они сами называли демократическим. По отношению к существовавшей тогда политической системе это направление было анти-системным. И своей книгой Водолазов — на примере «Современника» и «Русского слова» — попытался показать, каким должен быть подцензурный демократический журнал, чем должен он отличаться от изданий, руководители и авторы которых озабочены лишь либерализацией существующего

политического режима при сохранении его глубинной недемократической природы. Впрочем, тогдашний режим не готов был терпеть и «системных» либералов: книга вышла в 1969 году, когда «Новый мир» был уже накануне разгрома.

Обо всем этом читатель, интересующийся эпохой 60-70-х гг., может узнать теперь из первых рук, познакомившись с новой книгой Водолазова «Идеалы и идолы». В ней представлены и фрагменты той, первой его книги «От Чернышевского к Плеханову», и некоторые журнальные статьи тех лет, и воспоминания об идеологическом размежевании в «Новом мире». Но самое интересное заключается в том, что в «Идеалах и идолах» воспроизведены и работы автора более поздних периодов, перестроечного и постперестроечного, и у нас есть возможность увидеть, как сам он следовал и следует тому, к чему призывал в брежневские времена.

Сразу скажу: последовательность редкостная. Какая бы политическая погода на дворе ни стояла, какие бы ни дули идеологические ветры, автор остается верен себе. Он остается убежденным приверженцем демократии, противостоящим и новому, постсоветскому «системному» либерализму элит, и тем подделкам под демократию, которые распознаются им быстрее и острее многих других. Потому что у него есть критерии, позволяющие легко отличать белое не только от черного, но и от серого.

Еще в первой половине 90-х гг. Водолазов назвал политический строй, складывавшийся в постсоветской России, «номенклатурной демократией». Мне тогда этот термин не нравился, мы с Водолазовым даже на сей счет полемизировали публично, и он эту полемику счел нужным воспроизвести в своей книге. Я и сейчас не могу сказать, что термин кажется мне точным. Во-первых, «номенклатурной демократией» можно назвать и ее советскую версию. А во-вторых, само словечко «номенклатура» жестко привязано опять-таки к советской эпохе и советскому способу «подбора и расстановки кадров». Но не могу и не признать, что ничего лучшего для обозначения постсоветского «народовластия» до сих пор не придумали. «Управляемая демократия» хуже уже тем, что в ней не обозначен управляющий, а демократия «суверенная» представляет собой тот случай, когда прилагательное не столько проясняет смысл существительного, сколько камуфлирует его содержание.

Не могу не упомянуть и о том, что уже в августе 1992 года Водолазов в одной из статей (она тоже есть в книге) писал о необходимости проведения новых выборов. Наверное, это писалось с опозданием: выборы надо было проводить сразу после того, как распался СССР и образовалось новое российское государство. Этого не сделали, были сохранены позднесоветские политические институты, и в итоге страна получила кровавую осень 1993-го. Но автор книги уловил несообразность раньше многих других, как чутко уловил и то, что под именем свободной демократической России складывалось нечто иное, названию не соответствовавшее. И опять-таки потому, что у него были критерии, не позволявшие считать людей демократами только на основании того, что они противостояли коммунистам и поддерживали Ельцина в его противостоянии с хасбулатовским Съездом народных депутатов.

И все это было против течения, без надежды на серьезный отклик в обществе, не готового воспринимать борьбу «демократов» и «коммунистов»

как столкновение номенклатурных остроконечников и тупоконечников. Мне тоже не во всем был близок тогдашний пафос Водолазова и выступавшего с ним в соавторстве Юрия Буртина. И, перечитав в книге нашу с ними полемику тринадцатилетней давности, неправым я себя признать не готов. Более того, последующий ход событий лишь укрепил меня в моей позиции.

Я был согласен с автором книги тогда, как согласен и теперь, в его критике «номенклатурной демократии», которой он противопоставлял и противопоставляет демократию «низовую». Или, что то же самое, демократию с гражданским обществом как ее единственно надежным фундаментом. Но такая критика, если она касается только власти, сама по себе мало что дает, на мой взгляд, для понимания происходящего.

Гражданское общество нигде не возникло благодаря содействию номенклатурных или каких-то других «верхов». Оно возникает и развивается только в результате обретения способности организованно противостоять им, отстаивая свои интересы. Российское общество в 90-е годы такой способности не обнаружило. И тем самым косвенно содействовало утверждению «номенклатурной демократии».

Власть такова, какой население позволяет ей быть, — вот что мне представляется на сегодня самым важным. И если в критике власти от этого отвлечься, то легко соскользнуть на позицию ее советчика, в котором она меньше всего нуждается.

К сожалению, автор книги такого соскальзывания не избежал. Иначе мне трудно объяснить, почему он предлагал *дополнить* нынешнюю президентскую «вертикаль власти», изначально «номенклатурную», горизонталями гражданских организаций. Да не бывает же так, если организации эти не возникают снизу и не имеют сил, чтобы заставить с собой считаться! При таких обстоятельствах властная вертикаль не только не может быть «дополнена» автономными от нее горизонталями, но может использоваться лишь для того, чтобы укреплять именно «номенклатурную» составляющую демократии и подавлять уже существующие организации, от вертикали недостаточно зависимые. Что мы в последние годы и наблюдаем.

Но это, как мне кажется, частные разногласия. Мы с автором книги хотим для страны, — по крайней мере, в обозримой перспективе, — одного и того же, хотя несколько расходимся в понимании того, почему это не получается. А перед убежденным «народничеством» Водолазова, проявившемся в пору, когда о народе и народовластии вспоминали разве что зюгановские и анпиловские коммунисты, я снимаю шляпу. Нужно было иметь интеллектуальное и гражданское мужество, чтобы выступить с идеей «демократической альтернативы» и против демократов, и против коммунистов еще *до* того, как был обнародован текст авторитарной ельцинской конституции. Не знаю, рассчитывал ли автор быть услышанным и понятым, но шансов на это у него не было никаких.

Однако главное, в чем проявилось водолазовское «против течения», я вижу все же в другом. Я вижу это в самом факте его книги, в том, какие свои прежние тексты он в нее включил и что нового добавил.

Дело в том, что автор — социалист, сформировавшийся в марксистской интеллектуальной традиции. И он не только не отрекается от нее, но и не

считает нужным умалчивать о своей былой приверженности. Потому что эта приверженность с ним и поныне.

Учитывая особенности постсоветской интеллектуальной атмосферы, такая открытость вызывает глубокое уважение. Ведь факт же, что отыскивание марксистских следов в писаниях оппонентов стало сегодня для многих своего рода дополнительной специализацией: вместо того, чтобы разбирать чьи-то доводы, можно походя окрестить их марксистскими, что уже само по себе кажется неотразимым аргументом. И не только самим авторам обличений, но и большинству их читателей и почитателей. А то, что подобный антимарксизм призван лишь прикрыть теоретическую наготу, замечается немногими. Время такое — углубляться некогда, и в спешке знаки становятся важнее смыслов.

Григорий Водолазов не отрекается от своей интеллектуальной биографии и меньше всего думает о том, как угодить бывшим исследователям «развитого социализма» и «социалистического образа жизни», ставшим энтузиастически развенчивать себя прежних, не признаваясь в том, что разоблачают сами себя. Он может позволить себе об этом не думать, потому что таким «исследователем» советской идеологической мифологии никогда не был.

Он был из числа наиболее заметных критиков сталинской системы и ее послесталинских трансформаций как искажений социалистического идеала в его марксистской интерпретации — своего рода марксистских протестантов. И он предъявляет современному читателю своеобразный отчет: вот то, что я писал в 60-е гг., вот то, что в 70-е, вот то, что во времена перестройки и позже. Вот марксизм, за который я еще в студенчестве удостоился чести отвечать на вопросы следователя КГБ, а потом — не меньшей чести быть отслеживаемым этим Комитетом в регулярно обновлявшемся персональном досье, которое к моменту распада режима составляло несколько томов.

Я это не к тому, чтобы выразить солидарность со всем, что автор говорит о Марксе и Ленине. Более того, во времена перестройки нам приходилось с ним резко и жестко полемизировать. Эта полемика подробно представлена в книге «Социализм: между прошлым и будущим» (М.: Прогресс. 1989), и здесь не место на ней останавливаться. Ограничусь поэтому лишь одним замечанием: фундаментальное заблуждение Маркса и Ленина заключалось, по-моему, в том, что они считали демократию сочетаемой с отменой частной собственности. При такой исходной посылке жизневоплощение марксистской доктрины не могло не обернуться сталинизмом, маоизмом или чем-то похожим. Но поэтому и поиски задним числом марксистской *альтернативы* сталинизму, столь распространенные в перестроечные времена, я считал непродуктивными и от своей позиции, представленной в упомянутой книге (и тоже в прямой полемике с Водолазовым), не отказываюсь. В частности, и потому, что усматриваю в подобных поисках иного прошлого, до сих пор модных, вольную или невольную капитуляцию перед неподатливостью настоящего, вольное или невольное признание *его* безальтернативности.

Но для меня важно все же не то, в чем именно Водолазов прав, а в чем ошибается. Гораздо важнее то, что перед нами — честная, последовательная и постоянно развивающаяся мысль, чуждая каким-либо конъюнктурным метаниям. Это важнее хотя бы потому, что монополия на истину никому из

смертных не дарована, а в неприятии любых притязаний на такую монополию мы с Водолазовым едины. А также потому, что Водолазов и сам отнюдь не апологет марксистского проекта в его первоначальном виде, он видит и его изъяны, его историческую и теоретическую ограниченность. Прежде всего — непредусмотренность в нем захвата упраздненной частной собственности бюрократией. Другое дело, можно ли было это заранее предусмотреть и могла ли такая теоретическая прозорливость сказаться на экономической и политической практике, на ходе и исходе советско-социалистического эксперимента в России и других странах. Произошло то, что произошло, и даже господу Богу не дано, судя по всему, сделать бывшее небывшим или иным.

С автором можно и, по-моему, нужно спорить, но его аргументы в защиту марксизма нельзя просто отбросить как некую теоретическую архаику. И потому, что марксистская традиция не отброшена полностью мировым обществознанием, а частично им ассимилирована. И потому, что в продолжение и развитие этой традиции и сегодня появляются труды, широко обсуждаемые в уважаемых академических изданиях Европы и США, — достаточно сослаться на «Империю» Майкла Хардта и Антонио Негри. И потому, что на Западе сложились влиятельные научные школы (например, школа «миросистемного анализа» Иммануила Валлерстайна), чьи прогнозы относительно капиталистического общества во многом близки к марксистским. Поэтому, кстати, нынешний огульный отечественный анти-марксизм выглядит не менее провинциальным, чем прежние рьяные «марксистские» изыскания его современных боевиков, которые дружно выискивали в текстах тех же Маркса и Ленина «критерии социалистичности социалистического образа жизни».

С Водолазовым, повторяю, можно и нужно спорить о марксизме и роли марксистского проекта в отечественной и мировой истории. Но с ним нельзя всерьез спорить, зная предмет спора из вторых или третьих рук. Потому что Водолазов знает Маркса и Ленина так, как ныне вряд ли кто знает в стране. Это и позволило ему в годы перестройки как *очищать* их наследие от приватизировавшего его советского обществоведческого официоза в лице одного из его столпов академика Петра Федосеева, так и *защищать* от не во всем оправданной, по мнению Водолазова, критики Василия Гроссмана во впервые опубликованной в те годы повести «Все течет». И если в первом случае автор противостоял исторической инерции (единственным текстом, на изъятии которого из известного сборника «Иного не дано» настаивали в ЦК КПСС, был очерк о Федосееве), то во втором — общественному мнению, форсированно освобождавшемуся от ленинского культа и менявшему предписанное почитание на дозволенное отторжение.

Убеждения автора понуждали его плыть против исторического потока. И он делал то, что считал правильным и нужным. А теперь он вторично представляет свои старые полемические работы на суд читателей. Убеждений, если они есть, не стесняются. Стесняются конъюнктурного приспособленчества, о котором спешат забыть, когда времена меняются и приспособляться надо уже к чему-то другому, чем раньше.

Меня, признаюсь, удивило, что Водолазов решил рассказать в своей новой книге о том, как в годы перестройки, перед самым крушением советского

строю пытался, став одним из руководителей журнала «Проблемы мира и социализма», преобразовать международное коммунистическое движение на новых, демократических началах. Судя по всему, руководителям КПСС это казалось уже в то время наивным, и те из них, к которым он взывал с просьбами и требованиями о поддержке (соответствующие документы в книге приводятся), услышать их не могли. Но в глазах Водозаова то было предательством идеалов и остается таковым до сих пор. Он делал то, что считал единственно правильным, полагая, что руководители партии, в которой он состоял, должны были думать так же.

Мне не кажется, что Григорий Григорьевич был тогда прав. Я уверен, что ни советский социализм, ни подчиненное Москве международное коммунистическое движение перестроить было нельзя, что приговор им история к тому времени уже вынесла. И то, что движение это ушло в политическое небытие вместе с СССР и КПСС, — едва ли не самое убедительное тому подтверждение. Собственных глубоких корней в своих странах оно не имело и самостоятельно существовать не могло. Но я опять снимаю шляпу в знак уважения к человеку, который плывет против течения, даже если это течение самой истории.

К тому же, может возразить автор, и история, бывает, возвращается к тому, от чего, казалось бы, навсегда ушла, и продвигается вперед посредством возрождения и обновления прошлого. Потому что у любых исчерпавших себя форм жизни, в том числе и не очень привлекательных для современников, есть своя идеальная сторона, которой не суждено было стать реальной, есть *свое невоплощенное*. Правда, доказать, что ему суждено вернуться и воплотиться в будущем иначе, чем в прошлом, невозможно в принципе. Но ведь нельзя доказать и обратное...

Автор книги, как я уже говорил, к реанимации прежних проектов не призывает. Не претендует он и на их обновление, признавая такую задачу непосильной для одного человека. Пафос его книги в другом: если идеалы имеют свойство окукливаться в идолы и идолопоклонство, то это не значит, что их надо предавать забвению. Если добрыми намерениями, замечает Водозаов, вымощена дорога в ад, то отсюда еще не следует, что в рай могут привести намерения недобрые. Отсюда следует лишь то, что одними добрыми намерениями руководствоваться опасно, надо научиться просчитывать последствия их осуществления. Целясь в идолов, не расстреливайте идеалы! — вот что хочет сказать нам автор.

И это тоже сегодня не модно. Постмодернистский мир купается в прагматике и симулякрах, он стер границы между подлинным и неподлинным. А новых проектов, высвечивающих горизонты новой подлинности, пока нет. При том, что старые успели обнаружить свою уязвимость. Либеральный проект с его акцентом на индивидуальный свободе преобладающую часть человечества не устраивает, так как ассоциируется с неравенством стран и народов, а социалистический выявил свою несовместимость не только со свободой, но и с равенством. Как же быть?

Ответ автора: для начала давайте хотя бы осознаем, что человечество, лишенное общественных идеалов, обречено. И если все его прежние идеалы переживают кризис, то давайте отойдем от постмодернистской апологе-

тики этого кризиса, давайте откажемся считать его достигнутой наконец-то бескризисной нормой и попробуем увидеть в нем не итог, а проблему. А чтобы глубже осознать ее, обратимся к ее истокам, к тому времени, когда все еще только зарождалось, и к тем мыслителям, с которых начиналась интеллектуальная история современного мира.

Так объясняет Водолазов, почему он в 90-е гг. стал углубленно изучать наследие Сократа, Платона и Аристотеля, которые заменили ему Канта, Гегеля, Маркса, Ленина, Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Так объясняет он, почему в его книге прежние тексты перемежаются с анализом идей и проектов великих греков. И все это не выглядит собранием сочинений разных лет, размещенных в вопиющем хронологическом и содержательном беспорядке, только и исключительно потому, что все это — об одном и том же. Об идеалах, воплощающихся в идолах, и о том, почему так происходит.

Я не знаю, могла ли в принципе такая книга выйти из-под пера человека, не принадлежащего к поколению шестидесятников, к тому их крылу, идеалом которого был демократический «социализм с человеческим лицом». Я даже не уверен в том, что нечто похожее могли бы написать те представители этого поколения и этого крыла (Юрий Буртин, Игорь Дедков, Лен Карпинский и другие), о жизни и идеях которых автор рассказывает с редкой по нынешним временам интеллектуальной и душевной щедростью. Ее мог, по-моему, написать только человек, для которого социалистическая идея настолько органична, что он без какого-либо насилия над собой мог столь последовательно отстаивать ее и в советское время, и в перестроечное, и в постсоветское. Только человек, глубоко переживший ее кризис и не мыслящий своего существования без поиска выхода из него, — хотя бы и сугубо теоретического. Короче говоря, ее мог написать только Григорий Водолазов. И я очень рад за своего давнего друга, которого считаю одним из своих учителей, что он это сделал.

Удивительными получились в его передаче поиски древнегреческих мыслителей. Это уже не просто «против течения». Это изложено так, как будто никаких «течений» не существует вообще, а есть лишь автор со своими вопросами и запросами к бытию и сознанию, и есть люди, жившие двадцать пять столетий назад, но озабоченные тем же, что и он.

«Течение» требует рассматривать минувшие эпохи в их *отличиях* друг от друга и от нас, нынешних, в их исторической и культурной особенности и обособленности, в их замкнутости на себя, а не в их разомкнутости в прошлое и будущее. А тут — все с точностью до наоборот: водолазовские великие греки ищут ответы на *его* вопросы, они — его современники, которых он заставляет говорить его собственным языком.

Более того, делает это осознанно, используя для актуализации древних мыслителей особые приемы: водолазовский Сократ, никогда ничего не писавший, пишет из тюрьмы письма Платону, а Аристотель наиболее важные для Водолазова мысли фиксирует в дневнике. И автор книги не только не скрывает, но и предупреждает: это не они, это я за них излагаю то, что они думали, моим, а не их языком и в моей, а не в их стилевой манере.

Наверное (и даже наверняка), специалисты в области античной философии найдут основания для упреков автору в некорректности. Но не ду-

маю, что кто-то сумеет усмотреть в этой попытке сделать Сократа, Платона и Аристотеля нашими современниками всего лишь произвольные фантазии на темы древнегреческой политической мысли. Слишком очевидна проделанная автором огромная работа по освоению (превращению чужого в свое!) первоисточников и их осмыслению в собственной логике, исходя из собственных вопросов и желания вычленив в текстах ответы именно на них.

Видно, как автор увлечен своим поиском. И меня, как читателя, он увлекает тоже. Это, помимо прочего, еще и высококлассная педагогика. И я бы посоветовал Григорию Водолазову соединить античные сюжеты книги, разбросанные по ее страницам, в связный текст и издать отдельно. Отличное было бы пособие для студентов политологических факультетов. Преподаватели жалуются: не интересны их слушателям Платон с Аристотелем, не хотят их читать, а тем более — изучать. А водолазовским студентам, судя по их письменным работам, тоже представленным в книге, эти мыслители стали интересны. Что, по нынешним временам, уже достижение.

Нетрудно заметить, что интерес к ним возбуждается вопросом, который для автора и есть самый главный: можно ли соединить политику и нравственность? Прав ли Никколо Макиавелли, считавший их несовместимыми? Если «да», то высокие общественные идеалы и в самом деле могут служить лишь пищей для идолов, а потому лучше о них забыть: по крайней мере не будет идолов. А если Макиавелли не прав, то как все же подчинить политику нравственности?

Сократ ответил: «Не знаю». Но сам вопрос он считал настолько важным, что ради привлечения к нему общественного внимания сознательно пошел на смерть. А его ученики и последователи продолжали искать ответ. И Григорий Водолазов приглашает нас вместе с ними заново пройти их путь, а предварительно и путь самого Сократа. Не забывая о том, что Макиавелли много столетий спустя снимет сам вопрос, как заведомо неразрешимый, но помня и о том, чем оборачивается в политике аморализм. В частности, и в современной России.

Кстати, именно античные сюжеты Водолазова вызвали у меня желание порассуждать о некоторых прошлых и нынешних отечественных проблемах. Раньше я говорил в основном о самой книге. Теперь, в соответствии с журнальной рубрикой, воспользуюсь ею как поводом.

Автор подробно и эмоционально, с многочисленными ссылками на исторические фигуры (от Кромвеля до Ельцина) повествует об открытом Платоном всеобщем законе круговращения политических режимов. Своего рода «беличье колесо», как называет его Водолазов. Колесо бесконечно вращается от одной политической формы к другой, каждый раз приводимое в движение некими нравственными первотолчками, сила которых быстро иссякает, и новая форма, как и ее предшественница, подвергается моральной коррозии, после чего сменяется другой с тем же конечным исходом. Демократия сменяется тиранией, тирания — тимократией (властью «людей чести», позднее названных революционерами), тимократия — олигархией, а та — снова демократией. И так — без конца и, соответственно, без начала: какие концы и начала у кольца?

Если кого-то объем книги (около девятисот страниц!) устрашит, советую прочитать хотя бы главы о «беличьем колесе». Ну, а дальше как захочется и как пойдет. У меня же, повторяю, именно они вызвали некоторые размышления, выводящие за границы водолазовского текста.

Прежде всего, никакого такого всеобщего закона не существует. Так что если уж Платону, следуя полшутливому совету Водолазова, и присуждать посмертно Нобелевскую премию, то с существенными оговорками. Оговорками насчет того, что речь идет не обо всей мировой истории, а лишь о тех ее периодах, когда перед определенными странами и народами вставал вопрос о соединении общественного и государственного порядка со свободой. Или, что то же самое, вопрос о способах легитимации власти в условиях свободы либо при отчетливо выраженном запросе на нее.

В древних восточных деспотиях политического «беличьего колеса» не знали. В средневековых монархиях — тоже. Оно появляется только там и тогда, где и когда власть легитимируется не именем Бога, а именем народа. Так было в Древней Греции, а потом долго не было нигде вплоть до европейских революций Нового времени. Но если Европа и произросшая из нее современная западная цивилизация, покругившись в этом колесе, новый устойчивый способ легитимации со временем обрели, то в других регионах дело обстоит намного сложнее. А Россия к тому же обременена некоторыми индивидуальными особенностями ее исторической биографии, которые уже сказывались неоднократно и, полагаю, могут сказаться и в обозримом будущем.

Мы, как мне кажется, до конца еще не разобрались в том, почему наша страна, попав в феврале 1917 года в свое «беличье колесо», начала вращаться в нем на неведомый до того миру коммунистический манер. Ведь Европе необходимый для этого набор идей был известен не со времен Маркса, а с эпохи Платона, государственный проект которого и призван был остановить круговращение политических форм, им же, Платоном, открытое и описанное. Но нет, никто этим проектом не соблазнился вплоть до XX века, когда им соблазнилась Россия.

Почему-то именно у античного мыслителя заимствовала она, того не подозревая, многие конкретные детали жизнеустройства, а вовсе не у Маркса, который о деталях как раз почти ничего не писал. Почитайте Водолазова: его сопоставления платоновского теоретического проекта с политической и идеологической практикой сталинского и послесталинского СССР очень рельефны и убедительны. Но вопрос-то остается: почему все же Россия? Почему именно в ней платоновский умозрительный проект, преподнесенный как марксистский, на какое-то время стал жизненной реальностью, причем с достаточно высокой степенью легитимности?

Есть множество объяснений русского казуса XX века. Автор книги упоминает сколько об одном из них, делая упор на особенности политической культуры населения. Если, мол, эта культура авторитарная, то любой демократический проект в ней увязнет. Хорошо, но какая здесь связь именно с «платоновской» государственной моделью? Почему авторитарная культура, в мире широко распространенная, именно Россию сделала не только первопроходцем коммунизма, но и позволила ей провести невиданную по

темпам и варварству способов индустриальную модернизацию и стать одной из двух мировых сверхдержав?

Дело, думается, не столько в политической культуре, сколько в том, что она в России была *дополитической*, *догосударственной*. Об этом еще в позапрошлом столетии писали славянофилы, ставившие, правда, в используемых мною прилагательных не «до», а «не». И они, полагаю, во многом были правы. Но славянофилы не говорили о том, что речь по сути идет о культуре, в которой еще не отчленились друг от друга, не стали автономными военная и мирная составляющие. Поэтому она не просто авторитарная, а авторитарно-милитаристская, позволявшая выстраивать *мирную* жизнь по *военному* образцу. А это и есть догосударственный родо-племенной коммунизм, перенесенный на государственный уровень и к нему приспособленный.

Вспомним политико-идеологическую лексику советской эпохи, все эти «штурмы», «наступления», «отступления», «фронты», не говоря уже о всепроникающей «борьбе». Вспомним о «солдатах партии», а также о том, что сама она во всех редакциях своих уставов именovala себя *боевой* организацией. Вспомним об искусственном насаждении образа врага — не только внешнего, но и внутреннего. Вспомним, наконец, что даже достижения в труде поощрялись на военный манер — орденами и медалями. Отторгалось все это культурой? Нет, не отторгалось. А если не отторгалось, то, значит, полностью чужеродным для нее не было.

Да, первичное отторжение все же имело место. Первая попытка милитаризации мирной повседневности в начале 20-х гг. провалилась. Показательно, что государственная политика тогда называлась «*военным коммунизмом*» и после победы в гражданской войне лидеры большевиков вовсе не собирались от нее отказываться. «Пусть рабочий класс организует производство, как организовал он Красную Армию», пусть каждый рабочий проявит себя в созидательной работе «как член Красной армии труда» — это не Сталин, это — послевоенный Ленин.

Тогда не получилось. Но если через десять лет второе издание «*военного коммунизма*» удалось осуществить, то не только потому, что Сталин успел создать недостававшие для этого организационно-административные, идеологические и репрессивные механизмы. Его удалось осуществить, потому что противоядия против милитаризации жизненного уклада и политической альтернативы ей в культуре народного большинства не сложилось. Будучи по своей природе *дополитической*, она оказывалась беззащитной перед государственным произволом, апеллирующим к военным угрозам, и тяготела к его оправданию, в частности, и моральному.

Вот почему платоновское «беличье колесо», втянув в себя Россию, закрутилось в ней так, как до того нигде не крутилось. Но его резкая остановка в сталинскую эпоху на отметке «тирания» не была радикальным разрывом не только с культурной, но и с государственной традицией страны. И вовсе не случайно Сталин пытался сочетать идеологическое отмежевание от нее с киноапологиями таких ее персонификаторов, как Иван Грозный и Петр I. Тем самым советский режим ставил себя в преемственную связь с отечественной государственной историей и ее особенностями.

Ко времени большевистского переворота она успела пройти длинные циклы милитаризации и постепенной демилитаризации жизненного уклада. Первый начался после освобождения от монголов и завершился милитаристской модернизацией Петра, — тоже не имевшей в мире аналогов. Второй начался почти сразу после его смерти, прошел стадии раскрепощения условий (от дворянства до крестьянства) и завершился кризисом легитимности власти и обвалом государственности, которая к демилитаризованному состоянию при сохранении дополитической культуры крестьянского большинства оказалась неприспособленной. А в XX веке все экономические, политические и правовые тенденции этого цикла были насильственно отсечены, и прежняя история повторилась в ускоренном темпе: новый виток милитаризации и — новая демилитаризация, начавшаяся в послесталинский период и тоже завершившаяся государственным обвалом. Понятно, что вновь завертелось «беличье колесо», всегда сопутствующее изменению прежних источников легитимации власти при неукорененности новых.

Я пишу все это лишь для того, чтобы рельефнее обозначить проблему, для России и ее правящего класса беспрецедентную. У него нет сегодня иного способа своей легитимации, кроме демократически-правового. Но этот способ надежен и эффективен только в том случае, если политическую субъектность обретает и *общество*, становящееся гражданским. При «номенклатурной демократии» и «номенклатурной многопартийности» (еще один володазовский термин) он не может обеспечить ни развитие, ни устойчивую стабильность, не зависящую от того, сколько стоит баррель нефти на мировых рынках. Однако наш правящий класс может управлять лишь обществом-объектом. Других навыков у него нет, как и интереса в ихобретении. А у общества нет потребности и воли становиться гражданским. И куда качнется при таком положении дел приостановленное как будто бы Путиным «беличье колесо»?

Удержать его в нынешней точке уж точно не удастся. Весь инерционный ресурс авторитарно-милитаристской культуры Путин вычерпал до дна. Новому президенту не придется уже штурмовать Грозный в ответ на вторжение чеченских боевиков в Дагестан и взрывы жилых домов в Москве и других городах. А потому для упрочения легитимности его власти ничего не дадут уже ни постоянные напоминания о победе над нацизмом, ни полеты на военных самолетах, ни визиты на подводные лодки. Не потому ли так озабочены сегодня кремлевские политологи сохранением политического влияния Путина после завершения его второго президентского срока?

Из нынешней исторической точки нет возможности двигаться в сторону третьей милитаризации жизненного уклада и третьей милитаристской модернизации на манер петровской или сталинской. Для этого нет ни соответствующей дополитической культуры (осталась в прошлом), ни стратегических военных целей (безопасности ядерной державы никто угрожать не может). Значит, альтернативы демократически-правовому государству попросту не существует. Да, но ведь и при безальтернативном маршруте можно угодить в круговорот номенклатурных *имитаций* этого маршрута!

Так что вовсе не случайно, быть может, русский политический философ Григорий Водолазов предпринял путешествие к истокам мировой

политической мысли. Быть может, ее актуализация потому и показалась ему столь привлекательной, что у великих греков он обнаружил своего рода предосмысление именно наших сегодняшних проблем?

Да, Россия, испробовав на себе несколько откорректированную модель платоновского коммунистического государства, от нее отказалась. Но отсюда еще не следует, что она нашла ответы на те вопросы, которые волновали Платона. А до него — его учителя Сократа. А после него — его ученика Аристотеля, платоновские ответы отвергнувшего. И главный среди этих вопросов все тот же: как соединить политику с нравственностью? Или, что то же самое, как сделать так, чтобы требования нравственности подчиняли себе не только частную, но и государственную жизнь? Или, что опять-таки то же самое, как предотвратить приватизацию общего интереса частными интересами тех, кому доверено его обслуживать?

Ответ Платона: надо лишить государственный аппарат права на частную собственность и вообще на все частное, включая семью. Иными словами, у тех, кому доверено служить общему интересу, интересов частных быть не должно! Но это и есть выстраивание не только военной, но и мирной повседневности по армейскому образцу: в армии нет и не может быть частных интересов, отличных от интереса общего. Последний же, в свою очередь, никому не может быть ведом, кроме Верховного главнокомандующего и его ближайшего окружения.

Правда, сам Платон, искавший в своем идеальном государстве место и для Сократа, отторгнутого государством реальным, формулирование общего интереса препоручал не великим полководцам, а великим философам. Но жизнь его поправила: во главе почти «платоновского» СССР, где семью сохранили, но зато упразднили частную собственность не только высших, но и низших классов, оказался персонаж, совмещавший в одном лице «корифея всех наук» (в том числе и философских) и высшего военачальника. А главное — жизнь поправила его в том отношении, что идеальное государство, спроектированное для вечности, оказалось беспомощным перед временем. И, под его давлением, само вынуждено было отпускать репрессированные частные интересы на свободу и их реабилитировать. А потом...

Потом вдруг обнаружилось, что сами по себе они в государственную и общественную целостность не склеиваются. Обнаружилось, что наша проблема не только в несвободе отдельных «я», но и в их неспособности непринудительно консолидироваться в органичное и устойчивое «мы». И тогда мыслящие люди начали осознать, что и докоммунистическая соборность, и коммунистический коллективизм не выражали повышенный статус общего интереса в культуре, а лишь идеологически компенсировали *неразвитость в ней самого понятия об общем интересе*. Равно как и то, почему именно в России, давшей миру Бакунина и Кропоткина, анархистские идеи и лозунги были в годы Гражданской войны так широко востребованы и общественными «низами». А также то, почему так долго страна воспроизводила в разных обликах самодержавную форму правления.

Вот и в наши дни, увидев, что иначе ничего не склеивается, люди по многовековой привычке бросились искать того, кто осуществит склейку вместо них. Им предложили кандидата, он им обещал всех их врагов «замо-

чить в сортирах», и они согласились. А теперь боятся его отпускать: что-то без него будет? И недоумевают: что это за закон такой, который не позволяет человеку править нами при нашем на то согласии?

Трудный, очень трудный исторический поворот начался в России два десятилетия назад. Но и развернуться назад уже не получится: каждая такая попытка будет быстро обнаруживать свою несостоятельность.

России и ее народу предстоит перейти от дополитической (милитаристской) культуры, уже изжитой, к современной политической, еще почти не освоенной. Страна, оснащенная ядерным оружием, впервые оказалась перед вызовом не войной, а миром, т. е. отсутствием угрозы большой войны. И ей предстоит научиться конкурировать с другими странами не только в количестве и качестве вооружений, но и в экономической эффективности и качестве жизни людей. Для этого, в свою очередь, ей предстоит выработать невоенное понятие об общем интересе, которое до сих пор у нее отсутствует, не как о чем-то над ней стоящем и персонифицированном в фигурах монопольно властвующих царей, генсеков и президентов, а как о подвижной равнодействующей интересов частных. И, соответственно, понятие о народном представительстве, которое эту равнодействующую определяет, будучи само подконтрольно гражданскому обществу.

Теоретический и публицистический пафос Григория Водолазова — именно в этом. Однако...

Однако есть нечто, что меня смущает. Меня смущает тот компромисс, который автор советует найти Платону и Аристотелю в том мире, где «никогда не заходит солнце». Одному (Платону) предлагается признать, что он слишком уж абсолютизировал и догматизировал свой идеал, слишком приблизил его к настоящему, не приняв в расчет, что частная собственность как двигатель истории себя еще далеко не исчерпала. Другому же (Аристотелю) предлагается согласиться, что частная собственность, защищавшаяся им от Платона, не вечна, что в будущем ей суждено быть исчерпанной. Речь идет о компромиссе между логикой сиюминутности и логикой дальнорзости, логикой Земли, чреватой соскальзыванием в мелкую приземленность, и логикой Неба, способной навязать людям то, что еще преждевременно.

Меня смущает не разведение этих логик и не желание сблизить их. И даже не приговор — от имени Неба — частной собственности. Может быть, она и приговорена, хотя доказать это я не могу, а тенденции, на которые ссылается автор (например, «революция менеджеров»), ни о чем таком, по моему, не свидетельствуют. То, что меня смущает, имеет отношение не столько к дальним судьбам человечества, сколько к конкретным проблемам современной России и перспективам ее развития.

Автор книги пишет о демократии и гражданском обществе так, как будто их нигде до сих пор не было и нет. Он остерегается говорить о современной западной цивилизации как ориентире для России — пусть даже и не долгосрочном, а ситуативном. А некоторые старые тексты, включенные в книгу и сопровождаемые не очень внятыми сегодняшними комментариями, вызывают лишь дополнительные вопросы. Ведь критика «буржуазной демократии», которая в этих текстах присутствует, была для социалистичес-

кого крыла шестидесятников не просто приемом, использовавшимся для подцензурной критики советской системы. Ведь «буржуазная демократия» в их глазах тоже подлежала историческому преодолению. Но можно ли это сделать, не достигнув того, что подлежит преодолению? Можно ли, говоря иначе, двигаться от «номенклатурной демократии» к чему-то более совершенному, минуя ту стадию политического развития, на которой находится сегодня западная цивилизация?

Разумеется, местоположение любых глобальных идеалов всегда во времени (будущем), а не в пространстве (настоящем). Но этапы продвижения к ним могут находиться и в пространстве. Так поняли, например, свою историческую задачу страны Восточной Европы, провозгласившие своими ориентирами западные экономические и политические стандарты и интеграцию в европейское сообщество. И результаты не такие уж плохие. Да и попадания в «беличье колесо» удалось избежать.

Возможно, призыв к компромиссу между логиками Платона и Аристотеля Григорий Водозазов адресует и самому себе. Но если и так, то хотелось бы все же знать, считает ли он таким компромиссом политику, которую уже много десятилетий проводит, например, шведская социал-демократия, или полагает, что «платоновская» идеальная составляющая и в ее деятельности представлена недостаточно? Короче говоря, есть ли в современном мире образцы подобного компромисса? Или нам опять предстоит некая первопроходческая миссия?

Впрочем, на сегодняшний день такие вопросы не столь уж и существенны. Перед нами книга, написанная убежденным демократом, а какого он оттенка — либерального или социалистического — не так уж и важно. Потому что главный пункт политической повестки дня в России сегодня вовсе не в том, какую политику проводить государству и что в ней должно преобладать: ориентация на либеральную свободу или на социалистическое равенство. Главный пункт — демократизация самого государства, без чего не может быть ни либеральной политики, ни социалистической, а могут быть лишь их имитации.

Все остальное — частности, детали, нюансы, которые касаются оценок прошлого и, быть может, скажутся в будущем, но к настоящему прямого отношения не имеют. Да, пока такие призывы к изменению повестки дня — это тоже против течения. Но здесь я ощущаю себя рядом с автором книги.

**КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЯМ
РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ***

(ноябрь — декабрь 2006 г.)

4.11.2006

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну, конечно, неделька получилась во многих смыслах итоговая. ...

Началось еще весной, когда, по высшим соображениям геополитики, обитатели Кремля решили наказать Саакашвили. Будучи людьми нерядового интеллекта, думали они недолго и, быстро найдя уязвимое место, нанесли врагу смертельный удар: отменили импорт в Россию «Хванчкары», «Цинандали» и еще двух десятков марок отличнейшего грузинского вина. То есть что значит «запретили»? Просто подмигнули из Кремля в сторону Главного санитарного врача России Онищенко, а уж Геннадий Григорьевич, человек сообразительный, взял под козырек и тут же издал нужный приказ. Блистательный результат достигнут мгновенно: грузины начали торговать вином с другими странами, в России же прилавки начали пустеть, а цены, наоборот, вздуться. Но правительство решило не останавливаться на достигнутом и летом ввело новые акцизные марки на все спиртное!

Россия вообще такая счастливая страна, где перекрыть кислород всегда получается с первого раза, а уж думать начинают потом. Прилавки опустели окончательно, россияне, быстро сориентировавшись, перешли на стеклоочиститель — ну, и началось... Население понять можно. Гепатит не гепатит, а пить-то надо, потому что на трезвую голову с таким начальством — это ж совсем ежнуться можно, а так — жидкости для разведения костров в голову зальешь, и вроде ничего. Правда, недолго... Но что же Главный санитарный врач России? — спросите вы. О-о, он среагировал немедленно! Первым делом, на всю страну обвинил журналистов «в намеренном сгущении красок», а потом успокоил население: «показатели здоровья», сказал, «с благодарностью отреагировали» на новые акцизы. К середине осени «показатели здоровья» дали вторую тысячу тяжелых отравлений и почти две

* О формате «Комментария» Виктора Шендеровича см. в предисловии к выпуску в № 118.

**Виктор
ШЕНДЕРОВИЧ**

— родился в 1958 г. в Москве. Окончил Институт культуры и аспирантуру Щукинского театрального училища по специальности «педагог по сценическому движению». Работал на ТВ (программы «Куклы», «Итого», «Бесплатный сыр»). Автор книг «Семечки», «Московский пейзаж», «Антология сатиры и юмора», «“Здесь было НТВ” и другие истории», «Шендевыры» и др. Живет в Москве.

сотни погибших. Что же сказал тогда Главный санитарный врач России Онищенко Г.Г.? Простите меня, россияне, дурака номенклатурного? Вино-ват, ухожу в отставку? Три «ха-ха».

Главный санитарный врач Онищенко: *«Все, что происходит сейчас, я считаю это спланированной акцией. Цели понятны — дискредитировать те усилия, которые сегодня правительство принимает по нормализации алкогольного рынка».*

Вот что он сказал! От камешка, брошенного главным санитаром, по нашему политическому болотцу, разумеется, тут же пошли самые широкие круги. Самый широкий круг дала депутат-коммунист Плетнева.

Депутат Плетнева: *«Можно, конечно, всякие басни рассказывать, что у нас люди пьяницы, что пьют что попало. На самом деле я считаю, что это просто диверсия. В связи с тем, что наша страна отказалась от ввоза вина. Может быть, кто-то мстит...»*

О! Диверсия! Международная! Кто-то мстит за наш отказ от ввоза вина! Но кто же, кто? Ну, грузины — понятно, но кто еще? От нас не спрячешься! Выходи, враг!

Жириновский: *«...этот отравленный алкоголь, спирт, идущий с Кавказа из Турции, через Осетию... Что, не ясно, откуда он идет?»*

Вы узнали этот голос... О да! В Турции Жириновский сживал в тюрьме в годы своей гэбэшной юности, поэтому вы должны простить его осеннее неравнодушие к больной теме. Но и в целом история алкогольной травли народа проявилась на «ять»: отряды «Мхедриони», стало быть, развозили стеклоочистители по Иркутской области, а турки травили Вятку и Воронеж. Я вам больше скажу: тысячи людей в двенадцати регионах — паучья сеть врагов России! Специально напились метилового спирта, ослепли и умерли назло усилиям государства навести порядок с акцизами... Ну, слава богу! В смысле: виноватые найдены. А то ведь, пока депутаты совместно с министром не прочистили нам мозги, никто ж не мог ничего понять... Путин во время «прямой линии» так просто был в полном недоумении!

Путин: *«Скажу вам доверительно, хоть и на всю страну. Председатель правительства пытался найти виновных и наказать. По-моему, так и не смог этого, в конце концов, сделать».*

Ну, премьер ладно: с нашего премьера и спрашивать-то неловко. Не за тем выписывали из Бельгии это тихое создание, чтобы оно вообще за что-то отвечало. Это громоотвод на случай ухудшения общественной атмосферы, и свою работу он исполняет отменно — торчит возле крыши и ни на что не претендует... Но президент! Президент, который видит на метр сквозь землю и нагоняет на чиновников страх, какой не снился Зевсу-громовержцу, — тоже не смог найти виновных, вот что удивительно! Трудно бывает найти виновных, особенно когда все они рядом с тобой. И уж совсем невозможно их найти, когда они прямо подконтрольны ФСБ — вроде компании, которая взялась изготовить новую акцизную марку и блестяще провалила это мероприятие, отчего на прилавках и открылась ниша для стеклоочистителей размером с пол-России... Но коли президент повелел, пару-тройку бедолаг в правительстве, конечно, тут же назначили крайними и страшно их наказали — выговором, кажется... Причем один из крайних оказался вообще из

соседней очереди и никакого отношения к алкогольному провалу не имел. Ну да какая разница. Главное: задание выполнено! А народ тем временем крепчал себе помаленьку, из последних сил вспоминая слова...

Теперь давайте оклемаемся помаленьку, подставим голову под кран с холодной водичкой и попробуем восстановить в памяти прошедшую «прямую линию», разговор президента с народом. Там было много замечательного — особенно, разумеется, за кадром. Как и следовало ожидать, тайное помаленьку стало явным... Кстати, анекдот! Но такой... из жизни. Десятилетняя девочка на прошлой неделе пришла домой озадаченная. Им, в четвертом классе, задали на дом — задать вопрос президенту России и самим на него ответить! А ребенок не понимает, зачем задавать вопрос, на который сам же и будешь отвечать — ну, маленькая еще... Зато в горно — люди взрослые и, видать, умные на всю голову. Просекли технологию «прямой линии» безошибочно! — причем еще до того, как первые свидетельства на этот счет просочились в СМИ из Каспия.

По информации журнала «Власть», за три недели до «прямой линии» местными властями был подготовлен и отправлен в Москву список из пятнадцати вопросов. Москва одобрила четыре из них. Участникам «прямой линии», также отобранным заранее, были розданы шпаргалки с порядком и текстом вопросов — и репликами, по которым следует поднимать руки для вопроса или приветствовать президента.

Собственно, кто бы сомневался? Глядя на эти сплоченные ряды и выжженное пространство за спинами отобранных, поверить в спонтанный характер происходящего все равно было невозможно, но подробности дрессуры — впечатляют. Кстати, не все пережили ее на месте события: одного ветерана, за три с половиной часа привезенного на репетицию восторга, увезла-таки «скорая»...

Не обошлось и без провокаций. Ну что поделаты: бродят еще среди нашего дисциплинированного населения всякие, которых хлебом не корми, дай нагадить администрации! Набежало со всех сторон несанкционированных вопрошальщиков — у одной кормильца с работы выгнали незаконно, у другого сына убили, и дело не расследуют... — в общем, лишь бы испортить настроение гаранту! Журналисты, не допущенные за оцепление, вообще обнагтели: организовали альтернативную «кривую линию» — и ну приставать к прохожим с предложением спросить что-нибудь у Путина! Народ, не прошедший спецконтроля, начал, разумеется, спрашивать всякую гадость, типа «как можно прожить на зарплату в 1000 рублей?». Как будто Путин похож на человека, который может это знать...

А некая Патимат Магомаева специально приехала в Каспийск из Махачкалы, чтобы прорваться на телеприем к президенту и спросить у него, как бы ей, круглой сироте с больным ребенком, получить, наконец, жилье. Но в оцеплении стояли бдительные ребята, и сироту быстренько развернули в сторону ее Махачкалы и текущего там народовластия: четырнадцать лет стоит она в очереди на жилплощадь и еще четырнадцать простоит, — если, конечно, луч солнца золотого не упадет ей на голову во время следующей «прямой линии» с президентом. Тогда мэр Махачкалы лично рухнет ей в ноги с ключом от квартиры, вот увидите.

В шоу «Прямая линия» все критики выделили блестяще сыгранный президентом эпизод с мистическим недозвоном главе Карелии, отдыхавшему в Португалии. С той самой минуты, когда президент спел эту удивительную фразу, отпуск главного карела стремительно пошел насмарку. Мальчик понял, что его вызвали к директору. В кабинете директора стояла телекамера, и мальчик понял, что сесть будут принудительно. Мальчик вообще оказался смышленный, подыгрывал изо всех сил, не стал уточнять у дяди, каким образом тот не смог его найти — и проявил полную готовность сиять голыми половинками на всю страну, лишь бы не выгнали из школы.

Катанандов: «...На самом деле, вы правы, оценка очень жесткая. Наверное, я сделал неправильно, выводы я сделаю...»

Пока президент с губернатором разыгрывали этот нехитрый телевизионный балаганчик, реальная Кондопога продолжала детонировать по всей необъятной Родине.

На сей раз рвануло в Элисте: сначала один дагестанец зарезал одного калмыка, потом группа калмыков поехала стрелять в дагестанцев. Короче, всюду жизнь. А впрочем, по нынешним временам это такие мелочи, что даже не стоит и удивляться. Калмыки хотя бы из ружья стреляли. А в Тюмени, в поселке Богадинский, пятерых кавказцев покрошили недавно, из «жигулей», очередью из автомата Калашникова... Он там, видать, вместо аптечки лежал, в «жигулях», для снятия острой национальной боли. Очевидная «кондопога» зреет и в Москве. День народного единства был заранее объявлен датой погрома, но дата — вещь наживная, когда в километре от Кремля, в парикмахерской, свободно красуется объявление о (цитирую) «наращивании славянских волос». Ну что же: дело недешевое, зато — если впридачу исправить пластикой черты лица и с помощью логопеда убрать кавказский акцент, — начнется, согласитесь, совсем другая жизнь! Можно свободно ходить по Москве, не отдавая по две сотни рублей каждому встречному менту. Экономически довольно выгодный проект получается...

Пока Россия ползет к грядущей кондопоге, политики заняты важными делами! Сходятся, расходятся... Жизнь бьет ключом! В прошлую субботу состоялся-таки объединительный съезд Партии Жизни, Пенсионеров и «Родины». С аббревиатурой у них так и не сложилось, какая-то абракадабра, но это не главное. Главное — теперь есть кому с утроенной силой бороться за права простых людей. Каким именно образом они собираются это делать? О, самым бескомпромиссным! Слушайте, что сказал спикер Миронов о главной точке приложения усилий.

Миронов: «Мы поддерживаем и будем поддерживать курс президента России Владимира Путина. Мы никому не позволим после 2008 года свернуть с этого курса».

Рисковый у нас спикер. Ничего не боится человек, так прямо и режет... Ну, здравствуй, новая партия, борец за дело рабочих и крестьян! Впрочем, весь этот мышинный цирк уже много лет происходит у нас под полным контролем администрации, — именно из этих безразмерных закровов появляются время от времени то националисты, то либералы; то Рогозин под платком у фокусника обнаружится, то Маша Арбатова... То правое крыло у «Единой России» вырастет, то левое отвалится... И вот, кажется, главный

аттракцион грядущего шапито — «Думские выборы-2007» — утвержден в репертуаре окончательно. Лишних попросят с арены, и спикер нижней палаты будет биться насмерть со спикером верхней, на радость почтенной публике. Предмет конкуренции — кто выкажет больше любви к директору цирка! Обсмеемся.

Ну а до зимы 2007-го, еще годик, нас будут развлекать те, которые развлекают сейчас.

Жители подмосковной Лобни много лет смотрели по «тарелке» разные телеканалы — думали, мол, двадцать первый век. Ну, какой век, быстро уточнилось. Сначала им отключили шведский «Хистори-Виасат» — операторам кабельной сети позвонили из горкома КПРФ и велели прекратить антироссийскую пропаганду (шведы, мерзавцы, показывали такие хистори про наш ГУЛАГ, что коммунисты не могли этого стерпеть). Вслед за шведами, ближе к «оранжевой революции», в Лобне отключили украинский канал «Плюс» — тільки нам тут, у Лобні, помаранчевих не вистачало! Операторам кабельной сети позвонили по такому случаю уже не из КПРФ и велели — угадайте что? Правильно: прекратить антироссийскую пропаганду! И, наконец, на прошлой неделе всей Лобне вырубили из телевизора канал «Аджария» — по нему просто крутили кино, но на грузинском языке! Операторам кабельной сети позвонили «сверху» и велели... Ну, текст вы уже знаете. Теперь Лобня есть, что дают по Центральному телевидению. Чистый Пхеньян! А вы говорите: двадцать первый век...

Счастья вам!

11.11.2006

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Главное событие минувшей недели, в некотором смысле — рефлексии по поводу того, чем завершилась неделя прошлая: вся эта история с «Русским маршем» и прочими общенациональными радостями в выходной день. Но были свеженькие радости и с понедельника по пятницу — и по части борьбы с преступностью, и в Госдуме продвинулись немножко навстречу Ашхабаду... Ну, обо всем по порядку.

В четвертое ноября как День национального единства начальство ткнуло пальцем еще несколько лет назад. Красное знамя к тому времени уже всех достало, ликвидировать выходной в первой декаде ноября сумасшедших не нашлось, — ну и начали рабы божьи выпивать четвертого! А потом и седьмого, конечно, потому что рефлекс. Содержание новой даты первое время никого особо не колыхало. Ну, конечно, подгадить полякам — это всегда праздник, но больше для начальства: народу что Шопен, что Лех Валенса — лишь бы не работать. Но — свято место пусто не бывает! В прошлом году, как раз четвертого ноября, обнаружилось вдруг, что если нация для чего и готова объединиться, то как раз для погрома. Через год власти встречали этот день уже с водометами наперевес. Единство нация начала демонстрировать с утра пораньше. В Москве еще не рассвело, а во Владивостоке уже началось.

Около 300 человек приняли участие в несанкционированном шествии по тротуару центральной улицы города, при этом у многих манифестантов лица были закрыты шарфами. Демонстранты несли плакаты «Русский по»

рядок — русской земле», «Учиться у Минина и Пожарского» и «Не интеграция, а депортация».

Чему именно следует учиться у Минина и Пожарского, я не понял, но видать, Владивосток крепко достали поляки! Кого именно следует из России депортировать, тоже не уточнялось, но, судя по флагу «Славянского союза» над головами идущих, — видимо, все-таки не славян, а кого-то другого. Желаям узнать подробности следовало полететь в Москву, где в тот день собрались наконец вместе главные специалисты по русскому вопросу... Вместе-то они собрались, но глаза бы их друг друга не видели. Депутату Rogozinu, впадшему в немилость у прежних хозяев, запретили «Русский марш», — но не пропадать же дню пиара! И он привел своих озабоченных орлов на митинг злейшего соратника, вице-спикера Бабурина, которого сам же когда-то скупал в партии «Родина». Ворота лица друг от друга и ново-явленного конкурента, главы Движения против нелегальной иммиграции Белова-Поткина, они делили на морозце свой незатейливый электорат. Первенствовал в этом деле вышеупомянутый Белов-Поткин. Вздравшись на грузовик, он успешно провел викторину для отмороженных.

Как называется этот народ? — Русские! — Как называется этот народ? — Русские!..

Все это пиршество русской идеи происходило в скверике у памятника Льву Толстому. Лев Николаевич, конечно, был непротивленец, но эту публику, если бы она переступила порог его имения, полагаю, высек бы на конюшне собственноручно.

Ну насчет выпить — в России не хватит никакой печени, но и насчет того, чтобы что-нибудь понять, — никакой головы не хватит точно!

Ну судите сами: тут, значит, скинхеды с черепами, там демократы с правами человека, в Казани — «татарский марш», в Майкопе, наоборот, «Адыгея для русских», в Москве патриоты с Курьяновичем, рядом хоругвеносцы с Сименовичем-Никитичем, тут ДПНИ с Беловым-Поткиным, там Че Гевара с Авангардом красной молодежи! А здесь вообще — «Православие или смерть» и, чтобы мало не показалось, портрет Игоря Талькова в образе Христа! А президент тем временем кладет на Минина и Пожарского — цветы, разумеется. От взаимного смертоубийства в День единства нации всех вышеперечисленных клиентов охраняли в Москве около 6,5 тысяч сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск. Только к метро «Парк Культуры» было стянуто не менее 15 автобусов с ОМОном, 18 самосвалов, автомобиль-водомер и 11 автомобилей для перевозки задержанных. То есть к празднику единства Москва подготовилась основательно!

Ну и правильно сделала, что подготовилась... Хотя, конечно, с ОМОном у нас по традиции сложилось лучше, чем с Законом. В самом деле: сначала московские власти с важным видом запретили «Русский марш», потом фактически позволили его провести, а когда наши доморощенные «нацики» повалили горланящей толпой по Белокаменной, — власти подумали немного и оштрафовали их за переход улицы в неположенном месте... Это называется: ушные палочки против СПИДа! Боремся с нацизмом, аж дым идет!

Довольно толерантная к «наикам», милиция не сводила пристального взгляда с журналистов: отбирали видеокамеры, требовали стереть засня-

тое... Тут, конечно, застарелый, с царских времен, рефлекс — выкрутить пишущую руку, но и новейший государственный подход. Ведь для девяноста процентов россиян (тех, которые в информационном смысле пробавляются программой «Время» после Малахова) — митинга националистов, как и «Русского марша» год назад, — вообще не было... А что же для них было? Ой, что для них было!.. В вечерних «Вестях», например, подробно рассказали о том, как чеченские медики получали в подарок к празднику 57 реанимобилей, как в Красноярске под руководством губернатора Хлопонина пускали в небо триста белых голубей, как, взявшись за руки посреди Омска, 20 тысяч человек образовали зачем-то «живую цепь» длиной пять километров... В общем, самую важную информацию до народа донесли! Так оно и будет нам мерещиться, все это... с белыми голубями... пока не очнемся, где-нибудь неподалеку от гестапо.

Теперь — о борьбе с терроризмом. Мы и раньше думали, что она идет успешно, но истинных масштабов успеха, как выяснилось, даже не предполагали!

Выступая на встрече с ветеранами органов внутренних дел и внутренних войск, министр внутренних дел России Рашид Нургалиев сообщил, что за девять месяцев этого года в России предотвращено 839 террористических актов.

Поправьте меня, если я что-нибудь неправильно понимаю. Правильно ли я понимаю, что для совершения одного теракта нужен хотя бы один человек? Правильно ли я понимаю, что предотвращение теракта предполагает задержание этого ужасного человека? Если так, то за девять месяцев текущего года МВД должно было задержать минимум 839 террористов. Или хотя бы объявить их в розыск, если не смогли поймать. Хотя странно: ведь знали, раз предотвратили, — отчего ж не задержали? И уж хотя бы пара сотен этих каляевых должна была получить какие-нибудь сроки... А где? Товарищ Нургалиев! Где все эти батальоны диверсантов? Зачем вы скрываете от нас их имена и лица! Разве вы — сообщник террористов? Покажите хотя бы одного из восьми сотен! Телевидение, уверяю вас, с удовольствием слепит из этого теста тонну патриотических пельменей — хотите, я вас с Мамонтовым познакомлю, автором фильма про шпионский камень? — он с тех пор на голодном пайке, а тут 839 предотвращенных терактов, а народ не в курсе. Нехорошо... Но лучше поздно, чем никогда! Давайте же раскроем имена, пароли, явки, приговоры, названия городов, где отважные милиционеры, рискуя собой, спасали тысячи жизней... И давайте сделаем это поскорее — чтобы россияне не успели подумать, что все это просто вранье и пиар.

Но вернемся к статистике, оглашенной на встрече с ветеранами. Она, ей-богу, хороша!

За девять месяцев этого года, заявил глава МВД Нургалиев, сотрудниками милиции раскрыто почти полтора миллиона преступлений, пресечена деятельность почти 10 тысяч участников организованных преступных групп, раскрыто около 45 тысяч преступлений прошлых лет, в том числе 17 тысяч — тяжких и особо тяжких.

Блеск! А в Ленинградской области недавно был избит известный кинорежиссер Юрий Мамин («Окно в Париж» помните?). После нападения

Юрий Борисович вызвал «скорую помощь» и милицию. Врачи приехали через полчаса, а вот менты ни на месте происшествия, ни в травмпункте так и не появились. И знаете, почему они так и не приехали? Я, кажется, знаю. Менты сидели у себя в ментовке и любовались на кривую раскрываемости преступлений... Не могли оторваться, такая неземная красота!

Теперь несколько слов о неисповедимых путях народовластия. Дивную картину на эту тему нарисовал глава Комитета Госдумы по конституционно-му законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.

Плигин: «Население нашей страны самым высоким уровнем образовано и исключительно политически активно. Потому что даже после второй рюмки, я думаю, что мужчины со мной согласятся, две темы для обсуждения — первая обычно политика».

Фраза «население нашей страны самым высоким уровнем образовано» в устах видного выходца из этого населения дает неплохое представление об уровне, которым оно образовано. Но главное тут — открытая Плигиным причинно-следственная связь между болтовней «после первой» и политической активностью на выборах. Ибо пить-то мы пьем по-прежнему, а вот на выборы ходить помаленьку перестали; вся политическая активность вернулась, по советскому образцу, на кухни — там, «после первой», и выясняется, что на самом деле думают о власти избиратели, а явка тем временем падает и ставит под угрозу процедуру! У этой задачи два пути решения: либо вернуть выборам реальное наполнение и этим повесить явку, либо — убрать нижний порог явки и пускай себе пьют, как пили, и чешут языками на кухнях. Надо ли говорить, по какому пути пошли Плигин и его пыльные кремлевские начальники?

Минимальный порог явки избирателей, при котором выборы признаются состоявшимися, скоро может быть снят на выборах всех уровней. Об этом глава Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин сообщил в минувшую среду.

Вот так оно спокойнее! Ну а что делать, если народ не желает участвовать в «единороссных» аттракционах и тратить воскресенье на рукоблудие в кабинке... Конечно, на такой случай в продвинутых странах вроде нашей есть армия, милиция и прочие работники РЭУ, которых можно пригнать к урне строем, но на одной всеобщей мобилизации до 50% явки не доберешься... Вот если бы тут был Таджикистан...

Вот если бы тут был Таджикистан, — тогда, конечно, хоть какой нижний предел явки не нарисуй, все будет преодолено — это проверено только что, на выборах Рахмонова. Все заранее знали, что это будут именно «выборы Рахмонова»: главу оппозиции заранее посадили на 23 года, а когда главу оппозиции сажают на 23 года — это лучшая агитация за явку! Интрига, таким образом, состояла в том, на какой минуте будет преодолен нижний порог — и какая область проголосует за любимого президента первой! В итоге 20-процентный порог пробили снизу головой уже к восьми утра. А к девяти утра проголосовали 45 процентов! Будильник ставили люди, чтобы не проспять праздник демократии! Наша, советская закалка! И будет им за это счастье в лице Эмомали Рахмонова пожизненно.

Впрочем, Таджикистан в некотором смысле — дело наживное! Мы в России свернули ненадолго с этого истинного пути, десять лет выбирали чего-то по-настоящему, душой маялись, но, спасибо батюшке Владимиру Владимировичу, изгнал он из нас нечисть западную, возвращаемся поменьку к привычным брежневским стандартам... А эти там, на Западе, — все маются!

По результатам состоявшихся в США выборов в Конгресс, республиканцы потеряли контроль и над Сенатом, и над палатой представителей. Президент США уже взял на себя «значительную долю ответственности» за поражение на выборах и отправил в отставку министра обороны Рамсфелда.

Нет, ну сколько их учить, а? Ну, как можно потерять контроль над обеими палатами парламента, когда ты — президент? Страшно подумать, от какой ерунды зависит политика в отсталых странах неуправляемой демократии! Неуправляемая пресса критикует прямо из телевизора в прайм-тайм, неуправляемая социология показывает всей стране падение рейтинга, неуправляемые граждане голосуют против курса правительства, неуправляемый калькулятор считает их голоса — и, пожалте бриться, парламент в руках у оппозиции! У нас сердце кровью обливается смотреть на такие муки! Слушайте, Джордж-юниор! Вам танков, по знакомству, не одолжить, пострелять по парламенту? Или, может, Леонтьева с Пушкиным — вместо CNN? Знаете, как помогает? No, говорит, it's impossible! Да possible, говорим, как два пальца об асфальт possible! No, и все... Ну, хорошо — может, хоть Вешнякова возьмете с системой ГАС-Выборы, чтобы голоса посчитать по-умному? Fuck, говорят, это вообще срок! О, говорим, хорошо, что вы вспомнили про срок и про fuck — возьмите напрокат из Басманного суда судью Колесникову — вообще никаких проблем с демократами! Всем по восемь лет, и рейтинг стоит как вкопанный. No, говорят. Плачут, на Конституцию свою показывают... А поменять Конституцию слабо? Слабо, говорят: американский народ не позволит, shit. Тьфу! Ну, раз так, пускай пропадает этот Буш-юниор с ихним разделением властей...

И, напоследок, вернемся к главной теме — единству нации как разновидности толпы для погрома. В прошлую субботу прояснилось содержание одного старого чудесного лозунга. По свидетельству корреспондента газеты «КоммерсантЪ», участники «Русского марша», идя по улицам Москвы, скандировали «Русской земле — русский порядок!» — и под эту бодрую кричалку опрокидывали по пути мусорные баки. Вот я и говорю: слава богу, внесли ясность, наконец. А то я все гадал: что они имеют в виду под «русским порядком»? Счастья вам!

18.11.2006

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Отчетная неделя принесла нам в подоле новые плоды управляемой демократии — по преимуществу в области прав человека. А Впрочем, досталось и культурной ниве, и даже случился прорыв в области божественного. Ну, обо всем по порядку.

С возмущением и тревогой узнали россияне о новых фактах вмешательства в наши внутренние дела пресловутой Human Rights Watch. Эта междуна-

родная организация, специализирующаяся по так называемым «правам человека», опубликовала новый доклад о пытках в Чечне. Слушайте, они там на Западе совсем распоясались без присмотра — черт-те чего про нас пишут!

В последнем докладе Human Rights Watch задокументированы «восемьдесят два случая применения пыток» в Чечне; составлены детальные описания «минимум десяти незаконных мест заключения, контролируемых руководителями, лояльными Рамзану Кадырову». «По отношению к задержанным, — говорится в докладе, — применялись пытки электрическим током, избиения ногами, палками, пластиковыми бутылками с водой или песком, тяжелыми электрическими кабелями», причем делали это как кадыровцы, так и сотрудники ОРБ-2 — Оперативно-разыскного бюро, входящего в состав МВД России. Использовались (цитирую) «методы психологического давления — угрозы изнасилования, казни и причинения вреда родственникам».

Ну хватит, противно слушать! А впрочем, никто особо и не услышит — по крайней мере, в России. Вот уж неделя прошла после этого доклада, а все никак не доедут корреспонденты программы «Время» до забрызганной кровью ментовки в ОРБ-2, и криминально ориентированный канал НТВ все никак не доберется до кадыровских зинданов, и радио «Маяк» о чем только не рассказывает, а про избиения россиян в милиции электрическими кабелями — все никак... Вас еще не били электрическим кабелем? Ну, если вы российский гражданин, то это дело наживное. Только — когда начнут бить именно вас, вы уж не удивляйтесь, что страна продолжает с интересом смотреть шоу Малахова и выяснять подробности отношений Анастасии Заворотнюк с бывшим мужем. Мы, россияне, люди рачительные и гражданские чувства бережем для защиты мирных тружеников «Хесболлы» от израильской военщины, по мелочам не разбрасываемся. И наш подкормившийся нефтью двуглавый орел не позволит всяким там Human Rights Watch-ам лезть своими вонючими от мыла руками в наше родимое гуано!

Комментируя доклад Human Rights Watch, прокурор Чечни Валерий Кузнецов заявил, что чаще всего подследственные жалуются на пытки в расчете на снисхождение. «К тому же несправедливо утверждать, что пытки — это чисто чеченское явление, — заявил он. — В любом регионе России можно найти факты, когда милиционеры бьют задержанных. И даже на том же Западе можно найти сколько угодно случаев применения пыток».

«Сколько угодно» — это довольно широко сказано, но Россия вообще страна широких обобщений, да и сам прокурор Кузнецов — явление сугубо отечественное. Потому что — представьте себе на минуточку: где-нибудь на окраине Штатов обнаружился бы вдруг десяток незаконных тюрем, принадлежащих губернатору штата; и вышли бы там наружу сведения о массовых пытках граждан США подразделениями местных рейнджеров... И пришли бы после этого журналисты к прокурору штата — ну, чтоб далеко не уходить от Кузнецова, пускай его фамилия будет Смит! Пришли и спрашивают: что вы об этом думаете, прокурор Смит? А прокурор Смит им и говорит — про пытанных током и битых кабелем граждан США: да не обращайтесь вы внимания, они жалуются в расчете на снисхождение! А потом добавляет: слушайте, везде пытаются, что вы до нас докопали ?? И как вы

думаете: где очнется после этого заявления прокурор Смит? Правильно, в отставке. А наш Кузнецов — как новенький, весь в синем, на боевом посту! Охраняет федеральных ментов и премьера Кадырова с нукерами от нечестных международных правозащитников...

Продолжим волнующий рассказ о заботе государства о человеке и встрече нелюбимой несознательности отдельных граждан.

В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение беспрецедентного иска к Министерству обороны жителей чеченского селения Бороздиновское. Они хотят взыскать с министерства 126 млн рублей в качестве моральной компенсации за «зачистку», проведенную в селении бойцами спецбатальона «Восток».

Нет, просто удивительно, до чего бесстыжие встречаются люди! Ну я понимаю, убивали бы их, пытали, похищали и жгли их дома какие-нибудь ужасные незаконновооруженные басаевцы! Но в селение Бороздиновское зашел (и все то же самое с его жителями сделал) спецбатальон Минобороны «Восток», руководимый Героем России Сулимом Ямадаевым, братом депутата Госдумы России Руслана Ямадаева. Да это ж какая честь для простого чеченца! Радоваться надо! Благодарить и просить еще! Но не понимают люди своего счастья — ходят, сутяжничают, дошли вот до Пресненского суда Москвы, правосудия хотят. Ну, правосудия у нас — полный мешок, что на Пресне, что на Каланчевке, девать некуда! Следствие внимательно изучило материалы дела — и склонилось к вот какой убедительной версии: «ямадаевцы» надавали жителям селения легких профилактических тумачков в процессе проверки паспортного режима — и мирно ушли... А потом в Бороздиновское вошли какие-то неизвестные суду бандиты, и начали жечь и убивать! То есть бандиты в Чечне, надо так понимать, ходят по местам боевой славы спецбатальона «Восток» — и доделывают то, что те недоделали. Теперь перед Пресненским судом лежат два пути для свершения правосудия: либо отправить из Белокаменной ни с чем, восвояси, сорок пожженных, избитых и униженных чеченцев из Бороздиновской, либо именем Закона выступить против Министерства обороны, Героя России Ямадаева и его брата, депутата Госдумы от «Единой России». Как вы думаете, как поступит Пресненский суд? Берем минуту — или есть досрочный ответ?

Защита стабильности — ключевая задача всех веточек всякой власти, но тут, конечно, следует различать подробности. Потому что (я уж говорил как-то) есть стабильность жизни — когда все желтеет, опадает, снова зеленеет, и растет, и развивается... а есть стабильность морга, когда все лежит на своих полочках, холодненькое такое, с бирочками на ногах. Тоже своего рода порядок, конечно... Какая именно форма стабильности ближе нынешней российской власти, даже и спрашивать неловко.

Выступая в минувшую среду в Государственной думе, генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил дополнить Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» возможностью в судебном порядке признавать информационные материалы экстремистскими в тех случаях, когда они являются анонимными или изданы на территории других государств.

Вы, может, подумали, что Чайка, говоря об экстремизме, озабочен пресечением пропаганды фашизма, классовой и национальной розни, да? Это было бы славно, но только совершенно непонятно, при чем тут тогда анонимность и иностранные государства? Книжные лотки с погромными книгами — вот они, в двух шагах от Генпрокуратуры! — изданы в России, подписаны полными именами авторов и издателей... На родине Гитлера каждый такой лоток тянет сегодня на три года тюрьмы, а у нас — полным-полна коробочка, есть и ситец, и парча... Бери да сажай. Но, кажется, наш генпрокурор, говоря об экстремизме, что-то совсем другое имел в виду...

Ну конечно. Заглянем для ясности в приговоры судов, вспомним: кто у нас нынче экстремист? Да вот же они все, голубчики! Директор музея Сахарова в Москве, издатель газеты «Правозащита» в Нижнем Новгороде, независимая журналистка из Вологды... Вот откуда, а точнее, вот куда стабильно дует правоохранительный ветер! Вот к чему тут иностранные государства! «Human Rights Watch» какой-нибудь потребует прекратить пытки, или «Гринпис» наедет, или с Украины поступят подробности о том, как «кремлевские» братки, через тамошние подставные фирмы, пиялят промеж собой наши газовые денежки... — тут-то мы экстремизм и пресечем!

Или пожалуется на беспредел какой-нибудь несчастный с Кавказа — анонимно, чтобы не вырезали вместе с семьей, как уже случилось делать Российской Федерации... Газета какая-нибудь это напечатает — мы ее и закроем за экстремизм! А к сайту, в котором вниманию «участников боевых формирований» националистов предлагаются фамилии, адреса и телефоны «врагов русской нации» — даже после гибели Политковской ни у ФСБ, ни у прокуратуры никаких вопросов нету. А впрочем, конечно, если фашисты сходятся в оценке Политковской с президентом России — какие могут быть вопросы у прокуратуры? Работа с прессой вообще наше сильное место. Вот — что умеем, то умеем!

Теперь пара слов о законотворчестве. Здесь продолжается торжество разума.

Как сообщают «Новые Известия», Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект «О специальных экономических мерах в условиях международной чрезвычайной ситуации», предусматривающий право президента РФ на единоличное введение экономических санкций в отношении других стран.

Ну что же. Мы давно приближаемся к заветной черте, за которой царь-батюшка сможет рулить, не вставая с полатей и не отвлекаясь ни на какие иноземные демократические процедуры. И то сказать, зачем? Парламент какой-то, нижняя палата, верхняя палата... Пустое это! Что России вместо всего, что есть в Европе, нужна одна, но очень сильная рука, давно стало общим местом; «необходимость самовластья и прелести кнута» тоже поюлся не первый год, Розенбаум давеча без лишних формальностей просто позвал Путина отдохнуть четыре года, а потом, без затей, приять шапку Мономаха и сесть на трон на радость России. «Ты много на себя брала», как пелось в одной старой песне... Ну, будем надеяться: к тому времени все депутаты Госдумы, вслед за Розенбаумом, решат свои проблемы и лавочку можно будет с чистой совестью распустить. Что же касается места Владимира Владими-

ровича в нынешней российской цивилизации, то глубже всех в это место проник языком один крупный оппозиционер из газеты «Завтра»...

Сайт «Грани.ру» цитирует слова Александра Проханова: «Мне кажется, что у Путина есть мистический опыт. Будучи человеком практически, циничным во многом, очень прагматичным, он владеет некой коммуникацией, которую он не доверяет никому — ни Медведеву, ни Патрушеву, ни Иванову. У него есть коммуникация с Господом Богом, грубо говоря...»

Ну, если грубо говоря, то — как минимум после Беслана есть основания полагать, что «господь», дающий советы Путину, помимо разветвленных коммуникаций, имеет еще хвост и копыта...

Но ближе к восьмому году сам подход к проблеме — насчет божественности нашего президента — будет, я думаю, пользоваться нарастающей популярностью.

Счастья вам!

9.12.2006

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Сразу признаемся — веселого на этой недельке случилось немного: все больше уголовщина; как обычно, впрочем. Но уголовщина уголовщине рознь — хоть бы уж воровали по Карамзину, а то какой-то пошел сплошной Достоевский с Сухово-Кобылиным пополам. Впрочем, обо всем по порядку.

А начнем мы с главного политического события. Если верить самим ньюсмейкерам — главного события на многие годы вперед!

В Екатеринбурге завершил свою работу VII съезд партии «Единая Россия». На него съехались более 500 делегатов и почти 2,5 тыс. гостей, представители девятнадцати зарубежных партий, в том числе Компартии Китая и Республиканской партии США. В адрес съезда поступило 60 приветствий от зарубежных партий. В президиуме съезда — представители всех ветвей российской власти, представители регионов. После вступительного слова лидера партии, делегаты и гости съезда исполнили гимн Российской Федерации. VII съезд «Единой России» утвердил программу партии — стратегию развития страны на ближайшие 10 лет!

Ой, простите, что-то с пленкой... Записали текст на старую кассету... Но в общем, суть вы поняли. Впрочем, бог с ними, с историческими аналогиями; копнем на полштыка сам этот съезд. Главным сюжетом мероприятия стала война мышей и лягушек... или медведей и выхухоля... в общем, нечто глубоко зоологическое. Битва за президентское тело вышла из штабных нор и громыкает теперь по всему лесу. Выйдя на трибуну съезда, главный косолапый страны Борис Грызлов начал прилюдно глотать своего коллегу, спикера Миронова, и его новообразованное политическое детище...

Грызлов: «Наши новые оппоненты еще не стали партией в полном смысле слова, но уже успели проявить себя как достаточно безответственная сила, любой ценой стремящаяся преодолеть выборный барьер. (...) Под одним знамя собираются люди, не имеющие ничего общего, кроме стремления к власти».

Ну тут, не при «медведе» будь сказано, чья бы корова мычала... И раньше-то от право-левых крыльев на этом политическом мутанте в глазах рябило, а уж теперь... Вот вам на пробу два свежее испеченных «единоросса» — кемеровский фараон Тулеев и бывший чувашский демократ Федоров. То есть он не бывший чувашский, а бывший демократ... Как сие понять без поллитры, даже не знаю. Тулеев в прошлом — краса и гордость КПРФ, Федоров — чуть ли не единый кандидат от демократов! А теперь общее кольцо в носу и — попляши, мишутка! В общем, как там было сказано, у Грызлова? «Под одно знамя собираются люди, не имеющие ничего общего, кроме стремления к власти»? Во-во. Но продолжим цитирование этого классика парламентаризма.

Говоря об оппонентах «Единой России», Грызлов заметил: «Их неразборчивость в кадровой политике может открыть дорогу во власть криминалу». «Жесткая же позиция “Единой России” не нравится преступному миру. Наши кандидаты становятся мишенью для наемных убийц».

Я, как это услышал (про мишени для наемных убийц и противодействие криминалу), — так сначала подумал, что я что-то пропустил и Политковская со Щекочихиным были членами «Единой России»... Но потом догадался, что Грызлов говорит вовсе не о них.

А говорит он, господи, о недавно убитом в Приморье кандидате в мэры города Дальнегогорска Фотьянове. Многие годы покойный был обычным братком и участвовал в дележке края на общих понятиях, — собственно, в тех краях, кроме тучи братков и одного Черепкова, возле власти отродясь никого не было... Но в последние годы братки учуяли перемену ветра и, благословляя грызловско-путинскую «разборчивость в кадровой политике», всей малиной рванули в «единороссы». И все то же самое пилят, помахивая партийными книжками. Но выяснилось, что перед выборами, когда на кону имущество края со всей его рыбой, лесом и, главное, таможней (как в том богом забытом Дальнегогорске) — мочат уже и «единороссов»... Вот и выходит Грызлов на трибуну в терновом венце набекрень.

Но вернемся на съезд «Единой России». В контексте разгорающейся войны мышей и лягушек за грядущее престолонаследие (что, по российским понятиям, влечет за собою немедленное «перекрышевание» всего леса, мяса, газа и ИТАР-ТАССа)... — в свете всего этого большой интерес общественности вызывали выборы бюро Высшего совета партии. Тут россияне ждала новая интрига: вопреки ожиданиям, в это бюро не вошел один из претендентов на будущее президентство, руководитель ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин, — из чего внимательные россияне тут же сделали вывод, что Грызлову тоже охота в Кремль. Ну а, собственно, почему бы и нет? Чем он хуже Миронова, Медведева и всех остальных? Или не питерский? Или замечен в свободомыслии? Или талантлив, не приведи господи? Да нет же, все как у всех. Так что, когда будем раскладывать пасьянс на бубнового короля, давайте уж не забывать и Грызлова, а то ему обидно. Что же до руководящего состава «единороссов» — кадровый вопрос был решен совершенно блестяще!

Как заявил, выступая на съезде в Екатеринбурге, глава партии Борис Грызлов, «в состав Высшего совета партии войдут выдающиеся обществен-

ные и политические деятели страны, имеющие большой авторитет в российском обществе и на международной арене».

Вау! Кто же они? Кто эти титаны мысли, отцы русской демократии, известные к тому же на международной арене? О-о, загибайте пальцы: это — председатель правительства Еврейской автономии Волков, глава администрации Липецкой области Королев, председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Кулик (ну это титан еще советских времен). А еще там имеется некто Шакум, некто Трофимов, и еще этот... ну, как же его... а, неважно! Главное: международная арена заранее рукоплещет.

Теперь — новости из Генеральной прокуратуры.

Выступая на пресс-конференции в минувший вторник, генеральный прокурор Юрий Чайка сформулировал главные задачи, которые намерено решать новое руководство этого ведомства. В частности, Чайка заявил о необходимости «тесного сотрудничества с правительством».

Ну слава богу. Это — настоящий бой! А уж в розыске убийц, ну вот хоть убийц Литвиненко, — тут уж просто безо всякой пощады! Генпрокуратура уже вторую неделю тесно сотрудничает по этому поводу с правительством России, опекая следователей из Скотленд-Ярда, прилетевших в Москву. Ну прилететь-то они прилетели, а вот насчет того, чтобы допросить свидетелей... На зону к Трепашкину мы их пустить не можем при всем желании — боимся огорчить пейзажем, а в остальном: милости просим, но — в рамках закона, конечно!

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что Генеральная прокуратура готова допросить ключевого свидетеля по делу Литвиненко — бывшего сотрудника ФСБ Лугового. «Если врачи разрешат, а по нашей информации, он болен и в настоящее время госпитализирован, тогда он будет обязательно допрошен», — заявил Чайка в минувший вторник.

О да! Забота о здоровье граждан и вообще гуманитарные соображения — они превыше всего в работе Генеральной прокуратуры. Лучше всего это видно как раз на примере Михаила Трепашкина, которого целенаправленно сводят в могилу в лагере под Нижним Тагилом; Платона Лебедева, помню, держали в СИЗО с диагнозом «гепатит», а потом увезли за Полярный круг; только что задержанного мэра Томска Макарова вместо реанимации после сердечного приступа привезли в изолятор... Но с Луговым Генпрокуратура пробило на гуманизм по полной программе. Болезнь у него действительно протекает очень странно: в прошлую пятницу выписался из больницы совершенно здоровым, никакого облучения, в субботу отдыхал у себя на даче, а в воскресенье, как только прилетели английские следователи, резко слег на новое обследование... И с тех пор все лечится.

Вслед за Генпрокуратурой, тесному сотрудничеству с правительством несколько лет назад посвятила свою жизнь и телекомпания НТВ. Правда, в отличие от генпрокурора Чайки и коллег с Первого-второго канала, энтивэшники в верности правительству не клялись и изо всех сил, как могут, симулируют профессиональное достоинство. Но получается уже плохо...

Физик Борис Жуйков, приглашенный в прошлое воскресенье в качестве гостя программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», посвященной убийству Литвиненко, заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы»,

что ведущий мешал ему высказывать свое мнение и неоднократно останавливал запись, ссылаясь на то, что это ему «не нравится». Впоследствии многие из прозвучавших тезисов Жуйкова были вырезаны при монтаже.

А чего ж он хотел? Возможность чикнуть ножницами — главное достижение путинских лет в области свободы слова... Да и нужно ли россиянам знать, что в Англии полоний-210 не производится и произвести его нелегально практически невозможно? К чему нам, на ночь глядя, информация о том, что вещество, которым убили Литвиненко, российского производства? Эдак миллионы избирателей придут к выводу, что ими правят убийцы или как минимум те, кто убийц покрывает. Не надо нам этого ничего, не будем портить себе настроения перед Новым годом, да здравствует монтаж! И пускай физик Жуйков скажет спасибо, что вырезали только текст, а не его самого, как это принято в странах с еще более управляемой, чем у нас, демократией...

Идея тесного сотрудничества с правительством давно охватила все ветви власти, а уж в местах отправления правосудия — доведена до абсолюта еще со времен дела Ходорковского! Как в каждой отрасли, здесь есть свои отличники, и народ должен знать героев поименно! Узнал прокурора Шохина, пусть теперь запомнит имя судьи Чубаровой. Когда правительство дало отмашку на травлю грузин, эта стахановка из Нагатинского межмуниципального суда выдала такие объемы законности, что свои вздрогнули! Мы уже рассказывали о том, как она, в пять минут, выслала вон гражданина России с грузинской фамилией — теперь выясняется: тому гражданину еще повезло...

Гражданка Грузии Манана Джабелия скончалась от сердечного приступа 2 декабря в спецприемнике для иностранных граждан в Москве. В начале октября судья Нагатинского суда Москвы Чубарова незаконно приговорила ее к депортации, задерживала рассмотрение кассационной жалобы и проигнорировала просьбу обвиняемой дать ей дождаться суда дома. За два дня до гибели Джабелия в спецприемнике Мосгорсуд отменил решение о ее депортации, подтвердив, что женщина находилась в Москве на законных основаниях.

Если вы хорошенько запомнили имя судьи Ольги Чубаровой, запомните еще одно: инспектор Екатерина Соколова. Именно эта милая работница юстиции шантажировала Манану, грозя перевести ее в камеру-одиночку и запретить свидания с родственниками, если Джабелия не прекратит голодовку в знак протеста против полицейского произвола... Имена коллег Соколовой и Чубаровой — работников юстиции, подделывавших подпись Джабелия, — неизвестны, и известны, видимо, не будут...

Ну действительно: не станет же Генпрокуратура всерьез расследовать гибель в спецприемнике какой-то гражданки Грузии! Мы же великая страна, сборище широких натур, мы и погибших при Сталине посчитали с точностью плюс-минус двадцать миллионов, не будем же мы тормозить путь в свое великое будущее из-за всякой ерунды вроде смерти одного человека, тем более не гражданина России? Тем более — сын Мананы, Ника, студент Московского института права, из Москвы теперь, кажется, уедет. И то сказать: за два месяца, от незаконного ареста матери до ее смерти, после которой ни родственников, ни консула Грузии даже не пустили в морг, Ника

получил полный практический курс российского права! Так что поздравим друг друга с нашим уже традиционным гостеприимством, и расслабимся: никому из тех, кто угробил Манану Джабелия, ничего не грозит.

Теперь о том, что новенького в глубинке.

Комментируя успешный результат партии СПС на выборах в Пермском крае, депутат Госдумы Станислав Говорухин в интервью изданию «Газета», в частности, сказал: «Я немножко знаю этот край и даже там родился. (...) Там очень много идиотов! Я абсолютно уверен, что там существует какая-то аномалия».

Неловко спорить со знатоком края по вопросу пермского идиотизма, тем более что личным примером Станислав Сергеевич, как может, подтверждает собственную версию. Впрочем, полагаю, никакой особенной аномалии там нет. Пермская область, как и всякая другая, несомненно, подарила России некоторое количество идиотов, голосующих при этом самым разнообразным способом. Есть среди них идиоты застенчивые — живут себе и живут, никого не трогают... Есть идиоты громкие — об их идиотизме узнают, как правило, соседи по дому... А есть идиоты выдающиеся — эти о своем идиотизме оповещают сограждан через прессу...

И напоследок — предновогодние новости.

Премьер Чечни Рамзан Кадыров распорядился превратить центр Грозного в единую праздничную площадку и максимально ограничить в праздничные дни число вооруженных сотрудников милиции на улицах. Кадыров потребовал, чтобы «несущие патрульно-постовую службу были одеты с иголочки, выглядели нарядными, чтобы они имели привлекательный вид, а не отпугивали от себя людей».

М-да. Боюсь, одной одеждой с иголочки вопрос отпугивания не решить. Потому что над одеждой у кадыровских бойцов — лица, а в глазах там — такой опыт, что у всякого человека сразу возникает одно и то же новогоднее желание: не найти под елочкой собственную голову...

Счастья вам!

16.12.2006

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Знаете, уже давно, садясь перед микрофоном, я ощущаю себя старой цирковой лошадкой на манеже: представление вроде бы новое, но вокруг этих тумб я танцевал уже столько раз, что копыта сводит. Причем тумбы те же, а танцевать надо всякий раз по-новому, вот в чем наша цирковая проблема. Ну, попробуем...

Начнем с новых успехов в борьбе с экстремизмом. То есть, чтобы вы не подумали лишнего — не то чтобы в России перестали убивать черных и желтых и стало нельзя прогуляться по городу в свастике... Нет, тут все на месте: погромные речи звучали на отчетной неделе с высоких трибун, и еще одного индийца избили в Питере, двух корейцев убили во Владивостоке... Мы свою норму знаем! Но на главном направлении деятельности органов безопасности их ждала большая удача.

Обыск был проведен в минувший вторник в помещениях Объединенного гражданского фронта в Москве. В мероприятии участвовало около двадца-

ти сотрудников МВД и лиц в штатском. В постановлении на обследование помещения было сказано, что обыск проводится с целью выявления литературы экстремистской направленности.

О! Ну я бывал в этом штабе! Там все завалено литературой экстремистской направленности! Незадолго до обыска этот каспаровский Объединенный гражданский фронт выпустил газету, в которой призвал москвичей принять участие в «Марше несогласных» — собственно, за ней чекисты и пришли. Теперь всей Лубянкой читают. А там, черным по белому: мол, Россией правит «фактически оккупационный режим временщиков, чья единственная цель — личное обогащение». Я аж наизусть запомнил. Ну это, конечно, чистый экстремизм — такое говорить! Да и вранье! Как это: «личное обогащение»? А жены, а дети, а любовницы? Тут не до себя... Плюс примите во внимание острое желание — после две тысячи восьмого года не сесть, путем сложения сроков, на остаток жизни. Короче, я бы предложил органам не скупиться на личный состав и бросить на подавление экстремистской литературы такого рода не два десятка человек, а двадцать тысяч. Дело-то запущенное! Русским языком, великим да могучим, столько всего про Кремль наговорено, с князя Курбского начиная — Каспарову не снилось! И все опубликовано! Герцен, между прочим, почти дословно зашарашил: мол, государство расположилось в России как оккупационная армия! Даром что в Лондоне жил, — хуже Березовского! И до сих пор в каждой библиотеке лежит, неизъятый.

Теперь о партийном строительстве. Дело это важное, насущное и, прямо сказать, жизненно необходимое — особенно для местного начальства, с которого, как в славные времена застоя, требуют показателей роста... А как обеспечишь рост? Хорошо было в «совке»: фигак сверху разнарядку на рабочий класс и народную интеллигенцию, фигак другую, на русских и нацменьшинства, — и вот тебе девятнадцать миллионов человек передового отряда! А сейчас? Россияне за годы нечаянной свободы развинтились, отвязались, и больше этого цирка не хотят. Но, чай, не при Ельцине живем — доводы найдутся!

По сообщениям СМИ, на АвтоВАЗе в Тольятти началась массовая вербовка рабочих в «Единую Россию». Многие работники завода получили от непосредственных начальников приказ вступить в партию власти под угрозой увольнения. Инициатива исходит от заместителя главы АвтоВАЗа Юрьева, ставшего месяц назад членом регионального политсовета партии.

Ну вот тебе, бабушка, и Юрьев... Один из менеджеров завода (на условиях анонимности, разумеется) рассказал журналистам, что этот Юрьев пообещал областному партийному руководству охватить членством заводской рабочий класс. Вот теперь и старается, охватывает, чем может...

Теперь — пара слов о чести и достоинстве. Вообще-то они — большая редкость, но у руководящего состава «единороссов» этого добра завалилось! По тонне чести и по четыре центнера достоинства сверху. И журналисты должны с этим считаться, когда собираются писать всякие гадости. Ну вот, например: газета «Саратовский репортер» рассказала читателям о приступе благосостояния, случившемся с секретарем президиума генсовета «Единой России» Вячеславом Володиным.

У Володина обнаружились миллиардные доходы, причем все это у него выросло как раз в то время, когда он, как папа Карло, пахал во имя народа в президиуме Государственной думы. Это не коррупция, — просто так совпало! В каких-нибудь далеких краях после такой публикации руководящий папа Карло с большой вероятностью сел бы в чулан лет на несколько. Но Россия — страна высокой морали, с огромным уважением к неприкосновенности частной жизни начальства, — и в тюрьму теперь может сесть редактор газеты — «за незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну!» Прокуратура уже возбудила уголовное дело.

Вы спросите: а как же борьба с коррупцией? О, это на здоровье! Для этого дела у нас есть Михаил Касьянов — с тех пор, как он ушел в оппозицию к Путину, выводы его на чистую воду сколько угодно! А насчет действующих руководящих персонажей — это себе дорожке... В крайнем случае — бери из соседнего ведомства, как тех оборотней, а еще лучше, как говорил незабвенный товарищ Саахов, — чтобы «не из нашего района»...

По сообщению газеты «Ъ», в минувшую среду в Волгоградской области был задержан начальник управления собственной безопасности ГУВД Астраханской области полковник Валерий Малов. При досмотре в его машине обнаружено большое количество осетрины и черной икры. Комментируя задержание, анонимный источник в Астраханском ГУВД, в частности, сказал: «Что они в Волгограде, не знают, что ли, как рыбу возят? Своего бы не взяли, а вот соседа для отчетности — это пожалуйста!»

Ну да. Рыбой ли, борзыми ли щенками или дензнаками, но берут все, и брать можно всех — по периметру или по алфавиту, как душе угодно... Можно, но не нужно! Гораздо интереснее по этим точечным антикоррупционным ударам попытаться понять картину текущего номенклатурного дарвинизма. Вот, например, некий прайд, желающий занять в саванне новые территории, налетел давеча всей стаей на Пенсионный фонд. Процедура выемки документов и выдвинутые обвинения, надо сказать, совершенно поразили главу фонда Геннадия Батанова: «Ну это ж суммы громадные... 300 миллионов, или даже говорили вчера 1 миллиард... Ну такого невозможно пропустить... Ну не может этого быть! Не может!»

Ой, Геннадий Николаевич, еще как может! Пропустить (особенно — пропустить через себя) можно и не такие суммы. Спросите хоть... ну, я не знаю... да у любого спросите! Впрочем, сам г-н Батанов и его коллеги, «пропускающие» через себя пенсионные средства, — люди огромной чистоты. Судите сами!

«Пенсионный фонд Российской Федерации, его сотрудники в целом любят свою страну, свой народ, любят тот контингент наших граждан, с которым они работают. Еще раз говорю: таких масштабных махинаций у нас нет... По мелочи, может быть, есть».

И в завершение антикоррупционной темы не могу не процитировать премьер-министра России Фрадкова. Тут уж и комментировать нечего!

Комментируя перспективы создаваемого правительством Банка внешней экономической деятельности и развития, глава кабинета, в частности, сказал: «Туда все захотят пойти работать. То же самое, чем занимаемся мы, только зарплата большая и воровать ничего не надо».

Ну, с коррупцией покончено — теперь о росте обороноспособности. Я имею в виду ход осеннего призыва.

В Филях (неподалеку от места, где Кутузов обмозговал Наполеона) в минувший вторник случился еще один удачный мозговой штурм, перешедший в квартирный. Четыре «мента» во главе с доблестным майором Лавренко ворвались в квартиру на Филевском бульваре и попытались забрать оттуда на выполнение священного долга молодого человека двадцати лет. Молодой человек двадцати лет хотел еще пожить, родители тоже имели другие планы на вечер, но священный долг не ждет ни минуты, — поэтому милиционеры избили юношу, навешали его родителям, пытавшимся помешать его уходу, чуть не придушили вступившегося младшего брата, силой приволокли добычу в опорный пункт милиции, где наконец выяснили, что приволокли вовсе не того, кого искали, а однофамильца. Ну что поделать: портупею им по месту работы выдали, а мозги забыли...

Но знаете: я бы не отпускал и однофамильца! Ну раз священный долг под угрозой... раз в настоящее время некому отскребать бритвой писсуары и драить плац сапожной щеткой... а без этого Родине, сами понимаете, жизнь не в радость... — в общем, я бы брал вообще всех!

Но и тех, которые не под ружьем, следует тоже занять каким-нибудь полезным делом, — чтобы потом не было обидно за беспечно прожитые годы...

Выступая в прошлую субботу на съезде Конгресса русских общин, Дмитрий Rogozin заявил, что русские имеют право на исключение из состава России тех этнических групп, которые «демонстрируют неуважение к нам и криминал».

Этнические группы, «демонстрирующие неуважение и криминал» по отношению к «титульной нации»... О, как знакома эта проблема! И как легко решается: с евреями в Германии 30-х, с албанцами в Сербии Милошевича, с народностью тутси в Руанде... Велосипед-то давно изобретен, только пусти их за педали! Ежу понятно, что после таких дивных речей Дмитрий Rogozin был немедленно избран новым лидером Конгресса. Отсутствие в зале прежнего лидера, Сергея Глазьева, он объяснил «высокой температурой». Ну я там с градусником не ходил, но судя по видеоматериалам, многие с высокой температурой все-таки приехали... Ну и сам Rogozin, разумеется, не дал температуре упасть!

Rogozin: «Кто-то из наших гонителей, наверное, подумал, что нам придется в белых простынях тащиться на ближайшее кладбище? Так вот, что я хочу им сказать — хрен им! Мы живы!»

Вообще это был день знаний. Во-первых, выяснилось, что г-н Rogozin — жив, слава те господи. Во-вторых: дождавшись телекамер, он перекрестился — и все поняли, что Rogozin глубоко православный человек (типичный случай среди бывших заведующих секторами Комитета молодежных организаций при ЦК ВЛКСМ, особенно тех из них, кто прилюдно кричит про хрен и кладбище). К какой именно ветви христианства принадлежит Дмитрий Олегович и участники конгресса, стало ясно, когда он призвал собравшихся «стать профсоюзом русских людей». Приди на это собрание Иисус из Назарета, он явно не прошел бы фейс-контроля...

Счастья вам!

23.12.2006

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну, мы и вообще стараемся не огорчать почтенную публику, отбieraем только те сообщения, которые могут повысить настроение, а уж ближе к Новому году — только положительные эмоции, только! Ну, обо всем по порядку. Первым делом порадуемся за чиновный класс. Раньше, в бедные времена начальной российской демократии, при жалких восемнадцати долларах за баррель, чиновников в стране было немного... работать приходилось, как прямо таджикам каким-то... А теперь — куда не плюнь, там чиновник, и в полном шоколаде!

По новым данным Росстата, средняя зарплата государственных служащих за девять месяцев 2006 года выросла на 28%. При этом выросло и количество российских чиновников — на 270 тысяч человек.

Прекрасно! Теперь их, стало быть, на круг почти полтора миллиона! И это не считая тех, которые трудятся в погонах (сколько ртов мы кормим в Минобороны, прокуратуре, ФСБ-ФАПСИ-МВД и т.д. — страшная государственная тайна, но невооруженным глазом видать — число выросло в разы). А вы еще спрашиваете: куда ж они деваются, шестьдесят долларов за баррель? А вот туда и деваются; можем себе позволить! Помаленьку, кажется, это становится поощрительной национальной идеей — и впрямь, стоит ли работать, когда по соседству маячат такие возможности? Причем, заметьте, легальные возможности, из окошечка кассы! А уж помимо кассы... но об этом потом. А сейчас... 270 тысяч новых чиновников за девять месяцев... в уме легко делим и получаем ровным счетом — 30 тысяч новых чиновников в месяц, с постоянно опережающим ростом зарплат! Вау! Все это торжество благосостояния происходит на фоне общей убыли населения.

Параллельная жизнь начальства и населения рождает удивительные и чисто российские логические загогулины. Ну вот, например: больше семидесяти процентов россиян поддерживают политику Владимира Путина — и ровно столько же (по данным Аналитического центра Юрия Левады, почти три четверти опрошенных) считают наиболее коррумпированными именно чиновников федерального уровня. О как! Сопоставление этих удивительных цифр заставляет подозревать, что средний россиянин не столько возмущен этой коррумпированностью, сколько искренне, по-человечески завидует тем, кому свезло в путинскую эпоху оказаться чекистом питерского происхождения, — ибо других среди чиновников федерального уровня почти нет. «Питерским» счастье привалило на халяву, по праву рождения, остальным же, чтобы, по Жванецкому, «попасть туда внутрь, на склад», приходится доплачивать. Но не всегда получается. Давеча в провинции поймали средней руки мента, который как раз за перевод на федеральный уровень, в Москву, жаждал отдать 200 тысяч баксов наличными, явно не последние... Менту так хотелось на федеральный уровень — туда, где кончаются сотни тысяч и начинаются десятки миллионов!

А там уж недалеко уровень и международный! Те, кого вовремя не взяли с поличным, справедливо считают, что пришло время, как сказано у классика, «у тихой речки отдохнуть». Речка, как правило, называется Темза...

Газета «International Herald Tribune» приводит оценку брокера, занимающегося недвижимостью в английской столице: в прошлом году русские купили примерно четверть из лондонских домов, которые выставались на продажу за суммы свыше 15 миллионов долларов. По другой оценке, русскими куплено около 60% зданий, которые продавались за суммы более 20 миллионов долларов.

Вы еще спрашиваете, куда деваются шестьдесят долларов за баррель? Уже нет? Ну и слава богу.

Ментальное единство российского народа ярко выражается в том, что поучаствовать в освоении распирающего бюджета хотят буквально все, вне зависимости от географии, вероисповедания и других антропологических особенностей...

Парламент Чечни создал специальную комиссию, которой поручено подсчитать ущерб от двух военных кампаний последних 12 лет. Как надеются власти Чечни, гигантские цифры этих потерь позволят им поставить перед центром вопрос о резком увеличении финансирования восстановительных работ.

Словосочетание «восстановление Чечни» давно вызывает в чиновничьем организме сладкое томление. С похожим слюноотделением сыновья лейтенанта Шмидта реагировали на слово «Бобруйск»... Счетная палата давно сломала пальцы о калькуляторы, пытаясь сосчитать все миллиарды, бесследно ухнувшие в те края (впрочем, половина этих миллиардов, по авторитетным свидетельствам, растворилась в пространстве, так и не покинув пределов Садового кольца)... Но нынешняя идея все пересчитать заново заставляет вспомнить уже не Ильфа и Петрова, а Корнея Чуковского: «То, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели...»

Впрочем, чеченских парламентариев понять можно. Раздача бюджетных «бабок» — процесс непрекращающийся, и грех в этом не поучаствовать. От того и такой конкурс на хорошее чиновничье место или возле! Вот, скажем, член Общественной палаты — вроде бы пшик на палочке, ан нет! На минувшей неделе президент наконец соизволил распилить пятьсот миллионов рублей, выделенные из бюджета некоммерческим организациям. Правда, большая часть проектов, под которые запрашивались гранты, уже гикнулась, как Безенчук (деньги-то были выделены на этот год, которого осталось уже с гулькин нос), — но лучше поздно, чем никогда! Главное — чтобы своим.

По сообщениям СМИ, многие НКО, рекомендованные Общественной палатой как получатели крупных грантов, связаны с самими членами Общественной палаты. Так, полтора миллиона рублей получит «МедиаСоюз», возглавляемый Еленой Зелинской. Достанутся гранты и другим известным деятелям Общественной палаты.

Эхма! Помню, как-то, год напролет, делил я деньги дедушки Сороса, и делили вместе со мной эти денежки множество разных людей... И Венедиктов, и Антон Носик, и члены редакции «Московских новостей», и еще человек двадцать... И за каждым стоял свой свечной заводик — радиостанция, интернет-ресурс, газета... И денег дедушка Сорос выделял уж поболее, чем российский бюджет... Но не было еще в природе Общественной палаты, и некому было научить нас, убогих, как поступают в таком счастливом случае...

Но вернемся к грантополучателям. Не все они члены Общественной палаты, многие — просто правильно ориентированные люди. Вот бывший социолог администрации президента Задорин (два «лимона» из бюджета), вот глава дрессированных профсоюзов Шмаков (другие два «лимона»)... Вот полтора «лимона» для НКО, руководимого некой Ольгой Костиной, ключевым свидетелем по делу ЮКОСа... Надо ли вам объяснять, в какую сторону она свидетельствовала? Не надо? Как приятно иметь дело с догадливыми людьми!

Правильно ориентированные люди пришли давеча и на телекомпанию Рен-ТВ. Долгое время там творилось черт-те что — телеканалом владели люди не только не питерские, но и Путина толком не знавшие! Разумеется, так продолжаться не могло! Через промежуточные руки правильно ориентированного олигарха Мордашова канал попал наконец... Ну, на этом глаголе можно и остановиться. Канал — попал.

Об изменениях в составе акционеров телекомпании «Рен ТВ» стало известно в минувший понедельник. По сообщениям СМИ, крупным владельцем телекомпании стало ООО «ИК Аброс» — «дочка» санкт-петербургского банка «Россия», который возглавляет близкий друг президента Путина Юрий Ковальчук. Председателем совета директоров холдинга «Рен-ТВ» уже избрана глава ИК «Аброс» Любовь Совершаева.

Вышеупомянутый Ковальчук родился под счастливой звездой, то есть неподалеку от ВВП. Свезло и госпоже Совершаевой. В начале девяностых она трудилась рядом с Владимиром Владимировичем, в комитете по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга. Последние шесть лет работала заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, курируя от имени все того же Владимира Владимировича экономические вопросы. Видимо, курировала она их очень успешно, потому что с госслужбы ушла в крупную фирму по месту курирования, причем сразу ее и возглавила. И вот — эта фирма, контролируемая двумя друзьями президента, незадолго до выборов берет под контроль петербургский пятый канал, а теперь и Рен-ТВ. Видимо, все это, вкуче, и имел в виду Путин, когда месяц назад с праведным гневом в голосе, в белых одеждах и легким сиянием вокруг темечка говорил:

Путин: «Деньги и власть должны быть разьединены».

Ой. Слушал бы и слушал!..

Теперь несколько слов о торжестве правосудия. Правосудную тему на минувшей неделе дивно обобщило интервью главы Мосгорсуда Ольги Егоровой. «Берут ли судьи взятки?» — спросил у нее в простоте корреспондент «Итогов». «Я таких случаев не помню!» — ответила Егорова. Что-то с памятью моей стало... Ну, дама эта давно известна своей приверженностью к закону, клейма об этом ставить негде... Скоро оценку ее подвигам на ниве законности (по иску судьи Кудешкиной) даст Страсбургский суд, а пока что — насладимся самооценкой. Отвечая, в частности, на вопрос о деле Ходорковского, Егорова заметила: «Верховный суд не отменил ни одного решения. Значит, Мосгорсуд и районные суды не допустили ошибок. Это говорит о высоком профессионализме». Конец цитаты. Ну да: если святая инквизиция не отменила приговор еретiku, осужденному местной

церковной властью, — это говорит именно об их высоком профессионализме! В области аутодафе, разумеется.

Кстати, о высоком профессионализме. Его проявила в минувшую среду и Государственная дума, отказавшись ратифицировать Протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, направленный на повышение эффективности работы Европейского суда по правам человека. Как всегда, честнее других суть дела сформулировал Жириновский.

Жириновский: *«Все обращения в Европейский суд по правам человека в основном против нас! Если мы дадим право судьям возвращаться к разным делам, они будут нас мучить много-много лет. Мы уже вступили в Совет Европы, за 10 лет заплатили 200 миллионов евро, и нас там только критикуют!»*

Ну да, действительно. Уплочено же! Но видать, когда мы заносили деньги в Совет Европы, мы-то думали, что заносим их по российским правилам — в обмен на поворот дышла. А европейцы, гады, таких простых вещей не понимают. Хрен им за это, а не ратификация!

Вообще, вся эта мышинная страсбургская возня — штука подозрительная для крепкого российского мозга, с малолетства уграбманного до краев словосочетанием «так называемые права человека», рисунками Кукрыниксов и стишками из газеты «Правда»! Этот курилка жив и дымится родным вонючим дымом не переставая.

В своей речи по случаю Дня чекиста глава ФСБ Николай Патрушев предъявил претензии к Датскому совету по беженцам: *«Сотрудники этой неправительственной организации (...) систематически пытаются осуществлять сбор тенденциозной информации об общественно-политической, экономической и военной ситуации на Северном Кавказе, возможности возникновения новых вооруженных конфликтов на религиозной и национальной основе», — заявил он.*

Дорогой г-н Патрушев! Разрешите открыть вам парочку страшных тайн. Тайна первая: информация, в отличие от комментария, не бывает «тенденциозной». Она бывает лживой — или соответствующей действительности. Вторая страшная тайна заключается в том, что глава спецслужбы (если он глава спецслужбы, а не пиар-агентства «Лубянка») по роду своей работы должен быть заинтересован именно в правдивой, то есть почти всегда — неприятной информации. И этот профессионал мог бы сказать спасибо тем, благодаря кому что-то становится известно (цитирую) «о возможности возникновения новых вооруженных конфликтов на религиозной и национальной основе». А впрочем, что это я.... кому это я?.. Продолжайте бороться с Датским советом по беженцам, Николай Платонович, вам идет!

Ну с Западом мы разберемся. Вот еще нефть поднимется, ракет настружаем, подлодок на все деньги утопим — они у нас попляшут! Как раз осенний призыв завершился! Еще сто двадцать три тысячи лбов забрили и услали на лоботомию в казармы. Возможность поменять карму стоит в среднем пять тысяч долларов на раба, но можно взамен бесплатно отдаться офицеру по месту призыва, что и было предложено недавно двум призывникам в Красногвардейском военкомате Петербурга. Короче, продолжаем укреплять обороноспособность всеми способами!

Но вернемся на «гражданку» и к гражданским правам — типа свободы собраний. В прошлую субботу власти в полной мере обеспечили эту свободу для участников «Марша несогласных»: от массовых задержаний участников до глушилки-вертолета, зависшего над митингом. О причинах запрета марша рассказал пресс-секретарь московского мэра Сергей Цой.

Сергей Цой (аудио): «Посмотрите, какая ситуация сейчас в городе, мы не хотим создать проблем для москвичей, для горожан и приезжих. Вот и все. Мы хотим жить в спокойном, нормальном городе, чтобы было комфортно для всех москвичей».

Интересное дело! Как раз в эти же дни по римским улицам прошли сторонники Берлускони (семьсот тысяч, под оппозиционными лозунгами!), и ничего с Римом не случилось. Но Москва — такая хрупкая... когда речь идет о марше оппозиции; и такая твердокаменная, когда отмашку дает начальство!

Около семидесяти тысяч человек в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек (активисты молодежного движения «Наши») приехали в прошлое воскресенье в столицу, чтобы (цитирую) «поздравить с наступающим Новым годом и 65-летием победы в битве под Москвой столичных ветеранов».

В Москве, увы, осталось не так много ветеранов битвы под Москвой. На деньги, угроханные на весь этот маскарад, можно было бы купить им тонну лекарств или оплатить коммунальные услуги, но это ж никакого пиара — какой же смысл? А вот согнать, на мелкую халяву, тысячи бездельников, перекрыть Садовое кольцо и нагнать пафосу, чтобы не продохнуть было — это другое дело! На каждый пункт сбора бывших защитников Москвы упало в тот день в среднем по шестьсот Дедов Морозов. Кажется, отбить фрицев было немножко легче...

И напоследок. Прояснению картины текущего времени немало поспособствовал юбилей Леонида Ильича и соцопросы по этому поводу. Оказалось, у большинства россиян брежневское время ассоциируется с благополучием и достойной жизнью! Я тут и фильмы по телеку посмотрел, и статьи почитал... — оказывается, хороший был человек! Любитель охоты и женщин, добряк, в старости — чудака с симпатичными слабостями... А раздавленная Прага, замордованная страна, мордовские лагеря, психушки имени Сербского, талоны на еду и Афган напоследок — это мне, стало быть, почудилось... А впрочем, может быть, именно все это и есть достойная жизнь, в представлении большинства россиян?..

Счастья вам!

30.12.2006

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну, что же: год заканчивается, пора подбивать бабки! Пошерстить старые «сырки», достать из кладовки самые питательные кусочки — и на новогодний стол их, на отдельную тарелочку! Не бойтесь: наш «сырок» не тухнет. Это президент в России может оказаться просроченным, а хороший текст — никогда.

Зеркалом исторического строя, в который помаленьку, с радостным бульканьем, погружается матушка-Россия, стала картина очередной встречи

народа с гарантом. Оба показали себя с лучшей стороны. Народ лишнего не говорил; от Находки до Балтийска стоял строем, молча выделял из себя заранее заготовленный говорящий элемент с нужным вопросом, и гарант немедленно на этот вопрос отвечал, поражая объемом сведений. Мы и раньше знали, что он у нас ого-го, но в тот день — это было что-то запредельное! Энциклопедия русской жизни! В курсе проблем хвойного древостоя, знает наизусть километраж трассы Чита—Хабаровск и размеры взлетно-посадочной полосы в Иркутске, длину цикла в животноводстве, объем вывоза кругляка и количество людей, нуждающихся в газификации. Сократил число легионеров в футболе, разъяснил ситуацию с комплектуемыми, взял под контроль дачную амнистию, наладил борьбу с коррупцией, прекратил наркоторговлю в Нижегородской области, помог петербургским ветеранам ссены... Все сам! Зачем нам при таком гарант-аль-рашиде Белый дом с сотней министров — ума не приложу!

Теперь — о чем президент с народом не говорил. За три часа непрерывного взаимного словоизвержения ни разу не прозвучало слова «Чечня». И слово «Ходорковский» — ни разу. Слова «Беслан» в стенограмме тоже не зафиксировано. Ни со стороны президента, ни от obsługi, ни от народа... А был ли мальчик-то?

Не было, стало быть. Ни мальчиков, ни девочек, сгорели и сгорели, и не интересно нам, отчего сгорели — вот про хвойный древостой нам интересно, про амнистию дачных домиков и почему сборная по футболу, сволочь, не играет! Ну а раз никому не интересно, то и думская комиссия по расследованию событий в Беслане с чистой совестью свернула свою клоунату. Не привлекая особого внимания, дождавшись, когда страна помаленьку начнет разливать и резать салат оливье, глава комиссии Торшин по-быстрому прощелбетал чего-то на Большой Дмитровке (ни фактов, ни опровержения фактов, приведенных в докладе Савельева... чистая музыка речи!) — и понимающие коллеги из Совета Федерации с ходу проголосовали за прекращение работы комиссии... От салата оливье никто даже не отвлекся. То есть полное единение народа и власти на почве амнезии. Так держать!

Перейдем к обзору политической жизни. Она была ключом! СПС с «Яблоком» допустили к президентской ручке — и в наступающем году, если они будут хорошо себя вести, их пустят посидеть с краешку в парламенте. Но свято место пусто не бывает: появилась новая мощная оппозиционная сила во главе со спикером Мироновым, с ясной программой действий!

Миронов: «Продолжение курса президента России Владимира Путина. И мы с этого курса нигде не свернем. И не дадим никому свернуть».

Вот это настоящая оппозиция! Рисковый мужик спикер, ничего не боится...

А чего бояться?

По данным Всемирного банка развития, за минувший год Россия, по признаку законности и контроля над коррупцией, опустилась еще на несколько пунктов и занимает теперь 151-е место, находясь в этом списке чуть ниже Уганды и Замбии, но зато чуть выше Нигера.

Вот оно как. Он, стало быть, по Африке гуляет, фиго-финики срывает... Под ручку с ихними строителями вертикалей, президентами Йовери Му-

севени, Кеннетом Каундой и Мамаду Танджа. Вот такая компания братьев по разуму. А вы говорите: большая восьмерка!

Ну, в отчетный период мы не только уделали Африку по части коррупции. Были и другие победы на внешнеполитических фронтах... Поддержали Хамас, защитили от санкций Иран, помогли чем могли Сирии и Северной Корее... Но главное — отыгрались на Грузии!

Вознесемся еще в политические выси. По мере приближения к 2008 году ветер там продолжал все определеннее дуть в указанном направлении.

Комментируя возможность принятия поправки о третьем президентском сроке, первый зампреда думского комитета Александр Москалец заявил: «Я могу привести еще 22 довода за то, чтобы принять такую поправку».

Двадцать два довода свои Москалец не перечислил, но двадцать третий (и главный) довод за то, чтобы Путин оставался в Кремле — нашелся сам... И кто бы ни послал президенту в день рождения эту весточку, содержание было понятно без перевода: мы тебя на трон посадили, мы и скажем, когда на выход. Ни в какую частную жизнь из Кремля ты не выйдешь, без власти тебе кранты, голова повязана, кровь на рукаве, причем кровь — чужая... И очень похоже, что этот мессидж, в виде убийства Анны Политковской, до гаранта — дошел!

«Это убийство само по себе наносит России гораздо... и действующей власти и в России и в Чеченской Республике, которой она занималась в последнее время... — наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации».

Ах, Владимир Владимирович, нельзя быть таким честным! Все-таки президент большой страны, надо фильтровать как-то... Но Фрейд не дремлет, подсознание выходит наружу даже у чекиста, — поэтому, ей-богу, лучше жевать, чем говорить! И хотя слово не воробей, придворное агентство РИА «Новости» все-таки втихую отредактировало президентскую цитату, убрав из нее слова про вред, который публикации Политковской приносили России, оставив только про вред «действующей власти». Неизвестный умница в агентстве, в отличие от президента, сообразил, что «Россия» и «действующая власть»... как бы мягче сказать... — не синонимы. Впрочем, оправдывался Путин в те дни не перед нами, а перед главой Германии и поймать убийц обещал не нам, а Джорджу Бушу. Нас-то до самых похорон — слова не удостоил! Да и что разговаривать с холопами? Вот Запад — другое дело — тут и партнеры, и счета... Но ежели так пойдет дальше, начнутся проблемы и со счетами... Ах, как неохота Путину становиться «Лукой»! — а тут еще убийство Литвиненко подоспело... И кто бы это мог сделать?

Ну сделать могли бы многие (опыт в стране, слава богу, накоплен с советских времен), но главное — поиски убийц с самого начала оказались в надежных руках... Еще недавно эти наши главные столпы законности — Устинов и Чайка — сидели по тем же адресам, но крест-накрест! И по роду государственной службы много лет подряд обеспечивали успешное (для власти) направление правоохранительной работы. То грузовиками вывезут вещдоки из Беслана, чтоб духу их не было на следствии, то зорким оком засекут

хищения Ходорковского десятилетней давности... Теперь Устинов, сидевший на Большой Дмитровке, сидит на Житной, а Чайка, протиравший штаны на Житной, делает это же на Большой Дмитровке. Эта занимательная география позволяет нам заранее понять суммарную эффективность поиска убийц Политковской и Литвиненко. Да и чего их, в сущности, искать, когда президенту с самого начала все было ясно!

Выступая на форуме «Петербургский диалог», Владимир Путин, в частности, сказал: «У нас есть информация — она достаточно достоверная — о том, что многие люди, которые прячутся от российского правосудия, давно вынашивают идею принести кого-то в жертву, чтобы создать волну антироссийских настроений в мире».

Ну, конечно! Березовский, кто ж еще... Это он заказал Политковскую! И Литвиненко — тоже он. В крайнем случае, Невзлин. Если только беглый чекист не сам лизнул полоний, пытаясь им торговать посреди Лондона — эту версию предложило Российское телевидение, и уж не знаю, как насчет Литвиненко и полония, а электорат этот сюжет проглотил, даже не лизнув, и не поморщился! Все-таки десятилетия программы «Аншлаг» вперемешку с программой «Время» даром не проходят: народный интеллект укрепили так, что без клизмы не пробьешь.

Теперь — буквально пара слов вслед Сапармурату Ниязову. Сам ли он осиротил туркменский народ или ему помогли, не так, в сущности, важно, как то, что началось в Ашхабаде после того как.

А там, разумеется, немедленно вспухло! Свара в верхушке, неработающие механизмы передачи власти, какой-то «постельничий», бежавший с деньгами и документами, начальник охраны, вылезающий наверх по головам министров, слухи о массовых арестах — и народ, давно парализованный от ужаса и с бараньей покорностью ожидающий того, кто поведет его на дальнейшую живодерню... Классика жанра! Это или подобное этому ждет всякую страну, в которой все держится на вертикали и одном имени, ее символизирующем. Причем имя значения почти не имеет — Сапармурат ли он был, Владимир ли Владимирович или какой-нибудь Сани Абача из Нигерии... Просто вертикаль без горизонтали — очень неустойчивая штука. И чем тяжелее эта хреновина наверху, тем с большим грохотом рушится потом на головы благодарного населения. Физику учить надо! Ну да ладно, это я так, впрок... А пока...

Пока (до восьмого года как минимум) можем себе позволить отдохнуть... А лучший отдых у нас что? Правильно: послушать гаранта. Внимание — бонусный трек! Оговорки любимого президента из его встречи с народом! Особенно ценные для благодарных россиян, потому что, когда президент оговаривается, он всегда говорит правду.

«Мы никому не нужны... Никому не должны».

«Напомню, что Грузия добровольно вошла в состав Российской Федерации... Российской империи, прошу прощения...»

«...устранить дисбаланс между теми людьми, которые у нас живут очень и теми нашими гражданами, которые живут еще пока очень бедно. Вот этот разрыв между доходами мы можем, должны и будем сохранять... э-э... сокращать!»

Продлись пауза между глаголами «сохранять» и «сокращать» чуть дольше, она могла бы стоить стране не одного инфаркта, но президент справился с подсознанием, и все обошлось.

И напоследок — главный вопрос не только того исторического прямого эфира, но и в каком-то смысле — вообще... Вопрос такой громадный в своей неизбывной простоте, что если бы водителя Какаева из села Подгородняя Покровка не было в природе, его, ей-богу, следовало бы выдумать! Чистый Ашхабад, ей-богу!

Водитель Какаев: «Владимир Владимирович, мы все знаем, что вы после восьмого года уходите. Что будет с нами и со страной после 2008 года?»

Ничего страшного не будет, Аркадий, не волнуйтесь так. Вам дадут нового пастуха, и все пойдет, как обычно — вы даже не почувствуете, когда вас будут резать или стричь... Это, кстати, отчасти перекликается с вопросом, который прислал нам на пейджер Александр Сергеевич из села Михайловское, Псковской области. «К чему стадам дары свободы?» — спрашивает он. Да ни к чему, Александр Сергеевич! Даром не нужны.

Счастья вам — и с Новым годом!

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ СОВРЕМЕННОСТИ

в русской сетевой и бумажной периодике
четвертого квартала 2006 г.

Мы продолжаем знакомить читателей с актуальными публицистическими выступлениями, находя их на сей раз уже почти исключительно в Рунете. В этом обзоре предлагаются наиболее интересные публикации с сайтов apn.ru, gazeta.ru, grani.ru, ej.ru, kasparov.ru, lenta.ru, nazlobu.ru, polit.ru, prognosis.ru, russ.ru и др.

Итоги и перспективы

В СМИ подводят итоги 2006 года. Петр Пархоменко, Алексей Гапеев (сайт Lenta.ru, 29 декабря) в статье «Завтра будет лучше, чем вчера» полагают, что 2006 год выдался для россиян тяжелым: суровая зима, пожары и нехватка алкоголя. Впрочем, плохим год тоже назвать сложно: в России не случилось ни одного стихийного бедствия, вооруженного мятежа или финансового кризиса. Далее авторы называют и характеризуют главные события года в России. Это запрет на ввоз в Россию грузинских и молдавских вин с 27 марта; алкогольный кризис с июля в результате скандала с Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС); эпидемия алкогольных отравлений осенью (правда, мнения об ее реальности разошлись, А. Илларионов объявил ее фальшаком); осенью кризис в отношениях России и Грузии, блокада Грузии и антигрузинская кампания в России с благословения самого президента; в сентябре массовые беспорядки в карельском городе Кондопога и прошедший 4 ноября в Москве Русский марш; sporadicheskie ксенофобские выходки праворадикальных экстремистов (акции в Петербурге и Воронеже, нападение Копцева на прихожан синагоги, взрыв на Черкизовском рынке Москвы); завершение в декабре парламентского расследования захвата школы в Беслане бессодержательным докладом сенатора Торшина; назначение Рамзана Кадырова премьер-министром Чечни в марте; гибель в июле «российского террориста номер один» Шамиля Басаева и убийство в Москве командира чеченского спецотряда ФСБ «Горец» Байсарова; летняя рокировка между Устиновым и Чайкой, поменявшимися постами генпрокурора и министра юстиции; аресты в фонде обязательного медицинского страхования по обвинению во взятках; убийство осенью четырех банкиров, включая первого зампреда Банка России Андрея Козлова, а также обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской (7 октября); дело солдата Андрея Сычева; обрушение крыши Басманного рынка в Москве (погибли более 60 человек); аресты «колдуна по фамилии Грабовой, обещавшего за умеренную плату воскресить погибших в Беслане детей», и «битцевского маньяка», который, по версии следствия, убил около полусотни человек; при-

говор по делу «оборотней в погонах»; летние авиакатастрофы в Иркутске и под Донецком. А главным событием 2006 года большинство россиян считают, согласно социологическим опросам, «обещание властей платить серьезные деньги за рождение второго и более ребенка в семье».

Борис Вишневский на сайте Каспаров.Ру («Уходящий год»: 27 декабря) дает свой список событий года. Это приглашение террористов из «Хамас» в Россию, прозвучавшее из уст президента Путина; атмосфера саммита «большой восьмерки» в Петербурге («показуха, город, практически переведенный на военное положение, превентивные аресты активистов оппозиции, аресты участников гражданских акций... политический бред о “суверенной демократии” и “особом пути России”, опять же не встречающий должного отпора со стороны цивилизованных стран»); «параноидальная “антигрузинская кампания”»; 7 октября «российский президент получил подарок к своему дню рождения: убили Анну Политковскую», — причем следствию было велено искать ее убийц (а затем и убийц Литвиненко) «среди врагов президента, стремящихся таким путем бросить тень на его светлое имя». А под конец года — новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Плутону Лебедеву. Вишневский заканчивает так: «Увы: мелкая мстительность, высокая злопамятность, средний ум и развитый комплекс неполноценности, в сочетании с постом высшего должностного лица страны, часто дают ужасающие результаты».

Анализ итогов года, проделанный **Андреем Илларионовым** в московском Александр-хаусе, излагается на Lenta.ru (27 декабря) в статье «Год ликвидации» **А. Амзиным**. России удалось выполнить большинство пунктов программы развития, но почти все государственные институты в ней уничтожены корпорациями. Темпы прироста ВВП на фоне растущих цен на нефть приближаются к 7 процентам. Впервые за 15 лет темпы инфляции впишутся в прогнозы правительства (ок. 9 процентов). По объему золотовалютных резервов Россия занимает третье или четвертое место в мире. Реальная зарплата увеличилась на 11,5 процента. На огромную величину выросли и темпы реального потребления — 9,4 процента. Это является рекордом за всю историю существования страны. ВВП по сравнению с августом 1998 года вырос на 75,9 процента, объем инвестиций — на 142,9 процента. Таким образом, главным итогом года является техническое завершение 17-летнего экономического кризиса. Экономика практически вышла на точку, с которой кризис начался, и ВВП на душу населения достиг или в ближайшие месяцы достигнет уровня 1989 года. Впрочем, средний индекс промышленного производства в путинской России составляет 62,5 процента от уровня 1989 года. Произведенный ВВП на 0,3 процента отстает, а вот частное потребление — на 167 процентов превышает показатели 1989 года. Объем инвестиций в нынешнем ВВП составляет всего 35 процентов от уровня 1989 года. Мирным событием года Илларионов назвал феноменальный экономический рост в Китае и других странах (Азербайджан). За шесть лет России удалось сократить внешний долг с 77 до 6 процентов ВВП, перейти к полной конвертируемости рубля и завершить последнюю стадию двусторонних переговоров о вступлении в ВТО... «Шутка года»: фальсификация информации о росте смертности от алкогольных отравлений для установлении государственной

монополии на оборот алкоголя. На момент активного обсуждения этой темы в СМИ число алкогольных отравлений в стране снижалось рекордными темпами. При этом спад начался еще в 2002 году и с тех пор не прекращался. Главной аферой 2006 года бывший советник президента назвал первичное размещение акций «Роснефти», напомнив, что в результате были проданы акции предприятия, включающего в себя актив «ЮКОСа» «Юганскнефтегаз». По мнению Илларионова, это продажа краденого. Основным пунктом аферы является то, что «Роснефть», будучи госкомпанией, размещала полученные от IPO средства не на счетах российского правительства, а на собственных... В 2006 году происходило дальнейшее уничтожение политических прав и свобод граждан. В частности, речь идет о поправках в законодательство, отменивших лимит явки на выборах и возродивших институт гауптвахты, о законе, наделяющем президента правом использовать спецслужбы для борьбы с террористами за пределами России, и о законе об экстремизме. Аналога последнему нет в международном законодательстве. Антирешением года Илларионов назвал милитаризацию государственной политики по всем направлениям экономической, общественной и политической жизни. Произошел новый виток национализации производственных и медийных активов. Отмечена и легитимизация этнической нетерпимости в виде отвратительной антигрузинской кампании. Выросли показатели по всем видам тяжких преступлений. Начались газовые и «боржомные» войны. Главный результат года — ликвидация независимых институтов государства и разгром государства корпоративистами. По индексу коррупции Россия занимает 119-127-е место среди 160 стран мира, а сам Илларионов отсчитал ей 156-е место. Главной антиидеей Илларионов назвал передачу государственной власти «наследнику» как триумф идеологии «суверенной демократии». Илларионов связывает большие надежды с появлением институтов «спонтанной» демократии — граждане начинают бороться за свои права и свободы. Эта борьба приобретает разные формы — от защиты жильцов в Бутово до Союза солдатских матерей и круглого стола «Другая Россия». Расцвет отечественной общественно-политической мысли в блогах компенсирует провалы традиционных СМИ. Самой большой тайной года стало неостановимое стремление зарубежного бизнеса инвестировать в Россию, несмотря на «Сахалин-2» и другие скандалы. Бизнес вкладывается не в политические институты и гражданские права, а в прибыль, его интересуют и очень рискованные рынки. Со времени летнего саммита в Петербурге произошел коренной перелом в отношении лидеров стран «семи» к нынешним властям в России. До саммита многие лидеры «семерки» относились к ним как к временно заблуждающимся и стремились помочь советом или поддержкой. К середине 2006 года им стало ясно: это не заблуждение. Это не ошибка. Это не случайность. Эта девиация носит глубокий характер, и различия коренятся в менталитете и ценностях. Теперь спорить с российскими властями «Большая семерка» не будет. Она не будет учить Россию и не станет ничего ей советовать. Она вообще не будет ею заниматься и относиться к ней будет, как к другим странам, которые не учат, например, как к Ирану или Китаю.

На сайте «Газета.Ру» **Михаил Фишман** в статье «Хвосты и мораль» (27 декабря) полагает симптоматичным, что год кончается расформированием

парламентской комиссии по Беслану и подготовкой новых обвинений Ходорковскому. «Это называется отработать хвосты». Российская цивилизация мутировала, даже самые тяжелые вопросы стали у нас пустыми. «Мы живем теперь в эпоху торжествующего расчета и 11-процентного роста доходов в год... Наша свобода — это когда нас не трогают». Мы уже привыкли, «что все не то, чем кажется. Так организован диалог. Национальные проекты — это на самом деле не проекты, а специальный способ рекламировать одного из путинских преемников. Запрет балтийской кильки — это не запрет кильки, а стратегический шаг в обороне наших суверенных рубежей». «Попробуйте сами мысленно взвесить вред властям от работы журналиста и ущерб, который нанесет им его убийство, и вы согласитесь с президентом. Недавно один высокопоставленный чиновник сказал, что лучше — поскольку прибыльной — шантажировать соседей газом, чем ядерными ракетами. Лучше? Конечно, лучше. Россия рассорилась со всем миром, но кто теперь скажет, что с Россией не считаются? А куда им деться?» «Российское общество воспитало свою главную ценность, основной навык устойчивости — быть морально выше любой проблемы. Проблемы — они ничто, пшик, их нет. Никак не рассасывается только одна из них. 2006 год доказал: Владимир Путин не знает, что будет через год, когда выйдет срок, и вся эта красивая жизнь рухнет 2 марта 2008 года».

Дмитрий Бутрин в статье «**Пропавший год озадаченной страны**» (Газета.Ru, 18 декабря) приходит к мысли, что почти всего, чего ожидали в России в конце 2005 года, на деле в 2006 году не случилось. Самым главным «не случившимся» стал саммит «большой восьмерки» в Санкт-Петербурге: главное политическое событие года не состоялось триумфально и показательно. И прежде всего, не состоялась «энергетическая безопасность». Исходная разница в подходах оказалась столь велика, что сторонам даже не удалось договориться о терминах. В 2006 году выяснилось, какой ценой сохранилась все последние годы стабильность в макроэкономике: Пенсионный фонд и Фонд социального страхования уже анонсировали стабильный дефицит бюджетов в 2007 и 2008 году; правительство добились небывалого: финансовые показатели местных бюджетов ухудшались в наилучшей макроэкономической ситуации с 2000 года. Выяснилось: стабильность, достигнутая по технологии «пусть я ничего не выиграю, зато вон тот меня не обьегорит», совершенно бесполезна. «После нескольких лет отчаянных битв за контроль над федеральными телеканалами и еще нескольких лет торжественного управления этим важнейшим электоральным инструментом выяснилось, что тот от отсутствия борьбы заржавел и затупился до такой степени, что титанические усилия по пропаганде достижений первого вице-премьера Дмитрия Медведева... приводят лишь к росту популярности телесериалов. А стремление как можно быстрее поставить под контроль правительства оборот алкоголя в стране вызывает лишь пропажу спиртного. Перебирая симптоматические факты, Бутрин приходит к выводу: год застоя и позиционных войн показал, что стабильность — ценность, но не высшая ценность. Уже к концу 2006 года риторика «стабильности» стала надоедать всем игрокам, и поляризация пока мнений, а не образа действий, скорее всего, станет особенностью 2007 года, года парламентских выборов. «На фоне почти полного

отсутствия событий последствия дел Литвиненко и Политковской, выхода на политическую арену полitisанитара Геннадия Онищенко и политэколога Олега Митволя, потери почти всех союзников в СНГ, резкого роста расходов бюджета, торжества “Рособоронэкспорта” в ряде отраслей промышленности не могут не дать о себе знать». По Бутрину, 2006 год станет «последним годом спокойных размышлений и власти, и населения о том, что делать дальше: в 2007 году придется уже не размышлять, а делать».

Другой жанр: **Фёдор Лукьянов** прогнозирует **«Внутриполитические угрозы для внешней политики»** (Газета.Ru, 28 декабря). Новый год, считает он, обещает стать для российской внешней политики тяжелым. Этому будут способствовать два рядоположенных фактора: набирающая ход избирательная кампания и изменение отношения к России со стороны ведущих мировых сил, которые со все большей настороженностью воспринимают рост российских амбиций. «Ставка беспрецедентно велика: такого материального богатства, контроль над которым находится в руках политического руководства, в истории России не было, пожалуй, никогда. Так что играть стоит ва-банк, слишком уж велик куш и, соответственно, риск все потерять. Заложниками в этой борьбе станут все аспекты российской политики, и международные дела не исключение. Стремления игроков могут быть самыми разными. От соблазна привлечь внешний фактор для поддержки какой-то из группировок и ее кандидата до, напротив, попытки создать атмосферу изоляции, чтобы в этих условиях подтолкнуть президента к принятию “смелого” решения, не оглядываясь на реакцию извне».

Либеральная публицистка **Евгения Альбац** придерживается примерно того же мнения (**«Жизнь в условиях неопределенности»**: сетевой ресурс «Ежедневный журнал» [ЕЖ], 29 декабря): «...год будет такой, что бледнеть поочередно будут все, ибо ожидание неприятностей... со стороны властей, правоохранительных органов, работодателей, рынка станет повсеместным и всеобъемлющим». Год пройдет в условиях полной неопределенности и тотального взаимного недоверия элит.

Сайт Росбалт.RU 8 ноября представил взгляд на будущее страны **Андрея Буровского** — автора книг «Россия, которая могла быть», «Крах империи», «Русская Атлантида» и др. В статье **«Будущее России: многофакторный прогноз»** он берется сделать долгосрочный прогноз — до 2030 года, предсказывая войну США с мусульманским миром («Россия вполне может избежать участия в этой войне... А ход такой войны вне пределов России — выгоден так же, как климатическая катастрофа: хуже всем, но нам — в наименьшей степени») и бессилие Запада причинить какой-то вред России («мы всегда можем переориентировать поставки на Восток» нефти и газа, отсюда же ввозя товары): «...перспективы России мало зависят от глобальной ситуации в мире. Зависимость от внутренних факторов — намного выше». Здесь Буровский обозначает проблемные узлы. Главную опасность он видит в «цивилизационном романтизме», заставляющем принимать объективно невыгодные стране политические решения; он может привести РФ к вступлению в Мировую войну на стороне США без учета своих собственных интересов. Другие опасности — «имперский синдром» и «оборонное сознание». Еще вопрос — как тратить нефтедоллары: на развитие высокотех-

нологической экономики или на подачки и карательные войска. И наконец, нужно осознать: «Распад РФ неизбежен в той же степени, что и восход Солнца или вращение Земли. Вопрос, в каких формах и с какой скоростью он будет проходить», будет ли жестко подавляться сепаратизм. В итоге — две вероятные модели. Первая: «превращение РФ в страну, одновременно ведущую войны с несколькими внешними врагами и несколько гражданских войн. Счет беженцев с Юга и Урала идет на миллионы, Россия превращается в примитивное полицейское государство». Другая: «Российская Федерация — сложно организованное государство, уровень развития производства и уровень жизни в котором сравним с аналогичными показателями в Польше. Пояс тюркских автономий и другие республики — лояльны центральному правительству». «При сохранении современных условий в ближайшее годы реализация первой модели вероятна на 80-90%».

«Полит.ру» публикует резюме «Открытого семинара» с докладом **Алексея Пескова** («Как закончится безыдейная эпоха»: 10 ноября). Анализируется риторика власти и ее пределы. «...с чего начинается нынешнее правление? Что больше всего поразило и “завело” общество? Конечно, слова “мочить в сортире” — этот факт вполне подтвержден социологами. Строго говоря, это и есть тот дискурс, который был нам предложен в самом начале. Он короток и ясен. На разные лады он подтверждается в разных последующих ситуациях. Зачем долго объяснять ситуацию с Грузией, когда достаточно нескольких слов, адекватных той самой первой фразе? Этот дискурс подтверждает эмансипацию власти от общества: пусть общество занимается своими делами, а власть — своими. Если общество будет выступать против конкретных персон, то будет делаться так, как было объявлено в начале правления. Однако в подобной рамке власть не должна иметь личного самоправления. А сейчас она его имеет. Потому что в отсутствие принятой государственной риторики то, что мы называем властью, оказывается с той или иной степенью справедливости обобщения собранием частных лиц». Основная риторика государства и президента нарочито неидеологична, «прагматична», а спрос на идеологию в обществе есть. «Есть три вопроса...: национальный, религиозный и имущественный. Тот, кто научится с ними работать, будет иметь претензию на власть». Научиться работать означает в нашей ситуации научиться упрощать. «Брезгливость и боязнь нового усиления власти и новой идеологии у образованного класса очевидна. Но эта брезгливость приводит к тому, что национализм и прочие табуированные темы (собственность, религии и пр.) отданы в руки неприятных маргиналов и циников. Власть в России случится вместе с идеологией, простыми ценностями, с нормой, навязываемой через образование (или посредством прямого насилия). Вопрос в том, будет ли это — наша страна».

Страна, общество

Либеральный колумнист **Наталья Геворкян** в статье «Другая страна» («Lenta.Ru», 25 октября) отмечает, что большая телеконференция Владимира Путина совпала с трехлетием со дня ареста Михаила Ходорковского. Но не было задано или озвучено ни одного вопроса относительно самого

известного сидельца в стране. «Хотя эти два человека — нынешний президент и нынешний зэк — связаны раз и навсегда, тем самым днем 25 октября 2003 года, когда с согласия президента страна преступила черту, за которой оказалось возможно все». Три года назад «общество было протестировано на самые низменные и самые мерзкие инстинкты — зависть, ненависть к чужому благополучию, шовинизм». Подавляющая часть общества прошла тест на «отлично». С посадкой Ходорковского было завершено формирование послушного большинства в стране и власть в целом последовательно покончила с двумя главными «группами риска» — независимой прессой и независимым бизнесом. «Начиная со сказки про “Байкал Финанс Групп” и кончая сказкой про то, что Грузия готовится к войне, — все это стало возможным только потому, что общество лишилось действенных рычагов контроля за властью». Власть получила право на безнаказанные ошибки. «Власть все больше становится заложником низменных инстинктов, ею же разбуженных, народ все больше становится заложником низменных инстинктов самой власти. Отсутствие интеллектуальной дискуссии в стране, абсолютная пошлость, превалирующая в наиболее массовых СМИ, полная непереносимость любого инакомыслия, уничтожение институтов гражданского общества, отсутствие естественной политической жизни в стране, воскрешший страх, рост насилия — это все кадры из фильма про мою страну».

Сетевой журнал «Новая Политика» публикует 27 октября статью **Сергея Черняховского «Под коркой стабилизации»**. Тщательно рассматривая социологические данные, он находит, что ситуация в обществе «вовсе не столь спокойна, как может показаться, а формальная лояльность общества власти носит во многом условный характер»: «раз за разом власть с изумлением наталкивалась на резкое неприятие обществом ее начинаний». При всей демонстрируемой в последнее время властью ориентации на проблемы, волнующие общество, она оставляет за собой право в ключевых вопросах действовать вопреки желаниям населения. И общество отвечает власти практически тотальным недоверием. «Стабильность держится реально на одном факторе — личном доверии Владимиру Путину. Причем заоблачный рейтинг президента, во-первых, не является доверием к власти. На деле это скорее доверие к его личности и придание ей общественным сознанием как раз функции ограничителя, оппонента власти как таковой. Во-вторых, настроения и ожидания “рядового путиниста” как раз прямо расходятся с курсом, осуществляемым властью. Власть, в общем-то, — достаточно правая. Ожидания “рядового путиниста” — в целом более чем левые. Кроме того, и доверие Путину не абсолютно». Один из опросов первой половины года показал, что в случае, если бы в президентских выборах наряду с ним принял участие Александр Лукашенко, победу, с заметным преимуществом, одержал бы президент Белоруссии. Глубинные предпочтения людей, согласно опросам, связанны, утверждает Черняховский, с восстановлением СССР и социалистической системы, ликвидацией частной собственности на крупные предприятия. Рано или поздно, полагает он, найдется политическая сила, которая осуществит эти чаяния. Она «окажется тем более радикальной, чем дольше существующие политические силы России будут игнорировать настроения общества».

Коммунист **Петр Милосердов** в «Зарисовках с гражданского протеста» (сайт «Каспаров.Ru», 27 сентября) анализирует итоги борьбы жителей московского района Очаково-Матвеевское с застройщиками и аналогичные ситуации строительных конфликтов. Подавляющее большинство участников акций протеста уже поняли: действовать предусмотренным законом путем (суд, жалобы) — бессмысленно. «Вы хотите пожаловаться на беспредел? А некуда жаловаться-то... Про письма к “Юрь-михалычу” и говорить не приходится — этот жанр (письма мэру) уже практически вымер ввиду его полной бесполезности для пишущих». Нет надежд и на суд. Ни одного раза из почти полусотни случаев, которые автор наблюдал в развитии (а кое-где и принимал непосредственное участие), на сцене не появились представители местного самоуправления, будь то депутаты муниципального Собрания или хотя бы чиновник муниципалитета. Милосердов показывает наиболее типичные способы действия силовых органов по отношению к протестующим. «Милиционеры действуют нагло, нахраписто. Мат, угрозы, рукоприкладство (но — по мелочи, даже на “легкие телесные”, пожалуй, не потянет) — вот арсенал российского МВД... ОМОН. Этим людям наплевать на все. Беспрекословно выполняют любые приказы. “Прошли Чечню, пройдут и Москву”. Отлично экипированы, действуют по заранее разработанным методикам. Апеллировать к их совести или сочувствию — бессмысленно. Для них битв людей — профессия, причем, для большинства, — любимая... ЧОПы. “Бойцы” частных охранных предприятий действуют в высшей степени жестоко, с блатным гонором. Впрочем, столкнувшись с организованным и агрессивным сопротивлением граждан, — отступают, пытаясь призвать на помощь милицию... ФСБ. Как правило, в подобных конфликтах не участвует (по крайней мере, явно). Были случаи, когда сотрудники ФСБ принимали участие в гражданском протесте с единственной целью — отсечь от протестующих политических активистов как наиболее подготовленную и опытную силу, способную организовать людей. Внутренние Войска. Случаи участия в гражданских конфликтах крайне редки (Кондопога). Плохо обучены. Слабо организованы (если только речь не идет о подразделениях по охране зеков), годны лишь для оцеплений». «...В условиях, когда власть отказывается разговаривать с людьми, зачастую — отказывается демонстративно, методы протестующих будут постоянно радикализироваться, постепенно переходя к силовому противостоянию как единственно эффективной форме. А единственная сила, которая способна подавлять активный протест граждан, — ОМОН. Вот только омоновцев на всех не хватит».

Александр Тарасов в статье «Меняющиеся скинхеды. Опыт наблюдения за субкультурой» («Дружба Народов», №11) продолжает размышлять над темой, о которой писал в том же журнале еще в 2000 году (№2). За эти годы скинхеды стали модной темой, частью большой политико-пропагандистской игры. Запугивание общества «скинхедской опасностью» успешно использовалось властью для принятия «антиэкстремистских» законов, расширения полномочий спецслужб и существенного ограничения гражданских прав — при том, что против самих скинхедов эти законы направлены не были. Если в 90-е годы XX века и даже на рубеже веков подавляющее большинство скинхедов рассматривало себя как правую оппозицию власти, разделяя из-

вестные мифологемы: Россия под властью Ельцина «оккупирована сионистским правительством», «захвачена еврейским капиталом», «колонизируется неграми, азиатами и вообще неславянским элементом» и т.п., — то в настоящее время большинство скинхедов в целом лояльно к власти, идентифицируя власть вообще с фигурой президента Путина. Лишь наиболее политизированные и идеологически подкованные группы, прямо связанные с крайне правыми, фашистскими партиями, поддерживают, как правило, лишь отдельные элементы политики Путина, а в целом продолжают рассматривать себя как правую оппозицию существующей власти... В России Путина имеются объективные причины — экономические, социальные, политические, идеологические, культурные — для появления и возобновления движения наци-скинхедов. Не решены породившие движение скинхедов экономические и социальные проблемы. Нарастает пропаганда милитаризации и клерикализации общества, — и эта пропаганда исходит из Кремля или близких к Кремлю сфер. Она сочетается с «антитеррористической» антимусульманской пропагандистской кампанией. При этом в стране не ведется целенаправленная антифашистская пропаганда, лишь раз в год — на 9 Мая — властные структуры разражаются ритуальными заклинаниями. В качестве идеологического ориентира, при сохранении неолиберальной экономической политики, власть все открывшее выбирает дореволюционную Россию, то есть примером служат монархическо-православно-великодержавно-антиреволюционные (говоря другими словами, черносотенные) образцы. Режим Путина — это типичный бонапартистский режим. Все известные в мировой истории бонапартистские режимы были режимами правого авторитаризма различной степени жесткости. При всех них неизбежно возникали благоприятные условия для успешного существования и развития организаций, движений и/или массовых настроений правоконсервативного и/или праворадикального, националистического, милитаристского, имперского, ксенофобского характера. Непонятно, почему Россия должна быть исключением из этого правила.

Петр Ореховский в статье «**Либеральная империя глазами сибиряка**» (**Алтай и Москва**) («Бабр.ру», «ПОЛИТ.РУ», 20 октября) пишет об упадке в сибирской провинции (ссылаясь на своего друга Валерия Мищенко, автора книги «Депрессивный Алтай»). Деградирует промышленность, нет инвестиций. В депрессивном, скатывающемся в отсталость Алтайском крае количество самоубийств составляет 101 на 100 тысяч человек (в среднем по России 36,1, в развитых странах мира — в среднем 15 на 100 тысяч человек). Туризм едва ли спасает Алтай. «В 2004 г. в отрасли туризма на Алтае было занято аж 305 человек (а в крае живёт ПОКА ЕЩЁ более 2,5 млн. человек)». «В общем-то, Сибирь — колония. Предназначенная для выкачивания ресурсов. И выкачиваются они вроде бы в метрополию, презрительно называемую сибиряками “Москвища”. Туда же выкачиваются и сами сибиряки, будучи ресурсом трудовым и демографическим». Ореховский мрачно пророчествует: «Долго это не продлится: при таких темпах, видимо, потребуется лет 10-15. Пока несколько лет назад по приезду в Сибирь, точнее, в Омск, по физиономии публично схлопотал только один почётный москвич — последний президент СССР. Теперь уже я бы очень не советовал героям романа “Духless”, а

тем более — героям произведений О. Робски где-нибудь в ночных барах сибирских городов признаваться, что они — из Москвы. Навешают, чисто конкретно, и совершенно не за что. И никакая корпоративная карточка не поможет... на очереди — москвичи, а потом и до питерских дойдёт. Причём бить будет как раз в соответствии с паспортом, а не с физиономией, предварительно справившись о прописке».

О социальном государстве размышляет **Кирилл Мартынов («Цифровой социализм»:** «Новая Политика», 27 октября). То, что социальное государство в России сегодня существует только на уровне декларации в Основном законе — вполне очевидно. Достойная жизнь человека существует у нас пока разве что в пределах МКАДа «Бюрократическая политическая система, сформировавшаяся сегодня в России, глубоко консервативна и самодостаточна по своей природе. Существующие субъекты политических отношений заинтересованы лишь в поддержании status quo. Любая инициатива снизу в нынешних условиях обречена, а социальный диалог постепенно сходит на нет (даже на фоне далеко не идеальных 90-х годов). Обратная связь “от народа к власти” фактически отсутствует, остановились и социальные лифты. И даже самая правильная инициатива сверху, кажется, будет немедленно похоронена в бюрократических коридорах. Поэтому для того, чтобы в России можно было всерьёз говорить о социальном государстве, должны быть соблюдены и определенные политические условия. Публичная политика должна быть реанимирована за счет создания сильной социал-демократической оппозиции, способной последовательно отстаивать модель социального государства, которая записана в Конституции».

Режим, власть

Владимир Прибыловский в сетевом «Русском Журнале» 13 октября публикует статью **«Суверенная олигархия терсермундистского типа»**, сразу разъясняя: «Терсермундистский — принадлежащий к третьему миру, от *tercer mundo* — третий мир (исп.)». Он считает, что после распада дряхлой советской империи Россия оказалась по своим цивилизационным параметрам в Латинской Америке. «Двадцать первый век Россия встретила примерно в состоянии Колумбии середины двадцатого века и у развилки двух дорог, одна из которых вела в нынешнюю сравнительно благополучную и имеющую шанс на рывок Мексику, а другая — в Парагвай времен Стресснера, а оттуда и в Африку. От африканского “третьего мира” Россия конца 90-х гг. отличалась не только уровнем промышленного производства, но и приличным набором политических и экономических свобод — хотя и необеспеченных укоренённостью демократических институтов и стабильностью... В третье тысячелетие Россия вошла с несколько ожившим производством, благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой (растущие цены на энергоносители) и новым президентом, с которым большинство населения связывало свои надежды на перемены к лучшему. Ныне уже близок конец второго президентского срока Путина, сам президент продолжает пользоваться поддержкой большинства, но эта поддержка базируется уже не на надеждах на будущее, а на опасениях возврата прошлых бед». Россия Путина пытается изоб-

разить из себя то, чем она не является, — великую державу, «энергетическую сверхдержаву» и даже демократию. Что касается «энергетической сверхдержавы», то такие политико-экономические явления существуют — и тоже все в «третьем мире»: Венесуэла, Саудовская Аравия, Эмираты, Нигерия. Россия встала в этот ряд, не сумев, однако, перенять у арабских шейхов обычай делиться доходами с подданными и строить дороги, а у политического класса Венесуэлы — слаборазвитые, но работающие демократические институты, например, более или менее честные выборы. Олигархический строй с элементами авторитаризма — наиболее частая политическая система в странах «третьего мира». Вопреки новомодному словоупотреблению, олигархи — это не просто миллионеры, а миллионеры, имеющие монопольное право на государственные магистратуры. Олигархи — это всегда те, кто равноудален от власти, а не те, кого равноудалают. В полной мере олигархия состоялась в России уже в наше время — при «коллективном Путине». В качестве осознанных или неосознанных образцов при оформлении нынешнего политико-экономического устройства были избраны региональные модели: бюрократический капитализм Юрия Лужкова в Москве и «управляемая демократия» Муртазы Рахимова в Башкирии. «Путин два эти источника и соединил, и устаканил». Термин «управляемая демократия» (guided democracy) тоже восходит к «третьему миру» и прошлому веку: так назвал свой политический идеал лево-националистический президент Индонезии Сукарно. Антагонист и преемник Сукарно — Сухарто — термин guided democracy в положительном смысле не использовал. Но именно Сухарто отшлифовал в Индонезии методы Сукарно до совершенства. Суть «управляемой демократии» состоит в том, что внешне демократические институты сохраняются, но играют декоративную роль. Законченность, совершенный вид «управляемая демократия» приобретает, когда выборы проводятся регулярно и в соответствии с конституцией, но являются полностью управляемыми. В России совершенствование происходило поэтапно и, видимо, завершилось в 2005–2006 гг., когда «башкирская избирательная технология» г-на Рахимова, состоящая в том, что нежелательные субъекты политики до выборов не допускаются, распространилась повсеместно. Отныне выборы только формально закрепляют, легитимизируют (в глазах внешнего мира прежде всего) уже существующую «власть немногих» (олигархию). Но существует явная связь между степенью «управляемости» и развитием. Страны, которые стремятся вырваться из «третьего мира» в первый, смягчают управление демократией и отказываются от него (Мексика, Турция). И наоборот (Белоруссия, Россия, Казахстан). Не приняв термина «управляемая демократия», наша бюрократическая олигархия выдвинула лозунг «суверенной демократии». Вообще-то суверен — это монарх, антоним к слову «подданный». Так что «суверенную демократию» можно истолковать и как «демократию, управляемую сувереном». Или управляемую коллективным сувереном — суверенной олигархией, что будет вполне соответствовать реальностям Российской Федерации. Терсермундистская олигархия суверенна по отношению к подданным, но далеко не всегда суверенна по отношению к внешнему миру. Очень часто она выбирает компрадорскую идеологию и практику — полное следование в фарватере более сильной державы, например, США. Или Китая.

Максим Блант («Разворот»: ЕЖ, 17 октября) рассуждает о нашей зависимости от цен на нефть, которые начали падать. Проблема в том, что высокие цены сформировали мировидение и власти, и населения. Либерализм раннего Путина, по крайней мере, в сфере экономики, был вынужденным и диктовался теми объективными обстоятельствами, которые сложились на рубеже веков. Еще в 1999 году, когда Владимира Владимировича назначили премьером-преемником, Россия пребывала в состоянии дефолта, золотовалютные резервы были практически на нуле, а цена на нефть опускалась ниже 10 долларов. И пусть к моменту избрания Путина президентом нефть стоила уже дороже 20 долларов за баррель, никакой гарантии, что она не упадет снова до 10-ти, ни у кого не было. Отсюда и сбалансированные бюджеты, и жесткая финансовая политика, и попытки работать над улучшением инвестиционного климата, и налоговая реформа. Основой экономической политики в то время были поэтапное снижение непроцентных расходов и приватизация всего, что только можно приватизировать, поскольку тезис о том, что государство не может быть ни эффективным собственником, ни эффективным инвестором, никем не подвергался сомнению. На этой волне была подготовлена одна из самых прогрессивных пенсионных реформ; министр-идеолог Герман Греф провозгласил курс на дебюрократизацию экономики, что должно было улучшить деловой климат, побороть коррупцию и, опять же, существенно сократить госаппарат и расходы на него. Сегодня ситуация почти во всем противоположная. Разговоры о снижении фискальной нагрузки на экономику сменились дискуссией о мере социальной ответственности бизнеса, причем побеждают в этой дискуссии все больше те, кто считает, что любой меры будет мало. Реформы в социальной сфере вылились в многомиллиардные нацпроекты и год от года все более щедрые индексации пенсий и зарплат бюджетников. Административная реформа привела к росту числа чиновников и еще большему росту расходов на содержание госаппарата. Модернизацию и диверсификацию экономики государство решило взять в свои руки, что вылилось в ренационализацию целого ряда предприятий в разных отраслях. Никем, еще совсем недавно, не подвергавшийся сомнению тезис о том, как плохо быть сырьевым придатком, плавно трансформировался в концепцию энергетической сверхдержавы. Ставка на частных, в том числе и иностранных, инвесторов сменилась на выдавливание их из существующих или планирующихся проектов. Вся внешняя, экономическая, социальная, промышленная, энергетическая политика государства строится сегодня не просто на высоких, а на постоянно растущих ценах на нефть. После длительного воздержания государство набрало сразу столько долгосрочных обязательств, ввязалось сразу в такое количество «стратегических» и «приоритетных» проектов, ежегодно требующих многомиллиардных вложений, что денег на реализацию всего задуманного может не хватить, даже если нефть подорожает до 100 долларов за баррель. Отказаться от своих обязательств, равно как и снизить имперский пафос, нынешние власти уже не могут: впереди два предвыборных года. Далее Блант дает прогноз, что будет, если цены на нефть будут падать дальше. Ничего хорошего, конечно, не будет. Ни для кого.

Либеральный колумнист **Андрей Колесников** (не путать с А. Колесниковым из кремлевского пула) в статье **«В поисках русского Пиночета»**

(«Газета.Ру», 12 декабря) ищет причин, «почему у наших не получается так, как у Пиночета, ныне покойного? Почему эрегирование “вертикали власти”, установление “диктатуры закона” с последующим “наведением порядка” и “достижением стабильности” не сопровождаются экономическим чудом, а если чудо и происходит, то исключительно в границах рублево-успенского укрепрайона? Почему “твердая рука”, пришедшая на смену невидимой руке рынка, никак не может искоренить коррупцию, наказать виновных, приласкать обездоленных и накормить семью хлебами нацпроектов всех страждущих?» Ответ: у Пиночета, как и у графа Уварова, была своя волшебная триада: собственность — церковь — армия. Но если с военнослужащими и священнослужителями у нас в стране все существенно проще, то с третьим (или первым) членом пиночетовской триады — собственностью, в России полный швах. И потому никакого Пиночета в нашей стране быть не может. Аленде — демократический ли, авторитарный — может, а Пиночет — нет. Важна не жесткость насаждения экономических порядков, важны качество и содержание этих порядков. Секрет рецидива чилийского чуда — последовательность в проведении реформ, в доведении до конца преобразований. Пиночетовщина — не в «наведении порядка» железной рукой, а в системе мероприятий, которые были заложены в программу Грета 2000 года и не были реализованы. Не в рении о «суверенитете», а в реформах — по пиньеровскому, а не зурабовскому образцу. «Если и был в российской политической истории последних 15 лет Пиночет, то им оказался... Ельцин Борис Николаевич. Он дал реформам политическую крышу. Он, если кто забыл, “расстрелял парламент” ради реализации идеалов буржуазной революции, идеологическим стержнем которой была именно собственность, священная и неприкосновенная. Но ему не хватило то ли последовательности Пиночета, то ли времени, то ли сил... Он, в отличие от Пиночета, не был диктатором. Зато, как и Пиночет, был исторической личностью».

Несколько иначе смотрит на параллель с Пиночетом **Михаил Фишман** («Ден Сяо Пиночет»: «Газета.Ру», 30 октября). Симпатии населения уходящий президент намерен удерживать националистической программой. У Путина не осталось цивилизованных оппонентов, и табу в разговоре с нацией сохранились только в сфере экономики. И есть несистемная оппозиция: можно понять желание уходящего президента перехватить и поставить под контроль опасные лозунги. Результат будет обратный. Говорят, Кремль выпустил джинна из бутылки. Так и есть: относительно умеренный лидер Владимир Путин борется с экстремистами, реализуя их политическую программу. Это все равно, что кормить льва с руки. Например, в прошлом году Кремль санкционировал ультраправый марш 4 ноября. Марш прошел. Теперь Кремль не знает, разрешать или запрещать. Как быть, неясно. Разрешит — и победы нынешней шовинистской мобилизации сразу уйдут к другим. Запретит — у людей будет справедливое возмущение, и победы снова уйдут к другим. Это тупик. В мире что-то подобное происходит сегодня в войне с исламом, в так называемом конфликте цивилизаций: тоже нет побеждающей тактики — все проигрышные. Путин видит себя российским Дэн Сяо Пино. Перспективы этого проекта пока сомнительны: конфликт с преемником неизбежен, а принятая на вооружение такти-

ка мюнхенских соглашений с радикальными оппонентами делает очень неустойчивой всю политическую конструкцию.

Популярный жанр — интервью с экспертом. В рамках его **А. Илларионов**, к примеру, говорит собору ЕЖ (14 ноября) о вероятном кризисе: «Чем дальше, тем больше нынешняя российская ситуация напоминает то, что уже наблюдается не первое десятилетие в таких странах, как Египет или Саудовская Аравия. В этих странах власть, весьма вестернизированная в культурном отношении и достаточно хорошо интегрированная в западные политические и деловые структуры, внутри своей собственной страны проводит политику экономического интервенционизма, уничтожает демократические институты и подавляет политические свободы. Политической элите Запада и западному общественному мнению такой подход подается как единственно возможный, страна якобы еще не созрела до настоящих демократических ценностей. Сама же власть подает себя “единственным европейцем” в восточной стране, вынужденным играть роль прослойки между “просвещенным Западом” и “диким народом”. Политическое напряжение в этих странах растет, кризисы там неизбежны. В результате к власти могут прийти консервативные политические силы, — как, например, в Иране в 1978-79 гг. Аятоллы заменили шахскую власть — сильно вестернизированную, но глубоко коррумпированную. Нечто подобное произошло в результате гражданской войны в Китае в 1949 году, когда гоминьдановское правительство — прозападное, но весьма неэффективное и коррумпированное — сменили коммунисты».

«Консервативный социалист» **Дмитрий Ольшанский** в статье «**Логика кремлевских**» (сайт АПН, 13 октября) отмечает, что у нас есть три портрета власти, три типичных модели разговора о ней, получивших хождение в СМИ в последние годы, — и две из них уже можно считать неудачными. «Первая — это собственно манера кремлевского начальства заказывать оды о себе, карикатурная и недоделанная пропаганда, категорически не дотягивающая до советского уровня. Наиболее точный образец ее — недавняя статья Третьякова в “Московских новостях” под названием “Франклин Делано Путин”, посвященная величайшему творцу нацпроектов и основателю нового русского общества. Смех, да и только — ну какой из Путина Рузвельт, когда он и на Стресснера с Салазаром не тянет». «...для того, чтобы много лет успешно приписывать началству нечто исторически грандиозное, необходимо хоть что-то из воображаемого набора явить на практике. А вот с этим у агитаторов большие трудности — и социальное государство с “доступным жильем” у них почему-то никак не строится, и космические корабли упорно отказываются бороздить Большой Театр. Не боится Путина Госдепартамент, не растет у него “демократический” и “конкурентоспособный” кокос. Суверенитет — и тот, неровен час, отберут».

Не менее ущербна, полагает Ольшанский, и противоположная методика рассуждения о власти, основанная на предположении об ее зловещей и кровавой природе. В рамках этой стилистики принято поминать КГБ СССР, Малюту Скуратова, а также «извечное русское рабство», — куда без него. Между тем тоталитарная деспотия все никак не приступает к ожидаемым расправам. И уж тем более не спешат рушиться в пропасть отношения родного сатрапа

с США. Но и есть и третий метод описания власти, стараниями Станислава Белковского и Владимира Голышева все более популярный в последние годы. «Согласно этой концепции, Кремль — это просто жадная мафия, криминальная группировка, заинтересованная в одном: набрать побольше наличности и безальтернативности, затем перевести ее на Запад и, в нужный момент, отбыть на берега теплых морей, в ласковые шезлонги. В этой логике типичный наш начальник — попросту мелкий бандит, наделенный исключительно финансовой мотивацией. Бандит, способный, конечно, на многие злодеяния, но только в рамках извлечения прибыли, и никогда — для государственной пользы. Надо сказать, что кардинальных возражений против такой трактовки как-то не находится, ибо власть наша за 6 лет правления ни разу так и не показала нам примеров самостоятельного поведения, не явила образцов державного могущества, дурного или созидательного. Все только отступала, уходила, капитулировала, предавала, торговала и приторговывала. Трусоватые коммивояжеры, да и то не самые успешные. И все-таки образ безбрежного кремлевского гангстеризма представляется несколько неполным... Было бы некоторым преувеличением думать, что российская власть на 100% состоит из одних Берлускони, по которым рано или поздно заплачут суды всех европейских столиц». «Проблема с ними заключается в предельно мешанских, обывательских, но ни секунды не государственных, не политических горизонтах их менталитета. Кремль — прежде всего царство компромисса, апофеоз цепляния за невыгодное, опостылевшее статус-кво». «И уж только в процессе бесконечных отступлений и “соглашений” как-то сами собой появляются у аккуратного человечка круглые суммы, откуда-то выплывает и нарядная вила на Лазурном берегу... Ведь если все равно “ничего не поделаешь”, то уж лучше провожать страну в забвение, не забыв о себе, нежели наоборот, не так ли? Простая логика упадка. Все когда-нибудь кончится, в том числе Россия, и помешать этому невозможно, — так сделаем же так, чтобы сами мы закончились несколько позднее». Но «мстительна и опасна Россия, и логика приторговывающего мешанина к ней не подходит», — все-таки предостерегает Ольшанский напоследок.

Аналитики рассуждают о выявившемся осенью националистическом уклоне в идеологии Кремля и о последствиях этой риторики. «Октябрьские тезисы» Владимира Путина восприняты многими как поворот к националистической политике. Тревогу вызывает состояние общества, оказавшегося весьма восприимчивым к новому курсу.

Георгий Бовт («Бей... спасай Россию!»): «Газета.Ru», 9 октября) огорчен тем, что сбылся его прогноз. Он писал, что все разговоры на тему национальной идеи и суверенной демократии рано или поздно кончатся тем, что там, наверху, решат, что лучшей идеологии, чем национал-патриотизм (или патриотический национализм, — кому как нравится), к выборам 2007—2008 все равно не сыскать. Потому как именно запрос на национальный патриотизм и патриотический национализм — это, пожалуй, единственное, что на сегодняшний день цепляет массового обывателя, у которого в голове сплошная кондопога. И вот этот сон сбылся! Грузины стали более чем удобной «тренировочной мишенью» для того, чтобы потренироваться в

сплочении нации. Во-первых, они не мусульмане, за них не вступится Организация Исламская конференция, где мы хоть и не член (пока), но наблюдатель. Во-вторых, они не станут надевать на себя пояса шахидов и взрывать себя посреди русских городов в местах массового скопления сплотившейся нации. «Хотя как знать. Армяне тоже не мусульмане, однако ж на протяжении доброй части XX века преследовали терактами турок по всей Европе, мстя за геноцид 1915 года». В-третьих, грузинская диаспора далеко не самая крупная в России. К примеру, она раза в четыре меньше азербайджанской, при этом ее бизнес сосредоточен в тех сферах, которые всегда приятно переделить. «Нация же словно ждала, пока ей кто-нибудь скажет “ату!”». Административный восторг тех же ментов и прочих полицейских, преследующих грузинский бизнес сугубо по национальному признаку, в духе “этнической чистки”, есть не что иное, как отражение именно массовых настроений. Милиция у нас, как известно, с 1917 года народная, плоть от плоти, кость от кости». Именно национал-патриотизм был единственной и практически универсальной идеологической базой строительства и развития всех постсоветских государств, начиная с республик Прибалтики и кончая соседней Украиной. Единственное исключение до сих пор составляла Россия. И вот теперь, видно, настал ее черед строительства «национального государства». К чему приведет новый русский патриотизм? Может ли новый русский патриотизм вывести из цивилизационного кризиса, в котором оказалось нынче русское государство, погрязшее в коррупции, жестокости и черствости по отношению к собственным гражданам и граждан по отношению друг к другу? Изучив аргументы за и против, Бовт приходит к выводу, что, если процесс «национализации» идеологии пойдет столь же стремительными темпами, угарная волна национализма сметет в итоге нынешнюю элиту. Разбуженная кличем «бей инородцев!» толпа ищет уже совсем других лидеров — трибунов, вождей, способных идти в толпу, на улицы и площади. Она ищет своих Ле Пенов, своих Муссолини, своих Гитлеров. И она их, что примечательно, всегда находит.

Дмитрий Ольшанский в статье «**Пиар на пороховой бочке**» (АПН, 9 октября) критикует публичное заявление президента, который, посетовав на «беспредел», творящийся на рынках, отметив его этническую компоненту, вспомнив о недавних беспорядках и антикавказских погромах, поручил правительству заняться делами торговцев и мигрантов. Министров обязали создать квоты для иностранцев, занятых в сфере торговли, ужесточить визовый режим и вообще «принять меры» к тому, чтобы этнические преступные группировки и нелегальные мигранты не брали верх над честным отечественным производителем. Таким образом, рыночный вопрос, в комплексе с антигрузинской истерией, заботами Путина вышел на первое место в списке государственных нужд. На проблему эту есть две распространённые точки зрения, причем обе — крайне вредные. С одного фланга на рынки смотрят «истинно русские люди», только и мечтающие дорваться до инородцев и их собственности. Ненависть к «проклятым кавказцам» давно уже вытеснила в их бесноватых головах прежние антипатии к евреям, масонам, американцам, «демократам», etc. В виде заявления Путина они получили самый главный для себя подарок за все последние годы, хотя, конечно,

«квоты» и «контроль» — это для них за пределами, невозможно мягкое решение кавказского вопроса. С другой стороны, либералы, главным мотивом учения которых является тезис о том, что «невидимая рука рынка сама все расставит по местам». Ясно, что путинские дирижистские новации должны шокировать благочестивых догматиков «абсолютно свободной торговли». Между тем, президент и в самом деле поступил опрометчиво и сказал нечто катастрофически плохое. Рыночный, национальный вопрос — это та область, где действовать необходимо, а вот говорить об этом — ни в коем случае нельзя. Именно этническая тема является ныне единственной стопроцентной бомбой, заложенной под существующее государство. И бомба эта способна взорваться ровно так же, как и аналогичные «снаряды» в перестроечные годы. Для действующей власти подобная игра в «националистическую фразу» обернется полным поражением. Слова обязаны повлечь за собой дела. «Горячая» тема очень быстро привлечет толпу, которая захочет идти дальше, смелее, быстрее, — что ей и предложит какой-нибудь Курьянович. В результате, вместо вполне цивилизованных «ограничений» мы получим межэтническую схватку самого дурного толка, с неизбежным распадом России на самостийные анклав и «международными миротворцами» в финале. Путину категорически противопоказано «перехватывать» ультраправую риторику. Ибо движение ПНИ уже объявило на радостях акцию по поимке грузинских нелегалов, да и вообще отныне будет двигаться к полноправному статусу семимильными шагами. Путин своим выступлением за несколько минут превратил их из маргиналов в официальных политиков, с речами, теперь уже уместными для начальства разных уровней... С беспределом можно и нужно бороться. «Но только антимафиозная активность — одно, а создание в обществе атмосферы “национальной озабоченности” — нечто совсем иное. Оригинальные ведь люди: сидят на пороховой бочке и всерьез думают, что им удастся удачно “попиариться”, запалив фитиль».

Дмитрий Бутрин («И черный октябрь впереди»: «Газета.Ру», 9 октября) констатирует: впервые с момента создания Российской Федерации президент страны считает присутствие в стране иностранцев угрозой национальной безопасности. На преодоление этой угрозы брошены министры. Поворот власти к националистической и расистской риторике нельзя скрыть в сюжете о рынках. Рассказы о «кавказских перекупщиках», не дающих русским крестьянам торговать овощами, о «засилье черных» в розничной торговле, о «супермаркетах, отказывающихся торговать российским товаром в угоду транснациональным корпорациям», в России всегда были главным достоянием русских националистов, бывших и остающихся расистами. Предстоит игнорировать множество фактов, чтобы выполнить наказ президента. Например, большую трудовую мобильность трудовых мигрантов, сверхнизкие заработки в розничной торговле. С рынков придется выгонять не столько «обнаглевших рэкетиров», представленных в основном сотрудниками МВД, сколько нищих людей из всех концов бывшего СССР — в пользу русских нищих людей. Это жестокий выбор, который нельзя сделать, не сделав выбора в пользу национализма и расизма. «Накануне принятия Нюрнбергских законов в налоговых, финансовых, экономических ведомствах Германии также не сомневались в том, что проверки законности финансовых

операций евреев и иностранцев проводятся из властного каприза Гитлера, который пройдет, а Германия пребудет. Дальнейшую историю учат в школах». По Бутрину, «возможность создания в России в XXI веке современного аналога третьего рейха очевидна уже сейчас». Бутрин призывает и министров, и простых граждан опомниться. «Если вы считаете происходящее ошибкой власти — не стесняйтесь говорить, что вы против. Возможно, вы будете услышаны, и ставка на национализм, расизм, военное государство не будет сделана. Если вы считаете происходящее закономерностью — не бойтесь действовать. Если же вы поддерживаете происходящее, рассчитывая или на морковку, или на великое будущее русского государства, я не буду вас убеждать. Просто представьте себя гражданином Германии в 1945 году».

Алексей Миллер в статье «**Что мы узнали о себе и о своей стране за последнюю неделю**» («ПОЛИТ.РУ», 9 октября) пытается понять, что происходило последнюю неделю в России в рамках антигрузинской кампании. «Сигнал со стороны верховной власти был достаточно расплывчатым, но его оказалось достаточно, чтобы работники органов внутренних дел и другие мелкие начальники на местах бросились вперед со всем своим карательным энтузиазмом». Миллер делает два вывода. Во-первых, в обществе и в госаппарате все еще остается огромный потенциал насилия. Потенциал ксенофобии и насилия есть, конечно, в любом обществе, но у нас эта ситуация усугубляется еще довольно живым историческим и институциональным наследством. Как только бюрократический аппарат получил сигнал сверху, — или ему показалось, что такой сигнал был подан, — карательные инстинкты проявились моментально. Кроме потенциала насилия следует отметить и большой потенциал холуйства в бюрократических структурах. Так, из ряда вузов стали изгонять студентов с грузинским гражданством. Далее Миллер задается вопросом: сможет ли российское общество продемонстрировать организованную защитную реакцию на уровне небольших сообществ и коллективов? Например, смогут ли русские студенты и преподаватели эффективно воспротивиться исключению студентов-грузин, солидарно внутри своего вуза противостоять насилию и холуйству ретивых ректоров? Смогут ли сообщества, трудовые коллективы, организации оказать не только символическую, но и практическую помощь пострадавшим коллегам, реально защитить от увольнений и репрессий? Или наши способности к организованному протесту против бездействия или бесправных действий властей могут принимать только те формы, которые мы видели в Кондопоге? «Главный вопрос сейчас все же в том, сможет ли российское общество организовать сопротивление вырвавшемуся на простор бесправию, насилию и холуйству».

О последствиях антигрузинской кампании для общества размышляет и **Александр Архангельский** («Порномасштабная война»: сайт «РИА Новости», 5 октября). Он называет 4 последствия. 1. Поменялся расклад сил в так называемых элитах. Те, кто ставил на одного преемника, подвинулись; те, кто ставил на другого, оживились. 2. Сила была продемонстрирована Грузии, а применена будет в России. Не военная. Политическая. 3. «Дана отмашка на полномасштабный передел легального и криминального рынков по всей стране. Жалеть грузинскую мафию как-то глупо, пусть она сама

себя пожалеет. Но, во-первых, зачистка поля идет тотальная, мафию от немафии отличать никто не собирается; мирных грузинских торговцев просто разорят, или обложат двойной данью. А, во-вторых, если бы на место зачищенной мафии тут же явилась небесно-чистая, прозрачная, добросовестная рыночная система! Но ведь ничего подобного не будет, верно? Будет новый передел устоявшихся сфер влияния». 4. «Страна и так напряжена. Она искренне верит, что все идет хорошо, что народ и партия едины; при этом вокруг себя видит непорядок. И подсознательно ищет олицетворенного виновника собственных бед. Это происходит и безо всякой Грузии; но массовая политическая, милицейская, военная истерика по поводу грузинских дел действует на тлеющее раздражение, как спиртовой раствор на разогретые угли. Уже польхнуло в Кондопоге — задолго до всяких эвакуаций. Теперь степень риска возросла в разы. Нам все время твердят об оранжевом уровне опасности, а его давно пора повышать до коричневого». Архангельский разделяет мнение, что «в России формируется запрос на другого вождя. Более крутого. Более отвязного. Уже рогозинские ролики, за которые “Родина” была снята с московских выборов, не кажутся чем-то из ряда вон выходящим... А такого вождя нынешняя элита предложить не сможет. Потому что слишком цивилизована. Образована. Осторожна. И богата».

Примерно так же смотрит на ситуацию **Андрей Колесников** («Бюрократический национализм и его конкуренты»: «Газета.Ру», 10 октября): можно «заниматься ксенофобской политикой в дорогих костюмах от Эрменеджильдо Зенья и давить инородческую гадину вестоновскими ботиночками по цене в три МРОТа, но рано или поздно избиратель почувствует подвох — как-то это все негармонично и неорганично. А вот внятный националист из гущи народной жизни, не обезображенный атрибутами и аксессуарами государственной службы, попахивающий не мужским “Барберри”, а козлом, может оказаться в глазах разогретого теперь уже официальной и утвержденной сверху националистической риторикой гораздо более привлекательной фигурой, чем бюрократ-националист, иной раз сам не верящий в то, что он говорит. Власть сама виновата: граница дозволенного националистического дискурса продвинулась далеко вперед — теперь вслух и даже в официальных СМИ можно говорить открыто такое, что еще год назад считалось неприличным. Теперь с экранов бьют грузин и спасают Россию такие персонажи, которым нормальный человек в здравом уме, твердой памяти и получивший морально мотивированное воспитание, и руки-то подать не может. Национализм “в законе” разрушил крайне важные социальные табу, из которых состоят этика и политическая культура. А когда Бога нет и все дозволено — это прямой путь к погрому. Остается только и в самом деле понять, кто его возглавит».

На сайте «РИА Новости» **Светлана Бабаева** («Кто достоин быть эскимосом», 10 октября) тревожится в связи с опасными заявлениями власти. Базовое заявление — «коренные жители». «Кто буквально за сутки отнесен к коренным жителям, а кто к “понаехавшим”, объяснено не было. Должен ли был человек проживать в России по состоянию на 1992-й, 2000 год или последние 150 лет? Может ли быть отнесен к “коренным” хоть один обладатель фамилии с окончанием на “швили”, “дзе” или “ава”, будь он хоть прямой потомок Багратионов или Чавчавадзе? Если один в семье “шви-

ли”, а другой — Иванов, считать ли обоих коренными или, наоборот, обоих “понаехавшими”?» «В тех немногих российских правовых актах, где такое понятие встречается, к ним...) отнесены лишь малочисленные народы Севера, которым гарантируются определенные преференции в приватизации и развитии народных промыслов. Если следовать этой логике, то в России коренными жителями следует объявить ненцев, саамов да эскимосов; если следовать логике исторической, — вятичей, русичей и чухонцев. Остальные все — так или иначе “понаехавшие”...» Термин, единожды произнесенный, был мгновенно растражирован. Началась кампания. «И пошел план по валу. Платоновский “котлован” роется вновь. Грузин выловить всех. Кого не трогали до сегодняшнего дня, при этом всё про них зная, тронуть и задержать. К “коренным” отнести блондинов, в крайнем случае, шатенов...» «“Согласное гуденье насекомых” продолжается».

Путин

Православный державник **Аркадий Малер** в статье **«Историософская миссия Владимира Путина»** («Русский Журнал», 31 октября) начинает с того, что избрание нового президента в 2008 году означает угрозу нестабильности и тем самым в корне противоречит тому, чего вопреки всем возможным обстоятельствам смог добиться президент Путин, — постепенно вызревающему чувству постоянства власти, а, следовательно, и той самой долгожданной стабильности». «Если Путин “преодолевают” конституцию и остается на третий срок, то это может подтвердить стабильность власти, но опровергает стабильность права. И наоборот, если Путин уходит, то это подтверждает стабильность права, но может опровергнуть стабильность власти, ибо нет никаких гарантий, что его преемник будет “лучше”. Следовательно, одним из этих начал придется пожертвовать, и если мы хотим подлинной стабильности, то, конечно, надо жертвовать правом, потому что вся относительная стабильность последних семи лет держится именно на власти и вопреки праву». «Если формальный закон противоречит задачам спасения реальной страны, то его можно и нужно менять». «Путин должен осознать, что он себе уже не принадлежит, что он — символ, миф, живой экспонат русской истории». Он «уже остался в истории России как фигура со знаком плюс, как лидер нации, преодолевший очередную Смуту». «Кардинальное отличие “исторического духа” путинской эпохи от эпохи ельцинской заключается в повсеместной легитимации нелиберального идеологического контекста». В 2000-е годы «правая» идея впервые после 1917 года получила возможность выступать от собственного имени, а не прикрываться либеральной риторикой (как это было при советской власти) или левацкой демагогией (как это было при либералах). В 2010-х Путину придется совершить свой главный выбор: либо он готов быть адекватным глобализирующемуся миру, либо он готов быть адекватным России с ее уникальностью. «Можно сказать, что дело не в том, кто выберет Путина, а в том, кого выберет сам Путин. И это касается не только его лично, но и его возможного преемника, которого народ, кем бы он ни был, будет воспринимать, естественно, как продолжение Путина и на фоне Путина. Иначе нуж-

на другая стратегия и другой президент. Однако надежда на то, что Путин сделает правильный выбор, у нас есть», а правильный выбор, по Малеру, есть выбор в пользу самобытности.

В том же «Русском Журнале» **Павел Костылев («Его день рождения»:** 6 октября) произносит роскошную здравицу президенту по случаю его 54-летия. «В данный момент он работает Президентом России, успешно и, я бы даже сказал, изящно отбиваясь от попыток сделать из него “символ”, “идола”, “чудовище” и “воплощение русской идеи”. Президент Путин, слава Богу, абсолютно не архетипичен — он не герой голливудского блокбастера, может быть, даже вообще не герой». Он работает, и результаты налицо. «У нас постепенно растет зарплата. Так же постепенно снижается инфляция». «СМИ бомбардируют нас разного рода кондопогами с той же навязчивой тоской периодичностью, с которой поп-звезды женятся, разводятся, напиваются и раздеваются». Но мы-то знаем: «у нас, вопреки убийственным в своих пертурбациях девяностым, появился не просто шанс, но и реальная возможность: не только выживать, но и, собственно, жить. Главный подарок Путина — это тихая незаметная повседневность быта. Попросту, есть теперь время на мелкую чепуху, а не на “спасение России”, которым лет десять назад поименованную Россию чуть было уже не угрозили насмерть. Что ж, теперь можно. Открыть свой маленький бизнес. Рожать детей; в компетентных кругах скамеечных бабушек и бизнес-women говорят, что уже можно, — а это, поверьте, дорогого стоит. Класть деньги не в банку, а в банк. Купить, наконец, квартиру, построить дачу, найти достойную работу и достойную зарплату. Если серьезно, то поднимем до предела метафизический градус — мы, дамы и господа, все еще живы. Все еще нарисована на карте страна Россия. В нас не летят атомные бомбы, нас не подвергают блокаде. Нас побаиваются — скорее по привычке, чем по истине. Нас, как ни странно, любят — как любят все странное и, по большому счету, принципиально непостижимое. У нас всегда зима, у нас всегда очень холодно, а на зимних московских улицах бродят пьяные медведи в ушанках и, подпрыгивая себе на расстроенном баяне, поют протяжные, непонятные песни». «И теперь у нас есть завтра». «Всю жизнь он был простым советским разведчиком, да и теперь ему, если честно, не позавидуешь — надо держать марку, хранить лицо, которое знают все люди России и большинство населения нашей небольшой планеты. Его зовут Владимир Путин. Владимир Владимирович! В конце-то концов — с днем рождения!»

А вот **Станислав Белковский** 6 октября в статье «**С днем рождения, господин президент**» на «Lenta.ru» иначе подводит итоги семи лет пугинского правления. «Основных итогов — два: В России окончательно сформирована клептократия — политический режим, при котором основные государственные решения мотивированы, в первую очередь, непосредственной материальной заинтересованностью узкой группы лиц, эти решения принимающих... В 2000-2006 г. качественно изменился геополитический статус России. Из региональной державы — источника легитимности постсоветских режимов... Россия превратилась просто в самый большой обломок Советского Союза, лишенный каких бы то ни было особых прав и функций во вчерашней Империи». Далее Белковский перечисляет и «основные достижения Владимира Путина на президентском посту». Их 9. «1. Оправдание

свободы... Сегодня, когда путинская вертикаль уже во многом выполнила свою мертвящую роль, стало очевидно, что свобода — необходимое условие возрождения и творческого развития нации... Путин своим «вертикализмом» оправдал российскую свободу. 2. Зачистка политического пространства... Путин справедливо обнаружил, что многие так называемые оппозиционные структуры по сути хотят вовсе не власти, а денег... действующий президент «зачистил» политическое поле от большого числа симулякров, изображавших вроде-бы-идеологическую-оппозицию... Благодаря коррупционному пакту, который путинский Кремль заключил со многими представителями вчерашнесегодняшних элит, на политическом пространстве России образовалось много свободного места, куда может прийти новое поколение настоящих, идеологически и ценностно мотивированных политиков... 3. Реабилитация свободного слова. Резко сократив количество неподцензурных СМИ, Владимир Путин качественно повысил ценность и значимость свободного слова в современной России. 4. Движение к теленезависимости. Выхолостив политическое вещание на общенациональном ТВ и подменив его ароматной смесью Петросяна с криминальными сериалами, путинский Кремль существенно уменьшил как уровень народного интереса, так и степень доверия к телевидению. А значит, принципиально ограничил возможности использования ТВ для манипулирования сознанием россиян. 5. Выплата внешнего долга. Радикально уменьшив государственный внешний долг России, Владимир Путин исключил дальнейшее использование этого долга в качестве системообразующего фактора российской внутренней политики... 6. Государственные запасы. Почти нет сомнений, что значительная часть изошренных финансовых резервов, скопленных путинской Россией благодаря ударным ценам на нефть, в предстоящие 19 месяцев будет хитро предоставлена дружественным Кремлю ФПП в качестве инвестиционно-кредитных ресурсов. Однако несколько десятков миллиардов долларов все же останутся. И после Путина они могут быть использованы для реализации модернизационных программ общенационального значения (не путать с рекламными «нацпроектами» имени Д. А. Медведева)... 7. Союз с Германией... 8. Поиск столиц. Путин серьезно повысил статус Санкт-Петербурга... теоретическая постановка задачи — распределение столичных функций между несколькими имперскими городами-символами — дорогого стоит. 9. Конец игры... Путин принял-таки решение начать борьбу с обуявшей российский народ лудоманией и изгнать игорные заведения из крупнейших российских городов. Получится или нет — пока неизвестно..., но само намерение заслуживает всяческих похвал». Белковский заключает: Путин оставляет своим последователям неплохое политическое наследство. То, что он успел совершить на главном государственном посту, а наипаче то, чего совершить не захотел, довольно четко определяет программу приоритетных действий следующей власти. «Здесь — и восстановление выборности глав регионов, и освобождение из тюрем «тематических» заключенных (от Ходорковского до Буданова), и начало реализации больших инфраструктурных проектов, и возвращение независимого статуса Академии Наук, и роспуск СНГ с заменой его на новую форму организации части постимперского пространства. Остается лишь надеяться,

что в России уже где-то есть новая элита, способная занять опустошенное Путиным государственное место».

В статье **«Большая неделя»** на сайте ЕЖ (17 октября) **Белковский** пишет: «Неделя с 9 по 15 октября 2006 года почти наверняка найдет себе несколько строк в учебнике теперешней русской истории. Отчасти потому, что на той многозначной неделе достигла своего ударного логического завершения антигрузинская кампания Кремля». Но главное событие произошло «во время новейших германских походов президента РФ Владимира Путина. Повстречавшись в Дрездене-Мюнхене с бундесканцлершей Ангелой Меркель, Путин неожиданно выяснил, что вся его затея с “энергетической империей” (в переводе с неокремлевского на русский, сырьевой колонией индустриально и постиндустриально развитых стран) оказалась блефом. “Страна святых чудес”, странная старая Европа, решительно не понимающая своего сырьевого счастья, отказалась подсесть на штокманскую газовую иглу. Верховному гонителю грузин ясно дали понять, что никакой он не император, исходящий ветреной гармонией светил, а просто-напросто торговец газообразным товаром, с которым покупатели этого товара будут поступать по всей строгости законов рыночного места и времени. А потому Германия объединится не с Путиным ради дистрибуции его внутреннего пахучего топлива, а совсем наоборот — с Францией, чтобы вместе давить на продавца и заставлять его идти на уступки. Самое страшное — эти варварские европейцы будут открыто и мощно искать совсем других продавцов и транзитеров газо-нефти и уже нашли их — по всему напуганному путинскими бандитскими эскападами периметру постимперской РФ». Итак, рухнул разработанный Путиным и Ко бизнес-план ЗАО «Россия», предполагавший трансформацию страны в евразийскую Нигерию посредством коррупционного сговора с немцами и «решительного отсеечения лазерной бритвой им. Оккама всех преизлишних русских сущностей (науки, техники, войны, любви, революции, искусства, ума, чести и совести)». А значит, полагает Белковский, как всякий уважающий себя топ-менеджер, Путин должен уходить. Желательно досрочно, чтобы освободить свято место для нового менеджмента с качественно иным бизнес-планом. Правящая элита нашего полубезымянного Государства Ру точно знала, как она будет легитимировать себя на Западе. Теперь нужна новая доктрина легитимации. И единственное, что остается у этой правящей корпорации, чтобы не отправиться из марта 2008 года напрямик в альпийский придворный следственный изолятор, — это провести честные и откровенные президентские выборы.

Либерал **Александр Храмчихин** в статье **«“Справедливая Россия”: момент истины для Президента»** (сайт «PROGNOSIS.RU», 8 ноября) полагает, что «беда нашего президента, которая может перерасти в трагедию страны, состоит в том, что он попал во власть по чужой воле, не желая этого и будучи к этому не готовым, не имея никакого цельного мировоззрения. В итоге он не только не может добиться каких бы то ни было реальных успехов для страны (привести примеры таковых затруднительно), но и создать прочную властную конструкцию (хотя внешне кажется, что прочнее некуда). Он не может быть президентом-демократом, поскольку по своему жизненному опыту считает демократию вещью крайне вредной. Но и на-

стоящим диктатором типа Лукашенко или Ниязова тоже стать не может. Путин понахватался “демократической заразы” в 90-е и, не имея цельной системы взглядов на жизнь, не смог ее ни полностью воспринять, ни полностью отторгнуть. Но гораздо важнее то, что он просто не имеет властного инстинкта (как те же Лукашенко, Ниязов, а также Сталин, Ельцин и многие другие). Именно это не позволяет ему стать “полноценным” диктатором и более четко понять правила функционирования власти». Видимо, понимая в глубине души, что заслуживает своего нынешнего поста несколько не больше, чем многочисленные питерские «соратники», Путин готов прислушиваться к их просьбам. «Не исключено, что на президента сильно подействовал и крах его внешнеполитической стратегии, воплощенной в концепцию “энергетической безопасности”». Он понял, что заигрывания с Западом провалились, а строительство “Супергазпрома” оказывается бесполезным. Если не удастся посадить на нефтегазовую иглу Европу, то создание супермонополии не только не принесет выгоды, но может оказаться крайне вредным. Поскольку “Газпром” “в долгах, как в шелках”, многие эксперты считают, что Россия, замахнувшись на обеспечение всемирной “энергетической безопасности”, не способна обеспечить таковую даже для себя самой. Китай альтернативой Европе не является, он давно привык вести себя с Россией в стиле диктатора и готов покупать газ у нее не дороже 40 долларов за тыс. куб. м, т. е. гораздо ниже себестоимости. Куда же Путину уходить теперь, не ясно. Вместо того чтобы стать мировым (или, хотя бы, евразийским) “нефтегазовым королем”, он должен будет превратиться просто во “второго Чубайса”, только с гораздо худшими управленческими способностями. Путин все это начал понимать. Президент “заметался” и начал ломать все стройные сценарии передачи власти, созданные в недрах его администрации. По-видимому, умер и вариант досрочных выборов с Путиным во главе списка “Единой России”. Теперь главная задача Путина — доказать, что он не “хромая утка”, пытаясь изобрести новый вариант спасения. Чем яростнее он будет это доказывать, тем яснее для элиты будет, что он именно — “хромая утка” и надо спасаться самим. В итоге, после 7 лет “стабилизации”, “консолидации общества” и строительства “властной вертикали», мы можем въехать в хаос, худший, чем в конце 80-х — начале 90-х.

Наталья Геворкян в колонке **«Выглядит нехорошо»** («Газета.Ру», 19 октября) замечает: «Путин выглядит очень плохо. Когда твоя огромная страна замахивается на крохотную Грузию, когда тебя просят одним росчерком одобрить нарушение территориальной целостности другой страны, когда ты сортируешь людей по национальностям, когда националисты готовятся выйти на улицы с лозунгами “ДПНИ — надежная опора президента” и “Президентские идеи — в жизнь!”, когда с подозрительной регулярностью происходят громкие заказные убийства, вопреки президентским клятвам навести порядок, когда ты обречен до конца жизни в собственный день рождения вспоминать женщину, которую ты не любил и с чьей смертью невольно оказываешься связан навсегда... Когда вот все это вместе в одно и то же короткое время, то Лукашенко отдыхает. Фон, на котором происходит сегодня правление Владимира Путина, чудовищный. Он или этого не понимает, или понимает и одобряет, или понимает, но сделать уже ничего

не может». В Европе за последние месяцы фатально испорчен и имидж президента, и имидж страны, которую он лепил последние шесть лет. Геворкян уверена в том, что идет большая игра с большими жертвами во имя сохранения и продолжения сегодняшнего кремлевского статус-кво. Никак иначе «этот нарастающий снежный ком глупости, ошибок и мерзости» она объяснить не может.

Проблема 2008

Критик режима **Станислав Белковский** в статье **«Братство товарища Волка»** (АПН, «NaZlobu.Ru», 17 ноября) фиксирует: по мере приближения беспощадного в своей исторической неизбежности дня ухода Владимира Путина от президентской власти война между взаимно возлюбленными членами социального братства под названием «путинская элита» становится всё отчетливей и непримиримей. Далее он анализирует один из проектов будущего — империю «Медведев». «В основании его (проекта) лежит реформаторская концепция наименьшего зла из возможных (“совсем маленького зла”, СМЗ). Идеологи медведевщины (а главным из таковых считается все тот же незаменимый Волошин) намерены консолидировать элиты вокруг тезиса о возвращении в “золотой век” постсоветской России, а именно в 2000-2002 годы, когда нефтяные цены уже напропалую росли, рассветная стабильность уже была из всех щелей, однако кровавые сеченочекистские будни с показательной поркой ЮКОСа еще и не думали начинаться. И политических свобод было ровно столько, сколько нужно почтенной VIP-публике для привычного кайфа — ни граммом меньше и ни центом больше». «В общем, главный лозунг СМЗ-проекта: берем в будущее всё хорошее от Пугина, оставляем в проклятом прошлом-настоящем всё плохое». «На ценностном уровне СМЗ-консенсус теоретически может быть достигнут. Система, при которой можно спокойно “пилить” нечаянно-радостные сырьевые доходы, складывать их на Западе и не задумываться, что такое будет с Россией всего через несколько лет, нынешнюю владетельную элиту, в общем, устраивает. Да и тандем настольного ягненка Медведева со старым добрым волком Волошиным смотрится и пахнет вполне себе ничего». «Другое дело, что на уровне практических интересов консенсус по поводу СМЗ-Медведева никак не достигим. Потому что для четырех-пяти богатых и влиятельных групп Александр Волошин как фактический правитель России и Роман Абрамович (в обрамлении Алишера Усманова / Сулеймана Керимова) как её титульный спонсор означают быструю и притом довольно болезненную политико-экономическую смерть. И эти группы обязаны сделать всё возможное, чтобы благотворный Медведев никогда не воссел на кремлёвское тронное место». Белковский пишет, что у «самого креативного кремлевца» Владислава Суркова в 2006 году было много технологических неудач, но у него есть важное дело в рамках проекта «Медведев» — «Пятая империя». Из патриотического еженедельника «Завтра», добровольно согласившегося стать главным рупором «Пятой империи», можно узнать, что якобы есть на свете некая разветвленная и крепкая Партия третьего срока (ПТС) Владимира Путина. Члены ПТС хотят уговорить

Путина плюнуть на Конституцию и обязательства перед евроатлантической цивилизацией, взять да и пойти на третий срок, чтобы выполнить некую священную имперскую миссию. По Белковскому, «на самом же деле никакой ПТС не существует. То есть всякоразные люди — от Игоря Сечина до Рамзана Кадырова — были бы, несомненно, удовлетворены, если б Путин остался еще на срок-другой. Но никакой общей и единой аппаратно-экономической партии, способной овеществить третий срок, у них нет, да и всеобщий раздрай в среде “третьесрочников” слишком велик. Виртуальная Партия третьего срока с ее программой “Пятой империи” нужна лишь для того, чтобы Суркову страшать ею прогрессивный Запад... Завершает Белковский тем соображением, что соратникам первого (1999-2000) кадрового призыва, сумевшим слишком правильно капитализировать свою околопутинскую, президент уже не вполне доверяет. И пытается прибегнуть к помощи исполнителей другого поколения и формата. Это высочайшее недоверие, которое в предстоящие полтора года может лишь усугубляться, но никак не снижаться, станет еще одним серьезным фактором номенклатурного раскола, войны волков против волков. «Нынешняя властная элита идёт на выход. Ей, наверное, хотелось бы отчасти (и от большей части) остаться. Но легализация приватизированных русских денег за границей — куда важнее. В этом — жизнь, остальное — необязательные доп. потребности. И, толкаясь свинцово-цинковыми локтями у двери с зеленой надписью Exit, они не смогут не опрокинуть со стола ту самую стабильность, которой так гордится их задержанный предводитель. Массивный вывоз капитала, вооруженное заметание следов, осеннее уничтожение безусловных противников — всё это сделает процесс смены и передачи власти куда более сложным и сердитым, чем принято рассуждать по Первому каналу телевидения. Члены братства товарища волка не могут не искушать друг друга до кровавого бешенства. Главное, чтобы в этой нечеловеческой борьбе за мир не совсем рухнула наша Россия».

Он же в статье **«Путин устал от власти»** (10 ноября на сайте «Polit-pp.ru») мотивирует свою убежденность в уходе Путина в 2008 году как усталостью, так и практическим, коммерческим умом своего героя. Он «понимает, что ситуация не улучшается, что количество очагов напряженности и социальных точек взрыва нарастает. Ему очень не хотелось бы, чтобы взрыв произошел при нем, президенте Путине. Уже поэтому он обязан уйти. Путин как бизнесмен, состояние которого к 2008 году, по моим оценкам, будет составлять от 7 до 10 миллиардов долларов, прекрасно понимает, что не стать коррумпированным диктатором, которого не воспринимает ни одна цивилизованная страна, возможно, только если он уйдет от власти вовремя».

Из тех же посылок исходит и **Александр Храмчихин** на «PROGNOSIS.RU» (**«Президент устал — элита в растерянности»**, 22 ноября). «Президент устал, запутавшись в реальных и выдуманных проблемах. Он раздавлен должностью, коей совершенно не соответствует. Как несложно заметить, он уже сегодня проводит в Сочи больше времени, чем в Москве, что чрезвычайно странно при его относительной молодости и подчеркнутой спортивности». «Газпромовская затея явно провалилась, адекватной политической должности в России нет. Главное же, что Владимир Владимирович не хочет больше

занимать должностей. Он хочет отдохнуть, сохранив благосостояние. Именно это — главная его цель, и именно поэтому ему психологически сложно выбирать преемника. Тем более что потенциальные преемники ещё меньше соответствуют должности президента». Окружение президента нервничает. Чем больше президент затягивает с решением, тем больше у бюрократов соблазна начать какую-нибудь свою игру, игнорируя мнение главы государства. Не исключён самый «ужасный» вариант — Путин не назовёт никого или сразу нескольких. Если преемников окажется более одного (или, что эквивалентно, ни одного), борьба внутри правящей группировки примет саморазрушительный характер, что заметно уже сегодня. Далее Храмчихин показывает бедность политического ресурса режима. «Лишь ЛДПР имеет шансы на успех. Эта партия и её лидер... могут показаться избирателям самыми «живыми» и, как это ни смешно, самыми идейными». Надвигается кризис.

Никита Николаев на «PROGNOSIS.RU» («Провал «операции наследник»: 30 октября) отмечает, что накал противостояния группировок при кремлевском дворе слишком уж велик, чтобы обошлось миром. Схлестнулись сторонники сохранения различными способами нынешнего первого лица у власти и те, кто продолжает рассчитывать на проведение в жизнь «операции наследник». К тому же элиты эти полностью оторваны от общества, масс. В условиях фрагментации постсоветского пространства, усиления конфронтационных тенденций в системе международных отношений и вынужденной политики постоянного лавирования, проводимой российским руководством, следует ожидать активизации внутривнутриполитических действий, направленных на введение полного контроля над общественно-политическими процессами в стране. Но такой сценарий в сложившихся условиях не может быть реализован в принципе. Появление новой фигуры, объединяющей даже сравнительно незначительный в масштабах страны сектор электората, способно нанести серьезный удар по «операции наследник». Огромное значение для нынешнего первого лица РФ будет иметь общественное мнение Европы и США. Политический класс евро-атлантического сообщества заинтересован в стабильной России, руководство которой не станет пытаться откровенными «особыми методами» действовать как на международном пространстве, так и внутри страны. Николаев ждет какой-то новой кандидатуры наследника.

И тот же **Храмчихин** отвечает на его ожидания в статье «Преемник «путинской весны»» («PROGNOSIS.RU», 7 декабря). Он полагает, что консенсусом для российской элиты станет условное возвращение в 2002 год, когда экономика уже росла, а крупный бизнес еще не прессовали слишком сильно. Фигурой такого компромисса в глазах элиты вряд ли сможет стать даже самый подходящий для этого «наследник» Путина. Зато столь требуемая роль вполне по силам отставленному и опальному премьеру «путинской весны» Михаилу Касьянову. Бюрократия может обрушиться сама себя в борьбе за «путинское наследство». Кто-то может урвать дополнительный кусок, но многие лишатся всего. Более того, всего могут лишиться все, если в результате грызни внутри правящей группировки к власти придут внесистемные силы (вероятнее всего — с нацистским уклоном). Это может произойти не прямо в 2008 г.: на выборах кто-нибудь из преемников по-

бедит, но вся «элита» в ходе внутренней борьбы на уничтожение будет полностью дискредитирована. К тому же явка на президентских выборах может оказаться очень низкой, из-за чего нового президента изначально никто не будет воспринимать всерьёз. Он станет «хромой уткой» с первого дня президентства с хорошими шансами не досидеть даже до конца первого срока. При этом не надо питать иллюзий, что нынешней «элите» удастся скрыться на Западе. Запад совершенно справедливо увидит в них не «политических беженцев», а банальных воров, а может быть, в свете последних событий, и преступников против человечности. Тут и до Гаагского Трибунала недалеко. Вариант спасения у правящей бюрократии всего один — сделать ставку на Касьянова. Этот вариант просматривался еще два года назад, а теперь он становится очевидным и, похоже, безальтернативным. У Касьянова как наследника Путина масса достоинств и практически никаких недостатков. Он компетентен и миролюбив. Профессиональный бюрократ. Никто или почти никто не пострадает. И Запад будет несказанно счастлив, если президентом станет Касьянов. При президенте Касьянове Запад вообще отвяжется от России, дав ей возможность заняться собой: у самих США и ЕС сейчас слишком много других проблем. Касьянов выступает как классический правый, либеральный патриот. С таким имиджем пришел на свой пост и Путин, на деле, оказавшись, увы, антилибералом и патриотом другой страны — СССР, которая России объективно враждебна. Далее Храмчихин пеняет кремлевской администрации, которая не понимает своей выгоды и усиленно превращает Касьянова во врага. «В условиях разброда внутри правящей группировки шансы Касьянова на победу будут очень велики. И от этого практически всем будет хорошо (лишь некоторые либертарианцы ритуально възрыдают об “украденной революции”, хотя и они в доходах не потеряют). Впрочем, к сожалению, в России люди очень часто понимают свою выгоду лишь тогда, когда получить ее становится невозможно». Таким меланхолическим замечанием кончается статья.

Тревожной настроен **Андрей Пионтковский** («Всем, всем, всем!»: «Грани.Ру», 26 ноября). Он полагает: «Есть только две логические возможности: очень разных людей — Политковскую, Литвиненко, Байсарова — демонстративно убили в центре Москвы и в центре Лондона по приказу (с ведома) президента страны, или их ликвидировали отъезжавшие структуры внутри спецслужб, ведущие смертельную схватку за власть в Кремле... В первом случае фашизм уже победил, сорокинский “День опричника” наступил, а нас всех, для кого подобный режим этически неприемлем и эстетически омерзителен, убьют с разной степенью жестокости, что бы мы сегодня ни делали и ни говорили. Поэтому давайте исходить из второй возможности, которая означает, что чекистский фашизм рвется к власти и единственным оставшимся для него препятствием является позиция президента страны, не желающего ломать Конституцию и оставаться в Кремле на неограниченный срок в качестве марионетки этих сил». Есть шанс спасти нашу страну. «Для этого нужна широчайшая коалиция политически активных граждан в защиту действующей Конституции, в защиту законно избранного и пользующегося доверием большинства населения президента. Но нужна и политическая воля и готовность самого президента опереться на эту

коалицию и на народное доверие, чтобы обуздать те силы, с которыми он уже, очевидно, не способен справиться в рамках созданной им и услужливыми политтехнологами административной вертикали». Какими должны быть цели этой широкой коалиции? «Максимально открытое расследование всех политических убийств последних лет, начиная с отравления Юрия Шекочихина, и суровое наказание виновных». «Похабное слово “наследник” должно навсегда быть исключено из российского политического словаря. Сегодня уже очевидно, что продолжение операции “Наследник” приведет нас только к растущей горе трупов и полной дестабилизации политической ситуации в стране». Лучшей гарантией личного, политического и исторического будущего Путина стала бы передача им 8 мая 2008 года власти не вымученному в придворных интригах «наследнику», а новому президенту России, избранному на открытых, честных и прозрачных выборах. Любые другие варианты могут обернуться для него в конце концов незавидную ролью товарища Кирова при коллективном товарище Сталине чекистской диктатуры.

Солидарна с Пионтковским в оценке ситуации **Наталья Геворкян («Президентский заговор»**: «Газета.Ру», 29 ноября). Отношение к России в западном мире кардинально меняется. Россия попала в негативное поле. Негативные события следовали одно за другим практически без передышки. Накапливаемый негатив трансформируется в нежелание Запада и дальше закрывать глаза на то, что, собственно, и вчера вызывало опасения. Просто этот негатив разрушает политические и дипломатические барьеры, стремительно выталкивает Россию и ее президента в маргинальную зону, где как-то уже обустроилась Белоруссия. Наблюдатели уже настроены на дальнейшие плохие новости, связанные с Россией. Они опасаются, что будут еще жертвы, что это все не случайно. «Я считаю, что турбулентность закончится тогда, когда Владимир Путин объявит, что остается на третий срок. Именно на это работает весь негатив, потому что он подсказывает президенту, который и хотел бы, возможно, сохранить приличия, что иного выхода у него нет. У него нет выхода, потому что перед ним уже закрывают двери, потому что с ним уже не хотят договариваться, потому что его все равно мучают вопросами по поводу смертей и убийств, потому что у него скоро не останется ни одного “друга” среди лидеров, а новые с ним никогда и не дружили. Источник турбулентности стоит искать среди тех, кому не выгоден уход Путина с поста президента. А он не выгоден тем, кто конвертировал власть в бизнес и для кого смена лидера и правил игры чревата серьезными финансовыми потерями...» Обиженный и раздраженный, Владимир Путин вполне может пойти на третий срок, и страна его поддержит... Я бы сказала, что происходит своеобразный заговор, цель которого в создании условий, исключающих уход Путина от президентской власти».

Оппозиция

На персональном сайте экономиста-оппозиционера лево-националистического толка **Михаила Делягина** публикуется его выступление на одном из собраний оппозиционеров **«Из России отчаявшейся будет Россия благословенная»** (9 декабря). Делягин утверждает: нам объявили войну «лица

кремлевской национальности». «Они превратили российское государство в чудовищную бездушную машину по переработке живых людей в свои личные миллиарды». Столкнувшись с ростом народного негодования своей людоедской политикой, действуя по принципу «разделяй и властвуй», они перешли от разжигания социальной вражды к разжиганию вражды национальной. Далее Делягин сосредотачивается на борьбе режима с национальным движением русских. Суть дела видится ему так: «правящая бюрократия пытается низвести нас до положения национального меньшинства в стране, управляемой кремлядью, принадлежащей на правах собственности “лицам кремлевской национальности” и населенной непримиримыми, покорными и на все согласными людьми из депрессивных регионов Средней Азии и Кавказа». Но «Россия — не “Курск”, она не утонет». Делягин декларирует необходимость объединения в едином патриотическом движении и либералов, и коммунистов, а также идею грядущей нации, основанной не на крови, а на «культуре, добросовестности и службе своей стране, а не своему карману». «Если мы победим — в России будут русские молдаване, русские кавказцы и даже русские китайцы, хотя и попозже. И, общаясь с ними, мы не будем чувствовать культурного различия».

4 ноября в Москве должен был состояться т. н. *Русский марш*, шествие националистов, но ввиду запрета на его проведение дело кончилось митингом. Об этом событии немало было сказано в контексте пробуждения националистических настроений в обществе и тактики власти и оппозиции.

Весьма критично о марше отзывається **Андрей Татариннов** на сайте «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ» в обратившей на себя внимание статье «**НЕРУССКИЙ марш**» (1 ноября). «“Гиперсионист” Авром Шмулевич — прямой подчиненный скрывающегося в Израиле от российского правосудия Невзлина. Лидер “Движения ПНИ” Саша Поткин. Родом из Еврейского Автономного округа. Родители — правояверные иудеи. С детства мечтает об эмиграции в Израиль. Либеральная истеричка Альбац. “Другоросс” Стас Белковский. Верный служака Ходорковский. Вот список персон, которые сегодня пытаются организовать в центре столицы бойню под названием “Русский марш”. Открыто призывают к неповиновению действующей власти и милиции...» «Грубо эксплуатируя русскую идею, национальную гордость россияна, они хотят крови. И запасаются краской, чтобы оперативно окрасить ее в оранжевый цвет. Вчера для своего “псевдорусского” бунта они малевали лозунги “Хайль Гитлер”, сегодня — скупают по церковным лавкам Даниловского монастыря православные иконы и хоругви». Татариннов видит в этом только эпатаж, дикую жажду провокации, самопиара. «Их цель — оседлать популярную тему, аккумулировать народный протест и, подброшенными его волной, в верхней точке полета попытаться укусь власть. Кишка, конечно, тонка. Зато спонсоры платят по чемодану баксов за каждую из “5 секунд славы”». «Фашистская идеология этого “марша” всем прекрасна понятна и дополнительного доказательства не требует». В охвате фашистов идут и либералы, а точнее, вся эта гнилая оппозиционная каша. «Лимонов, который переориентировался на западных спонсоров и продал политический лот под названием “НБП” за рубеж. Гарри Каспаров, вернувшийся в Россию, в которой раньше никогда не жил, с надеждой

отхватить себе кусочек власти». «Жажда беспорядков, создания неблагоприятного фона в стране, внутреннее гниение — это четко сформулированная задача сегодняшней оппозиции в России со всеми их Яшиными, Альбацами, Белыхами, Поткинскими, Лимоновыми и прочей гадостью. А зачем нужны беспорядки? Чтобы расстроить экономическую систему страны. Кому это выгодно? Явно не нашим же гражданам. Зачем нужно пытаться свергнуть власть? Чтобы поставить марионеток западных кукловодов. А кому это выгодно? Явно не русским людям», — венчает свои рассуждения Татаринов.

А поэт **Дмитрий Быков** в статье «**Страшнее кошки**» («ПОЛИТ.РУ», 8 ноября) использует Марш как повод для разоблачения режима, он считает: именно «идеологи нынешней России, защитники стабильности, запоздалые и боязливые запретители правого марша.., — напрямую ответственные за рост того самого национализма, с которым теперь вроде как борются. И ответственные вовсе не потому, что прикармливали, пестовали, до определенного момента разрешали все эти организации и даже дружески натравливали их на остатки российской демократии. Даже не потому ответственные, что Дмитрий Rogozin — политик абсолютно прозрачный, ясный, бессодержательный от рождения — надут именно ими, с единственной целью откусить требуемые проценты у коммунистов. А ответственные нынешние идеологи за русский нацизм прежде всего потому, что превратили русскую идеологию в вытоптанный, пыльный пустырь, на котором не растет ничего культурного и осмысленного. Где нет культурной растительности — там бурьян возникает сам собой». «Национализм в России расцвел не потому, что его пестовали и холили, а потому, что не осталось ничего другого. Репей и сурепку не надо поощрять к росту — вам это скажет любой дачник. Достаточно выкопать и вытоптать клубнику со смородиной. А потом можно бороться с репьем сколько угодно — его не убудет, он от этого только шире разбрасывает семена. Борьба с национализмом вообще невозможна — она неизбежно превращается в его пропаганду. Возможно только вытеснение сорной травы чем-нибудь этаким окультуренным». Далее Быков упрекает интеллектуальную элиту страны в отрыве от народа, в склонности прятаться под крыло у власти от народного гнева (который сама власть и спровоцировала). «...нам опять предлагается выбирать между ехидной и порождением ехидны. Да и что это за дихотомия, в самом деле: либо ты за идейного погромщика, либо за безыдейного душителя?» «Власть обязана лепить пугало, дабы привлекать к себе сердца от противного, — и мыслящая часть страны будет пугаться этого пугала; власть будет растить Азевов — а обыватели будут бояться террористов. И спрашивать, почему у нас ТАКАЯ власть и ТАКАЯ оппозиция, — бессмысленно: в труп заводятся только черви, прекрасные бабочки в нем не образуются. Труп надо, чтобы он был вечно живым. И не зря символом русской государственности долгое время был вечно живой труп. Поддержание этого макрабра в его вечно-мертвом, но активном и кровососущем состоянии — главная задача русской власти и ее любимого орудия под названием “оппозиция”».

Рассмотреть в низовом «русском фашизме» миф, искусно лелеемый властью, предлагает и ее яростный оппонент, демократ **Владимир Голышев** («**Не бойтесь!**»: «NaZlobu.Ru», 25 сентября). Другие жупелы власти — «сепаратизм»

и «гражданская война». Напоминая о призыве М. Пожарского «отделиться» (см. обзор в №130), он заявляет, что полностью на стороне «сепаратистов» (т. е. за местную инициативу) и «поджигателей» (т. е. за смену власти). Голышев рассматривает перспективы смены власти. Он обращает внимание на «Малые Обломы»: Кондопога, обманутые дольщики-вкладчики... Эти микрорезисы есть острая реакция на нерешенные социальные проблемы и симптом приближающегося обвала. «Стоит человеку стать жертвой Малого Облома, и весь агитпроповский мусор из его головы вылетает сам собой. Без всякой агитации и разъяснительной работы. Причем, не только у него самого. В той же Кондопоге мозг прочистился у весьма значительного числа горожан, для которых жертвы чеченской резни — не родственники, не знакомые, а всего лишь земляки. Более того, отозвались соседние Петрозаводск, Олонец и совсем не соседние Санкт-Петербург и Тольятти. Круги на “народной воде” расходятся далеко. И чем более дикий и трагический Малый Облом случается в поле зрения людей, тем круги отчетливей и шире». Ни тотальный контроль над информационным полем, ни полицейские меры сдерживания Кремлю не помогут: люди научились прорывать информационную блокаду и накапливают опыт протестной самоорганизации в условиях коммерческо-полицейской деспотии. «А тем временем, как грозовое облако, на нас надвигается Большой Облом» — падение цен на нефть. «Накроет ли нас в ближайшее время Большой Облом, или Малые Обломы “перейдут из количества в качество” — в любом случае “инерционный сценарий” не будет реализован. Сознание людей изменится. И изменится резко. Даже если власть благополучно проскочит выборный цикл, это будет пиррова победа: “новая старая власть” в глазах людей, которым навязали роль безгласных статистов, не будет обладать даже тем зыбким авторитетом, который у нее есть сегодня». В момент кризиса власть будет браться снизу, силой, явочным порядком, как постоянно действующий народный сход, как «власть народного доверия». А потом люди будут просто ставить «вертикаль» перед фактом: вот наша власть, которой мы доверяем! Можете забирать своих взяточников в погонах и без, — нам они без надобности. И это, конечно, будет не фашизм, а просто желание людей жить нормально, самим определять параметры своей жизни. «Право жить и защищать себя от преступных посягательств (любого рода) — это естественное право человека, не нуждающееся ни в оправдании, ни в санкции». «Собственно, содействие всему этому главное направление деятельности реальной оппозиции. При этом спусковым крючком для народного протеста может стать что угодно — любой Малый Облом (любое нарушение законных прав граждан, любая трагедия, происшедшая по вине власти), который способен вывести людей из подчинения, подтолкнуть их к тому, чтобы попытаться взять свою судьбу в свои руки. Каждая такая ситуация — реальный шанс для оппозиции доказать свою нужность людям, реальный шанс повлиять на будущее страны. Власть не просят — ее берут. Если при этом мятежный регион поднимает знамя отделения — это нормальный инструмент политической борьбы за право (законное право!) не быть “терпилой”, в условиях, когда Центр ему ничего другого предложить не может и не хочет. Только и всего. В этих условиях право называться “Россией” автоматически переходит к “мятежникам”. Вот

сколько будет пятен или точек на карте, где люди отказались подчиняться кремлевским баскакам и стали сами хозяевами своей судьбы, столько фрагментов России и имеется в наличии. Все остальное — “территория, временно оккупированная кремлевско-газпромовской ОПГ”... Нет ни малейших сомнений в том, что самоуправляемые русские земли неизбежно объединятся на конфедеративных или федеративных (второе вероятнее) началах в единое пространство». Далее Голышев, впрочем, уточняет свою версию: «Разумеется, картина “России тысячи флагов”, срastaющей на новых, справедливых основаниях, — как из самоуправляемых штатов в свое время срослись США... — красивая утопия. А что будет происходить в реальности, если хотя бы в нескольких регионах громко прозвучит призыв “Отделяйтесь!”? Да ничего особенного. Просто “вертикаль” развалится. Путин убежит в благословенную Германию в женском платье. Дерипаска уедет в Нигерию — управлять заблаговременно прикупленным алюминиевым заводом. Вексельберг с яйцами — в ЮАР, поближе к вложенному в тамошние рудники миллиарду. А Россия получит шанс отстроиться заново. По-человечески». Голышев сожалеет, что деморализованная армия не способна взять власть у «руководителей-бизнесменов» и передать ее народу (как в Тайланде). Едва ли вероятен и венгерский вариант бескровной революции. «Массовый ненасильственный протест. Власть смиряется с неизбежным, собирает чемоданы и уходит. Великолепно! В России, понятное дело, все будет несколько иначе. Наверняка нынешняя власть попытается подавить первые всполохи карательными операциями, которые будут проводиться “с максимальной жесткостью”. Собственно, именно на этот случай у Путина и припасен целый выводок “Героев России” из солнечной Чечни... У нас будет кроваво и страшно. Но... длиться все это будет недолго — ровно до того момента, когда путинская гвардия, укомплектованная чеченскими боевиками, начнет нести ощутимые потери от вооруженного населения, решительно отказавшегося от позорной роли “коллективного терпилы”». Заканчивает Голышев призывно: «Мы ж с вами плохо живем. При погашенном солнце. Сами себе не рады. Чуть что шевельнется в кустах — накидываем сачок. “Лишь бы не было войны!” А почему, собственно? Не слушайте вы дураков, набитых грязной ватой. Ломайте придуманные ими шлагбаумы и шпингалеты. Не бойтесь!»

Неизбежность смены власти Голышев акцентирует в статье **«Февральский пакет»** (Каспаров.Ру, NaZlobu.Ru, 14 ноября). «В принципе, протестная активность сегодня — вещь совершенно естественная. Глупо наказывать себя воздержанием, когда кремлевская рыхлая жопа так настойчиво просит пинка. Пинать ее можно и нужно. Важно не делать этот незамысловатый элемент главным номером своей обязательной программы. Все равно крушение путинщины случится в момент, который мы не в силах не только существенно приблизить, но и элементарно предсказать. А потому наши светильники должны быть всегда снабжены горячим маслом. Когда неизбежное случится, мы, как Мольтке в первый день войны, прикажем адъютанту распечатать заранее заготовленный пакет с инструкциями и без помех досмотрим причитающиеся нам сны. Что должно быть в пакете? Ни мало ни много, четкая последовательность действий, результатом которых должна стать иная политическая система, исключаяющая повторение путинщины».

Программная статья **Станислава Белковского «Национал-оранжизм как стратегия русского возрождения»** (АПН, 2 ноября) определяет перспективы оппозиции. Начинает он с того, что сам термин «национал-оранжизм» придумали «быстроглазые мальчишки, обивающие пороги околопрезидентской бюрократии в поисках моментальной славы». Но «если разобраться, то национал-оранжизм как он есть, в его первозданном значении-понимании, — единственно возможная стратегия смены власти в России и трансформации нашей страны. Стратегия, которая может и должна быть воплощена в 2007–2008 годах». По аналогии с Украиной «национальное возрождение + справедливость + свобода — на этой триаде и должна быть, и будет построена программа объединенной российской оппозиции в 2008 году». При этом «стратегия русского национал-оранжизма — это смена власти без революции, с обеспечением символической преемственности между следующим поколением правителей и нынешним местоблюстителем кремлевского престола Владимиром Путиным». Выписывая длинный счет режиму, Белковский утверждает: русский национализм — ядро национал-оранжизма. В отличие от многих, он считает, что всплеск русского национализма — не кремлевская провокация, а вполне естественная защитная реакция русского-российского организма на затянувшуюся, почти двадцатилетнюю эпоху национального унижения. «В первой половине текущего десятилетия казалось, что с периодом национального унижения покончит Владимир Путин. Этого не случилось. Унижения лишь усугубились, а ожидания и надежды разбились о скверный анекдот “Пятой империи”, символы которой — Рамзан Кадыров и Ксения Собчак на гламурной кокаиновой вечеринке. Русский национализм возрастает объективно, и потому он неостановим. Вопрос лишь в том, станет ли этот национализм созидательной силой или разрушительной». Белковский призывает не бояться ДПНИ, это «сила европейского выбора». «Ведь идеи и лозунги борьбы против нелегальной иммиграции становятся все популярнее, больше того, — всё неизбежнее в Европе. В том числе — в контексте цивилизационного кризиса “страны святых чудес”». «ДПНИ, безусловно, претерпит еще массу трансформаций и едва ли сохранится в нынешнем виде. Но националистические силы в процессе транзита власти в 2007–2008 годах сыграют большую роль — в этом сомневаться не приходится».

Более критично настроен по отношению к радикальному оппозиционному национализму **Юрий Коргунок («Сон политического разума»: «Газета.Ру», 13 декабря)**. Сегодня мы «переживаем фазу расслабления, когда люди, готовые отвечать за себя, оказались в положении чуть ли не изгоев, зато в героях ходят те, кто внушает обществу: “Мы ни в чём не виноваты, это всё другие — либералы, олигархи, евреи, чёрные, Штаты...” Расплата рано или поздно последует, и платить будет не каждый за себя, а все вместе за каждого». «...расслабление опасно: погружаясь в личную жизнь, общество частью распадается, частью уходит в своего рода подполье. Что собой представляет “человек из подполья”, рассказал Достоевский, а какие в подполье водятся твари — генерал Григоренко». Отваживая общество от участия в политической жизни, подменяя последнюю примитивной пропагандой, власть вытесняет значительную часть политики в это самое подполье, где впоследствии и вырастают монстры с весьма неприятными манерами. Когда политика в подпо-

лье, вольготнее всех себя чувствуют радикальные националисты. Ведь в основе их идеологии не что иное, как потакание низменным страстям, поощрение подленького желания обвинить в своих бедах другого. И удивительно ли, что самым популярным из националистических объединений в последнее время сделалось Движение против нелегальной иммиграции. В сущности, ДПНИ безразлично, какой перед ним иммигрант, легальный или нелегальный, и иммигрант ли вообще. Главное — он другой, и его можно сделать козлом отпущения. Загнав политику в подполье и расшевелив националистический гадюшник, власть, похоже, сама не знает, что теперь делать.

Наконец, **Кирилл Фролов** в статье «**Эрзац-национализм как либеральная провокация**» на сайте «Сегодня.ру» (30 октября) утверждает, что Русский марш «создает впечатление именно либеральной провокации, целью которой является замазать весь русский национальный дискурс коричневым цветом, маргинализировать его и закрыть эту тему в публичной политике». Русский марш будет использован «для дискредитации чрезвычайно важного для русского самосознания праздника 4 ноября». Далее Фролов дает набросок альтернативной провокаторам «программы политического имперского мессианского русского национализма, национализма духа и почвы». Это воссоединение разделенного народа, воссоединение расчлененной Исторической России. Ликвидация т. н. «национальных республик» в составе России. Создание Российско-Белорусского Союзного государства. Поддержка борьбы русских земель Донбасса, Новороссии и Крыма против «оранжевой» власти на Украине, признание «непризнанных» республик и, прежде всего, русского Приднестровья, введение в школах предмета «Основы православной культуры» на федеральном уровне, как важнейшей составляющей идеологии абсолютного суверенитета России, открытие федерально-го православного телеканала. К этому автор присоединяет и следующие требования: «Возвращения исторического облика московского Кремля и Красной площади. Удаления одиозной мумии палача России. Восстановления Чудова и Вознесенского монастырей Кремля и других московских святынь. Возвращения Церкви православных храмов по всей стране». «Нам нужен класс национально и православно мыслящих бизнесменов, таких как преп. Серафим Вырицкий, который до монашества был крупным пушным торговцем, кормившим весь бедный Петербург. Русские монастыри были центрами и умной молитвы, и национальной мысли, и технологической модернизации — первая русская ГЭС появилась на Соловках. Поэтому ставка на ученое монашество, которое будет подлинно национальной интеллигенцией, в противовес пораженческой «образованщине» и дегенеративным черепомерам, оправдана, это надежда Церкви и нации». «...мы государственники, а не конформисты. Мы не намерены терпеть либерально-пораженческое и антицерковное лобби во власти». На счет этого лобби Фролов записывает козни против «нашего союзника» Лукашенко. «Мы не намерены терпеть борца с православной традицией Фурсенко, и еще много чего и кого не готовы, и не будем терпеть. Но при этом мы понимаем, что русские без Церкви и государства не организуются. Понимаем и то, что между Третьим Римом и Третьим Рейхом нет и не может быть ничего общего. Это онтологический, религиозный и политический факт».

Империя как проблема

Националист **Александр Белов** в статье «**Имперский марш**» (сайты АПН, «NaZlobu.Ru», 13 ноября) утверждает, что давний и жестокий спор имперцев и националистов — искусствен: «сами основания спора я считаю надуманными, а конфликт как таковой — искусственно навязанным и препятствующим достижению нашей главной общей цели, а именно — полной политической победы патриотических сил в России». «Российской Империи не существует». Последний имперский проект на этой части суши прекратил свое существование 15 лет назад. Российская Федерация — это не империя, а обломок (пусть и гигантский) рухнувшей сверхдержавы под названием СССР. РФ — классический пример транзитной, переходной государственности, страны, которая уже рассталась со своим прошлым, но еще не определилась с будущим и даже настоящим. Защищать империю, которой нет, невозможно. Империю можно лишь строить, созидать заново — как из древних обломков, так и из новых камней. Да, у России — имперская судьба. «Русские не являются и никогда не будут мелкобуржуазным народом, чьи амбиции ограничены стабильным приростом скудного материального благосостояния, медленным улучшением частного “квартирного мирка”». Русское сознание неизбежно, фатально тяготеет к предельному и запредельному, а значит, русские обречены на экспансию, на расширение границ русского мира. И потому любая государственность, которую русские будут строить, так или иначе окажется Империей. Путь имперского возрождения детерминирован русской историей, нашей национальной психологией и потому безальтернативен». Но кто явится субъектом имперского возрождения? Методом исключения автор приходит к «нехитрому выводу: субъектом имперского возрождения может быть только русский народ. Русские». «Но, чтобы возложить на себя бремя новой имперской миссии, русские должны сначала стать самими собой. “Вспомнить” себя. Вернуть самоощущение нации, единой неразрывной общности людей, связанных не просто территорией, языком и культурой, но — общей судьбой и готовностью за эту судьбу бороться всеми доступными способами и средствами. Необходимой предпосылкой восстановления Империи является русское национальное возрождение. И возможно это возрождение только на путях русского национализма. Невозможно “перепрыгнуть” из лишенного четких государственных форм безвременья в Империю, не пройдя сначала путь русской национальной самоидентификации, не осознав и не признав, что у нашей будущей общей Империи может быть только один народ-учредитель, и народ этот — русский. Что несколько не угрожает другим коренным народам России, чьи права и интересы, политические и культурные, будут надежно защищены законодательно закрепленным статусом национальных меньшинств».

Михаил Диунов в статье «**Имперский опыт для новой России**» на сайте «Новая Политика» (31 октября) сетует на отсутствие внятной национальной политики в современной России. Как же «сохранить целостность и мощь нашего государства»? Автор призывает учиться у Российской империи, которая не могла справиться только с поляками и евреями. А остальные сидели смирно, потому что на их традиции никто не посягал, «национальные

окраины страны жили так, как их устраивало, и просто не имели никаких основ для недовольства». Вдохновляясь этим ветхозаветным образцом, Дзюнов дает простодушные советы в духе времен очаковских: вместо стимулирования трудовой миграции улучшать условия и оплату труда, привлекая на работу местных жителей, а число трудовых мигрантов всячески сокращать; создать условия, позволяющие национальным регионам обеспечивать работой свое население; вообще миграцию с национальных окраин надо всячески ограничивать (например, ценом оседлости, который будет ограничивать приезжих в возможности участия в выборах, созданию бизнеса); давать возможность выхода агрессивным инстинктам малоцивилизованных народов через армию (создание национальных частей из воинственных жителей Кавказа, но только с исключительно русским командованием всех уровней, в формате, подобном формату Иностранного Легиона).

Нацбол **Эдуард Лимонов** («Долой Византию!»: «Грани.Ру», 22 ноября) интерпретирует нынешний режим как византийский по духу. «Как все лгут поговору, вся эта византийская сволота, делая вид, что не лгут! Старики лгут привычно, молодежь вот только не сразу лжи обучается. Самые честные у нас подростки. Все остальные — сволочи! Надо же, как наши византийцы живо приспособили выборы под себя, как жулики, открывшие казино! Под столом, где рулетка, нужный электронный магнит приспособили, датчик, счетчик — и выигрывают всегда. Сделали демократии ослиные уши. Византийцы все профанируют, все у них будет опорочено, изгажено, оскорблено. Дешевле на самом деле было бы не жульничать, дать волю естественному ходу вещей. Но как же без этого: без лжи не будет стоять Византия. Ведь если устроить свободные выборы, в ту же Госдуму попадут свободные люди, среди прочих те же нацболы будут избраны — какие же речи зазвучат в российском парламенте тогда!» Далее Лимонов дает примеры византизма и провозглашает: России нужно, «чтобы рухнула Византия. Чтобы общая ложь, круговой порукой связывающая страну, наконец издохла».

Либерал **Семен Новопрудский** в статье «**Пролетарский империализм**» («Газета.Ру», 13 октября) констатирует: «Запрос на империю в народе очень силен. Населению страны, веками развивавшейся исключительно за счет присоединения новых земель, территории до сих пор не хватает, особенно после распада СССР». Но... «С одной стороны, большинство населения в той или иной форме согласны с идеей “Россия для русских”. То есть многонациональность страны на бытовом уровне их, мягко говоря, напрягает. С другой, это же самое большинство (в том и беда, что “это же самое”) готово присоединить территории с абсолютным или относительным преобладанием представителей тех народов, от которых наши бытовые империалисты хотели бы Россию избавить». «Это раздвоение национального самосознания является неоспоримым доказательством отсутствия в России исторической нации, российского народа как такового». То, что живет в головах большинства россиян, — это код заведомого аутсайдерства страны, фундаментальный мировоззренческий барьер на пути нормального развития России. «Если учесть, что в экономическом поле у народа точно такое же раздвоение сознания (ненависть к частной собственности у других при несомненном желании обладать ею), мы получаем законченную картину

национальной трагедии. Отсюда у нас такой президент и такой парламент, такие дороги и такой бизнес, а главное — такая неизменно низкая цена отдельной человеческой жизни». «Ведь что такое “пролетарский империализм”? Это восприятие других народов как поставщиков территорий, а самих людей, на них живущих, — как мусора, подручного материала, иногда как нежелательного конкурента в борьбе за место под солнцем, которого можно победить не умом и талантом, а силой, “по национальному признаку”, уповая на откровенно фашистскую риторику и фашистские методы воздействия».

Похоже формулирует проблему главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» **Фёдор Лукьянов («Мелкодержавный шовинизм»:** «Газета.Ру», 26 октября). Он, однако, рассуждает скорей о политике властей. «Антигрузинский поход Москвы убедительно продемонстрировал, что имперских перспектив у России нет. Политика, нацеленная на возвращение или укрепление влияния, требует использования обширного набора инструментов, причем применение кнута и пряника должно быть тщательно сбалансировано. Метрополия не может вязаться в полноценную, серьезную перепалку с бывшей колонией, ставя себя тем самым на один с ней уровень. Она по определению выступает с позиций заведомо более умного, искушенного и великодушного (во всяком случае внешне) старшего брата. Великая держава не имеет права рассматривать несопоставимо более слабую страну как реального противника и подчинять свою политику задаче его наказать. Наконец, империя заинтересована в сохранении и расширении своего присутствия — политического, экономического, культурного, психологического. Со всех этих точек зрения Россия проводит антиимперскую линию». Далее Лукьянов показывает, что грузинский режим только окреп в результате российского наката. К тому же Россия, ратуя за признание Абхазии и Южной Осетии, не знает, что с ними делать дальше. «Во время традиционного ежегодного общения с народом Владимир Путин, отвечая на вопрос выходца из Абхазии, сказал, что Россия не заинтересована в ее присоединении, поскольку и без того является самой большой страной в мире. С учетом усиливающегося неприятия кавказцев в российском обществе, а избыток инородных элементов практически официально признан серьезной проблемой, такое присоединение действительно выглядело бы странно». В целом поведение России — «это не политика империи — бывшей или будущей. Это скорее поведение национального государства, находящегося в подростковом возрасте и страдающего разнообразными фобиями. Пытаясь самоутвердиться, прежде всего в собственных глазах, оно идет по пути наименьшего сопротивления».

Инцидент с Грузией вызвал и попытку оценить его в контексте имперской политики. **Станислав Белковский** увидел здесь (а также в перипетиях отношений с Белоруссией) неготовность России к принятой на себя имперской роли (тракуемой как волевой натиск) и написал памфлет **«ИМПЕРИЯ № 6, или крестовый поход лакеев»** (ЕЖ, 2 октября). «Похоже, российское имперское возрождение по-путински достигло своего апогея». Это выразилось в том, что об нас вытерли ноги Саакашвили и Лукашенко. Они оба «про сегодняшнюю Россию с её банно-прачечным имперским

пиаром тоже кое-что понимают. Больше того: они понимают главное. Что сегодня у власти в России находятся никакие не политики, одержимые идеей национального будущего, а обыкновенные прибалтанные бизнесмены, вступившие к тому же в стадию ускоренной легализации всего праведно нажитого на Западе». А идеологические холоу возбудились и кричат о наших победах. «Почему они так поступают? Из страха? Скорее нет — не так уж и страшна современная российская клептократия. Не Сталин, чай, да и не Брежнев даже. За деньги? Да, но не только. Им действительно очень нравится быть лакеями при Владимире Владимировиче Путине. Ведь Путин — примерно такой же, как они. Точное воплощение наивысших ценностей 1990-х годов. Средних жуликоватых способностей шустрый человек, просто оказавшийся в нужное время в нужном месте. И на этом фарте построивший частную доктрину морали и добродетели». «Для них Путин — настоящий царь-освободитель. Он освободил их от главной элитной обязанности — отвечать за судьбу страны. Тратить жизнь на обустройство будущих поколений». «В кремлевском крепостном театре продолжается представление популярного водевиля “Империя № 6, или История молодого лакея, волею благодатного случая избранного самодержцем”. Актеры холопского звания стараются четко выговаривать текст и притоптывать строго в такт. Посмотрите на барскую ложу — там довольны, господин герой улыбается!»

Дмитрий Верхотуров в статье «Друзья становятся недругами?» (АПН, 20 октября) предостерегает: России в СНГ грозит полная изоляция. Конец 2006 года ознаменовался резко ускорившимся процессом деградации этой организации. Теперь к числу уклонистов от дальнейшего «сближения» с Россией примкнул даже профессиональный друг России — президент Беларуси Александр Лукашенко. Он правильно оценил действия России, которыми руководит «Газпром»: требование отдать «Белтрансгаз» под угрозой энергетического удушения белорусской экономики равносильно аннексии Беларуси Россией. В рамках СНГ давление на Лукашенко привело лишь к тому, что Беларусь пополнила коалицию стран, которые очень недовольны политическими методами России. Кроме того, Беларусь волей-неволей переориентируется на ГУАМ. «Заручившись поддержкой ЕС и США, бывшие друзья, а ныне недруги России в СНГ смогут делать с Россией практически все, что пожелают. Вот итог политики “энергетической империи”».

Интеллигенция

На сайте «ПОЛИТ.РУ» был затеян разговор на тему «Интеллигенция и власть в современной России». В жанре интервью высказались Сергей Менделевич, Дмитрий Быков. Интерес вызывает мнение **Александра Архангельского** («Стране необходима новая модель воспроизводства моральных лидеров»: 19 октября). Моральный суд, духовная рефлексия — этим сегодня занимаются уже не интеллигенты, а публичные интеллектуалы. Не получается ли, что интеллигенция добровольно снимает с себя эти полномочия? Способно ли сословие интеллектуалов, которое должно прийти на смену интеллигентам, эту задачу решить? Кто будет спрашивать с общества? Кажется, что Церковь. Хотелось бы, но сегодня Церковь как социальный

институт пытается больше воздействовать на государство, нежели на общество... Например, мы сейчас оказались в ситуации, когда у нас нет субъекта, нет института, который может высказываться по такому вроде бы частному вопросу, как введение православного курса в школе. У нас нет экспертного сообщества, которому мы бы доверяли. Нет общественного согласия по тому, к чьему мнению мы обязаны прислушиваться, нет современного Лихачева, которому интеллигенция делегировала право высказываться от имени сословия в 70-х. Есть потребность в моральных лидерах, но нет условий для их появления. Потому что нет никакого единого сообщества. Поэтому движение будет идти через кризис. В личном качестве люди культуры будут сохранять возможность претензии на роль морального лидера. Ведь эпоха униженности писателей и киношников, театралов уже позади. Сейчас статус человека, пишущего книги, резко возрастает. Писать книги становится престижно. Государство сегодня слишком меркантильно и озабочено прежде всего доходностью, а не идейностью. Долго так продолжаться не может. А когда будет сбой, важно, чтобы на арену вышли люди, имеющие неполитическую легитимность. Мы знаем, как шестидесятники, получившие власть на короткое время в восьмидесятые годы, эту власть растратили впустую. «Так что мы вскоре увидим, готовы ли современные профессиональные сообщества, пришедшие на смену единому телу русской интеллигенции, — готовы ли они повторить те подвиги, которые совершила интеллигенция, или они готовы повторить только ее ошибки».

История и статистика

Дмитрий Травин в «Звезде» продолжает писать летопись-историю современности (**«Пореформенная Россия: от расцвета до отката»**); получается нетривиально и увлекательно. В №10 — «2001: синдром сумасшедшей кошки. 2002: Норд-ост с запахом смерти», в №12 — «2003: Борьба без правил. 2004: Вся власть Кремлю!»

«Новые Известия» 10 октября дают такую мрачноватую статистику: Россия занимает второе место в мире после Литвы по количеству суицидов. Ежегодно в нашей стране совершают самоубийства около 60 тысяч человек. При этом частота суицидов среди мужчин примерно в 6 раз выше, чем среди женщин. За 15 лет покончили с собой 800 тысяч россиян.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

«Письма с того света» — это главы из подготовленной для одного из российских издательств книги Марка Копелева, известного художника и фотографа, живущего в Нью-Йорке. Книга, на наш взгляд, интересна яркими, колоритными зарисовками жизни нашей тамошней эмиграции, которые во многом обладают достоинством ценных документальных свидетельств. Книга может помочь российскому читателю, мало знакомому с этой жизнью, составить себе достаточно реальное представление о том, как ищут и находят себя в американских условиях наши бывшие соотечественники. Книга готовилась для издания с фотографиями — их мы, естественно, не даем, ограничившись только текстом. О себе же Марк Копелев рассказывает сам, так что и обычная наша биографическая справка об авторе в данном случае опускается.

Марк КОПЕЛЕВ

ПИСЬМА С ТОГО СВЕТА

С чего же начать?

С того, как возникла идея этой книги?

Или с того времени, когда я начал заниматься фотографией?

А может, вообще с момента моего приезда в Америку?

Да, пожалуй, это будет правильной всего.

В ладье Харона

Вначале о себе.

Марк Копелев...

Написал свое имя и задумался: а кто же он, собственно, такой, этот Марк Копелев? С какой такой стати читатель, досыта накормленный различными мемуарами, воспоминаниями, биографиями должен открывать еще и эту книгу.

М-да-а-а... Хороший вопрос...

В настоящее время здесь, в Америке, я — портной. Говорят неплохой. Работаю в Метрополитен-опера, шью костюмы для звезд мировой оперы. В их числе — Доминго, Паваротти, Атлантов, Хворостовский, Крофт, Хеппнер. Что-то там такое делал однажды для рок-звезды первого эшелона Дэвида Боуи, который, видимо из соображений престижа, решил заказать костюм в Метрополитен-опера. У звезд свои игрушки...

Но портным я себя не считаю. Это — *for living*. Этим я зарабатываю хлеб насущный.

Когда-то давным-давно, тысячу лет назад, в другой жизни, в другой «Перевернутой Стране»¹, я был кинорежиссером-документалистом. Профес-

¹ Термин «Перевернутая Страна» взят из романа И. Ефимова «Седьмая жена».

сия в условиях тотальной цензуры, может быть, и не из лучших, но и, прямо скажем, не из худших. В конце концов, вся жизнь советского человека была подцензурна. Только каждый осознал и сталкивался с этим в разной степени. Так что профессию свою я любил, как любят изнасилованную бандитами жену, — с нежностью и отвращением.

Не буду пока вдаваться в причины, почему Родина-мать, тщательно пережевав, выплюнула меня в эмиграцию, скажу только, что в США с режиссерской профессией мне пришлось распрощаться. Эта профессия требует хорошего английского языка. У меня такого нет. Да и документальное кино в российском понимании этого жанра здесь не в чести.

Пришлось начинать с нуля, с самого низа, с самой первой ступеньки социальной лестницы — убирать квартиры, таскать мешки, раздавать флаеры, ремонтировать дымовую сигнализацию, выполнять иную столь же «квалифицированную» работу. Поверьте, это болезненный переход. Каждый из нас привык **ТАМ** к определенному социальному статусу и вытекающему из него отношению окружающих. Все-таки профессия кинорежиссера всегда вызвала интерес, создавала иллюзию некоей исключительности и, соответственно, иного ощущения себя в жизни. Впрочем, это касается всех профессий. Наверное, поэтому бывшие инженеры говорят здесь, что они были главными инженерами, врачи — не менее чем заведующими отделением, а продавцы с ностальгией вспоминают, какими уважаемыми людьми были они и как их любили покупатели. Один бывший мясник, который никак не мог устроиться по своей, столь дефицитной там, профессии, сказал мне с тоской: «А знаешь, я САМОМУ Кобзону мясо рубил. Он мне билеты на свои концерты всегда в первом ряду давал...»

Человеку свойственно самоутверждаться через профессию.

Но Америка не терпит амбиций, основанных на прежнем опыте. Ты должен ежеминутно, сейчас, на любом месте доказывать, что чего-то стоишь. Того, кто увяз в прошлом, она снабжает пособием и оставляет наедине с его ностальгическими воспоминаниями. Людям творческих профессий сложнее во много, много раз, ибо творческие профессии целиком замешаны на амбициях.

Мне повезло. «Совок» подготовил меня к жизни в Америке. Когда меня вышибли с телевидения с убойной статьей «за идеологическую незрелость» и я не мог устроиться режиссером даже в захудалый жэковский кружок, а сторожем или кочегаром не брали по причине двух высших образований (до театрального института я окончил политехнический), мне пришлось искать работу, которой я мог бы заниматься, минуя бдительное око насквозь гбэшных отделов кадров. Шел 1985 год. Перестройка только начиналась, но извращенное советское сознание уже дошло до нехитрой мысли, что человек имеет право создать что-то собственными руками и продать этот продукт. Я научился шить. Для многих в то смутное время это был единственный способ не умереть с голоду и как-то содержать семью.

Ловя на себе сочувственные взгляды продавщиц, видимо полагавших, что у меня острейшая форма энуреза, я сотнями скупал трикотажные кальсоны. Из них я шил женские платья. Вызывая уважительное удивление окружающих, тоннами покупал женские трусы с начесом. Из них получались прекрасные пуловеры-фуфайки.

Это оказалось неплохим бизнесом. Зарабатывать я стал раз в десять больше, чем на телевидении. Хотя мне, бывшему режиссеру, с моими представлениями о престижной профессии стоять среди спекулянтов на новосибирской барахолке и торговать было мучительно стыдно. На первых порах. Потом привык и даже, встречая бывших коллег по бывшей телевизионной профессии, стал получать подленькое мазохистское удовольствие: «Вот, мол, полюбуйте, во что вы меня превратили!»

Глупость, конечно. Но правы, правы классики марксизма насчет бытия и сознания!

Перестройка потихоньку раскручивалась, и где-то к году 88–89-му наступило короткое время «покаяния». Бывшие сослуживцы, дружно голосовавшие за мое исключение из Союза журналистов и за увольнение с работы, вдруг вспомнили обо мне и сняли фильм, который так и назывался «Портной», где поведали миру *историю гонений меня несчастного*. Фильм этот на Первом Международном фестивале неигрового кино в Ленинграде завоевал кучу каких-то призов и был куплен несколькими странами.

Меня тут же кинулись восстанавливать во всех творческих союзах и даже предложили заплатить членские взносы за тот период, что я не по своей воле был вне этих славных союзов.

Однако я уже был другой. Три года вынужденного творческого бездействия и относительной финансовой свободы позволили мне отстраненно взглянуть на все, чем я занимался прежде.

Когда крутишься в этой соковыжималке, называемой телевидением, ближние ежедневные задачи закрывают дальние. Репетиции, съемки, встречи, обговоры, переговоры, записи передач, летучки, совещания, чтение сценариев, подбор образительных материалов, вызовы на «ковер», получение «клизм» от начальства, которое всегда знает, как надо лучше творить, «надувание щек», чтобы доказать миру собственную гениальность — все это не дает возможности остановиться и спросить себя: «*Зачем все это?.. Для чего? Во имя каких таких высоких целей?..*»

Я решил не возвращаться в клоаку, именуемую «Средства Массовой Информации». Мне уже не хотелось торговать собой на этой «ярмарке тщеславия», вариться в котле неудовлетворенных честолюбивых амбиций.

Но и заниматься швейным бизнесом в условиях рэкета и распределения сфер влияния становилось все труднее и труднее.

Я предпочел эмиграцию.

На новом берегу

Мне повезло. «Совок» научил меня полагаться не только на голову, но и работать руками.

Во время первого своего визита в НАЯАНУ² я не стал даже говорить, что я режиссер. Какая, к черту, режиссура, если ты не можешь связать двух слов по-английски!

² NYANA — Нью-Йоркская ассоциация новых американцев — организация, которая занимается устройством эмигрантов.

— Портной, — мужественно соврал я.

Дама, отвечающая за трудоустройство, облегченно вздохнула. Она, видимо, уже устала от художников, журналистов, режиссеров, писателей и прочих представителей никчемных профессий. Ну куда их устраивать?! Своих девать некуда. А тут ясно и понятно — портной. До возвращения в пещеры голыми люди ходить не будут.

— Будем подыскивать, — сказала она. — А пока учите английский, осматривайтесь.

И я стал осматриваться.

Целыми днями бродил я по Нью-Йорку и впитывал этот громадный, удивительный, противоречивый город. Я искал места, названия улиц, встречавшихся мне в романах Теодора Драйзера, Эптона Синклера, Синклера Льюиса, Скотта Фитцджеральда, Рекса Стаута, других американских писателей. Любовался небоскребами и церквями, восхищался грандиозными видами, открывающимися при пересечении улиц с авеню, подмечал уличные сценки — и хотелось снимать, снимать и снимать. Но я гасил эти мысли в себе, давил в зародыше, понимая всю несбыточность подобных мечтаний. Я профессионал и знаю высочайшие требования, которые кино предъявляет к качеству изображения. Нужна аппаратура, нужны деньги. Большие деньги. А их у меня не было, и ожидать, что будут в достаточном количестве, не приходилось.

Поскольку богатой бабушки у меня не было, и наследства не предвиделось, я ходил по гарбиджам³, собирая старые телевизоры, которые зажавшиеся американцы выбрасывают на помойку, даже когда в них просто перегорел предохранитель. Зачем вникать, если купить новый дешевле, чем отремонтировать старый. Кое-как я приводил их в порядок, они опять ломались, я выбрасывал, подбирал другой, пока наконец мне это занятие не надоело и я не решил купить нормальный телевизор. Установив пахнущий свежей краской «Sharp», я стал переключать каналы и вдруг на экране увидел *себя*. Вот уж действительно — нарочно не придумаешь!!! По 13-му нью-йоркскому каналу PBS показывали фильм «Портной».

Ах, как приятно на чужбине увидеть родное лицо!!!

На следующий день мне позвонила дама из НАЯАНЫ и, очарованная моей нечеловеческой скромностью, укоризненно сказала:

— Ну почему же вы скрыли, что вы режиссер? Вы *VIP* (Very Important Person). Вас вчера целый час показывали по телевизору. У нас в Америке это происходит только с очень неординарными людьми. Это ведь меняет дело. Конечно же, мы попытаемся устроить вас по вашей профессии.

Надо сказать, они действительно стали подыскивать работу, связанную с режиссурой. Мне назначили «*appointment*» на кафедре кино Нью-Йоркского университета.

До сих пор вспоминаю эту встречу со стыдом и содроганием. Я потел, пыхтел, пытался выдавить из себя какие-то английские слова и, видимо,

³ Место, куда выставляют ненужные вещи и мусор. Аналог российской помойки, но не помойка. Любимое место иммигрантов, где можно пожить-ся вполне приличными вещами.

произвел впечатление полного идиота. Хотя я и «VIP», но не настолько же, чтобы приставлять ко мне переводчика. *«В такой большой стране, как эта, таких, как мы, хоть жопой ешь»*. Возможно, людей с тонким художественным вкусом эта строчка Игоря Иртеньева может слегка и покоробить. Но сказать точнее, что я думал по поводу этого интервью, невозможно.

Раздраженный и злой, я вернулся в НАЯАНу и сказал, что ничего общего с моей прежней профессией иметь не хочу, что меня тошнит от нее, а вот есть у меня профессия, нужная Америке, — портной, и если они хотят помочь, то пусть в этом направлении и работают, а нет — и без них обойдусь.

Но, видимо, фильм «Портной», сильно впечатлил доверчивые американские души, воспитанные на рекламе кока-колы и поп-корна, и у них где-то там замкнуло, что, во-первых, я — театральный человек, а во-вторых, — шьющий. И они позвонили в Метрополитен-опера.

В понедельник 13 мая 1991 года, через два с половиной месяца после прибытия в Соединенные Штаты, я уже работал в одном из лучших театров мира. Вот и верь после этого в приметы!

Это была большая удача. Помимо самых высоких в швейном бизнесе зарплат, была еще бесплатная медицинская страховка для всей семьи, а также трехнедельный оплачиваемый отпуск. Довольно большая редкость для Америки — обычно отпуск 10 дней—неделя. А главное, работа эта была мне, как говорится, не «в лом» — я люблю работать руками. Ну и конечно, грело сознание, что шью я не какие-нибудь серийные джинсы или подштанники, а театральные костюмы. Все-таки ближе к прежней профессии.

Мог ли я, *«идеологически незрелый»* портной-самоучка, тряся самопальными портками на новосибирской барахолке, предположить, что все так повернется?

Обретение инструмента

Два года я кайфовал, пожиная плоды жизни в Америке при наличии хорошей работы. Каждый день, выходя из театра на омытый солнцем пятючок Линкольн-центр-плаза, глядя на флагштоки с развевающимися стягами, на паруса афиш, на фонтан, бьющий и зимой и летом подсвеченными струями, на благожелательных, всегда улыбающихся людей, на вежливых полицейских, я благословлял тот день и час, когда принял главное в своей жизни решение — покинуть безумную, непредсказуемую страну, где мне довелось родиться, вырасти и прожить большую часть жизни.

Но подлый вирус творчества где-то там, в глубине души, исподволь вершил свою работу. И я затосковал. Хотелось делать кино.

И вот однажды во время изготовления очередных штанов на Паваротти я вдруг задал себе вопрос: «А, собственно, зачем я приехал в Америку?»

— Что же ты, Копелев, — в приступе разыгравшейся неврастении вопрошал я себя, с грустью созерцая убойное произведение портняжного искусства, по размеру сравнимое только с танковым чехлом, — так и будешь заниматься *ЭТИМ* до конца жизни? Делай что-то с собой! Нет возможности снимать кино — пиши! Не получается писать — фотографируй...

Так, впервые, на пятидесятом году жизни, мне в голову закралась мысль о фотографии. Никогда прежде, если исключить кратковременное увлечение в седьмом классе, когда родители подарили мне фотоаппарат «Любитель» и я, отсняв пару пленок, забросил его за шкаф, фотокамеру в руках я не держал. Хотя, честно говоря, всегда хотел. Ведь, работая в кино режиссером, придумывая фильм, все равно мыслишь изображениями. В голове возникают какие-то образы, тональности, композиции, монтажные стыки, панорамы, световые решения, да и на съемочной площадке все время приходится заглядывать в глазок кинокамеры, выстраивая вместе с оператором кадр. Так что многое об изображении я уже знал.

И тут, как это часто случалось у меня в жизни, судьба подкинула шанс. Друг и коллега режиссер Яша Болотинский позвонил из Новосибирска и попросил купить ему хороший фотоаппарат.

Я купил.

Через несколько дней он опять позвонил и попросил повременить, так как он уже собрался в эмиграцию в Израиль. Сдать покупку в Америке — не проблема, но раз камера была уже в руках, я решил оставить ее себе.

После работы я бродил по Нью-Йорку и снимал этот невероятный город, в который влюбился с первого взгляда.

Небоскребы, улицы, рекламные — и тут же старые, запущенные здания бывших фабрик и сгоревшие пирсы; живописные «граффити» на стенах — и сюрреалистическую композицию: памятник Ленину, водруженный на крышу жилого дома перед громадными часами, время на которых перепутано и движется по совершенно непонятному алгоритму; вечно спешащих куда-то американцев; расслабленных туристов; безмятежных, ничем не озабоченных бездомных, наслаждавшихся счастьем свободы, лежа на тротуарах...

Сейчас многие вещи мне уже кажутся привычными и обыденными. Тогда же все было свежо и внове, а через видоискатель камеры вообще воспринималось совершенно иначе, чем простым глазом. Пространство расслаивалось, приобретало глубину и прозрачность, воздух сгушался, становился плотным, материальным. Казалось, Прошлое, Настоящее и Будущее застыли в этом воздухе. Да и само Время представлялось не потоком, а единой однородной массой, в которой все эти три его ипостаси присутствовали одновременно. Снятый кадр навсегда оставался в Настоящем, в то время как само событие уходило в Прошлое. Какие-то мимолетные происшествия, явления, полувзгляды, полунамеки, проходящие обычно мимо сознания, вдруг обретали значение, а это в свою очередь требовало осмысления и поиска их места в общей картине бытия.

Я стал задумываться: а чем же, собственно, занимается фотография? Почему в одном случае мы получаем *Фотографию*, а в другом — так, *обычную фотокарточку*, фиксацию какого-то события, имеющего значение только для того, кто нажал на кнопку? И что отличает одно от другого?

С пылом неофита я стал снимать все, что попадало в объектив. Я не расставался с камерой ни днем, ни ночью. Приходя на работу, я фотографировал своих коллег. Снимал звезд мировой оперы, пришедших в наш цех на примерку, хотя правилами Метрополитен опера это запрещено. Для того чтобы нажать на кнопку, надо получить разрешение в пресс-департаменте.

Причиной такого дурацкого запрещения является, по-моему, непримиримая позиция штатного фотографа Метрополитен-опера Винни Клоц, семидесятипятилетней резвой девушки в мини-юбке, напоминающей мне Охотника из пьесы Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». Выиграв единой призы за меткую стрельбу, он всю жизнь потом отстреливал тех, кто пытался к этому призу приблизиться. Вид фотокамеры в руках любого человека, появившегося в театре, действует на мадемуазель Клоц как красная тряпка на быка. Она тут же начинает брызгать слюной и зовет секьюрити. Эта естественная (лучше сказать — противоестественная) монополия позволяет ей безбедно существовать, продавая в магазинах Метрополитен-опера свои фотографии, по сравнению с которыми продукция тамбовского фотоателье может показаться шедевром Лувра.

Ну да Бог ей судья — не одна она такая.

Мне, пока я не обзавелся высококачественной съемочной аппаратурой, это не мешало. Но профессиональные камеры видны издали, и я сразу «попал под колпак». Несколько фотографий все же удалось тогда сделать, потому что сами «звезды» — ребята простые и с удовольствием фотографируются с восторженными почитателями в лице работников костюмерного цеха.

Для меня это было время, когда я определялся в своих фотографических пристрастиях. Я быстро понял, что снимать «великих» и «знаменитых» мне не очень интересно. Позже объясню почему. Пока же ограничусь тем, что скажу: жизнь города, жизнь простых людей мне была интересней. Запечатлеть миг, который через секунду станет прошлым, мимолетную улыбку девушки (*чему она улыбается?*), пассажиров метро с взглядом, направленным в пространство (*о чем они думают?*) босяка, спящего в корзине (*какие сны ему в корзине снятся?*), людей за столиками в кафе (*а дождь льет и льет, и уходить не хочется, а дома одиночество и холодная постель*).

Круг моего общения довольно быстро определился. Так уж устроено в жизни, что дружба или просто приятельские отношения чаще всего возникают с себе подобными. Писатели, поэты, художники, музыканты, режиссеры, журналисты, представители иных творческих профессий становились объектами моих фотонаблюдений. Я приходил в гости, фотографировал, а потом раздаивал эти карточки. А так как в эмигрантской среде собрались далеко не самые худшие представители этих профессий, то очень скоро мои фотографии стали появляться в журналах и газетах, в каталогах выставок по обе стороны океана, куда их передавали те, кого я снимал. То есть мои фотографии обретали свою жизнь в прессе без моего участия. Гонораров за них, естественно, не платили, да мне это и не было важно — на жизнь, как было сказано, я зарабатываю иным способом.

Последнее, кстати, сразу определило мое особое положение среди коллег-фотографов. Профессионал должен продавать свой труд. А продать его можно только там, где есть спрос и где за это платят. То есть на англоязычном рынке, который понимает, что производство фотографии стоит денег, и немалых. По статистике профессиональная фотография в Америке среди искусств занимает второе место по дороговизне производства после монументальной скульптуры.

Однако и конкуренция на этом рынке невероятная. Говорят, что только в Нью-Йорке около 150 тысяч профессиональных фотографов. Эмигрантские же средства массовой информации (да и российские, как впоследствии выяснилось) норовят воспользоваться фотографией «на халяву», а если вдруг по какой-то странной случайности и заплатят, то сумма не будет превышать 10–15 долларов. Учитывая, что пленка стоит 4–5 долларов, да проявка и печать в самой дешевой лаборатории — минимум 10 долларов, да камера, да объективы, да штативы, да фильтры, а полезный выход при большой удаче — 3–4 фотографии с одной пленки, а возьмут в результате одну, то получается, что фотограф на производство этой одной фотографии затрачивает куда больше, чем может за нее получить.

Редакторы русскоязычной прессы в эти меркантильные тонкости не вникают. Зачем, когда можно бесплатно опубликовать фотографию, которую им передал автор статьи? Ни до разрешения на публикацию, ни до согласования с автором фотографии они не опускаются. Незаконно? Ну и что! Пусть судится, если хочет. А кто же будет судиться из-за 15 долларов?! Это ведь и время, и опять же деньги, которых у газеты гораздо больше, чем у нищего фотографа.

При этом они весьма трепетно относятся к своим правам.

Несколько лет назад в Нью-Йорке, где русскоязычных газет и так более чем достаточно, возникла еще одна под названием «Курьер». Как известно, финансовая основа любой газеты — реклама, на деньги от которой издание и существует. Но рекламу надо заполучить. Для этого требуется высокое качество публикуемых материалов. Хозяева «Курьера» пошли очень простым путем. Они стали выдирать лучшие статьи и фотографии из других изданий и, таким образом, малой кровью создали весьма популярный в русскоязычной среде еженедельник. Читатель разбираться не будет, для него все просто — зачем искать разрозненную информацию во многих газетах, тратить деньги, когда вот она — в одной за 25 центов?

Прием этот в журналистике не новый, называется он — дайджест. Но если нормальный цивилизованный дайджест ссылается на источник, откуда взята та или иная статья или фотография, и оплачивает право публикации, то в данном случае всеми этими буржуйскими сантиментами голову себе никто не забивал. Учитывая также, что и цена была демпинговая (для сравнения, «Новое Русское Слово», которое пострадало больше всех, стоило в то время один доллар), издание это буквально за несколько месяцев выросло до ста страниц и стало самым популярным русскоязычным таблоидом, потратив деньги практически только на бумагу да покупку ножниц и клея. Правда, учитывая масштабы этого воровства, ножницы, видимо, приходилось покупать довольно часто.

Естественно, что все те издания, которые в своей практике мои (да и не только мои) фотографии пользовали на тех же основаниях, очень сильно возмутились, когда пиратские методы коснулись их самих. Объединившись (редкий случай столь дружной консолидации в нашей эмиграции), они подали в суд.

Чем закончилась склока, я сейчас уже не помню. За достоверность информации не поручусь, но, кажется, этот шустрый малый из «Курьера» просто

исчез, сорвав свой куш, а те, кому он передал газету (предполагаю, что родственникам или друзьям, как чаще всего бывает), от всего откристились и сказали, что знают, мол, ничего не знают.

Короче, все это кончилось пшиком. «Курьер» цветет и здравствует. Из чего следует, что российский бизнес, несмотря на все американские законы, вполне уютно чувствует себя и в Америке, успешно внедряя здесь свои.

Все это я рассказал, чтобы читатель понял ситуацию в американской русскоязычной прессе и положение фотографов, работающих на эту прессу. Да в общем, и фотографов-то этих — раз, два и обчелся.

Меня до поры до времени все эти финансовые расклады не занимали. Более того, я как ребенок радовался любой опубликованной фотографии, не без основания считая, что получаю бесплатный промоушн. Я ставил только одно условие: фамилия автора должна быть указана.

Такое, несвойственное представителям нашей эмиграции, бескорыстие снискало мне любовь редакторов русскоязычных изданий. Меня стали много и охотно публиковать.

И хотя в прессе появлялись в основном только портреты и репортажные фотографии, которые вообще, по моему мнению, в очень редких случаях могут служить свидетельством мастерства и таланта фотографа, я довольно быстро приобрел относительную известность в узком круге читателей русскоязычной прессы Нью-Йорка.

Почти сразу мой прежний киношный опыт дал о себе знать. Проблем с содержанием кадра, композицией, видением пространства, воздуха, с умением работать объективами, со светом у меня почти не возникало. Я сталкивался с этим еще в мою бытность режиссером. Зато возникли другие — связанные с экспозицией, выбором пленки, ее обработкой, печатью, выбором бумаг, проявителей и т.д. То есть с той стороной фотографического процесса, которая раньше меня не волновала — это была чисто операторская часть работы. А с операторами мне везло.

«Надо учиться», — решил я.

В Америке это просто. Есть деньги — учись где хочешь. Конечно, можно учиться и в том случае, когда денег нет. Существует система грантов, и их дадут, если ты имеешь право. Но я работал и прав этих уже не имел. В Америке хорошо быть или очень богатым, или уж совсем, совсем бедным.

Заплотив громадную для меня по тем временам сумму — 1000 долларов за семестр, я поступил в Нью-Йоркский заочный институт фотографии. Помимо чека, для зачисления требовалось представить и какие-то свои фотоработы, которых к тому времени у меня уже накопилось вполне приличное количество. Говорить об их качестве не буду, но, видимо, то, что представляли другие, было еще хуже, потому что я получил довольно лестный отзыв из института.

К числу достоинств, коими, как и любой человек, я, вероятно, обладаю, следует отнести умение более или менее объективно оценивать качество своих работ. Если я чувствую, что работа умеренна или недостаточна, то ни один самый восторженный отзыв не заставит меня считать, что я создал шедевр. И наоборот.

Однако не все так просто.

Фотография — такое искусство, где противоречивая и, я бы даже сказал, разрушительная тенденция заложена в самой основе. С одной стороны — это техническое творчество, с другой — художественное. Поскольку при технических экспериментах в фотографии для достижения нужного результата можно менять только один параметр, скажем температуру проявления, или время, или проявитель, или пленку, или бумагу — но всегда «или», а не «и», — то процесс этот предполагает характер определенного типа: организованный, скрупулезный, педантичный.

Художественное же творчество требует абсолютно противоположного. Нужны полет, раскованность, совершенно незакомплексованное мышление и даже, не побоимся этого слова, некоторое распридачество. Совместить в себе «педанта» и «распридачу» способны очень немногие. Моцарт и Сальери в одном флаконе — явление редкое. Не в смысле «гения и злодейства», этого-то как раз сколько угодно, а в смысле сосуществования «алгебры и гармонии». Живость ума и творческое нетерпение мешают серьезно заняться техникой, а скрупулезный педантизм убивает творческий порыв. Именно в этом внутреннем противоречии я и усматриваю довольно низкий в процентном отношении выход в художественной фотографии.

В Америке больше (да что там больше — в основном!) — технари, ибо низкое техническое качество здесь просто не проходит. А это плюс кушать тоже хочется, а стало быть, погоня за заказами, которая отнимает уйму времени и сил, а потом работа на заказ, точнее, на вкус заказчика, далеко не всегда изысканный, — все это творчеству не способствует. Поэтому, оценивая какую-либо фотографию, приходится делить восприятие на две части — оценку художественного качества и качества технического исполнения.

В принципе, одно без другого и не существует. Но если самый гениальный творческий замысел может быть скомпрометирован низким техническим уровнем фотографии, то высокое техническое качество изображения очень часто существует само по себе и зачастую ошибочно принимается за Фотографию. На самом деле это просто цветные или черно-белые картинки, общего с искусством фотографии имеющие только одно — инструмент, которым они выполнены. Пример тому рекламная Фотография. В большей своей части.

Итак, я поступил в Институт фотографии.

Мне прислали задание и инструкции по выполнению курсовых работ, кучу брошюр по разным разделам и еще массу всякой макулатуры. Все, заметьте, на английском языке. Вечерами, отработав целый день в Метрополитен-опера, я как проклятый сидел со словарями, пытаюсь перевести незнакомые термины.

Это была самая полезная часть моего обучения. Я хотя бы освоил терминологию.

Что касается самой Фотографии, то пользы тут не было просто никакой. Серьезных технических знаний институт мне не дал, а что касается творческой части, то те убогие рецензии на курсовые работы, которые они присылали, были просто смешны.

Получив пару отличных оценок за несколько первых курсовых работ, а также «Award of Merit» — диплом за лучшую студенческую работу года (а

на мой взгляд, так довольно посредственную), я понял, что делать мне там нечего, что деньги потрачены зря и что глубоко был прав Писарев, сказав: «Настоящее образование — есть только самообразование». Я решил, что фотографии нужно учиться приблизительно так же, как управлению автомобилем — курсы, конечно, хорошо, но мастерство дорожной езды приобретается только в процессе вождения.

Предмет моего фотографического исследования «русские американцы» — странная, говорящая на относительно русском языке, популяция, выведенная и воспитанная нашим любезным отечеством. Порода людей, в которых изначальный «совковый» менталитет причудливым образом мутировал в «американский», да так и застрял на полдороге.

А так как сам-то я приехал именно с этим «совковым» менталитетом и менялся по мере моей жизни в Америке, то динамика превращения «совка» в «полуамериканца» интересна вдвойне. Мне самому в первую очередь.

Тема эта объемна, причудлива, непредсказуема и в пределах одной книги абсолютно неподъемна. Но я и не претендую на лавры Тацита или Пимена. Мне ближе субъективный Вергилий.

И потому...

Потому — за мной, читатель! За мной по кругам этого Ада, имя которому — эмиграция.

Генисовские вечера

Жизнь нью-йоркской русской тусовки середины 90-х годов была чрезвычайно активна и, по моим наблюдениям, закручивали ее в основном три персонажа: Константин Кузьминский, Геннадий Кацов и Арон Каневский.

Все трое были яркими, талантливыми личностями, и вокруг них, как под мажорной высоковольной линией, создавалось энергетическое поле, привлекавшее к ним людей. О каждом из них будет отдельный подробный рассказ. Здесь есть и что показать, и над чем поразмыслить.

Это не значит, что не было и иных точек притяжения. Были. Но они носили, если можно так сказать, локальный, закрытый характер. Например, писатель Александр Генис два раза в год устраивал у себя дома party, куда приглашались знаменитости местного разлива, а также случайно оказавшиеся на этот момент в Нью-Йорке знаменитости залетные.

Иногда, видимо, приглашались кандидаты в знаменитости — ничем другим я не могу объяснить, что неожиданно пригласили и меня. Во всяком случае, моя приятельница Лена Сарни откомментировала приглашение следующим образом: «Видать, тебя заметили. К Генисам абы кого не приглашают...»

Конечно, можно было бы объяснить мое приглашение банальным желанием просто получить фотографии этих party, но эту мысль я сразу отбрасываю как недостойную. Во-первых, у многих присутствующих были при себе фотоаппараты, а во-вторых, постоянным гостем на этих вечеринках была Марианна Волкова, которая специализируется на съемке знаменитостей. Вряд ли для этой цели там нужен был еще один фотограф. Кроме того, версия Лены Сарни мне нравится больше, так как льстит моему самолюбию.

Я тогда только входил в нью-йоркскую жизнь, и на этих party мне удалось познакомиться со многими яркими представителями нашей эмиграции. И не только эмиграции — у Генисов, как было сказано, собиралась и местная художественная элита, и известные писатели, поэты, художники, режиссеры из метрополии, оказавшиеся в этот момент в Нью-Йорке.

Это были замечательные вечера. Надо отдать Саше должное: известная личность — как пикантный соус к изысканному блюду. Генис — прекрасный кулинар, многие читали его книгу «Русская кухня в изгнании», и мне, право, жаль, что в таком замечательном произведении отсутствует рецепт приготовления и этого блюда. Его party, которые случались дважды в год — на Хэллоуин и на Первомайские праздники, — стали важной и неотъемлемой частью жизни русского литературного зарубежья в Нью-Йорке благодаря именно такому подбору ингредиентов.

С кем-то у меня сложились дружеские отношения, с кем-то — нет. Принадлежность к одному кругу еще не гарантирует взаимной симпатии. Чаще наоборот — чем ближе узнаешь человека (особенно известного), тем большее разочарование он вызывает. С некоторых пор я стараюсь держаться подальше от знаменитостей, предпочитая читать их книги, слушать их музыку, смотреть их картины, не входя в близкий контакт. Это надежный рецепт от разочарования.

С годами мы вообще становимся менее способными на дружбу. Засовы жизненного опыта не дают распахнуться пугливой, много раз обманутой душе. Дружбой ныне в лучшем случае называется взаимная симпатия, которая иногда стучится и в наши, заполненные собой, сердца. Я, например, с великой нежностью отношусь к семье Беломлинских. Удивительно все-таки, как это так распорядился Господь, что в одной семье собралось столько талантливых людей. Вика — прекрасный писатель, дважды выходила в финал Букеровской премии. Миша — замечательный художник. Преклоняюсь перед этим человеком. Меня поражает, как он, проработавший всю жизнь в средствах массовой информации, сумел сохранить талант и порядочность в этом гадюшнике. Младшая дочь тоже художник и делает удивительные куклы. Старшая дочь Юлька... М-да... Дочь Юлька... Ну, о ней будет отдельный разговор.

Игорь Ефимов

С писателем и издателем Игорем Ефимовым мы также познакомились на одном из генисовских party. Тем, что я живу в Инглвуде, который очень люблю, я обязан Ефимовым. Однажды, когда Игорь и Марина уезжали в Питер по каким-то своим делам, они попросили нас пожить в их доме. Это называлось «пасти котов» (у Ефимовых в ту пору было два кота). После двух недель пребывания в доме Ефимовых мне, человеку сугубо городскому, так понравилась тихая жизнь в этом маленьком городке в пятнадцати минутах езды от Нью-Йорка, что мы купили дом именно в Инглвуде на соседней улице.

При первом знакомстве Игорь производит впечатление спокойного, замедленного и, я бы даже сказал, немного флегматичного человека. Ну, рыба, сами понимаете. Американских рыболовов можно смело считать Сизи-

фами наших дней. Рыбалка «по-американски» заключается в том, чтобы в результате долгого, нудного, многочасового сидения дожидаться, когда клюнет, подсечь, затем подставить сачок, вытащить рыбу на берег и после всей этой мороки бросить ее обратно в воду.

Ну? Как вам это нравится? Чем не «сизифов труд»? Но тот-то пер камень на гору за какие-то провинности перед богами, а эти по собственной воле. Когда Игорь приходит без рыбы, он уверяет, что как законопослушный гражданин именно таким образом и поступил. Правда, изначальный русский менталитет дает иногда атактистические всплески. Благодаря этим рецидивам на столе в нашем доме изредка появляется уха, которой Игорь по-соседски угощает нас.

Впрочем, я опять отвлекся.

О чем это я?

Ах да! О серьезности Ефимова. Безусловно, все это есть. И фундаментальность, и замедленность. Не зря же, по утверждению Сергея Довлатова, питерские друзья называли его «утюгом».

Но это первое впечатление обманчиво. Стоит только затронуть интересующую тему, Игорь начинает фонтанировать, как подожженная нефтяная скважина где-нибудь на прииске в холодной Тюмени или на Аляске — среди снега и ледяного спокойствия вдруг пламя и дым столбом. Его невозможно снимать одним кадром, потому что в каждом последующем он другой. Здесь более уместен кинематографический принцип показа.

Игорь замечательный рассказчик. Он не просто говорит — он играет спектакль. У меня каждый раз такое ощущение, что, рассказывая, он проигрывает сцены из своих будущих романов. Мне жаль, что эту легкость, юмор, огонь он как бы приглашает, когда берется за перо. Смешным боится показаться, что ли?.. В этом двойственность его таланта — фундаментальность серьезного историка и философа находятся в непрерывном борении с легкостью раскованного художника.

Познакомились мы с ним, как было сказано, у Гениса на «Хэллоуин party».

Почти все гости были в костюмах, как принято в этот день всеобщего американского безумия. Американцы словно сходят с ума — костюмы привидений, скелетов, монстров, полуразложившихся покойников, ведьм, вампиров и прочей нечисти сметаются с прилавков магазинов, принося громадные барыши кукловодам, манипулирующим общественным сознанием. Американская нация в этот день зомбируется, всерьез играя в эти некрофильские игры. Говорят, в этом есть изрядная доля юмора. Не знаю, не знаю... Меня такой юмор как-то не впечатляет. Я вообще не большой любитель «чернухи». А для нас-то, русских американцев, этот «день ужасов» вообще сродни революционным праздникам — повод собраться и выпить в хоршей компании.

Мне, как фотографу, этот «черный карнавал» интересен только масками, в которых предстали мои знакомые, ибо я уже давно заметил, что карнавальный костюм очень точно отражает взгляд индивида на самого себя. Этакая иллюстрация к фрейдистской концепции «скрытого подсознательного» — какая-нибудь сволочь непременно напялит костюм ангела, а добрейшей души человек — костюм ведьмы или Фредди Крюгера. Можете не сомневаться, что

импотент будет в костюме Дон Жуана или Казановы, трус — в костюме мушкетера, а ничтожество — в маске Рейгана.

Среди гостей, многих из которых я тогда еще не знал или знал только понаслышке, мое внимание привлек бородатый человек с очками на кончике носа и в костюме не то капитана Флинта, не то капитана Моргана, не то еще какого-то капитана из романов Стивенсона. Пират, одним словом.

Несколько раз, наводя камеру на этого пирата, я вылавливал взгляд, брошенный поверх очков, полный такой доброжелательной иронии, что мне захотелось незамедлительно познакомиться с этим человеком.

Я оглянулся, ища, у кого бы мне спросить, кто это такой.

Саша Генис хлопотал на кухне, готовя по своим замечательным рецептам какое-то невероятное, судя по запахам, доносившимся оттуда, мясо. Лена Сарни беседовала с Радзинским, и отвлекать ее было неудобно. А больше я почти никого и не знал.

Рядом со мной, как черт из табакерки, возникла Юлька Беломлинская.

— Сфотографируй меня с Битовым, — приказала она.

Я сфотографировал. Увековечил, так сказать.

Юлька собралась лететь дальше. Я остановил ее и показал глазами на пирата.

— Кто это такой?

— Игорь Ефимов.

Имя это мне ничего не говорило.

— А кто он?

— Господи, Марк, ну что ж ты такой дремучий? — сказала Юлька. — Ты что, книжек не читаешь? Писатель.

Мне стало стыдно. Я действительно не читал книг Ефимова.

— Ты хоть знаешь, что есть такое издательство «Эрмитаж»? — продолжала унижать меня Юлька. — Так вот, это издательство Игоря.

Про «Эрмитаж» я, конечно, слышал. И даже, несмотря на Юлькино предположение, читал книги этого издательства. Как-то мне попал в руки каталог «Эрмитажа», и меня весьма впечатлил подбор публикуемых авторов. Я вспомнил, что имя Ефимова там тоже было.

Юлька сделала паузу перед новой порцией обличений меня в серости и, заранее торжествуя, спросила:

— Ну а кто такой Андрей Московит, ты знаешь?

О да! Это имя мне говорило о многом. Тут она промахнулась. В ту пору, когда я учился в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, когда проходили процессы Бродского, Синявского, Даниэля и мы зачитывались самиздатом, среди авторов этих книг мелькало и имя Андрея Московита. Мы не знали, кто это такой, да нам это было и не важно. «Метаполитика», отрывки из «Практической метафизики», опубликованной, кажется, в «Гранях», ходили по рукам наравне с произведениями других опальных писателей, обсуждались на кухнях, вызывали споры

— Так что, Андрей Московит и есть Игорь Ефимов? — поразил я Юльку своей догадливостью.

Она удовлетворенно кивнула. Всегда приятно открыть человеку глаза на его невежество. Сразу чувствуешь себя умнее собеседника.

Я отказался от предложения Беломлинской представить нас друг другу, как всегда предпочитая более ненавязчивые способы знакомства.

Потом я оказался рядом с Игорем, мы о чем-то разговорились, кажется опять-таки о фотографии, жена моя, Люда, пригласила его танцевать, что, учитывая ее страсть к танцам, не вполне безопасно для здоровья партнера, а дальнейшее легко предположить — когда на следующий день я позвонил Генису, чтобы поблагодарить за прекрасный вечер, Саша в шутку посетовал, что моя жена уплясала Ефимова до предынфарктного состояния.

Вполне возможно. Плясали они очень лихо.

Кузьминский и другие...

Анархист, эксгибиционист, бузотер, поэт-авангардист Константин Константинович Кузьминский, будучи по природе весьма ленивым человеком, где-то в 60–70-х годах прошлого века отстранил громадный живот, залег на диван и отклеивался от него только затем, чтобы сходить в туалет и выпасть «в свет» для устройства очередного скандала.

Это не значит, что он ничего не делал. Как поет мой друг Тимур Шаов, *«даже валяясь на печке, мудрый все время в пути»*. Не берусь судить, насколько мудр ККК, но за время этого «великого лежания» он умудрился собрать, написать и издать многотомную энциклопедию российского андеграунда «Голубая лагуна» (я не видел, но говорят, что это весьма серьезный и весьма скандальный труд), почитать лекции в нескольких американских университетах (тоже не без скандала), а также устроить в Нью-Йорке и его окрестностях множество различных художественных акций, которые, даже если и не были запланированы как скандальное мероприятие, скандалом непременно заканчивались.

Другими словами, все помыслы Константина Кузьминского были направлены на эпатаж и тем самым — на привлечение к себе внимания. А поскольку подобный образ жизни поражает воображение, особенно молодых людей с неустоявшейся психикой, то вокруг Кузьминского образовался довольно широкий круг адептов, которые тянулись к нему домой, как мусульмане на хадж в Мекку. С восторгом и ужасом внимали они откровениям своего гуру, смущенно отводя глаза от чего-то весьма не убедительного, выглядывающего из-под как бы случайно распахнувшегося халата.

С Кузьминским мы познакомились на одной из первых выставок «АРТ-ПАРТИИ “ПРАВДА”».

Тут, наверное, необходимо остановиться и кое-что объяснить.

В начале 90-х годов художественная жизнь русского Нью-Йорка протекала довольно бурно. Это было время, когда интерес к искусству бывшего Советского Союза еще не угас и в Нью-Йорк приехало много русских художников, которые, не будучи признанными — кто по таланту, кто по бездарности — у себя на родине, пытались пробиться здесь, в Америке. Потыркавшись по разным галереям, по разным изданиям и поняв, что никому они здесь не нужны, они решили пойти самым верным путем — организовать какой-нибудь крупный художественный скандал.

Средства для этогогодились всякие. Так, например, Паша Упоров стал ежегодно устраивать собственные похороны.

Давалось объявление во все газеты, что вот, мол, *«во цвете лет почил в бозе великий русский художник Павел Упоров и в связи с этим скорбным для мировой общественности событием он приглашает всех на прощание с его телом на пирс № 85 в Манхэттене»*. А так как «мировая общественность» могла не откликнуться на этот зов, потому что в упор не знала, кто такой Упоров, то просвещенной публике сообщалось, что похоронен он будет *«по старинному ведическому обряду»*, то есть: *«труп безвременно ушедшего художника будет положен в ладью, облит керосином, ладья будет спущена в Гудзон, а затем при посредстве лука и горящих стрел, подожжена»* («Если, конечно, попадут», — цинично подумал я, ознакомившись с этим объявлением).

На обычные похороны зажавшаяся американская публика, возможно, и не пошла бы, но на перформанс со спусканием ладьи и стрельбой из лука — собиралась, с сочувствием глядя на Пашу Упорова, рыдающего у своего гроба.

Не знаю, стали ли в результате этой некрофильской акции покупать упоровские работы, но зрелище было довольно впечатляющим, особенно в той части, когда покойник, надрываясь, пер ладью со своим телом к воде, а потом долго стрелял из лука, пытаясь в эту уплывающую ладью попасть. А поскольку в меткости, как и предполагалось, Паша значительно уступал Вильгельму Теллю, то полноводный Гудзон так и уносил воняющую керосином ладью в Атлантический океан.

Группа художников постарше устроила выставку в разрушенном здании около Вильямсбургского моста, где среди прочих экспонатов и довольно умеренной живописи на постаменте был выставлен гроб с муляжом тела Ленина, у которого через определенные промежутки времени менялся почетный караул, звучала траурная музыка, а «вечно живой» Владимир Ильич (одного художника, до чрезвычайности похожего, загримировали под Ленина) периодически подходил и целовал себя в лоб.

По замыслу устроителей это, вероятно, должно было быть смешно.

Но смешно почему-то не было. Скорее, натужное действо это вызывало чувство неловкости и даже жалости.

Так вот среди всех этих заморочек наиболее нашумевшей было создание «АРТ-ПАРТИИ “ПРАВДА”».

В отличие от разовых акций дилетантов-одиночек, это было предприятие, рассчитанное на серийное выпекание скандалов. В этом был основной смысл и пафос создания данной организации.

Должен сказать, что, несмотря на мое ироничное, а иногда и просто безразличное отношение к подобной деятельности, ход мысли авторов этих затей вполне понятен. Будь ты хоть семи пядей во лбу, но если ты тихо сидишь и занимаешься творчеством, то в условиях перенасыщенного художественной жизнью Нью-Йорка тебя просто никто не заметит. Нужно чем-то привлечь общественное внимание.

Скандал — верное, испытанное средство. В истории искусств мы видим тому тьму примеров — и «Завтрак на траве» Эдуарда Мане, и «Черный квадрат» Малевича, и Сальвадора Дали с его экзотическими выходками, и

Пикассо, и весь «авангард». Думаю, просвещенный читатель может и сам дополнить список. Так что готов допустить: если за всеми этими выкрутасами прячутся пусть спорные, но произведения искусства, то, возможно, игра стоит свеч.

В этом отношении «АРТ-ПАРТИЯ “ПРАВДА”» свое назначение выполняла, хотя бы потому что в ней и вокруг нее собрались довольно приличные художники — Лена Сарни, Александр Захаров, Люсьен Дульфам, Владимир Некрасов, Валерий Ершов, Владимир Титов, Максим Вахмин и другие талантливые живописцы, графики и скульпторы.

Но руководство «АРТ-ПАРТИИ» во главе с Кузьминским, Пинчевским, Паниным, Залуцкой, Соколовым и «главным идеологом» (так он именовал свою должность) Александром Шнуровым действовало, на мой взгляд, довольно безвкусно.

Вот что писал об их ранней акции, которая называлась «АРТ-ПАРТИЯ “ПРАВДА” против засилья “Нью-Йорк Таймс”», корреспондент «Московских новостей» Дмитрий Радышевский:

«Дощатый армейский сортир советского артиллерийского полка, на загаженном полу которого светлели лужи замерзшей мочи и обрывки “Правды”, вымазанные в дерьме, украшал на прошлой неделе одну из нью-йоркских галерей на Бродвее в районе Сохо. В зале была ужасная жара, гости снимали пиджаки и отдувались. Возле сортира сидел бородатый средних лет мужчина и жестоко страдал: на нем были тулуп, валенки, шапка-ушанка. Известный в русской Америке поэт Константин Кузьминский парился в этих доспехах, поскольку составлял часть экспозиции и был одним из ее организаторов. Гости умиленно оглядывали его и мечтательно вспоминали Родину...»

Не знаю уж, насколько «умиленно и мечтательно» вспоминали гости советские нужники, — я на этой акции не был, поэтому фотоотчет о ней в мою книгу не вошел. Жаль, конечно. Была бы еще одна яркая краска на и без того сюрреалистическом полотне нашей эмиграции.

За мероприятиями «АРТ-ПАРТИИ» я начал следить с третьей выставки. Привел меня туда тот же Дима Радышевский, который попросил сделать несколько фотографий для «Московских новостей».

Если вы гуляете по Сохо в районе галерей и видите перед входом много курящих и пьющих не из спрятанных в коричневые кулечки бутылок⁴, а прямо из «горла» людей, можете не сомневаться — здесь проходит выставка русских художников.

Прорвавшись сквозь запахи табака и марихуаны к лифту и поднявшись не помню сейчас на какой этаж, мы оказались в галерее «Лимнер». Народу было уже много, и среди всей этой разношерстной, разноязыкой толпы выделялся огромный, с всклокоченной и никогда, похоже, не чесанной бородой, беременный мужчина. Лиловая сатиновая ряса, вольготно обтекавшая его тело, не скрывала, что он на сносях, причем давно.

⁴ По закону штата Нью-Йорк, продавать спиртные напитки и пиво можно только в «brown bag». Если вы пьете на улице из такого пакета, ни один полицейский не может вас наказать за распитие спиртных напитков в общественном месте. Этакий «фиговый листок».

Держался лиловый по-хозяйски, сразу ощущалось, что он — главная фигура на этом мероприятии. Рядом суетилась маленькая серенькая женщина с видеокамерой.

— Кузьминский, Кузьминский, — зашелестело с разных сторон, и вокруг мужика сразу забурился легкий людской водоворот. Адепты кинулись к своему гуру. Серенькая женщина тут же активизировалась, снимая это «поклонение волхвов».

— Давай познакомлю, — сказал Радышевский. — Вот, Костя, — представил он меня, — это Марк Копелев, замечательный фотограф.

Всегда чувствуешь себя полным идиотом, когда тебя представляют таким образом: возражать глупо, ибо выглядит кокетством, а промолчать — это вроде как согласиться с оценкой твоего скромного дарования. Второй вариант поведения все-таки предпочтительней хотя бы потому, что допускает двойное толкование.

Кузьминский окинул меня царственным взглядом, и, по всей вероятности, вид человека, обвешанного дорогостоящей фотоаппаратурой, его убедил.

— А уж не родственник ли ты того самого Копелева? — спросил он.

Я, честно говоря, привык к этому вопросу. Задают мне его довольно часто, и надо признаться, что родство с этим замечательным человеком, Львом Копелевым, мне льстит. Как-то к тебе сразу начинают по-другому относиться. Более уважительно, что ли. Хотя я и понимаю, что в таком отношении никакой моей заслуги нет.

— В общем, да, — с подобающей скромностью признался я.

— Ну надо же, — внимательно следя за моей реакцией, протянул Кузьминский, — вроде приличный человек, а имеешь таких родственников.

Пока я хлопал ртом, думая, что мне ответить на это хамство, — сказать ли, что родственников не выбирают, или просто сразу послать, куда без разговора посылают в таких случаях, откуда-то сбоку раздался восторженный крик: «Костя, Костя!!!»

Мы обернулись.

Картина, представшая моему взору, была столь впечатляющей, что я, забыв обо всем, немедленно схватился за камеру.

Женщина лет сорока прильнула к громадному, почти во всю стену, полотну, на котором был изображен мой собеседник возлежащим на диване голым. Огромный живот с *двумя пупками (!)* свешивался чуть ли не за раму, а под ним (под животом, естественно) висел сморщенный, достаточно ярко прописанный член, который на фоне громадного живота смотрелся еще более убого, чем на предыдущей фотографии.

Тем не менее женщина у картины под бурные аплодисменты собравшихся страстно целовала этот уныло висящий мужской причиндал.

Кузьминский гордо посмотрел на меня. «Каково!» — говорил его взгляд.

Инцидент с моим знаменитым родственником был исчерпан, потому что я понял, что одинаково глупы оба варианта предложенной дискуссии. От меня только и ждут, чтобы я как-тоотреагировал на этот выпад.

Не дождавшись моего ответа, Кузьминский отозвал женщину от портрета.

— Свиридова, познакомься, — сказал он. — Марк Копелев, замечательный фотограф.

«Господи, — подумал я, — ну ты-то откуда знаешь, какой я фотограф...»

— Саша Свиридова, — представилась дама. — А вы что, родственник того самого Копелева?

— А чья это картина? — наученный горьким опытом перевел я разговор на другую тему.

Картина, если отбросить все приводящие обстоятельства, была хорошая.

— Вовки Некрасова, — сказал Кузьминский. — Вот он. Некрасов, познакомься. Это Марк Копелев...

— Замечательный фотограф, — подсказал я.

Кузьминский с подозрением взглянул на меня.

Некрасов, бородатый мужик, неувлочно похожий одновременно на Немировича-Данченко, на Есенина, на Чайковского и на Николая Второго с конфетной коробки с надписью «Tzar Nicholas II», глядя сквозь нас, промышал что-то невразумительное. Затем его взгляд стал потихоньку фокусироваться, и он уставился на меня.

«Сейчас про родственника спросит», — испуганно подумал я.

Но Некрасов ничего не спросил. То ли был деликатен, то ли просто не знал, кто такой Лев Копелев.

Чтобы в корне пресечь дальнейшие расспросы о моей родословной, я предпринял встречный демарш:

— Скажите, а вы не родственник того самого Некрасова? — поинтересовался я.

Некрасов недоуменно посмотрел на Кузьминского. То ли пытался понять, какого именно Некрасова я имею в виду, то ли вообще впервые услышал, что на свете существуют другие Некрасовы, кроме него.

Кузьминский усмехнулся. Похоже, он оценил эту словесную эквилибристику.

На противоположной стене висела картина: живопись — не живопись, фотография — не фотография, коллаж — не коллаж, но все вместе производило очень сильное впечатление.

— А это чья? — спросил я, уводя разговор еще дальше в сторону.

— Ленки Сарни, — сказал Кузьминский. — Она где-то здесь шляется с Юркой Милославским. Я вас познакомлю.

— А это не тот Юрий Милославский, о котором говорил Иван Александрович? — добавил я пару.

Теперь пришла очередь удивляться Кузьминскому:

— Какой Иван Александрович?

— Хлестаков, — пояснил я. — Помнишь: «Есть другой “Юрий Милославский”», так тот уж точно мой...»

Кузьминский задумчиво посмотрел на меня, почесал бороду и сказал неопределенно:

— Ну ты молодец... Да нет. Это муж ейный. Тоже писатель.

Почему этот Милославский «тоже писатель», я не понял. Если мне не изменяет память, у господина Загоскина Юрий Милославский писателем не был.

Я пошел бродить по залам. Их было немного, помнится, три или четыре, причем один был полностью занят столом, заставленным спиртным и скудной американской закуской. В этом зале как раз и было больше всего народа. Все пытались перекричать друг друга, слышались женские взвизги, взрывы хохота, и над всем этим парила соблазнительная надежда на скандал.

Это было одно из первых моих посещений подобного рода мероприятий, и многое поражаало воображение новичка. Я уж не говорю об эпизоде с Сашей Свиридовой. Ну ладно, выпендрился человек. Пошутить хотел. Но выпендрился-то он хоть с картиной. Остальные вели себя так, будто кроме зала с выпивкой и закусками в галерее больше ничего и не было.

Я поделился этим своим наблюдением с Митей Радышевским.

— А ты что думаешь, — сказал Митя, — на картины смотреть они сюда ходят, что ли?

— А для чего? — удивился я

— Ну выпить, пообщаться, побузить... Народ поглядеть, себя показать. Это же не выставка.

— А что же?

— Тусовка.

Все-таки поразительно, как иногда точно сказанное слово расставляет все по своим местам. Подмена слов «художественная выставка» словом «тусовка» сразу меняет и смысл, и содержание, и отношение к данному событию. И, соответственно, диктует стиль поведения.

И все же червячок сомнения где-то там внутри оставался.

— Ну а художникам-то зачем это надо? — продолжал допытываться я, — Он творит, работает, душу вкладывает, чего-то там создал такое... Может, даже прокричал себе: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» А потом это свое сокровенное, как публичную девку на площадь?..

Митя задумался. Похоже, подобный поворот темы ему в голову не приходил.

— Ну надо же в конце концов где-то выставляться, — наконец сказал он.

В этом, конечно, свой резон был. Художник живет ожиданием признания, как женщина — ожиданием любви. А там уж только от нее зависит, будет она ждать своего «прекрасного принца» или пойдет по рукам. Хотя приходится констатировать, что на сегодняшний день эта альтернатива уже не существует. Ни в искусстве, ни в жизни. Я, например, не раз встречал женщин, которые с гордостью заявляли: «Да, я блядь. Ну и что?»

Действительно, ну и что? Слово «блядь» перестало быть ругательным словом. Приходится уже определять зыбкую границу между двумя понятиями: «блядство» и «проституция». Но если в жизни с этим все просто и понятно: проституция — выгодная профессия, а блядство — черта характера, то в искусстве эти понятия зачастую сливаются в одно.

Похоже, выставка «АРТ-ПАРТИИ “ПРАВДА”» была вариантом смешанным: девушки с панели выставляли свои прелести, чтобы попасть в дом публичный.

— Ты-то здесь человек новый, — прервал мои размышления Митя, — никого не знаешь. Вот тебе и кажется все странным. Ничего, привыкнешь.

К сожалению, он оказался прав. Я привык.

На фоне штандарта «АРТ-ПАРТИИ “ПРАВДА”» стояла группа людей в черно-белых с красными санитарными крестами нарукавных повязках. На первый взгляд, эти повязки напоминали ту, в которой шеголял Штирлиц, когда он в полной парадной форме проходил по коридорам имперского управления Третьего рейха. По всей видимости, эти цвета должны были означать художественную непримиримость членов этой организации (*Только правда! Только белое и черное — никаких полутонов! Да или нет! Кто не с нами, тот против нас!!!*), а кресты намекали, что данная группа — есть санитары искусства. Однако в сочетании с чеканными крыльями и помпезной клепаной плитой это вызывало ассоциации совсем другого рода. И даже глянцево-пластмассовое сердце вместо кружочка со свастикой положения не спасало.

Шум между тем усиливался. Тусовка лениво набирала обороты.

Какие-то вьюноши в кожаных куртках шустро размотали провода, установили колонки и микрофон. Юрий Милославский рассказал о громадном значении «АРТ-ПАРТИИ “ПРАВДА”» в художественной жизни Нью-Йорка. Затем он объявил о начале художественной части, из чего напрашивался вывод, что все, происходившее до этого, было частью антихудожественной.

Справедливости ради должен заметить: такое умозаключение было бы не совсем верным, так как на выставке висели и довольно приличные работы.

Художественная часть началась с того, что перед публикой появился Кузьминский и сказал, что сейчас он будет *«художественно есть банан»*. Зрители, уже хорошо подданные, оживились — всем ведь известно, символом чего является этот ни в чем не повинный тропический фрукт.

Кузьминский засунул руку в бездонный карман своей рясы, долго шарил в том месте, где у мужчины находится то, с чем банан как раз и ассоциируется, достал его, медленно и сладострастно очистил, а затем в течение десяти минут поедая, облизывая и причмокивая, словно красotka из порнографического фильма. Зрители поддерживали артиста одобрительными возгласами.

...Вечер медленно умирал.

Опоздавшие спешно пробегали по залам, интересовались, не произошло ли чего «такого» в их отсутствие, кидались к разоренным столам в кровавых винных пятнах, доедали и допивали что осталось. Оставалось мало.

В спертom воздухе кругами плыла усталость.

Мрачные хлопцы в кожаных куртках сматывали шнуры.

Костя Кузьминский, покрытый бисеринками пота, тихо скорчился в углу, всеми брошенный.

Подумалось: «Ради чего старался человек?..»

Толпа потихоньку редела.

— Пока, Костя. До встречи, — попрощался я.

— Пока, — махнул рукой Кузьминский. — Приезжай в гости. Шашлычок на балконе соорудим.

— Как-нибудь заеду...

— А у меня день рождения два дня назад был, — вдруг грустно сообщил Кузьминский.

Мне захотелось утешить его.

— А у меня три.

— Что три?

— Ну, день рождения три дня назад был.

Шляпная лавочка

Выставка «АРТ-ПАРТИИ» стала бульжником, брошенным в воду моей фотографической жизни. Пошли круги. Раньше я просто бродил с камерой по городу или изредка снимал с Митей — теперь каждое событие тащило за собой следующее. Я обрстал знакомыми, которые подбрасывали новую информацию, новые сюжеты для съемок. А там возникали новые связи, выплывала новая информация, новые приглашения на какое-нибудь событие.

Человек я вполне поливалентный, поэтому спектр моих знакомых был весьма широк и охватывал многие уровни социальной и художественной жизни Нью-Йорка. Выставки, презентации, поэтические чтения, спектакли, музыкальные вечера, встречи с писателями, артистами, художниками, приемы в российском консульстве, дискотеки, просто домашние посиделки — все это проходило перед моей камерой, все оставалось на пленке, оседало в моем архиве.

Получив от Кузьминского приглашение посетить галерею Клейтона Патерсона, я приехал на Essex Street где-то в районе между Soho и East Village, долго блуждал там, пока не увидел вывеску «Clayton Hats». Галерея «знаменитого Клейтона Патерсона» оказалась не то шляпной мастерской, не то шапочной лавочкой. В принципе, это ни о чем не говорит — если есть что выставлять, почему бы и не в шляпном магазине?

То, с чем я столкнулся там, потрясло меня куда более чем то, что я видел на выставке «АРТ-ПАРТИИ “ПРАВДА”». Все эти глупости с поеданием банана, с целованием члена на картине, вся эта убогая, примитивная черно-белая символика были детскими шалостями по сравнению с тем, что происходило в шляпной мастерской Клейтона Патерсона.

Тут уже все было по-взрослому.

Я смотрел на эту жирную тушу, разрисованную свастиками, на брюхо, налитое пивом, вываливающееся из-под ремня, на спину, покрытую омерзительными пигментными пятнами, и понимал, что это животное раздавит, изничтожит любого, лишь только раздастся крик «Бей его!!!» Кого «его» — неважно: евреев, китайцев, негров, интеллигентов, русских, — лишь бы крушить, давить, стирать в пыль. В этой маленькой голове не было ничего, кроме одного — инстинкта убивать. Татуировки были опознавательными знаками. По ним узнавали своих. Не татуировки коллекционировал лавочник Клейтон Патерсон. Он коллекционировал людей, имеющих эти опознавательные знаки. И необязательно этими знаками должны были быть свастики. Само желание разрисовать свою кожу, продырявить язык, бровь, пупок, клитор, нащиповать член шарами, а в ухо вдевать десяток металлических колец — свидетельствует об определенном состоянии ума.

Я вспомнил черно-белые с красными крестами повязки недоумков из «АРТ-ПАРТИИ “ПРАВДА”». Теперь они уже не показались мне столь бе-

зобидными. А ведь я тогда еще не был знаком с ранним шедевром *главного идеолога «ПАРТИИ»* Александра Шнурова — портретом Громыко с пулевым отверстием во лбу. Это уже потом, спустя почти два года, я увидел эту работу в коллекции Нортон Доджа.

Нет-нет, не подумайте, что Шнуров себя утрудил. Это был стандартный портрет члена Политбюро, сотнями и тысячами продававшийся в газетных киосках и книжных магазинах Совдепии. Творчество и художественное новаторство будущего идеолога свелось к выстрелу, то есть к прорисовке пулевого отверстия.

Копелев-Седову⁵.

Отрывок из письма.

Я понимаю. Я все понимаю. Ломка традиций всегда связана с агрессией. Для того чтобы отказаться от старого, надо бросить ему вызов, предложив что-то свое. Кто против? Дерзайте! Предлагайте!!! Самоутверждайтесь, коли у вас есть такая потребность. Но не любой же ценой...

*У меня, вообще, есть теория об анонимности художника. Я ее, правда, сформулировал на своем фотографическом материале, но ее совершенно спокойно можно экстраполировать на все виды искусства. Суть заключается в следующем. Вот ты — фотограф, или просто интересуешься этим искусством. Ты рассматриваешь альбомы, книги, журналы, посещаешь фотовыставки, вернисажи и так далее. И тебе попадает хорошая карточка. Ты видишь, что это **Фотография**. И ты запоминаешь ее. Можно даже поинтересоваться, кто ее сделал, чего чаще всего не происходит, а если и происходит, вылетает из головы на следующий день. А вот изображение остается.*

А потом ты встречаешь эту фотографию в другом альбоме и говоришь:

— О! Эту фотографию я знаю! Я, правда, не помню, кто автор, да и какая, в общем, разница. Кто бы он ни был, а карточку он залудил клевою.

Как, например, фотография Отара Иоселиани с мухой на лбу. Вся такая белая по белому, на лбу муха, а он закатил глаза под лоб, пытаюсь ее разглядеть. Ну-ка поспрошай знакомых фотографов, операторов, многие ли знают, кто автор. А фотография Мэрилин Монро, которая стоит на вентиляционной решетке, юбку ей задуло на голову, а она кокетливо пытается ее опустить. Не фотография уже — клише, а спроси, кто автор.

И вот, если удастся сотворить такое и кто-то, разглядывая твоё портфолио, говорит, как это случилось у меня в «Нью-Йорк Таймс» с портретом Эммы Кузьминской: «О! Вот это я видел! Я не знал, что это ваше», — то тогда...

А что, собственно, тогда?..

Тогда ты раздуваешься от гордости и понимаешь: «Верной дорогой идете, товарищи!»

Анонимность произведения искусства чрезвычайно важна, чтобы отделить хорошее от плохого, настоящее от суррогата. А то ведь как — есть ряд известных имен, либо дутых, поднятых прессой, либо действительно художников,

⁵ Геннадий Седов. Мой друг и коллега по новосибирскому телевидению. Режиссер, кинооператор, фотограф.

которые своей жизнью доказали, что они — **могут**. Скажем, в фотографии это Ричард Аведон, Хельмут Ньютон, Ирвин Пенн, Картье-Брессон, Дюшон, Роберт Капа, ну и т.д. А народ в массе своей сильно в искусстве не разбирается. Оценка идет на уровне «нравится — не нравится». И это, должен тебе сказать, правильный критерий. Потом можно проанализировать, если ты способен, почему нравится или почему нет. А известные имена у всех на слуху. И вот берет человек в руки роскошно изданный альбом, скажем, Ритца и уже априори склонен считать, что все, что здесь есть, гениально. А это далеко не всегда так. Но — **магия Имени, магия Имени**. Магия роскошного издания.

Однажды во время моих блужданий по Нью-Йорку я забрел в какую-то очень престижную галерею, где проходила выставка концептуального искусства. Что меня туда занесло, не помню, но среди прочих шедевров я обнаружил два совершенно замечательных. На холст, слегка прописанный, наклеены менструальные тампоны, а под ними надписи: тампон 1-го дня, тампон 2-го дня, тампон 3-го, ну и так на весь менструальный цикл автора. А второй шедевр представлял собой стеклянный ящик, в котором были баночки из-под майонеза с говном художника после завтрака, после обеда, после трапезки с любовницей, после соленых орешков с пивом и т.д., и т.п.

Так вот, перед менструальной картиной стояла группа людей (это было открытие выставки, и народу было много), и среди них выделялся какой-то интеллигентоподобный субъект, видимо искусствовед, потому что слушали его с большим пиететом, и очень кругло и глубокомысленно объяснял, что именно хотела сказать художница, в чем заключается ее новаторство и смелость, а толпа дебилов восхищенно внимала и изредка выдыхала: «terrific!», «great!», «unbelievable!».

Далее, наверное, появилась статья в «Нью-Йорк Таймс» — и готово: девочка стала Уорхолом нового поколения, потому что американцы считают искусством только то, что похвалила «Нью-Йорк Таймс».

Впрочем, не только американцы. Идиотов хватает во всех странах, на всех континентах

Экспонаты на выставке Клейтона Патерсона особым разнообразием не отличались. Свастики в разных вариантах. Большие, маленькие, любовно расписанные вензелями, декорированные бляшками, шипами, заклепками. А рядом листовки, прокламации, фотографии «своих татуированных». И даже в убогую живопись, которая здесь в небольшом количестве присутствовала, тем или иным образом вкраплялась фашистская символика. По начинке шляпная мастерская напоминала не галерею, а штаб-квартиру нацистской партии в провинциальном немецком Урюпинске.

«Знаменитый Клейтон Патерсон», с которым мы, благодаря стараниям Кузьминского, познакомились на выставке «АРТ-ПАРТИИ “ПРАВДА”», узнал меня, заулыбался и даже счел необходимым представить моему коллекционному экземпляру.

— It is Mark, a well-known Russian photographer⁶.

«Again, — подумал я. — Хорошо хоть, что здесь про родственника никто не слышал».

⁶ — Это Марк, известный русский фотограф (англ.).

— Nice to meet you⁷, — силным, шершавым, как наждачная бумага, голосом хрюкнуло животное.

Я испугался. Глагол «to meet» — «встречаться» и существительное «meat» — «мясо» в английском языке звучат почти одинаково. Учитывая мое подкачавшее происхождение и людоедскую внешность говорившего, я однозначно воспринял фразу как «ты — хорошее мясо».

Но животное жрать меня не собиралось, во всяком случае в данный момент, и повело себя вполне дружелюбно. То есть позволило себя фотографировать и даже попринимало различные позы, чтобы его наскальная живопись выглядела эффектнее.

При этом надо заметить, что далеко не ко всем фотографам, которые присутствовали здесь в достаточном количестве, животное отнеслось одинаково. Когда к нему приблизился фотограф монголоидной внешности, оно рыкнуло так, что азиат предпочел держаться подальше.

Столь благосклонному отношению ко мне я, конечно, обязан рекомендациям, которые мне дал замечательный человек Клейтон Патерсон. А может быть, в силу того, что этнические черты выражены у меня недостаточно ярко, животное просто потеряло бдительность.

Я уже собрался было уходить, когда на выходе меня поймал Клейтон и пригласил посетить мероприятие, которое он и его друзья («*very nice people*») собираются на следующей неделе организовать в Гринвич-виллидж.

— It will be very serious action⁸, — очень значительно предупредил он и, положив мне руку на плечо, проникновенно добавил: — We rely on you, sonny⁹.

Хотя было непонятно, почему на меня возлагаются такие надежды, я почувствовал себя новобранцем, которого маршал Жуков благословляет на подвиг. Я снял руку Патерсона с плеча, с большим чувством пожал ее и всячески заверил, что постараюсь не обмануть его ожиданий.

Круги расширились.

Через неделю, взяв камеру и девушку Люду, которая к тому времени появилась в моей жизни, я отправился в Гринвич-виллидж.

Посещение «зоопарка»

Состояло это действо из двух частей: выставки, которая происходила в старом складском помещении, приспособленном под галерею, и небольшой любительской мистерии, представленной прямо на широком тротуаре перед помещением, где проходила вышеозначенная выставка.

На панели перед складом шли приготовления к спектаклю.

Какие-то американские парубки в черной коже, похожие на тех, что я видел на выставке «АРТ-ПАРТИИ», собирали на мостовой клетку, по фор-

⁷ — Приятно познакомиться (англ.). — Стандартный американский ответ на представление.

⁸ — Это будет очень серьезная акция (англ.).

⁹ — Мы надеемся на тебя, сынок (англ.).

ме напоминающую канареечную, но раз этак в двадцать пять больше. Толпа непосвященных, стоящая вокруг, вслух гадала, для какого же зверя этот вольтер предназначается.

— I think, this cage is for a crocodile¹⁰, — высказал кто-то предположение.

— No, more likely for a monkey...¹¹

— You are probably right, but the most likely...¹²

— Да это вон для тех двух уродов, — сказал кто-то по-русски.

Я оглянулся. Позади меня стояла группа ребят, внешним видом никак не отличающихся от остальных зрителей. Да и на русских-то они не были похожи, хотя наших в толпе я определяю сразу. Единственное, что их отличало, это столь своевременное выказанное здравомыслие. Я проследил за их взглядом и понял, что речь идет о моих татуированных приятелях. Надо сказать, что подобное предположение соплеменников не показалось мне лишенным оснований.

Гретхен с огромной грудью, карминово-фиолетовыми губами и в штанах из кожзаменителя стала забрасывать клетку чахлами гвоздиками, порождая новую волну предположений.

Однако цветы разъяснились быстро. Даму, блиставшую своими прелестями перед кантиной Пинчевского, цепями схваченную, вывели на улицу. Гретхен, оказывается, мостила цветами ее путь. Закованная при этом воздевала руки и стонала.

Негр (тьфу ты, господи, афроамериканец, конечно!) заиграл на банджо какую-то грустную мелодию.

Я догадался. Действо это обозначало борьбу нещадно закрепощенных американских женщин за свободу.

Дверца с лязгом захлопнулась. Кожаные замотали ее проволокой. Лиловый афроамериканец на полувзвук оборвал аккорд..

Пауза настала. Томительная и пустая, как минута перед смертью. Затаили дыхание зрители.

Вдруг скованная, пронзительно взвизгнув, ринулась на прутья клетки. Она билась, пыталась порвать цепи, сломать прутья, *вырваться, вырваться на свободу*. На помощь призывала. Тщетно! Равнодушные зрители только гнусно ухмылялись. Она уж и кричала, бедная, и плакала, и в истерике билась ...

Нет, нет и нет! Не знаю, что испытываешь ты, дорогой читатель, а я без содрогания вспоминать этого не могу. Слезы застилали мне глаза, сердце мое рвалось на части.

Наконец, не выдержав изнурительной борьбы со столь жестоко закрепостившим ее миром, без чувств рухнула она, широко расставив ноги и показав этому миру то, что не успела показать в галерее.

— I told you, it would be very exciting¹³, — сказал подошедший Клейтон Патерсон, утирая скупую мужскую слезу.

Возразить ему мне было нечего.

¹⁰ Я думаю, эта клетка для крокодила (англ.).

¹¹ Да нет, скорее для обезьяны... (англ.)

¹² Возможно, ты и прав, но наиболее вероятно... (англ.)

¹³ Я говорил тебе, что это будет очень впечатляюще (англ.).

Ах, читатель, читатель! Дорогой мой читатель!

Если ты хочешь понять нынешнее состояние умов — купи фотокамеру и загляни в видеоискатель. Ты много чего увидишь. Поставь телеобъектив и наведи его на тех, кто тебя окружает. Ты многое поймешь.

Не обрадует тебя картина — нет, не обрадует!

Как Гулливер, попавший в «Страну великанов», увидел все поры и волоски на лице первой красавицы двора, как изобретатель микроскопа, взглянув на чистую прозрачную каплю воды, в ужасе отшатнулся от окуляра, так и ты остолбенеешь в недоумении и оторопи. Отвратительные инфузории и амёбы бездумно размножились и жрали друг друга — вот что он там увидел...

«Ну так что же? — ты можешь спросить. — Да я и без камеры знаю, что мир несовершенен. Что же — не жить теперь?»

Да нет, почему же...

Жить.

Конечно, жить.

Нажми на кнопку, зафиксируй, предъяви эти бесстрастные документы. Пусть посмотрят на себя со стороны. Глядишь, поймут чего-то. Измерение параметров системы меняет ее состояние, утверждают физики. Так хочется верить, что этот закон работает не только в квантовой механике.

А заодно и на себя посмотри — может, и твоя фотография пылится в чем-то архиве...

Увиденное в шляпной мастерской Клейтона и на «серьезной акции» в Гринвич-виллидже заставило меня слегка помягчать к тем глупостям, которые творила «АРТ-ПАРТИЯ “ПРАВДА”».

Смерть лендлордам!!!

Эта акция «ПРАВДЫ» состоялась в галерее Клейтона Патерсона.

Честно говоря, памятуя о прошлой выставке в этой шляпной лавочке, идти туда хотелось не очень. Уговорил меня Саша Петропавловский. Он последнее время увлекся фотографией и все время задавал вопросы типа: «А на какой пленке лучше снимать — на цветной или черно-белой?» или «А как лучше снимать — со вспышкой или без вспышки?»

Ответов на подобные вопросы нет. Ну что можно посоветовать человеку, который спрашивает: «Как ты думаешь, жениться мне на Маше или на Тане?» Моя мудрая мама в таких случаях говорит: «Я вам советую: как хотите».

Но всегда приятно, когда тебе смотрят в рот и все твои рассуждения воспринимаются истиной в последней инстанции. Кроме того, знаете, как это бывает: раз объяснил, два объяснил — сам что-то понял. Так что я проникся к Саше Петропавловскому естественными дружескими чувствами. А что?!! Каждому хочется иметь своих адептов.

Саша сказал, что он будет принимать участие в этой акции — играть на саксофоне, а я искренне преклоняюсь перед людьми, хорошо владеющими музыкальными инструментами.

Было еще одно обстоятельство, побуждавшее меня пойти туда. К этому времени у меня начался активный роман с газетой «Печатный Орган»,

и я надеялся наскрести какой-нибудь материал для нее. Глупостей и безобразий вокруг «ПРАВДЫ» наворачивалось много, а это всегда интересно снимать.

С Кузьминским к тому времени у меня сложились вполне приятельские отношения. Я несколько раз бывал у него дома на Брайтоне, в двух длинных, засранных, заставленных всякой чепухой комнатах, где он обитал с женой Эммой по кличке «Мышь» и двумя старыми, облезлыми, тощими до невероятности собаками, кличек которых я не помню.

Читатель может задаться вопросом, что могло связывать столь разных людей, как Кузьминский и автор этой книги.

Как ни странно, довольно многое.

Первое и главное — Костя до самозабвения, фанатически предан искусству. То, что у нас разные вкусы, значения не имеет.

Во-вторых, Кузьминский умен.

Да-да, читатель. Этот пузатый, небритый, нечесаный, скандалист и матершинник далеко не глуп. А кто сказал, что так быть не может? Я, например, в своей жизни не раз встречал полных идиотов в элегантных костюмах и с галстуком-бабочкой. Или без галстука — но все равно идиотов.

В-третьих, Кузьминский невероятно начитан и эрудирован. Полагаю, что это результат многолетнего лежания на диване. Не будешь же так просто валяться — иногда и книжку в руки возьмешь. Это, в сочетании с великолепной памятью и парадоксальным мышлением, делает его весьма интересным собеседником.

И в-четвертых, выяснилось, что у нас общая альма-матер — Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и что учились мы в одно и то же время. Только я — на режиссерском факультете, который расположен на Моховой, а он — на театроведческом на Исаакиевской площади. Так что в годы учения мы как-то не пересеклись. Произошло это тридцать лет спустя на описанной выше выставке «АРТ-ПАРТИИ “ПРАВДА”».

Итак, я появился перед шляпной галереей.

Улица была еще полупуста. Привыкшие ко всему нью-йоркские прохожие рассеянно кидали взгляды на черно-белую с красным крестом хоругвь «АРТ-ПАРТИИ “ПРАВДА”» перед входом в шляпный магазин, на странного мужика с бородой в черной поповской рясе, перепоясанной солдатским ремнем, в папахе, в белых грязных носках и шлепанцах и спешили дальше. В Нью-Йорке еще и не такое увидишь.

Мрачный Кузьминский в окружении своих собак возился с какими-то тряпками.

— Привет, Костя, — подошел я к нему, — ты что такой смурной?

— Эти бляди опять квартплату повысили, — злобно сказал Кузьминский. — Ну ничего, мы этим сукам покажем. Они у нас запоют.

И он развернул плакат, на котором было по-русски написано: «Смерть лендлордам — жизнь зверям и людям».

Это было круто. Лендлорды, наверное, окочурились от страха по своим домам. Вернее, окочурились бы, если бы понимали по-русски. А так как лендлорды не то что по-русски, а на любом человеческом наречии понима-

ют плохо, то они спокойно блаженствовали в своих далеко не бедных домах, а одинокий Кузьминский стоял на улице с плакатом.

— Ну и что делать собираешься?

— А хрен его знает! Сваливать надо из Нью-Йорка. Блядское место!

Рядом печальным голосом запел саксофон. Это Саша Петропавловский прошелся пальцами по клапанам. У него тоже что-то не ладилось в жизни. Саксофон рыдал хриплым безнадежным голосом. Так страдать может только саксофон на полупустой улице.

Потихоньку подползал народ. На роликовых коньках приехала художница Марина Цесарская, на велосипедах — Алексей Панин и художник Илья Шевеленко. Эти, видимо, совмещали здоровый образ жизни с тягой к скандальным мероприятиям.

Но скандала никакого не случилось. Кузьминский был не в духе и валять дурака на сей раз не желал, а кроме него в «АРТ-ПАРТИИ “ПРАВДА”» никто столь органично это делать не умел. Все они для этого относились к себе слишком серьезно. Чтобы строить из себя идиота, надо как минимум не быть им.

Единственное, что развлекло праздную публику, которой все проблемы Кузьминского были, как говорится, «до фонаря», это появление нескольких бездомных. Президент Пинчевский, маявшийся без дела, не зная куда себя пристроить, набросился на них, «аки лев на добычу». Схватив одного за грудки, дабы не убежал, он стал объяснять, против чего митингует «АРТ-ПАРТИЯ», чтобы затем сфотографироваться вместе на память и тем самым оставить свой след в развитии русского искусства за рубежом. Присоединился и Клейтон Патерсон. Он тоже хотел в Историю.

Один бездомный настолько проникся ценностями «АРТ-ПАРТИИ», что кинулся целовать Кузьминскому руки.

Закончился вечер печально. Костя Кузьминский, который по состоянию здоровья старается не пить, сорвался. Любой человек в состоянии запоя малосимпатичен, ну а уж такой, как Кузьминский...

С большим трудом Костю вместе с собаками погрузили в автомобиль, отгартали домой на Корбин-плаза в Бруклин и сдали с рук на руки жене Эмме.

Бедная Эмма...

Кацов и «Компания»

Познакомились мы на какой-то выставке в Украинском доме. Гена раздавал листок, отпечатанный на компьютерном принтере. Листок носил гордое название: газета «Печатный Орган» или попросту «ПО».

Увидев у меня на шее фотоаппарат, вид которого не оставлял никаких сомнений в том, что это профессиональная камера, Гена без всяких обиняков подошел и спросил:

— Слушай, а ты не мог бы сделать пару фотографий для «Печатного органа» обо всей этой... — И он употребил несложное идиоматическое выражение, очень точно описывающее суть того, что происходило вокруг нас. — Только учти, платить я пока не могу.

Когда с кем-нибудь знакомишься, искра взаимной симпатии либо проскакивает, либо нет. В данном случае проскочила шаровая молния. Кацов обаял меня сразу несколькими вещами. Во-первых, тем, что без всяких выпендронов и зигзагов подошел и прямо сказал, что ему нужно. Во-вторых, точной оценкой происходящего. И в-третьих, полной адекватностью выражений.

У достаточно большой части русскоговорящего населения как по эту, так и по ту сторону Атлантики существует некоторое предубеждение против того, что именуется ненормативной лексикой. Ошибочно это иногда называют матом. Я категорически против смешения этих двух понятий. Не углубляясь в филологические дебри (на эту тему написаны тонны специальных исследований), хочу сказать, что, по моему мнению, ненормативная лексика становится матом лишь в том случае, когда служит для того, чтобы оскорбить, унижить, задеть кого-либо. В качестве прелюдии к драке, так сказать. Если же она используется как одна из ярких граней *«великого и могучего»*, во время и к месту, то ничего кроме законной гордости за богатство русского языка она у меня не вызывает. Ни один язык мира, по утверждению специалистов, не имеет столь выразительного словарного запаса по этой части.

Так как описать явления, происходящие вокруг меня, используя традиционную лексику, зачастую не представляется возможным, я, как и Гена, в разговорной практике использую достаточно широкий спектр возможностей родного языка.

Так начался мой роман с «Печатным Органом».

Любовь эта была радостна и тяжела, как любая любовь. Газета только входила в жизнь и напоминала юную нимфетку из романа Набокова. Она была молода, обаятельна, капризна, наивна, но в ней уже проглядывала мудрость зрелой женщины, то есть подспудная готовность отдаться за деньги.

Влюбленные близоруки. Что есть любовь, как не торжество воображения над интеллектом! Я был очарован свежестью этой угловатой девочки и готов был тратить на нее деньги. В конце концов все мы платим за удовольствия. Работа с этой начинающейся почти с нуля газетой и была таким удовольствием.

За короткое время «ПО» из одного отпечатанного на компьютере листка превратился в полноценный таблоид, выходивший почти на 20 страницах и имевший своего читателя — в основном тех, кому до сорока. Впрочем, судя по письмам, в числе ее почитателей были и люди более преклонного возраста. Газета «Печатный Орган» и все, что вокруг нее происходило, стали заметной вехой в жизни нашей эмиграции 90-х годов.

Конечно, мотором и главной движущей силой всего этого проекта был Гена Кацов. Его энергия, честолюбие, талант, коммуникабельность, не побоимся даже такого слова, как харизматичность, собирали вокруг газеты и «КОМПАНИИ», голосом которой, собственно, и был «Печатный Орган», много талантливых людей молодежного крыла нашей эмиграции. Художники, поэты, музыканты, артисты, танцоры, веселые остроумные люди — все это бурлило, варилось в котле, называвшемся «КОМПАНИЯ», издавая ни с чем не сравнимый аромат полноты бытия.

Печатный Орган

Нам было хорошо вместе.

Мы оказались в жестком мире, где каждый отвечал сам за себя, где каждый решал свои проблемы, не надеясь ни на чью помощь. «Печатный Орган» был для нас не деланием газеты, а, скорее, совместным времяпровождением, зачастую перетекавшим в дружескую вечеринку.

Воспоминания об этом периоде моей американской жизни сродни воспоминанию о детстве.

Да это и было детство. У детей, в отличие от нас, взрослых, нет ни прошлого, ни будущего. Зато они умеют пользоваться настоящим. У каждого из нас было свое прошлое. Но оно осталось в другой, будто бы даже и не своей жизни. Мы не знали своего будущего в этой пока еще чужой стране. Каждому оно виделось по-своему. Общим у нас было только настоящее.

Это было славное, счастливое время. Все мы только приехали из разваленной, голодной, несвободной, несмотря на все перемены, страны. Мы входили в эту новую, непривычную для нас жизнь и со шенячьим восторгом упивались свалившейся на нас свободой.

То, что каждый должен был тяжело пахать весь день, оставалось как-то за скобками. Это странно, но я до сих пор не знаю, чем многие из нас зарабатывали на жизнь. То ли потому, что в Америке не принято задавать такие вопросы, то ли оттого, что мы все воспринимали друг друга по иным признакам.

Спросите любого, кто принимал участие в походах «по пивным местам», посещал капустники «Дома культуры», тусовался в других мероприятиях «КОМПАНИИ»:

— Кто такой Гена Кацов? Кто он?

Каждый, не задумываясь, сразу бы ответил на этот вопрос:

— Кацов — редактор «Печатного Органа», журналист, поэт.

То, что Гена работал швейцаром в какой-то гостинице и зарабатывал на жизнь тасканием чемоданов, получая скудное жалованье и скромные чаевые, большую часть из которых он тратил на издание «Печатного органа», знали очень немногие.

Кто такой «Лаки»?¹⁴

Ну как же, это знают все!

— Лаки — это художник Володя Давиденко.

Чем Володя зарабатывал на жизнь, не знаю до сих пор. Это было почему-то неважно. Важным было, что он — Лаки, что он — художник, что они с Катей (чем она зарабатывала на жизнь, тоже не знаю) — «Странники Нью-Йорка».

И это не потому, что я, Марк Копелев, такой нелюбопытный. Думаю, что большинство моих знакомых чрезвычайно удивились бы, узнав, что я работаю портным. Для всех я фотограф. Как это у Маяковского: «Я поэт. Этим и интересен». Мы были интересны друг другу и окружающим тем, чем были интересны.

¹⁴ Lucky по-английски означает «счастливчик, везунчик».

Нам было хорошо вместе. Мы любили друг друга. Нам хотелось помогать друг другу. Настолько, что (вы даже не поверите) могли дать займы товарищу, который оказывался в еще более стесненных обстоятельствах. Что я однажды и сделал, когда увидел, как обычно заводной и веселый музыкант, назовем его вымышленным именем, скажем Аркаша, сидит мрачнее тучи.

— Что случилось? — спросил я.

— А... Полная жопа, — безнадежно махнул рукой Аркадий.

И он поведал мне, что для того, чтобы вытянуть из «совка» семью, он должен заполнить так называемый «аффедевит ов саппорт»¹⁵ и внести деньги. А денег не просто нет, а даже за квартиру платить нечем. Его музыка никому здесь не нужна. Заработать эти деньги он может, только работая водителем такси. Но чтобы работать в такси, он должен сдать на профессиональные права, а для этого опять-таки надо заплатить. Получался замкнутый круг.

Печальный жизненный опыт учит, что верить человеку можно, начиная с определенной суммы.

— Сколько? — спросил я.

— Пятьсот.

Нельзя сказать, что в Америке для человека работающего это очень уж большие деньги. Я прикинул, что если Аркаша вернет долг месяца через три-четыре, то я смогу выкрутиться. В Метрополитен-опера готовилось несколько новых премьер, и в связи с этим у нас было много сверхурочных. Так что возникали какие-то лишние деньги, которые никогда лишними не бывают.

— Пожалуй, я смогу помочь.

Не скажу, что глаза Аркадия наполнились слезами, но был он весьма близок к этому. Видать, его здорово приперло.

После этого мы несколько раз встречались с Аркашей на разных тусовках, каждый раз он говорил, что вот еще немного, еще чуть-чуть — и он отдаст, а потом просто исчез из поля зрения. Поменял место жительства, не звонил, на звонки не отвечал.

Прошел почти год. К тому времени у меня обокрали квартиру, унесли всю фотоаппаратуру и я оказался в ситуации, не намного лучше Аркашиной. С большим трудом, через общих знакомых, я нашел его новый номер телефона и позвонил. Ответил милый женский голос. Видимо, Аркадию удалось решить семейные проблемы.

— Его нет дома. Он на работе. Что передать?

— Когда придет, пусть позвонит Копелеву.

Мне не хотелось посвящать ее в наши финансовые отношения. Она-то тут при чем? Но утешало, что он при работе, а стало быть, платежеспособен. А не отдает... Ну, запоматывал, бывает.

Ответного звонка не последовало. Ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц. После этого я звонил еще несколько раз. Отвечали то жена, то дочь, то автоответчик, но сам Аркаша объявиться не удосужился.

¹⁵ Обязательство оказывать финансовую поддержку тем, на кого данный документ заполняется.

Тогда я решился. В очередном разговоре с его женой, я объяснил ей ситуацию, рассказав, на что были даны деньги. Через несколько дней общие знакомые передали мне 250 долларов. Сам Аркаша так и не объявился. Нужно ли говорить, что оставшихся денег я так и не увидел.

Этот случай я вспомнил не для того, чтобы вызвать сочувствие читателей или, упаси бог, похвалиться своим благородством — вот, мол, помог человеку в трудную минуту, а он, мерзавец такой, наплевал в душу. Хотя не скрою, горький осадок остался. Просто история эта весьма симптоматична для отношений в нашей эмиграции. И дело вовсе не в деньгах. Сдерживающий моральный фактор, который останавливал в России (во всяком случае, в той России, из которой я уехал), здесь не работает. Мысль о том, что знакомые не подадут тебе руки, не колышет. Циничную мудрость «чем меньше совести — тем больше всего остального» многие мои бывшие соотечественники восприняли слишком буквально.

В конечном счете, это, наверное, и есть ответ на вопрос, почему эмиграция столь сильно меняет людей. А может, и не эмиграция. Быть может, это примета времени. Теперь это называется «обуть лоха» и вызывает уважение окружающих.

Однако вернемся к деятельности «КОМПАНИИ» и «Печатного Органа».

Нимфетка подросла, окрепла и вошла в ту пору, когда созревшая женщина начинает ощущать, что ее прелести могут приносить ей вполне ощутимое материальное благополучие.

Кацов бросил свою работу в гостинице и стал заниматься только «Печатным органом». Газета уже выходила почти на 30 таблоидных страницах. У нее появились рекламодатели, в том числе и такие серьезные, как громадные телефонные компании AT&T и MCI. Русские бизнесмены тоже почувствовали, что реклама в «Печатном Органе» достаточно эффективна, и стали покупать место на страницах газеты. А так как они платили деньги, то нашей гордой девице пришлось немного умерить свой независимый нрав. Чтобы нравиться, девушке необходимо и платье от хорошего портного, и туфли на высоком каблуке, и фирменная косметика. Появились потребности. Потребности, извините за тавтологию, требуют денег. Деньги, как известно, существуют только в двух вариантах — либо их нет, либо не хватает. Эта милая барышня могла еще иногда взбрыкнуть, уповая на красоту и обаяние молодости, но постепенно желание взбрыкивать угасало. Чего строить из себя недотрогу, если платят.

У нас с Геной существовал уговор: я работаю бесплатно. Газета покрывает только мои вложения, то есть стоимость пленки, проявки, бумаги и прочие расходы, связанные с производством фотографии.

Профессиональный фотограф знает: чтобы что-то получилось, экономить на пленке не следует. Главное — кадр.

У «Печатного Органа» к тому времени появились и новые авторы, и новые фотографии. Но эта новая генерация относилась к делу вполне прагматично — вот вам 36 кадров (т.е. одна пленка), заплатите мне за это 20 долларов, остальное меня не колышет.

Наверное, так оно и надо.

Но я-то, старый козел, любил эту бывшую нимфетку и денег на нее не жалел. А великих страстей без денежных затруднений не бывает.

И вот однажды при подготовке очередного номера (кажется, как раз 23 февраля, отчет о котором читатель видел выше) я объяснил Гене, что для съемки этого события потребуется минимум пять пленок. Капустник есть капустник. Там много эпизодов, да и реакцию зрителей надо снять.

— Марк, мать твою трам-та-ра-рам, — сказал Гена, — ты меня разоришь! Вон фотограф N обещала мне 36 фотографий всего за 20 долларов. А у тебя только твои 10 пленок, я же тебя знаю, ты пятью-семью не обойдешься, будут стоить 50, да еще проявка и печать. А фотографий будет всего 15.

— Гена, — всплеснул я, — я же, блин, не гонорар у тебя прошу. Если вы с Кнопом из тех 36 фотографий выберете три, я обязуюсь до конца жизни работать на тебя бесплатно.

— Ну ты нахал! — восхитился Гена.

— Возможно, — отрезал я. — Просто знаю, о чем говорю.

Володя Кноп при этом только грустно усмехался.

Когда номер вышел в свет, в нем было 30 моих фотографий, в трех материалах и одна карточка неизвестной мне фотографии N.

После этого я сошел с круга. Я не смог больше удовлетворять аппетиты этой повзрослевшей профурсетки и стал наблюдать за жизнью «Печатного Органа» и «КОМПАНИИ» со стороны.

Не подумай, дорогой читатель, что мы поругались, поссорились с Геней. Нет. Просто, поскольку исчезло общее дело, связывающее нас, мы отделились друг от друга. Я по-прежнему появлялся на мероприятиях «КОМПАНИИ», снимая что-то для себя. Иногда, когда Гена просил, я давал какие-то фотографии в «Печатный Орган».

Но это уже была не моя газета.

Собственно, «Печатный Орган» был для Кацова инструментом завоевания Америки, утверждения себя как журналиста. Ничего предосудительного я в этом не вижу. Объективно Гена Кацов сделал большое дело — пусть на короткое время, но он собрал вокруг себя и вокруг «Печатного Органа», а впоследствии и вокруг кафе «Апувай» молодежную часть русскоязычной общины. До сих пор мои ровесники по эмиграции с ностальгией вспоминают это славное время.

Но... все проходит, все проходит...

«Оно, увы, навеки миновало, но в душах след остался навсегда», — как сказал великий русский поэт Апухтин.

«Anyway»

О кафе «Апувай» хочется сказать особо.

Его создание стало логическим продолжением деятельности «КОМПАНИИ». Возникла настоятельная потребность в месте, где *приятели, дяди и тети честных правил, младшие и старшие братья и сестры «КОМПАНИИ»* могли бы собираться для общения.

И вот тогда Гена Кацов, ведущий телевизионной станции RTN Сергей Граббе и бывшие члены правления «АРТ-ПАРТИИ “ПРАВДА”», которая со скандалами и дележом имущества к этому времени благополучно развалилась, Света Залуцкая и Алексей Панин сбросились и купили небольшое кафе на Второй авеню.

Подобные альянсы столь разных людей при совместном капитале всегда несут в зародыше разрыв. Я не в курсе, как у них там распределялись доли этого самого капитала, да мне это и неинтересно. Главное, что это кафе появилось. А поскольку работало оно в контакте с «Печатным Органом», обеспечивающим рекламу, публикующим анонсы событий, которые должны были случаться в «Апууэй», а потом отчеты о том, как прошло мероприятие, то это место быстро приобрело популярность.

Я буду глубоко не прав, если отнесу первоначальный успех этого проекта только на счет Гены. Все совладельцы кафе знали, чего они хотят. Им всем мерещился молодежный русский культурный тусовочный центр, где будут проходить маленькие выставки, литературные чтения, камерные джазовые вечера, встречи и т.д. Так что цели были общие. А вот приоритеты — разные.

Гена раскручивал связку: Кафе — «КОМПАНИЯ» — «Печатный Орган», справедливо полагая, что одно, влияя на другое, увеличивает рентабельность всех трех компонентов.

Для выпускника театрального института Сергея Граббе — это была игра в хозяина кабачка. Еще одна роль в его актерской палитре.

Для Светы Залуцкой и Алексея Панина, которые выказали себя весьма хваткими предпринимателями в пляске на костях «АРТ-ПАРТИИ “ПРАВДА”», на первом месте стояли вопросы бизнеса и уже только потом — все эти фокусы с культурным наполнением.

Я, конечно, могу и ошибаться, но таким виделся расклад со стороны.

На первых порах подобное распределение функций было вполне плодотворным. Каждый отвечал за свой участок, и дело шло весьма успешно. Нарботанный «КОМПАНИЕЙ» потенциал, т.е. люди, устремились в «Апууэй».

Это действительно было кафе для своих. Здесь можно было тихо посидеть, попить свежее пиво, съесть какое-нибудь фирменное блюдо Сергея Граббе по очень приемлемым ценам, послушать музыку, встретиться с друзьями, услышать новый анекдот. Можно было отметить день рождения и услышать поздравления от малознакомых (но знакомых, знакомых — в лицо-то почти все знали друг друга), познакомиться с девушкой (очень острая проблема в эмиграции). В общем, тут было тепло и уютно.

Понемногу сюда стали заходить и американцы, и наши русские, но не свои. Нет, не свои. Все реже и реже в «Апууэй» можно было встретить знакомое лицо.

От «КОМПАНИИ» и «Печатного Органа» постепенно отвалились Лаки с Катей, затем Володя Кноп, которых, как и меня, перестал удовлетворять алчный характер повзрослевшей нимфетки.

Кацову пришлось тянуть газету почти одному. Конечно же, пришли новые люди, но у них не было розовых воспоминаний о детстве этой девочки. Они и относились к ней как к взрослой женщине. То есть вполне потребительски.

Со временем в кацовском гареме из этих трех дам наметились противоречия. Каждая из них, как и любая женщина, не очень хотела делить время своего повелителя с другими. Каждая требовала внимания, каждая тянула одеяло на себя. Газета требовала новых материалов и финансовых инъекций, «КОМПАНИЯ» — свежих идей, кафе — серьезного ведения дел. Поклонники всех трех кацовских девушек потихоньку вырастали из коротких штанишек начального эмиграционного периода, выросли, становились на ноги. Бытие в который раз определяло сознание. Люди начинали вписываться в новую действительность, открывали для себя возможность карьеры в Америке, женились, рожали детей, покупали дома, уезжали из Нью-Йорка. Поэты переучивались на программистов, музыканты — на агентов по продаже недвижимости, режиссеры — на трэвел-агентов, художники — на дизайнеров тканей, скульпторы — осваивали производство фарфора. Кто-то, не вписавшись в крутые повороты своей судьбы, вылетал за борт, как, например, замечательный музыкант, виолончелист, руководитель группы «Out of order» Боря Райскин, который в минуту тяжелой депрессии покончил с собой. Кто-то замедлял ход, сходил с дистанции, возвращался в точку старта. То есть на родину.

Читатели «Печатного Органа», освоив язык, открыли для себя американские газеты. Наша провинциальная русскоговорящая нимфетка, утратив свежесть и обаяние молодости, уже не выдерживала конкуренции не только с богатыми англоязычными светскими львицами, но даже со старой скупой генеральшей — «Новым русским словом».

Гена вынужден был закрыть газету.

«КОМПАНИЯ», обескровев от потери своих старых членов, тихо скончалась под тяжелые вздохи родственников — младших и старших братишек, сестренки и дядьев честных правил. Надо сказать, что у усопшей действительно был хороший характер, потому что даже сейчас, много лет спустя, когда я встречаю членов «КОМПАНИИ», все вспоминают покойную с грустью и теплотой.

Прощетало только кафе «Аnyway».

Но и здесь произошли определенные метаморфозы.

Сергей Граббе, поиграв в эту игру, поостыл. Отдавать себя почти каждый вечер кафе было затруднительно. Да и, как я догадываюсь, материальный возврат не совсем соответствовал вложенному времени и усилиям. Граббе отплыл в сторону.

Гена, потеряв двух любимых женщин в лице газеты и «КОМПАНИИ», со всем пылом своей талантливой натуры взялся было за кафе, но противоречия, заложенные в самой основе этого предприятия, видимо, дали себя знать. Эта растолстевшая, сытая третья жена, в которой уже было трудно признать ту веселую разбитную девку, каковой она была вначале, плюнула на заблуждения своей молодости, на всякие там «культура-мультиур» и смыслом своей жизни сделала зарабатывание денег.

Хочу заметить, что деланье денег — столь же увлекательное и творческое занятие, как, скажем, писание книг, фотографирование или выпуск газеты. Если не более. Знаю об этом не понаслышке. Когда в «совке» меня вышибли с телевидения и я вынужден был заняться швейным бизнесом,

деньги, которые я стал зарабатывать, потрясали мое не избалованное ими воображение. Но деньги — как алкоголь: в умеренных количествах он приятен и создает хорошее настроение, в больших — пьянит, заставляет терять голову и поднимает всю пену со дна души человеческой. В этом увлекательном деле рано или поздно нужно определиться, чем ты можешь поступиться. «Чем больше у тебя денег, — заметил Теннесси Уильямс, — тем больше знакомых, с которыми тебя ничто не связывает, кроме денег». А это скучно, господа, ой как скучно! Поверьте мне. А если не верите, посмотрите на своих внезапно разбогатевших бывших друзей.

Не берусь утверждать, но, при взгляде со стороны, у меня сложилось впечатление, что Гена слегка заскучал в компании Залуцкой и Панина. А может, они просто что-то там не поделили. Чего не знаю, того не знаю. Хотя что тут не знать! Люди, как правило, всегда ломаются на одних и тех же вещах — на славе и деньгах. «Апуway» в том виде, в каком замышлялось, просуществовало недолго.

Нет, не подумайте, что они прогорели и вышли из бизнеса. Кафе «Апуway» существует и по сей день. И даже картинки какие-то по стенам иногда развешивают. И группки какие-то изредка играют. Но из него ушел тот дух любви, товарищества, теплоты и веселья, который был там во времена «КОМПАНИИ».

А Гена...

Гена, уйдя из «Апуway», ринулся в какие-то другие свои проекты, о которых мне известно мало.

Грустно, господа! Ах, как грустно...

«Крыша»

Как поется в одной некогда популярной советской песенке, *«ничто на земле не проходит бесследно»*. Кафе «Апуway», как наше уставшее светило в период своей активности, выбросило протуберанец, который еще некоторое время вихрился в пространстве русского Нью-Йорка.

История такова.

Три приятеля — телеведущий, бывший совладелец «Апуway» Сергей Граббе (в «девичестве» Грабченко), инженер-мостовик Владимир Шагин и диск-жокей Женя Варва по кличке «Кошмар», познакомившись в кафе «Апуway», подружились и, когда семейные и жилищные обстоятельства сложились не самым благоприятным образом, решили снять жилье на троих. В Нью-Йорке, где квартирный рент идет вверх со скоростью космического корабля, это не редкость.

Опять-таки, как показывает жизненный опыт, подобные альянсы весьма неустойчивы. Одно дело выпивать по вечерам в кафе в окружении *«лихих друзей и хмельных красавиц»*, а потом расплзаться по своим берлогам с этими красавицами, и совсем другое дело жить с лихими друзьями под одной крышей, занимаясь тем же самым. У каждого, помимо этого, есть еще своя жизнь, работа, настроение, да и посуду в общей квартире надо мыть по очереди. Так что поводов для конфликтов всегда хватает.

Но надо сказать, что наши герои оказались на редкость терпимы друг к другу. Найдя квартиру из двух длинных вагонообразных комнат и маленькой кухни на последнем этаже трехэтажного билдинга в Бруклине, они довольно мирно зажили, перенеся то, что уходило из «Apuway», в свое новое жилище. Другими словами, народ у них толпился с утра до вечера.

А ребятаки собрались довольно яркие.

Сергей Граббе, выпускник актерского факультета Киевского театрального института, высокий, стройный и при этом, несмотря на внешние данные, весьма неглупый. Один из тех, за которыми, как говорит моя мама, нужно высылать «бабоборочную машину». Правда, Сергей Граббе в этой бабоборочной технике не нуждался, так как прекрасно управлялся сам.

Инженер-мостовик, выпускник Харьковского инженерно-строительного института Владимир Шагин (прошу искушенного читателя не путать его с «митьковским» Дмитрием Шагиным) был персонажем иного рода. Потерпев крушение на скользкой дороге супружеской жизни и зарекившись еще раз вступать на этот тернистый путь, он в свободное от работы время лежал на диване и сочинял стихи. Весьма неплохие, должен сказать. Вагон его в квартире наших друзей был последним, поэтому буйные вихри совместного проживания, наткнувшись на запертую дверь, разворачивались обратно в головные вагоны поезда. То есть в комнату Граббе и Кошмара или на кухню.

Работа его в те времена, по свидетельствам очевидцев, выглядела следующим образом: продрав часам к двенадцати глаза, он почесываясь, часа два болтался по квартире, затем садился к компьютеру и, потыкав полтора часа пальцем в клавиатуру, опять заваливался спать, с тем чтобы проснуться к вечернему футболу или хоккею. А поскольку Владик Шагин — весьма толковый специалист в своем мостовом деле, то за эти полтора часа бодрствования он успевал натывать вполне достаточно, чтобы в пятницу отнести в контору результат трудов своих праведных и получить за это недельный чек.

Когда он сочинял стихи, сказать затрудняюсь. Скорее всего, поэтические озарения приходили к нему, как к любому талантливому человеку, во сне. Стало быть, нужно отнять половину компьютерного бодрствования на запись этих озарений.

Согласитесь сами, что человек, который спит почти 24 часа в сутки и при этом приносит вполне приличный чек, а иногда, распахнув ногой дверь, радуется друзей новым поэтическим шедевром, очень удобен в быту. Поэтому и его друзья, и их многочисленные подруги души в нем не чаяли.

Что же до диск-жокея Жени Кошмара, то тут, видимо, объяснять ничего не надо, так как читатель прекрасно и без меня понимает, что диск-жокей — это не профессия, а диагноз. Да и псевдоним говорит сам за себя.

Так вот центр тусовочной жизни переместился из «Apuway» в жилище наших приятелей.

Этому способствовало еще одно немаловажное обстоятельство. Любопытный Женя Кошмар обнаружил рядом с дверью в их новое жилище лестницу, ведущую куда-то наверх. Поскольку наши герои занимали последний этаж, то вывод напрашивался сам собой — лестница ведет на крышу.

Другого, менее пытливого, отрока это обстоятельство никак бы не заинтересовало. Ну ведет и ведет. Великое дело. Тем более что венчал эту лестницу люк, запертый на громадный висячий замок.

Но не таковы были наши герои.

Разжившись подходящим слесарным инструментом, они темной ночью перепилили скобу замка и выбрались на крышу. Картина, открывшаяся их взору, была весьма впечатляющая — под ногами лежал сияющий огнями Бруклин, а на горизонте маячила величественная панорама Манхэттена. Сама же крыша, плоская, как стол, с замечательно твердым гудроновым покрытием, была огорожена прекрасной, в половину человеческого роста, балюстрадой, чем напоминала танцевальную площадку в парке культуры и отдыха где-нибудь в районе Крещатика в Киеве или Сумской улицы в Харькове, откуда родом наши герои.

Нужно ли говорить, в каком направлении работают мозги диск-жокея, когда он видит подобное пространство? Крыша была немедленно присоединена к владениям нашей троицы. Установили дискотечную аппаратуру и — понеслось.

Сколько человек может собираться в маленькой квартире каждый вечер? Ну десять, ну пятнадцать — да разве ж это размах? То ли дело крыша, где одновременно может оттягиваться свыше ста человек! Вот это серьезно! Вот это по-нашему!

Не знаю уж, как наши герои урегулировали все спорные вопросы с лендлордом и соседями, но «крыша» процветала, оттянув поклонников из манхэттенских русских тусовок.

Сам я к тому времени из всей этой «светской жизни» уже выпал и о «крыше» знал только понаслышке. И тем не менее косвенным образом я оказался причастен к концу этого славного места.

Здесь придется сделать небольшое лирическое отступление.

Не хотелось посвящать тебя, читатель, в подробности моей семейной жизни, но, к сожалению, без этого не обойтись. Как ты мог понять из первых глав этой книги, в эмиграцию я приехал не один. Семья моя состояла из четырех человек — я, жена Лиля, двадцатидвухлетняя дочь Лера и ее сын, а стало быть, мой внук Тема. Не буду рассказывать, почему нам пришлось расстаться с супругой, — это неинтересно да и никого не касается. Типичная для эмиграции история — почти половина приехавших семей распадается. Это предмет более длительного и серьезного анализа, который в задачу данной книги не входит.

Дочь Лера, как и многие молодые люди ее возраста, быстро освоила английский язык, закончила вначале колледж, затем университет, защитила *master degree*, получила работу в крупной американской компании. То есть вполне вписалась в американскую жизнь.

Но личная жизнь у многих русских ребят, приехавших сюда в сознательном возрасте, клеится с трудом. В причины этого опять-таки вдаваться не буду. Здесь много чего намешано. Это тоже тема для отдельного серьезного разговора.

Лера, с которой у нас скорее приятельские, товарищеские отношения, нежели просто отношения между отцом и дочерью, тусовалась, естественно,

в тех же компаниях, что и ее папочка, причем многие даже не догадывались, что нас связывают родственные узы.

Продолжала она это занятие и тогда, когда мне все это слегка прискучило.

Так вот у моей дочери Леры случилась большая любовь.

Гена Кацов (ох уж этот Кацов!) после всей эпопеи с «Печатным Органом», «КОМПАНИЕЙ» и «Апувай» скооперировался со Львом Трахтенбергом, и они решили устраивать тусовки на пароходике, который курсировал вокруг Столицы Мира. Откупалось плавучее средство, устанавливалась дискотечная аппаратура (а где дискотека, там и Кошмар, а где Кошмар, там и Граббе с Шагиным), накрывались столики, и все это в течение вечера крутилось, плыло, скользило вокруг Манхэттена.

Ах, читатель, читатель!

Я вспоминаю себя в этом возрасте, когда с любимой девушкой, имени которой уже и не помню, да нет, помню, помню, конечно же помню, просто называть не хочу, я плыл на таком же пароходике по Неве. Как играла музыка, как в черной воде отражался шпиль Петропавловской крепости и полыхали факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова. Как мосты разводили руки, пропуская и благословляя нас, а я читал стихи, я был остроумен, и мы целовались, целовались и целовались

Нечто подобное случилось и с моей дочерью, когда она и две ее подружки познакомилась на этом пароходике с мрачноватым поэтом сидящим за столиком в гордом одиночестве и рыжем пиджаке.

— Угощайтесь, девушки, — предложил Поэт и подвинул им коробку конфет.

— Ах, гранд мерси, гранд мерси, — хором сказали подружки, — ну что вы, что вы, не стоит.

И дружно навалились на конфеты.

— А как вас звать? — наверное, спросил Поэт.

— Лера, Марина, Вика, — хором сказали девушки, — а вас?

— Шагин, — с хохлацким акцентом, упирая на «г», представился Поэт. — Берите еще. А вина не хотите?

— Ну что вы, что вы, — сказали девушки, — конечно хотим.

Шагин очаровал их щедростью и широтой своей поэтической натуры. Этот объект заслуживал внимания, несмотря на рыжий пиджак.

Сам объект сидел и смотрел на наших трех красавиц, как витязь на распутье перед камнем, на котором начертано, что в какую сторону ни пойдешь — добром это не кончится.

— А давайте выпьем еще, — взял тайм-аут Шагин, чтобы определиться, какую же из этих трех гибельных дорог выбрать.

— Давайте, — сказали дороги и выпили.

В этот момент к ним подошла пара.

— Ребята, — сказали они, — мало того, что вы заняли наш столик, вы еще пьете наше вино и закусываете нашими конфетами. Мы, конечно, не возражаем, но все-таки...

Какую-нибудь другую девушку такая бессовестность молодого человека, наверное, оттолкнула бы.

Но Лера все же была моей дочерью. Она оценила столь неординарное поведение. Так непринужденно угощать чужим вином и чужими конфетами за чужим столиком... Согласитесь, в этом что-то есть!..

Короче, не успел наш «витязь на распутстве» сообразить что к чему, как его коня уверенной рукой взяли под уздцы и повлекли по той, самой опасной дороге, про которую на камне было высечено: «Налево пойдешь — голову потеряешь».

Шагин и Лера в скором времени поженились и отъехали в пригород, купив дом недалеко от меня в Нью-Джерси.

За ними, приобретя дом в этом же городке, последовал Граббе, который тоже поскользнулся на раздолбанной дороге любви. «Бабоуборочная машина», забуксовав, свалилась в кювет. Очередная любовь закончилась на этот раз браком.

Кошмар остался один.

«Крыша» перестала функционировать.

Cherchez la femme, друзья, cherchez la femme!

Признание в... (Портрет художницы Юлии Беломлинской)

Признаюсь!

Признаюсь в чувстве, мало украшающем интеллигентных людей, к коим я самонадеянно причисляю и себя.

Я **ненавижу** Юльку Беломлинскую.

В ней аккумулировалось великое множество черт, которые я не принимаю — категоричность и крикливость, шумная избыточность, навешивание ярлыков на людей, ей почти не знакомых, скромное упоение собственной персоной, стремление растолковывать смысл того, что и без нее вполне понятно даже моей собаке Пеппи.

На всех манхэтгенских, бруклинских и квинсовских перекрестках всем и каждому она рассказывает о своих любовных переживаниях, причем с такими живописными подробностями, что человек, не закаленный общением с ней, покрывается испариной и при первой возможности тихонько отползает в сторону.

Ее много. Она всюду, всегда и везде. Жизнь нью-йоркской тусовки немыслима без Беломлинской. На какую бы выставку, на какую бы встречу я ни пришел — она уже там, и вокруг нее протекает легкое бурление.

Поэтические чтения в «Дяде Ване»¹⁶. Нью-йоркские русские стихотворцы читают свои произведения, а потом хвалят друг друга.

Юлька на манеже. Сказать, что я в восторге от ее стихов, значит очень сильно покривить душой. На мой вкус, в них много выпендрежа. Хотя допускаю, что на сей предмет могут существовать и другие точки зрения. Присутствующим здесь тонким ценителям прекрасного это, похоже, нравится. Во всяком случае, косясь друг на друга, они бурно аплодируют.

¹⁶ Русское кафе в Манхэттене, которое держит актриса Марина Трошина, исполнявшая главную роль в фильме «Отряд особого назначения».

Ну что ж, я не поэт и не литературовед. Я фотограф. Мое дело снимать. Потом разберемся. Камера, знаете ли, видит лучше.

Выставка в «Оранжевом Медведе». Этот занюханный бар стараниями Константина Кузьминского и Юлии Беломлинской превратился в последнее время в русский тусовочный центр.

По стенам — громадные полотна идеолога «АРТ-ПАРТИИ “ПРАВДА”» Александра Шнурова. Жуткие, выписанные в серо-сине-голубой гамме монстрообразные сюжеты. Тошнотворные, но обладающие какой-то притягательной магической силой. Глядя на них, хочется удушиться. Впрочем, не исключено, что автор и ставил перед собой эту задачу.

Юлька на входе. Продает билеты. Желающих войти много. Желающих заплатить за вход — нет. Такова специфическая особенность «русской комьюнити» — тусовка «на халяву».

— Ну и что же, что устройство выставки требует денег? Здесь же все свои. За что же платить?..

Юлька находит решение вполне в своем стиле. Вход объявляется бесплатным, а деньги она взимает за показ груди, которую тут же и обнажает к вящему восторгу страждущих. Тут уж пятерки не жалко. И даже не за удовольствие лицезреть пышный Юлкин бюст, а чтобы вознаградить прыгив во имя общественной пользы. Шутка сказать — человек грудью прикрыл финансовую амбразуру...

Не будем оценивать суть происходящего. Я не инспектор полиции нравов. Мое дело нажать на кнопку. Зафиксировать «момент Истории», так сказать. Хотя, если честно, момент этот мне не совсем нравится. И вовсе не с точки зрения общественной морали. Просто это опять-таки выпендрож, чего я на дух в людях не переносу.

Месяца три-четыре спустя. Тот же «Оранжевый Медведь». Теперь здесь правит бал Ярослав Могутин — новое открытие Константина Кузьминского. Молодой человек — как бы это поэлегантнее выразиться? — «нетрадиционной сексуальной ориентации». Говорят, что за этот «подвиг» он даже получил статус политического беженца. Другими словами, «Оранжевый Медведь» слегка поголубел.

В прошлый раз, на вечере памяти Алена Гинсберга, Ярослав поведал слушателям, как он «клеил» мальчиков в каком-то американском университете, куда его пригласили с чтением лекций.

Сегодня — презентация книги его стихов с красивым и двусмысленным названием «Упражнения для языка». Как без лишней скромности заявлено в анонсе, «*это самая шокирующая книга в истории русской литературы*».

Получив в подарок от презентанта книгу в знак преклонения перед моими заслугами в области фотографии (хотя я стопроцентно уверен, что ни одной моей фотографии Могутин никогда не видел), я пролистываю ее и, натолкнувшись на ряд условно-стихотворных признаний из сексуальной жизни автора и бессмысленное, ничем не мотивированное обилие ненормативной лексики, понимаю, что язык данный стихотворец использует в основном не в качестве инструмента говорения. Видимо, это и послужило основанием назвать сей плод натужных усилий «самой-самой в истории русской литературы».

Ну тут вы, ребята, что-то не того...

Во-первых, надобно еще доказать, что это *Литература*, и уж тем более что книга сия есть вежа в ее истории. А во-вторых, эпитет «самый-самый» вообще всегда вызывает у меня ироничное отношение, ибо, как правило, свидетельствует о недостаточной образованности автора. Ну что значит — «самая шокирующая»?.. И Барков был, и Набоков со своей «Лолитой», и Михаил Кузмин — тоже, между прочим, певец однополой любви. С одной маленькой, надо сказать, поправкой — это все-таки была Литература. А тут — так... упражнения для языка...

Но это к слову. Не о Могутине речь, а о Беломлинской.

Сегодня они друзья, и каждый перл, вылетающий из уст Ярослава, воспринимается ею с восторгом и упоением. В качестве хозяйки тусовки в «Голубом Медведе» она ведет презентацию.

Стоя перед микрофоном в длинном черном платье и широкополой шляпке, будто доставшейся ей в наследство от прапрапрабабушки и долженствующей подчеркивать утонченность ее имиджа, она в течение часа рассказывает присутствующим, почему на суперобложке книги детородный орган Ярослава Могутина выглядит столь внушительно и что «на самом деле он значительно меньше».

— Ну совсем, совсем маленький. Это просто ракурс такой, — объясняет она гогочущей публике, — ну фототрюк...

Тут она, пожалуй, права. Как фотограф свидетельствую — если иметь вкус к съемке подобных вещей, то можно сделать и покруче.

Наконец кто-то из утомленных присутствующих присылает записку: «Хватит п....ть, зае.....ла!!!» На что Юлька, огласив записку, отвечает в адекватных выражениях.

От всего происходящего становится муторно и противно. И скучно.

Естественно, я наблюдаю и снимаю Юльку Беломлинскую не только на этих безвкусных мероприятиях. Пересекаемся мы с ней и на концертах классической музыки, и в частных компаниях, и на встречах с действительно хорошими поэтами и писателями. Она, как я уже говорил, вездесуща.

Вот одно из наблюдений.

В клубе «Оскар», что на 33-й East Street в Манхэттене, выступает Дмитрий Бобышев. Зал маленький, народу не много. Пожалуй, только те, кто знает, что этот поэт был в свое время достаточно заметной фигурой в Ленинграде и принадлежал к кругу молодых писателей, художников и поэтов, в который входили Рейн, Найман, Ефимов, Уфлянд, Кушнер, Иосиф Бродский, тогда еще не нобелевский лауреат, и многие другие, ныне известные литераторы. Бобышев читает ностальгические стихи о Ленинграде, которые — хороши ли, плохи ли, судить не берусь, — но трогают какие-то струны в душе каждого питерца.

В середине чтения входит Беломлинская, шумно плюхается в кресло и, посидев минут пять-десять, покидает зал, не потрудившись придержать скрипящую и хлопающую дверь.

Я выхожу за ней перезарядить пленку.

— Ты чего расшумелась? — спрашиваю.

— Да говно все это, — отвечает Юлька. — Нафталин. Я вообще его стихи не люблю.

— Так зачем пришла?

— А с Хвостом встретиться.

«Хвост» — художник и поэт Алексей Хвостенко. Автор многих бардовских песен, в том числе и знаменитой «Над небом голубым есть город золотой...», известной многим в исполнении «Аквариума»¹⁷. Алексей тоже был вхож в этот круг, и, видимо, Юлька знает, что Алексей собирался прийти на встречу с Бобышевым.

«Хвост» действительно появляется, незаметно, бочком проскальзывает в зал и тихонько устраивается в кресле. А я думаю: ну почему же он, Хвостенко, чье имя было известно всем питерцам, да и не только им, хоть и опоздав, тихо и скромно сидит и слушает, а Юлька устроила из своего появления такой цирк?

Я ненавижу Беломлинскую. За эту ее бестактность. За это наплевательское отношение и к тому, кто читает, и к тому, кто слушает. *ЕЙ* не нравится — а остальных можно не принимать в расчет...

Не-на-ви-жу...

Так почему же?..

Почему, когда я смотрю на ее рисунки, душа начинает ныть от наслаждения и нежности?..

Я смотрю на ее досочки, обыкновенные кухонные досочки, которые она расписывает сюжетами из жизни еврейского местечка, и удивляюсь: откуда она, ленинградская девочка, все это знает? Какой генетический уровень, какая спираль ДНК проявили это знание?

Я смотрю на библейские лики местечковых евреев — крестьян, приказчиков, портных, сапожников, на деревенские тарантасы с кривыми колесами, на то задумчивых, то улыбающихся лошадей, на травку, на деревца, выписанные легкой Юлькиной рукой, — и в сердце мое входят Любовь и Нежность.

Я смотрю на Юлкин тонкий профиль, который присутствует почти на каждой ее картинке, и мысленно обращаюсь к ней:

— *Юлечка, лапушка, ну что же ты с собою делаешь? Да перестань ты заниматься всей этой дребеденью! Зачем тебе все эти пошлые тусовки, зачем это мелькание перед микрофоном, зачем тебе этот «Серо-буро-голубой Медведь»?! Зачем тебе весь этот выпендреж?! Рисуй! Рисуй днем и ночью!!! Бог дал нам жизнь, а тебе еще и талант, не для того, чтобы добавит зла в этот и так не слишком хорошо устроенный мир.*

Рисуй!!! Ибо от каждой твоей линии, от каждого твоего мазочка, от каждого твоего, и только твоего, маленького штришка в мире добавляется Доброты.

Ведь вот ЭТО за тебя не может сделать никто...

Я смотрю на мой портрет Беломлинской... С фотографии на меня глядит тургеневская барышня, робкая, незащищенная, ожидающая чего-то...

Господи, как же я ненавижу Юльку Беломлинскую!

¹⁷ Проблема авторства этой песни многих ставит в тупик, потому что сам Алексей говорил мне, что текст написал Анри Волохонский. Музыка же, как известно, принадлежит отцу Галилея, который был лютнистом и композитором.

Феликс Комаров

В январе 1996 года в Челси в фойе Meisner Theater состоялась моя первая персональная выставка.

Эпохальное событие это проходило в рамках первого Русско-американского культурного Форума и особого потрясения в Америке не вызвало. Во всяком случае «Нью-Йорк Таймс» об этом не писала.

Что обидно.

Но я ходил гордый и счастливый — какая-никакая, а персональная выставка. Не у каждого бывает всего через два года после того, как он впервые взял в руки фотоаппарат.

Вообще-то выставка для любого начинающего фотографа — это инвестиция в собственное тщеславие. Подготовить ее стоит больших денег. Напечатать работы большого выставочного формата, натянуть их на картон, вставить в рамы — все это очень дорого, а надежды, что это кто-то купит, никакой. Сейчас все фотографы — фотоаппараты есть у всех. Ценность фотографии в глазах обывателя скомпрометирована.

А уж ощутить разницу между *Фотографией и карточкой* вообще способны очень не многие. Но и эти немногие тоже не будут покупать фотографию никому не известного фотографа за те 200–300 долларов, которые он в нее вложил. Обыватель, может быть, еще купит какую-то фотографическую картинку долларов за 10–15, чтобы повесить ее над камином или в сортире. Но это обязательно должно быть что-то нейтральное — красивые цветочки в красивой вазе, красивый пейзажик — и уж конечно же в цвете. Хотя с кем бы я ни говорил, почти все в один голос признавались, что любят черно-белую фотографию.

Исключение составил только один человек — Феликс Комаров.

Феликс Комаров — бизнесмен из новых русских. На чем он сделал деньги, мне неизвестно. Один нью-йоркский облыститель врал, что Феликс был первым человеком в России, который стал торговать «роллс-ройсами». Где были взяты деньги на самый первый «роллс-ройс», этот врун, конечно же, не сказал, ну да и бог с ним. «Роллс-ройсы» никакого отношения к нашему повествованию не имеют. Об искусстве разговор.

Русский художественный мир Нью-Йорка Комаров взволновал тем, что, объявившись здесь, решил отлить в золоте, серебре и платине скульптуры Шемакина и Неизвестного, а также открыл галерею русского (точнее, бывшего советского) андеграунда на Пятой авеню в районе Музейной мили и сразу прослыл крутым меценатом. Этаким нью-йоркским Третьяковым-Морозовым.

Все это вызвало сладостный ажиотаж в среде признанных и непризнанных бывших советских художников и скульпторов. А также фотографов, потому что многочисленные презентации, которые устраивал на первых порах Феликс Комаров, требовали быть запечатленными на пленку. Это провоцировало активные попытки припасть на грудь меценату в надежде зачерпнуть свою толику из живительного финансового источника.

Бывал на этих мероприятиях и я. Правда, по несколько иным резонам. Как уже было сказано ранее, мое финансовое благополучие, к счастью, не

связано с фотографией. На этих тусовках я появлялся с целью поснимать художников, а также зафиксировать данное событие как одну из граней жизни русской эмиграции. И пока мои коллеги по фотоделу крутились вокруг Комарова, я, стоя в стороне, потихонечку снимал весь этот цирк.

Такое независимое поведение, видимо, заинтриговало Феликса (что-то было в этом странное и непривычное для него) и либо он спросил кого-то про меня, либо просто кто-то что-то ему наплел (к тому времени я был уже довольно известен в нашей эмиграции благодаря публикациям в русскоязычной прессе Америки), но неожиданно он подошел ко мне сам и покровительственно, сразу на «ты», сказал:

— Вот тут все говорят, что ты хороший фотограф. Я хотел бы посмотреть на твои фотокарточки.

Я не стал заострять внимание предполагаемого мецената на терминологических тонкостях и объяснять разницу между фотографией и фотокарточкой, а просто спросил, когда и где он хотел бы взглянуть на мои портфолио.

«Чем черт не шутит, — думал я, — может, его это и заинтересует и у него возникнет безумное желание вложить несколько тысяч в мой альбом. Вон все вокруг говорят, что он меценат. Я же не навязывался. Он же сам пригласил», — уговаривал я себя.

В назначенный день и час, миновав несколько дорменов и секьюрити, я поднимался в зеркальном лифте на какой-то немисливо высокий этаж билдинга на, кажется, Мэдисон-авеню в Манхэттене, где располагалась квартира Комарова. Дверь открыл не то секретарь, не то помощник, окинул меня оценивающим взглядом и, видимо не найдя в посетителе ничего заслуживающего его высокого внимания, провел в гостиную.

— Жди, — почему-то тоже на «ты» сказал он и удалился.

Я огляделся, и в глазах у меня зарябило от обилия несовместимых цветов. По стенам были развешаны громадные полотна Целкова с присущими ему мощными желто-сине-зелено-малиновыми массами. И в картинной-то галерее это сочетание вызывало у меня легкую идиосинкразию, а в частной квартире производило просто убойное впечатление. Это притом, что против Целкова я в принципе ничего не имею. Даже наоборот — многие его работы мне нравятся, но вешал бы я их по одной в разных залах. Вместе возникает ощущение сильного перебора.

В углу стоял отлитый-таки в серебре, золоте и, наверное, платине (честно признаюсь, я в этом не очень разбираюсь) шемякинский «Петр Первый», чем-то неуловимо напоминающий Комарова. Размером он был чуть поменьше оригинала, стоящего во дворе Петропавловской крепости, и опять-таки наличие его в квартире производило дикое сюрреалистическое впечатление. Вокруг располагалось еще несколько работ из благородных металлов — судя по стилю, того же Шемякина. Лично я от этого стиля вообще не в восторге, но, как говорится, о вкусах не спорят.

В этот момент появился хозяин квартиры.

— Ну, показывай, — снисходительно приказал он.

Я достал свое лучшее портфолио, которое условно для себя называл «Мой Нью-Йорк». Черно-белые фотографии (цветной части тогда еще не было) городских пейзажей; уличные сценки; старик с затравленными гла-

зами, предлагающий флаерсы; бездомный, спящий в корзине на колесах с надписью «Property of US mail»; художники, рисующие в Центральном парке; негритянка, сидящая на постаменте памятника Зингеру, как будто ожидающая, когда этот бронзовый истукан выполнит ее заказ...

Комаров неспешно, как-то даже слегка брезгливо, пролистал альбом и разочаровано спросил:

— Так ты что, цветных карточек не делаешь?

Я, в отличие от многих моих коллег по фотографической профессии, не считаю, что художественная фотография непременно должна быть черно-белой. Она может быть и цветной, если снимаемое событие этого требует. Просто у обычной цветной фотографии есть один недостаток — она буквально повторяет жизнь. Нет *пространства для домысливания*, что, собственно, и отличает искусство от неискусства. С цветом надо что-то делать. Нужно заставить его работать. Для этого недостаточно просто цветной пленки.

У меня было с собой портфолио, сделанное в цвете. И фотографии там были довольно приличные. Но показывать его мне почему-то не захотелось. Во всем этом визите была какая-то двусмысленность. Хотя я у него ничего не просил, чувствовал я себя убогим просителем.

— Нет, — соврал я, — я работаю только в черно-белой фотографии.

— Ну, брат, — покровительственно сказал Комаров, — тут ты не прав. — Он сделал паузу, набрал воздуха и выдал, видимо, не раз говоренную заготовку: — Работать надо *только* в цвете. *Цвет — это основа всего!!!*

Он широким жестом показал на стены, от которых у меня давеча шел мороз по коже.

— Я учту, — не вдаваясь в дискуссию, согласился я.

Директивы, как надо творить, любой художник воспринимает не слишком благосклонно. А от спорной сентенции «*цвет — это основа всего*» явно пахивало кондовым «совком». Партия — наш рулевой. Коммунизм — наша цель. Пушкин — это наше все. Цвет — это... далее по тексту.

Тут, к счастью, зазвонил телефон. Феликс сделал царственный жест — мол, свободен, — и я, проклиная все и всех на свете, а больше всего себя, отчалил из этого царства цвета и серебряно-золото-платиновых шемякинских уродов.

Урок был преподан замечательный.

Я шел по Мэдисон-авеню, и в мозгу звучал знакомый глумливый голос: «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут...»

Хотя я вроде и не просил...

Но ведь пришел же... Стало быть, надеялся на что-то.

Несмотря на мой не слишком удачный опыт общения с Комаровым, справедливости ради должен отметить, что объективно Феликс делал большое и нужное дело. Отливку в золоте и серебре шемякинских шедевров можно отнести к издержкам вкуса и причудам быстро разбогатевшего человека. Ну завелись лишние деньги — почему бы не порезвиться?

А открытие русской галереи на Пятой Авеню, да еще в самом престижном месте этой улицы, в районе Музейной мили, вообще трудно переоце-

нить. До этого русские галереи если и существовали в Нью Йорке, то были столь малы и незаметны, что и сказать-то о них практически нечего. О галерее Нахамкина я не говорю, потому что она к тому времени тихо умирала. Американские галереи иногда устраивали выставки русских художников, но это были разовые акции, и единственной серьезной галереей, интересовавшейся русским искусством, была отпочковавшаяся в свое время от Нахамкина знаменитая «Mimi First» в Сохо, перед входом в которую как символ российского искусства стоит громадная шестнадцатисисечная тетка работы того же Шемякина. Как говорится, «соси — не хочу».

К сожалению, галерея Комарова, которая называлась «Russian World Gallery», просуществовала весьма не долго. Быть Третьяковым-Морозовым оказалось накладно и хлопотно.

Феликс закрыл галерею и открыл ресторан.

Вечер в Дворянском собрании

Наблюдая жизнь вокруг себя, не перестаю восхищаться тягой моих соотечественников к прекрасному. Поражает-то меня даже не сама эта тяга, а причудливые формы ее выражения. Так сказать, *«материализованные представления о «красивой жизни»*.

Например, мои русскоговорящие коллеги женского пола по портновскому цеху в Метрополитен-опера могут заявиться на работу в роскошном соблазе манто. Да в таком, что Чечилия Бартолли или Рене Флеминг, которые шагают тут же по коридору, могут запросто потерять голос от зависти.

А чем мы хуже?! И шубейка-то у нас *лучшее!*

А какие свадьбы у нас на Брайтоне!!! Жених в белой фрачной паре — принц Уэльский; стокилограммовая невеста в пене из кружавчиков, с блестками и с длинным шлейфом, который несут раскормленные дети — ну вылитая принцесса Диана; гости с пачками шесть на девять все в токсидо и при бабочках — лорды, блин, палата пэров да и только. Столы ломаются, водка — рекой, пляски и танцы до утра, разборки с мордобитием — красота! Вот она, красивая жизнь! Вот она, с таким трудом завоеванная свобода! Есть что вспоминать целую неделю.

Главное слово в русскоговорящей рекламе — *«шикарно»*.

«Шикарные постельные комплекты фирмы “Бауэр”!»

«Шикарные дубленки фирмы “Лимонти”!»

«Роскошные меха от “Манзари”!»

«Шикарное эстрадное шоу легендарного Филиппа Киркорова в шикарном казино “Тадж Махал”!»

«Шикарная одежда фирмы “Денимах”! — В нашем магазине одевается сама легендарная Елена Образцова!» И тут же интервью со стареющей примой, которая рассказывает, как «очень недорого — ну за какие-нибудь 500—1000 долларов» что-то там прикупила по мелочи.

«Шикарная мебель с мебельной базы “У колеса”!» — «Я был там. Там же все есть!» — фальшивым голосом поражается легендарный Николай Сличенко.

«Шикарная косметика от фирмы “Secret by Galina”», — доверительно сообщает владелица фирмы, бывший диктор бывшего Центрального телевидения Галина Тодд, которая превратила свое лицо в испытательный полигон для различных косметических средств.

Ну как не приобщиться к шикарной жизни, если сама Образцова, сам Сличенко, сама Галина Тодд к этому призывают.

Элита!

Надену такую же дубленку, куплю такой же диван, постелю на него плед фирмы «Бауэр», намажу морду кремом «Женщина без возраста» — и буду как они.

Иван Александрович Хлестаков в порыве вдохновенного вранья с гордостью произнес бессмертную фразу: «Меня даже раз за генерал-губернатора приняли!» Не это ли лежит в основе тяги обывателя к «красивой жизни»? Надену соболью шубу, чтобы приняли за оперную диву, нацеплю галстук-бабочку, чтобы приняли не знаю уж за кого там... Короче, за генерал-губернатора.

«Если вы хотите отдохнуть в кругу друзей в настоящем аристократическом поместье, вы не найдете лучше места, чем дом отдыха “Дворянское гнездо”» — очень показательная в этом смысле реклама русского радио. Здесь обывателя напрямую называют быдлом. «Если ты, быдло, хочешь почувствовать себя аристократом, поезжай в “Дворянское гнездо”» — вот глубинный смысл этой рекламы. Причем ни те, кто рекламирует, ни те, на кого рассчитана реклама, этого, видимо, не ощущают.

Аристократу чувствовать себя аристократом не надо. Он и так аристократ.

На одной выставке известные коллекционеры, мать и дочь, Татьяна и Наташа Колодзей, познакомили меня с замечательным человеком — князем Алексеем Павловичем Щербатовым.

У меня нет никакого пиетета перед дворянским или иным высоким происхождением. Я не вижу заслуги человека в том, что он по воле Бога родился в той или иной семье. По моему разумению, дворянское происхождение скорее накладывает на человека определенные обязательства, чем дает какие-то преимущества. Когда я говорю об аристократизме, я подразумеваю вовсе не происхождение, а целый комплекс моральных, нравственных установок, которые человек, будучи аристократом, не может преступить ни под каким видом. Аристократизм — это состояние души. Можно быть дворянином по происхождению — и быть при этом жлобом. Можно шаркать ножкой, целовать дамам ручку — и быть хамом. Можно надеть фрак, нацепить бабочку — благородства это не прибавляет. Как сказал Жванецкий, *«внешний вид освоили — теперь давайте детали не пропускать...»*

Поэтому когда я видел, что человек, которому далеко за 80, который передвигается с трудом при помощи трости, просто не может сидеть, если женщина рядом стоит, мне это говорило об очень многом. В его поведении не было ни грана наигранности, рисовки — я чувствовал, что для него это вполне естественно, что это у него в крови. Мне было интересно снимать, как он говорит, как он слушает, как он общается с людьми. В этом чувствовалось то самое благородство, то самое хорошее воспитание, с которым, увы, теперь так редко сталкиваешься.

Не могу сказать, что съемка в тот раз получилась. Тем не менее я напечатал карточки и отправил их Алексею Павловичу. Через несколько дней он позвонил и поблагодарил, а еще через пару недель я получил по почте конверт с приглашением посетить бал Дворянского собрания, который проходит каждый год в нью-йоркском отеле «Plaza» — одном из самых дорогих и престижных гостиничных комплексов мира, где останавливаются главы держав, президенты, кинозвезды, короли и наследные принцы. В общем — супер-пупер.

Внимательно рассмотрев приглашение, отпечатанное на дорогой тисненой бумаге с гербом государя императора, я обнаружил в конце указание, что вход на бал только в *«black tie»*, то есть во фраке или в смокинге, который в здешних краях называется «токсидо», и с галстуком-бабочкой.

Требование это меня чрезвычайно расстроило. Я терпеть не могу пиджаки и галстуки. Так получалось по жизни, что в те места, куда люди обычно надевают парадную одежду — в театры, на концерты, — я ходил на работу. А светские рауты в «совке» как-то не были приняты, во всяком случае в те времена, когда я там обитал. Поэтому не то что смокинга — обычного черного костюма у меня не было по причине абсолютной ненадобности.

В другое время я бы все это просто послал подальше, если бы не приписка в конце письма о том, что Алексей Павлович просит меня прийти и снять это событие и что *«он уже договорился, о чем и свидетельствует данное приглашение»*.

Ситуация была кислая. Подводить Щербатова не хотелось.

Я позвонил, поблагодарил за оказанную честь и осторожно поинтересовался, распространяется ли данное указание на меня. Дескать, для фотографа токсидо не самая подходящая одежда.

— Понимаете ли, Марк, от меня здесь ничего не зависит. Таковы правила. Я понимаю, что это глупости, что вам будет неудобно работать, но... — И т.д. и т.п.

Я понял, что от смокинга мне не отвертеться, если я хочу снимать.

А снять очень хотелось. Это был еще один срез жизни нашей эмиграции, и другого такого шанса могло и не представиться. Плюс, что греха таить, мне хотелось оказаться в этом прежде недоступном мире. Для моего поколения, воспитанного на классической литературе, слова «Дворянское собрание» звучали волшебной музыкой. В этом отношении я, видимо, не слишком отличаюсь от посетителей «Дворянского гнезда».

Перед каждой съемкой я пытаюсь смоделировать, как будет происходить событие. Представить дух, атмосферу данного мероприятия. И в связи с этими представлениями решать, какую выбрать пленку, какие фильтры, как снимать — в цвете или в черно-белом варианте.

Мне виделись благородные мужчины, элегантные женщины, девушки в кисее... Короче, мои представления подпитывались описанием «первого бала Наташи» и кинематографическими сценами из жизни дворянства. Впрочем, откуда взяться другим?

И при всей моей нелюбви к парадной одежде, я понимал, что в чужой монастырь со своим уставом не суются. Скрепя сердце я пошел покупать токсидо.

Цены меня ужаснули. Самый дешевый более-менее прилично пошитый смокинг (как портной я в этом разбираюсь) стоил от 400 до 800 долларов. Кроме того, требовались еще специальная рубашка под галстук-бабочку (минимум 50 долларов), сама бабочка, которая стоила от 20 до 100 (хотя чему там стоить-то?), пояс «sash», плюс в последний момент я вспомнил, что у меня нет черных штиблет. Собственно, у меня вообще не было никаких штиблет — ни черных, ни белых, ни серо-буро-малиновых, потому что всю жизнь хожу в кроссовках. Не то что я уж совсем не слежу за своим гардеробом. Просто из всех требований, предъявляемых к одежде, главным для меня является ее комфортность.

Матерясь и проклиная все на свете, я стал примерять разные смокинги, наконец выбрал один, надел бабочку, штиблеты от Пьера Кардена, которые мне подошли тут же, посмотрелся в зеркало и очень себе понравился. *«Ну, очень!!!»*

Вопреки ожиданиям вся эта экипировка не сидела на мне как на корове седло. Уроки Ивана Эдмундовича Коха и Кирилла Черноземова, которые преподавали нам в институте сценическое движение и правила этикета, не прошли даром. Я подтянул живот, выпрямился, расправил плечи и ощутил себя таким Жюльеном Сорелем перед первым выходом в свет.

Когда мне сообщили стоимость этого маскарадного костюма, у меня слегка закружилась голова. Но, посмотрев еще раз на себя в зеркало, я понял, что отказаться не смогу. Мне враз стала понятна психология людей, которые вбабахивают огромные деньги в карнавальные костюмы только для того чтобы профилитировать в колонне во время парада гомосексуалистов в Манхэттене. Они платят за желание ощутить себя в ином качестве, за желание выйти за рамки привычной повседневности. Вероятно, это же чувство движет и посетителей в бабочках в ресторанах на Брайтоне.

В день бала, еще раз с большим удовольствием посозерцав себя в зеркале, я взял рюкзак с аппаратурой и уже было собрался выходить из дома, но тут сообразил, что человек в токсидо в занюханном нью-йоркском сабвее выглядит нелепо. Куда нелепее, чем, скажем, оборванец в лимузине. Миллионер может позволить себе надеть джинсы, дранные на коленях по последней моде, и отправиться в своем «ягуаре» или «бентли» на пикник, но плебей — в смокинге — на бал — в Дворянское собрание — на сабвее... Нет, как хотите, но это уже полный абсурд.

Пришлось расколоться еще на двадцатку и вызвать кар-сервис.

Да... Недешевое это дело — быть дворянином!..

Подъехав к отелю «Плаза» и выбравшись из машины, я гордо проследовал мимо ливрейных швейцаров, которые смотрели мне вслед с легким удивлением. Оно и понятно — человек в смокинге, в бабочке и с рюкзаком за плечами должен был вызывать по крайней мере недоумение. А у этих ребят взгляд наметанный. Правда, школа давала себя знать и они ничем своего отношения не выдали. Ну да дело было вовсе не в них. Настроение стало портиться от осознания своей полной несовместимости с обстановкой.

Я поднялся по широкой золоченой лестнице, устланной дорогим красным ковром, вошел в вестибюль бального зала и... первое, что я увидел, был Феликс Комаров, стоящий на фоне серебряно-золото-платинового шема-

кинского «Петра Первого» и обсуждавший с какими-то фразными господами достоинства этого произведения. Лично я считаю, что это одна из лучших скульптурных работ Михаила Шемякина, но мне показалось, что господа рядом с Комаровым придерживаются иного мнения. Хотя, возможно, их кислый вид был вызван не самим произведением, а ценой на него. Ибо бал — балом, а коммерция — коммерцией, и, видимо, Феликс представлял свою продукцию не только из эстетических соображений.

Оглядевшись, я неожиданно обнаружил еще много знакомых лиц.

Недалеко от Комарова блистала Рина Ковалева — дочка известной в русской комьюнити владелицы туристического агентства «People travel» Марины Ковалевой; брали у кого-то интервью ведущие русского телевидения Дмитрий Полетаев и Марина Бурцева-Левинзон; прогуливался писатель Юрий Милославский, в то время как его жена, художница Лена Сарни, фотографировалась с кадетами; вел великосветскую беседу с каким-то представительным господином президент русскоговорящей телевизионной компании WMNB Павел Палей.

Вот уж не думал, что среди моих знакомых столько лиц благородного происхождения!

Настроение стало улучшаться. Что-то это мне напоминало...

Стараясь не расплескать чувство легкого куража, я прошел к своему столику, где уже сидел какой-то господин, похожий на актера Валентина Никулина в роли Смердякова, и хотел было пошутить, сказав нечто вроде: *«Слышь, мужик! Пригляди за рюкзачком, чтобы не свистнули»*, — но в последний момент передумал. Кто знает, как у этих дворян с чувством юмора. Да и шутить так с незнакомым человеком, который мог относиться к данному мероприятию вполне серьезно, представлялось неуместным.

Подошедший Алексей Павлович Щербатов представил нас друг другу:

— Марк Копелев — фотохудожник. Он любезно согласился сделать фотографии нашего бала.

— Великий князь Никита Романов.

— !!!

Ах, спасибо тебе, Господь, что ты надоумил меня воздержаться от глупых шуток! Видимо, произошла нестыковка. Так как идея пригласить меня исходила от Щербатова, то и место мое было определено за одним столиком с ним. А поскольку Алексей Павлович, как выяснилось, был предводителем американского российского дворянства, то ему, соответственно его рангу и происхождению, надлежало сидеть за столом с одним из членов царской семьи.

Попросить покараулить рюкзачок, *«чтоб не сперли»*, одного из наследников российского престола — это было бы круто.

Комизм ситуации, в которую я чуть было не попал, окончательно вернулся мне хорошее настроение. «Свобода начинается с иронии», — сказал Виктор Гюго. От себя добавлю, что ирония, как очки для близорукого человека, — позволяет видеть мир отчетливей.

А посмотреть незамутненным романтическими бреднями взглядом было на что.

Театр был уж полон. Ложи блистали феерическим блеском. Партер тоже.

Фраки, снежно-белые крахмальные пластроны, вечерние платья, боа из страусиных перьев, бриллиантовые кольца, алмазные подвески, ордена Почетного легиона, Андрея Первозванного, Анны на шее, знаки дворянского отличия, бонбоньерки в петлицах.

Все дышало достоинством и благородством.

Хрустальная люстра пылала под высоким потолком с золоченой лепниной, бросая огненные искры на все это великолепие. Искры множились в бриллиантах, отражались в зеркалах, играли в гранях бокалов и, вспыхнув неверным прощальным всплеском, терялись в таинственных глубинах затененных лож.

Фотографов, как ни странно, оказалось не много. Желających зафиксировать свое участие в этом празднике жизни — гораздо больше.

Ну почему, почему так несправедливо устроено?! На какое-то татуированное животное в галерее Патерсона приходилось с десятков фотографов, а здесь на три сотни приличных людей — всего два-три?

Я снимал, снимал и снимал.

При моем приближении гости разворачивались, принимали парадные позы, просили сфотографировать и даже норовили вручить деньги за будущую фотографию.

Да-да, дорогой читатель. Не спросив имени.

Все-таки, что бы вы там ни говорили, человек в смокинге внушает куда большее доверие, чем гопник в джинсах. Что-то раньше денег мне не предлагали. Ни до съемки, ни после оной.

Я не стал злоупотреблять доверием. Человек я неорганизованный, забывчивый, иногда могу подвести, а главное, в отличие от серьезного профессионала, никогда не знаю, что же у меня в конечном итоге получится. Поэтому я отклонял соблазнительные предложения разбогатеть немедленно и сейчас, предпочитая обмениваться визитными карточками: получится — потом пришло.

В результате у меня скопилась великолепная коллекция.

Дома, разобрав эти визитки, я понял, насколько был нетактичен, засовывая их в карман, не читая.

Нет, не прав я был, глубоко не прав. И не оказалось никого рядом, кто бы подсказал, кто бы тревожно свистнул в ухо:

— *Герцог! Бокал шампанского! Я восхищен!*

Весь цвет российского дворянства был представлен здесь: князья Голицыны, Оболенские, Романовы, Гагарины, Трубецкие, граф Андрей Толстой-Милославский, графиня Сперанская, князь и княгиня Чавчавадзе, генерал Джанфранко Д'Абио, граф Джером Коллоредо Мансфельд, граф Никита Шереметьев, графиня Марина Воронцова-Дашкова...

Оркестр балалаечников урезал «Камаринского».

Гарные дивчины и хлопцы с взвизгами и залихватским молодецким повисом сбавали «гопака», сорвав бурный аплодисмент.

Ансамбль цыган спел «Гори, гори, моя звезда», «Отвори потихоньку калитку», про костер, который светит в тумане, про шаль, стянутую на груди узлом. Хорошо спели! Душевно.

Бал рос, ширился, набирал силу, накатывал жаркой волной.

Вот уж и *ямщик поскакал к яру*.

Вот уже и вальс омыл зал прозрачной струей.

Закружились, закружились девушки в кисее, схваченные фраками и смокингами, а за ними потянулись и пары постарше.

Вот уже и речи за столами стали громче. Ветер бала доносил обрывки разговора: «А как вы думаете, князь», «Графиня, вы чудно выглядите сегодня», «Мадмуазель, *permettez-moi d'exprimer mon admiration...*»¹⁸

Пел хрусталь, соприкасаясь с хрусталем, благородно позвякивало серебро.

Но надо сказать, что во всем этом «обозначилась легонькая странность», которая кольнула меня, как финдиректора варьете Римского, когда администратор Варенуха в полночь объявился в его кабинете. Что-то было не так.

Я привык доверять своим ощущениям. Обычно они возникают оттого, что боковым зрением что-то замечено, но не осознано.

Я сделал еще несколько кадров.

Ничего не получалось. Странность, потревожившая меня, не уходила.

Я опустил камеру. Если в этом не разобраться, продолжать съемку смысла не имело.

Я оглядел зал, пытаюсь понять, что же меня смутило. Вроде все было в порядке — вальсировали пары, крепостные американские девки в кокошниках предлагали хлеб-соль, официанты во фраках, малоотличимые от гостей, разносили французские деликатесы...

И вдруг...

Вдруг я увидел.

Да простит меня читатель. Пусть не подумает он, что по злобе душевной, словца красного ради придумал я это. Дама за столом индифферентно оглянулась, не видит ли кто, и как бы невзначай смахнула что-то со стола в бумажную сумку, стоявшую рядом с ней на стуле.

Сумка! Вот что я заметил боковым зрением и что меня потревожило. В другом бы месте я на эту злосчастную сумку даже и внимания не обратил. Но кто мне скажет, что эта сумка делает в Дворянском собрании? Для каких таких неотложных нужд? Может, для сменной обуви? Да нет, на такие мероприятия приезжают уже полностью экипированные, в лимузинах. На худой конец в такси или на кар-сервисе, и не с хозяйственной, а с элегантной дамской сумочкой из, скажем, крокодиловой или страусиной кожи. Сумочка, кстати, тоже присутствовала, просто ее плохо на фотографии видно.

Похоже, я был не так уж не прав, когда хотел попросить великого князя покараулить рюкзачок.

Нет-нет, дорогой читатель, я далек от мысли, что дама хотела свистнуть фирменное серебро отеля. Хотя кто знает... Но даже недоеденный бифштекс для любимой собачки тащить из Дворянского собрания — как-то не того. А главное, зачем прятаться? Попроси — завернут, упакуют да еще спасибо скажут. А-а-а... — дворянская спесь не позволяет?... Ну тогда и сумку с собой не таскай!

«Выпить, что ли?» — подумал я.

Я тряхнул головой, отгоняя наваждение, отложил фотокамеру и поглядел вокруг невооруженным глазом.

¹⁸ Позвольте мне выразить свое восхищение... (фр.)

Все было очень элегантно и изысканно и пока обходилось без мордобития.

Грянул вальс.

Бал продолжается, господа, бал продолжается.

Пора прощаться, мой друг, мой читатель.

Паромщик ждет...

Слышишь?..

Кап...кап... кап...

Это время по капле перетекает из будущего в прошлое.

Настоящее — лишь точка встречи.

Миг.

Промельк тени на шторе.

Капля в полете.

Открылся на мгновение затвор фотоаппарата, пропустил Будущее в Прошлое.

Остался на пленке след.

Фотографий Прошлого не существует.

Есть фотографии *«всегда Настоящего»*.

Послания из другого времени.

След пролетевшей капли.

Не потому ли мы с таким трепетом вглядываемся в старые фотографии?

Мы хотим понять *Прошедшее Настоящее*.

Кто-то умер.

Кто-то сделал карьеру.

Кто-то женился, вышел замуж, родил детей.

Многие купили дома, переехали в другие города.

Кто-то вернулся в Россию.

Многие просто пропали из виду. Как живут, чем занимаются — не знаю.

Да и сам я тихо осел в своем домике в Нью-Джерси, взирая на мир с сочувственным омерзением.

Закончился 20-й век — пришел 21-й.

НАСТУПИЛА ЛИ ПОСТСЕКУЛЯРНАЯ ЭПОХА?

Приехав в командировку в Калининград в прошлом году, я обнаружил наполовину построенный здесь гигантский собор. Видимо, чуть меньше, чем в Москве. Ранее эта же мегамания поразила меня в Воронеже, где в спальных районах при владыке Мефодии заложили гигантские храмы, которые в колокольне должны чуть ли не превышать московский Храм Христа Спасителя. Вспомнилась книжка Зигмунта Баумана о глобализации, где он описывает изменение социального пространства в городах. «Одомашнивание местности» стало невозможно. Горожанин — это потребитель, единица торгового процесса, заброшенная в супермаркет. Гигантский кафедральный собор как бы наследует идее объединения городской общины в единое целое, но на самом деле, — поскольку такой общины нет, — это просто мегамоп. Такой храм-супермаркет с неизбежностью оснащается системами видеонаблюдения, охраной и, в конечном счете, становится местом проведения элитных крестных ходов с пригласительными билетами. Говорит ли все это о «качестве веры» современного человека? Вряд ли. Ведь рядом с религиозными процессиями «глобалов» — тех, кто живет уже в глобальном мире, — продолжается и религиозная жизнь «локалов», которые оттерты на периферию в измененном социальном пространстве.

О секуляризации в России написано мало. Ничтожно мало, если сравнивать с литературой, посвященной другим таким же масштабным процессам. Классические работы британского социолога Дэвида Мартина и американца Питера Бергера, которые заложили основы современной социологии религии, еще не переведены. Все еще существенным для осмысления секуляризации остается метафора Макса Вебера о «расколдовывании мира». Смысл метафоры: от Средневековья к Новому времени Евро-

**Александр
МОРОЗОВ**

— родился в 1959 г. в Москве. Окончил философский факультет МГУ. Журналист, соучредитель гильдии религиозной журналистики Медиасоюза. Автор многочисленных публикаций о государственно-церковных отношениях в газетах «Русская мысль», «НГ-религии» и др. Работал редактором информационного агентства Русской Православной Церкви (телепрограммы «Ортодокс», «Канон»), ответственным секретарем газеты «Церковный вестник», обозревателем интернет-портала «Религия и СМИ». Соучредитель центра «Новая политика» (www.novopol.ru), автор книги «Религия и политическая модернизация России» (2004). Живет в Москве.

па двигалась от магического восприятия мира к все большей и большей рационализации. Сейчас этот пафос рационализации стремительно улетучивается.

Так, одна из самых ярких работ последнего времени об архаизации современного сознания — статья Леонида Ионина «Новая магическая эпоха» (журнал «Логос», 2005 г., № 2) основана на идее повторного «заколдовывания мира». Под влиянием в первую очередь телевидения, массовой культуры современное сознание погружается в магию. Конечно, это уже новая магия. Тонкие наблюдения над тем, как меняется место религиозного в современном мире и какие изменения претерпевает религиозное в самом себе, можно встретить у самых влиятельных современных авторов, среди них Ф. Фукуяма, Ю. Хабермас, Дж. Грей, Э. Тоффлер. Но это наблюдения вскользь, в контексте других проблем и процессов.

Поэтому особенно интересна попытка Александра Кырлежева («Постсекулярная эпоха», журнал «Континент», 2004, 120) дать связную картину современного этапа секуляризации. Кырлежев — мыслитель с «того берега», т. е. он остается в классическом философском дискурсе. Он как бы дописывает «Конец Нового времени» Романо Гвардини. Последние страницы книги этого видного католического богослова, опубликованной еще в 1950 г., содержат некое предчувствие того, какое место займет христианство в мире, где окончательно отделились друг от друга все основные сферы человеческой активности — хозяйство, искусство, наука, вера.

Кырлежев смотрит на постмодерн глазами гегельянца, для которого некоторые феномены, выраженные целостными понятиями, проявляют себя в истории через те или иные фазы.

Секуляризация, т. е. автономизация искусства, науки, политики и т. д. от религиозного, как пишет Кырлежев, — это проект Просвещения. До Просвещения профанное и сакральное взаимопроникали друг в друга. Просвещение «выдавило» религиозное в отдельную сферу. Так вслед за «чистым искусством» появляется «чисто религиозная религия». Западноевропейский секулярный проект вовсе не предполагал насильственного уничтожения религии: он был рассчитан на ее вытеснение и «естественное» умирание. Верно, что секуляризация в первую очередь была направлена на десакрализацию политики. Верно и то, что развитие секуляризма в Европе носило социальный и антропологический характер, но не было «идейным» проектом — в смысле прямого намерения заменить тотальную религиозную систему другой — квазирелигиозной. Это боковое русло секуляризации появилось вместе с марксизмом и реализовалось в России после 1917 года. Кырлежев считает, что говорить о секуляризации можно только применительно к христианскому миру. Иначе говоря, с его точки зрения, в каком-то смысле секуляризация — это «внутреннее дело» христианства. Вместе с постсовременностью наступила и постсекулярная эпоха. Постмодерн, разрушающий монологизм Просвещения, его тотальную духовную претензию, одновременно разрушает и секуляризм в его классическом понимании. Наступает эпоха безразличия и религиозного плюрализма. «Если секуляризм загонял религию в религиозное гетто, то постсекуляризм постмодерна впускает ее в себя и «растворяет» в себе», — пишет Кырлежев.

Каковы же, с точки зрения Кырлежева, «некоторые общие черты постсекулярной ситуации»?

Новым становится отношение к ритуалу. Если в эпоху расцвета просвещенческого проекта именно ритуал был воплощением «мракобесия», то теперь напротив — ритуал приветствуется (см. А. Морозов. «Религия и политическая модернизация России», М., 2004, с. 39).

Новым является отчетливая потребность в религиозном как в маркировке принадлежности к «традиции», впрочем уже не органической, а «изобретенной».

В связи с кризисом института национального государства религия усиливает свою роль интегративного фактора.

И одна из ключевых характеристик ситуации — «секуляризация» секуляризма. Все лишается пафоса в постсовременную эпоху, — в том числе и антирелигиозный пафос. В результате — религиозное возвращается, в частности, и в политику. Глобализация делает религиозные сообщества (мини-цивилизации, по словам Кырлежева) вновь актуальными. «Неубедительность секулярного создала условия для возврата религии в сферу общего интереса».

Замыкает статью Кырлежева одно острое соображение, которое мне не приходилось встречать прежде. Так называемый «религиозный либерализм» был свойственен модерну. А это значит, что в постмодерне у него нет никаких перспектив.

В XX веке было три крупнейших теоретических (богословских) попытки ответить на вызов секуляризации: теология Карла Барта, неомизм у католиков и неопатристический синтез у православных. Продолжая мысль Кырлежева, стоит отметить, что это попытки ответить на вызов «средней фазы секуляризации» периода XIX века. Но в эпоху постмодерна религию уже «не к чему приспособлять», ее не имеет смысла «осовременивать». Все то, что представляло собой вызов современности, расплодилось по горизонтали в постмодерне и уже не покусается на сакральное. Рационализм больше не является абсолютно авторитетной инстанцией и не претендует на спор с религией как инстанцией «последней истины». Постсекулярная эпоха — это эпоха «пирровой победы» секуляризма и приближение реванша религии, — таков окончательный вывод Кырлежева.

Зададимся вопросом: как эта проблематика выглядит через другую «оптику».

Мы стоим в начале «новой когнитивной эпохи» (Л. Ионин), которая через 10-15 лет примет свои окончательные черты. Видимо, это сопоставимо с условным рубежом 1750 г.: отсюда отчетливо начался путь к Великой Французской революции. Отсюда в европейской и мировой истории стартовали масштабный процесс пересмотра всего и вся, формирование нового языка самоописания и нового самопонимания всей человеческой истории. Действительно, все сегодняшние актуальные символы, образы, понимания, языки начали складываться в парадигме второй половины XVIII века, накануне Французской революции.

Все, что мы знаем о «религии», мы знаем в дискурсе европейского «самопонимания», развивавшегося три столетия. Теперь же под вопросом находятся все привычные матрицы.

Постмодернизм — это кризис сознания и самосознания. Вдруг произошло самообнаружение границ каждого понятия. Причем обнаружилось, что описание — это всегда описание в чьих-то интересах. Во всяком случае, после работ Мишеля Фуко о власти, о том, что всякое описание мира связано с претензией на гегемонию, в этом трудно усомниться. Миллионы людей помещены в когнитивное пространство, которое кажется им естественным, как воздух. Когда целостность этого пространства нарушается, выясняется, что каждое понятие — еще вчера «всеобщее» — вдруг обнаруживает за собой заинтересованного субъекта, который стремится навязать окружающим понятийную схему.

Поэтому мы сегодня и смотрим с подозрением на термин «секуляризация». Частью какого замысла является его длительное блуждание по университетским учебникам? Какая роль отводилась этому понятию в «просвещенческом когнитивном проекте»?

«Секуляризацию» мы обнаружим, только если признаем «рационализацию», то есть встанем на почву когнитивной схемы Просвещения. А встать на эту почву теперь весьма затруднительно, поскольку проект Просвещения завершен и мы вступили в новую эпоху. Просвещенческий либерализм разложил на атомы свои собственные основы, пожрал свою корневую систему. Вершки повисли в воздухе без опоры.

Рационализация, на которую возлагались такие надежды внутри когнитивного пространства Декарта и Канта, описала полную окружность, пройдя через свой апогей, и вернулась к начальной точке. Хотя законы физики еще продолжают действовать, они уже мало кого интересуют в мировоззренческом плане, как часть рационального метанарратива. Наступила эпоха «новой неопределенности», говорят об «архаизации», о «пустыне реальности». И в этом смысле «секуляризация» как всеобъемлющий процесс больше не существует. Причем не в том смысле, что «процесс» завершился и началась «постсекулярная эпоха». А скорее всего в том смысле, что никакого «процесса» и не было. А было только самописание рационалистического сознания, которое и выделяло этот процесс как существующий. Встречно богословское мышление, главным образом, католическое, пыталось ответить «на вызов времени», т. е. на когнитивную экспансию Просвещения. Ответ этот был неудачным. Это был ответ по «навязанным извне правилам игры». И как только «правила игры» отменили, стал виден совсем другой исторический ландшафт. Или можно сказать иначе: мы смотрим через другую оптику.

Причины процесса «секуляризации», да и тот феномен социальной истории, который был в свое время обозначен этим термином, — все это сегодня под вопросом. И вот почему: секуляризация мыслилась в классическом мышлении как «векторный» процесс. Это была просвещенческая схема линейной истории, идущей от варварства к культуре, от магии к рационализму, от рабства к эмансипации. Но сегодня оставаться на позициях этого «исторического оптимизма» означает закрывать глаза на реальность. Главная интенция Просвещения — полностью рационализировать личность —

потерпела неудачу. И поэтому сегодня мы скорее, как показывает современный российский социолог религии Сергей Лебедев, видим три типа взаимодействия светской и религиозной культур в конкретные исторические эпохи. С его точки зрения, светское и религиозное обладают собственными смысловыми ядрами, и в разные периоды внутри социальной системы они могут развиваться *и конкурентно, и параллельно и даже синергично*. С. Лебедев обращается к наследию Питирима Сорокина: нет секуляризации как векторного процесса, а есть маятниковоподобное движение.

Если говорить о секуляризации как о «расколдовывании мира», то сегодня это самая уязвимая трактовка. Картина пронизанности средневекового сознания религиозным верна лишь отчасти: периоды влиятельных аскетических движений сменялись периодами глубокого упадка веры. Причем этот упадок парадоксально оказывался следствием широкого распространения христианства: так было и во времена египетского монашества, так было и во времена Бернарда Клервосского. Как только мы видим нечто, что можно назвать «религиозным возрождением», так жди беды. Конечно, до наступления модерна периоды победы религиозного над секулярным принимали характер усиления клерикальной аристократии и, как ответ, подавление этой группы другими сегментами аристократии руками народных восстаний. Так было и у альбигойцев, а позже — в Европе накануне Реформации. При этом, конечно, страдала и вера.

Этот парадокс ярко явлен в российской истории. Консервативная политика Победоносцева вдохновлялась заботой о народном благе, о сохранении и укреплении веры. Синод последней четверти XIX века, да и вся иерархия и священство Русской Церкви, действовали в теоретически благоприятных условиях православной монархии. Ничто как будто не препятствовало религиозному и секулярному «развиваться синергично». Тем не менее курс Победоносцева, да и более поздний курс Синода привели к тому, что «комсомольцы мочились на головы отцов с колоколен захваченных храмов» (Солженицын).

Подобный процесс предшествовал Французской революции. Роже Шартье («Культурные истоки Французской революции», 1990) описывает основные сдвиги в культурной почве в XVIII веке: роль распространения книг, литературные кружки и салоны, падение авторитета монарха (десакрализация). Отдельная глава называется «Дехристианизация и секуляризация». Шартье показывает полную условность обоих терминов. «Выдвигать гипотезу о дехристианизации означает утверждать, что прежде имела место христианизация», — пишет он. Но можно ли утверждать, что Франция времен Старого порядка была набожной страной? «Контрреформация (в конце XVII века) добилась повсеместного и регулярного соблюдения обрядов, которые двести-триста лет назад соблюдались спустя рукава...» Затем маятник пошел в обратную сторону. Янсенисты с их моральным ригоризмом «перегрузили» население. «Священники-янсенисты отвратили свою паству от церкви... Своей суровостью они отпугнули от исповедальни и святых даров многих кающихся, не способных или не склонных к настоящему обращению, к которому их принуждали...» Вторая причина лежит рядом:

постоянная полемика между янсенистами и иезуитами, в которой «политизированный, толкуемый вкривь и вкось символ веры превратился просто в одно из мнений». А в эту полемику было вовлечено и население. Единство учения уступило место неуверенности. Третья причина, по мнению Шартье, — миграция и урбанизация («переселение в большой город означает свободу и независимость»). Четвертая: изменение положения женщины. Совокупность этих процессов и привела к такому состоянию общества, которое Шартье и называет «отчуждением от Церкви». *«Как это ни парадоксально,— пишет он,— воспринявшее в результате Контрреформации христианство вызвало отчуждение и дехристианизацию эпохи Просвещения»*, а Революция лишь сделала очевидным это отчуждение.

Иначе говоря, точным смыслом понятия «секуляризация» можно считать только «понижение роли клерикальных элит в социальной и государственной жизни». Этот процесс, захвативший три столетия европейской истории, несомненен. Не было ни «расколдовывания мира», ни секуляризации как торжества рационализма, ни «ухудшения качества веры» — как векторных процессов.

Что означает секуляризация? Изменение политической роли религиозных институтов? Понижение роли институциональных европейских религий, религий «апостольского преемства», т. е. католичества и православия, среди других религий? Или наступление эпохи безверия?

По мере того как развивается «история повседневности», все более спорным становится вопрос об ином «качестве веры» в каком-то сконструированном прошлом. Ведь само это «прошлое» было сконструировано рационалистами, стремящимися создать универсальную модель истории и прогресса общества и личности. Важной частью этого прогресса было преодоление «предрассудков», «суеверий», под которыми понималось все, что лежит за пределами рационализированной картины личности и социума. Между тем массив этих так называемых «предрассудков» никогда не убывал, даже в периоды патетического сциентизма, веры во всемогущество науки и технического знания. И сейчас, когда мы стоим по ту сторону краткого исторического периода торжества сциентизма, мы видим, что «секуляризация» была частью конкретного дискурса. Этот дискурс стремился к господству, он хотел «владеть умами», он хотел полностью рационализировать личность и ее бытие в политическом мире и в повседневности. Претензия этой дискурсивной практики на господство, действительно, потерпела крах.

К началу XXI века сложились три влиятельных взгляда на современное состояние религиозного.

Один ярко выражен в книге известного американского политика Патрика Бьюкенена «Смерть Запада». Тотальный кризис религиозности, полное обмирщение, утрата религиозного идеала и, как следствие, моральное вырождение и демографический упадок. В сущности, Бьюкенен считает, что секуляризация довела Запад до полной цивилизационной беспомощности и приближается время большого цивилизационного сдвига в пользу арабов, китайцев и т. д.

Второй влиятельный взгляд заключен в том, что еврокультура впитала, — «сняла», в гегелевском смысле, — религиозные контексты прошлого и успешно трансформировала средневековый христианский идеал в современные идеалы свободы и достоинства личности. При таком взгляде достижения западной демократии, — несмотря на то, что они отчасти укоренены в атеистическом пафосе Французской революции, — имеют своим источником и христианское понимание личности. При таком подходе часто обращаются к истории первых американских переселенцев и религиозных общин, создавших «свободную Америку». Этот взгляд укреплен социальным учением католицизма и другим опытом адаптации католицизма. При таком взгляде секуляризация не выглядит зловещим вырождением, а скорее представляется весьма естественным процессом перехода христианства из эпохи традиционных обществ в современность. Да, вера при этом «овнутряется», делается «частным делом» и перестает быть сакральной скрепой коллективной идентичности, но от этого она, возможно, становится лишь глужбе. Питер Бергер, а позже и Фрэнсис Фукуяма писали о том, что религия все меньше является «публичной риторикой» и все больше «частной добродетелью».

Третий взгляд формулируется С. Хантингтоном, в частности, в его недавней книге «Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности». Хантингтон констатирует, что в последней четверти XX века мы наблюдаем «глобальное возрождение религии». «Модернизация, казалось, подрывала основы религии, которая трактовалась как тяжкое наследие невежественного прошлого... — пишет он. — В последней четверти столетия вектор развития человеческого общества изменил направление на противоположное. Религия восстановила свою значимость как в частной, так и в общественной жизни...»

Действительно, маятник пошел в другую сторону. А это значит, что приходится ожидать и противохода. Претензия религиозного сознания полностью пронизать собой сферу политического и общественного неосуществима. Светское и религиозное — иногда в конфликте, иногда — на параллельных путях, а иногда и в плодотворном сотрудничестве — будут сосуществовать до конца истории.

Мы всегда стремились к тому, чтобы в разделе РЕЛИГИЯ читатель «Континента» имел возможность встречаться не только с материалами теоретического характера, обращенными к тем богословским и религиоведческим проблемам, которые представляются нам важными, но и с живыми зарисовками, очерками, описаниями повседневной религиозной жизни людей — в том числе и жизни нашей Церкви. К сожалению, интересные и содержательные тексты такого рода всегда были в дефиците, и вот почему так привлекла нас появившаяся недавно в Интернете статья петербургского публициста Илья Переседова. Ее мы и предлагаем сегодня вниманию читателя этой новой нашей рубрики, впервые появившейся в позапрошлом номере журнала (где и были обозначены ее предполагаемые параметры). Надеемся, что читателю покажутся небезынтересными не только живые впечатления автора от непосредственного знакомства его с жизнью одной из самых замечательных общин в нашей сегодняшней Церкви, но и некоторые более общие его размышления, связанные с этими наблюдениями.

Статья печатается в новой авторской редакции.

Илья ПЕРЕСЕДОВ

ПРИБЕЖИЩЕ БАРСУКОВ

На вечерню в общину о. Георгия Кочеткова я был выдернут с религиоведческой конференции по инициативе добрых друзей из Живого Журнала (при бурном на то согласии). В итоге мне удалось не просто поприсутствовать на службе, но и выслушать подробный рассказ о жизни Покровского братства. Решусь обобщить свои впечатления от этого вечера, ведь даже для многих москвичей Преображенская община и существующая при ней часовня являются местом неведомым, но притягательным.

Для справки: о. Георгий Кочетков (1950 г. р.), наравне с о. Георгием Чистяковым, о. Владимиром Лапшиным и некоторыми другими пастырями, является, как у нас говорят, либеральным священником, решившимся отступить от привычных форм построения приходской жизни. Как правило, при каждом таком священнике сослужит консервативный отец, назначае-

**Илья
ПЕРЕСЕДОВ**

— родился в 1981 г. в Москве. Закончил Санкт-Петербургский Институт Богословия и Философии по специальности «Православная теология». С 2002 г. преподает религиоведение и философию в Университете Телекоммуникаций. Журналист, интернет-публицист, участник Христианского Демократического Клуба. Ведет дневник в Живом Журнале (peresedov). Живет в Санкт-Петербурге.

мый из Центра. Несколько лет назад между о. Георгием и таким назначенцем, бывшим, по-видимому, к тому же еще и не вполне вменяемым человеком, произошел конфликт. Разразился скандал, в котором многие друзья о. Георгия заподозрили плановую провокацию (подробности можно найти в Сети). В итоге Кочетков был запрещен в служение, потом восстановлен, но оставлен без храма. Сейчас он служит в часовне при своем институте (об этом немного позже) и на дружественных ему приходах. О. Георгия вспоминают в первую очередь как сторонника перевода богослужения на русский язык, но основной инициативой его жизни является введение института оглашения — практики подготовки к крещению и вхождению в Церковь, занимающей в его общине минимум полтора года.

Замечу сразу: я был лишь на единственной службе в часовне при Филаретовском институте, единожды общался с представителями существующего на его основе братства, а потому все нижеизложенное может считаться лишь рассуждениями по теме, но никак не окончательным выводом.

Феномен Кочеткова известен в России всякому человеку, имеющему сколь-либо последовательное отношение к Православию. Непрекращающиеся критика и ругань со стороны «Радонежа» и ему подобных СМИ, вакуум информационной блокады вокруг его фигуры невольно способствуют пиару, а редко просачивающиеся в публичную сферу комплименты со стороны уважаемых общественных и культурных деятелей лишь усугубляют интригу.

Вдвойне важно, что после печальных событий, во время которых от о. Георгия фактически публично отреклось руководство Московского Патриархата, он и его духовные чада остались внутри воспитавшей их Церкви и не ушли в раскол, что сулило им решение многих формальных проблем и трудностей.

Сегодня братство (а именно так вполне справедливо именуют себя последователи о. Георгия) располагается в Центре Москвы в помещении нескольких объединенных квартир общей площадью немногим более 500 кв. м. На этих метрах разместились аудитории богословского института, часовня-актовый зал, книжная лавка, библиотека, издательство, административные и хозяйственные кабинеты.

Вероятно, имеет смысл рассказать немного о принципах устройства братства, прежде чем приступить к описанию вечернего богослужения и моих впечатлений от о. Георгия.

Как было уже сказано, члены братства не отделяют себя от остальных чад Церкви, причащаются в храмах РПЦ, участвуют в ее таинствах, но на деле их объединение представляет собой вполне автономную внутрицерковную организацию. Движение оглашения и катехизации объединяет множество (я слышал цифру 2000) человек по всей стране. Все они, так или иначе, задействованы в его деятельности, укреплении внутренней жизни братства. Само оглашение представляет собой четко структурированный теоретико-практический курс, включающий в себя знакомство с христианской этикой, основами церковной жизни, паломничества, общение с воцерковленными людьми. Несоблюдение условий одной из ступеней катехизации делает для человека невозможным ее завершение и, в лучшем случае, возвращает его на прошлый этап. Людям, прошедшим оглашение,

открывается доступ к участию в жизни братства в Москве или одном из городов России. Они получают возможность изучать богословие в Свято-Филаретовском Институте (несмотря на то, что институт следует светским принципам образования, на основное отделение в него не принимают невоцерковленных людей).

Полагаю, что описательный характер предыдущего абзаца может кого-то напугать: современное ухо способно услышать в нем «дворкинские нотки». Напрасно, я лишь хотел обозначить основные моменты, прежде чем приступать к их анализу.

Вообще «братства» как форма христианской жизни — явление, хорошо известное в истории Церкви (правда, встречавшееся чаще в католической и поздней греческой Церквях). Братства — это объединения христиан (как мирян, так и духовенства) вокруг общей цели и принципов жизни. Изначальная идея объединения может быть достаточно прагматичной. Например, распространенные в Европе на изломе Средневековья и Нового Времени братства «общинной жизни», в одном из которых воспитывался юный Лютер, образовались как похоронные кооперативы и, развиваясь, стали заниматься благотворительной и образовательной деятельностью. Проблемы у братства начинаются, лишь когда его члены решают, что образ их жизни — единственно возможный и правильный для Церкви. Тогда из благих побуждений вырастают перегибы и злоупотребления, как, например, в случае с Савонаролой, стремившимся превратить всю Флоренцию в одно большое братство.

Соответственно для гармоничного существования братства в его естественных границах необходимо наличие очевидных альтернатив (другие братства), а также оно должно иметь особый, публично закрепленный общецерковный статус, подчеркивающий и одновременно ограничивающий его значение. В нашем случае ничего такого нет: альтернативной организации, нацеленной на деятельное объединение для проповеди активных мирян, в современной Церкви не существует, никакого статуса братству о. Георгия не присваивается, наоборот, «кочетковцы» ежедневно вынуждены доказывать себе и окружающим, что они все еще есть и все еще «бодры и веселы». Конечно, такая ситуация неизбежно приводит к формированию ощущения исключительности и мессианских настроений.

Однако целеустремленность данного объединения, сплоченность его внутренней жизни заставляют видеть в нем не просто братство, а, скорее, религиозный орден, со своим внутренним уставом, духовным лидером, корпусом учительных книг, коммуникативной системой. Традиционно братство предполагает больший простор для личной свободы, нежели орден. При этом оно не имеет отчетливого духовного руководящего центра. В организации о. Георгия все наоборот: личная жизнь членов общины выстраивается вокруг ее деятельности, а исключительность значения фигуры «отца-основателя» абсолютна. Примечательно, что за 30 лет существования огласительного движения (а именно такой срок был мне назван) из него не вышло объединение священников, которые могли бы взять на себя часть тягот по окормлению и управлению общиной вместе с Кочетковым (хотя священниками редкие «брачинники» становились). Все катехизации, где бы в стране они ни велись, закрепляет своим благословением только о. Георгий.

Соответственно, и вопрос языка богослужения выходит в таком объединении за рамки частной проблемы литургической практики и становится выражением корпоративного духа и идеологии. Начав с перевода богослужения, о. Георгий и его помощники начали исправление и самой богослужбной практики. С одной стороны, в этом нет ничего страшного: по Типикону у нас никто не служит, службу самостийно сокращают на всех приходах; с другой стороны, частное сокращение — не то же самое, что «очищение» и «исправление» канона.

Теперь несколько слов о вечерне, на которой мне довелось присутствовать. Она служилась в большой комнате, из-за театральных рядов похожей на актовый зал. Большинство людей сидели во время службы, остальные стояли вдоль стен. Меня как гостя водрузили на второй ряд, так что я хорошо мог все видеть и слышать. Никакого статусного деления сидящих и стоящих я не заметил, скорее всего, сидели рано пришедшие и немощные.

Всего в комнате поместилось человек 250-300, дополнительно служба транслировалась через динамики в соседние аудитории, тоже наполненные людьми. Получается, что вечерня собрала где-то 700 человек. Я спросил, связан ли такой аншлаг с юбилеем института, пришедшимся на этот день, мне сказали, что нет.

Зал, стулья, обтянутые дерматином, вызвали у меня вначале ассоциации не с католическим храмом, а с протестантским собранием. Признаюсь, они не оставили меня до конца вечера, но уже по другим причинам.

Буду последователен:

Впервые в жизни я слышал вечерню, целиком читаемую на русском языке. Ощущения двойственные: с одной стороны, ничего страшного, с другой, я (как старый консерватор и ригорист) не нашел для себя особой привлекательности. Возможно, я бы проникся больше, если бы не ряд обстоятельств: во-первых, русский текст, слышимый мною, представлял собой не перевод службы, но адаптацию ее содержания для сегодняшнего дня. Имя Аверинцева было названо впоследствии среди авторов этого перевода, но предположу, что основным его составителем являлся все же о. Георгий. Сергей Сергеевич (которого, несомненно, связывала с братством теснейшая дружба) стремился и призывал оставлять славянизмы везде, где это возможно. В переводе, по которому служилась вечерня, этот принцип явно не соблюдался.

Но и сам характер богослужения был отличен от практикуемого в Церкви. Дело в том, что храмовая служба как мистерия, построенная вокруг некоего сакрального смысла, имеет свой сюжет, свои взлеты и снижения, в какие-то моменты объединяющие людей, а в какие-то — оставляющие их наедине со своими мыслями. В протестантизме молитвенное собрание теряет храмовый статус и, соответственно, это сюжетное наполнение. Служба становится средством демонстрации своей преданности Богу, единства с его народом. В ней выступают на поверхность эмоциональные мотивы, становится важна общая непрерывная молитва. Что-то подобное происходило и в часовне Филаретовского института.

Пели все. Хор присутствовал лишь номинально, задавая молению ритм и ориентир, но наложения молитв на псалмы, чередования пения клирика, хора и мирян не было. Некоторые участники собрания держали в руках листочки

с текстом службы, но большинство, как мне показалось, знали ее наизусть и пропевали все в одном эмоционально возвышенном тоне. Я постарался войти во внутреннее единство с поющими, и мне это почти удалось. Споткнулся я всего пару раз, например, в момент, когда семьсот человек умильно заплели благодарение Богу за то, что «ущелье дает убежище барсукам».

Сосредоточенное молитвенное стояние, острое мистическое переживание каждого стиха, каждой строчки Священного Писания свойственно, как мы знаем, монашеской традиции, особенно восточной, особенно афонской. Именно из этого проистекают глубокие (в том числе аллегорические) толкования самых, казалось бы, бытовых и малозначительных стихов, например, у Максима Исповедника. Можно было бы заподозрить в умилении над защитой барсука такую духовную углубленность. Но, как мне кажется, такое сопоставление будет номинальным, условным, так как традиция монашеских практик не может быть достоянием всей Церкви и требует, помимо благорасположенности, духовного опыта и опыта последовательного богопознания, коего миряне, как правило, лишены.

О. Георгий, который руководил службой, пел вместе со всеми, периодически озвучивая иерейские возгласы. Меня немного смутило, что сидел он лицом к залу под иконами, периодически внимательно осматривая молящихся. Когда в храме священник делает то же, находясь на алтаре за преградой, это не очень сильно бросается в глаза, а тут, следующей после ассоциации с залом, возникла ассоциация сцены...

Служба длилась немногим более часа, затем немногим более часа о. Георгий говорил проповедь. Наверное, это была лучшая проповедь, которую я слышал вживую в своей жизни. И, скорее всего, понравилась она мне потому, что больше походила на богословскую лекцию. Да, ее настрой был очень возвышенным, повествование не отдавало академизмом, но все же это была лекция, в которой упоминалась «иерархия ценностей», встречалось понятие «априори». В любом другом месте такая долгая, насыщенная информацией речь не могла играть роль проповеди. Но нужно заметить, что подавляющее большинство членов братства имеют высшее образование. Соответственно, мы встречаемся с неким парадоксом: люди, стремящиеся сделать жизнь в Церкви открытой и ясной, объединяются по уровню развития и эмоциональной совместимости, всем бытом неосознанно подчеркивая свои самобытность и уникальность. Это основной аргумент против того, что опыт братства о. Георгия может быть принят в качестве политики Церкви. После проповеди началась общая исповедь, участвовать в которой могли лишь члены общины. Где-то минут сорок о. Георгий каялся за всех перед Богом, в частности, он покался в «пренебрежении иерархией ценностей, созданной Им». Не стремясь участвовать в таинстве, я покинул зал.

Какой итог можно подвести написанному? Несомненно, община о. Георгия накопила бесценный опыт и методический базис по проведению катехизационной деятельности, который может и должен быть востребован Церковью. Кое-где на местах он уже успешно применяется. При этом надо отдавать отчет, что принципы, положенные в основание деятельности братства, не могут стать стратегией развития Церкви. Да и само братство пока не включено полностью в православное единство и вряд ли сможет войти в

него самостоятельно. Я выше сравнил его с религиозным орденом и протестантской общиной. Казалось бы, это разные явления. Не совсем: между ними нет пропасти, и в нашем случае оба опыта объединены в одно целое.

Братствам было свойственно возникать в момент кризиса церковной жизни для ее оздоровления. Множество братств существовало накануне Реформации. Протестантская община, взяв основы построения братства, смогла сделать их категорически актуальными и современными по форме. В сегодняшней ситуации богословской невнятицы и культурного коллапса заимствования и уподобления протестантским принципам жизни общинами РПЦ неизбежны: «большая», официальная Церковь активно принимает на вооружение протестантские основы построения приходской жизни, отношения к реалиям внешнего мира. Братство о. Георгия, ищущее обновления, повторяет начальные этапы становления реформаторского движения. Конечно, его участникам во всем его устройстве видится живая традиция: институт оглашения роднит их с древней Церковью, эмоциональная насыщенность службы — с афонским мистическим деланием, братская форма жизни — со Средневековьем. Не возьмусь определять, насколько это верно. В любом случае, в своей методике оглашения, системе построения общины объединения Кочеткова повторяет все самые современные религиозные образования, начиная с католического «Опуса Деи» и заканчивая саентологами и кришнаитами. Поясню: в современном мире существуют социальные законы, процессы, полюса. Сферы деятельности, попадающие в зону их влияния, деформируются, приобретают неизбежно общие черты (вот откуда столь разные примеры). Обратимся к более приземленной сфере — общепит. Ни один гурман никогда не признается, что рестораны «Елки-палки», «Теремок» и «Мак-Дональдс» имеют что-то общее. Первые — полноценные рестораны, вторые — блинные, третьи — пластиковая ерунда. Но в условиях современного ритма жизни они приобретают общие если не черты, то внутреннюю функциональную структуру. Так же и братства, оправдывая формы своего устройства ссылками на традицию, по сути, находят оправдание любому элементу своего устройства во внутренней системе, ее функциональности. А та, в свою очередь, зависит от среды, в которой братство существует.

Не приходится рассуждать, хорошо это для них или плохо: это единственная форма, в которой могли выжить эти люди, а делают они это весьма успешно. Вопрос лишь в том, как долго им удастся просуществовать в таком статусе. Вообще-то братства не живут больше ста лет, обычно их хватает на полтора поколения. Ордена сохраняются дольше, но только если принимают на себя какое-либо внутрицерковное служение. Опыт XIX-XX века показывает, что нынешнему благополучию общины помимо внешних факторов угрожают лишь две вещи: скорая и поздняя смерть о. Георгия. Его скорая смерть повлечет за собой распад содружества, поглощение его клерикальным аппаратом руководства РПЦ, если же он доживет до глубокой старости, то вокруг него — тогда уже несомненно святой фигуры — сложится управленческий институт с жестким корпоративным духом.

От редакции

24 июня 1981 года четверым подросткам из деревни Меджугорье (СФРЮ) явилась Пресвятая Дева Мария. Наавтра Ее увидели уже шестеро. Младшему из визионеров (видящих) было тогда десять лет, старшей — семнадцать. С тех пор ежедневные явления Богородицы продолжают. Она руководит визионерами в их молитвенной жизни и передает через них короткие послания¹ всему миру. Прошедшим летом Меджугорье отметило четвертьвековой юбилей этих явлений.

Меняется мир, нет больше на его карте социалистической Югославии, как нет и Советского Союза. Нищая хорватская деревушка превратилась во вполне преуспевающий городок, который сегодня принимает до полутора миллионов паломников в год. Выросли и обзавелись семьями визионеры, а Богородица, как сообщают из Меджугорья, по-прежнему является и является каждый день — за двадцать минут до вечерней мессы. За всю историю христианства другого примера столь долгих явлений не бывало.

Трое из тех шестерых — Вицка, Иван и Мария — продолжают видеть Богородицу (по-хорватски Ее называют здесь Госпа, то есть Госпожа) каждый день. Для Миряны, Иванки и Якова пора ежедневных явлений закончилась; эти трое видят Ее время от времени. А если визионер покидает родную деревню, в назначенный час явление все равно происходит в любой точке мира, где бы он ни находился...

События в Меджугорье сразу же получили широкий резонанс и, естественно, вызвали страшное недовольство коммунистических властей (не забудем: дело происходило в самом сердце Социалистической Федеративной Республики Югославия). Визионеров подвергали домашнему аресту, запугивали, требовали объявить явления продуктом собственной фантазии; толпы молящихся разгоняли, гору Явлений обносили оградой, выставляли милицейское оцепление... А явления продолжались — всякий раз на новом месте: на другом склоне, дома у кого-то из видящих, в больничной палате, в лаборатории медицинского института. Арестовать детей власти не решились, зато подвергли принудительной психиатрической экспертизе. Множество обследований — энцефалограммы, опыты с кожей (реакция на боль), эхография глаза, опыты с «детектором лжи», проверка слуха, работы сердца и т.д. — лишь подтвердили, что ни о каком обмане, игре, имитации и речи быть не может: визионеры совершенно нормальны, не обнаруживают психических отклонений, истеричности, а также склонности к внушению или воображению, однако в минуты явлений с ними происходит что-то, с медицинской точки зрения не объяснимое. Ясно было одно: подростки не лгут, не симулируют, исключены также самообман и галлюцинация, но в момент, который они называют явлением, эти шестеро и в самом деле на время как будто оказываются в ином измерении — они действительно с

¹ *Посланиями* эти небольшие тексты называет Сама Богородица.

кем-то общаются, и в этот момент звук их голосов не слышен окружающим. Медики-материалисты разводили руками, они и верили и не верили.

О том, что мир не только материален и что с реальностью, существующей за пределами видимого мира, можно вступать в контакт, лучше всех известно духовенству, равно как и о том, что лучшее место для подобного контакта — Церковь и что далеко не всякому «чуду» следует доверять. Именно на такой позиции и стоял местный священник отец-францисканец Йозо Зовко, поначалу категорически не поверивший в подлинность явлений. Однако очень скоро отец Йозо и сам удостоился явления Пресвятой Девы, после чего стал горячим сторонником и защитником визионеров, за что и провел два года в тюрьме, куда попал по обвинению в «подрыве социалистической системы». В 1986 года кардинал Ратцингер (которому почти через двадцать лет предстоит стать Папой Римским Бенедиктом XVI) получил от Мостарского епископа рапорт, содержавший негативную оценку явлений. Не дав рапорту хода, кардинал поручил расследование Междугорского феномена специальной комиссии, составленной из югославских епископов, и в апреле 1991 года комиссия официально признала Междугорье в качестве места молитвы и разрешила частные паломничества туда. 21 августа 1996 года д-р Наварро Вальс в качестве представителя Ватикана уточнил позицию Рима: *«В Междугорье могут приезжать все, кто пожелает»*. Да, официальная церковь не понаслышке знает, как опасно поддаваться сенсации и никогда не спешит признать явления подлинными, особенно пока эти явления длятся. И тем не менее гораздо раньше, еще в 1987-м, визионерка Мирьяна на приеме у Иоанна Павла II услышала *частное мнение* понтифика: *«Если бы я не был Папой, я был бы в Междугорье!»*.

В России о междугорских явлениях долгое время почти не было известно (в частности, потому, что местом Своих явлений Божья Матерь выбрала *католический* приход, что позволяло толковать это событие как внутриконфессиональное дело католиков, словно бы у них там своя Богоматерь, а у нас — своя). И первым изданием, подробно рассказавшим об этом, стал «Континент». Как журнал религиозный, христианский, вменяемо православный мы сочли обязательным сообщить своим читателям всю ту информацию, которой на сей счет располагали. Свой журналистский долг мы и сегодня видим в том же и стремимся постоянно рассказывать о междугорских событиях нашим читателям — независимо от того, православные они или католики, протестанты или мусульмане, верующие как-либо иначе или не верующие вообще. При этом мы вполне отдаем себе отчет в том, что к событиям этим можно относиться очень по-разному — в них можно верить, а можно и не верить.

Итак, в № 115 (№ 1 за 2003 год) был опубликован большой материал *«Я даю тебе Свою любовь, передавай ее дальше»* — очерк священника Анри Мартена и обширный редакционный комментарий, содержавший подробный и обстоятельный анализ посланий Богородицы, а также Ее ответов на вопросы визионеров и отдельных Ее высказываний, которые формально в состав *посланий* не входят. А со 117-го номера (№ 3 за 2003 год) рубрика *«Свидетельства Междугорья»* стала в «Континенте» постоянной. Открыли ее статья главного редактора журнала Игоря Виноградова *«По поводу новой рубрики и книги сестры Эммануэль»* и публикация в сокращении книги *«Междуго-*

рье, девяностые годы»². В 2004 — 2006 годах журнал опубликовал еще одну книгу сестры Эммануэль «Меджугорье. Война день за днем» (№ 120–123), а также ряд очерков и интервью из серии «Лики и Лица Меджугорья».

За четыре года вышло шестнадцать номеров «Континента», из них рубрику «Свидетельства Меджугорья» содержат одиннадцать. К сожалению, сегодня большинство этих журналов можно найти лишь в библиотеке или в электронном виде. В магазинах их уже нет; не располагает свободными экземплярами и редакция. А между тем мы считаем крайне важным, чтобы та информация, которую несет эта рубрика, не прошла мимо наших сегодняшних читателей — во всяком случае, тех, кому Интернет пока недоступен и кто по тем или иным причинам не держал в руках ни 115-го, ни 117-го, ни других меджугорских номеров. Ведь каждый из нас свободен верить или не верить, но чтобы поверить (или не поверить) в действительность тех или иных фактов, предметов или явлений, об этих фактах, предметах и явлениях необходимо прежде всего *знать* — то есть располагать о них достаточно надежной информацией. И поэтому мы считаем своим долгом донести эту информацию и до тех из друзей журнала, кто, не доверяя разного рода сенсациям, свидетельствам о чудесах и любого рода «метафизическим глупостям», тем не менее доверяет «Континенту» как изданию, отстаивающему приоритет совести, долга и разума, и кто, если и проигнорировал публикации четырехлетней давности, то, возможно, отдав дань нашей настойчивости, обратится к ним сегодня.

Итак, по всем этим соображениям мы сочли целесообразным время от времени возвращаться к тому, о чем уже рассказывалось в нашем журнале, чтобы вновь пригласить читателей поразмышлять над происходящим в Меджугорье. Мы начинаем серию этих возвращений очерком Ирины Дугиной, передающим ее восприятие и понимание меджугорского феномена.

Ирина ДУГИНА

ОАЗИС ЛЮБВИ

Задумав сделать обзор меджугорских посланий за прошедший год, я столкнулась с неожиданным затруднением: слова, сказанные Богородицей в 2006 году, оказались продолжением давно начатого разговора и для адек-

² В следующем, 2004, году общиной «Беатитюд» книга была издана в Москве в полном объеме.

**Ирина
ДУГИНА**

— родилась в 1960 г. в Калининграде (обл.). Окончила театроведческий факультет ГИТИС'а и — вольнослушателем — исторический факультет МГУ. В 1985–2000 гг. — сотрудник газеты «Советский цирк» («Цирк», «Арена»), журнала «Мир цирка», автор ряда статей, посвященных проблемам театрального и циркового искусства. С 2000 года — ответственный секретарь «Континента». Живет в Москве.

ватного восприятия требовали четвертьвекового контекста. Так что волей-неволей я решились вкратце повторить основные мотивы междугорских публикаций «Континента». Не претендуя на полноту обзора и убедительность выводов, все же надеюсь, что моя работа может оказаться для кого-то важной.

Почему все время одно и то же?

Первое впечатление, возникающее, когда начинаешь подряд читать послания Богородицы, — их однообразие: *«читайте Священное Писание», «молитесь», «поститесь», «обращайтесь»* и снова *«молитесь, молитесь, молитесь», «обращайтесь, обращайтесь, обращайтесь»*... В сущности, все их содержание за годы и годы явлений сводится к нескольким темам: мир, обращение, молитва, пост, Библия, исповедь, Евхаристия³. А ведь посланий этих — без счета: сначала Она давала их ежедневно, потом, с 1 марта 1984 года — раз в неделю, а с 25 января 1987 года — раз в месяц. По сей день по двадцать пятым числам каждого месяца послания для всего мира получает Мария Павлович, а время от времени — и кто-нибудь еще из визионеров. Иногда даже — как например, на нынешнее Рождество — Богородица дает по два послания в день. Но если сравнить текст недавних посланий с текстами двадцатипятилетней давности, окажется, что они не содержат как будто бы ничего нового. Вот, например:

«Дорогие дети! Положите Святое Писание на видное место в своей семье и читайте его. Так вы познаете молитву сердцем, и ваши мысли будут в Боге. Не забывайте, что вы преходящи, как цветок в поле, который видно издали, но который исчезает в мгновение. Деточки, оставляйте знак доброты и любви там, где вы бываете, и Бог благословит вас Своим обильным благословением. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

Это послание — одно из самых последних: оно прозвучало 25 января 2007 года. А могло бы в 81-м или 97-м году! Ведь основные темы посланий были обозначены еще в первые месяцы явлений. Поэтому многие с энтузиазмом принявшие поначалу весть о явлениях испытывают потом разочарование: день за днем, месяц за месяцем, год за годом — одно и то же: *«...мир находится в опасности, возлюбите по-братски друг друга, больше молитесь и поститесь, чтобы вы смогли спастись»*.

Четверть века — одно и то же?!

Да, с одной стороны, так оно как будто и есть. Беспрецедентно долгое пребывание Царицы Небесной на Балканской земле, уникальное четвертьвековое общение с визионерами, многие тысячи посланий — всё это не несет вроде бы решительно никакой *свежей* информации. Богородица является в определенный час, предостерегает, просит, молится вместе с людьми — и только... И ничего нового, ничего сенсационного!..

³ Евхаристия (причащение) — церковное таинство, в ходе которого хлеб и вино преосуществляются в плоть и кровь Иисуса Христа, которыми совершается причащение. Таинство евхаристии было установлено Иисусом Христом в Страстной Четверг на Тайной Вечере.

Более того — и это тоже удивляет и расхолаживает многих — Ее послания не содержат ничего нового и по сравнению со Священным Писанием. Тогда зачем вообще нужны эти послания? Эти явления? Или не достаточно нам Божьего Откровения, или нет у нас Церкви? Ведь любая христианская конфессия учит тому же самому: возлюбите ближнего, молитесь, поститесь, читайте Священное Писание. И то, что мир в опасности, — тоже далеко не новость. Христианство и родилось и существует в ожидании Второго Пришествия; две тысячи лет оно живет с сознанием того, что, сколько бы ни длилась эра от Рождества Христова, — времена это последние.

Однако стоит только вчитаться и вдуматься в послания Богородицы, и становится ясно, что они далеко не так однообразны, как кажется на первый взгляд. Недаром те, кто посланиями этими живет, кто стремится следовать им, кто с нетерпением ждет очередную весть из Меджугорья, утверждают, что более свежей, более актуальной и насыщенной информацией нет и быть не может. Так что сами визионеры на этот счет безмятежно спокойны.

— *Дева Мария говорит, что пришла не за тем, чтобы сказать что-то новое, а чтобы пробудить нашу веру,* — объясняет Вицка Иванкович.

— *Богородица призывает нас все время к одним и тем же вещам,* — говорит ей Яков Чоло. — *Но для человека, который живет этими посланиями, который сделал их неотъемлемой частью своей жизни, они являются каждый раз новой радостью.*

— *В течение всех лет, что мы Ее видим,* — говорит Мария Павлович, — *мы не можем к этому привыкнуть, каждый день это величайшая радость.*

Пусть же читатель сам судит, насколько новы или не новы эти постоянно повторяющиеся призывы.

«Да будет Бог вашим миром»

Призыв, который станет лейтмотивом явлений, прозвучал уже 26 июня 1981 года, в самом первом послании: **«Мир, мир, мир, примитесь! Только мир! Заключите мир с Богом и между собою»...**

Этот призыв все так же настойчиво звучит в течение двадцати пяти с лишним лет. Вот только небольшая выборка:

— **«Я призываю вас свидетельствовать и всей своей жизнью помогать хранить мир»** (26 июня 1986 года);

— **«Помиритесь между собой и всей вашей жизнью помогайте воцариться миру на всей земле»** (25 декабря 1990 года);

— **«Дорогие дети, Я желаю, чтобы вы несли мир и Божью радость современному беспокойному миру»** (25 октября 1997 года);

— **«Дорогие дети! В это беспокойное время Я прихожу, чтобы показать вам путь к миру. Люблю вас безграничной любовью и жажду, чтобы вы тоже любили друг друга и видели в каждом человеке Моего Сына — Любовь Безмерную. Путь к миру лежит только и единственно через любовь...»** (2 августа 2006 года);

Иногда **«Мир, мир, мир!»** — это и вообще единственные слова, которые Она передает миру во время явления...

Почему же звучит именно это слово? Почему Свои послания Богородица называет *посланиями мира*, а Себя — *Царицей мира*? Почему раз за разом повторяет, что хочет в глухой хорватской деревне создать «*оазис мира*»? Почему говорит: «*Я пришла сюда,.. чтобы сказать людям о том, что мир необходим для спасения людей*»?

Мир необходим для спасения людей?.. Но напомним, что впервые этот настойчивый призыв прозвучал в начале 80-х, когда вторая мировая война осталась далеко позади и о новых войнах Европа как будто и не помышляла... Может быть, мы не совсем верно понимаем, о каком мире идет речь?

— Слово «мир» в библейском смысле, — поясняет междугорский священник отец Любо Куртович⁴, — очень близко к слову «милость». Мир, которым одаривает нас Господь, несет в себе гораздо более глубокий смысл, чем просто отсутствие войны или конфликтов. Он несет в себе новое установление — мирное и сыновнее, и новое отношение с Богом, суть которого — спасение. В конечном счете, мир — это личность Самого Христа, «*ибо Он есть мир наш*»⁵.

Но если слово «мир» в своем пределе оказывается, как видим, синонимом слова «Бог», то оно обретает значение поистине всеобъемлющее. И подобного же комментария требуют большинство слов, постоянно звучащих в междугорских посланиях, — таких, как Путь, Истина, Жизнь, Любовь, Обращение. Так что для тех, кто живет посланиями, простота их не так уж и проста. Потому что дело не в том, что простота эта *скрывает* какой-то иной смысл, а в том, что, наоборот, она *открывает* глубину, за ними проступающую, многие уровни их смысла, поистине бездонного, сложную и логичную богословскую систему. Собственно, послания Богородицы, *послания мира*, — и Она неустанно это повторяет — становятся по-настоящему внятны, лишь когда воспринимаются в контексте Евангелия и искренней молитвы, в контексте стремления к согласию с ближними, к жизни с Богом и в Боге, в стремлении к миру.

Мир, о котором постоянно говорит Богородица, — это и есть прежде всего путь к Богу («*Я хочу вести вас путем мира*», «*...дабы показать вам путь мира и спасения*», «*Бог — это сам мир*», «*Он есть ваш мир, ваш Спаситель*»). И вместе с тем мир, о котором говорит Богородица, вмещает великое множество смыслов — от всеобъемлющего понятия Бога до какой-нибудь сущей мелочи вроде доброго слова соседу. Потому что Бог — это и есть вместилище всех смыслов нашего бытия. Вот послание 25 июля 1990 года, где многие из этих смыслов как раз и дополняют друг друга в совершеннейшем согласии:

«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас к миру. Я пришла сюда как Царица мира и хочу обогатить вас Своим Материнским миром. Дорогие дети, Я люблю вас и хочу привести всех к миру, который дает только Бог и от которого каждое сердце становится богаче. Я призываю вас стать в

⁴ См.: Голос Междугорья, 2007, № 1.

⁵ Еф. 2,14. Наверное, уместно тут вспомнить и слова Самого Христа: «*Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не уstrasается*» (Ин. 14:27).

этом беспокойном мире вестниками и свидетелями Моего мира. Пусть мир воцарится по всему свету, в котором нет мира, и который жаждет его. Я благославляю вас Своим Материнским благословением».

А это сказано 25 февраля 2003 года: *«Мир — это драгоценный Божий дар. Ищите, молитесь и вы обретете его. Говорите о мире и носите мир в своем сердце. Заботьтесь о нем, как о цветке, который нуждается в воде, нежности и свете. Будьте вестниками мира, несите его другим»...*

И, может быть, самое простое и исчерпывающее определение слова «мир» прозвучало 24 марта 1985 года: *«Всех вас призываю к примирению с Богом!»*

«Позвольте Богу...»

Рассказывая о меджугорском феномене, постоянно ловишь себя на том, что последовательного повествования не получается: то и дело приходится возвращаться к началу и опять повторять то, что является самым существенным. Немало утешает, однако, мысль, что в Своих *посланиях мира* Богородица делает это уже двадцать пять лет.

Кто-то из паломников сформулировал удивительно точно: *«Меджугорье — это не послания Богородицы, а Иисус Христос»*. И это действительно так. Послания всегда указывают путь к Христу. Что бы ни говорила Дева Мария, Она всегда говорит именно и только как Его посланница. Еще в самом начале явлений Она сказала визионерам: если придется выбирать между Ее явлением и мессой⁶, они должны идти в церковь, потому что месса — это время, когда *«Мой Сын с вами»*. И в течение всех этих лет Богородица никогда не говорила: «Молитесь, и Я дам вам!», но всегда повторяет: *«Молитесь, чтобы Я могла попросить Моего Сына за вас!»*

«Самый великий дар Меджугорья,— пишет сестра Эммануэль,— вовсе не явления. Самый великий дар Меджугорья — евхаристия!.. Дева Мария хочет, чтобы центром всего для нас был Иисус. И Иисус в Евхаристии. То, что Богородица является за двадцать минут до вечерней мессы, полно смысла: Ее приход подготавливает нас принять Самого Бога — Того, Кто безмерно превосходит Ее»⁷.

Итак, день за днем, год за годом четверть века в Меджугорье повторяется одна и та же мысль: мир возможен только там, где есть Бог. И в недавних посланиях Богородица вновь говорит: *«Не обманывайте себя, деточки, вы без Него не можете сделать ни шага!»* (2 сентября 2006 года). И сегодня Она терпеливо и настойчиво просит: *«Решитесь принять Бога, деточки, и вы обретете в Боге мир, к которому стремится ваше сердце»* (25 сентября 2006 года).

Как в начале 80-х, так и сегодня, Она именно *п р о с и т* :

«Позвольте, мои возлюбленные дети, чтобы Я вам показала истинный путь, путь, ведущий в жизнь, к Моему Сыну» (2 июля 2006 года);

⁶ Или Божественной Литургией. На конфессиональных различиях Пресвятая Дева Мария не настаивает.

⁷ Меджугорье, девяностые годы. «Континент», № 118. С. 302.

«Пусть в тишине Святой Дух говорит с вами, и позвольте Ему обратиться и изменить вас» (25 июля 2006 года);

«Позвольте Духу Святому вести вас путем истины и спасения к жизни вечной» (25 мая 1998 года);

«Позвольте вас преобразить и повести по пути мира и радости» (25 ноября 2002 года);

«Помогите Мне, вашей Матери, и позвольте вести вас Мне, Царице Мира» (2 августа 2006 года);

«Детки, не сопротивляйтесь, дайте Богу войти в вашу жизнь, вести вас по ней и преображать вас» (25 ноября 2006 года)...

Все пишущие о Меджугорье отмечают это поразительное **«позвольте Богу»**. Двадцать пять лет Дева Мария снова и снова убеждает: Бог всегда рядом, всегда готов помочь, но Он бессилен помочь, если человек не хочет этого сам, если не доверяет себя Богу. По существу, во всех посланиях Богородицы речь идет именно о взаимном согласии, о свободном сотворчестве, о живой взаимосвязи и взаимозависимости Бога и человека:

«Я призываю вас молитвой создавать вместе со Мною новый мир, живущий в мире. Я не могу сделать это без вас, поэтому с Материнской любовью Я призываю всех вас. Остальное совершит Бог» (25 декабря 1992 года).

«Любовь не навязывает себя силой», — делится своим опытом визионерка Вицка. И это уже дело человека, какой путь избрать, но только почти каждое послание Дева Мария заканчивает словами: **«Спасибо, что ответили на Мой призыв!»**

Почему «спасибо»?

Потому что:

«Я с вами, но Я не могу лишать вас свободы» (7 августа 1986 года);

«Я не хочу, чтобы вы соблюдали Мои послания по принуждению» (9 октября 1986 года);

«Я бесконечно люблю вас и хочу, чтобы вы были Моими. Но Бог наделил каждого из вас свободой выбора, которую Я с любовью ценю. В смирении принимаю вашу свободу»⁸ (25 ноября 1987 года);

«Я только жду от вас вашего «да», чтобы передать его Иисусу, и тогда Он одарит вас Своею благодатью» (25 мая 1992 года);

«Я нуждаюсь в вашей молитве и в вашем «да»» (25 февраля 1992 года);

«Бог посвящает и отдает вам Себя. Но на Свой призыв Он ждет от вас добровольного ответа» (25 ноября 1988 года);

«Я снова призываю вас иметь больше доверия к Моему Сыну и ко Мне. Он победил Своей смертью и воскресением и призывает вас, чтобы через Меня вы стали частью Его радости» (25 апреля 2006 года).

Иисус, принявший ради человека крестную смерть, ничего взамен не требует, говорят послания. Он *просит!* Просит именно для того, чтобы дать

⁸ В послании 25 февраля 2007 года прозвучали слова, заставляющие задуматься над тем, насколько адекватен действительному существу проблемы тот расхожий высокий пафос, с которым человеческое общество привыкло говорить о ценности свободы: **«Не забывайте, детки, что ваша свобода — это ваша слабость, поэтому следуйте Моим посланиям серьезно»**.

людям **мир**, который необходим им самим — **необходим для спасения людей**. А Самому Богу оно, спасение это, необходимо потому, что Он любит человека и страдает за него. И Дева Мария снова и снова говорит об этой нерасторжимой связи мира людей и Божественного **мира**, необходимой обоим — и Богу, и человеку: **«Мир далек от Бога — вот почему у него нет мира»**. Но **мира** нет и не может быть, если его не ищет человек, если человек не ищет Бога. **«Бог может дать вам мир, только если вы обратитесь и будете молиться»** (25 мая 1993 года).

Итак, призыв к миру — это призыв к примирению с Богом, а призыв к примирению с Богом — это призыв к **обращению**. Слово это также то и дело повторяется в посланиях с 80-х годов и по сей день. Богородица нередко говорит, что этот призыв и есть **самое главное** в посланиях, что Ее миссия в том и заключается, чтобы попытаться спасти человечество через его **обращение**: **«Единственным словом, которое я вам хочу сказать, является обращение всего мира <...> Я прошу только обращения»** (26 апреля 1983 года).

Обращение. Что это такое?

Убедительное разъяснение дает сестра Эммануэль: **«Древнееврейский корень этого слова за тысячу километров отстоит от того весьма тягостного смысла, который сегодня ассоциируется с пугающим самоотречением и сверхчеловеческими усилиями. Напротив, слово *teshuvah* говорит о «возвращении» — возвращении изгнанника к себе домой! Он, наконец, возвращается в свою землю, в дом, где отец и мать, зачавшие, питавшие и любившие его, где все его корни. Он пережил горький опыт удаления от родного дома, опыт нужды сердечной и материальной, может быть, опыт рабства — и вот он вновь обретает близких, вступает во владение своим добром. Вкушает, наконец, безопасности и достатка. Мое обращение означает поворот моего пути в сторону родного дома. В молитве внутренним взором я вижу свою путеводную звезду, я сознаю, что заблуждался (то есть заблудился, брел без дороги), и я исправляю свой путь»⁹**.

Итак, обращение — это ни что иное, как возвращение в свой собственный дом, к Отцовской любви и заботе, к жизни **в недрах Отца**. Ведь если принять тертуллианово **«всякая душа по природе своей христианка»**, становится очевидным, что подлинный мир души и обретает лишь в своем родном доме — в согласии с Богом. Мир, говорят послания, начинается с тишины и радости в своем сердце, со своей семьи, своей молитвенной группы, своего прихода, именно отсюда он обильно и животворно изливается вовне — на все человечество, на весь мир, не знающий мира, не верящий в Божью любовь. **«Я призываю вас и прошу: будьте свидетелями Моего присутствия своею жизнью, причем жизнью повседневной»** (25 июня 1991 года)...

Да, мы знаем, что наш мир не спешит возвращаться **домой**, напротив, топчется сбежать подальше, лишь бы не вспоминать о том, что, сколько бы ни длилась эта прогулка, однажды она окончится и каждому придется отчитываться поодиночке. И об этом Богородица говорит постоянно — с тревогой, а порой и со слезами:

⁹ «Континент», № 118. С. 287.

«Запад развивает цивилизацию, лишенную Бога — так, как если бы сам являлся собственным творцом»;

«Вы создаете новый мир без Бога, только собственными силами»;

«Ваши города и деревни полны церквей и мечетей, но люди не идут туда и не спрашивают, как им надо жить»...

Послания предостерегают: отказавшись от Бога, человечество подписывает себе смертный приговор, поскольку отказывается не просто от *мира* и *любви*, — отказывается от самой *жизни*. Богородица говорит об этом снова и снова. Но, подчеркивают послания, Она пришла вовсе не запугивать. Более того, визионерам Дева Мария объясняет, что страх никогда не проистекает от Бога, равно как злость и беспокойство; такие вещи всегда идут с противоположной стороны. Наоборот, измученному, запугавшемуся в суете, страхе и ненависти миру Она вновь несет Благую Весть о Спасителе, о том, что Жизнь полна смысла, о том, что зло должно быть побеждено.

«Деточки, — говорит Она, — не бойтесь, потому что Я с вами», «Я пришла сказать миру: Бог — это правда. Он существует. В нем — истинное счастье и полнота жизни». Цель Ее явлений и Ее посланий — вселить надежду: **«Не думайте о войнах, наказаниях, зле, потому что мысли о них уже ведут на эту тропу. Ваша задача — принять Божественный мир, жить в нем и распространять его».**

Она пришла не запугивать, но, как свидетельствуют послания, — и не успокаивать: **«Я пришла к вам, чтобы помочь».** Пришла предостеречь, удержать, обратить, убедить в том, что залог спасения каждого — его собственный свободный выбор: **«Я пришла к вам, чтобы помочь, и поэтому Я призываю вас изменить вашу жизнь».** Пришла, пока не стало совсем поздно.

Двадцать пять лет Она призывает мир выбрать Христа, Который *есть мир наш, наш путь, истина и жизнь*. Двадцать пять лет напоминает, что если выбор сделан не в пользу Бога, значит, тем не менее он — *сделан*: **«Кто не со Мною, тот против Меня, и кто не собирает со Мною, тот расточает»**¹⁰. Что мир, забывший о Боге, не отдает себе отчета ни в том, что тем самым он делает выбор, ни в том, *кто* его выбирает. Об этом Богородица тоже говорит со всей определенностью:

«Я обещала вам оазис мира, но вы не знаете, что он окружен пустыней, где подстерегает сатана, желающий искусить каждого из вас» (7 августа 1986 года);

«Дорогие дети, вы готовы совершать грех и не раздумывая отдать себя в руки сатане» (25 мая 1987 года);

«Сатана силен и... хочет обмануть вас и погубить» (25 сентября 1990 года);

«Сатана силен и... хочет разрушить мир, который приходит от Бога» (25 октября 1990 года);

«...хочет убить надежду в ваших сердцах» (25 августа 1994 года);

«...хочет войны,.. хочет раздора, хочет разрушить все доброе» (25 марта 1993 года);

«...хочет внести беспорядок в ваши сердца и ваши семьи» (25 января 1994 года);

¹⁰ Мф. 12:30.

«...лишить радости каждого» (24 января 1985 года);

«...обмануть как можно больше людей и соблазнить их на путь смерти и греха» (25 сентября 1991 года);

«...погубить все, что свято в вас и вокруг вас» (25 сентября 1992 года);

«Сатана силен и хочет погубить не только человеческую жизнь, но и природу, и всю планету, на которой вы живете» (25 января 1991 года);

«Не позволяйте сатане завладеть вашим сердцем, иначе можно стать похожими на него» (30 января 1986 года);

«Не позволяйте сатане ссорами, непониманием и неприязнью друг друга действовать в вашей жизни» (25 января 1990 года);

«Я призываю, чтобы каждый из вас решился осознанно предать себя Богу и выступил против сатаны» (25 мая 1987 года);

«Предоставьте Богу первое место, чтобы Он... оберегал вас от всех нападков сатаны» (25 декабря 1991 года);

«Я хочу защитить вас от всего, что предлагает вам сатана, желающий вашей гибели» (25 марта 1990 года);

«Я особенно желаю, чтобы вы отрелись от вещей, к которым привязаны, но которые наносят вред вашей духовной жизни. Итак, деточки, решитесь всецело посвятить себя Богу и не допустите, чтобы этими вредными для вас и вашей духовной жизни вещами сатана мог войти в вашу жизнь» (25 февраля 1990 года)...

Думается, эта подборка предостережений будет неполна, если не завершить ее следующими словами Богородицы:

«Деточки, не бойтесь, потому что Я с вами даже тогда, когда вы думаете, что выхода нет и всем правит сатана» (25 июля 1988 года).

«Оазис мира»

Отдав столько места теме сатаны и его власти в мире, я сделала это, в частности, вот почему. Если сегодня здравомыслящий человек все-таки смутно прозревает за пределами видимого некую иную реальность и на слово «Бог» его душа хоть слабо, но еще откликается, то уж сатана ассоциируется исключительно с бабушкиными сказками. Современный мир верит во что угодно — в космические энергии, астрологические прогнозы, в коллективное бессознательное, гадалок, инопланетян и реинкарнацию, зато твердо убежден в том, что никакого сатаны на самом деле нет и быть не может. Кто-то заметил даже, что наша уверенность в его несуществовании и есть то главное, чего добился в современном мире сатана.

Богородица не только постоянно говорит о реальности врага — однажды Она даже дала возможность Мирьяне, единственной из шести визионеров, увидеть его лицом к лицу. Девушка пришла в ужас. «Мне жаль, что так случилось, — сказала Богородица, — но ты должна знать, что существует сатана».

И в этой связи становится понятно, почему в Божьих планах Меджугорью отведено особое место и эта деревушка избрана, чтобы здесь был создан «оазис мира, любви и доброты».

Дева Мария говорила об этом не раз:

«У Меня и Моего Сына есть особый замысел в отношении этого прихода» (12 апреля 1984 года);

«Я избрала этот приход, дабы бережно держать его в Своих руках, — так, словно это маленький цветок, который не хочет погибнуть» (1 августа 1985 года);

«Пусть молодые люди из этого прихода будут особенно усердны в своих молитвах» (26 июля 1984 года);

«Прошу вас, особенно членов этого прихода, жить по Моим посланиям и передавать их всем, кого бы вы ни встретили» (16 августа 1984 года)...

И в Меджугорье не только звучат, тщательно записываются и рассылаются по всему миру Ее послания; здесь во всегдашней открытости Господу возрастают те, кого Она в е д е т, кто молится вместе с Богородицей о том, о чем просит Она; те, кого Она избрала *жить и свидетельствовать о мире*.

Послания постоянно напоминают о том, что в мире, забывшем Бога, испытывающем дефицит любви, нуждающемся в умиротворении, в *исцелении веры*, роль меджугорского прихода исключительна: *«Я избрала ваш приход не случайно и поэтому хочу вести его. Я охраняю его Своей любовью и хочу <...> чтобы вас всегда было как можно больше — со Мной и Моим Сыном»* (1 марта 1984 года). Здесь терпеливо год за годом Богородица растит своих *апостолов любви и доброты*: *«сначала обратитесь вы, ваш приход <...> Тогда обратятся все, кто будет приезжать сюда»* и *«мир потечет по всему свету»*. Она растит тех, кто призван не просто распространять послания, — тех, кто самой своей жизнью, своим постоянным духовным возрастом, миром в своих сердцах, миром и согласием в своих семьях призван свидетельствовать о присутствии Бога в их повседневной жизни.

«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас стать миссионерами посланий, которые Я даю здесь, в этом дорогом Мне месте. Бог позволил Мне так долго оставаться с вами, и поэтому, деточки, Я призываю вас с любовью жить по Моим посланиям. Передавайте их всему миру, чтобы на людей, которые исполнены ненависти и беспокойства, излился поток любви. Я призываю вас, деточки, стать миром там, где нет мира, и светом там, где тьма, чтобы каждое сердце приняло свет и путь спасения» (25 февраля 1995 года).

Если подряд читать послания, невозможно не заметить, как драматичны Ее отношения с меджугорским приходом: люди, с энтузиазмом взявшиеся за исполнение посланий, со временем устают, охлаждаются, отвлекаются на ежедневную суету. И Богородица то с горечью упрекает *Своих детей* в нерадении, то благодарит их за обращение, упорство в молитве и посте, то предостерегает против душевной лени. День за днем Она именно *ведет* их по пути святости, и день за днем число *Ее детей* во всем мире прирастает. И уже не только и не столько к приходу — ко всем паломникам, ко всем верующим и неверующим, к каждому из тех, кто внимает Ее посланиям, Она обращается: *деточки Мои*. *«Особенным образом, деточки, вы призваны жить и свидетельствовать о мире, мире в ваших сердцах и семьях, и через вас мир также потечет по всему свету»*.

Миллионы паломников посетили за эти годы Меджугорье, тысячи и тысячи пришли к Богу, обрели мир во Христе и понесли его дальше. В 25-ю

годовщину явлений Она благодарила всех этих людей: *«Дорогие дети! С великой радостью в сердце благодарю вас за все молитвы, совершенные в эти дни в Моих интенциях¹¹. Знайте, деточки, что вы не пожалеете об этом, ни вы, ни ваши дети. Бог наградит вас великими милостями, и вы заслужите жизнь вечную. Я рядом с вами и благодарю всех тех, кто все эти годы принимал послания, претворял их в жизнь и решился на святость и мир. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»*

Почему же в качестве Своего *оазиса мира* Она выбрала именно Меджугорье? Почему этот приход Ей *«милее, чем остальные»*? Только ли *«потому что здесь много преданных верующих душ»*, как Она сказала однажды?

Осмелюсь предположить, что не только поэтому. Думается, не зря Божий *план мира*, о котором говорят послания, так тесно связан с клочком земли, где через каких-нибудь десять лет после начала явлений обильно полилась человеческая кровь. Только тогда с запоздалой отчетливостью стало внятно то, что прозвучало здесь с первых дней, уже в июле 1981 года: *«Пост и молитва могут предотвратить даже войну»*. И слово «мир», звучащее с первых посланий, обрело еще один смысл — уже совершенно конкретный.

Маленькая справка. В Меджугорье живут хорваты, исповедующие католичество, но от Хорватии их отделяет государственная граница: деревня Меджугорье находится в Герцеговине. Сама же Герцеговина традиционно «пристегнута» к Боснии, населенной по большей части босняками-мусульманами. Мусульмане в качестве коренного населения здесь, в центре Европы, появились потому, что в XIV–XVI столетиях значительная часть здешних земель была под турецким игом. Так что, если даже не знать последних новостей от косовских албанцев, а лишь вспомнить, что бок о бок живут еще и православные сербы, становится понятным, клубок каких страстей, противоречий и амбиций, очаг какой застарелой боли представляет собой бывшая социалистическая Югославия. И началось все это отнюдь не с падением мировой системы социализма, а гораздо раньше.

Местом Своих первых явлений Богородица выбрала склон Подбрдо. Теперь этот холм называют горой Явлений, здешние камни отполированы толпами паломников, но мало кто из них знает, что в двух шагах отсюда, на противоположном склоне Подбрдо ровно за сорок лет до начала явлений, в 1941 году, банда хорватов обрекла на медленную агонию большое число православных: их загнали в глубокую природную пещеру, а вход замуровали. Но убийство это было лишь одним из звеньев в целой адской цепочке: хорваты совершили его в ответ на другие убийства, совершенные незадолго перед тем сербами, истребившими хорватов... (В интервью, которое он дал в разгар кровавых событий 1992 года, отец Йозо Зовко сказал: *«Речь не идет о борьбе между православными и католиками. Нет. Нельзя сказать, что Гитлер был протестантом или католиком. Это агрессия со стороны преступников. Они всех ненавидят одинаково»*.)

¹¹ **Интенции** (от лат. Intentio — «намерение») — то, чего мы желаем испросить в молитвах. Молиться на чьи-либо интенции означает молиться о том же, о чем подразумеваемое лицо.

В самом деле, трудно посчитать случайностью, что именно это место — какой-то провал в самом центре благополучной Европы, страшный очаг вражды — национальной, социальной, религиозной, ежеминутно готовый полыхнуть ненавистью и ужасом, выбрал Господь и Его Послannица для реализации Своих планов мира. Трудно предположить, что случайно именно здесь было сказано:

«Молюсь, чтобы вы увидели Моего Сына в каждом из ваших ближних».

Да, в апреле 1992 года в Боснии-Герцеговине началась беспрецедентная по жестокости и бессмысленности братоубийственная бойня. И снова прозвучали Ее слова: **«Дорогие дети, Я призываю вас быть упорными в молитве. С самого начала явлений Я говорила вам, что молитвой и постом вы можете остановить войну. Поэтому молитесь, молитесь, молитесь»** (16 апреля). И опять, еще настойчивей, чем прежде: **«Только молитвой и постом можно остановить войну»** (25 апреля). И пока шла эта война, прихожане Меджугорья молились о мире, о победе Иисуса, о том, чтобы научиться прощать и не множить зло, отвечая ненавистью на ненависть; на каждой мессе возносились молитвы за врагов, а визионеры передавали соотечественникам слова Богородицы: **«Любите ваших братьев православных сербов»...**

— Многие из тех, кто приезжает в Меджугорье, — говорит визионер Яков Чоло, — спрашивают, где же Господь в те моменты, когда в мире совершается жестокость, несправедливость, война. Я всегда отвечаю: а надо бы задаться совсем другим вопросом — а где были мы в течение всей своей жизни? Сколько времени мы посвятили Господу? Сколько времени молились за мир?¹²

МОЛИТВОЙ И ПОСТОМ

Даже при беглом просмотре посланий бросается в глаза, что чаще и настойчивее всего здесь звучит призыв к молитве: **«Молитесь, деточки, чтобы сатана не раскачивал вас, точно ветки на ветру».** **«Не оставляйте молитву! Вы погибнете!»**, — непрестанно повторяет Пресвятая Дева. О важности молитвы Она говорит постоянно: **«Мне нужны ваши молитвы».**

Однажды прозвучало и такое: **«Христиане, которые не молятся, могут считать себя неверующими».**

Молитва сердцем, о которой просит Богородица, — это каждодневное «да» Богу. По свидетельству тех, кто считает себя детьми Меджугорья, подлинная молитва — это тот мистический акт, «механизм» которого невозможно втолковать здравомыслящему человеку, как, видимо, и вообще невозможно объяснить рационально. Гораздо легче ее почувствовать именно сердцем — ощутить как ни с чем не сравнимую истинную радость, как подлинную встречу с Богом, живой диалог с Ним. Гораздо легче убедиться на собственном опыте (понять не разумом, а всем своим существом), что в действе молитвы совершенно непостижимые, мистические, запредельные вещи оказываются просты и до полной прозрачности ясны, что именно в тиши-

¹² См.: «Континент», № 125.

не этой ясности на душу нисходит бесконечный мир и сердцу хочется отозваться словами: *«славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам»*¹³.

Член одной из меджугорских молитвенных групп объясняет: *«В молитве главное не какие-то чрезвычайные вещи. Главное — каждодневная верность и постоянство. Как растение ежедневно нуждается в глотке воды, чтобы жить и расти, так и мы нуждаемся в нашем глотке воды — в ежедневной молитве. Без этого глотка мы понемногу умираем. Вот чему нас учит Госпа»*.

Смысл молитвы, как свидетельствуют послания Богородицы, многогранен, ее преображающая сила безмерна, именно потому, что это разговор с Господом. Это та повседневная помощь, которую подает Бог и в которой нуждается каждый из людей (*«молитесь, чтобы с миром выдержат каждое испытание»*). Это путь и к пониманию задач, которые ставит Господь перед каждым (*«молитесь, и вы узнаете в своих сердцах, что вам делать»*), и к пониманию самих себя (*«Молитесь, дорогие дети! Только таким образом сможете понять все зло, которое еще есть в ваших душах, и отдать его Господу, чтобы Господь мог полностью очистить ваши сердца»*), и необходимое условие, чтобы вняты стали и сами послания (*«только в молитве вы можете понять и принять Мои послания и воплотить их своей жизнью»*).

Но молитва, говорят послания, — это не просто предстояние. Это взаимное дело Бога и человека, потому что в нашей молитве, как это ни парадоксально, нуждается Сам Бог (*«без вас Бог не может осуществить то, что желает»*). Молитва — орудие преображения жизни (*«без молитвы нет мира»* и *«многое из происходящего с вами зависит от вашей молитвы»*); молитва — мощнейшее оружие против сатаны и не только в плане каждой отдельной личности (*«если вы молитесь, сатана ничем не сможет навредить вам. Молитесь! И пусть четки всегда будут в ваших руках знаком для сатаны, что вы принадлежите Мне»*), но в той глобальной схватке Добра со Злом, о реальности которой постоянно напоминают послания (*«Молитесь, дорогие дети, чтобы совершился Божий замысел, и всякое действие сатаны обратилось к Божьей славе»*, *«Молитесь о победе Иисуса»*, *«Только молитвой можно победить зло и защитить все, что в вашей жизни хочет уничтожить сатана»*).

«Каждая искренняя молитва открывает нашему существу проталину на Небе, — говорит сестра Эммануэль. — И если я не погибла, когда стояла на краю бездны, — это потому, что кто-то другой молился за меня».

«Сердечная молитва может все», потому что соединяет человека с Богом и вновь пробуждает неутолимую жажду богообщения.

«Дорогие дети! Сегодня снова призываю вас: молитесь, молитесь, молитесь. Только в молитве вы будете близки ко Мне и Моему Сыну. Вы увидите, насколько коротка эта жизнь, и в вашем сердце родится жажда Неба. Радость завладеет вашим сердцем, молитва потечет как река. Все ваши речи будут хвалой Богу, ибо Он создал вас, и жажда святости станет для вас реальностью».

¹³ Лк. 10:21.

Эти слова прозвучали 25 августа минувшего года. Вообще в 2006 году призыв к молитве звучал едва ли не чаще, чем обычно. Вот лишь некоторые выдержки из прошлогодних посланий:

«Молитесь, дорогие дети, в собственных семьях, чтобы путем молитвы к вам вернулись мир, любовь и радость» (1 сентября);

«Когда вы молитесь, вы становитесь ближе к Богу, и Он дает вам жажду вечности» (25 ноября);

«Вы не видите Бога, деточки, но если будете молиться, то почувствуете Его близость» (25 апреля);

«В любых неприятностях и страданиях Бог найдет для вас путь радости. Поэтому, деточки, молитесь» (25 марта)...

Напомню: Свои послания Богородица называет *посланиями мира*, а «мир, — как сказала Она 25 мая прошлого года, — *это дар, который Бог дает через молитву*». Все эти годы Дева Мария непосредственно руководит молитвенной жизнью Своих меджугорских детей, ведет молитвенные группы, буквально учит их молиться. Все годы просит о совместной молитве в семьях и молитве за членов семьи, просит не забывать, что *«молитва — это единственное средство спасения человечества»*. Каждого из шести визионеров Она наделила особой миссией: Иванка молится за семьи, Иван — за молодых священников, Вицка и Яков — за больных, Мария — за души в чистилище, Мирьяна — за неверующих.

С августа 1987 Мирьяна Драгичевич ежемесячно молится вместе с Божьей Матерью. Они молятся за неверующих, но, по словам визионерки, Богородица предпочитает называть их *«теми, кто не познал любви Господа»* и просит, чтобы молитвы, с которыми люди обращаются к Ней, прежде всего были за неверующих: *«Каждый день в первую очередь молитесь о них, ибо зло — войны, разводы, наркотики, самоубийства, аборт — приходят в мир потому, что в нем есть неверующие. Молясь за них, вы молитесь за свое собственное будущее»*.

«Богородица не хочет, чтобы мы шли с проповедями, — рассказывала Мирьяна в одном из интервью. — Она хочет, чтобы мы свидетельствовали самой своей жизнью и чтобы неверующие видели в нас любовь Бога. Пока есть на свете хоть один неверующий, Она будет переживать и плакать о нем. И если бы вы хоть раз видели слезы на Ее лице, слезы за неверующих, я уверена, вы молились бы от всего сердца».

Самая распространенная молитва в Меджугорье называется Розарием Пресвятой Богородицы. Творится она с помощью четок, которые тоже называются «розарием». Католический Розарий, возникший в глубоком средневековье, поразительно похож на «Богородичное правило» нашего Серафима Саровского. Полный Розарий включает три круга молитвы на четках и охватывает основные события церковного года — *тайны*. Под «тайнами» в данном случае подразумеваются ключевые вехи жизни Иисуса Христа и Пречистой Девы, по большей части отмечаемые Церковью в качестве праздников. Порядок молитвы таков: после краткого размышления о той или иной тайне читается «*Отче наш*», десятикратное «*Радуйся, Мария...*» («*Богородице, дево, радуйся...*») и «*Слава*». Всего три части Розария содержат 15 тайн: Радостные (Благовещение, Посещение Девой Марией Елизаветы, Рож-

дство, Сретение, Обретение Отрока Иисуса в храме), Скорбные (Гефсиманское брение, Бичевание, Венчание терновым венцом, Крестный путь на Голгофу, Распятие) и Славные (Воскресение, Вознесение, Сошествие Святого Духа, Успение Богородицы, Коронавание Девы Марии), то есть «*Отче наш*» произносится 15 раз, «*Радуйся*» 150 и «*Слава*» — 15. С октября 2002 года Папа Иоанн Павел II дополнил святой Розарий четвертой частью — Светлыми тайнами (Крещение, Чудо в Кане Галилейской, Нагорная Проповедь, Преображение Господне, Установление таинства Евхаристии на Тайной Вечери).

Просьбы о молитве Богородица нередко сопровождает просьбами о посте. Она не всегда произносит слово «*пост*», но, как следует из посланий, накрепко связывает с ним молитву. «*Поститься куда легче, когда молишься, и молиться, когда постишься*», — писал междугорский священник отец Славко Барбарич (1946 — 2000). — *Мы испытываем неотложную нужду в посте — для того, чтобы возрасть в молитве*». Пост, как и молитва, помогают человеку обрести свободу, так необходимую для сотрудничества с Богом. Отец Славко разъяснял это следующим образом: «*Пост учит человека владеть собой, своей волей, ибо только тот, кто способен овладеть своими желаниями, по-настоящему свободен и в этой свободе обретает силу предать себя на служение Богу и ближнему, соответственно своей вере. Постом человек освобождается от всяческого рабства — в первую очередь от порабощения греху. Не владеющий самим собой — уже есть раб*».

Наставления, полученные молитвенной группой, позволяют понять, что пост, более всего угодный Богородице, — это воздержание от греха. «*Отбросьте грех, живущий в вас!*», — говорит Она. Но кроме того всех, кому позволяет здоровье, Дева Мария просит поститься в среду и пятницу на хлебе и воде. При этом, как сообщают визионеры, о таком посте Она никогда не говорит как о жертве, никогда не связывает среду и пятницу со Страстями Христовыми. Напротив, строгий пост знаменует собой радость возвращения к хлебу как к основной н а с у щ н о й пище, главному условию физической жизни. А дальше путь лежит к познанию Хлеба Небесного, то есть к Иисусу, к самой Истине и Жизни. Как свидетельствуют визионеры¹⁴, пост на хлебе и воде в среду и пятницу позволяет глубже пережить Евхаристию, словно бы замыкая в оправу любви великий дар Святого Четверга, когда, преломив хлеб, Он сказал апостолам: *сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое*¹⁵.

Как следует из посланий Богородицы, молитва — это встреча с Небом, прочнейший канал связи человека с Богом. Для смертного это неисчерпаемый источник силы, мудрости и стойкости в вере, источник информации и энергии — и радости, ни с чем не сравнимой радости, которая кладет мир на сердце, превращая в праздник любви и молитвенный труд, и ограничения, связанные с постом («*Деточки*, — призывает Богородица, — *молитесь, пока молитва не станет для вас радостью*»). Для верующего человека подлинная молитва — всегда радость встречи с Творцом. Верующий знает,

¹⁴ См.: «Континент», № 118.

¹⁵ 1 Кор. 11:24.

что человек слаб и нуждается в таком общении как в хлебе насущном, как в *повседневной духовной пище*. И, наверное, иной неверующий может и позавидовать, видя, как его воцерковленный собрат в молитве, соблюдении ритуала, в сосредоточенности и дисциплине поста находит ощущение надежности, защищенности и упорядоченности — то ощущение *смысла*, которого при неуюте и постоянных стрессах современной жизни так зачастую не хватает скептику и атеисту. *«Детки, — говорит Богородица, кто молится, не боится будущего, а кто постится, не боится зла»*. И это, пожалуй, понятно и скептику и атеисту: вера привлекательна. Что даже если молитва и пост — не что иное как грандиозный самообман, терапевтическая способность нашего душевного организма *в любых неприятностях и страданиях* находить *путь радости* и приписывать все это действию Духа Святого, они все равно дают по крайней мере хотя бы иллюзию ни с чем не сравнимой радости, если не саму такую радость. А с радостью, смыслом *да еще и на регулярной диете* жить куда как здоровее и противостоять стрессам куда как легче!.. Словом, даже и атеисту не так уж трудно вроде бы понять, зачем все это нужно верующим людям.

Но Богу-то... Для чего все это нужно Богу? Как понять это *«без вас Бог не может осуществить то, что желает»*, *«многое из происходящего... зависит от вашей молитвы»*? Как понять *«Мне нужны ваши молитвы»*? Или — *«соблюдайте пост, потому что постом вы принесете Мне радость и поможете исполнению замысла во всей его полноте»*? Выходит, не только человек черпает радость, силу, смысл и умиротворение в молитве и посте? Или эти вещи и в самом деле несут в себе энергию, куда как превосходящую психотерапевтическую, — мистическую энергию...

И вот этого уже атеисту и скептику не понять. Как не понять и того, почему члены меджугорских молитвенных групп (из первых рук зная гораздо больше того, что сказано здесь) утверждают, что *главное в молитвенной группе — вовсе не молитва. Главное — любовь*. Неверующему трудно толковать, что молящийся не только просит, не только отчитывается о том, как соблюдает ритуал и исполняет заповеди. Нет, молясь, верующий вступает в интимный и равноправный диалог с Тем, Кто его *любит*, со своим Отцом. А никакой диалог двух любящих не может быть полноценным, если содержит только просьбы. Молитва превратилась бы в выклянчивание или сухой отчет, если бы не была наполнена жизнью — любовью и благодарностью Господу за все Его дары и за самую возможность общения с Ним. Богородица напоминает и об этом: *«Пусть каждый ваш день будет наполнен молитвой благодарения Богу за жизнь и за все, что вы имеете»*.

Молитва — это свободное общение двух любящих. Поэтому — при всем их неравенстве, при всей несоизмеримости их — это общение на равных. Это диалог, который нужен Богу не меньше, чем людям, потому что Бог *любит* человека. *«Пусть ваша жизнь вся целиком сделается молитвой, но без любви молиться невозможно»*, — говорит Дева Мария. И потому Она постоянно напоминает о том, что Бог так же нуждается в человеке и его добровольном содействии, как и человек в Боге. Бог дает людям то, что им так необходимо — мир, радость и любовь, но ждет, чтобы и люди ответили миром, радостью, любовью, которые необходимы Ему. Богородица в Мед-

жугорье свидетельствует: при всей его слабости человек не только берет из сокровищницы Божьей милости, он сам преумножает запасы этой сокровищницы. Связь между Богом и людьми осуществляется вовсе не по схеме «донор — реципиент»; нет, это своего рода *единая кровеносная система*, где действие Божьей благодати, обогатив людей, возвращается к Богу — при условии, конечно, что люди открыли сердце этой благодати. А если это действительно так, сколь же безмерно человеческое достоинство, как велика мера нашей свободы и та ответственность, которую любой из нас несет в мире, нам врученном! И тогда становится очевидной живая связь между миром и согласием в отдельной семье и будущим Вселенной. **«Сейчас мир находится под особой угрозой, — настойчиво повторяет Дева Мария, — и Я прошу вас возобновить пост и молитву в ваших семьях».** Если видимый и невидимый мир связаны так тесно, до полного единства, если они действительно зависят один от другого, то тогда и становится понятным, почему молитва и пост имеют силу останавливать войны. **«Простой Розарий может совершить чудеса в мире и в вашей жизни»,** говорит Дева Мария, **«ибо молитва — это основание вашего мира».** Молитва и пост — таинственное, мистическое, «недоступное уму», выражаясь словами Пушкина, но несомненное и мощное единое средство благодатного преобразования действительности. Недаром лишь с их помощью, как мы знаем, если они действительно Иисуса Христа, изгоняются духи зла¹⁶, недаром так усердно молился и постился и Он Сам. **«Дорогие дети! Я молюсь за вас»** — постоянно повторяет и Богородица. О молитве и посте Она просит и *Своих детей*. И совершенно ясно, что речь идет не о формальном воздержании от каких-то видов пищи или каких-то действий, поскольку просит Она **«поститься сердцем».**

Молитва и пост, как следует из меджугорских посланий, — общее дело Бога и человека, средство и свидетельство примирения людей с Богом, а мир на Земле — плод взаимных усилий Неба и земли.

Но этот *путь к миру* потому и нелегок, что он *лежит только и единственно через любовь*. А любовь усилием воли не дается. Недаром визионеры уверяют, что чтение посланий Богородицы не дает подлинного представления о содержании этих посланий, потому что главное их содержание — та искренняя, безмерная любовь к людям, которой сияет Ее лицо, когда Она обращает к людям свои послания. Именно эта безграничная Ее любовь к нам и позволяет Деве Марии терпеливо и настойчиво, день за днем увещевать заблудший мир, призывать его **«решиться на мир», «решиться на молитву», «решиться выбрать Бога».** Так мать, не сердясь, не раздражаясь и не выходя из себя, вновь и вновь и наставляет на истинный путь неразумного младенца. Снова и снова Она повторяет: **«Я ваша Мать», «Я люблю вас», «Бог любит вас», «Я люблю вас даже тогда, когда вы удаляетесь от Меня и Моего Сына», «Я с вами, а ваши страдания — это и Мои страдания».** Однажды Она сказала даже: **«Если бы вы знали, как Я вас люблю, вы бы заплакали от радости!»**

«Дорогие дети, вы не сознаете всей любви, которой любит вас Бог. Поэтому Он позволяет Мне быть с вами, чтобы Я наставляла вас, и помогала найти путь мира» (25 марта 1988 года).

¹⁶ См.: Мф. 17:21, Мк. 9:29.

«Дорогие дети! Прихожу в вашу действительность, чтобы обратиться к вам с призывом о вечности. Призываю вас к любви, потому что только с помощью любви вы познаете любовь Божью. Многие думают, что они верят в Бога и знают Его заповеди. Люди стараются следовать заповедям, а не делают самого важного: не любят Его» (2 октября 2006 года).

Любовь

Мир, Истина, Жизнь... Послания вновь и вновь свидетельствуют: все эти слова — суть имена Бога.

Но все эти прекрасные понятия казались бы ледяными глыбами какого-то далекого и недоступного нам совершенства, не будь у Бога вот этого имени, самого важного из всех Его имен, — Любовь. Вспомним Апостола: **«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем»**¹⁷!

Любовь — вот главный синоним и слова «мир», и слова «истина», и слова «жизнь», и слова «свобода», и слова «вечность». Потому Богородица все время и призывает:

«Деточки, решитесь же выбрать Бога, Который есть свобода и любовь. Выберите жизнь, а не смерть души» (25 марта 1996 года);

«Пусть всегда единственным вашим оружием будет любовь. Любовью обращайтесь в добро все, что сатана хочет уничтожить и присвоить себе. Только так вы будете совершенно Моими, и Я смогу вам помочь» (31 июля 1986 года).

И еще: **«Деточки, — сказала Богородица 25 апреля 1995 года, — без любви вы не сможете жить ни с Богом, ни с братьями. Поэтому Я призываю всех вас раскрыть свои сердца великой Божией любви, которая открыта для каждого из вас».**

В этом послании, как и во множестве других, снова выявлен тот главный и удивительный механизм взаимности, единства и сотворчества Бога и человека, который возникает и создается именно и только любовью: **«Если вы не любите Бога прежде всего, вы не сможете любить ни вашего ближнего, ни того, кто вам ненавистен».** Эта фраза снова кажется прямым продолжением слов апостола: **«Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?»**¹⁸.

С первого дня Ее послания говорят о том, что зло побеждается любовью, а не устрашением, что самые смертоносные войны начинаются в глубине человеческих сердец. Недаром Она просит: **«Начните с того, чтобы любить членов своей собственной семьи»**, без усталости повторяя, что сатана стремится разрушить семьи. Ведь если ему удастся раздуть взаимное непонимание и былую любовь между супругами превратить в ненависть, если ему удастся сделать врагами самых близких — родителей и детей, то уж

¹⁷ 1 Ин. 4:16.

¹⁸ 1 Ин. 4:19-20.

совсем никакого труда не составит сравнить между собой народы. В дни войны отец Славко Барбарич говорил: *«Всякое истребление и все войны происходят из презрения к жизни. А мир зависит от нашего обращения к жизни, от нашей любви к жизни. Без этого обращения к жизни мы уничтожим самих себя так, как мы позволяем уничтожать других»*. Ему вторил отец Йозо Зовко: *«Мы оплакиваем убийства, совершенные с помощью оружия, оплакиваем погибших детей... И мы же продолжаем убивать своих детей в материнском лоне! Какая разница между политиками, решающими истребить деревни, и родителями, решающими уничтожить свое собственное дитя?! Как можем мы просить Бога о защите, когда сами предаем смерти невиннейших из нас?!»*¹⁹

Сегодня, когда в мире так мало мира и стабильности, мало кто думает, что одна из причин этому — именно то, что аккуратно называется «планированием семьи». Напротив, в мире, где так мало мира и стабильности, многие боятся связывать себя браком, заводить детей. Богородица говорит об этом со всей определенностью: *«Не бойтесь иметь детей. Вам больше следует бояться не иметь детей! Чем больше у вас будет детей, тем лучше!»* Не боятся иметь детей и меджугорские визионеры, хорошо усвоившие и слова Писания *«В любви нет страха, потому что совершенная любовь изгоняет страх»*²⁰, и слова Богородицы: *«Те, кто принимают Бога как Отца, Церковь как дом и Меня как Мать, не должны ничего бояться»*; *«Уповайте на Бога и пребудьте в радости»*.

— Страх — это состояние души того, кто не верит, — говорит Мирьяна. — Лично я считаю, что Бог как Отец ничего плохого со мной сделать не может, поэтому сама ничего не боюсь.

— Я верю только в одно, что каждый человек, имеющий Бога в своем сердце; человек, который живет с Ним и ставит Его на первое место в своей жизни, не должен ничего опасаться, — говорит Яков.

— Я совершенно не беспокоюсь о будущем, ибо Богу оно известно, — говорит Елена Васили. — Важно целиком пребывать в настоящем.

— Люди боятся вещей очень отдаленных, которые, может быть, никогда не случатся, — объясняет Вицка. — Божья Мать, наоборот, призывает не беспокоиться о завтрашнем дне. Она приглашает нас всегда сосредотачиваться на том, что нужно сделать сегодня, минута за минутой.

Сегодня...

С этого слова начинается практически каждое Ее послание: *«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас...», «Дорогие дети! Сегодня Я прошу...»*

«Сегодня» — по-хорватски *danas*. Едва ли не все послания Богородицы начинаются этим словом. Для русского уха оно звучит почти знакомо, поскольку напоминает наше «днесь». Те, кто живет посланиями, даром связывают это «*danas*» с **хлебом насущным** — с тем, что важнее всего именно сегодня.

— «Сегодня», — говорит сестра Эммануэль, — это Ее поле действия, Ее штаб-квартира... День за днем — это Ее лейтмотив; 24 часа — Ее единица

¹⁹ См.: «Континент», № 122.

²⁰ 1 Ин. 4:18.

времени. Вчера уже прошло, завтра еще не наступило, и, чтобы любить, у меня есть только сегодня. Если я люблю, в моем сердце нет места для страха. Страх — это всегда симптом психоза по имени «завтра». Более того, любя, я приготавливаю будущее, я изменяю будущее, я строю подлинную безопасность для моей семьи. Я укоренен в реальном, а не витаю в воздухе. Если я раб сигарет, алкоголя или порнографии, я могу отказаться от них на 24 часа. Если я обижаю близкого человека — я могу прекратить это на 24 часа. Я знаю, что слишком слаб, чтобы обещать держаться в течение трех месяцев, даже одного месяца. Но 24 часа — это точно соответствует моим силам.

Об этом же говорит и визионерка Вицка:

— Наше обращение — это задача каждого дня, и никто не может сказать, что он уже обратился. Зато каждый день мы должны себе повторять, что мы хотим двигаться дальше в своем обращении. Обращение — это дело всей жизни изо дня в день.

— И для нас, визионеров, это не легче, чем для кого-то еще, — добавляет Мария. — У нас такая же свобода выбора между злом и добром, и для нас это такая же борьба, как и для других.

Почему же все-таки так долго?

Вот мы и добрались до ответа на вопрос: отчего Богородица так долго остается на Балканской земле, отчего так долго повторяет одни и те же вещи, и без того прекрасно известные любому христианину. Ответ этот предельно прост: из любви.

Представим себе такую картину: высоко под куполом цирка по канату идет человек, в руках у него тяжелый балансир, на глазах черная повязка. Представим себе также, что оказался он там впервые, один на страшной высоте. А внизу, на манеже, со страховочной лонжей в руках — наставник нашего канатоходца, его родной отец. И вот один наверху делает шаг, а другой подсказывает: «прямее корпус», «чуть опусти балансир», «центр тяжести — на правую ногу», «сейчас задержись», «теперь корпус чуть левее», «не бойся, не гляди себе под ноги — смотри вперед»... И если мы запишем и отдельной книжкой издадим то, что изо дня в день говорит этот наставник, как раз и получатся скучные и однообразные повторения. Но ведь говорится все это не для того вовсе, чтобы кто-то издал книжку. Говорится все это потому, что идущий сейчас по канату нуждается в этих словах. Каждое из них жизненно необходимо ему в каждый момент его пути, и более важной, свежей и актуальной информации для него нет и быть не может. Ведь без этих слов, без этих *посланий* он попросту упадет...

Вот так и Она: день за днем, месяц за месяцем, год за годом *ведет* Она — действительно, буквально, за руку ведет — каждого, кто решил жить Ее посланиями.

Работая над этим обзором, я все время сталкивалась с такой трудностью: послания, которые поначалу производят впечатление утомительного однообразия, на самом деле бесконечно разнообразны, яркие, всякий раз неожиданно новы при всей своей кажущейся неновизне. И потому хоте-

лось их цитировать и цитировать, и страшно было упустить хоть слово, потому что каждое новое послание непременно добавляло к уже сказанному что-то очень существенное. Может быть, для небольшого обзора, обращенного прежде всего к общим, сквозным темам посланий, такое обильное цитирование и излишне. Но, надеюсь, меня простят все же хотя бы те, для кого они — не просто информация. Потому что для тех, кто *живет* Ее посланиями, они вовсе, конечно же, не скучны и не однообразны. Они — наш духовный хлеб насущный. То, ради чего Она и пришла к нам.

«Дорогие дети, Я остаюсь здесь так долго — ради вас, чтобы помочь вам жить всеми посланиями, которые передаю» (30 октября 1986 года);

«Из любви к человеку Бог послал Меня к вам, чтобы показать вам путь спасения, путь любви» (25 апреля 1995 года);

«Я с вами так долго, чтобы все вы поняли, как крепко любит вас Бог» (25 июня 1996 года)...

Так же безмерно любит и Она их всех — и Мирьяну, и Иванку, и Вицку, и Якова, и Ивана, и Марию, и Эммануэль, и отца Йозо, и отца Любо, и Елену, и Марьяну. Она любит всех прихожан меджугорской церкви, всех многочисленных паломников и вообще всех людей Земли.

Она любит каждого человека в особенности: **«Дорогие дети, Я люблю каждого из вас так же, как люблю Моего Сына Иисуса!»**

И потому каждого Она терпеливо, изо дня в день готова вести к Богу, к вечному спасению.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

в зеркале прессы

(декабрь 2006 – февраль 2007)

(Краткий обзор)

К вопросу о преподавании «Основ православной культуры» в школе

Быть или не быть предмету «Основы православной культуры» (ОПК) в общероссийской сетке средних образовательных учреждений? Не нарушит ли его преподавание принцип светскости государства? Принесет ли он реальную пользу детям? Консолидированных ответов в обществе на эти вопросы пока нет. Но ясно, что введение нового предмета связано с рядом очевидных общественных рисков, и публичная полемика вокруг формата преподавания религии в школе показывает всю неоднозначность этой проблемы.

Среди противников ОПК оказалось немало либералов, стоящих на позиции жесткого отделения Церкви от государства, воспринимающих сам термин «светский» как синоним «антирелигиозный». С ними солидарны и некоторые представители других религий и конфессий, опасющиеся дискриминации по религиозному признаку. Так, по сообщению газеты **«Известия»** (01.02.2007) глава Совета муфтиев России **Равиль Гайнутдин** выступил против введения в школах курса «Основы православной культуры». Кроме того, он обвинил православных в препятствовании строительству мечетей в России. Слова Равиля Гайнутдина свидетельствуют о том, что, несмотря на позицию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, накануне недвусмысленно высказавшегося за введение нового школьного предмета, муфтии свою позицию в многолетнем споре смягчать не намерены. Свое весьма резкое заявление Гайнутдин сделал в рамках совещания на тему «Этническое и религиозное многообразие как основа стабильности и развития российского общества», которое проходило с участием председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по вопросам толерантности и свободы совести Валерия Тишкова, признавшего факт серьезного конфликта.

«**Время новостей**» (10.01.2007) рассказывает об убийстве священника поселкового храма в Свердловской области накануне Рождества. И в этой связи издание приводит слова архиепископа Викентия: «Очень важно преподавать в школах “Основы православной культуры”, для того чтобы воспитывать в детских душах с самого раннего возраста те высокие качества души человека, которые укрепляли бы в добре, укрепляли в делании добра и борьбе со злом. Чтобы ребенок уже в самом себе знал, как бороться со своими злыми помыслами, желаниями и делами». Однако по тону публикации видно, что газета стоит совсем на других позициях.

Аргументы радикальных противников ОПК хорошо известны: опасность клерикализации школы. И такая угроза действительно существует. «Фундаментализм, сильно укрепивший свои позиции за последние годы, очевидным образом мешает деятельности церкви в образовательной сфере, превращая многие ее начинания в фарс и в мертвые конструкции. Страшно,

когда за сложное и тонкое дело берутся люди, не понимающие, что принудительное насаждение традиции, нравственности, а тем более веры (а именно о принуждении идет речь, когда обсуждается включение по сути “Закона Божия” в обязательную для посещения “сетку”), — это один из вернейших способов разрушения и традиции, и нравственности, в чем так наглядно убеждает история», — пишет **«Ежедневный журнал»** (15.01.2007).

Тем не менее нельзя отрицать и то хорошее, что может дать ОПК школе. Хотя бы в перспективе. Чтобы такой, действительно культурологический, предмет появился в школьной сетке, нужны усилия здоровых сил Церкви и общества. Непонятно, почему Министерство образования отдало инициативу по продвижению ОПК так называемой православной общечеловечности, почему до сих пор не создан серьезный культурологический учебник. А ведь кроме учебника нужны и апробированные методики, и квалифицированные кадры...

Одновременно с полемикой о формате преподавания религии в школе в СМИ бурно обсуждался и вопрос о допустимости навязывания школьникам теории происхождения человека от обезьяны.

На XV Рождественских образовательных чтениях Патриарх Алексий II высказался в том смысле, что не будет никакого вреда, если школьник будет знать библейское учение о происхождении мира. А если кто хочет считать, что он произошел от обезьяны, пусть так считает, но не навязывает это мнение другим.

Заместитель главы ОВЦС **протоиерей Всеволод Чаплин** так прокомментировал на радиостанции **«Эхо Москвы»** (29.01.2007) слова Предстоятеля Церкви: «Святейший Патриарх предлагает разным людям выбирать мировоззрение в школе. Пока в школе есть монополия и есть жесткий диктат дарвинизма, который, будучи одной из гипотез, одной из теорий происхождения мира и человека, сегодня подается как не подлежащая оспариванию научная истина. И те, кто не согласен эту идею поддерживать, развивать и с ней соглашаться, в школе должен получать двойку, так получается. Если ты не высказываешь согласие с теорией Дарвина, тебе ставят плохую оценку».

Эту тему на страницах **«Российской газеты»** (20.02.2007) продолжил **диакон Андрей Кураев**. По мнению автора, мир современной биологии — это мир дискуссий. И говорить школьникам, будто атеистически интерпретированный дарвинизм есть единственная норма научности, — значит слишком упрощать реальность. «Мы не претендуем на цензуру школьных учебников по биологии. Мы просто хотели бы, чтобы они были более научны. Чтобы в них детям сообщалось о том, что число моделей, функционирующих в обществе и призванных объяснить происхождение человека, не ограничивается одной лишь “дарвинистской”», — пишет он.

Поводом для дискуссии о дарвинизме стал иск, поданный школьницей из Петербурга Машей Шрайбер. Она отстаивала право не изучать теорию происхождения видов Дарвина. «В нашей стране это первый случай такого рода, — сообщает своим читателям газета **«Труд»** (13.02.2007). — Против Дарвина дружным фронтом выступают в основном американцы: Дарвин в США даже запрещен в некоторых штатах. Инициатором движения за отказ от дарвинизма выступил институт Discovery в Сиэтле. Сбор подписей ведется с

2001 года. Опросы, проведенные социологами из университета штата Мичиган, показали, что примерно треть американцев не верит в теорию эволюции».

Однако, по сообщению информационного агентства **«Интерфакс-религия»** (21.02.2007), Октябрьский районный суд Петербурга принял 21 февраля решение отказать в удовлетворении иска Марии Шрайбер, требовавшей запретить преподавание в школе теории Дарвина как доминирующей. Также суд отказал в требовании истицы о том, чтобы Минобрнауки принесло ей письменные извинения за оскорбление ее религиозных чувств во время изучения теории Дарвина на уроках биологии в школе.

Выбор Украины

На Украине все настойчивее идут разговоры о создании единой Православной Церкви, о чем говорят и президент страны, и политики разной ориентации. Государство Украина явно нуждается в дополнительных способах самоидентификации, и образование одной Поместной Церкви, бесспорно, отвечает интересам политиков-государственников, видящих в этом еще один признак полноценной державности.

Состоявшийся в январе Архиерейский Собор Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) принял решение о создании комиссии по восстановлению единства украинского православия. Задачей комиссии будет «поиск путей и методов, а также разработка механизмов восстановления единства украинского православия путем церковно-дисциплинарных норм, предусмотренных каноническим правом».

«Таким образом, украинские архиереи Московского Патриархата отвергли предложение президента Украины Виктора Ющенко создать совместную богословскую комиссию с представителями Киевского патриархата для объединения в единую поместную Церковь», — сообщает **«Интерфакс-религия»** (21.02.2007).

В частности, митрополит Черновицкий и Буковинский **Онуфрий** заявил, что «идея Виктора Ющенко организовать комиссию по созданию единой поместной Церкви» выходит за пределы компетенции главы государства, поскольку «церковным вопросом должна заниматься Церковь, а не президент». По мнению иерарха, то, что Ющенко дает рекомендации Церкви, «используя свое положение», является нарушением Конституции Украины. «У нас уже есть поместная Церковь, просто политики не понимают, что такое Церковь и какова ее природа», — отметил он.

«Президент обращается к нам, как будто вопрос раскола встал не 15 лет назад, а вчера. В УПЦ КП нет ни епископов, ни священников, а есть только ряженые, у которых мы всегда готовы принять покаяние, но не вести переговоры с ними. Плюс к этому, в Конституции ничего не говорится о вмешательстве президента в церковные дела, так что, при всем уважении к Виктору Ющенко, мы видим, что он выходит за рамки своих полномочий», — пояснили газете **«Коммерсант»** (26.01.2007) в пресс-службе УПЦ МП.

Священник **Петр Зуев** в киевской газете **«Зеркало недели»** (№ 6, 2007) размышляет о путях украинского православия: «Запад объединен вокруг идеи автокефалии, Восток и Юг — идеи «славянского единства». Центр —

зона острой конкуренции, и именно от его конфессионального выбора зависит судьба Украинской Церкви в XXI столетии».

От себя заметим, что парад независимых национальных церквей — дань волнам этнонационализма, прокатившимся по Европе в XVIII-XIX вв. Процесс этот видный греческий богослов Христос Яннарас связывает с секуляризацией. Москва по отношению к Киеву сегодня является Константинопolem древности. На постсоветском пространстве она несет Крест единства. И пока это так, пока она утверждает киевского митрополита, у украинской власти мало шансов превратить его в простую политическую марионетку.

Переговоры о воссоединении РПЦ и РПЦЗ

В Москве состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с делегацией Русской Зарубежной Церкви, итогом которой стало подтверждение даты подписания «Акта о каноническом общении» — 17 мая этого года.

«Улаживать последние спорные вопросы между двумя церквями на этот раз прибыла в Свято-Данилов монастырь довольно представительная делегация. Посланников зарубежного православия возглавлял главный “менеджер” процесса объединения — заместитель председателя архиерейского Синода РПЦЗ архиепископ Берлинский и Германский Марк», — сообщает газета **«Время новостей»** (01.02.2007). И приводит некоторые подробности: «Как признался журналистам после встречи у патриарха председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Кирилл, до сих пор комиссии не удалось окончательно договориться по двум вопросам. Речь идет об определении статуса приходов Русской Зарубежной Церкви, находящихся на канонической территории Московского Патриархата, и решении вопроса по священнослужителям, которые считаются отступниками в РПЦ или в зарубежной церкви и состоят в списках клира у другой стороны переговорного процесса. Однако митрополит Кирилл заверил журналистов, что “алгоритм решения всех этих вопросов согласован” и до 17 мая все необходимые договоренности будут достигнуты».

13 февраля в Париже состоялась конференция, посвященная объединению РПЦ и РПЦЗ. Как сообщили агентству РИА **«Новости»** в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата, это уже пятая конференция, организованная «Движением за поместное православие русской традиции в Западной Европе». В ходе «круглого стола» во французской столице председатель комиссии РПЦЗ по переговорам с Московским Патриархатом архиепископ Берлинский и Германско-Великобританский Марк (Арендт) рассказал о состоявшемся диалоге и его итогах, а также о перспективах организации жизни Православной Церкви в Западной Европе.

Фильм Павла Лунгина «Остров»

Лента вызвала самые разные реакции — от восторженных до остро критических. Один игумен даже предложил снять в пикну «пропахшей ладаном картине» фильм о монашествующих «голубых». Конечно, о монастыр-

ской жизни разные киноленты можно снимать. Но «Остров» — не только о ней. Он о вере, вине и покаянии.

В центре картины, как известно, послушник Анатолий, который работает в котельной и время от времени помогает приплывшим на остров мирянам. Больше тридцати лет он носит в себе грех убийства.

Успех фильма проявился не только в том, что во время телепоказа он получил один из самых высоких рейтингов. Жюри кинопремии «Золотой Орел», основанной шесть лет назад Н. Михалковым, признало фильм лучшим в шести самых престижных номинациях. Ни один фильм до сих пор и близко не приближался к такому признанию..

На вопрос о причинах успеха фильма режиссер в интервью газете **«Коммерсант»** (29.01.2007) заметил: «Россия никогда не жила чисто материальными ценностями, здесь всегда были страстные духовные течения. А в мире духовного супермаркета, где тебе предлагают только развлечения, уже расфасованные и пережеванные, думаю, людям было душно и тесно. И еще мне кажется, что в этом фильме есть такое чувство, что вина и грех искупаемы. Понимаете? Он дает надежду на избавление, искупление. Каждый сделал что-то такое, за что ему стыдно и грешно, и вот это чисто христианское чувство, что искупление есть и что прощение есть, я думаю, нашло свой отклик у людей».

Очень высоко оценил работу Павла Лунгина **Патриарх Московский и всея Руси Алексей II**. В беседе с корреспондентом **«Российской газеты»** (19.01.2007) он сказал: «Ценность фильма в том, что его создатели сумели показать глубокое, искреннее покаяние человека. Мне трудно судить, что сыграло решающую роль в том, что картина получилась такой достоверной и внутренне убедительной. Думаю, чистые и искренние побуждения авторов фильма и актеров были необходимым условием, которое повлияло на результат. Здесь проблемы духовной жизни и спасения выдвинуты на первый план, и зрители, которые, может быть, впервые соприкоснулись с этими проблемами, глубоко задумались. Зритель, благодаря создателям фильма, верит правде характеров, а потом уже в то, во что верят эти характеры. Древний церковный учитель Тертуллиан сказал в свое время: “Душа человека по природе христианка”. Я думаю, фильм “Остров” — еще одно подтверждение этой истины. Не случайно картина получила такой широкий резонанс, она заставила даже неверующих людей задуматься о религии и Боге, о грехе и покаянии. Это большое достижение авторов картины. Кроме того, фильм интересен еще и тем, что показал самим кинематографистам: создавать картины на церковные сюжеты возможно, если только подходить к этому с серьезностью и стараться отобразить не только внешнюю сторону церковной жизни, но и внутреннее ее содержание».

Газета **«Время новостей»** (25.01.2007) объясняет успех «Острова» «тоской людей по эффективности»: «И действительно, то, что старец Анатолий молитвой разрешает скорби своих паломников, от которых при этом не требуется личных усилий, очень соблазнительно счесть выражением той самой, запечатленной в сказках и песнях, страсти к единому и простому решению. Но, безусловно, феномен этот не так прост, но понять его стоит попытаться. И возможно, это та самая задача, которая может заставить общество сделать шаг по пути к самосознанию».

Наиболее критические отзывы о фильме звучат прежде всего среди верующих. Так, искусствовед **Алла Новикова**, автор публикации в «**Благовест-инфо**» (12.02.2007), отмечает, что «Остров» — это рискованный гибрид жанров. Житие в нем соединилось с традиционной для современной массовой культуры мелодрамой. По ее мнению, фильм слишком исторически конкретен, чтобы быть притчей. Точное указание на место и время событий, множество знаковых деталей запутывает зрителя, заставляя воспринимать «Остров» как реалистическое кино, снятое с ошибками. «Фильм “Остров” возвращает нас к традиционной для русского народа “размытой религиозности”, восходящей к языческим корням. Симптоматично, что основную массу зрителей, в том числе и людей церковных, это вовсе не пугает», — резюмирует автор.

В январском номере издания Санкт-Петербургской епархии «**Вода живая**» протоиерей **Георгий Митрофанов**, уже не раз выступавший с предостережением, что фильм ведет людей не в Церковь Христову, а в церковь старцев, что на деле чаще всего в поисках прозорливца современники встретят не Анатолия, а кого-то вроде Григория Распутина, отмечает, что «очень часто не к обычным священникам, а именно к “старцам” люди идут за благословением на какой-то грех, на который ни Бог, ни любой здравомыслящий священник не благословит. А вот “старец”, может быть, благословит. Он же не “просто священник”, он некий сверхчеловек, стоящий по ту сторону добра и зла. Попытка манипулировать благословением духовенства со стороны пришедших в Церковь полубезбожников вообще очень характерна. В фильме мы видим такую же ситуацию».

Продолжая размышления о проблемах христианского и нехристианского подхода к греху и раскаянию, архимандрит **Ианнуарий (Ивлиев)** в статье «**О скупости христианства**» пишет: «Да, такое бывало и бывает. Но какой это странный поворот Новозаветной Вести! Человек всю жизнь прожил не во Христе, а в своем грехе. Свет прозрения, благодарное чувство прощения ему почти до самой смерти чужды. Прощения он ищет не через Христово Искупление, но через самоискупление, через своего рода “флагелланство”, самоистязание. Эта мысль не новая, но гордая и греховная. Хотя, может быть, таким и был замысел фильма: показать всю безуспешность этого “самоискупления”, этой духовной слепоты, державшей человека во мраке, несмотря на знаки Божией милости (чудеса!). Недаром один из героев фильма говорит “старцу”, что он одержим гордыней».

Интересно, что после широкого показа киноленты в прессе появились сообщения о том, что сыгравший в «Острове» Дмитрий Дюжев решил постричься в монахи. «**Комсомольская правда**» (18.01.2007) пишет: «По слухам, астраханский бизнес отца и свои квартиры в Астрахани и в Москве Дюжев намерен отписать церкви. Сам актер комментировать это не хочет, говорит, благие дела надо делать тихо». «Популярный актер, всерьез погружившийся в религию, — явление редкое, но не уникальное. В разные годы практически полностью уходили из мирской жизни и посвящали себя Богу Екатерина Васильева, Иван Охлобыстин, Валерий Рыжаков (“Ларец Марии Медичи”, “Возвращение Святого Луки”»).

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины

«ЛУЧШИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**Вступительное слово на выставке
«Счастье в русском искусстве XX века»**

Название моего выступления связано со словами Александра Пушкина, с его замечанием из частного письма другу: «Говорят, что несчастье — хорошая школа; может быть. Но счастье есть лучший университет». Это очаровательное замечание, сделанное как бы между делом, *a propos* (Пушкин всегда избегал броских афоризмов и дидактики любого рода), очень значительно. Мысль Пушкина корректирует и расхожую педагогику (типа: «что мучит, то и учит»), и бытовую антропологию (человек — такое существо, которое нельзя «гладить по головке»), и религиозные навыки своего времени (вспомним слова его современника, святителя Филарета Московского: «Боюсь на земле счастья, которое ничего не боится»), и, в конечном счете, всю картину мироздания. В жестоком и враждебном мироздании счастье не учит, а сбивает с толку. Жестокое, несправедливое, опасное мироздание познается другим образом. Его наука — это школа выживания с тремя правилами лагерного зека, переданными Солженицыным: «Не доверяй, не надейся, не проси». В университете счастья, где изучают не выживание, а жизнь, человек узнает противоположное: доверие, надежду и просьбу. И множество других вещей, которых в школе не проходят.

По всей видимости, нынешняя эпоха либерализма позволяет нам оценить глубину пушкинской мысли. Но это не более чем видимость: либерализм, дорогое Пушкину слово, означал для него совсем другое; это был либерализм аристократический. Однако это другая, отдельная тема.

Эти слова Пушкина, основателя новой российской словесности, признающие такую высокую этическую и познавательную ценность счастья, должны удивить тех, кто привык к известному образу России и русской культуры: образу страны страдания, боли и терпения, области горя — поэтически пережитого, оправданного, воспетого горя. Таким образом России, наделенной особым даром не только безропотно переносить безмерное страдание, но почитать и любить его («как будто чин есть такой — страдалец», как говорит герой Достоевского), располагают не только зарубежные читатели Достоевского, но и многие в самой России.

**Ольга
СЕДАКОВА**

— родилась в 1949 г. в Москве. Окончила филологический факультет МГУ и аспирантуру Института славяноведения. Кандидат филологических наук, поэт, автор многих книг, в том числе собрания сочинений в 2-х тт. и тома избранного «Путешествие волхвов». Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

Этот стон у нас песней зовется, —

писал Некрасов. Да и сам Пушкин называл русскую песню воем:

От ямщика до первого поэта
Мы все поем уныло. Грустный вой
Есть русской песни первая примета.

Для такого образа России есть все основания — и исторические, и поэтические, и религиозные. Стоит вспомнить любимые сюжеты русских духовных стихов, лучших свидетельств о характере нашего народного христианства: Лазарь бедный, Алексей Римский угодник, царевич Иоасаф. «Кому на Руси жить хорошо?» — спрашивает поэма Некрасова и отвечает: никому! Сам ее автор, по воспоминаниям современников, в частной ресторанной беседе ответил: «Пьяному!» То самое всеобщее страдание, что в искусстве и мысли гражданского направления рождало жалобу и гнев, в народной религиозности становилось поэзией отречения, апофеозом нищеты и муки как единственной формы праведности на грешной земле.

Но шел один венец терновый
К твоей суровой красоте.

Так у Блока, так у Ахматовой, так у Достоевского, так даже у европейца Тургенева («Живые мощи»). Так у нашей современницы Елены Шварц:

Мы ведь где? мы в России,
где от боли чернеют кусты,
где глаза у святых лучезарно пусты.

Не только *так*: но *так* запоминается больше всего, так всего роднее, так ближе всего к сердцу.

Тем не менее между всем известным русским почитанием страдания и знанием счастья как своего рода посвятительного таинства не стоит видеть простого контраста. Прежде всего потому, что в приведенных мною примерах само страдание и становится источником и опытом счастья. Вот еще два примера, которые позволяют уточнить, что за счастье имеется здесь в виду: великое счастье Алеши Карамазова после несостоявшегося чуда (тления останков старца Зосимы) и полное, безмерное счастье Пьера Безухова во французском плену ввиду возможного расстрела. И в том, и в другом случае речь идет об освобождающей силе страдания и нищеты: именно таким образом, утратив все, человек открывает замкнутую прежде для него дверь в счастье: счастье встречи с бессмертным, с божественным, с собственной душой и бесконечной свободой: встреча с тем в себе, что абсолютно непобедимо («Меня убить? мою бессмертную душу?» — смеется Пьер), что удивительным образом совершенно неиспорчено, чисто, как в начале, и способно любить все. С Христом, скажет Достоевский. С Жизнью, скажет Лев Толстой.

Именно у Толстого мы найдем своего рода богатейшую феноменологию *Счастья как Жизни* («Чем люди живы»). По Толстому, если и когда у человека *есть жизнь*, он не может делать ничего другого, как любить все, как буквально обмирать от любви ко всему — от любви, счастья и растроганности, которые превращаются в музыку (как в последнюю ночь Пети

Ростова в «Войне и мире»). Эти образы счастья — блаженства, вообще говоря, — у русских писателей кажутся написанным многими руками комментарием к Нагорной проповеди — или русской версией того, что Францис называл «совершенной радостью».

Пушкин в своем суждении об «университете счастья», вероятно, думал не совсем об этом, во всяком случае, не только об этом, крайнем, в каком-то смысле предсмертном образе счастья. Его переживание счастья, его умиление или пробуждение —

Душе настало пробужденье —

возникали не только под действием муки и утраты «и бездны мрачной на краю», но и красоты, которую он переживал как «мощную власть» и «святыню», и вдохновения, которое он переживал как посещение ангела:

Поэзия как ангел утешитель
Спасла меня, и я воскрес душой.

Вероятно, Пушкину в его зрелые годы был внятн и тот образ счастья как мирного долголетия и благополучия, о котором говорит стих псалма. Но здесь Пушкин, пожалуй, составляет исключение: русская классическая литература чаще всего ставит этот образ под вопрос. Земное благополучие приобретает поэтическую притягательность, только если оно принимает совсем фантастические, сказочные масштабы, как в утопиях Хлебникова:

И будет некому продать
Мешок, от золота тугой.

Если это уже полная победа над всеми стихиями, над самой *conditio humana*, над смертностью и конечностью человека. В этой мечте о всеобщем счастье (почти непременно с богоборческим оттенком) речь идет уже не о «долгих годах» — а о практическом бессмертии (достигнутом техническим или магическим образом), и не просто о благах — но о всевластии человека в мироздании. Об особом образом воспитанном «новом человеке» и о самодельных «новом небе и новой земле».

То, во что вылилась эта мечта, досталось на нашу долю.

И здесь от общих и исторических наблюдений я перейду к воспоминаниям. Как и все мои ровесники, уже не первое поколение «новых людей», я выросла в стране осуществленного счастья. Осуществленного в настоящее время только у нас, но ожидающего все человечество, пока еще томящегося за границами нашей страны. Там, как нас учили с детского сада, располагался ад. Там люди умирали на улицах с голоду и негров линчевали на каждом углу. Ад располагался и на нашей территории — вплоть до 17-го года. Там с крепостных сдирали кожу. Мы оглядывались кругом и видели: а у нас ничего подобного! Нам дано все, о чем мечтали веками. Пессимизм рассматривался в качестве идейного преступления — или же психического заблуждения. Никаким, кроме как счастливым, советский человек не должен был быть. Судя по нынешней ностальгии, многие и в самом деле знали советское счастье, которого теперь лишились. Или же, — подозреваю, — узнали его именно теперь. Чего я не помню, так это счастливых лиц на улицах 70-х и 80-х годов. Подавленные, раздраженные, замкнутые, усталые, не глядящие

друг на друга люди под сторожащими их на каждом шагу радостными лозунгами. Пугающе радостными.

Оптимистичными должны были быть мельчайшие элементы формы. В учебнике «Элементарной теории музыки» говорилось, что социалистический пафос выражают мажор и восходящий интервал. В качестве образца совсем правильной работы с восходящими интервалами приводился тогдашний — и вновь действующий — государственный гимн. В нем все интервалы восходящие, а что до мажора... Но — имеющий уши да слышит: что в действительности, кроме надорванной агрессии, несет в себе этот неуклонно восходящий звуковой ряд? К какому верху мы таким образом поднимаемся?

Я вспоминаю эти официальные установки о содержательном и формальном оптимизме, действовавшие больше 70 лет, только для того, чтобы показать, как затруднена в нашем случае, после крушения системы, всякая позитивная позиция. Не приходится удивляться, что первым ответом «освобожденной» от этого принудительного всеобщего счастья культуры стали цинизм, глобальная ирония (которую точнее бы назвать глумлением), «чернуха», грязь, насилие, атомический индивидуализм и физиологический отврат как основные художественные темы российской версии постмодернизма. И здесь, в поэтике крайнего разложения, российский радикальный авангард сошелся с европейским (ср. прозу В. Сорокина и М. Уэльбека). Теперь можно не беспокоиться: культурный железный занавес окончательно поднят; мы там же, где все просвещенное человечество. Недавний неконформизм стал почти такой же принудительной нормой «актуальной» культуры, как прежний позитив. Его политическим оправданием в России, нужно заметить, остается перспектива гонений со стороны нового официоза, нового принудительного «позитива».

Этот «ответ» — слишком реактивный, слишком прямолинейный, слишком, я бы сказала, не интеллектуальный (всего лишь обратная сторона былых декораций), не требующий умственного усилия, — выглядит для меня простым продолжением нашего прошлого, его последней фазой, выпускным классом той «хорошей школы», из которой выходит конченный человек.

Настоящим возражением тому издевательскому счастью («Жить стало лучше, жить стало веселее», как это называлось) было бы, я думаю, воспоминание о счастье настоящем, отсветы которого мы видели в глухие советские годы. Оно открывалось нам прежде всего в искусстве — в том искусстве, которое было изгнано из советского рая: странном, тревожном, сложном, абсолютно непохожем на все окружающее. Оно могло говорить совсем не о радости, а об острой и глубокой скорби, как музыка Шостаковича, о стремлении к гибели, как поэзия Блока:

Над бездонным провалом в вечность
Задыхаясь, летит рысак, —

об ошеломленности неведомым бытием, как стихи Мандельштама:

Вот оно, мое небо ночное,
Пред которым, как мальчик, стою...

Но его голос, узнаваемый нами как *другой* голос, говорил о величии и свободе души. Любовь к тому, что Мандельштам называл «мировой культу-

рой» и «краденым воздухом», ко всякому явлению человека, выпрямившегося во весь свой рост — мысленный, сердечный, душевный рост — или превосходящего себя, любовь, сила которой необъяснима для «нормального» общества (где как раз в эти же годы происходила контркультурная революция, борьба с «репрессивной» культурой), — в ней была наша жизнь, наша «тайная (то есть таинственная) свобода», и я никак не назову это движение эскапизмом или суррогатом гражданской, политической свободы.

Творческая культура была для нас тем самым «лучшим университетом счастья», окончив который, можно уже не выживать, а жить. Мне жаль тех, кто не узнал освобождающей, дарящей силы человеческого гения, кому не открылся, как нам в то темное убогое время,

Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

Мне жаль и нас, если этот университет прошел для нас даром.

Италия, Римини, август 2003 г.

ФИЛОСОФСКАЯ, СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

в русской периодике 2006 г.

В одном из наших предыдущих обзоров говорилось об опубликованной в журнале «Логос» статье Марты Нуссбаум «Патриотизм и космополитизм»¹, где **КОСМОПОЛИТИЗМ** отстаивается **КАК ОСНОВА ЭТИЧЕСКОГО ИДЕАЛА**, а также утверждается, что каждый должен ощущать себя прежде всего *человеком*, то есть *гражданином мира*, а не членом какого бы то ни было объединения. Соответственно, патриотизм как особая верность некой этнической группе, по мнению Нуссбаум, морально опасен и должен быть отставлен в сторону. Рядом с этой статьей опубликована целая серия откликов на нее. Остановимся на двух из них. Известный американский социальный философ Майкл Уолцер («Сферы привязанности» — «Логос», № 2) критикует самое понятие «гражданин мира», признавая, что даже и не знает о существовании такого мира, гражданином которого можно быть. Осознание ценности других, указывает Уолцер, начинается не с привязанности к человечеству в целом, то есть к тому, что находится в самом удаленном от субъекта круге, а с гражданских привязанностей. Расширение «*чувства морального землячества и общего гражданства*», включение в него новых групп, а в итоге — всего человечества — начинается с землячества и гражданства в обычном смысле слова. И хотя Уолцер признает ценность такого расширения, он тем не менее убежден, что извращенный космополитизм, «*дитя универсализации Просвещения*», не менее опасен, чем извращенный патриотизм, и спор нужно вести в других терминах.

Отреагировал на статью Нуссбаум и «живой классик» американской философии Хилари Патнэм («Должны ли мы выбирать между патриотизмом и универсальным разумом?» — «Логос», № 2). Он также не спорит по поводу самой опасности партикуляристских, обособляющих тенденций, будь то на национальной, религиозной или иной почве. Однако считает, что не следует смешивать предлоги для человеческой агрессии и жестокости с самими агрессией и жестокостью. Термин «*универсальный разум*», употребляемый Нуссбаум для обозначения некой квинтэссенции человечности, превышающей любую из частных идентичностей, Патнэм критикует, но не потому, что не существует обозначаемой этим термином универсальной человеческой способности мыслить, а потому, что самый термин создает впечатление, что знание, в частности, о нравственном поведении, получается не из опыта. На деле же, пишет Патнэм, справедливость и нравственность, включая и их наиболее универсальные максимы, всегда являются нам не из *рациональных озарений*, а в конкретном окружении, в образах жизни, развившихся за *столетия экспериментов и инноваций*. Знание о принципах нравственности человек получает из опыта жизни в конкретной окружающей

¹ См. «Континент», № 129.

среде и определенной традиции. Это означает, что универсальная этика не равна универсальному образу жизни. Последнего просто не существует (*не существует*, пишет Патнэм, *какой-то одной формы жизни, которая была бы «добродетельной»*), потому и представление об универсальном разуме как о чем-то независимом ото всех традиций столь неоправданно, потому-то и представление Марты Нуссбаум о космополитизме кажется Патнэму в конечном итоге столь мало привлекательным. «Если бы меня спросили, например, почему несправедлива дискриминация, я не стал бы говорить, “потому что все мы — ‘граждане мира’”. Верующему я сказал бы, “потому что мы все созданы по образу и подобию Господа”. Тому, кому это показалось бы абсурдным, я процитировал бы прекрасное замечание Диккенса о Скрудже, который начал видеть в ближних “таких же людей, как он сам, бредущих одной с ним дорогой к могиле”, или я напомнил бы высказывание Примо Леви о том, что взгляд, который бросил на него охранник в концлагере, не был взглядом, которым человек смотрит на человека». Лишь апелляция к чему-то конкретному, имеющему характер опыта, приобретает вес и может служить обращением к потенциалу универсального. При этом существует и необходимая вторая сторона — *критический разум* как инструмент отношения к традиции, ведь в ней не все равноценно. Нетрудно заметить, что это, по сути, тот же «универсальный разум», о котором пишет Нуссбаум, но не оторванный от жизни. Именно он является конечным критерием, которым проверяется качество содержания традиции: ведь *«традиция без разума слепа, разум без традиции пуст»*.

В итоге следует отметить, что и Уолцер, и Патнэм спорят с Нуссбаум, стоя на тех же, что и она, позициях универсализма, и речь идет лишь о критическом уточнении, как конкретно реализовать ее универсалистские устремления. Пока же, считаят оба критика, ситуация остается иной и сугубо космополитическое понимание универсализма преждевременно, поскольку универсальные ценности не берутся из ниоткуда, а вырастают из конкретной человеческой практики.

Михаил Эпштейн («**Теология книги Иова**» — «Звезда», № 12) присоединяется к многочисленным попыткам найти ответ на вопросы, поставленные одной из самых проблематичных книг Ветхого Завета: **СПРАВЕДЛИВ ЛИ БОГ?** Соответствуют ли наказания, которые получает человек при жизни, его грехам? Почему неправедные благоденствуют, а праведные бедствуют? Какой смысл и оправдание имеет зло? Эпштейн обращает внимание на то, что реакция Бога на все вопрошания Иова как будто бы отставляет в сторону все нравственные вопросы. Вместо этого Бог, словно в энциклопедии, описывает чудеса созданной Им природы. Бог утверждает Свое всемогущество, а до всеблагости, до проблемы добра и зла Ему как будто и дела нет. В книге Иова Он — «не моралист, а натуралист». В ответе Бога Иову Эпштейн видит вопрос: может ли человек рассуждать о Творце, «если он не умеет понять и осилить мельчайших Его творений»? Мысль и сила Бога — в капле росы, «в коне, в каждой мышце и сухожилии его; над всем мирозданием правит мудрость Божия, постигать которую можно только по частицам. Там же, где начинаются утверждения о Боге вообще, они становятся ложью». Вот почему друзья Иова, утверждающие всеблагость Бога, неправы

даже более, чем Иов, в глазах самого Бога. Они описывали *правила*, по которым действует Бог, а Иов предъявил Ему *исключение* — собственную судьбу. Иов вопиет о несправедливости, о том, что правил нет на свете, — не потому, что Бога нет, а потому, что Бог есть. Это и привлекло Бога в Иове — не только его непорочность и богобоязненность, пока он жил в довольстве, но и пристрастность, желание говорить о себе в несчастье. Говорить с Богом, а не о Боге, как выходит у его друзей.

Для Эпштейна в книге Иова вырисовывается три теологических концепции. Первая — «условно говоря, *догматическая теология*, согласно которой Бог всемогущ и всеблаг, вознаграждает добро и карает зло, и этот моральный закон с неизменностью действует в мироздании. Это теология друзей Иова». Другая — *экзистенциальная теология* самого Иова, «который признает за Богом всемогущество, но ставит под сомнение Его всеблагость. Пути Бога и человека несоизмеримы, и так же, как человек не может постичь путей Бога, так и Бог оставляет человека одного на жизненных путях. Иов ничего не знает о Боге, но хочет от самого Бога узнать о себе. И в опровержение друзей Иова, которые считают, что человек не может судиться с Богом, Бог сам является на суд к Иову, тем самым подтверждая его относительную правоту перед друзьями». Эпштейн напоминает, что «Истина Единичного и Одинокого, отчаянный вопль Иова против благоразумия его друзей» легли в основу самых знаменитых философских трактовок этой книги. Так, «для Кьеркегора Иов — образец “частного мыслителя”, чья личная судьба уводит его с путей всеобщего, “гегельянского” разума». Вслед за Кьеркегором и Лев Шестов «противопоставляет Иова всем адептам “всеобщего разума”, от Сократа до Декарта, Спинозы и Гегеля, прообразом которых выступают друзья Иова». Однако, к удивлению Эпштейна, ни Кьеркегор, ни Шестов не слышат третьей и главной — *эксцентрической* — стороны этого диспута. Они останавливаются на правде Иова, как будто она есть последняя и завершающая. На самом же деле наивысшей теологией является третья, раскрытая устами ее «предмета» — Самого Бога. «О Своей всеблагости Бог не ведет и речи — но лишь о своем всемогуществе и всеведении. В каждой стебельке и в каждой шерстинке — проявление Божьей воли; здесь, в подробностях мироздания, нужно обучаться ей и разгадывать ее. Человеку совсем не уделено места в Божьей речи, но важно помнить, что именно к человеку — Иову — обращена она и служит ему объяснением и заветом... Бог не говорит о человеке, не говорит с человеком, так же, как Иов не говорит о Боге, но хочет говорить с Богом. Вот почему Иов — достойный собеседник: он не заочно, не отстраненно знает Бога, но ищет встречи с Ним. Отстраненно же, как предмет общения с человеком, в речи Бога предстает все нечеловеческое, — может быть, именно для того, чтобы человек остался собеседником, а не предметом. И в этом, пишет Эпштейн, мудрость Ответа. «Бог не рассуждает о нравственных вопросах — Он решает их самим строем речи. Добро и зло включают Им в ход и развитие жизни. Вопрос о благе не ставится как нечто отдельное, но включается в благовествование о всемогуществе. Бог всемогущ, и то, что Он развертывает и показывает человеку это всемогущество, есть само по себе величайшее благо. Познавай Меня в малом — и тогда Я явлюсь тебе как Целое. Я не есть источник добра или зла, оно пришло к тебе от

Моего Клеветника и Противника, и вот почему ты здесь, в гное и проказе, а не в Эдеме, — так говорит Бог человеку. Добро и зло расчленил по искушению сатаны сам человек, а Бог растит единое, проходящее сквозь рай, древо жизни, ветвями и веточками которого образуется весь космос, вплоть до мельчайших тварей. И если в жизни человека добро и зло составляют насыщающие и верховные вопросы, то на весах вселенской жизни они легче травинки и муравья, потому что в них — отпадение от жизни, убыль живого».

Таким образом, на мучительный экзистенциальный вопрос: справедлив ли Бог к человеку, — *догматический* ответ состоит в том, что всегда справедлив, а *эксцентрический* — в том, что Бог не справедлив и не несправедлив, что сама категория справедливости отступает перед роскошью и чудесностью даже мельчайших Божьих творений. По сути, Эпштейн хочет сказать, что этическая проблема предстает в книге Иова как привнесенная грехопадением, исходящая от Искушителя — змея из книги Бытия. Не случайно композиция книги Иова зеркально отражает книгу Бытия. Человек в ней — уже вполне зрелое, определившееся существо, которое не из райского сада, но из пустыни изгнания обращает голос свой к Богу, а в ответ получает напоминание о Творении. В Книге Бытия показано, как человек, созданный Богом, отпал от Него. В Книге Иова показан путь, которым человек может вернуться к Богу, — не отказываясь от различения добра и зла, но поверяя его вездесущим Божией силы и мысли, живущей во всех Его созданиях. Эпштейн обращает внимание на то, что в книге Иова, как и в книге Бытия, появляется сатана, персонаж в Библии весьма редкий. В первом случае он возбуждает человека против Бога, во втором — Бога против человека. *«В чистой правде сатана заставляет подозревать ложь, и в этом — его собственная ложь, извращающая пути правды. Бог любит Адама, а Иов любит Бога, и эта правда в конце концов явлена к посрамлению сатаны. Иов говорит: “Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?” (2:10), — и тем самым добро и зло как бы вновь срастаются в древо жизни, поскольку они равно принимаются как исходящие от могущества Божия, от жизненной силы, которая в Нем. Когда же Иов все-таки ропщет против Бога, вызывая Его на суд, то Бог разворачивает перед ним все ветви на древе жизни, как бы призывая вкушать с них и отвернуться от древа добра-зла, с которого вкусил Адам. Иов — это Адам, которого Бог закликает свершить обратный путь: от древа познания добра и зла к древу жизни». Само познание, пишет Эпштейн, «должно быть таково, чтобы добро не противопоставлялось злу, чтобы они не считались по очкам — деяния против воздаяний, — но чтобы все это служило единению жизни. Так Иов заново познает единство мира и себя с миром в откровении Бога... Оказывается, что путь к Богу от всех мучительных для человека вопросов несправедливости лежит через область, сотворенную Богом до человека, чистую, до- и сверхнравственную, бытийную. Человек, уже образовавшийся как личность, должен погрузиться в область предличного, чтобы приблизиться к сверхличному в Боге. В древе жизни спасение, а не в добре, противостоящем злу, как две изогнутые, искривленные ветви на одном горьком древе».*

Отметим, что концепция Эпштейна близка к тому, что в терминологии христианского богословия можно назвать доксологическим (славословным)

путем, т. е. путем благодарения Бога за Его чудные дела, за сотворенный мир и дар жизни — *священнослужением благодарения* (используя выражение протоиерея Александра Шмемана), к чему и был призван первозданный человек. Вспомним, что и некоторые отцы Церкви говорили о нерасколоте первозданного мира на «добро» и «зло», да и в самой книге Бытия сказано, что все в этом мире было *«тов меод»* — хорошо весьма...

ПАРАДОКСАМ ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО посвятил серию материалов журнал «Звезда» (№ 11). Публикуемые здесь статьи описывают знаменитого русского мыслителя с совершенно разных сторон. Так, **Михаил Геллер** в статье **«Органопроекция»: в поисках очеловеченного мира** комментирует текст, написанный Флоренским около 1919 г. В работе «Органопроекция» философ излагает мысль о том, между человеческим органом и орудием, которое использует человек, нет сущностного противоречия. Напротив, между ними существует тождество, поскольку тело человека есть подобие космоса, *«мирового храма»*, и потому орудия — естественные продолжения органов и их проекции. Человек изобретает все новые технические средства, тем самым смещая вонне границы собственного тела. *Мистический процесс эволюции* и заключается во все большем сближении границ нашего тела с границами мира; процесс этот направлен на снятие ложного противопоставления живого и неживого и является частью *экстропического процесса*², т. е. действия мирового Логоса против космического Хаоса. В подобном мистическом отношении к технике сочетаются в едином комплексе модернизм и русский космизм, в сходном ключе мыслили и Циолковский, и Вернадский. Оба — и модернизм, и русский космизм — слились в стремлении участвовать в грандиозном утопическом социальном проекте России 20-х годов.

Едва ли не прямо противоположный образ рисует немецкий славист **Михаэль Хагемейстер** («**Новое средневековье**» **Павла Флоренского**» — «Звезда», № 11), подчеркивающий антимодернистскую, антицивилизационную позицию Флоренского, тяготение его к замкнутому и иерархичному миру Средневековья и воинствующий платонизм. (В самом деле, ведь, по Платону, любая новация способна лишь отдалить мир от предзаданных вечных образцов, тем самым ухудшая его, и Флоренский — приверженец Платона — трудно сочетается с Флоренским — автором «Органопроекции».) Таким образом, в одном номере «Звезды» Флоренский сразу предстает и как модернист, и как антимодернист. Еще один парадокс, вычитывающийся из статьи Хагемейстера, состоит в том, что, будучи православным священником, Флоренский обращается к магии как *живому общению* человека с действительностью. А если к тому же учесть приведенные в статье свидетельства об антисемитских настроениях мыслителя и его политическую теологию на тоталитарной подкладке, образ приобретает еще несколько вполне несимпатичных черт.

Рассмотренная пара статей добавляет загадочности таинственному образу русского философа. В какой-то мере прояснить положение пытается **Наталья Бонеевская** в статье **«Полюсы религиозного сознания»** («Звезда», № 11).

² *Экстропией* Флоренский обозначает противоположность тому, что мы привыкли называть *энтропией* как, говоря упрощенно, мерой хаоса.

«Противоречивое сосуществование во Флоренском архайста и авангардиста — выразительный симптом, свидетельствующий о зарождении в недрах духа некоей неведомой культурной проекции», — пишет она. Трудно назвать приведенное прояснение исчерпывающим; скорее, это источник новых вопросов. Видимо, у исследователей Флоренского остается все тот же непочатый край работы.

Постоянное **СОСКАЛЬЗЫВАНИЕ РОССИИ С ЛИБЕРАЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ** — такова тема интервью известного ученого и публициста **Германа Андреева (Фейна)** «Нужно, чтобы русский человек осознал — без него России нет» («Политический журнал», № 46), утверждающего, что либерализм и демократия создаются не элитарными умами, а целым народом, так что вопрос только в том, либерально мыслит русская нация или нет. Либерализм, замечает Андреев, начинается с привычки тормозить на пешеходных переходах, и пока этого нет, пока люди не уважают друг друга, либерализма в нашей стране не будет. Невосприимчивость русских людей к либерализму Андреев объясняет патерналистским сознанием, которое сложилось во многом под влиянием крепостного права. Сегодня это сознание ведет к атомизации российского общества, когда сфера ответственности каждого ограничена только собственной семьей. С этим связана и нынешняя тоска по былому «порядку», и то, что, предавшись ностальгии, люди быстро забыли, как в действительности жилось при Сталине и Брежневе. На вопрос о сочетаемости либерализма с патриотизмом Андреев дает положительный ответ: ведь высшая ценность либерализма — человек, а человек национально определен. Либерализм и строится национальным сознанием, национальными привычками, национальным духом, однако все это требует правильной иерархии ценностей, понимания, что Бог и человек выше любви к Родине. В то же время Андреев не уверен, что либерализм — это единственный путь России: не исключено, что русскому народу предназначено преодолеть и тоталитаризм, и либерализм и построить какую-то новую, неизвестную систему. Всяческие «теории заговора», основанные на мысли о желании Запада уничтожить Россию, Андреев отвергает. Сегодня, указывает он, идет не война на уничтожение, а конкуренция, планетарная борьба корпораций за рынки; это происходит и внутри каждой страны, и между странами, и между группами стран. И задача России — не противостоять кому-либо, а просто создавать собственную конкурентоспособную корпорацию. Для Запада Россия — не предмет ненависти, а «*большой вопросительный знак*».

В качестве темы 42-го номера «Политического журнала» взята как раз **ПРОБЛЕМА РУСОФОБИИ**. Кандидат философских наук **Сергей Земляной** в статье «**Взрывоопасное табу**» выражает озабоченность не только всеми мыслимыми и немыслимыми национальными фобиями в России, но и тем, что их существование упорно замалчивается. СМИ и Государственная дума в лице своей ведущей фракции предпочитают не замечать ни проявлений радикального русского национализма, ни наличия внутри страны самой настоящей русофобии, — и это при всей взрывоопасности проблематики. *Вернее*, уточняет автор, *именно из-за этой взрывоопасности*. Между тем, пишет Земляной, сегодня в России есть буквально всё: *«и русофобия, и радикальный русский национализм; и антисемитизм, и еврейская идеологическая*

диверсия; и вражда к “иностранщине”, и “низкопоклонство перед Западом”; и наезды на “лиц кавказской национальности”, и гигантский “теневой бизнес” на этнической основе». Сложность, по мнению Земляного, не в последнюю очередь состоит в том, что наиболее ярые русофобы зачастую суть самые что ни на есть этнические русские (так же, замечает он, обстоит дело с непримиримыми юдофобами и германофобами). Земляной напоминает, что строки, которые можно назвать сокровенным credo русофобов:

Как сладостно — отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничиженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья! —

написаны в первой половине XIX века и вышли из-под пера русского эмигранта Владимира Печерина. Впоследствии сам автор называл эти стихи безумными, однако, пишет Земляной, *«отнюдь не сумасшедшими выглядят те зрелые русские персоны, занимавшие немалые государственные посты, которые с презрением отзывались и отзываются об “этой стране” и ее народонаселении»*.

Какова же главная причина, рождающая русофобию? Как и почему возникают «фобии» на этнической почве? Ответить на эти вопросы Сергей Земляной пытается в другой своей статье — **«Об истоках глобальной национальной ненависти»** («Политический журнал», № 42). Он отмечает, что навлекали на себя тотальную ненависть по преимуществу мессианские народы (по терминологии Н. Бердяева): евреи, немцы, русские. Однако *«мессианское сознание, — писал Бердяев, — не есть националистическое сознание; оно глубоко противоположно национализму: это — универсальное сознание»*, ведь во Христе нет ни эллина, ни иудея; христианство не допускает исключительности какого-то одного народа и несовместимо с национализмом. Согласно Бердяеву, *«христианский мессианизм должен быть очищен от всего нехристианского, от сбивания на путь старого еврейского мессианизма, с одной стороны, и нового буржуазного национализма, с другой»*. Продолжая мысль Бердяева, Земляной выдвигает предположение, что ненависть к «мессианским» народам и их национализм находятся в тесной связи. Ненависть к ним — это оборотная сторона исчерпания ими своего мессианства (*«окончание их сольной партии в мировом концерте»*), а их национализм — попытка коллективно изжить травму, нанесенную утратой этого мессианства. Вдобавок, пишет автор статьи, народы имеют обыкновение судить друг о друге не на основании универсальной шкалы ценностей, а согласно своему этосу и собственным предпочтениям, чем и определяются *«слепые зоны» в пространстве понимания одним народом другого*. Но и это лишь один из механизмов, порождающих национальные предрассудки, поскольку наряду с более мелкими, как правило, существует единая и общая причина ненависти к тому или иному народу. Мир осознает ее очень смутно, но именно ею порождаются те частные причины, что лежат на поверхности. Так, по мнению Земляного, о слепых зонах в понимании России свидетельствуют два непреодолимых стереотипа: 1) российское государство как «монстр», внушающий ужас и требующий в отношении к себе режима неусыпной бдительности и боеготов-

ности, и 2) загадочная «русская душа». Генеральной же причиной всего этого является *«секуляризированная мессианская энергия русского народа, целиком переключенная им в русло государственного собирания и строительства»*. Предубеждение и подозрительность в отношении России, пишет автор статьи, сказываются в большом и малом. *«Инферальной иронии исполнено то обстоятельство, что президенту РФ Путину ныне приходится на пальцах растолковывать зарубежным политикам и журналистам, что Россия идет в ту же Европу не с танками, а с деньгами, энергоносителями и интеллектуальным капиталом; что она ищет тут сотрудничества и взаимности, а не закабаления и подчинения автохтонов. Но и такая эксклюзивная пропаганда “притягательного имиджа” России оказывается малоэффективной против полурефлекторной русофобии, вошедшей в плоть и кровь западного истеблишмента»*. Все же вышеизложенное, заключает Земляной, *«призвано иллюстрировать одну простую мысль: ни одно общественно-политическое устройство, будь то демократия, монархия или диктатура, не имеет иммунитета от заболевания тотальной ненавистью к какому-то народу, не застраховано от фобий и коллективных неврозов на национальной почве»*.

Тимофей Дмитриев истово верит в силу русофобии на Западе, которую определяет как **«Застарелый комплекс»** («Политический журнал», № 42). Для подкрепления своей мысли он приводит соответствующую историческую справку, последовательно рассказывая, как исходные русофобские представления об опасном *«полуазиатском народе лентяев с душою рабов»*, для которого от природы характерны продажность и нечистоплотность, в советское время были дополнены *«антисемитской идеей о “еврейском большевизме” как главном орудии “всемирного еврейского заговора”, действующего из Москвы»*. Автор изобличает целый букет русофобских партий на Западе, составляющих ряды клеветников России в наши дни: тут и *«интеллектуалы и деятели культуры и искусства из числа стран “Новой Европы”*», и *«мэтры западной журналистики»*, и всякого рода «левые» и, конечно же (куда без них!), американские *«архитекторы нового мирового порядка»*. Принято считать, пишет Дмитриев, что холодная война закончилась вместе с распадом СССР, но это не совсем так. Иначе не раздавался бы *«новый стройный хор голосов, обличающий “рецидивы имперского мышления и политики”, “деспотические традиции” русской истории и “рабский характер” русского народа»*. О, этот продажный хор, *«в истерическом духе обличающий “путинский тоталитаризм”, зверства российской военищины и характер русского народа, продолжающего со сладострастным изуверством мучить чеченский народ»*! Автору отлично известно, с чьего голоса этот хор поет и из кого состоит! Это (с непрямым эпитетом *«хорошо оплачиваемые»* и непрямыми же кавычками) *«профессиональные “борцы за свободу»*, то есть те, для кого *«обличение “свинцовых мерзостей” русской жизни стало не только оплачиваемым профессиональным занятием, но и своего рода состоянием души»*. Да, бороться с русофобией нелегко. Возможно, пишет Дмитриев, *«определенные положительные сдвиги сможет принести проводимая российскими властями кампания по продвижению внешнего позитивного образа России»*. И все же необходимо отдавать себе отчет в том, что клеветники России в одночасье не замолкнут, и не бояться того, что те или иные шаги России *«вызовут кое у кого*

очередные приступы русофобии», а «твердо идти своим путем», памятуя о том, что «лучше получать уколы и шпильки, будучи сильным, а не слабым».

«...В результате противостояния с Россией закатились звезды многих бывших “сверхдержав” (Швеция, Речь Посполита, Турция). Далее — больше: Россия заставила считаться с собой лидеров континентальной Европы (Пруссия, Франция, Австрия). Затем пришло время “большой игры” с Англией, подлинной сверхдержавой Запада XIX в. В XX в. ее место заняли США. Такова общеизвестная историческая канва, обусловившая возникновение и такого феномена, как русофобия», — пишет Олег Кильдюшов в статье «Суверены и аутсайдеры» («Политический журнал», № 42). По его мнению, русофобия обусловлена геополитически. «Что же остается нам, — восклицает Кильдюшов, — таким по-прежнему большим и по-прежнему мешающим кому-то? Остается вспомнить, что ни в Малави, ни в Ирландии, ни в Королевстве Тонга симптомов русофобии особенно не замечается. Что в ее случае всегда идет речь о “клеветниках России”... Остается, фактически, тешить себя тем, что «страх наших конкурентов, соперников и, да-да, врагов перед нами гораздо лучше, чем их пренебрежение». А еще — помнить, что подлинно суверенная страна «так же не нуждается в признании, как не нуждается в нем солнце», — как сказал Наполеон, правда, по другому поводу и о другом государстве. Говоря короче, мысль автора статьи сводится к тому, что суверенная великая Россия обречена на то, чтобы кому-то мешать, но именно этот факт и есть показатель ее величия.

Американофобия, германофобия, франкофобия... Подобные явления — удел всех бывших империй, которым долго еще предстоит *«разбираться с наследием, рыться в прошлом ради будущего, выяснять, кто кого боится и почему»*. Но Россия по этой части — абсолютный рекордсмен, пишет **Ян Левченко** в статье **«Зеркало страха»** («Политический журнал», № 42). Русофобия — двойник русской закрытости, избранничества, недоверия к другим, страха перед иностранцами. Вплоть до появления русских западников Европа мало знала о России и на всякий случай боялась ее. С XIX века стала бояться еще больше, поскольку Россия, внешне примкнувшая к европейской цивилизации, по сути оставалась деспотией и лишь осуществляла *строительство большой «потемкинской деревни»*. В XX веке бурное развитие национальных идей кончилось для Европы фашизмом, Вторая мировая война, резко повысившая престиж России, привела к ослаблению русофобских (но не антисоветских) настроений. Одновременно имперские амбиции СССР нагнетанию русофобии способствовали. И все же нельзя утверждать, что в русофобии виновата исключительно Россия. Достаточно примеров, свидетельствующих о неадекватности хотя бы бывших республик СССР. Однако, пишет автор статьи, если *реактивная паранойя малого народа объяснима со всех точек зрения — культурной, политической, психологической, то дразни, в которые охотно ввязывается Россия, решительно необходимы*. Левченко пишет: *«Распад Союза в освобожденных и новообразованных государствах обернулся взрывом компенсаторной русофобии, которая ныне имеет латентно-упреждающий характер. Она может ущемлять интересы конкретных русских, которые живут в этих странах. Большинство из них искренне не понимают, какие претензии им предъявляются. Они — частные лица, от-*

вечают только за себя и своих близких, сторонятся политики. Это тоже своего рода компенсация — следствие отравления официальной культурой в течение долгих лет. В метрополии, присвоившей успехи СССР и не признающей за собой никакой ответственности за его «ошибки», преобладают сходные настроения. «Простые русские люди», ненавидящие «хачей» на «своих» рынках и свято верящие в заговор иностранцев против России, тоже не могут понять, почему они обязаны за что-то отвечать». Именно в этом-то упорном нежелании разбираться с собой всерьез, а не мотаясь от истеричного покаяния к чванливому самолюбованию, и видит автор статьи настоящую причину современной русофобии, которую нередко разделяют и сами русские. Вопрос «за что нас не любят?», замечает Левченко, крайне редко в сознании российского человека сочетается с вопросом «а за что, собственно, нас должны любить?». «Постоянно твердя о своем историческом великодушии и великой миссии (какой — неясно до сих пор)», одновременно «апеллируя к славному военному прошлому России, нынешние обличители русофобии воспринимают мировую политику в терминах насилия, ставят во главу угла борьбу за власть и не представляют, что бывают какие-то иные пути решения проблем. Мы сильны — нас боятся и ненавидят, мы слабы — нас презирают. Будем же думать, что мы сильны, притворно возмущаясь тому страху, который подобная стратегия вызывает у любого нормального европейца». Между тем русофобия, о планетарных масштабах которой упорно твердят националисты, сросшиеся со сторонниками реставрации СССР, давно потеряла свою «западную» идентичность. И наибольший интерес, замечает Левченко, представляет именно внутренняя русофобия, вернее, то, что легко принять за нее, «но что всегда отличало российскую интеллигенцию, скорейшее искоренение которой — мечта любого патриота от земли» Национальность для такой интеллигенции, как правило, вторична. Да и при чем национальность, когда вокруг наблюдаешь примерно следующее: «Матери, с сигаретой и бутылкой пива выгуливающие детей. Кассир в супермаркете, говорящий по мобильному телефону, пока перед ним мнется покупатель. Дорого одетые люди, отказывающиеся платить штраф за безбилетный проезд бесправному контролеру. И напротив, плохо одетый милиционер с атрофированной моралью и беспредельными полномочиями. Служащие государственно-го сектора, чье человеконенавистничество иногда кажется нарочитым. Это и многое другое вызывает сначала безотчетное отвращение, а затем осознанный стыд». Репутация, пишет Левченко, ткется из мелочей. И так называемая внутренняя русофобия — лишь превентивная мера против столкновения с критической массой приведенных выше и других мелочей. Но, к несчастью, те, кто считает русофобию национально обусловленной идеей, чувствуют себя в своем праве и меняться не желают...

КРИЗИС ОTCОВСТВА КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА — тема статьи известного российского психолога Игоря Кона «Зачем нужны отцы?» («Звезда», № 12). На ослабление и неэффективность отцовства, пишет Кон, жаловались во все времена — от ветхозаветных пророков до наших дней. Однако сегодня проблема эта приобрела глобальный характер. Кризис отцовства является частью кризиса мужественности как таковой (характерный пример — пресловутый дефицит учителей-мужчин). Кон связывает это с пе-

рестройкой общественной парадигмы, в том числе привычного гендерного порядка и структуры семьи. В традиционных обществах отношения, обусловленные как потребностью мужчины быть наставником, вождем или мастером, передающим свой опыт, так и встречной потребностью детей или подростков в мужчине-наставнике, так или иначе институционализировались. Однако в современные формально-бюрократические образовательные институты эти отношения не вписываются, возврат же к прежним моделям так же невозможен, как невозможны абсолютная монархия или крепостное право. Современная наука предлагает конкретные способы преодоления и минимизации этих трудностей. Речь идет о специальных программах обучения отцовству, начиная с игровых форм для эмоционального развития мальчиков (малолетность семьи нужно восполнять внесемейными разновозрастными контактами; очень плодотворной может быть работа подростков с младшими детьми). В помощи нуждаются и взрослые мужчины, особенно необходимы консультации для безработных и социально неблагополучных отцов. Общество должно тщательно изучать и поддерживать любые мужские инициативы, способствующие формированию ответственного отцовства, издавать больше книг и пособий для отцов.

Обзор подготовил Дмитрий Матвеев

Владимир МОЖЕГОВ

АВГУСТ: ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ ПТИЧКИ

Но в каждом слове будет некий знак,
который вновь на первый смысл укажет.

Бродский, «Авраам и Исаак»

Too dark in the woods for a bird
By sleight of wing
To better its perch for the night,
Though it still could sing.

Robert Frost

Пролог

Прежде чем говорить об «Августе», последнем стихотворении Бродского, написанном им за неделю до смерти, в январе 1996 года, обратимся к стихотворению Роберта Фроста «Войди!», строфа из которого взята в качестве эпиграфа. Вот ее подстрочный перевод: *«Слишком мрачно для птицы в лесу, Чтобы взмахом крыла Устроить на ночь шесток, Но она еще может петь»*. Разбору этого стихотворения Бродский посвящает часть эссе 1994 года «Скорбь и разум»: *«Что, по-вашему, здесь происходит? Простодушный читатель из британцев, или с континента, или даже истинный американец ответил бы, что это о птичке, поющей вечером, и что напев приятный»*. Однако *«Поэзия — дама с огромной родословной, и каждое слово в ней практически заковано в аллюзии и ассоциации»*, — предупреждает автор. «Лес», в котором распелась птичка, *«заставляет насторожиться»*, ибо *«с четырнадцатого века леса сильно пахивают selv-ой oscur'ой, и вы, вероятно, помните, куда завела эта selva автора "Божественной комедии"»*. «Впрочем, — великодушно оставляет нам автор возможность для отступления, — может быть, и нет; может быть, наши подозрения беспочвенны, может быть, мы склонны к паранойе и вчитываем слишком много в эту строчку». Но для него самого дело обстоит вполне серьезно: *«Лес "слишком мрачен" для птицы, потому что птица слишком далеко зашла в своем бытовании птицей. Никакое движение*

**Владимир
МОЖЕГОВ**

— родился в 1968 г. в Воркуте, окончил Академию кино и телевидения в Санкт-Петербурге, публиковал работы на религиозно-философские, культурологические, исторические темы в «Московских новостях», «Литературной газете», в «Русском журнале», журнале «Политический класс», «АПН», обзоре «Радонеж», альманахе «Илья» и др. Живет в Волоколамске.

ее души, иначе говоря, “взмах крыла”, не может улучшить ее конечной судьбы в этом лесу. Чей это лес, я полагаю, мы знаем: на одной из его ветвей птице в любом случае предстоит окончить свой путь, и “шесток” дает ощущение, что этот лес хорошо структурирован: это замкнутое пространство, что-то вроде курятника, если угодно. Так что наша птица обречена; никакое обращение в последнюю минуту (“sleight”, ловкость рук — трюкаческий термин) невозможно хотя бы потому, что певец слишком стар для любого проворного движения. Но, хоть и стар, он все еще может петь...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МЫСЛЬ И СОВЕСТЬ

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.

Пастернак, «Август»

Человек отличается только степенью
отчаяния от самого себя.

Бродский

Август

Маленькие города, где вам не скажут правду.
Да и зачем вам она, ведь все равно — вчера.
Вязы шуршат за окном, поддакивая ландшафту,
известному только поезду. Где-то гудит пчела.

Сделав себе карьеру из перепутья, витязь
сам теперь светофор; плюс, впереди — река.
И разница между зеркалом, в которое вы глядитесь,
и теми, кто вас не помнит, тоже невелика.

Запертые в жару, ставни увиты сплетнею
или просто плющом, чтоб не попасть впросак.
Загорелый подросток, выбежавший в переднюю,
у вас отбирает будущее, стоя в одних трусах.

Поэтому долго смеркается. Вечер обычно отлит
в форму вокзальной площади, со статуей и т. п.,
где взгляд, в котором читается «Будь ты проклят»,
прямо пропорционален отсутствующей толпе.

Первое, что ощущаешь, прочитав это короткое, лапидарное даже, стихотворение, что это действительно *весь Бродский*. Все его многоглаголанье, *раченье-жречество*, предельно сжато, аскетично, бесстрастно сведенное к четырем строфам (с той, арифметической почти скрупулезностью, которая позволила едкому Лимонову назвать его поэтом-бухгалтером). Второе — какая-то совершенная безлюдность, безмолвие этого стиха. Единственное стихотворение 1996-го, оно будто заполняет собою всю пустоту, оставшуюся

от этого года, достигая торжественного звучания Реквиема. И наконец, его интонация, бесцветная интонация ледяного, как дыхание смерти, отчаяния, как удары скорбного колокола, звонящего по всем нам...

«Поэзия Бродского есть в некотором смысле запись мыслей человека, окончившего с собой. Он дожидается исчезновения. Он живет отчаянием, как, возможно, дышат на других планетах невообразимые существа фтором или углекислым газом» (С. Лурье).

«Август» — это последняя вспышка сознания перед тем, как окончательно погаснуть. Последняя (быть может, самая яркая) вспышка отчаяния. Последний взгляд сидящего под сакурой, лицом к заходящему солнцу, сакура на обращенное к себе лезвие.

Честно говоря, от этого стихотворения, стоит вчитаться в него поглубже, волосы начинают шевелиться на голове. И почему все-таки «Август»? В январе?..

Август — конец года, конец жизни, закатное солнце, пронизывающее своими лучами мысль, поэзию, жизнь, культуру: *«Он и праведный и лукавый, И всех месяцев он страшней: В каждом Августе, Боже правый, Столько праздников и смертей»* (Ахматова, «Август»). И каждое слово здесь — как остановка на очередной станции этой странной, длиною в жизнь, дороги: *«Здесь, на холмах, среди пустых небес, среди дорог, ведущих только в лес, жизнь отступает от самой себя и смотрит с изумлением на формы, шумящие вокруг»* («Новые стансы к Августе»). Но, конечно, главное:

Я вспомнил по какому поводу...
Слегка увлажнена подушка,
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой...

Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне...

Август — Преображение. Август — проводы. Август — прощание. Со своей жизнью и с нами, остающимися.

Август — это полюс смерти.

Маленькие города

Жизнь — сумма мелких движений.

Бродский

Маленькие города, где вам не скажут правду

Эти, ни к чему, на первый взгляд, не обязывающие *Маленькие города*, стоит лишь присмотреться к ним поближе, вберут в себя все знакомые ландшафты из стихов Бродского, все маленькие города России, Европы, Америки и их обитателей (ведь «маленькие города» — это, почти что, маленькие люди). И плюс — еще один маленький город:

Он умер в глухую стужу:
Замерзли реки, опустели вокзалы, аэропорты,
Снег завалил городские статуи,
И гаснущий день, глотая ртуть, задышался
От метеосводок, твердивших одно и то же:
В день его смерти ожидается ветер и стужа.

Где-то, вдали от его недуга,
В лесах по-прежнему рыскали волки
И сельский ручей не знал парापета:
Смерть поэта, почти как шепот,
Трудно слышать в его силлабах.

В этот день его звезда стояла в зените
На полдень его самого. Медсестры
Не заметили бунта в провинциях тела,
Площади разума быстро пустели,
И тишина опускалась в его предместья.
Так постепенно
Источники чувств пересыхали:
Он воплощался в своих потомках...

Как снег, рассеянный над городами,
Он теряется в незнакомых ему впечатлениях,
Чтобы найти свое счастье в далеких чашах
Мира иного и быть судимым
По иным законам, чужим, как совесть
Чужих людей. И вот с порога
Его кончины слова спешили
Найти живущих — и его покидали.

И когда завтра, в шуме и гаме
Ревущих маклеров на лондонской бирже,
Среди убогих, почти привыкших
К собственной бедности, мы, как в клетке
Своей свободы, — несколько тысяч, —
Вспомним тот день и метеосводки,
Твердившие — в день его смерти
Ожидается ветер и стужа.

*Уинстен Оден, «Памяти У. Б. Йейтса, умершего
в январе 1939 года» (Перевод Глеба Шувлякова)*

Еще один — среди тысяч других «маленьких городов»...

А правду не скажут нам здесь потому, хотя бы, что слишком опасаются сплетен. Потому, что сама категория *правды* предполагает великодушные и полноту души, которых не встретишь в «маленьких городах», живущих слухами и суетой...

«Я один, все тонет в фарисействе», — говорил когда-то пастернаковский Гамлет. «Лучше барахтаться в полынье, чем в сладком, как мед, вранье», — вторил ему герой «Назидания» Бродского. Все это несомненно для него и

ныне. Только взгляд его обращен уже не в *неотвратимость конца пути*, а — из этой самой неотвратимости. И если можно сказать об «Августе» как образце «абсолютной поэзии», «высочайшей экономии языка» (Вайль), то, думаю, с полным правом его можно было бы назвать и образцом абсолютного отчаяния — апофеозом рациональной метафизики.

Вчера

Да и зачем вам она, ведь все равно — вчера.

Убийственная ирония этой «жутковатой» (Вайль) строки отрезвляет, как будто бросает с неба на землю. Особенно это «*вчера*», каким-то магическим образом объединяющее всех нас, подобно знаменитой песенке «Yesterday». Ибо, как начинаем мы понимать, поэт обращается здесь не только лицом к своему прошлому, но и ко всем нам, пришедшим на его проводы. И, предвосхищая наше любопытство, бросает свое сакраментальное «*зачем вам она?*» и своим будущим биографам, и их жадным читателям.

Но, конечно, прежде всего, строка эта — «символ веры» самого поэта. И «*вчера*» означает здесь просто: *прошлое* — *мертво* (да и ничем, по-видимому, кроме полноценной лжи никогда и не было). И тогда зачем нам вся эта «*правда*», которая, будучи лишь тьмой низких истин, сама превращается в сплетню? Так торжественная преамбула «Августа», этот начальный элегический дистих, отливается в законченную лаконичную формулу всей нашей жизни, всех наших маленьких городов во вселенной.

Отказом от скорбного перечня...

«Если время суще в себе, Время нельзя искупить Несбывшееся и сбывшееся Приводят всегда к настоящему», — говорил Т. Элиот. «И к тому, как мы будем всегда, в веках, лучше привыкнуть уже сегодня», — говорит наш поэт, этот человек, освобожденный от надежды и тревоги и утративший веру в любовь (С. Лурье). Время для него — абсолют, не обретающий смысла, речь, не обретающая глагола, боль, не обретающая разрешения, по которой кружит он, как по кругам ада. В конце концов, время упирается в вечность, оказывающуюся тупиком.

«Лишь одно имеет значение: В какую из сфер бытия Направлена мысль человека, Когда время ему умереть. А время ему умереть — это всякое время», — вот что, в конце концов, испытывает Элиот у «журчащей раковины Времени». Бродский не полемизирует с «*нахальным, прущим сквозь сферы, агонистом*» и не пытается скрепить расплывающуюся реальность скрепами схоластики. Жизнь и боль ему дороги сами по себе. Он полярный исследователь, путешественник к полюсу духа и верит лишь стрелке компаса, указывающей на крошечный мрак, да еще собственной боли, которая сперва становится невыносима, но постепенно стихает, отмирая вместе с живыми тканями: «И гангрена, чернея, взбирается по бедру, как чулок девицы из варьете».

Когда-то он делал попытки заговорить и даже заковать свое прошлое: «*Сжимая пространство до образа мест, где я пресмыкался от боли С изнанки твоих горизонтов кладу на подвижность эту заковать!*» Теперь он не

заговаривает и на заклиняет, скорее, — ампутирует. И «вчера» его становится подобно ножу гильотины. Ибо «*время отнюдь не целитель — больного уж нет*» (Элиот). И это «*больного уж нет*», кажется, идеально к нему приложимо. За сим остается лишь эхо прошлого и его фантомные боли:

Вязы шуршат за окном, поддакивая ландшафту,
Известному только поезду

«*Опять подошли незабвенные даты, И нет среди них ни одной не проклятой На прошлом я черный поставила крест. Чего же ты хочешь Что ломаются в комнату липы и клены?*» — откликается ахматовское. Но если её липы и клены ломаются в комнату, сопротивляясь совершенному над прошлым насилию, вязы Бродского шуршат за окном, поддакивая...

Кроме того, это еще одно ненавязчивое напоминание о том, что ландшафт жизни известен лишь *самому поезду* и никому более. Но и вторжение *настоящего*, быть может, вдохновения (пусть и шуршащего только), мы здесь ощущаем. Наверное, чтобы разделаться со своим прошлым, мало его убить. Прошлое не отпускает, стучится и далеким шумом поезда (так вся жизнь, говорят, проносится перед смертью) вторгается *в настоящее*, возвращая ему память, жизнь, боль. И на последнее слово строфы падает всей своей тяжестью.

А человек есть испытатель боли...

Что это за залетевшая сюда *пчела*, так ненавязчиво гудящая, небрежно отмеченная этим «*где-то*» и так же небрежно отогнанная в самый конец строфы (то есть самое важное место)? *Пчела* — гостья в этом мире гораздо более редкая, чем, скажем, поезд, ландшафт, зеркало или статуя. А если и появляется, то всегда как-то вскользь. Сразу вспомнится лишь «*Пчелы не улетели, всадник не ускакал*» (где *неулетевшие пчелы* гудят довольно туманным, но неотвязным символом рока). И еще в одном стихотворении, окруженная многозначительными для нас образами, жужжит пчела:

...Так, по выпуклому лицу
памяти всеми пятью скребя,
ваше сегодня, подстать слепцу,
опознает себя.

В будущем, суть в амальгаме, суть
в отраженном вчера
в столбике будет падать ртуть,
летом — жужжать пчела.

.....
Мы не умрем, когда час придет!
Но посредством ногтя
с амальгамы нас соскребет
какое-нибудь дитя!

«*Полдень в комнате*»

Здесь пчела снова появляется как неотвратимость некоей связи «между прошлым и будущим» (его отражением). А вот и еще одно «жужжащее, как насекомое, время нашло, наконец, искомое лакомство в твердом моем затылке», — жужжание времени, как неотступная мысль о смерти. И наконец, мы упрямся в «Зофью», эту квинтэссенцию катастрофы:

...как будто это ниточка и связь,
как будто над собою не смеясь,
твердишь себе: вот бог, а вот порог,
как будто это ты, а это бог,
как будто век *жужжит* в его руке,
а *жизнь твоя, как Ио, вдалеке.*

.....
Как будто ты ужален и ослеп,
за белую коровую вьется вслед
жужжащая небесная оса,

безмолвствуют святые небеса,
напрасно ты, безмолвствуя, бежал
ужасного, но лучшего из жал,
напрасно ты не чувствуешь одно:
страДаний Одинаково Дано,
страДанье и забвение — труха,
страДание не стоило греха.
почувствуешь ли в панике большой
бессмертную погоню за душой...

Так вот что это за пчела, эта, уводящая нас в самые глубины сердца и недра мировой культуры, подоплека! Эта «бессмертная погоня за душой», за несчастной, обращенной в корову *Ио*, — боль, рок, казнь, везде ее настигающие...

У Эсхила бегущая от слепня *Ио* встречается с прикованным к скале Прометеем. Обратив несколько горьких слов друг к другу, они навсегда затем расстанутся, преследуемые каждый своим роком. И кажется, что это собственная его, Бродского, мифология, его собственный прикованный страданием дух и его бегущая от боли душа¹ встречаются здесь. Итак, не все ли его творчество есть лишь один большой эпилог к этой описанной Эсхилом трагедии всечеловеческого духа?

¹ Вспоминается образ «Пепельной среды» Элиота, где дух, восходя по трем символическим ступеням дантовского Чистилища, обернувшись, видит себя корчащимся в крошечном пролете лестницы, *припертый к стене дьяволом*, имеющим личину *отчаяния и надежды*. Не таков ли метафизический сюжет и его трагедии? Возможно, глубже всех тайну эту поняла (а кому же еще?) Ахматова, написав ему в ссылке: «Иосиф, из бесконечных бесед, которые я веду с Вами днем и ночью, Вы должны знать о всем, что случилось и что не случилось. Случилось: *И вот уже славы высокий порог, но голос лукавый Престерег* и т. д. Не случилось: *Светает — это Страшный Суд* и т. д.»

«Человек отвечает сам перед собой за все. То есть он сам, до известной степени, свой Страшный Суд. У меня нет сил простить самого себя. И, с другой стороны, тот, кто мог бы меня простить, не вызывает во мне особенной приязни или уважения». (*Рождество. Точка отсчета*, *Беседа с Петром Вайлем*).

Это я, твоя старая совесть...

Как нельзя и пошло трагедию поэта сводить к столкновению с империей (*«я вообще считаю, что все это заслужил»*, — заслужил, конечно в метафизическом смысле), так же наивно сводить ее к любовной коллизии. Ибо *«для мужчины образ девушки, — несомненно, образ его души Любовь — дело метафизическое, чьей целью является либо становление, либо освобождение души, отделение ее от плевел существования. Что есть и всегда было сутью лирической поэзии. Короче говоря, дева — слепок души поэта, и он нацеливается на нее как раз за неимением альтернативы, кроме, возможно, той, что в зеркале»* (эссе *«Altra Ego»*).

Итак, дева — слепок души поэта в этом микрокосме, где *«можно, пору за порой, твои черты воссоздать... Либо, в зеркало вперясь, сказать, что ты это — я; потому что кого ж мы любим, как не себя?»*. Потому, что метафизический сюжет истории мира это и есть — *смерть любви* (поэтому *«вся литература — о предательстве»*, бросает Бродский). А поэт — это такой микрокосм, универсум или, если угодно, *маленький город*, который живет *историю этого мира* несколько более остро и полно, чем кто-либо другой (хотя, в сущности, это судьба всякого человека).

«Я во всем, и грех всех во мне», — сказал десять веков назад Григор Нарекати. Но, в отличие от святого, вера для поэта есть чаще всего *«почта в один конец»*. С ним лишь его безмерное экзистенциальное одиночество и его дар колоссальной отзывчивости, чувствительности к бытию, ставящей его на край бездны и на грань безумия: *«Смотри, любовь, как в розовом углу горит меж мной и жизнью паутинка»*. Да еще совесть, которая (даже *чужая совесть чужих людей*) делает его близким всем нам. Ее отраженный от самого дна сердца и всем одинаково внятный голос (словно голос Бога, ходящего по раю и зовущего своих, заблудившихся в сумрачном лесу бытия, детей)²...

Не отсюда ли и то *«равенство всех»* перед языком, на котором (при всей его обращенности, в сущности, лишь к своему alter ego) настаивает Бродский, и та онтологическая правда (*неизбежность сказанного*), им добываемая? Не она ли стучит в сердце каждого, кто открывается навстречу его стихам, и *«вырастает во сто крат»*, поддавшись их напору? Не так ли *«работает стихотворение Бродского»*, открывая перед нами правду нашего собственного существования? Правда эта оказывается не слишком красива, но на дне ее пылает и корчится наша больная совесть, а с ней и способное вырастать до небес божественное достоинство человека...

² Протоиерей Александр Шмеман заметил, что единственным настоящим героем ахматовской *«Поэмы без героя»* является совесть (*«Это я — твоя старая совесть Разыскала сожженную повесть»*). Очевидно, что главным героем всех текстов Бродского является все та же старая гостья и так же инкогнито.

От окраины к центру

Притворялся лесом волшебным,
Но своих он лишился чар.
Был надежды «напитком целебным»
В тишине заполярных нар...

Ахматова, «Август»

Сделав себе карьеру из перепутья, витязь
сам теперь светофор; плюс, впереди — река.
И разница между зеркалом, в которое вы глядитесь,
и теми, кто вас не помнит, тоже невелика.

Если первая строфа была взглядом человека на свою пройденную жизнь, то вторая — взгляд поэта на свое дело. Теперь мысль его стремится к центру, средоточью, перекрестку, где ждет встреча не с прошлым уже, а с судьбой. И Витязь на перепутье отсылает, конечно, не только к Васнецову:

...Что бы такое сказать под занавес?!

Слушай, дружина, враги и братие!
Все, что творил я, творил не ради я
славы в эпоху кино и радио,
но ради речи родной, словесности.
За каковое раченье-жречество
(сказано ж доктору: сам пусть лечится)
чаши лишившись в пиру Отечества,
ныне стою в незнакомой местности.

.....

здесь и скончаю я дни, теряя
волосы, зубы, глаголы, суффиксы,
черпая кепкой, что шлемом суздальским,
из океана волну, чтоб сузился...

«1972»

Петр Вайль вспоминает, как незадолго до смерти Бродский (запоем читающий в это время пушкинскую прозу) в одном из последних телефонных разговоров заметил: *«В случае Пушкина неразличение жизни и литературы привело к трагическому концу... Ко второй половине тридцатых годов Пушкин изменился довольно существенно, а в дуэльной истории имел место элемент тавтологии, некий жизненный самоповтор, оказавшийся фатальным. Он был на перепутье, добавил Бродский, и светофор там не стоял, так что тот путь, который он выбрал, был выбран добровольно, но все же не совсем — именно потому, что уже изменившийся Пушкин поступил, как Пушкин прежний».*

Интерес Бродского к Пушкину перед смертью — это интерес наследника к основателю («История села Горюхина» — это ли не образцовый «Маленький город»?!) и жреца-огнепоклонника к солнцу (да еще какого жреца! Речь и язык для которого были чуть ли не живыми существами, а проблема выбора слова становилась актом почти религиозным). И дело, конечно, не в тавтологии. Здесь снова ставится вопрос о *правде*, но уже на перекрестке

судьбы человеческой и литературной, жизни и культуры, времени и вечности, в конце концов. Устремление его от прячущих свою маленькую правду маленьких городов — к масштабу почти пилатовскому, к солнцу — лицом к лицу. (Кстати, закатный пушкинский «Памятник» написан 21 августа по старому, сразу после «золота второго Спаса». Вспомним, конечно, и его собственный: «*Я памятник воздвиг себе иной! К постыдному столетию — спийной. К любви своей потерянной — лицом... А ягодицы — к морю полуправд*»)

Август — месяц-имя, месяц-император, предел твердости, идеальный памятник (опять же, Гораций). Конечно, никаких прямых сопоставлений поэт не делает, это не в его характере. Но даже так, опосредованно, сравнение впечатляет. Его «памятник» не возноситься в эмпирию, а торчит бессмысленным светофором там, где он уже и при жизни был вечным витязем на распутье. (*Снятившим светофором, все три цвета которого загораются одновременно*, — называет Бродский и Византию в своем «Путешествии в Стамбул»). Теперь же (осознавая, конечно, свою роль в культуре) он сам становится пародийным светочем, который, не указывая никаких путей к бессмертию или смыслу, лишь мигает сонмам своих эпигонов, гоняющим туда-сюда по земным дорогам. Большого сарказма по отношению к самому себе и всем «нам» трудно себе представить.

Но для самого поэта это не столько пародия, сколько судьба. Ведь место, в котором стоит он, есть, в конце концов, перекресток *жизни и смерти*

...Плюс впереди река.

Эта, по обыкновению, небрежная концовка очередной строфы заставляет нас насторожиться. И вспомнить:

Значит, нету разлук.
Существует громадная встреча.
Значит, кто-то нас вдруг
в темноте обнимает за плечи,
и полны темноты,
и полны темноты и покоя,
мы все вместе стоим
над холодной, блестящей рекою...

«От окраины к центру»

Так вот эта *холодная и блестящая река* времени, над которой стоим мы все...

Как легко нам дышать,
оттого, что подобно растению,
в чьей-то жизни чужой
мы становимся светом и тенью
или больше того —
оттого, что мы все потеряем,
отбегая навек, мы становимся смертью и раем...

Но это было в далеком уже 1962-м. Теперь же:

И разница между зеркалом, в которое вы глядитесь,
и теми, кто вас не помнит, тоже невелика.

То ли это «зеркало», над которым, *полны темноты и покоя*, стояли мы когда-то? Не только. Ведь глядимся в него исключительно *мы*, читатели. И словечко «*тоже*» (в котором, конечно, отдается «*сам теперь*») возвращает нас на грешную землю: *светофор* (он же *витязь на перепутье*, он же слепленный нами образ поэта-пророка) — вот, в конечном счете, это «зеркало», что, подобно гаснущему экрану, сводит к нулю как бессмыслицу собственного существования, так и наши с вами на его счет иллюзии, (особенно той части муравейника сапиенсов, которая склонна была смотреть на поэта как на пророка и мессию).

И сразу, конечно, вспоминается «*Из забывших меня можно составить город*». Так, одним движением («*sleight*», жест фокусника) перед нами возникает еще один «*маленький город*», в который все мы оказываемся благополучно вписаны. И где сами становимся не только зрителями, но и участниками этого маленького иллюзиона исчезающей на глазах жизни.

Ибо былая ложь может быть уравновешена лишь отказом от прошлого. А отказ от памяти — лишь памятью забывших нас. В конце концов, что может помнить лжец? В конце концов, *зеркало, в которое мы глядимся*, оказывается сильно похожим на дно адского озера Коцит, в темный лед которого вмерзли лица предателей, желающих, чтобы память о них стерлась с лица земли («*вся литература — о предательстве*»). Вот так непринужденно наша краткая «Комедия Дивина» к концу второй строфы сводит нас на самое дно ада.

И вывод новой формулы «Августа» — в нашем всеобщем равенстве перед забвением. Если прошлое лишенных правды маленьких городов было формулой нашей бессмысленной жизни, эта — формула нашей смерти. Здесь поэт отрицает ту пронзительную надежду, которую нес нам когда-то. Ну а если и ожидает нас такая «*громадная встреча*», то, скорее всего, на самом дне последнего из наших *Маленьких городов*...

На дне

Вспоминается одно (может быть, самое страшное) из последних пушкинских стихотворений, полное почти невыносимых для рассудка «странных сближений» и интонацией напоминающее «Август»:

Как с древа сорвался предатель ученик,
Дьявол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геены гладной...
Там бесы, радуясь и плеща, на рога
Прияли с хохотом всемирного врага
И шумно понесли к проклятому владыке,
И сатана, привстав с веселием на лике
Лобзанием своим насквозь прожег уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.

Перед нами безжалостная правда, которую добывает поэт в своем последнем столкновении с жизнью и смертью, — его самосуд. (Думаю, не вызывает сомнений, что *слова поэта* — уже его дела, что *суть лирической по-*

эзии — отделение души от плевел существования и что поэзия Пушкина, — как, впрочем, и Бродского, — есть лишь подробный дневник его собственного духа.) У Пушкина отсюда, с этой последней инстанции самопознания, этой точки *абсолютного нуля* начинается его «бег к сионским высотам». Бег, хоть и «*напрасный*», однако не случайный и увенчанный величественной песнью «Памятника» с его прорывом к бессмертию (не только поэтическому, как многим почему-то кажется).

Но и наша *Комедия Дивина* еще отнюдь не закончена и, начиная с третьей строфы, также начинает восхождение к своему эмпирею. (Боюсь, правда, что по сравнению с тем, что оно принесет, все сентенции первой части «Августа» покажутся нам детскими игрушками).

Что ж, посидим на дорожку и, как нельзя более кстати, вспомним здесь последнюю песенку Пушкина:

Забыв и рошу и свободу
Невольный чижик надо мной
Зерно клюет, и брызжет воду
И песнью тешиться живой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Вниз уходит, как та аллея,
Где остаток зари алеет,
В беспредельный туман и лед
Вверх, как лестница, он ведет.

Ахматова, «Август»

Вот она, наша маленькая Валгалла.

Бродский

Итак, неудержимо стремясь к исчезновению, первая половина «Августа» подвела нас к черте, за которой прекращаются жизнь с ее «суммой мелких движений» и поэзия с ее «*гигантским ускорителем сознания*». Мы коснулись самого дна ада (амальгамы?). Но оказывается, разделаться со своим будущим так же непросто, как и со своим прошлым. Хоть и развенчанное, оно все еще оставляет нам призрачную надежду. И посыл этой надежды оказывается настолько сильным, что позволяет стихотворение продолжить.

Новая жизнь

В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.

Пастернак, «Август»

Запертые в жару, ставни увиты сплетнею
или просто плющом, чтоб не попасть впросак.
Загорелый подросток, выбежавший в переднюю,
у вас отбирает будущее, стоя в одних трусах.

Вообще, с третьей строфы начинается какая-то *иная жизнь* стихотворения. Все предыдущее путешествие мы совершили, не выходя, в общем, из комнаты автора. Но теперь будто переступаем некую черту. Что же это за черта? Знаменатель, под которым обретается итоговый результат? Будущее, в которое устремляется взгляд, обзрев прошлое и настоящее? Незаметный шаг в зазеркалье? («В будущем, суть в амальгаме, суть в отраженном вчера»).

После предыдущего, учиненного автором грандиозного дефолта, обвала прошлого и настоящего, начало третьей строфы, кажется, приводит нас в чувство, возвращает в более-менее сносную реальность. И *запертые в жару ставни* могли бы показаться вполне безобидными, если бы... Если бы не предшествующее им развоплощение, не эта интонация (вернее, полное ее отсутствие), от которой мороз продирает кожу, и не эта внятная «*сплетня*» в конце. И чем больше вчитываешься в эту строку, тем тревожней становится. Как-то слишком... торжественно, что ли, заперты эти ставни.

Вспомним: «*Расхлябанный позвоночник поезда, громяхающий в темноте мимо плотно замкнутых на ночь створок деревянных раковин с их бесхребетным, влажным, жемчужину прячушим содержимым*», — здесь, как видим, всё еще не так безнадежно. Или «*Бедность сих строк от жажды что-то спрятать, сберечь*», — однако, как мы подозреваем уже, наш поэт, этот «*заходящий иногда дальше, чем он рассчитывал, чем ему даже хотелось бы*», индивидуум, не удержится и не убережет. Ведь еще ни одна звезда, которую его чудовишный телескоп отыскал в бездне неба, не стала причалом его надежды. Может быть, разум слишком мощен, и слабое сердце просто не поспевает за ним? («*Ум ищет Божества, а сердце не находит*», — так, кажется, дихотомию эту обозначил когда-то Пушкин). И снова разум накроет ее своей черной тенью, и «черный прожектор» погонит его всё дальше и дальше...

В «августовской комнате» какая-то иная уже пустота сквозит на месте былой жемчужины, а ее «створки» сдвинуты как-то *слишком* уж наглухо...

Впрочем, «*может быть, наши подозрения беспочвенны, может быть, мы склонны к паранойе и вчитываем слишком много?*». А, быть может, насладившись уже встречей с прекрасным, нам лучше всего потихоньку развернуться и отправиться домой? Куда-то еще заведут нас наше путешествие и любопытство? Как бы нам окончательно не попасть с ними *впросак*?

Но если наше любопытство все же пересиливает наше благоразумие... Тем более, что черту, за которой еще возможно было возвращение, мы, увы, кажется, уже переступили. Мы и так зашли *слишком* далеко. И, узнав то, что узнали, вряд ли сможем быть теперь спокойны и благоразумны. Ведь подсмотрели мы *наше собственное будущее*. Что ж, перекрестясь, пойдёмте дальше...

Итак, что же решаемся вчитать мы в очередные, лежащие перед нами строки? И что это за *чувство*, в которое они нас приводят? В окно, как мы помним, в первой строфе шуршали вязы. Теперь — ставни его наглухо заперты и к тому же *увиты сплетнею*...

Похоже, что чувство, в которое приводит нас первая строка очередной строфы «Августа», есть самоощущение тупа. Ибо все это, вообще говоря, очень похоже на лежащее в гробу тело. От этой догадки вторая строка с ее

загадочным «*чтоб не попасть впросак*» становится и вовсе зловещей: *закрываая ставни*, поэт, еще живой, в точности не знает, сбудется ли его мрачное пророчество, и потому, *чтоб не попасть впросак* (не ошибиться с указанием даты церемонии), соглашается увить ставни *просто плющем*, то есть дает нам возможность прочитать эти строки как милую зарисовку о конце лета. Для нашего поэта такая игра — настоящее лакомство.

Но все это, так сказать, виртуальное настоящее-будущее (быть может, еще не сплетней, а *просто плющем* увиты ставни? быть может, есть еще выход из этой западни?). Если «выключенное» зеркало — alter ego, прошлое, а окно с запертыми ставнями — настоящее, то дверь, — несомненно, будущее, а значит, и последняя возможность выхода. Но:

По силе презренья догадываешься: новые времена.
По сверканью звезды — что жалость отменена,
как уступка энергии низкой температуре
либо как указание, что самому пора
выключить лампу; что скрип пера
в тишине по бумаге — бесстрашие в миниатюре.

Внимай же этим речам, как пению червяка,
а не как музыке сфер, рассчитанной на века.
Глуше птичкиной песни, оно звончей, чем щучья
песня. Того, кто грядет, не остановить дверным
замком. Но дурное не может произойти с дурным
человеком, и страх тавтологии — гарантия благополучья.

«Примечания напоротника»

Похоже мы ошиблись дверью, в смысле, стихотворением. Но главное, в чем мы ошиблись, так это в том, что самонадеянно вознамерились куда-то из нашей комнаты выйти, чего нам в общем-то никто не обещал. Ведь дверь — это не только то, чем выходят, это скорее (и гораздо вернее) то, *чем входят* и, не так уж трудно догадаться, *кто*. И даже *страх тавтологии* (то есть даже наше собственное *зло*, как гарант нашего здешнего, уже невыносимого почти, благополучия) не вечен, ибо вот оно, наконец:

Загорелый подросток, выбежавший в переднюю,
у вас отбирает будущее, стоя в одних трусах.

Подросток этот по-началу ошарашивает. Не то что бы своей неуместностью (интуиция подсказывает как раз обратное), а какой-то внезапностью своего появления (особенно это «*в трусах*», рифмующееся с «*впросак*», звучит уже совершенно издевательски). Впрочем, после всего предыдущего, мы и подростка оказываемся способны переварить. Что же такое этот подросток?

«В последних двух строках наблюдается уже явная переключка с пушкинским стихотворением “Вновь я посетил” со строками: “Здравствуй, племя младое, незнакомое”. В некотором роде “Август” — большая аллюзия на “Вновь я посетил”, ибо мотив и тональность стихотворений едины. Практически едины и пейзажи: оба возвращения происходят на лоне природы. Подросток, как и “племя младое, незнакомое”, — суть ее проявление. Бродский делает особый акцент на отождествлении естества природы и чело-

века: подросток представляется “загорелым”, “выбежавшим”, “в одних трусах”. Перед нами — дыхание жизни, поглощающее старость: с ее опытом, признанием и, в конечном итоге, будущим». *Антон Желнов* («Возвращение»: «Знамя», 2004, №9).

Однако! Пушкинским духом, здесь, и точно, пахнет (мне, правда, вспоминается вот это: «*И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть...*»), — но есть и различия. Если пушкинский герой великодушно уступает жизнь: «*Младенца ль милого ласкаю, Уже я думаю — прости, Тебе я место уступаю, Мне время тлеть, тебе цвести*», — то подросток Бродского *отнимает* ее у нас. То есть *дыхание жизни* поглощает нашу *старость* как-то слишком уж энергично. Та еще, как говорится, «аллюзия»! Восходящий по экспоненте сарказм поэта достигает здесь кульминации.

Подросток — гость в поэтике Бродского нечастый, но заметный и однозначный: *теперь повсюду антенны, подростки, пни* («Конец века» — стихотворение, начинающееся образцово-показательным «*мир скоро кончится, но раньше кончусь я...*»); подросток из «Зимнего вечера в Ялте»; «подросток в желтой куртке»... Подросток, одним словом, — это символ антикультуры, как она есть.

Действительно, может ли быть нечто более противоположное, чем культура и подросток в пору его полового созревания? Скажу больше, подросток здесь — символ почти апокалиптический (мне представляется, что и компания Люцифера согрешила в достаточно подростковом возрасте, в духовном, разумеется, смысле). А предстает он перед нами «*в трусах*», видимо, потому, что в таком виде ему просто проще заняться тем, чем он в сущности только и способен заниматься. Подросток — это грядущий хам, свифтовский *ийехсу*, элиотовский *Свини эректус*, одним словом, — человек будущего: «*Тысячелетие и век сами идут к концу, что б никто не прибеж к бомбе или свинцу. Дело столь многих рук гибнет не от меча, а от дешевых брюк, скинутых сгоряча...*».

Почему подросток отбирает будущее «*у вас*», а не, скажем, *у нас* или *у меня*? Ну, во-первых, потому что со *мною* и так уже все ясно. Во-вторых, очередное «*у вас*» (вы, вам) возвращает стихотворение в плоскость Завещания и Прощания. В первый раз нам отказывалось в *правде* (да и зачем, в сущности, нам она?), во второй — мы приговаривались к забвению. Наконец, у нас отнимается последнее, что осталось, — та надежда, которая как будто и вызвала к жизни эту строфу (впрочем, надежда наша простиралась в вечность, и поэт помнит об этом: стихотворение еще отнюдь не закончено).

Дело не в том, что поэт такой уж мизантроп³. Просто он беспристрастен и даже бесстрастен перед лицом смерти. Просто ему слишком хорошо

³ Когда в начале 90-х страна стала погружаться в хаос, а общественно-политическая жизнь — превращаться в войну всех против всех, Бродский был, кажется, единственным, кто вообще вспомнил о милосердии. И в одном из своих интервью сказал примерно следующее: народ, переживший столько ужаса в XX веке, спасет не озлобление и высмеивание своего прошлого, а лишь немного участия друг ко другу. — Признаюсь, до сих пор я не слышал ничего подобного (а казалось бы, чего проще?) не только ни от одного «либерала» или «патриота», но даже от сколько-нибудь публичного священника!

известна человеческая природа, и он считает своим долгом открывать нам свою безжалостную, известную ему правду.

В сущности, вся поэтика Бродского (особенно поздняя) и есть все большее *приближение к правде*, все более и более точная постановка диагноза смертельно больному всечеловеческому организму (не потому-ли так *долго смеркается?!).* И «Август» — это его окончательный диагноз.

Что ж, пойдем дальше, осталось уже немного.

Памятник лжи

Итак, закатное солнце «Августа» в багровые тона окрасило горизонт там, где небо встречается с землей. И здесь «нотариальный стиль» послания резко обрывается, чтобы уступить место последнему вдохновению, последней песне птички:

Поэтому долго смеркается. Вечер обычно отлит
в форму вокзальной площади со статуей и т. п.

Вспомним:

По утрам, когда в лицо вам никто не смотрит,
Я отправляюсь пешком к монументу, который отлит
Из тяжелого сна. И на нем начертано: Завоеватель.
Но читается как «завыватель».
А в полдень — как «забыватель».

«Элегия», 1986 г.

Монумент, к которому поэт ходил прогуливаться по утрам, был *отлит из тяжелого сна*. В полдень жизни *черный прожектор заливал глазные впадины* поэта. Его закатный, отлитый из расплавленного солнца вечер отвердевает в форме вокзала.

Мимо скудных ландшафтов *маленьких городов* (где мы так и не узнали правды), мимо светофора (который не указал нам дороги), мимо меркнувшего на глазах зеркала (ибо кого ж мы любим, как не себя?) и загорелого, в трусах, подростка (мимо которого проехать нам так и не удалось), поезд памяти прибыл на конечную станцию. К своему солнцу, к вратам вечности, где пора выходить и на привокзальной площади которой нас встретит, конечно же, *статуя*. Могло ли быть иначе? Ну а поскольку *концу* свойственно обращаться к своему *началу*, и мы от последнего его «памятника» обратимся к первому:

...Поставим памятник
в конце длинной городской улицы
или в центре широкой городской площади,
памятник,
который впишется в любой ансамбль...
Поставим памятник,
который никому не мешает...
Поставим памятник лжи.

(1960 г.)

Итак, все разнообразные, от начала, *памятники лжи* привели нас к конечному — памятнику бессмертия. И здесь сарказм поэта, перерастая, кажется, уже и сам сарказм, снова становится подлинной трагедией. «Статуя» —

этот последний собеседник, небожитель, торжественный удар колокола, точка, в которую упирается «Август», — полностью развенчана. Ей отказано не только в каком бы то ни было величии и смысле, но даже в праве точки что-либо оканчивать (беспримерное «и т. п.», следующее за ней, окончательно упокоится лишь в «отсутствующей толпе», последнем клире «*статуи*», гулко отозвавшись пушкинскому «*Слух обо мне пойдет по всей Руси великой и назовет меня всяк сущий в ней язык*»).

Перед нами возникает ландшафт вечности, и доносится песнь наступившего будущего:

Аллея со статуями из затвердевшей грязи,
похожими на срубленные деревья.
Многих я знал в лицо. Других
вижу впервые. Видимо, это боги
местных рек и лесов, хранители тишины,
либо сгустки чужих, мне не внятных воспоминаний.
Что до женских фигур — нимф и т. п. — они
выглядят незаконченными, точно мысли;
каждая пытается сохранить
даже *здесь*, в наступившем будущем, статус гостыи...

...Изваяния высятся в темноте, чернея
от соседства друг с дружкой; от безразличья
к ним окружающего ландшафта.

Заговори любое из них, и ты
Скорей вздохнул бы, чем содрогнулся,
услышав знакомые голоса, услышав
что-нибудь вроде «Ребенок не от тебя»
или «Я показал на него, но от страха,
а не из ревности» — мелкие, двадцатилетней
давности тайны слепых сердец,
одержимых нелепым стремлением к власти
над себе подобными и не замечавших
тавтологии. Лучшие из них
были жертвами и палачами...

Узнать, что тебя обманули, что совершенно
о тебе позабыли или — наоборот —
что тебя до сих пор ненавидят — крайне
неприятно. Но воображать себя
центром даже невзрачного мироздания
непристойно и невыносимо. — Редкий,
возможно единственный посетитель
этих мест, я думаю, я имею
право описывать без прикрас
увиденное. Вот она, наша маленькая Валгалла,
наше сильно запущенное имение
во времени, с горсткой ревизских душ...

Вот он, наш последний маленький город с его последней формулой
бессмертия.

Формула бессмертия

И грохочет Черное Море,
Изголовье мое разыскав.

Ахматова, «Август»

Где взгляд, в котором читается — будь ты проклят
Прямо пропорционален отсутствующей толпе.

«*И нет среди них ни одной не проклятой*», — вновь отзывается этой строке ахматовская. И это — третья, последняя формула «Августа». Посмертная формула одиночества, где «проклинаящий взгляд» (принадлежащий кому угодно — мне, «вам», в конечном счете, Ему), повисающий, подобно тающей улыбке чеширского кота, в пространстве «вокзальной площади», и есть то последнее, что всех нас, проклиняющих друг друга, связывает и объединяет (как объединяло нас ранее общее наше «вчера» и общее наше забвение).

Преодолевающая всякую индивидуальность, заключительные слова «Августа» ширятся и растут, наполняя собой всю вселенную и возводя заключительную его формулу в Абсолют. Где самосуд, Высшая мера поэта (тоже род Эмпирея!) становятся приговором всей цивилизации, начавшейся братоубийством, живущей суетой, ложью, предательством и объединенной взаимной враждой, ненавистью и проклятием.

Ибо каждый из индивидуумов, составляющих «отсутствующую» в виду полной бессмысленности мероприятия (*где полны темноты, где полны темноты и покоя*) «толпу», не оказал никому в этой жизни, а значит, и сам не заслужил милосердия и обречен на вечное посмертное одиночество...

Впрочем (обращаясь снова к нашему фростовскому эпиграфу и эссе Бродского «Скорбь и разум»):

«если вы захотите прочесть “Войди!” как стихотворение о природе, извольте. Хотя я предлагаю, чтобы вы подольше задержались на заглавии. Двадцать строчек стихотворения составляют, в сущности, перевод заглавия. И, боюсь, в этом переводе “войди” означает “умри”».

...Я сниму погоны и стану просто одной звездой

Ограды, надгробья.
Оглобя в сугробе.
И небо над кладбищем полное звезд.
Пастернак, «Рождественская звезда»

Август — звезды.

Цветаева, «Август»

В этот день его звезда стояла в зените
На полдень его самого.

Оден

В конце XIX века, пережив мироощущение общечеловеческого духа как громадную личную трагедию, Ницше сказал: «Бог умер!» В конце XX века

также всеобъемлюще другой Поэт пережил то, что закономерно наступает после «смерти Бога», — смерть человека. «Человек умер» — вот слова, которые дано было ему сказать (и которые закономерно прозвучали из уст русского поэта — «всецеловека»).

После Пушкина Бродский — самый, наверное, экзистенциальный поэт в русской словесности (сюда же стремится Цветаева с ее «угысечеренным человеком», но «паутинка» Бродского дрожит все же грандиозней). Это поэзия самых подлинных переживаний и поэзия окончаний — жизни, культуры, логики, мысли. И если Пушкин есть солнечный центр нашей культуры (и нашей истории), то Бродский, боюсь, — ее черная дыра, ее полярная ночь, северное сияние... Или, быть может, ее полярная звезда?

И если за скорость света не ждешь спасибо
то общего может небытия броня
ценит попытки ее превращения в сито
и за отверстие поблагодарит меня...

Когда Михаил Крепс (в книге «О поэзии Иосифа Бродского») замечает, что его пугает не ад (к которому он, в сущности, уже притерпелся), а Рай (Рай — это тупик, повторяет он многократно), мы вправе сказать — судьба. А еще вернее — предчувствие судьбы культуры ее пророком. Ведь с точки зрения культуры, Рай — действительно тупик, конец перспективы, но и — всесильной человеческой логики, в том числе...

«Август» — последнее слово, полюс смерти, полюс духа. И последний (и, быть может, единственный!) шанс увидеть иной его полюс — Рождество, в которое он, подобно волхвам Леонардо, с метафизическим страхом и изумлением (концентрация всего в одном!) вглядывался всю свою жизнь (более 15 стихотворений). И, как душа Симеона из его «Сретенья» (о котором прот. Александр Шмеман сказал, что рядом с ним вся т. н. духовная поэзия выглядит невыносимой фальшью), пронес через всю жизнь его образ:

И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропы
душа Симеона несла пред собою,
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

И посланная ему в январе смерть, быть может, красноречивей любых стихов стала отражением этой надежды (той, что возникает за смертью уже всякой надежды). И кажется, именно «Рождественская звезда» (написанная сразу после нобелевского триумфа и также отсылающая к Пастернаку, то есть к тому, который *уверовал*, которому *открылось*) стала тем последним, что прозвучало в последнем его интервью...

И наконец, не забудем главное — ведь именно при императоре Августе родился Христос:

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

Эпилог

Человек есть конец самого себя
И вдается во время.

Бродский, «Колыбельная трескового мыса»

Следить за перетеканием времени в вечность —
занятие для святого — и не занятие даже,
Нечто, что отнято и отдано вновь
пожизненной смертью в любви...

Элиот, «Четыре квартета»

То прежний голос мой провидческий
Звучал, нетронутый распадом.

Пастернак, «Август»

Будучи, конечно, не вправе заглядывать в тайны чужого духа (любопытство, которое наш поэт вряд ли одобрил бы), мы все же имеем право обращаться к более близким свидетелям в нашем Процессе и, конечно, к самому поэту. И, стараясь не заглушить этой музыки (*но и сами мы музыка, пока она длится*, — Элиот), мы осторожно покинем мир «Августа» теми же дверями, что и входили в него, — стихотворением на смерть поэта, приобретающем после смерти его автора биографические черты и более уместным для нас, остающихся. Впрочем, оставляем читателя самого судить об уместности наших сопоставлений. Ведь поэзия, как мы уже выяснили, всегда предполагает личную встречу.

На смерть Томаса Элиота

Он умер в январе, в начале года.
Под фонарем стоял мороз у входа.
Не успевала показать природа
ему своих красот кордебалет.
От снега стекла становились уже.
Под фонарем стоял глашатай стужи.
На перекрестках замерзали лужи.
И дверь он запер на цепочку лет.

Наследство дней не упрекнет в банкротстве
семейство Муз. При всем своем сиротстве,
поэзия основана на сходстве
бегущих вдаль однообразных дней.
Плеснув в зрачке и растворившись в лимфе,
она сродни лишь эолийской нимфе,
как друг Нарцисс. Но в календарной рифме
она другим наверняка видней.

Без злых гримас, без помышленья злого,
из всех щедрот Большого Каталога
смерть выбирает не красоты слога,
а неизменно самого певца.
Ей не нужны поля и перелески,
моря во всем великолепном блеске;
она щедра, на небольшом отрезке
себе позволив накапливать сердца.

На пустырях уже пылали елки,
и выметались за порог осколки,
и водворялись ангелы на полке.
Католик, он дожил до Рождества.
Но, словно море в шумный час прилива,
за волнолом плеснувши, справедливо
назад вбирает волны — торопливо
от своего ушел он торжества.

Уже не Бог, а только время, Время
зовет его. И молодое племя
огромных волн его движенья бремя
на самый край цветущей бахромы
легко возносит и, простившись, бьется
о край земли. В избытке сил смеется.
И январем его залив вдается
в ту сушу дней, где остаемся мы.

СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК: ВНУТРЕННЯЯ ОДИССЕЯ, ИЛИ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД НА ВОСТОК

Три современных европейских писателя. Эрленд Лу, Мишель Уэльбек, Алексей Иванов. Три героя — мужчины в ситуации кризиса, который иногда называют кризисом среднего возраста. Три логики поиска.

В современной прозе нередко присутствует «фрейдистская поправка», которая, так сказать, уравнивает задачи психологии и литературы, вытаскивая «на самый яркий свет грязь, мрак и зло заднего плана души»¹. Когда читаешь тексты норвежского писателя Эрленда Лу или француза Мишеля Уэльбека, возникает ощущение зачарованности авторов болезненными проявлениями душевной жизни человека. Оба писателя сосредоточенно исследуют истоки «западного невроза» современного европейца, который словно пребывает на периферии дня и ночи, балансируя на грани страха будущего и неудовлетворенности прошлым. В тот момент, когда личность ощущает себя исключительно в настоящем, она достигает самого «края мира»: за ней — «отпавшее и преодоленное, перед ней — Ничто, из которого может возникнуть Все...»². Героем современной литературы часто овладевает чувство «края», влекущее тягостную, но необходимую остановку в движении судьбы и сопровождающееся состоянием прозрения и глубочайшего погружения в себя. Он оказывается в ситуации «экзистенциального вакуума» и нравственного кризиса, под которым В. Франкл подразумевал кризис смысла и ответственности.

А что у Алексея Иванова? Решает ли он проблему человека иначе или идет путем мучительного поиска героев зарубежной прозы?

Попробуем ответить на этот вопрос.

На рубеже

Герой романа Эрленда Лу Допплер, случайно упав в лесу с велосипеда, в этот самый миг вдруг осознает, что ему «вышло помилование» — освобождение от цивилизации, ответственности перед семьей, монотонной работы. После падения он испытывает «блаженное умиротворение» — приятное

¹ Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. М., 1994. С. 305.

² Там же. С. 294.

**Ольга
МАСЛОВА**

— родилась в 1980 г. в Ярославле. Окончила ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Кандидат культурологии. Работает преподавателем зарубежной литературы в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Живет в Ярославле.

чувство, будто «все превратилось в лес... Привычная мешанина из разнокалиберных мыслей, чувств, планов и обязательств не мучила голову... В мозгу не звучала ни одна из доводящих до иступления детских песенок...»³

Лес становится метафорой одиночества героя, вступившего на путь самопознания. Допплер перестает участвовать в привычной человеческой жизнедеятельности, состоящей из работы, ремонта, «вылазок в SMART CLUB, где покупаются полуторалитровые баллоны “Лактацида” и штабеля туалетной бумаги, дабы ягодицы всех членов семьи в любой момент не стыдно было предъявить общественности...»

Ироничная, отчасти наивная тональность повествования скрывает драматизм ситуации Допплера, переживающего душевный кризис. Единственным собеседником героя становится лосенок, с которым «странный» норвежец испытывает такое «духовное единение, какое редко чувствовал с людьми». Допплер проецирует свои проблемы на животное — своеобразное «alter ego» героя. Бывший муж, сын, отец и лицо «с постоянным источником дохода» призывает лосенка «разобраться в своих чувствах», упрекает лесного жителя в излишней нетерпимости («...ты производишь впечатление компанейского добрячка, а в душе у тебя, оказывается, кипит агрессия и копится нетерпимость. Ты должен бороться с этим!»). Эти слова обращены, конечно, к самому герою, чье поведение может показаться чудачеством.

Роман открывается периодом, который частично содержит причину дискомфорта героя: «Я похоронил отца. А вчера убил лосиху. Что тут скажешь?» Тема отца становится центральной в романе, определяя логику поведения и внутреннее состояние Допплера. Именно в лесу «потеря всей тяжестью легла на душу»; герой как будто впервые осознает, что «только был человек — и нет его...» В это же время Допплер получает известие о беременности жены третьим ребенком, что не слишком радует героя. Он чувствует замкнутость в «заколдованном» круге, где постоянно чередуются жизнь и смерть: «...уходит мой отец, зарождается новая жизнь. Тот, кого я толком не знал, замещается тем, кого я, скорее всего, никогда хорошо не узнаю...» Этот закон «взаимозамещения» вступает в силу в связи с убийством лосихи. Понимая, что он «по-варварски обобрал природу», «взял у нее больше, чем в состоянии отдать», Допплер берет на себя ответственность за жизнь лосенка.

Ситуация человека, проходящего через рубеж, представлена и в романе Мишеля Уэльбека «Платформа». Как и в произведении Э. Лу, с первой фразы «Платформы» заявлена тема отца: «Год назад умер мой отец». При этом Уэльбек, словно предупреждая читательские ассоциации, связанные с психоанализом, обнаруживает недоверие к фрейдизму. «Существуют теории, — заявляет писатель, — будто человек становится по-настоящему взрослым со смертью своих родителей. Я в это не верю: по-настоящему взрослым он не становится никогда»⁴. Автор подчеркивает свое несогласие с предположением психоаналитиков, утверждающих, будто затяжная «юношеская фаза» характерна для мужчин, на которых смерть отца действует катастрофичес-

³ Лу Э. Допплер // Иностранная литература. 2005. № 11.

⁴ Уэльбек М. Платформа. М., 2003.

ки. Тем не менее с темой отца роман входят две смыслообразующие темы «Платформы»: одиночества и возраста.

Герой Уэльбека Мишель так же, как и Допплер, свои сожаления по поводу того, что он никак не может вспомнить лицо отца, поднимает до уровня философского обобщения: «Люди живут и друг друга не видят, ходят бок о бок, как коровы в стаде; в лучшем случае бутылку вместе разопьют...» Та же тема возникает и в романе Лу. Смерть отца обращает героя к самому себе, заставляет осознать одиночество («...в лесу я упражняюсь в одиночестве. Учусь в нем жить. Как жил мой отец. Возможно, не догадываясь о том. Он был совершенно одинок, мой отец...»).

Подобно уэльбековскому герою, Допплер выводит из своего индивидуального опыта принцип человеческой судьбы, формулируя его в экзистенциальном ключе: «Человек рождается один и умирает один. Это надо просто понять, чем раньше, тем лучше...»

В поисках смысла

Мироощущение героев Лу и Уэльбека отмечено скрытым парадоксом. С одной стороны, ситуация Допплера и Мишеля не является частной. Их судьба не только вписывается, но «произрастает» из исторического контекста. Речь идет не просто о «кризисе смысла» у отдельного индивида, но о кризисе «образцовопоказательного» европейского общества потребления. Проблема Допплера и Мишеля непосредственно связана с эпохой рубежа столетий, поэтому их невозможно рассматривать вне времени. С другой стороны, в самих героях обнаруживается стремление отмежеваться от времени, отказаться от какого-либо направления в жизни. Они выбирают существование, которое не управляется «ни опорой на прошлое, ни устремлением в будущее, но связано с чистым внеисторическим настоящим...»⁵ Мы сталкиваемся с состоянием людей, вдруг потерявших интерес ко всему, кроме настоящего момента.

Разумеется, ни смерть отца Мишеля, ни падение Допплера с велосипеда не вызывают у героев душевного потрясения, в результате которого человек, как правило, обращается к вопросу о смысле жизни. И то, и другое событие являются лишь импульсом для осознания героями «меланхолии», которую Франкл определил как тревогу, представляющую собой «страх смерти и укоры совести». Неприятие мира Допплером и цинично-усталое отношение Мишеля к людям сопровождаются внутренним напряжением, которое можно объяснить разрывом между желаниями и возможностями реализации своей личности. В чем видят герои свой идеал жизни? Правильно ли вообще говорить о каком-либо «идеале» в случае с персонажами Лу и Уэльбека?

Внешне жизнь героев представляет собой образец комфорта и благополучия, а в случае с «загадочным» норвежцем — полного семейного счастья. Но почему же тогда Допплер предпочитает большинству людей снег, а Мишель тяготится даже незначительными связями? Отличительной чер-

⁵ Франкл В. Доктор и душа. СПб., 1997. С. 159.

той любого человека является то, что он беспрестанно чего-то желает⁶. Причем удовлетворение физиологических потребностей не является «обязательным имеющимся в наличии и составляющим императивную часть природы человека»⁷. Это всего лишь «базовые потребности», удовлетворение которых в развитии общества является делом обычным, повседневным и не приносит особой радости и счастья.

Что на самом деле желают герои? В чем их предназначение и смысл жизни?

Эти вопросы, которые герои задают сами себе, возникают из ощущения одиночества — этой отправной точки человеческого пути, заставляющей испытывать дискомфорт, сомнения и — как следствие — стремление найти выход из возможного «экзистенциального вакуума».

Франкл выделял три различных способа реализации смысла: через творческую деятельность; через переживание ценностей; через страдание посредством позиции, которую мы занимаем по отношению к судьбе. В случае Допплера и Мишеля можно говорить, вероятно, о попытке обрести смысл через изменение отношения к жизни. Каждый из них делает это по-своему. Каждый из них, подобно Адаму, стремится обрести гармонию.

Одиночки, отвергающие социум

Герой Уэльбека после смерти отца, с которым был не слишком близок, начинает чувствовать свой возраст. Неслучайно молодая женщина Валери обращается к Мишелю с риторическим вопросом, очень точно отражающим суть его мироощущения и причину тихого отчаяния: «Почему вы чувствуете себя таким старым?»

Упоминание о возрасте в романе Уэльбека сопровождается мотивом уходящего времени и упущенных возможностей. Герой признается, что свое холостяцкое житье воспринимает скорее с сожалением: «...со своей стороны, я не создал домашнего очага, остался холостяком, детьми не обзавелся; никому не придет в голову опереться на мое плечо. Я, как зверь, прожил один и в одиночестве умру...» 40-летнего героя угнетает собственная семейная неустроенность, влекущая за собой чувство бесполезности.

Кризис возраста сопровождается «глубинными удивительными изменениями души». Именно в этот судьбоносный момент к человеку приходит осознание, что жизнь могла быть прожита иначе, «многое, слишком многое... остается лежать в чуланах, покрытых пылью воспоминаний, порою оказываясь раскаленными углями под серым пеплом...»⁸ Эти «раскаленные угли» обжигают героя Уэльбека, постепенно впадающего в состояние депрессии от того, что он «ничего в жизни не делал со страстью». Признание героя можно соотнести с размышлениями норвежца Допплера, который вдруг понимает, что «в последние годы все больше и больше отдалялся от окружающих» и не вкладывал душу ни в работу, ни в семью. У

⁶ Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 2003. С. 51.

⁷ Фромм Э. Бегство от свободы. М., 2000. С. 35.

⁸ Уэльбек М. Платформа. М., 2003.

Допплера, в отличие от одинокого Мишеля, — трое детей. Но он не видит в них решения своей проблемы.

Герой Уэльбека Мишель отягощен «грехом отчаяния», толкающим его на пресечение живых человеческих контактов. Он осознает необходимость вступать в «какие-то отношения» с людьми, «чем-то» занимать себя по вечерам, но в то же время испытывает страх и порой отвращение перед установлением связей с людьми, которых именует не иначе как «млекопитающие». Всю человеческую судьбу он укладывает в простейшую схему: «рождение — несколько сексуальных контактов — смерть», — лишая жизнь творчества, радости и, — что самое главное, — духовного начала.

Жизненное пространство Мишеля, ограниченное и тесное, подобно клетке, где любые человеческие связи воспринимаются как оковы. Этой замкнутостью, некоторой «заикленностью» на своей телесности и психологической потерянности, мир Уэльбека напоминает бессмысленные искания кафкианских героев, чье существование балансирует на грани абсурдного сновидения и реальности. В этом мире Бог не просто умер, Он никогда не существовал. Лишенный мистической тайны, трансцендентного начала, этот мир ограничивает возможности личностного поиска, лишает человека веры, а вместе с тем, — силы и внутреннего стержня.

Поэтому Мишель и убежден, что «жизнь — это медленное приближение к неподвижности... Сколько ни делай вид, что разбираешься в жизни, — она все равно кончается».

В свою очередь, герой Эрленда Лу определяет свое состояние как «беспроектность», когда «вдруг остро чувствуешь, что погряз в каких-то бессмысленных, в сущности, делах и завидуешь тем, кто живет иначе, подлинно, осмысленно, у кого есть что-то по-настоящему важное: ритм, темп, радость, глубина и дети...» Допплер находится в ситуации человека, потерявшего смысл, когда тот «теряет способность играть, любить, делать глупости, проявлять ребячливость и доверчивость...»⁹ В этот момент жизни он становится «напряженным, ригидным, настороженным», таким, каким ощущает себя Допплер. Свою «обособленность» герой Лу объясняет нелюбовью к людям, о которой говорит просто, без пафоса, с долей грустной иронии: «Я не люблю людей. Мне не нравится то, что они делают. И сами они не нравятся. И что они говорят, тоже...»

Герой Лу (до встречи с лесом) живет в мире, где существуют лишь люди — с их обязанностями, стандартами, неумными потребностями, разочарованиями. И в итоге этот мир уничтожает самого человека, сквозь мрак тихого отчаяния стремящегося обрести духовность, найти опору в чем-то нематериальном. Допплер интуитивно обращается к природе, стремясь вернуть целостность личности, которая оказалась расщеплена в процессе приспособления к реальному миру. А ведь утрата глубинной связи с природой означает, что человек как бы «поворачивается спиной к части самого себя, .. тем самым закрывая себе путь на небеса...»¹⁰

Ни в одном из двух романов не звучит призыв к небу. Звучат призывы то к низу, то к лесу, которые не спасают от ощущения тесноты и одиноче-

⁹ Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 2003. С. 221.

¹⁰ Там же.

ства, но толкают на новый виток иступленного поиска выхода из *системы*, обрекающей человека на механическое существование.

Молодые европейцы не удовлетворены состоянием общества, но возможности что-либо изменить, как-то освободиться от чувства беспомощности, они не видят и потому выбирают чаще всего пути, заводящие в тупик.

Так, например, причины, по которым герой Уэльбека не испытывает «горячей привязанности» к этому миру, могут показаться не слишком весомыми: «На Западе дорогая жизнь, холодно и проститутки некачественные. На Западе не разрешается курить в общественных местах и почти невозможно купить наркотики. Там много работают, много машин и шума, а безопасность обеспечивается плохо... В общем-то изъянов немало...» Тем не менее даже этот приземленный прагматический критицизм Мишеля вполне обнаруживает, что мир, в котором он живет, лишен свободы, любви и *веры* — всего того, без чего ни на каких обходных путях невозможно обрести душевную гармонию и счастье.

Про это

Уэльбек не ограничивается перечислением недостатков общества потребления. Автор пытается проникнуть в суть такого явления как кризис западной цивилизации, продуктом которой становится несчастливый человек. Его анализ едва ли точен, но по касательной затрагивает существенные темы.

Многие идеи Уэльбека далеко не оригинальны. «Американский» стандарт, говорит он, навязывает иерархию ценностей, в которой основой становится культ личной выгоды, успеха. Стремление «вписаться» в эту модель делает людей холодными и рациональными. Западный человек оказывается отчужденным от самого себя, от своих близких, от природы и воспринимает свою жизненную энергию как помещение капитала, который должен принести ему максимально возможную прибыль.

Притом у людей все-таки сохраняется потребность, которая является самой сильной из человеческих страстей. Это потребность слияния с другим человеком. Наиболее естественный и нормальный путь преодоления отдаленности — это, по Уэльбеку, сексуальная близость, о которой постоянно говорит и думает его герой.

Центральной проблемой Уэльбека оказывается отчужденная сексуальность. В своих рассуждениях его герой ограничивает человеческую жизнь физиологическими потребностями организма, отрицая значимость иных сфер («В мире можно жить, и не понимая его, надо только приспособиться получать пищу, ласки и любовь...»). В данном контексте под словом «любовь» подразумевается половой акт — «мост» через пропасть между людьми, страдающими от одиночества.

Герой Уэльбека развенчивает миф о галантной флиртности Франции. Он цинично заявляет, что «у французов принято говорить о сексе по каждому поводу, но не заниматься им...» Писатель исследует природу сексуальности и приходит к выводу о том, что «упадок сексуальности западного мира — явление, безусловно, социальное, массовое, и напрасно было бы пытаться объяснить его теми или иными индивидуальными психоло-

гическими факторами». Валери констатирует, что на Западе «сексуальной свободы больше не существует». Возникновение психологических преград, комплексов, мешающих людям западной цивилизации «свободно совокупляться», Мишель связывает с той же *системой*.

Опыт самого героя, мысли которого сконцентрированы на сексе, показывает, что его судьба — тупик. Душевное состояние героя — равнодушного искателя сексуальных наслаждений — демонстрирует несостоятельность его собственной теории, согласно которой «людям необходим секс, только и всего». Во время осмотра Храма Утренней Зари в Бангкоке им овладевает прозаическое желание «найти открытую аптеку, чтобы купить виагру». Намерения героя сводятся к тому, чтобы «всего-навсего получить полноценный массаж с качественным сексом». Однако удовлетворение половой потребности не делает его счастливым: герой ощущает внутреннюю опустошенность, признаваясь, что его «пристрастие к женским пампушкам (даже не к женщинам! — О. М.) сохранилось в нем единственно подлинной человеческой чертой».

Возможна параллель между тем, о чем пишет Уэльбек, и суждениями Эриха Фромма по поводу форм распада любви в современном обществе¹¹. Героями Уэльбека овладевают болезненные состояния неудовлетворенности и тоски, порождаемые противоречием между стремлением преодолеть разобщенность и страхом единения с людьми. Любовь как «взаимное сексуальное удовлетворение» (ситуация Мишеля) и любовь как «сотрудничество в команде» (брак Жана Ива и Одри) являются своего рода формами патологии любви.

Инфантильность влечет за собой ослабление у мужчин их мужественности. Мужчины постепенно утрачивают желание обольщать, служить женщинам, заботиться о ней, оберегать. С другой стороны, по наблюдениям героя, женщины все больше начинают походить на мужчин. Однако когда мужественность парализована, как в случае с героями Уэльбека, ее извращенной заменой становится садизм; в случае ослабления женственности происходит ее трансформация в мазохизм (как в случае с Одри — женой Жана Ива).

Уэльбек включает в повествование эпизод, описывающий посещение Мишелем и Валери садомазохистского клуба, где люди достигают оргиастического состояния, истязая друг друга и самих себя. Герой Уэльбека высказывает парадоксальную, на первый взгляд, идею: «Единственное, что отвечает духу времени, — это садомазохизм». По-видимому, герой имеет в виду исчезновение из западного мира тепла и любви. Это связано, на наш взгляд, с утратой обществом духовности, в основе которой лежит вера в мир «неявленный, но тайный».

Современному человеку, «замурованному в собственной скорлупе», неведомы радость и свобода *дарения в любви*.

На какое-то время эту радость и свободу герой познает вместе с молодой женщиной Валери, превратившей жизнь 40-летнего мужчины в игру «возбуждающую и приятную, единственную, которая доступна взрослым». Оказывается, *система* не всеисильна! По отношению к Валери он проявляет себя не только как любовник, но как друг и даже как отец. Он начинает жить ее интересами, вникать в суть ее деятельности. В отношениях Мишеля и молодой женщины присутствует свобода, позволяющая сравнить их лю-

¹¹ Фромм Э. Искусство любить. СПб., 2005.

бовь «с играми детей и молодых животных». В этих отношениях нет борьбы за лидерство, напряжения, но есть наслаждение самим процессом любви и бескорыстная благодарность одного человека к другому просто за то, что он существует¹². В общем-то, это и составляет саму суть любви, того «пикового переживания», в момент которого человек испытывает абсолютную гармонию, покой и ощущение полной реализованности.

Итак, проблемы героя Уэльбека (до встречи с Валери) объясняются отсутствием в его жизни опыта глубокой близости. Возможно, он бессознательно уже и избегает «сильных» чувств, довольствуясь «суррогатом» (во время пребывания в Тайланде предпочитает «здоровым» отношениям с Валери общение с тайскими проститутками).

Реально же нерешенной остается совсем другая проблема — как найти самую надежную дорогу от души к душе и где найти силы для прохождения этой дороги.

По сюжету в романе Уэльбека герой теряет свою возлюбленную. Но теперь он уже не способен, как прежде, пребывать в бесконечном поиске сексуальных наслаждений со случайными партнершами. Он теряет вкус к жизни, так как «жизнь, из которой ушла любовь, становится в определенной степени условной и противоестественной». Писатель находит очень точное слово для обозначения ситуации нелюбви — *противоестественная*. Поэтому Мишель, пережив любовь и боль потери Валери, приходит к простому умозаключению, содержащему всю суть философии французского писателя: «Если я не понял любовь, что толку стараться понять все остальное?»

Герой, стремясь обрести земное счастье, так и не осознал до конца сложной и изменчивой природы человеческой судьбы. Мишель не желает и — главное — не видит смысла претерпевать страдание, в котором по идее можно найти источник новых душевных и духовных ресурсов. Уэльбек, при всей глубине видения состояния западной цивилизации, не поднимает (возможно, намеренно) вопросов веры, лишая человека возможности диалога с Богом. Автор закрывает своему герою «путь на небеса», делая того бессильным перед страданием. Именно поэтому утрата Валери — единственного источника жизненных сил Мишеля — оказывается началом духовной смерти героя.

Опыт Допплера отличается от ситуации героев «Платформы». Загадочный норвежец переживает жизненный рубеж иначе, нежели Мишель. Есть в его опыте некая комическая альтернатива опыту Мишеля, есть и иная перспектива.

В отличие от героя Уэльбека, находящегося в вечном поиске сексуальной партнерши и живущего под гнетом постоянного неудовлетворенного желания, Допплер не испытывает по этому поводу никаких комплексов. Он добровольно отказывается от интимных отношений с женой, соглашаясь на близость исключительно по ее инициативе. При этом писатель подчеркивает мужскую полноценность героя, который буквально с первых страниц заявляет о невероятно больших размерах своего фаллоса. Допплер высказывает наивные переживания по поводу того, что в школе его драз-

¹² Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 2003. С. 217

нили «Член с ногами», хотя он имел другие достоинства. Добровольное воздержание Допплера и неожиданный даже для него самого уход в лес обусловлены трудностями человека, вдруг ощутившего себя на самом «краю мира». Он смутно чувствует какую-то несправедливость в мире, ощущает присутствие в нем зла и непоправимых событий.

Стремясь обрести гармонию и безопасность, Допплер возвращается к природе, предпочитая оставить полный соблазнов, развлечений и возможностей Осло, и поселяется в лесу, где наслаждается скукой, «ничегонеделанием» и отшельническим образом жизни.

В отличие от Мишеля, Допплер, пытаясь освободиться от ощущения психологического дискомфорта, не замыкается в самом себе. Он входит в лес словно в храм и ждет от природы, словно верующий от прикосновения к святыне, очищения и просветления. Возможно, этот первый шаг Допплера на пути к постижению божественной тайны мироздания.

Герой стремится найти свой индивидуальный ритм жизни, совпадающий с природными циклами, идентифицирует себя с миром растений и животных. Из цивилизованного «образцово-показательного» гражданина Допплер превращается в человека архаичного, живущего охотой и собирательством. Лес не только меняет Допплера, будто бы возвращая ему утраченную в социуме свободу, но «входит» в героя, который как бы становится лесом («Лес — это я и есть»). Такая вот руссоистская робинзонада.

Но она — не последнее слово Лу. Лес «очищает героя», которому предстоит новые решения, новый опыт.

Даже в лесу Допплер не остается в одиночестве. К нему присоединяется не только бессловесный лосенок Бонго, но и собственный четырехлетний сын Грегус, в котором «инстинкт охотника и собирателя» так же глубоко укоренен, как и в самом герое. «Лесная душа», Допплер, становится для них Учителем, указывающим путь. Не случайно, глядя на себя со стороны, герою приходит на ум сравнение с библейским святым семейством («Иосиф, немного странного вида осел и Мария, сущее дитя»). Этот опыт социальной идиллии и эта религиозная параллель, конечно, неслучайны.

В своих рассуждениях, обращенных к «ученикам», Допплер приходит к выводу, что пребывание в лесу не является идеальным для него образом жизни. На самом деле он вынашивает юношеские мечты свернуть в одно прекрасное утро на дорогу, о которой он «и думать не думал». Эта дорога, по мнению героя, должна будет привести его *к другим людям*. Допплер предпринимает «крестовый поход» на восток, чтобы найти разумную жизнь и дойти до *сути своей суетной пустоты*. В пути он стремится обрести веру в ближнего, вновь испытать «братскую любовь», пережить единение со всеми людьми.

Но возникает вопрос: почему Допплер устремляется именно на Восток? Что подразумевает автор, когда отправляет своего героя в этом направлении? Уж не Россию ли, «страну святых чудес», традиционно ассоциирующуюся в западном сознании с идеями соборности и духовности? Допплер ищет иное — разомкнутое — сознание, открытое и небесам, и земным делам. Но оправдает ли этот поход надежды Допплера? Не устарел ли этот миф — о загадочной русской душе, обращенной к Богу? И нет ли в этом скрытой насмешки норвежского писателя?

Человек природный

Герой романа Алексея Иванова «Географ глобус пропил»¹³ Виктор Служкин также переживает свой «жизненный рубеж».

30-летний мужчина, устроившийся за неимением лучшего места на должность учителя географии, на первый взгляд кажется несчастным человеком, да и сам себя он определяет как «неудачник». В разговоре с бывшей одноклассницей Веткой Служкин пытается разобраться в отношениях со знакомыми женщинами и обнаруживает непонимание, «размытость» собственных желаний: «Черта тут поймешь... Вроде бы люблю ее, а к ней не тянет. Тянет к другой девице, из моей школы, а жить все равно хотел бы с Надей. И живу с Надей, а ближе тебя нет никого. Никакой опоры в жизни...»

Однако, по сути, эти противоречия являются лишь внешними факторами, не позволяющими герою ощутить себя полностью счастливым. Они не затрагивают «сердцевину» личности Служкина, сохраняющего чувство целостности. Герой Иванова обладает потенциалом любви в истинном значении этого слова, включающим целый комплекс чувств: заботу о людях, понимание их проблем, жалость к ним. Успокаивая свою нелюбимую, но родную жену Надю, страдающую из-за Будкина — лучшего друга главного героя, Служкин находит удивительные слова, отражающие его жизненную «установку»: «Наденька, не плачь... Потерпи... Я ведь тоже разрываюсь от любви... К тебе... К Таточке... К Будкину... К Пушкину...» Гармоничная целостность мироощущения героя сохраняется благодаря этой всеобъемлющей любви к людям и вообще к жизни, в его доброте, которую чувствуют и школьники.

Однако из явной симпатии к своему персонажу Иванов идеализирует Служкина, оптимизм которого граничит с «пофигизмом», а гармоничноеприятие мира — с инфантилизмом, который доводит до иступления его жену Надю.

Результатом глубинного созерцательного инфантилизма как доминанты характера оказывается модель взаимоотношений Служкина и его учеников. Ему удастся, ничего не навязывая, не подавая пример, напротив, лишая этого примера, открыть для школьников романтику жизни, красоту природы, упоение опасностью при переходе северных рек на байдарках. В процессе общения с географом каждый что-то для себя понимает, меняясь, становясь сильнее или терпимее. Служкин оказывается универсальным человеком, вбирающим в себя все стороны бытия: смешные, трагические, возвышенные.

Сам для себя он определяет роль в жизни ребят следующим образом: «Конечно, никакой я для «отцов» не пример. Не педагог, тем более не учитель. Но ведь я не монстр, чтобы мною пугать, не старший товарищ и не клевый чувак. Я не начальник, я не подчиненный. Я им не свой, но и не чужой. Я не затычка в каждой бочке, но и не посторонний. Я не собутыльник, но и не полицейский. Я им не опора, но и не ловушка и не камень на обочине. Я им не нужен позарез, но и обойтись они без меня не могут. Я не проводник, но и не клоун. Я — вопрос, на который каждый из них должен ответить сам...»

¹³ Иванов А. Географ глобус пропил. СПб., 2005.

В том, что Служкин называет девятиклассников «отцами», можно увидеть необыкновенное отношение взрослого к мальчикам. Он не только занимает позицию руководителя, но, напротив, сам в определенных ситуациях готов подчиниться своим ученикам. Служкин всегда открыт для новых впечатлений, новой любви, даже если знает заведомо, что принесет ему разочарование. «Пусть что угодно, только не любовь!» — восклицает он и в то же время не стремится противиться чувству к Маше. Его любовь к ученице переносится на весь мир: «Я безответно-глухо люблю Машу, люблю этот мир, эту реку, люблю небо, луну и звезды, люблю эту землю, которая дышит прошедшими веками и народами, люблю эту бессмертную горечь трудных и долгих верст...»

Любовь делает его счастливым и в то же время причиняет боль. Это «боль жизни», поэтому Служкин находит в себе силы смириться с ней и даже испытывает необходимость нести ее в себе как нечто святое. Мотив святости также периодически возникает в связи с образом главного героя — грешника, непутевого, «неправильного» человека. Что такое *святость* в понимании героя? Это не просто отсутствие грехов. По словам «географа» Служкина, святость — «это когда ты никому не являешься залогом счастья и когда тебе никто не является залогом счастья, но чтобы ты любил людей и люди тебя любили тоже... Совершенная любовь... Совершенная любовь изгоняет страх. Библия».

По сути, в этих рассуждениях «географа» заключена простая идея: Бог есть любовь. Но можем ли мы говорить о духовности героя, о его нравственной силе?

Скорее, в основе мироощущения Служкина лежит способность приспособиться к обстоятельствам и умение быть счастливым. Несмотря на внешнюю жизненную неустроенность, герою Иванова присущи непосредственность и спонтанность реакций, которые и помогают ему преодолевать трудности. Непосредственность проявляется в своеобразном чувстве юмора, в преподавательской и человеческой установках Служкина и минимальной рефлексии по поводу происходящих с ним событий.

В отличие от героев Уэльбека и Лу, убежденных в том, что они живут в «неудачное» время, Служкин никогда не обвиняет ни время, ни людей в своих бедах, беря на себя ответственность за совершенные им ошибки. Герой Иванова подвергает критике (правда, довольно прямолинейной, без глубокого самокопания) свои поступки, пытаясь найти то душевное состояние, при котором он чувствует «великий покой».

Невыносимая легкость как дар судьбы?

Служкин больше в космосе, герои Уэльбека и Лу больше в истории (точнее, в сегодняшнем ее моменте). Они переживают кризис наглядно и жестко, возмущаются, бунтуют, впадают в неразрешимые противоречия, он же едва ощущает его, стараясь не замечать проблему, не фиксировать себя на ней, покорствуя и смиряется. Они пестуют свое одиночество как важное событие и фундаментальное состояние, Служкин же как будто уклоняется от одиночества. Если герой романа Эрленда Лу, гонимый усталостью

от людей, убегает в лес в поисках уединения, то «географ», также по сути своей «лесной человек», предпочитает разделить любовь к природе с учениками. С ними он встречает Новый год в лесу на станции Валежной; с ними идет в поход, неоднократно переживая «совершенные» моменты взаимопонимания и единения вокруг костра...

Если одиночество героя Уэльбека трагично (в жизни Мишеля присутствуют обреченность и пустота), а одиночество Допплера в чем-то даже вызывающе и порой болезненно, то одиночество Служкина иное. Это состояние, сопровождающее человека в моменты очередного «жизненного рубежа», когда экзистенциальный выбор (уход из школы, отказ от Маши) влечет за собой не только печаль и боль потери, но надежду.

В финале «Платформы» герой Уэльбека оказывается в тупике, из которого выход один — смерть. Допплер устремляется на восток, надеясь в общении с новыми людьми обрести утраченную целостность (не исключено, что предложенный автором путь — очередная пародийная выходка норвежского насмешника).

Финал романа Иванова не лишен романтического пафоса («Служкин стоял на балконе и курил. Справа от него на балконе стояла дочка и ждала золотую машину. Слева от него на перилах сидел кот. Прямо перед ним уходила вдаль *светлая и лучезарная* пустыня одиночества...»). Даже не дорога, а «пустыня», неосвоенное пространство, в котором нет никаких векторов движения. На что же надеется герой, и в каком направлении он пойдет? Хватит ли ему оптимизма выдержать жизнь безработного нелюбимого мужа? Иванов не дает даже намек на перспективу, ставя в конце романа увесистую точку.

Что же мы видим? Внешние затруднения, вроде денежных трудностей и семейных неурядиц, компенсируются внутренней гармонией, рождающейся из близости с природой и неутраченной способности любить. Напротив, материальное благополучие и социальная стабильность не только не способствуют обретению душевного равновесия у западного человека, но толкают его в состояние депрессии и тоски.

Важно, однако, и другое. Уэльбек и Лу, каждый на свой манер, подвергают героя испытаниям, чтобы выявить его природу, определить его свободу и поразмышлять об его смысле. Иванов же сглаживает анализ и даже избегает его, предпочитая синтетически неразъемное видение человека — как иррациональной тайны, которая приоткрывается лишь ситуационно. Автор не стремится к исследованию «диалектики души», делая акцент на сюжетных поворотах и непосредственно на русском национальном характере своего персонажа — ироничном и обаятельном «Иванушке» 90-х. Правда, несколько измельчавшем — без особой веры в чудо, но со стойкой надеждой на «авось».

Различна также интонация, выражающая суть отношения и авторской установки в произведениях западных писателей и А. Иванова. Последний при всей стилистической легкости и прозрачности не избежал некоторой мелодраматичности с дидактическим уклоном (благо педагогическая тема). В свою очередь, и французский писатель, и норвежец в стремлении дойти до самой сердцевины личности своих героев действуют наподобие хирур-

гов, создавая очень натуралистичные тексты, исполненные недоброго сарказма в отношении всего окружающего мира. Постигание высот духа происходит через откровенное разглядывание низа.

Почему это так? Есть здесь национальные или культурные матрицы? Или все дело в личном опыте писателей? Когда думаешь об этом, возникает искушение прочертить некий вектор пути с запада на восток — пути, похожего на тот, которым намерен двинуться к зениту своего бытия Дюпплер, дабы обрести целостность и вернуть непосредственность и радость восприятия жизни.

Расщепленная сложность сознания европейца, замкнутого на своем индивидуальном бытии, стремится к высотам духа, но не находит сил, да и не видит возможности их достичь. Мир, из которого ушла вера в трансцендентное начало, мир, превратившийся из «явленной тайны» в компьютер природы, населенный покинутыми создателем людьми-винтиками, выталкивает человека в пустыню одиночества и отчаяния, лишая возможности дышать. Однако, как мы видим, герой отечественной прозы живет в таком же тесном мире, где духовность и вера, как необходимые оплоты личности, подчас подменяются инфантильным оптимизмом и попустительской иронией.

«Скольжение по поверхности» героя отечественной литературы, в общем-то, скрывает все тот же парадокс личности, в которой скрещиваются «суета сует и томление духа» и слабые попытки обрести равновесие. Как в случае с «географом», через созерцание «пышной природы увядания», через странную любовь, лишенную прошлого и будущего, — через то, что само подвержено власти времени.

Поэтому, точнее, быть может, говорить о двунаправленности этой заветной дороги, по которой идут навстречу друг другу герои Лу и Уэльбека, с одной стороны, и Иванова, с другой. В этом движении можно усмотреть также процесс формирования некоего единого художественного пространства в литературе в целом — с одним комплексом проблем, особой психологической аурой, типом героя.

Подчиненная пульсу нового времени, социокультурным изменениям и сопутствующей им переоценке ценностей, литература как отечественная, так и западная, находится в ситуации поиска.

Но ведется ли этот поиск в направлении установления диалога и сближения? Или каждый выбирает самобытный индивидуальный путь развития?

Однозначного ответа на этот вопрос мы пока дать не можем. Очевидно, однако, что и многогранной расщепленной сложности индивидуалистического сознания европейца, и, на первый взгляд, целостной картине мира героя отечественной литературы не достает основательного стержня. Той опоры, которую вряд ли можно найти в повседневности. Отсюда — и суета сует, и томление духа, и поиск...

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА

1. Художественная проза

А. «Вестник Европы», «День и ночь», «Дружба народов», «Зарубежные записки» (Дортмунд), «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь», «Урал»

(Второе полугодие 2006 г.)

Заметной прозы не так уж много. Даже не знаешь, что в минувшем полугодии можно поставить рядом с *неоконченной повестью Юрия Малецкого «Конец иглы»* («Зарубежные записки», № 7), в которой анатомирована смерть бывшей пионерки, старухи-атеистки. Это настоящая хроника умирания, своего рода советский аналог толстовской «Смерти Ивана Ильича», замечательная попытка передать сверхлогическое и потустороннее — настоящий пример современного, постнабоковского символизма, чуждого буквалистской наивности в свидетельствах об инобытии. Тонкое, психологически выверенное письмо, глубокий и емкий смысл. Одна из самых значительных вещей у этого крупного прозаика. «Конец иглы» — новая версия старой повести Малецкого «На очереди» (опубликованной в 1986 году в парижском «Континенте» (№ 47-48) под псевдонимом Юрий Лапидус). Теперь автор переписал ее практически целиком.

Аркадий Бабченко в отличном **рассказе «Аргун»** («Новый мир», № 9) дает концентрированный образ солдатской службы в современной Чечне. Автор опирается на жизненный опыт, и даже складывается впечатление, что повествование во многом исповедально. Батальонные будни. Армия в собственном соку, вне соприкосновения с неприятелем. Бабченко изображает мир уродливый, невероятно жестокий, приведенный к примитивной норме существования-выживания, — какое-то близкое преддверие ада. Единственной зыбкой опорой является содружество нескольких парней, которых свела здесь судьба. Но и относительно крепости содружества Бабченко в больших сомнениях. Вспоминая Ремарка и его тему фронтового товарищества, он отталкивается от этого прецедента. Опыт Чечни в его истолковании — это опыт унижения, незащитности, одиночества — опыт горький и бесплодный. Строгое, очерковое письмо, без форсажа, композиционных эффектов или ярких метафор, — они смотрелись бы здесь искусственно и фальшиво.

Замечательный **рассказ Павла Сутина «Апрель, Варшава»** («Знамя», № 10) жестковато идеологически выстроен, но убедителен и в деталях, и в целом. Два московских либеральных журналиста общаются на подмосковной даче со смершевцем, а потом отправляются в Варшаву, чтобы собрать материал для юбилейной статьи о восстании в гетто. Смершевец пребывает в глубоком, непоправимом маразме. Зато варшавский ветеран Армии Крайовой (АК) ясен и светел духом. Антитеза прозрачна. Однако журналисты постоянно возвращаются, споря друг с другом, к самой болезненной точке историчес-

кой драмы: почему АК не помогла евреям Варшавы. В финале читателя ждет катарсис. Красивая, умная проза.

«Повесть о герое Василии и подвижнице Серафиме» Нины Горлановой и Вячеслава Букура («Урал», № 7) — нежное, трогательное и горячее повествование о студенческой поре, о времени и людях. Нищая, веселая, рискованная, дурацкая, талантливая юность в Перми, 1975 год. Декан филфака шестидесятилетняя Серафима Макаровна, которая *«ждет от всех сверхреализации»*. Одаренный, творческий, смелый, безумный студенческий народ. Наверняка есть прототипы. Воспоминательно, лирично. *«О наша юность: первая ночь любви, первый вызов в КГБ — где все это? Да там же, где у современных юных бизнесменов первая повестка в налоговую инспекцию...»* Авторы задыхаются от прилива припоминаний. *«Ну, сейчас читатели понимающе перемигиваются у нас за спиной: вот, под видом описания ужасного тоталитаризма с его цензурой они, Горланова и Букур, тоскуют по старому, по ушедшей юности»...*

В рассказе Нины Горлановой «Акушерочка» («Новый мир», № 7) заматававшаяся медсестра в роддоме однажды второпях подменила детей. Так мальчики и росли в чужих семьях, ставших родными, а акушерка терзалась раскаянием. А потом и вовсе отказалась от пенсии. Автор-рассказчица видит ее в старости: *«И видно, что с каждым годом она становится все воздушнее: в прошлом году еще руки были полными, а нынче уже совсем не то. Только губы — губы по-прежнему детские словно. Вдруг она — по забывчивости — наступила на больную ногу, и слезы брызнули из глаз. От боли! Детские губы, недетские слезы, а все же я рискну утверждать, что она была счастлива. — А на лекарства деньги где берете? — А нигде — святой водой мажусь»*.

В «Знамени» (№ 11) небольшой текст Горлановой «Мужчины в моей жизни»: *«...Но удивляют только те сны, в которых мне объясняются в любви известные политики, критики и другие вип-персоны. Навяу я о них совершенно не мечтаю, конечно. <...> 1. Ельцин. 2. Курицын. 3. Солженицын. 4. Ковалев. 5. Гайдар. 6. Капица (старший)»*.

Самая скандальная вещь полугодия — записки Марка Розовского «Театральный человек» («Новый мир», № 7; с подзаголовком «Из книги “Дело о конокрадстве”»). Рассказ о том, как великий театральный режиссер Георгий Товстоногов совершил «конокрадство»: присвоил знаменитую «Историю лошади», в то время как авторство спектакля принадлежит Розовскому. Небезуспешная попытка справиться с обидой и предложить объемное видение ситуации. *«Все лучшее у Товстоногова — от Бога, все худшее — от советской власти. Лучшее — это ум, талант, мастерство, чувство Автора и Актера, художественное чутье времени... Худшее — вынужденное служение официозу, регламента за это, вождизм и как его следствие — нарушение этики в театральной жизни. Многие преклонялись перед Товстоноговым, перед культом его личности. И я, несомненно, был в их числе. Он был орел, мы — воробышки. Он имел то, что другим и не мечталось, — великую труппу, которую он сам и создал <...> В этом смысле товстоноговский опыт даже превосходит пример Станиславского, поскольку был произведен в другом социуме — там, где гений и талант актера уже не так ценились, как ранее, где любая индивидуальность рассматривалась как опасность для системы посредственностей. Кривить душой стало профессией. Значит, криви. Стань “умельцем”*

на этом пути. На этом направлении я у Товстоногова не учился. Тут я его больше наблюдал. Он казался мне... великим сталиным советского театра». После интересных воспоминаний Юрского, Ресептера — новый и свежий, демифологизирующий взгляд на БДТ и его руководителя.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРЫ И ЖИТЕЙСКИЕ ПЕРИПЕТИИ. Василина Орлова в повести «Трапеза богомола» («Новый мир», № 12) фрагментарно, мозаично представляет современную Москву и прежде всего — молодых москвичей. Ночные клубы — и психушка, офисы — и станции метро, жилища разного рода и профиля — и дикие московские улицы. Город с бурной, кипучей, странной жизнью. Обрывочная композиция, по логике автора, адекватна расстроенности, хаотичности и московской жизни, и сознания современного человека. Орлова владеет материалом, варится в том же самом неблагоприятном соку, а потому ей удается достичь убедительности в панорамном портрете реальности. Иной вопрос, что никакой особенной глубины в этой очерковой прозе отчего-то нет. Слабость анализа компенсируется хорошо прочувствованными лирическими темами времени. Лейтмотивы Орловой: неполнота, искусственность существования, боязнь теракта с захватом заложников...

Свой вариант панорамно-мозаического повествования о современной московской жизни предлагает **Дарья Данилова** в повести «Энтропия» («Дружба народов», № 12). Отцы и дети в многосоставном повествовательном коктейле. Чередование тем, связанных с тем или иным персонажем. Общий вывод — об оскудении, выхолащивании связей, которые объединяли людей. Если у Орловой один из лейтмотивов — страх теракта, то Данилова привлекает как острую проблемную приправу связь одного из героев, мальчика из хорошей семьи, со скинхедами. Общей тональностью, благожелательностью к персонажам, свободной организацией, акцентом на изображение быта образованных горожан повесть Даниловой похожа на прозу Улицкой. Умело, неглупо, увлекательно, не слишком глубоко.

В романе **Анатолия Курчаткина** «Цунами» («Знамя», № 8-9) герой по имени Рад потерял бизнес, да еще и задолжал местной мафии сто тысяч баксов. Таких денег у него нет, приходится скрываться. Из огня да в полымя: старый приятель, обитающий ныне в Америке и широко развернувший коммерческую активность, приглашает его в Таиланд и здесь, на отдыхе, предлагает герою стать кризисным управляющим, проще сказать — искусственно банкротить предприятия. Тут же появляется случайная подруга, богатая московская галерейщица, влюбившаяся в Рада по уши. Предлагает ему руку и сердце и обещает уладить все его трудности на родине. Но Раду все это не нравится, не такой он человек, чтобы идти на моральные уступки или решать свои проблемы через постель и брак. Он решает остаться в Таиланде, где в итоге гибнет во время цунами. Роман о грубой повадке российского «высшего света», о герое с принципами изготовлен в испытанной манере Курчаткина — с кучей подробностей, со всевозможными перипетиями и частными отворотами. Социально-бытовой реализм; непрямой элемент дидактики умело вписан в общую картину.

Такого же идеалистического настроения герой изображен и **Сергеем Солоухом** в рассказе «Обыск» («Новый мир», № 9). В некую Интернет-фирму

пришли с обыском эфэсбешники. По ходу дела выясняется, что им нужно или найти компромат на фирму-партнера, или разорить ее по поручению неких чиновников, которым недодано взяток. Главный герой не хочет помогать спецслужбам — и не из соображений партнерства с коллегами, а потому что он в принципе не доверяет преемникам габухи, с которой когда-то столкнулся при неприятных обстоятельствах. Не любит, короче, герой чекистов. Ни старых, ни новых, обслуживающих влиятельного заказчика. И способствует провалу их затеи. Но эмоциональное понимание находит почему-то только у девчонки-уборщицы. Той тоже не по вкусу хищные, циничные парни. *«...Его поняли. Понял тот единственный, кто мог и должен был понять. Большая, неуклюжая, незамужняя девка. Блюдущая чистоту. Вокруг себя и в себе самой»*. От свойственной ему прежде рафинированной игры (часто самодостаточной) Солоух вдруг делает шаг к психологической прозе с социальными подтекстами (в манере, близкой Хемингуэю, — с пересадкой его героев в наши скорбные палестины).

Из того ж ряда пенсионер в **рассказе Виктора Дьякова «Бесплатный уголь»** («Москва», № 8). Бойкий старичок борется с чиновниками за свои интересы и укорачивает какого-то торгового кавказца. Дидактика.

Вячеслав Сухнев в **романе «Мгла»** («Москва», № 10) изобразил провинциального учителя, который трудно живет и напряженно думает. Пытаясь совместить убеждения и ценности со злобой дня, он овладевает пиар-технологиями, готовится участвовать в избирательной кампании — и гибнет.

Ирина Шаманаева в **рассказе «Иллюзия доцента Пичугина»** («Урал», № 8) представила довольно заурядного преподавателя вуза, которого заела среда, ташат за собой обыденные заботы и суеты. В изображении серого, безвольного, апатичного провинциального интеллигентшишки угадывается попытка следовать чеховской традиции. И рефлексировать Пичугин по-чеховски: *«Я мало зарабатываю, пью, на глазах умственно опускаюсь, изменяю жене, почти не занимаюсь воспитанием дочери <...>Я, откровенно признаться, негодяй и сволочь <...>Я такой, потому что я сам это сделал со своей жизнью. Никто не заставит меня участвовать в чужих крысиных бегах. Кто сказал, что дорога только одна и что она прямая? Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам,.. пусть пересаживаются с “мерседесов” на “лексусы”, я не хочу бежать по их колее. Там, в стороне, леса, и холмы, и горные тропинки... Может быть, там ждут меня не только Мишки и Витьки с их дешевым портвейном, а радость и чудо? Они уже были в моей жизни. И они еще повторятся. Мне ведь всего сорок три года. Я в расцвете сил и творческих способностей. “Все будет хорошо, я это зна-а-аю!..” Все. Будет. Хорошо...»* Герой, как видим, не чужд элементарной рефлексии. Он тоскует по иной жизни, в финале же отваживается на судорожно-экстравагантный поступок: убивает ненавистную мешанку-жену.

В «Урале» (№ 9-12) опубликован **роман Константина Костенко «Жизнь и смерть проводника Юрия Рогова»**. Главный герой — скромный, комплексуемый большими дядями и тетями «маленький человек». Мягкий, покладистый, «человек без железа внутри». Жизнь проводника Юры описана в манере констатации фактов. Как целое роман едва ли состоялся: в нем мало единства и глубины. Но есть любопытные детали. Костенко

весьма критично и пафосно рассуждает о современной культуре, человеке, искусстве.

В *монологе* одного из старейшин нашей литературы **Леонида Зорина «Восходитель»** («Знамя», № 7) рассказчик сначала вспоминает о своей первой любви, о девушке, оставшейся где-то в провинции, а потом излагает сюжет собственной московской карьеры, приводящей его на самые верхи власти, в окружение некоего не названного «шефа», в котором желающие могут угадать кого угодно — вплоть до президента (есть для этого и несколько характерных деталей в качестве намека). Герой чувствует, что старая возлюбленная не одобрила бы его нынешних патерналистских, государственных воззрений, его службы молоху государства российского. Но что тут поделаешь? Ничего не поделаешь, да и где она теперь, эта позавчерашняя любовь? А особняк на Рублевке — вот он, убедительной горой встает в финале рассказа.

В рассказе **Анатолия Клименко «Деляги»** («Москва», №11) рассказчик вспоминает, как он заделался коммерсантом. Крутился, вертелся. Типичная история 90-х годов. Автору путь героя отчего-то сильно не по душе.

С большим сочувствием к герою о мытарствах мелкого предпринимателя в те же 90-е повествует **Александр Мельников в рассказе «Пришлось попотеть»** («Москва», № 9). Человек-то Егоров хороший, но бизнес — totally криминален, и гарантий, что государство или мафия не придут и не отнимут последнее, никто не даст.

В рассказе **Асара Эппеля «Как мужик в люди выходил»** («Октябрь», № 9) нувориш-скоробогач изображен с комической стороны. Этакий московский господин Журден. Читает трактат Толстого «В чем моя вера». И смотрит через забор, разделяющий две усадьбы, на розовую жену еще более богатого соседа, разгуливающую в стрингах.

И коммерция, и любовь, и потеря памяти, и провинциальный упадок и бедлам, и куча мелких затейливых перипетий умело связаны в увлекательную историю **Алексеем Слаповским в романе «Синдром Феникса»** («Знамя», № 11-12). Герой теряет память и в несколько заходов, проваливаясь в беспамятство и выныривая из него, возвращает ее. А его тем временем подбирает хорошая, хоть и грубоватая русская баба... Слаповский — отличный беллетрист. Напрасно ждать от него глубины, но в очерковом регистре он умеет и панораму современной жизни изобразить вполне убедительно, и порадовать нетривиальным сюжетом.

В повести **Ольги Кучкиной «Мальчики + девочки = ...»** («Дружба народов», № 9) московский подросток попадает в крутой криминально-политический разворот. Его используют для того, чтобы подложить пакетик с наркотой депутату Госдумы. Честный парнишка пытается восстановить справедливость, но в итоге своего визита к ментам на Петровку — гибнет. Таковы нынче нравы: милиция не защищает, а губит. Повесть интересно придумана, хотя не всегда правдоподобна в деталях. Это современный рефлекс на позднесоветскую традицию условно-умозрительной прозы о подростках. Этакий Анатолий Алексин с прогрессивной социальной тенденцией в подоплеке.

Арсений Данилов в рассказе «Долгострой» («Октябрь», № 8) излагает историю-нескладуху, конечный смысл которой заключается, может быть, в

том, что в наше время на месте недостроенных онкологических центров появляются бордели, а подававшие надежды юноши становятся прожженными дельцами.

Геннадий Старостенко в романе «**На черной реке**» («Москва», № 12) повествует о нефтедобыче на севере России. Пестрая, разбросанная проза. У любимых героев автора болит душа: расхищается народное богатство, дерутся за него хищные западные акулы, а народу — фига с маслом. Так-то оно отчасти и так, но на такой нехитрой идее роман плохо держится. Тематический заход важный, исполнение же — довольно поверхностное.

Александр Дерюшев заведует отделением «Скорой помощи», и его небольшие рассказы под общим заголовком «**Зубы Рейгана**» («Москва», № 11) — это истории о вопиющих случаях из провинциальной врачебной практики. Микроочерки безумия и дикости.

Борис Евсеев в рассказе «**Живорез**» («Новый мир», № 9) изобразил южнорусский приморский поселок. Главный герой, крепкий старик, помнящий еще гражданскую войну. Тогда его принуждали к жестокости, и он, как ни отбивался, все-таки вынужден был выпить стакан человеческой крови, и сердце его надолго закаменело. Уже в постсоветское время этот старикан вступает на тропу войны с местной мафией. Рассказ построен прихотливо, но это едва ли идет на пользу художественной концентрации. Кажется, всей логикой ассоциаций Евсеев пытается обосновать единственную мысль, которую напрямую формулирует в финале: «*Смутный, полупрозрачный, с едва проступающими гранями веков и времен стоял, позванивал, дымился — как громадный, кем-то ополовиненный стакан человеческой крови — заносимый забвением и песками русский Юг*».

Андрей Горохов многословно живописует будни пришедшего в упадок городка в повести «**Семь дней до конца света**» («Москва», № 8). Главный герой, пожилой интеллигент Русанов, пишет книжки и скорбно наблюдает за общей деградацией среды и народа, пьянством и прочим непотребством. Меж тем местная пророчица предвещает близкий конец света.

Уходящий тип героя представил **Захар Прилепин** в рассказе «**Колеса**» («Дружба народов», № 10). Парень живет безо всякого смысла, работает могильщиком на кладбище, много пьет, без толку болтается и нелепо гибнет под колесами поезда. Рассказ от первого лица. Такой прозы немало случилось в последние лет 15. Сейчас же пустоголовые герои-шатуны из моды вышли... В деталях рассказ убедителен. У автора зоркий взгляд, хорошее перо.

В заметках о пьянстве «**Утопленная истина**» («Знамя», № 9) своими мрачными впечатлениями делится деревенская жительница из Коми **Елена Холопова**: «*Вишивый про баню. А я — о пьянстве. Не потому, что сама алкашка. Но мой отец умер от пьянства. Умер от пьянства мой бывший муж, с которым я развелась от страха за сыновей. Посмотрят на папу и тоже запьют — так думала я, молодая. Если бы все было так просто! Правильнее было бы не выходить за таких, как мой муж, но кто меня, глупую, убедил бы в этом? Алкоголизм — это река, впадающая в маразм и преждевременную смерть*». Спивается деревня. Спивается Россия...

Не только в упомянутом рассказе, **СЕНТИМЕНТАЛИЗМ** в прозе полугодия представлен довольно обильно и в самых разных проявлениях: настоя-

щее половодье текстов о маленьких людях с сильными чувствами. Так, трогательная история сентименталистского кроя рассказана **Владимиром Жуковым** («Крыш» — «Дружба народов», № 8). Старик живет за счет говорящего попугая, давая концерты в ресторанном заведении. Мафиозные завсегда-таи предлагают ему продать птицу. Но старик не может представить себе расставанья с другом и находит способ обмануть обнаглевшую гопотню.

Игорь Штокман в рассказе «Ужо и Авось» («Москва», № 8) изобразил не менее трогательную дружбу двух бомжей-побирушек. Начали врагами, а стали неразлейвода. Рассказ «Два озера» — воспоминание о хорошем соседе, надежном друге и трудолюбивом человеке. Обе истории кончаются смертью, такой уж у автора минорный настрой. Штокман — мастеровитый рассказчик, ему удаются сюжеты и темы, связанные с его собственной жизнью, а вот придумывает он слабее.

У воронежца **Леонида Южанинова** в рассказе «У роковой черты» («Наш современник», № 11) старик после инфаркта вышел на пенсию — и его тут же начали шпынять забалованные им жена и взрослый сын. Привыкли ведь жить на его доходы. Решил старик уехать из Москвы в деревню — умирать. Но по дороге его встретил сын оставленной в провинции первой возлюбленной, тепло приветил старикана, и ясно стало, что умирать-то еще рановато. Бесхитростная проза.

В близком регистре созданы рассказы москвички **Анастасии Ермаковой** («Дружба народов», № 9). Хорошие люди, не вполне удавшаяся жизнь, минуты счастья, минуты стыда... Старушки. Рассказчица, вспоминая то про свою детскую бессердечность, то про свою первую любовь. Гуманная слезинка на реснице...

В рассказе автора из Израиля **Юлии Винер** «Мир фури» («Дружба народов», № 11) довольно ветхая иерусалимская старушка Неля ухаживает за своей еще более древней и ветхой матерью Цилей. Устала уже ухаживать, а Циля все не умирает. Ну сколько ж можно? Уже и самой пора на покой... Подумали от старух и потомки и надумали отправить их в дом престарелых. И решила тогда Неля, что пора уже им с Цилей умирать — вместе. Грустно и трогательно.

Герой-рассказчик в повести **Михаила Бутова** «Мобильник» («Новый мир», № 8) со скупой мужской слезой вспоминает о погибшем друге по кличке Пудис. Пудис был личностью не такой уж яркой, но довольно колоритной, хотя бы потому, что не интересовался ни гламуром, ни курсами акций... Жил небрежно и широко. Подробнее всего описано путешествие друзей автостопом по Европе. Чувствуется знание материала, который, однако, выглядит гораздо живописнее, чем фигура Пудиса, бледноватая на общем фоне. Подпущены в повесть и рассуждения об износе Европы, вырождении ее, даже о, наверное, неминуемой гибели... А чтобы оживить повествование, в финале герой рассказывает, что опустил в гроб Пудиса его мобильник, а назавтра случайно набрал номер мертвого друга — и вдруг соединился с тишиной... Нерядовой эффект.

Омич **Сергей Прокопьев** пишет о бестолковых женщинах («Москва», № 11). В рассказе «Кукушкины башмачки» девушка из поселка на КВЖД легко бросает любимого парня, потом трижды выходит замуж, но забыть брошен-

ного друга не может. Она же, не послушав отца, уехала в СССР, где натерпелась всякого... Ну что за бестолочь?! В рассказе *«Сияла ночь»* — похожая история: тоже влюбленный парнишка отвергнут; тоже жизнь девичья потом не задалась; тоже случился отъезд, правда из современной России в Аргентину... Как все это бессмысленно и беспощадно!

Наталья Смирнова в повести *«Черт»* («Новый мир», № 11) представила двух подружек, которые друг без друга — никуда. Поссорятся — и помирятся. Одна к тому же предсказывает будущее и воюет с чертом. А вторая имеет роман на экзотическом острове со зрителем маяка Станко. Душистая дамская проза.

И еще **КРОССКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА АМУРНОЙ ПОЧВЕ**. В рассказе **Владимира Булычева** *«В войну голубей съедают»* («Москва», № 11) девушка-чеченка влюбилась в русского солдата-наемника и убежала с ним в глубинную Россию. Поженились. Преступила, получается, стрекоза заповеди Корана. Булычев склонен считать любовь вполне весомым аргументом для того, чтобы пренебречь религиозными условностями. Хотя он честно старается вникнуть и в логику мусульман. Вышел очерк пополам с публицистикой.

А у смолянина **Владимира Новикова** в рассказе *«Чернокожая история»* («Москва», № 7) сельская девчонка уехала учиться в Москву, а там закрутился у нее роман с негром из Ганы, и к новому году она вернулась домой беременная. Мать всполошилась: что люди скажут?! Но решительный отец девчонки отправляется в Москву: негоже превращать дочь в мать-одиночку, нужно привезти ей африканского мужа.

В рассказе **Владимира Курносенко** *«Разлучение в Эдеме»* («Дружба народов», № 7) при не совсем обычных обстоятельствах сходятся мужчина и женщина... И что-то такое начинает брезжить в их душах. Автор замечательно изображает робкое начало чувства на фоне унылой повседневности и общей грубошерстности бытия. Разве что герой у него на сей раз уж слишком, кажется, начитан и постоянно подкрепляет жизнь дословными цитатами из Писания. Но кто же скажет, что такое невозможно в принципе? Финал рассказа не идилличен. Герой отказывается от легкого (?) счастья с женщиной, которую, начитавшись индийских трактатов о любви, условно обозначил именем Кундалини. *«Еще немного, малую малость — и он, он себя знал все-таки, захмелеет от волнения, сделается дерзким, беспечным и глуповатым, и чтобы отрезвиться впрок, сберечь ум в истине, он подумал, принудил себя, что вдвоем с Кундалини, в дуэте, им будет веселей, уютней и лучше, но... но сами они от "защищенности" сделаются бесчувственной, как это случается у всех сытых. <...> Нет, подумал Плугатырев уже спокойней, не в эту сторону высвобождение — в другую, да»*. Религиозно мотивированный сентиментализм.

«Не случилось» и у героя эффектно написанного рассказа екатеринбургенки **Елены Соловьевой** *«Черная луна»* («Урал», № 9). Бойкий парень положил глаз на девушку Таню, — но... в финале сознал: *«мне нужно жить,.. у меня счастливый второй брак и трехлетняя дочь,.. за это счастье я долго боролся,.. дочь я люблю и люблю свою жену, свою интересную работу и своих приятелей, а Таня — это тебе не трах в ванной, это темная ухмылка судь-*

бы, черная луна, хвост вместо копчика, 33-й зуб, третья коренная раса, их скалообразные города из вулканического стекла, вместо крыши — радуга, сверкающие окна, обращенные в никуда, НИ-КУ-ДА, и долбаные коридоры в бесконечность». А в рассказе «**Вагнер**» продвинутой девушке Дуче скоро 27 лет, она перебивается случайными заработками: ди-джем в ночном клубе, рекламишей... «*Вчера Дуча отожгла в клубе до полной потери личности, и, в общем, ей совсем не кажется, что она — диковинная птица, в сапогах на шпильке и кожаных митенках, джинсы в обтяг и рубиновый глазок пирсинга блестит в пупке, а еще ресницы, как у Греты Гарбо, и в яркой дерматиновой сумке с номером 77 — «уши», шнур, дискета с недоделанным рекламным текстом (сроки безнадежно завалены), «Орбит» со вкрутом корицы и блокнот с котятками на обложке*... А еще Дуча мается хитросплетенным романом с гончишкой Дэном и в чем-то важном не уверена... Не нашла себя Дуча, ветерено в ее жизни, сквозит из конца в конец... Наконец, в рассказе «**Ночной траверз**» средних лет преподавательница вуза, замужняя кандидат наук, исповедует подруге: влюбилась в мальчишку-студента. «*Джинсы вытянуты на коленях, свитер — на локтях, в кармане — трава, уши заткнуты плейером, во рту — жвачка, тату на спине... Прелесть, какой безмозглый, зато в том, что касается рисунка, — очень талантлив, и нет в нем, знаешь, вот этой безнадеги, которой так и разит от тех, кому за... ну, на манер утреннего перегара, что ли, вне зависимости от того, что вчера пил товарищ <...> Язычки пламени на потасканной футболке, кеды раздолбайские и то, что за этим, за этим — городская шпана, осторожность лисы, потому что взрослый уже скулами и старыми глазами. Еще — сухой как лист, без запаха. Совсем. Даже сперма ничем не пахнет*». Весна, кафе, подружки вспоминают молодость, мужчин, — и им хорошо. Слог у Соловьевой яркий, она знает модный сленг и развлекает себя им, уверенно ориентируется в деталях молодежного быта и умеет убедительно представить своих героев.

Внезапное изобилие **ЛЮБОВНЫХ ПЕРИПЕТИЙ БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКОГО КОЛЕНКОРА** в журнальной прозе даже озадачивает. Вот и Олег Зайончковский бросил свой грошик в общую копилку. В рассказе «**Любовь после «Дружбы»**» («Октябрь», № 9) он поведал о двух парнишках, старшеклассниках, которые ночью отправились в пионерлагерь, попали в палату к девушкам-вожатым и провели там ночь. Один из парней не на шутку влюбился в девушку, с которой целовался. А мужская дружба от этого расстроилась.

Вошедший в фавор в толстых журналах Александр Иличевский в *нагорном* рассказе «**Ай-Петри**» («Октябрь», № 8) сочетает историю о любви и очерк странствий. Авторское предварение выглядит так: «*Читатель! Перед тобой рассказ о любви. Он берет свое начало на Памире и обрывается в Крыму, покрывая время разлуки. Гораздо больше, чем другие рассказы о любви, — он наивен, взвинчен и изломан чувствами. Автор просит у тебя снисхождения — и благодарит за возможность выговориться*». Герой — отщепенец посреди чужой для него советской эпохи.

Повесть Светы Петровой «**Ангел мой ненаглядный**» («Дружба народов», № 11) — наивный христианский лубок. Герои — паренек и девушка — любят друг друга, но почти не догадываются об этом. А вмешательство внешних сил и географическая удаленность героев друг от друга фаталь-

ным образом приводят к тому, что чувство остается нереализованным. Замысел страшно искусствен, умозрительность коллизии и ходульность персонажей очевидны. Да и не ясно, к чему же клонит автор. Кажется, к тому, что благочестие и послушание вещи хорошие, но нужно также внимательно слушать свое сердце, больше доверять ему и даже идти ему навстречу. Такая вот нехитрая наука, ради которой Петрова даже уходит в финале от благостного тона.

Алла Боссарт также отдает дань теме. Подборка ее **рассказов** в «Октябре» (№ 12) названа «**Любовный бред**». Один из героев — дефектный, непородистый жеребец Хлопчик, назначенный в табуне губернатором: его дело — разгорячить кобылу, а сливки потом собирают чистокровные жеребцы. Но однажды несчастный Хлопчик все-таки взял свое!.. В другом рассказе полубезумная женщина Кира вообразила, что некий (кстати, уже женатый) мужчина решил на ней жениться. И принесла на алтарь этой безответной любви огромные жертвы.

Рассказ Владимира Холкина «Сон и явь одинокого пассажира троллейбуса, дребезжащего ранним утром по пустынным улицам Петроградской стороны...» («Дружба народов», № 9) — поэтическая фантазия. В троллейбусе *он* и *она* встретились глазами, — и вот так прожили вместе целую жизнь... пока она не вышла на остановке и не свернула в подворотню, а он не опомнился — почему-то в вагоне поезда.

Рассказ Романа Сенчина «Персен» («Знамя», № 10) — про то, как юный клерк влюбился и что в итоге вышло, когда подруга не пришла на свидание. Сенчин, впрочем, не изображает движение чувств как таковое, а анализирует, как всегда, стандартные социальные реакции. Идея автора состоит в том, что офисные молодые люди подсели на искусственные стимуляторы оптимизма.

В рассказе **Андрея Кроткова «Вавилон»** («Октябрь», № 11) от деловой 35-летней женщины ушел мужчина, которому надоела ее заикленность на работе. Женщина пошла в кафе, где сидит за столиком и чиркает записки в жанре вербализованной истерики. Собственно, рассказ в основном из этого монолога и состоит.

Диптих Афанасия Мамедова «Хорошо, что только раз» («Октябрь», № 7) состоит из двух рассказов. В рассказе «**Бекар**» немолодой консерваторский профессор влюбился в студентку-пианистку. Немодный герой романтического склада не сразу поймет, что ему делать с этой внеплановой влюбленностью. Стечение прихотливых обстоятельств приводит к драматической развязке. Мамедов пишет выразительно, стильно, сочетая тонкость в психологических нюансах с цветистостью метафор, любовь к герою — с примесью иронии. Не весьма, в общем-то, значительная история в руках прозаика начинает дышать жизнью, производит яркий эффект. За этот рассказ автор получил казакскую премию «Нового мира». Рассказ «**Белый джаз в четыре руки**» — в параллель к первому — история любви молодой пианистки к своему партнеру, богемному, расхристанному таланту, который бросает подругу при первой возможности. А она остается, — *«и странное чувство, совсем непохожее на тоску, закралось в нее, ткнулось незнакомым косматым богом, согревая усталое от коктейлей, полутора пачек сигарет и короткой ночи сердце»*.

А в «Дружбе народов» (№ 10) **Мамедов** опубликовал *триптих* под названием «**Миллион птиц навстречу друг другу**». К рассказчику из Америки приезжает друг бакинской молодости, они встречаются в Одессе и Москве, пытаются воскресить безбашенно-богемный, фривольно-непринужденный стиль безответственной молодой жизни. Попойки, женщины, дуракавальняние... Эта проза выполнена свободнее и неряшливее, чем «диптих», но общий смысл «триптиха» ускользает от понимания.

Странна по замыслу повесть **Елены Габовой** «**И отец мой, и мама моя**» («Наш современник», № 11). Родители расстались, а девочка-подросток не хочет с этим смириться. Да еще и лучшего паренька в поселке в себя ненароком влюбляет. Повесть написана в манере подростковой прозы, но загвоздка в том, что юношеству она адресована едва ли. Скорее в ней заложено послание моралистического свойства к родителям, призыв думать о детях, прежде чем разводиться.

В гораздо более жестком развороте берет похожую историю **Анна Матвеева** в рассказе «**Твою мать**» («Урал», № 12). Мать старшеклассницы Светки брошена мужем и любовником — «Этим», как зовет его Светка. Женщина попивает, а однажды пытается вскрыть вены. И тогда Светка решает вернуть Этого маме — и заключает с ним контракт, отдавшись ему в его кабинете. Сюжет и манера — в духе давнишней Петрушевской.

Повесть **Юрия Петкевича** «**Ничья**» («Дружба народов», № 8) — история в фирменном стиле автора. Поток событий, по видимости объединенный сквозными персонажами, но не встающий ни в какую жесткую логику; намек на поэтическую, ассоциативную связь очевидно почти бессвязных происшествий из жизни старика Чуплякова, неутомимого ловеласа. Старик вроде бы решил собрать на даче всех своих женщин. Дача вроде бы ему не принадлежит, он лишь ее сторожит. Вероятно, все это не важно, поскольку отмечено печатью каприза и отдает каким-то сновидением. Но странно, эта бессмысленная жизнь — врасплох — трогает и тревожит. Забавно и то, что в прозе Петкевича возникают смысловые рифмы (неточные, глухие) с последней прозой Маканина о дачном дон-жуане старике Алабине.

Что же касается самого **Владимира Маканина**, то он в последних **рассказах** в «Новом мире» («**Нимфа**», «**Старики и Белый дом**» — № 9; «**Старость, пятая кнопка**» — № 10) меняет ракурс повествования о своем герое. Теперь автора более сфокусировано, чем прежде, занимает феномен старости как таковой: философия, идеология, психология старости, старческий эрос. Тотальный скепсис у героя Маканина знает только одно исключение: старика, как и прежде, вдохновляют женщины. Правда, к этому в новых рассказах иногда добавляется чувство солидарности героя с ровесниками, чья жизнь практически кончилась, кто способен только пассивно созерцать происходящее, ни во что уже не вмешиваясь. У Маканина, однако, получается, что современная жизнь и не стоит того, чтобы как-то в ней участвовать. Может быть, вообще любая активность и в любое время — только химера смысла. Единственная, беззащитная правда — в любви, пусть простыни ее и поизносились, пообветшали.

Душераздирающую историю поведал иркутянин **Михаил Прокопьев** в рассказе «**Коррида Рудникова**» («Москва», № 12). У банкира в автокатастро-

фе погибли жена и ребенок (корова переходила через дорогу и стала невольной причиной трагедии), и он начинает кроваво мстить хозяевам коровы. Всех перестрелял, старых и малых, на кого патронов хватило. Молодой автор как-то невнятен: то ли собирался живописать нравы богатых, то ли решил передать муки утраты и запечатлеть производное от них безумие...

Роман Солнцев в рассказе «Тулуп» («Новый мир», № 10) от лица рассказчика, *alter ego* автора, делится историей о том, как мазурики обокрали его дачу, в частности, унесли огромный бараний тулуп отца — память о прошлом, о родителях... Неприятный случай стал поводом вспомнить о былом, воскресить дорогие сердцу детали и подробности давней жизни. Воспоминания эти продолжены и в рассказе **«Бабушка с разноцветными глазами»**. Здесь главный герой — бабушка рассказчика, богобоязненная старушка в семье советских атеистов.

Повесть прозаика из Мюнхена **Людмилы Агеевой «Дом над озером»** («Знамя», № 7) имеет подзаголовок «скучная история». Это мелодрама из жизни богатых питерцев. Простофиля муж, хищная жена, младенец, купленный у недотепы-подружки... Происходящее увидено глазами художницы, которая подрабатывает в богатом доме, присматривая за старухой. В этом сволочном мире хорошие гибнут, а побеждают злые. Остается только уехать из России куда-нибудь, да вот — хотя бы в Германию. Умелая, психологически выверенная проза.

Рассказ уфимца **Игоря Савельева «Домик в чугунном загончике»** («Урал», № 9) — хулиганская игровая фантазия. Немолодая девушка Алла работает в музейчике, доме, где когда-то жила Крупская, а к ней приезжал Ленин. Влюбляется в прораба ведущей рядом стройки, воюет с непочтительной племянницей Земфирой, которая ночью тишком водит в музей френда и спит с ним на мемориальной кровати («*Что, Мишаня, нравится трахаться в ленинской койке?*»). Впрочем, все это не вполне всерьез: озорной сплав ветхого постмодернизма с литпопсой.

Иной раз озадачивают **«ИСКАНИЯ МОЛОДОЙ ПРОЗЫ»**. **«Миниатюры» Юлии Алехиной** («Знамя», № 9) — девичьи безделки. Кто-то вышивает гладью, а кто-то печет вот такие приятные на вкус текстульки: о безотчетной радости жизни, о любви к старым, привычным вещам, о детской плюшевой игрушке. Ну да, в мире так много страшного и подлого, что есть своя правда и в таком вот, по крайней мере надежном, опыте. Все-таки дебютный рассказ Алехиной «Андре Дерен» обещал больше.

Сродни алехинским игрушкам и новый пустячок от даровитого **Олега Зоберна — рассказ «Белый брат Каспара»** («Новый мир», № 9). Рассказчик там едет к любимой девушке, придумав случайный повод. Довольно тонко переданы его затруднения с выражением своего чувства: как в наш скептический век признаться в любви? Попутно рассказчик делится какими-то литературными пробами, которые выдают в нем очевидного графомана. Но Зоберн умнее своего героя, он нашел более убедительную манеру: голое письмо, состоящее из почти банальных констатаций, — как антипод пафосу, идейности, прямому выражению страсти. Выходит правдоподобно, по деталям придраться не к чему...

Нечто в том же роде предьявляет Зоберн и в рассказе **«Восточный романс»** («Дружба народов», № 11). Отслуживший срочную службу паренек

возвращается с другими дембелями в военном поезде домой. Простудился-заболел. Украли ненадежные флотские клешки из рюкзака. Шалая девчонка Верка бросила на него взгляд, а он и рад стараться. Но лишь на десять минут хватило его азарта, а потом он слез с вагонной полки, уступив девку случайному товарищу... Вопрос: к чему это все? Подозреваю, автор и сам не знает. Когда-то что-то похожее уже делал молодой Хемингуэй, — но, понятно, много лучше. Увы, беспаспортность и безыдейность Зоберна самодевулящи. Какой-то весьма поверхностный бред жизни, и только. Хронический дефицит драматизма, патологическое неумение и нежелание выходить на трудные темы превращают опыты начинающего, но заласканного критика автора в сугубый литературный факультатив.

Не весьма оригинальны по теме и исполнению и чем-то близкие прозе Зоберна **рассказы** другого начинающего прозаика **Александра Снегирева** («Знамя», № 7). Это уж вовсе пробы пера. В одном рассказе герой проводит день на избирательном участке в качестве наблюдателя. В другом приятель рассказчика делает обрезание в синагоге, чтобы получить сексуальный бонус. В третьем рассказчик везет на кладбище урну с прахом бабушки, по дороге расколов урну и просыпав прах. Что-то похожее уже много раз приходилось читать. Не нова и интонация спокойной, иной раз почти что циничной констатации происходящего (впрочем — правдоподобная). Подборку предваряет похвальный отзыв Евгения Попова.

В той же модной у молодых манере выполнены **рассказы Марии Ботевой** («Урал», № 9). Характерно уже название подборки — «**Так само**». Максимум констатации, минимум пафоса как залог новой искренности. Конечно, это еще полуфабрикат. Но, может статься, небесталанные Зоберн, Снегирев и Ботева когда-нибудь дорастут и до более глубокой, человеческой прозы.

А молодая **Анастасия Чеховская** в своих **рассказах** в «Октябре» (№ 10) сориентирована на гораздо более обычную беллетристическую традицию. Перепевы сентиментализма, с оглядкой на Улицкую, Петрушевскую, Толстую. В рассказе «**Картошечка**» мать всем жертвует ради подрастающего сына, даже старую актрису уморила, чтобы унаследовать от нее квартиру и съехать из коммуналки. В рассказе «**Индийские танцы**» местная дурочка любит индийские фильмы и ждет праздника и чуда. В рассказе «**Почитай мне сказку на ночь**» милая девчушка украшает жизнь одиноких старух. Рассказы сделаны уметь, но в принципе ничего особенного пока не обещают.

ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ. В серьезном рассказе Романа Сенчина «**Мы идем в гости**» («Дружба народов», № 7) сводятся на очной ставке искусство, полеты и драмы художественного творчества — и убожество провинциальной повседневности. Коллизия на сей раз предельно заострена: молодой живописец болен СПИДом, и про это знает весь северный захолустный городок. Герой становится изгоем. Попытка же выйти из вынужденного затвора кончается для него весьма печально... Искусство и наша жизнь несоединимы, это антиподы, разные планеты. Примерно таков вывод автора, не впервые обращающегося к этой проблеме, а на сей раз довольно беспощадно оценивающего современную жизнь в ее уныло-банальном течении (и умеющего эту скуку бытия передать). Есть в рассказе привкус надрывного романтизма. Но правильнее видеть тут прежде всего претен-

зию на социальное обобщение в масштабе России, по крайней мере нынешней — грубой, жестокой, некультурной, невежественной и дикой. Здесь царят хамство и тупость, здесь почти нет места ни духовной жажде, ни тонкому вкусу, ни простому милосердию. Таков суровый приговор писателя. Неслучайным эхом звучит в рассказе воспоминание о судьбе монахов, которые в 30-х годах ушли на дальний остров, скрываясь от победившего антихриста, да там и умерли, никому не нужные и всеми забытые...

На своем уровне, гораздо-гораздо наивнее, тему подхватывает **Сергей Козлов** в рассказе «**Бекар (becatte)**» («Наш современник», № 11). Музыкант-самородок из райцентра побеждает в конкурсах, но на него нападают отморожки-хулиганы, не поделившие с ним девчонку. Сломали парню пальцы: не стать ему теперь великим пианистом. Впрочем, Козлову важно акцентировать не египетскую тьму современной российской жизни, автор завершает рассказ чуть ли не на оптимистической ноте: девушка осталась верна герою, он сам намерен стать композитором, а один из нападавших на него парней раскаялся и доблестно воюет в Чечне. Так что все, быть может, к лучшему, по Козлову.

В ином повороте близкая тема возникает и в «**Фарфоровых затеях**» израильтянки **Дины Рубиной** («Дружба народов», № 7). Это записи разговоров журналистки со старой художницей, занимавшейся некогда росписью фарфора в Дулеве. Колоритные детали длинной жизни, снисходительная мудрость избыточного опыта — и в основе жесткое противопоставление искусства и жизни: *«...оглядывая знаменитую эпоху по имени Евгения Леонидовна Ракицкая, вам бы предложили очутиться вновь в каком-то ее периоде. Какой бы выбрали вы? — Дулево... — Потому что — работа, творчество?.. — Потому что — свобода... Неохватная внутренняя свобода. От мужа, картежника и гуляки... от свекрухи проклятой, от всей мутной крестной тяготы... Потому что — любили меня там, были там друзья, помощники, приبلудные звери... И какая-то была райская чистота души, рук и глины... Вечная первоизданность мира: глина... огонь... новорожденное Творение... Потому что в эти часы и мгновения ты — как Бог...»*

А у **Николая Веревокина** в повести «**Человек без имени**» («Дружба народов», № 11) художник-конъюнктурщик Удишев сбивает на своем авто бомжа, пытается сдать его в больницу, но там бомжа брать не хотят. Приходится поселить его у себя. Но тут бомж вдруг оказывается гениальным живописцем. И тогда Удишев присваивает авторство его работ... Веревокин исполнен критического пафоса. Но история довольно искусственная, не без фальши в деталях. Грань графомании.

НА ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ. Повесть Ильи Кочергина «**Сказать до свидания**» («Новый мир», № 7) — очередная вариация автора на алтайскую тему. Начинается она в интонации гайдаровского «Чука и Гека». Бабушка и внука едут навестить соответственно сына и отца, Андрея, уехавшего из Москвы на Алтай. Новые, необычные и интересные люди, новые впечатления... Но постепенно тема усложняется. Андрей мается пагубной склонностью к алкоголю. Бабушка-интеллигентка же размышляет о сыне и воспринимает его жите на Алтае как бегство от себя, от сложностей столичной жизни. Одна только девочка воспринимает мир, как прежде, наивно и оптимистично. В целом

повесть нужно понимать как новое, вероятно, уже самое последнее, расставание автора с алтайской темой, с соблазном буколической робинзонады.

В романе **Чингиза Айтматова «Когда падают горы (Вечная невеста)»** («Дружба народов», № 7) выведены два персонажа. Первый из них — снежный барс, постаревший, потерявший силы; он побежден молодым соперником, теряет подругу, уходит из стаи и прозябает в одиночестве. Второй — немолодой киргизский журналист Арсен Саманчин, когда-то популярный и влиятельный, а ныне, в «бизнес-эпоху», оказавшийся не у дел и испытывавший несколько раз унижительные поражения (от него уходит любимая женщина, его третируют в ресторане и т.п.) Параллель очевидна. *«Никто — ни человек, ни зверь — не мог знать, что предстояло им впереди. И не было, казалось бы, между их судьбами никаких связующих мотивов, никаких совпадений, но обстоятельства, в силу которых ничего не ведающие друг о друге существа, человек и зверь, оказались под оком одной и той же судьбы, уже вырывались в лонах их жизненных стихий. Чего не бывает на свете».* Разумеется, в мире людей не все сводится к борьбе за самку. Измена женщины мужчине выглядит как измена ее своему творческому предназначению, высокому искусству: оперная певица пускается в попсовую авантюру, заводит шашни с продюсером. Не удастся теперь переложить на язык оперы сюжет старинной легенды о Вечной невесте. Многословное повествование — анамнез тотального жизненного поражения. И если в мире природы естественный отбор — это закон бытия, то в человеческом мире это связано с упадком культуры, социальной деградацией. Искусство теперь не возвышает человека, а обслуживает его низменные потребности. *«Укутила Айдана на “Лимузине”, демонстрируя себя в прямом эфире всем телезрителям страны. А уж сколько денег лежало в багажнике того “Лимузина”! Но разве стоило упрекать ее за это? Кто не жаждал побольше занять, заработать, да еще и прославиться, — в общем, как упустить такую шоу-удачу! <...> Имеет право. Да, имеет право. Ну а ты, ты что скажешь, олигархоборец несчастный? Что у тебя есть, кроме писанины твоей? <...> Попрекал, ненавидел Арсен Саманчин сам себя за то, что доходил до такой низости, до зависти, дикарем обзывал... И упирался в тупик».* А тем временем в Киргизию приезжают поохотиться на барсов арабские принцы, и Арсен волей обстоятельств становится их провожатым-переводчиком. Так что двум героям-неудачникам суждено будет встретиться...

В дебютном **рассказе Алексея Торка «Пенсия»** («Дружба народов», № 7) таджикские старики в глухом ауле на исходе жизни вспоминают о прошлом и питаются робкими надеждами. Новые власти в Душанбе собираются прислать в аулы русских учителей, преподавателей русской литературы. Это навводит стариков на мысль, что, может быть, советские времена возвращаются, а значит, и пенсию им снова начнут платить. Но в финале надежде этой суждено рухнуть: начальство сменило политическую ориентацию, и в аул придет уже не русский, а турецкий учитель. Трагикомическая история.

Два **рассказа** писателя из Германии **Александра Хургина**, циклизированные присловьем **«Везде люди живут»** («Дружба народов», № 7), посвящены коллизиям из жизни русских мигрантов в Германии. Рассказ **«Четвертый сын Герхарда»** — о немце, немолодом уже пьянчужке, который регулярно меняет русских жен. Рассказ **«Бельский в тылу врага»** — о зацепившемся в Герма-

нии русском стажере, которого заклонило на мыслях о том, что тот или иной встречный-поперечный немец делал или мог бы делать в старозаветные годы Рейха. Хургин — писатель опытный, остроумный рассказчик, хороший наблюдатель. Не проза его едва ли претендует на что-то большее, чем анекдот.

В полной мере сказанное относится и к **повести Хургина из жизни евреев людей «Брунгильда и любовь»** («Октябрь», № 7). В анекдотическом регистре повествуется здесь о типичной современной немке: *«Рождена Брунгильда не для ненависти, а для любви. Для любви к кому угодно — к людоеду, антисемиту, диверсанту, а то и вовсе к Лопухнину. Извините за выражение»*. В приведенной цитате перечислены бой-френды Брунгильды, каждому из которых посвящена своя глава. Венчает историю сюжет о романе Брунгильды с русским: *«И бьет он теперь Брунгильду с той же регулярностью, с какой любит,— еженедельно. Ну, то есть не бьет, конечно, а поколачивает. Любя. Если что не по нем. А чего бы и не поколачивать, раз терпит она. Прикипев к нему всей душой, как простая русская баба или как банный лист,— не оторвешь»*.

Анекдотична и история, рассказанная **Шапи Казиевым («Пианино» — «Дружба народов», № 8)**. Дедушка продал на базаре баранов и купил на эти деньги пианино, чтобы любимый внук (по совместительству рассказчик) являл всему аулу свое искусство (которого, увы, в наличии не имелось). Масса сопутствующих комических обстоятельств.

В совершенно иной тональности выдержан **рассказ Александра Лобанова «Выпускной»** («Наш современник», № 11). Там злые румыны расстреляли в Приднестровье выпускников школы. Жуткий эпизод молдавско-приднестровского междоусобья.

О ПРОШЛОМ. В «Октябре» (№ 11) публикуются главы из книги **Игоря Волгина «Сага о Достоевских»**. Добротное, тщательное исследование. Как утверждает Волгин, *«все 500-летнее существование рода, к которому принадлежит автор “Братьев Карамазовых”, являет некое метафизическое единство, заключающее в себе еще не разгаданный смысл. Разумеется, Достоевский — главное скрепляющее звено в этой генеалогической цепи. Его предки, обитавшие на территории Беларуси, России и Украины,— часть той культурной и этнической общности, которая легла в основу общерусской ментальности. Его потомки разделили судьбу страны»*.

Алексей Варламов в историческом исследовании **«Звук лопнувшей тети-вы»** («Москва», № 9-10) подробнее анализирует проблему Григория Распутина. Для себя он *«попытку объяснить, зачем в который раз писать о Распутине и привлечь внимание к человеку, окруженному болезненным ореолом и вызывающему, как правило, очень специфический интерес»*, мотивирует так: *«Дело не в моральных свойствах Григория Распутина, не в достоверности слухов о проститутках, которых он брал или не брал на Невском проспекте, и даже не в походах в баню с женщинами в селе Покровском; дело также не в том, каковы были намерения Распутина, стремился ли он стать заступником или разрушителем, был ли сексуальным гигантом или, напротив, импотентом, как сияется доказать новейшие исследования, и даже не в том, достоин ли он церковного прославления как оклеветанный старец или заслуживает анафемы наряду с Отрепьевым и Пугачевым. Дело не в личности*

Распутина, о которой судить невозможно, ибо она затерта, размыта количеством подложных свидетельств и вымышленных показаний и мемуарным, эпистолярным и дневниковым потоком, где один документ отрицает другой, дело — исключительно в той объективной роли, какую этот человек сыграл в истории нашей страны независимо от своих личных пристрастий и свойств, и об этой роли можно и нужно говорить и писать прежде всего». С одной стороны, Варламов клонит к тому, что «Распутин был по отношению к юродству и святости примерно тем же, чем ложный белый гриб к грибу настоящему. Или, вернее, даже очень возможно, настоящим белым грибом, который по каким-то причинам мутировал и стал ложным». Но увлеченность Распутиным он объясняет причудливым сочетанием в этой личности низких и высоких качеств. Роковая роль Распутина в судьбе России, по Варламову, окончательно обозначилась после того, как иеромонах Илиодор распространил письма царицы и великих княжон к Распутину. Мистический трепет царицы получил в обществе элементарную трактовку. «Россия прочла эти строки, и по стране пошел гулять слух, что «Гришка» живет с царицей. По сути, это было начало конца. После этого царскому дому, а значит, и всей империи было не устоять».

Почти незнаваем в своих **рассказах** в «Октябре» (№ 10) **Андрей Геласимов**. Его рассказы — это истории времен раннесоветских, из жизни казачьего забайкальского села Атамановки. Так сказать, легенды былых времен. Исторические казусы. Колоритные, необычные герои, затейливые перипетии. В рассказе «**Контрабандист Брюхов**» упрямый мужик ищет канувшее в тайге золото, когда-то в гражданскую украденное из читинского банка, и на спор с советской властью ведет контрабандные дела. В рассказе «**Митькины частушки**» амбициозный пацан пытается самоутвердиться среди взрослых парней. А в рассказе «**Куда пропадают отцы**» он уже подросток, но стал еще более дерзким, хулиганистым — и постоянно попадает из огня в полымя, прибываясь к бандитско-партизанскому отряду. Если чего и нет в новой прозе Геласимова, так это большого, существенного смысла.

«**Подвижник**» **Владимира Десятникова** («Новый мир», № 12) — очерк об архитекторе-реставраторе Петре Барановском. Автор называет его своим «духовным наставником». Хороший очерк портят мелкие неточности («мятеж» 1918 г. в Ярославле не был «эсеровским»; одна из остановок экспедиции по Северу называется Чухчерема, а не Чухченема, и т. п.).

Прозаик из Сыктывкара **Петр Столповский** в повести «**Волк**» («Наш современник», № 11) живописует довольно дикие нравы советской деревни 30–40-х годов. Моральные тормоза спущены, и именно на этом фоне появляется главный герой повести, который годами изощренно мстит сопернику, когда-то уведшему у него невесту. Автор не может смотреть на это безучастно и в финале поучительно наказывает негодяя.

Во врезе к своему рассказу «**Убит на переправе**» («Знамя», № 8) **Борис Иванов** извещает, что рассказ написан в 1965 — 1966 годах и входит в цикл, общая задача которого — лучше разглядеть в войне лица людей. «Страна жертвовала миллионными армиями ради победы. Немногие оставшиеся в живых вернулись домой с психикой, потрясенной этим жертвоприношением. Мы никогда не узнаем, был ли их страшный опыт благотворен в годы мирной

жизни страны, чей дух был уже подавлен эпидемиями тотального насилия». Странная история о людях, травмированных своим и общим военным прошлым. Немалых лет приезжий мужчина навещает женщину и ее сына, чтобы рассказать, как погиб на войне (вполне нелепо) их муж и отец.

Альберт Иванов в повести «**Старая немецкая сказка, или Игра в войну**» («Новый мир», № 8) рассказывает от первого лица о мальчишке, который вместе с мамой поехал сразу после войны в Германию, к отчиму, служившему в советской военной администрации. Детские впечатления, дурацкие шалости, общий тон жгучей ненависти к немцам и стремление всякими выходками показать, кто тут победитель... Автор смотрит на все это сквозь бездну лет снисходительно, мы же вправе, наверное, сказать, что художественно эти рефлексы мстительной радости Ивановым не осмыслены, непосредственно его герою вообще-то не за что мстить немцам, он скорее пользуется ситуацией, получив в личное пользование победу, завоеванную взрослыми... Было бы, наверное, точнее назвать текст не повестью, а воспоминаниями.

Повесть Анатолия Приставкина «Золотой палач» («Октябрь», № 11) — о жестоком моральном поединке в детской колонии середины минувшего века. Беспощадный мир глазами мальчишки, выбирающего между жизнью и смертью. Убедительная проза в характерной для Приставкина манере бесхитростно-органичного повествования.

А Лев Трутнев, не удовлетворенный публикацией в «Сибирских огнях» своего романа (вероятно, с лирической подоплекой) о сибирском мальчишке-правдолюбце и его мытарствах, заново публикует главы из него в «Москве» («В поволоке», № 11). Проза неплохая, так что можно ее и еще где-нибудь, в каком-нить журнале, тиснуть.

Текст **Андрея Ильенкова «Солдат Шумякин»** («Урал», № 7) имеет подзаголовок «*игрушечный роман*». Большая его часть — будни армейской службы, описанные в манере анекдота. Оно было бы, возможно, и интересно, но не в таком же объеме! Получилось однообразно и затянуто. Автор пытается усовершенствовать повествование, вводя в него игровые элементы, аллюзии... Выходит не слишком убедительно.

МЕМУАРЫ, АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ, ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ. Рассказ **Георгия Давыдова «Мастер зимних пейзажей»** («Знамя», № 12) — воспоминание о детстве в московском переулке, о снежно-зимних днях, о рифме зимы и эпохи, о книгах, донесших след досоветского времени, о малых голландцах. Нечто в манере шмелевского «Лета Господня», но без религиозного нажима.

Театральный художник **Эдуард Кочергин** во второй части автобиографической трилогии, «**Проволочные вожди**», продолжает увлеченно вспоминать о военном детстве («Знамя», № 9; первая часть трилогии «Козьявня палата» была опубликована в «Знамени» в 2005 году). Мальчонка убежал из детприемника в Сибири и пустился в скитания в намерении вернуться в родной Ленинград на пару с встреченным в дороге дружком Митькой. Кочергин пишет с чувством, умея передать дух и пафос того сурового времени. Колоритных деталей эпохи здесь не меньше, чем было в первой части.

«**1962. Послание к Тимофею**» **Александра Архангельского** («Знамя», № 7) — автобиографическое повествование, начиная с момента рождения.

Обстоятельства семейной жизни связываются с обширно прописанным историческим фоном, где отмечены ключевые, с точки зрения автора, эпизоды. Сопряжение не всегда органическое, иногда его и вовсе нет. Дело тут в том, что взгляд автора на прошлое определен его миросозерцанием, сложившейся системой ценностей христианско-либерального характера. В итоге получились записки умного, тонко чувствующего, наблюдательного очевидца и реставратора прошлого. Вот фрагмент об известном современнике: «В редакцию газеты, где я служу некоторым начальником, закомплексованной развалочкой незаслуженного хозяина входит новый президент. Невысокий, глаза затаились, нос уточкой. Чем-то он похож на героя фильма “Калина Красная” в исполнении Василия Шукина — в той сцене, где освободившийся разбойник устроил издевательский вопрос родителям невесты. Та же напряженная цепкость во взгляде, те же недоверчивые скулы, та же скрытая усмешка и жилистый напор крепко сбитого русского мужичка. Разве что нет шукшинского обаяния, но не всем же дано. Он идет по красной дорожке, на стенах серая мозаика: декреты о свободе печати, цитаты из Владимира Ильича, шелк-шелк-шелк корреспонденты, гур-гур-гур приближенные лица, пятаются задом операторы, пахнет испуганными подмышками, все подчеркнуто улыбаются, на лицах написано счастье<...>И вот начинается главное. Разговор за столом в узком кругу. Игра в заинтересованные вопросы и содержательные ответы. Дают ли хоть какое-то представление о происходящем отправленные тебе кадры (попробуй, кстати, распечатать; говорят, качество улучшается)? Приглядишься. Перед тобой — очень четкий, однозначный и однозвучный, абсолютно закрытый человек; прежде чем говорить, опускает равнодушный взгляд и внезапно вскидывает его на собеседника. Пробивает. Если собеседник пугается и отводит глаза, чуть презрительно улыбается. Если нет — смотрит не мигая, без мимики, чуть опустив голову, исподлобья. Ум острый, память неистощимая. Все цифры приводит с ходу, помощники сидят без работы и ласково, по-китайски, кивают на каждое слово вождя. Особенно этот, который слева, на снимке чуть смазан<...>Но вот идут вопросы посложнее. Какая идея способна объединить разнородную Россию? Зачем вернули советский гимн? В какой стране будут жить наши дети? Острый и холодный взгляд стекленеет, гаснет, презрительная скука на лице, ответы короткие, общие слова скользят поверх сознания. Экономический рост. Прошлое величие не вычеркнешь. В демократической. Наша национальная идея — патриотизм. Ему становится неинтересно. О чем говорить, когда не о чем говорить? — так бормочут на все лады актеры, создающие иллюзию бурного шума на сцене. Он бросает короткий взгляд на часы. Помощники чувствуют спад, комкают финал, торопят прощание. Помнишь мой рассказ о Ельцине перед Чечней? О скудном уме и мощном нюхе, об охотничьей стойке перед опасным прыжком? Я тогда не произнес ключевое слово: царь. Самодур и милостивец, великий и мелочный, поклонник воли и раб страстей. Из-под его советской шелухи временами проглядывал русский лик, а потом опять скрывался под складками партийного жира, и опять проглядывал... Ничего этого сейчас нет и в помине. <...> Расхлябанной походкой закомплексованного вождя гость удаляется по красной дорожке. Умный, маленький, некрасивый, скучный, плоский, как экран, на который можно спроецировать любое ожидание. И при

этом обожаемый большинством. Так не любили ни Ельцина, ни Горбачева, разве что поначалу; говорят, Сталина боготворили еще более страстно, еще более лично, но тут мне трудно судить, я родился в другую эпоху, при ненавистном народу Хруще. В чем, как вы теперь говорите, фишка? Не знаю. То ли в нем полюбили жукинскийское, народное, упорное начало. То ли он просто никакой, как нынешняя страна, которая двадцать лет назад хлынула пеной на волю и на лету застыла в ледяном промежутке. Он делает историю, но сам живет за ее пределами, вот какой парадокс. Ему скучны высокие материи будущего и легко обсуждать детали настоящего, как на семейном совете, при свете кухонной лампы, где мать с отцом слюнявят химический карандаш и намечают разблюдку завтрашней зарплаты».

«Мой изумрудный мир...» Чингиза Гусейнова («Знамя», № 8) — вяловатые воспоминания о людях и нравах советских времен. *Метор-портреты*, по определению автора. Московские персонажи, литераторы известные и уже почти безвестные: Виктор Урин, Алик Штротас, Назым Хикмет, Павел Антокольский, Иосиф Гринберг.

Литературовед и переводчик **Борис Грибанов** вспоминает в «Знамени» (№ 9) о друге-поэте Давиде Самойлове (**«И память-снег летит и пасть не может»**). Личная жизнь маститого стихотворца, его увлечения, привычки, шутки-прибаутки, литературное окружение... Хорошая память на мелкие детали. Наверное, нужны и такие мемуары, представляющие лирических гениев в домашних шлепанцах, а то и в нижнем белье и даже без него.

Евгений Попов представил очерк **«Италия под ледяным дождем»** («Вестник Европы», № 16). Хроника путешествия: Флоренция — Болонья — Форли — Пиза — Рим — Пескара — Москва. Хроника случайностей. «Здесь же я убедился, что персонажи преследуют писателя всегда и везде. Поскольку героями многих моих произведений являются маргинальные и романтические личности, один из официантов, обслуживающих нашу ученую компанию в маленьком кафе, на моих глазах опился хозяйским вином и орал, выйдя на улицу покурить и соблазняя своими речами многочисленных туристов: “Мне шестьдесят четыре года. Я пью, курю, жру, сколько хочу, и знаюсь с девочками. А мой папаша не пил, не курил и помер в 46 лет”».

Майор милиции **Дмитрий Кулаков** рассказывает о своей командировке в Чечню в контексте «антитеррористической операции» (**«Грозный в 2001 году»** — «Урал», № 10). Подробный, монотонный хронометраж. Взгляд рядового милиционера на ситуацию: «Хмелеву, который стоял на посту на КПП, местная журналистка дала листок со стихом — опус о том, что у чеченского мальчика Мансура русские убили папу и вся семья плачет. Идет перечисление — Мансур плачет, Ваха плачет, Зейнаб плачет и т. д. Она спросила, не взволновали ли его эти стихи и, получив ответ, что нет, стала кричать: “Как нет! Вы же оккупанты!” Проходящая мимо баба стала баззть: “Нечего с ними разговаривать, их уничтожить надо!” Вечером читаем в газете статью о том, как боевики режут головы нашим солдатам. Мы в бессильной злобе полны решимости перебить всех нохчей поголовно. Пьяный Давлет начинает было дискуссию, что не надо всех поголовно чеченцев считать бандюгами, подлежащими уничтожению. Коллектив возмущен его позицией. Его чуть не побили и силой укладывают спать».

В необычном для себя жанре отметился **Андрей Волос**. В «Новом мире» он публикует обширную книгу *соответствий* «Алфавита» (№ 7-12). Немудреные записи рассказчика о своей жизни, о случаях, анекдотах и казусах разного рода выстроены по алфавиту заголовков (где-то у кого-то такое уже было лет пять назад). Взгляд Волоса на мир — взгляд гуманиста и скептика, юмориста, — но не циника. Текст предваряется следующим предисловием: *«Автор, самонадеянно потищившийся описать жизнь в алфавитном порядке, отдает себе отчет в том, что большая часть сей хаотической книги выглядит неправдоподобно, а подчас и просто нелепо. Вряд ли эти истории достойны прозвучать даже в компании самых неприятных слушателей. Будучи же вынесены на всеобщий суд, они не могут не вызвать единодушного осуждения. Алфавитное расположение статей и наличие перекрестных ссылок в тексте способно сбить с толку разве что самого простодушного и неопытного читателя, который, возможно, купится на эти наивные ухищрения. Сколько-нибудь опытный и разумный человек сразу скажет, что энциклопедическая форма носит совершенно искусственный характер и ни в коем случае не устраняет того ощущения необязательности, что остается после ознакомления с содержанием этого труда. Я согласен: единственное, что оправдывает его существование,— это отсутствие хоть какой-нибудь выдумки»*.

О том — о сем пишет и **Александр Жолковский** («Through a Glass, Darkly, или 20 вишенок о нелюбви» — «Новый мир», № 10). Правда, гораздо короче. Это и околофилологические воспоминания (незабвенный филфак МГУ 50-х годов), и авторская летопись пересечения государственных границ («погрантэюды»), и наблюдения над автоматизмами жизни... Качество смыслов в этих заметках разное, жанр позволяет выгодно преподнести любую банальность и житейскую мелочь. Чем автор и злоупотребляет.

«**Танго пеларгония**» молодого казанца **Дениса Осокина** («Октябрь», № 11) — книга миниатюр. Принцип здесь — максимализация впечатления. Одаренный, капризный эстет этот Осокин, как давно про него известно. Баловник в прозе. Наблюдательность, впечатлительность, острое чувство жизни, поверхностное ее понимание, ничтожная глубина вспашки. Пример: *«У меня есть можжевельниковы четки. Их звенья — веселые круглые шары. Я купил их чтобы нюхать. Комкаю в кулак — и подношу к носу. Чудесный способ общения с богами. Попробуйте!»*

ВЫМЫСЛЫ. Ноябрьская книжка «Знамени» представляет целый блок произведений, главной отличительной чертой которых является вымысел, странный сдвиг, гипербола и прочие отступления от реальности — «*Ultra-fiction*». Скажем, в рассказе «параистории» **Владимира Скребицкого** «За селеньями» никаких глобальных потрясений XX века, как можно понять, не случилось, а основные их фигуранты (Троцкий, Ленин, Гитлер, Джугашвили) и почему-то Арсений Тарковский) мирно общаются, тихо дружат и ведут душепоспасительные разговоры. **Герман Садуглаев** («Илли») придумывает чеченский эпос. **Марина Вишневецкая** во фрагменте романа «Небесный меч» фантазирует на тему славянских мифов (изобретая их на ходу). **Анатолий Королев** в рассказе «Коллекция пепла» придумал загадочного коллекционера, который в присутствии рассказчика сжигает найденные им рукописи-раритеты. **Георгий Нипан** в рассказе «Улыбка пингвина» придумал исто-

рию о том, как почему-то пингвин оказался в русской глубинке — и к чему приводят встречи с ним рядовых обывателей. Рассказ, кстати, остроумный и красивый (много лучше, чем **рассказ** того же автора **«На крыльях стрекозы»** в «Дне и ночи», № 9-10). А в **рассказе** Ольги Волозовой **«Зыбарик»** школьница забеременела от какой-то призрачной нечисти и произвела на свет странное существо. **«Элизиум теней-3»** **Николая Якимчука** — остроумные этюдики о великих (случайный набор: Ломоносов, Декарт, Сведенборг, Гоген, Пикассо, Миро, Дитрих) — для глянцевого издания. **«Мысли о заведомо ложном»** **Фигля-Мигля** — исповедь мифологического волка из свиты Аполлона, комическая профанация греческих легенд, неяршильная смесь античного с нижегородским. **Рассказ** **Олега Хафизова** **«Последний читатель»** — антиутопия на заданную тему. Еще одна антиутопия, **«Апокалипсис Ку»** **Василия Голованова**, — про конец света как результат мелких технических сбоев и человеческих промашек. Органично в состав этого номера вписывается **статья** **Дмитрия Тренина** **«Россия в мире 2017 года: контуры либеральной внешней политики»**. Солидный исследователь, как можно догадываться, забавляется здесь, сочинив маловероятную возможность торжества либерализма в сознании и практике российского государственного режима через 10 лет. А **Александр Храмчихин**, напротив, настроен пессимистически и в жанре политологического сценария (**«2017-й»**) описывает, как территорию и ресурсы России поделят между собой Китай и США.

У **Анны Мазуровой** в **рассказе** **«Остров»** («Знамя», № 10) мать с двумя маленькими детьми попадает в результате кораблекрушения на южный остров, где обитает некое дикое, первобытное племя.

Любят вымыслы и в «Октябре». Журнал в № 8 публикует *главы из поэмы* **Дмитрия Быкова** **«ЖД»**. Автор делится сначала рядом соображений: *«Эпическая поэма — своего рода паспорт нации, ее самоопределение. У истоков каждой нации стоит эпос, чаще всего на две темы — война и странствие <...> Эпическая поэма — национальный символ веры: <...> нация в ней объяснена. В ней же заложены основные фабулы и повествовательные приемы, которыми национальная литература будет потом питаться не одно столетие <...> Русская национальная поэма, — кроме величайшего в нашей литературе незавершенного образа, оставленного Гоголем, — до сих пор не состоялась». Она, продолжает Быков, «была невозможна именно из-за мучительной двойственности самого русского характера и русской государственности, из-за несовместимости двух ликов России и непроявленности третьего, настоящего. Об этом я и написал поэму “ЖД”, которая не претендует сформировать нацию. Это скорее попытка объяснить, почему нация до сих пор не сформирована. Поэма о двух национальных характерах — варяжском и хазарском — и о том, почему третий, истинно русский, не спешит формироваться. Главная проблема книги — сознательный отказ коренного населения от истории, своеобразная версия исторического бессмертия. Главные темы “ЖД”, как положено, — война и странствие. Война идет между варягами и хазарами за главную спорную территорию — Россию — и происходит в недалеком будущем. Сюжет вертится вокруг четырех странствий<...> Все четыре странствия пролегают через две главные русские деревни, два российских сельских архетипа: деревню Жадруново, где никогда*

ничего нет (и все исчезает), и деревню Дегунино, где всегда все есть. Именно в Дегунине расположены две главные национальные святыни — печка и яблонька». «Октябрь» публикует первую часть романа — «условно-варяжскую». По поводу названия Быков пишет: «Нет обязательной для всех расшифровки названия — “ЖД”: железная дорога, жесткий диск, жаркие денечки, жирный Дима, жуи давай, жуткая дрянь, жалко денег, живой дневник, Живаго-доктор. Я придерживаюсь варианта “Живые души”». Реально в наличии антиутопия, стилизованная под стандарт большеформатного панорамного романа. Чтение не самое увлекательное.

Станислав Иванов в рассказе «Лейтенант Осуги: поэт и авиатор» («Октябрь», № 9) выдумал историю о японце, который был летчиком во время Второй мировой, писал стихи, самолет его потерпел крушение, а сам он стал робинзоном на необитаемом острове. Остроумно и с хорошим знанием материала.

Михаил Левитин в повести-небылице «Лжесвидетель» («Октябрь», № 10) виртуозно фантазирует на тему, придуманную жизнью: нацистские вожди собираются переселить всех евреев на Мадагаскар.

А рифмующийся в прозе года с повестью Левитина текст **Александра Мелихова** «Биробиджан — Земля обетованная. История одной грезы» («Октябрь», № 12) — это очерк, посвященный известному проекту поселения евреев на советском Дальнем Востоке. И ничего примышленного автором здесь нет.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

В. «Звезда», «Нева»

(второе полугодие 2006 г.)

Литературное полугодие отмечено несколькими любопытными произведениями, анализирующими недавно ушедшую переломную эпоху.

Маленький печальный роман Владимира Кавторина под заглавием «Хотелось счастья» («Нева», № 10) — страшноватая история женщины, на которую беды сыплются, как горох из дырявого мешка. А уж как ей в молодости хотелось счастья — ослепительного, нескончаемого, бурного! И все для него у нее как будто было: и красота, и ум, и обаяние, и умение зарабатывать деньги. Вот только судьба словно издевается над ней. Любимый человек оказался явно не от мира сего: художник, денег не зарабатывает, то и дело впадает в отчаяние и убегает из дома неведомо куда. Со вторым тоже не заладилось. Правда, сейчас есть у нее взрослый сын. Но какой! С детства больной и изнервленный, наблюдавший постоянные родительские ссоры, став взрослым, он спивается и попадает в тюрьму. А выйдя из нее, без конца тиранит мать, отнимая у нее деньги и грозя убить. Словом, такой жизни не пожелаешь лютому врагу. Главное же, героиню терзает давнее преступление: когда-то она выгнала из квартиры, купленной на собственные с величайшим трудом заработанные деньги, своего спившегося брата. Его, замерзшего, с лицом, облепленным крысами, потом нашли на улице. И теперь ей кажется: все беды пошли именно оттуда, от этого не отмоленного греха. Но и сейчас в героине, уже немолодой женщине, работающей сиделкой, бродит

не остывающий жар — все та же жажда урвать хоть кусочек счастья. Сейчас радость ее в одном — оторвать в «секонде» какой-нибудь красивый сарафанчик, какую-нибудь необыкновенную блузочку и к ней изящный шарфик...

А повесть **Николая Кузьмина «Там, где скверное эхо»** («Нева», № 12) рассказывает о любви настоящей и к тому же счастливой. Дело происходит в начале оттепельной эпохи. Где-то в дальних краях в исправительно-трудовом лагере отбывает десятилетний срок герой, молодой шофер. Статья, правда, у него уголовная: по пьяному делу угодили под колеса его грузовика два мужика, — один погиб сразу, другой остался инвалидом. И все-таки в его нескладной жизни герою сказочно повезло: есть у него Зина, невенчанная жена, в прошлом военная сирота, детдомовка, хлебнувшая горя одинокая мать с ребенком, которую герой всем сердцем полюбил и пригрел. И она в долгу не остается: в обстоятельствах почти безвыходных, когда в лагерь ее не пускают (ведь нет у нее свидетельства о браке, а фотокарточки, которые она сует начальству, — не документ), она все-таки, всеми правдами и неправдами, добывается своего. И согревает любовью и бесконечной лаской лагерную жизнь любимого. История вроде бы рождественская, но автор счастливо сумел избежать сентиментальности.

Несколько странное впечатление оставляет повесть (хотя, возможно, это и роман) **Ксении Кривошеиной «Недоумок»** («Звезда», № 10). Герой ее — некий Шурик, сын какого-то не названного, но известного актера и внук страшноватого деда-сталиниста. Носит героя по свету некая сила, уводит от жены и дочери, женит на бессовестной и пройдошливой особе... А что сам Шурик? Он вроде бы и не вовсе бездарен: средненько играет что-то псевдорусское-псевдовысоцкое на гитаре и так же средненько поет, — вот только абсолютно безволен. Вокруг Шурика мелькает немало разнообразных персонажей, возникающих в повествовании и по непонятным причинам вдруг пропадающих бесследно, — все это люди с судьбами непонятными и недоговоренными... Собственно, даже и неясно, что же должно попасть в фокус повествования. Быть может, бегство Шурика с женой за границу в поисках, как он там объясняет, «политического убежища»? Но эта самая «заграница» почему-то изображается так, будто автор нарочно ставит себе патристическую задачу доказать, насколько *дома* лучше, чем на недоброй чужбине. Впрочем, Шурик с супругой не пропадают и на чужбине: обворовывают двух гостеприимных стариков-парижан, какую-то дальнюю свою родню... В конце концов ловишь себя на мысли, что как-то не очень хочется разгадывать потаенный смысл этого не очень внятного сочинения.

Елена Тахо-Годи в «Звезде» (№ 7) заканчивает начатое ранее талантливое лирическое повествование «**У мирного порога моего...**», хронику жизни потомственной интеллигентной семьи. Ситуация, обрисованная в заключительной главе, глубоко трагична. Умирает дядя рассказчицы дагестанец Мурат — бывший фронтовик, артиллерист, клейменный некогда сыном «врагов народа», хороший человек с исковерканной судьбой. Все сумел вынести Мурат, не вынес только смерти жены и единственного сына. В сущности, история, рассказанная Тахо-Годи, — о том, как все мы *не готовы* к несчастьям, к болезни, к смерти. Как беспомощны перед ними. *«Мы, — пишет автор, — все время готовимся к жизни, к завтрашнему дню, никогда не думая, что этот*

день может обернуться катастрофой или стать последним». Рассказчица, молодая женщина, как только может старается облегчить дяде Мурату последние его часы. Она то ласково причитает над ним, то, вопреки запрету врача, пытается умирающего напоить. Ведь мука-то, наверное, какая, — молча, не имея сил даже вымолвить словечко, страдать от жажды. Запрет врача?.. «*Лусть*, — думает она, — *когда придет его собственный час, ему так же откажут в глотке воды, в том последнем глотке, о котором с такой страшной простотой писал Лесков в «Несмертельном Головане»*...» Перед уходом дяди Мурата в вечность его, мусульманина, крестит, нарекая Михаилом, православный священник — единственный в больнице, кто видит и чувствует в умирающем личность. Всем другим здесь дело главным образом до мелких либо покрупнее подачек: не дашь — и дорогого тебе человека в многолюдном коридоре уложат, и обезболивающего укола не сделают... Грустно, тяжко, больно.

Повествованию Тахо-Годи тематически близка **повесть Галины Большаковой «Сумасшедшие дети»** («Звезда», № 9). И там, и здесь — жуткая больничная обстановка, где человек — на последнем месте. Небольшая повесть выдержана в стилистике купринской «Ямы». Несомненно, сделано это преднамеренно. Потому что советская «психушка» для детей (дело происходит в 1967 году в ленинградской больнице для девочек подросткового возраста) — именно что «яма». Конечно, кого-то здесь действительно лечат, но кого-то попросту сбывают из детдома, поскольку ничье дитё заведомо никому не нужно и ждать от него адекватного поведения не приходится. А значит, здесь ему и место. Есть тут и избалованная девочка, хитростью увезенная из дома новым мужем матери, есть и сирота, которую на время, — как котенка, поиграть, — берет к себе домой студентка, с тем чтобы, наигравшись, вернуть в больницу. Хороши тут и врачи, и местная «обслуга». Одна из докториц срывает на несчастных девочках досаду на неудавшуюся семейную жизнь, а злющая нянька только и ждет, чтобы кто-то из детей «сорвался» и впал в неистовство. Уж тогда-то непокорную девчонку заколют аминазином чуть ли не до смерти!.. Автор не углубляется в психологию своих героинь — будущих женщин и матерей. Их судьбы только пунктирно прочерчены. Но впечатление все равно ужасающее. У этих больных или доведенных ненормальной жизнью до болезненного состояния детей — никакой защиты. Да они ее и не ждут. Им, за редким исключением, никто не сочувствует, их некому жалеть. Ничего не скажешь, довольно острый срез отечественной жизни...

Условный мир с условными, однако весьма узнаваемыми персонажами воссоздан в гротескной **повести Бориса Дышленко «Жернов и общественные процессы»** («Звезда», № 8). В этом мире, например, старинное «гой еси» значит «ты не еврей», — именно таким приветствием обмениваются единомышленники-патриоты. Там же издается «Генеральная газета», сетующая в числе прочего «на недостаточное изобилие (! — Е. Ш.) патриотов в государстве». В общем, ясно. Только немного утомительно. Герои-марионетки почти не задерживаются в памяти: промелькнул парой-другой фраз — и улетят навеки в неизвестность. В этом и кроется смысл их существования.

Не радует художественными открытиями и **повесть Русины Волковой «Родился. Мыслил. Умер»** («Нева», № 11), в которой все человеческие движения рассматриваются исключительно в сексуальном ключе. Впрочем, «ста-

рик Фрейд», которого нет-нет да поминает Волкова, вряд ли порадовался бы столь бурному цветению своей нивы, — слишком безкусные на сей раз на ней взросли плоды. Итак, перед нами своеобразный «рассказ в рассказе» — дневник недавно скончавшегося философа Н. Н. Светлова, прочитанный и опубликованный его бывшей женой вместе с ее довольно обширными комментариями. Таким образом, все события повести получают двойное освещение: сначала они предстают в интерпретации мужа, потом жены. Вначале читатель из дневника Светлова узнает, что его жена мало того что патологически лжива и злоупотребляет спиртным, но и супружеской верностью не отличается. Охарактеризована она так: «...эта недоделанная женщина-философ, эта плебейская тварь из опустившихся польских шляхтичей, эта подстилка для американских президентов (! — Е. Щ.) и их отпрысков...» И все-таки муж пишет за нее диссертацию на модную гендерную тематику, выводя таким образом ее в люди. Из записок же бывшей его жены узнается, что не все так просто. Под пьянством и распутством кроется глубоко страдающая и ищущая натура. Тут и бедное детство (водка, мат и телевизор), и первая неудачная беременность, и психушка... А все оттого, что страдающей и ищущей девочке никак не найти сексуального удовлетворения. Тем не менее, только-только став на крыло, героиня намечает вполне практичный план: женить на себе богатенького преподавателя — обладателя пятикомнатной квартиры почти на Арбате. Однако заполучив искомое, бедняжка постепенно возненавидела мужа: «Он не давал мне романтической любви с розами, шампанским и цимбалами». Все эти страсти-мордасти со смертью мужа не заканчиваются: впереди искательницу ждет «потрясающий молодой любовник, только что из чеченского плена с пулевым ранением в голову, в качестве компенсации за голову его другой орган работал без устали».

Для удовлетворения любителей телевизионного «мыла» в «Неве» (№ 7) опубликована повесть Владимира Насонова «Стриптизер, или Уроки нелюбви». Стареющая красотка Белла (56 лет, но выглядит великолепно, ухожена, подтянута, сексапильна, богата, к тому же писательница — любимый набор отечественных мыловаров) хранит верность многолетнему любовнику Денису. Но на извилистом ее жизненном пути встречается прекрасный и могучий стриптизер, «похожий на молодого зверя, готового в любую секунду к точному прыжку». Стриптизер гладит ее «затрепетавшую под его ладонью спину» (указание на внутреннюю молодость героини). Трепещущая птичка обьята ответной любовью. Подробно описаны птичкины шикарные туалеты и драгоценности. Между юными самцами, добывающимися благорасположения пожилой красавицы, возникают всяческие взаимоотношения, доходящие до петушиных боев. Стиль описания: «Белла рванулась было вниз, но остановилась на полпути, так как невероятным ознобом ревности поняла, из-за чего случилась драка...» В этой-то знойности вся соль повествования! А всякие Беллины обожатели с их подробно описанными причинами — это так, приложение.

К этому же ряду произведений принадлежит и сочинение Григория Фукса под заглавием «Карамболь после полуночи. Мистификация в двух частях» («Нева», № 9). Действующие лица — Сталин, Михаил Булгаков, его жена Елена Сергеевна, а также пианистка Мария Юдина и пара энкавэ-

дэшников. В общем, дело было так. Приходит Сталин в гости к Булгакову и говорит: *«Поцелуйте меня, Михаил Афанасьевич, в усы!»* Булгаков расплывается от счастья и начинает изъясняться слогом типичного советского графомана: *«После твоего (они уже на ты. — Е. Ш.) звонка у меня словно крылья выросли. С неукротимой силой во мне загорелись новые творческие замыслы, эти замыслы были широки и сильны...»* По ходу дела Сталин с удовольствием цитирует знаменитое мандельштамовское *«Мы живем, под собою не чуя страны...»*, правда, с ошибкой, которую повторяет дважды, словно акцентируя внимание читателя (не ясно только, списать ли ее на сталинскую забывчивость или на обычную журнальную безграмотность). Со Сталиным все понятно, но в идиота превращен и Булгаков, изрекающий: *«Отрицательные явления жизни привлекают мое пристальное внимание, потому что в них я вижу большую для себя пищу»*. Ну и прочая «карамболь», вроде ареста Сталина и т. д. В этой мусорной корзине для всего места хватает.

Римма Маркова, автор повести **«Штольц»** («Нева», № 9) играет в гончаровских Штольца, Обломова и Ольгу, густо прославая свое сочинение обильными цитатами из первоисточника. Только у Марковой на диване лежит изрядно постаревший и обрюзгший Штольц, а энергичный Илюша Обломов, нелегал из России, носится по свету в поисках работы и денег. Действие разворачивается в Швеции (где, кстати, и живет автор). Штольц, носящий имя Альф-Андрей, — чистокровный швед, Илюша — смешанных бунтующих кровей, потомок и высланных крымских татар, и евреев-караимов, которым тоже несладко жилось при большевиках, и понтийских греков, и русских. Чистокровно русская одна только Ольга, Штольцева жена. И не просто русская, а из породы классических русских идеалисток, которым неважно, как с неудовольствием отмечает Штольц, чем и как питаться, изысканное ли блюдо или самое простецкое, зато они покупают немислимо дорогие художественные альбомы, рвутся во все музеи мира — даже самые безвестные, а главным образом мечтают о Париже. Не ужиться добропорядочному, благонамеренному Штольцу с этой взбалмошной Ольгой! Чуть-чуть набухает романчик между Ольгой и Обломовым, — никуда, видно, от классики не деться. Но Ольге — за сорок, Илюша же — юнец. Так что никаких амуров и зефиров. И от Штольца Ольга уезжает. Финал.

Молодая писательница из Финляндии **Пэйви Ненонен** в *бюрократической саге «Регистрация по месту жительства»* («Звезда», № 9) делится впечатлениями по поводу своего прохождения сквозь российские бюрократические дебри. А нужно-то ей всего-навсего зарегистрироваться по месту жительства в Петербурге, в принадлежащей ей самой комнате. Но дело даже не в том, что концы с концами у разных инстанций никак не сходятся и требуемое в одной из них для другой совершенно не нужно. Это мы все проходили, это только для уроженки Финляндии в диковину. Дело в том, какое наслаждение при этом получают те, кто гоняет беднягу из конторы в контору!

Маленькая повесть **Михаила Вершовского**, озаглавленная **«Время золотое»** («Нева», № 10), — лиричное, ностальгическое, чуть ироничное повествование о любви, о том, как вырастает она, хрупкая и нежная, из всякого житейского сора. Вот самая первая любовь — отвечающая у доски одноклассница, соседка по парте, и горячее чувство к ней неотделимо и от луч-

ших книг, которые открывает для себя герой, и от музыки: *«Я удивлялся поэтам, живущим и давно умершим, и удивлялся тому, что все мы изменились и не изменились и все волнуемся от мыслей неожиданных (давно забытых), и от тех же настроений...»*

Страшноватый быт послевоенной Одессы — тема живописной **повести Марка Гиршина «Crescendo»** («Нева», № 12). Обезлюдивший город, куда возвращается с фронта солдат; ни единого оставшегося в живых одноклассника-еврея; опустевшая коммунальная квартира; рассказы немногих уцелевших, как партийное начальство перед немецким наступлением вывезло из города несколько сот партсовработников и членов партии. Остальных бросили. Буденный, говорили местные жители, прислал радиogramму: *«Плansредств для эвакуации подано не будет»*. Позорные антисемитские кампании. Смерть Сталина как истинный подарок судьбы, спасший рассказчика от занесенного над ним топора.

Рассказ Бориса Иванова «Длинная снежная дорога» («Нева», № 11) — история из блокадных времен о том, как старая учительница обходила дома своих учеников и считала живых и умерших. Вроде бы история трагическая, но есть в ней заметная фальшь. Откуда, например, взялась на ленинградской улице *«сильная, вызывающе красивая женщина»*? И почему учительница отдаст ей свой паек? Ольга Берггольц в свое время рассказала, как истощенные женщины в блокадной бане с ненавистью обжигали взглядами некую упитанную, гладкую даму. Вот этому — веришь.

Двумя очень человечными рассказами делится в «Неве» № 9 **Дмитрий Пригула. «Батрак»** — история немолодой одинокой женщины, за которой долго и тщетно ухаживал ее дачный сосед, вдовец. На любовь его она, увы, в свое время не ответила. А после его смерти поняла, что лучшей частью ее жизни было общение с ним. Рассказ **«Вторая жена»** — история о том, как муж когда-то, в давние годы, не спас свою тонущую в реке жену. Трудно сказать, виновен ли он в ее смерти или такие были тогда обстоятельства. А вторая его жена так и не смогла простить ему эту давнюю трусость.

Герой **рассказа Михаила Воронкова «Story»** («Нева», № 10) — молодой безработный, выходец из России. Живя в Атланте и общаясь с простыми безо всяких амбиций и образования американскими парнями, он приходит к выводу: *«...если взять рядового американца и отнять у него банковский счет, политическую корректность, кредитную карту и голливудское представление о жизни, то вы получите обыкновенного, своего в доску, с известной долей ксенофобии и паранойи русского человека»*. В его же **рассказе «Александр»** заглавного героя, такого же незадачливого русского американца, как бы передают друг другу «с рук на руки» три его работодателя. А все потому, что шутник он, Александр, — вот пургену, например, насыпал своему шефу в кофе, пусть не смотрит на его работу без отрыва...

Веселой историей под заглавием **«American love»** делится **Светлана Потапова** («Нева», № 10). Вроде бы перед нами — типичная «Золушка»: две бедные русские девчонки, некрасивые и несчастные, с помощью вездесущего и всемогущего Интернета выходят замуж за американцев. Но в рассказе столько точных жизненных деталей, столько искреннего человеческого тепла и сочувствия к беднякам, что *happy end* воспринимается совер-

шенно органично. Слава богу, что добрых и обездоленных на родине девочек хоть по другую сторону океана оценили и полюбили по-настоящему.

Документальная фантазия Александра Кургатникова под заглавием **«Мир как воспоминание и любовь. Черный пудель Шопенгауэра»** («Нева», № 9) построена как цепь воспоминаний, которым предается на закате жизни знаменитый философ. Автор «Метафизики половой любви» был, как известно, человек тяжелый, эгоистичный, подверженный всевозможным фобиям и никого, по сути дела, в жизни не любил. Разве что собаку, королевского пуделя. Страшна его одинокая, не согретая никакой человеческой привязанностью старость. Кургатников реконструирует тяжелые мысли, вращавшиеся в мозгу умирающего: мелькают воспоминания о брошенной женщине, об умершем ребенке. После смерти Шопенгауэра, рассказывает автор, по завещанию оставшийся капитал предназначался солдатам-инвалидам, разным филантропическим обществам — и осиротевшему черному пуделю.

В рассказе **Максима Соболева «Мой Диоген»** («Звезда», № 7) словно сталкиваются несколько одиночеств: бомжа, живущего в мусорном баке, спивающегося жильца, отца, сошедшего с ума, брошенной им жены — и, наконец, их сына, рассказывающего эту историю. В его же **рассказе «Тот еще день»** речь идет о празднике — злосчастном Дне ВДВ, когда бывшие десантники, накачав кулаки, демонстрируют городу, миру и всей округе свою власть, силу — и свое несчастье.

В рассказе **Марины Павловой «Ну и как вам, русским?»** («Звезда», № 7) — сценка на пароме, плывущем по Северному морю. Какая-то финка спрашивает у русской пары: *«Ну и как вам ощущать себя русскими?.. Каково это — быть соотечественниками Чайковского, Рахманинова, Стравинского, Скрябина?»* В рассказе **«Последняя исповедь»** действуют девяностолетняя бабушка, истовая католичка, и ксендз-итальянец. Бабушка твердо знает, что таинство исповеди бывает только на ее родном польском. И оказывается упрямее ксендза: получает отпущение грехов по-польски.

Дмитрий Григорьев в рассказе **«Про свалку»** («Звезда», № 12) неожиданно поэтично описывает старую петербургскую свалку на Васильевском острове. Говорят, там нашли упокоение старые, самые первые советские телевизоры.

В рассказе **Константина Мелихана «День рождения»** («Нева», № 7) выведен пятидесятилетний ловелас, к которому в день юбилея приходит женщина. Они пьют шампанское, и она попеременно обращается то в юную девушку, то в немолодую даму. Пируют и дети юбиляра, пришедшие его поздравить, но которых в действительности нет, потому что они *«не отбрасывают тени»*.

Серию фантастических рассказов-видений представляет **Александр Говорков** («Нева», № 11). В **«Тайне черного квадрата»** означенная картина-символ соотнесена с миром, лишившимся света, и мрачно-таинственной поэзией Тютчева. В рассказе **«Феликс Эдмундович и молодая крестьянка»** предмет авторских фантазий становится знаменитый звериной жестокостью революционер, на которого, как кажется автору, удивительно похож Николай Алексеевич Некрасов. А может, и не похож... Рассказ **«Семит русской**

поэзии — воображаемый диалог на развалинах древнего туркменского города с тезкой великого Бунина, — а может, и с самим Рахманиновым.

Ученический рассказ-«страшилка» (*«аномальная история»*) **Сергея Еричева** под заглавием **«И остави нам долги наши»** публикует «Нева», № 12 (раздел «Литературное агентство представляет»). Спустившись в старый петербургский подвал вместе с девушкой, молодой человек, как замороженный, уходит вслед за открывшимся ему видением. *«Больше его никто не видел»*... Такими историями пугают друг друга пятиклассники.

Как обычно, трафаретны и сердцешипательны **рассказы Татьяны Ролич** («Нева», № 11), призванные, видимо, восполнить дефицит мешанского читва. **«Посмотреть в глаза»** — назидательная история о том, как нехорошо лодырничать и воровать: от лодырничества и воровства в человеческих глазах заводится противная пусота. А в рассказе **«Любовник»** говорится о том, что красоткам средних лет, не утратившим чувственности и обаяния, тоже иногда везет.

NON-FICTION

В «Звезде» (№ 12) **Никита Алексеев** публикует **«Питерские хроники»**. Так озаглавлен горький и тяжкий рассказ о том, как в 70-е годы постепенно, один за другим, гибли от тоскливого пьянства молодые ленинградские гуманитарии. Ни цели в жизни, ни сил, ни средств... Их уже никого нет на свете, а вместе с ними — и молодости, и мечтаний, и дружбы.

Весьма самодовольными записками, озаглавленными **«Хроники смутного времени. Из дневников»**, делится петербургский прозаик и директор «Центра современной литературы и книги» **Дмитрий Каралис** («Нева», № 7). В «Дневниках» этих о повести самого Каралиса «Роман с героиней» сказано так: *«Сам читаю с наслаждением — а это верный признак того, что вещь в целом удалась»*. Любопытно, что критики на этот счет зачастую держатся иного мнения: отклики на эту повесть были далеко не всегда восторженными. Немало места уделяет Каралис и поискам корней собственной фамилии, хотя об этом он уже очень подробно писал в другом своем произведении. На периферии этих поисков мелькают события из жизни страны.

«Впечатления “пиджака”» Александра Вергелиса («Звезда», № 12) продолжают журнальные исследования современного состояния российской армии. **«Лиджаки»** — выпускники военных кафедр гражданских вузов, люди в армии, в общем-то, случайные, *гражданские в погонах*. Что-то тут надо менять, пишет автор: не нужно в армии такое количество лейтенантов, к тому же плохо подготовленных. Касается Вергелис и проблемы выходцев с Кавказа, которые приносят в российскую армию свои собственные, горские обычаи. Этническая несовместимость достигает тут апогея. Словом, в армии назревает кризис на всех уровнях.

Бывший главный редактор «Звезды» **Геннадий Николаев** в мемуарах под заглавием **«Мой многоликий атом. Через всю жизнь»** («Звезда», № 8) пишет о том, как затянуло его в физику и атомную технику. Было это в 1950 году, когда целая группа блестящих профессоров из Москвы и Ленинграда неожиданно была переведена в Томск. Молодой тогда Николаев не понял, что это было следствием партийной антисемитской кампании. Окончив институт, он отправился в Усть-Каменогорск на атомный монстр, где наряду с

атомщиками-энтузиастами работали и ээки, не подозревавшие об опасности. А она не замедлила: в 1957 году здесь случилась страшная авария. Сколько же погибло после атомного взрыва молодых солдат и заключенных! Но говорить об аварии не разрешалось. Обстоятельства трагедии вскрылись только в 1990 году, равно как и то, что огневые работы велись без соблюдения элементарных мер предосторожности, а сама авария стала следствием годами копившихся нарушений и просчетов. А ведь рядом с полигоном жили тысячи ничего не подозревающих людей...

«Звезда» (№11) печатает ряд материалов к столетию Д. С. Лихачева (1906–1999). Со статьей под названием «**Лиходемик**» в своей регулярной рубрике «Дневник двух писателей» выступают **Ольга и Владимир Новиковы**. Лихачев, пишут они, собственным примером показал, что такое русская интеллигенция. Интеллигентность — это не вериги, а широкий диапазон внутренней свободы, и интеллигентное поведение — вовсе не умеренность и аккуратность. Это мужество не только заявить позицию, но и отстоять ее. Таким и был Лихачев, которому в высокой степени свойственна была ответственность — и за результат своего дела, и за самую жизнь, — а также находчивость, доходящая до артистизма. Именно сердечная интеллигентность позволяла *Лиходемiku* развиваться и на восьмом, и на девятом десятке лет; она же давала ему возможность оставаться консерватором, не впадая при этом в эстетическое ретроградство. Новиковы вспоминают, с каким неподдельным восхищением говорил Лихачев о Викторе Шкловском, то есть человеку совершенно *другой научной веры*, каким естественным было для него не ревновать, не злорадоваться, не язвить. *«Истина, — замечают авторы, — уцелевает в том споре, где хотя бы один из оппонентов придерживается интеллигентной линии поведения».*

Новиковы припоминают сюжет «Дмитрий Быков против Дмитрия Лихачева», развернувшийся в 1997 году на форуме «Русского журнала», когда тридцатилетний журналист напал на девяностолетнего академика *«за государственничество, за компромиссность, за сотрудничество с ельцинским режимом, за языковой пуризм (неприятие мата) и вообще за... интеллигентное поведение».* Оставляя в стороне позицию Быкова, авторы статьи разъясняют: в вопросе *«интеллигент и власть»* существуют два полюса — либерализм и просвещенное государственничество; обе эти крайности равно опасны, и чрезмерно категоричный выбор грозит скатыванием либо к анархической «демшизе», либо к агрессивному национализму. В этом смысле *«Сахаров и Лихачев — две крайние полосы единого спектра»*, поскольку *«чтобы поведение было интеллигентным, необходимы ограничения, которые в итоге ведут к максимуму свободы».*

Как личность и общественный деятель Лихачев всегда оставался интеллигентом, как человек пишущий он был *писателем с натуры*. *Писание с натуры* — это не просто вызов донцовщине и бессердечной «элитарке», литературное наследие Дмитрия Сергеевича Лихачева, самая фигура этого человека и ученого — не что иное, как противоядие воцарившемуся в современном обществе в последние годы массовому одурению.

Обзор подготовила Евгения Щеглова

С. «Иностранная литература»
(Публикации 2006 года)

Темой январского номера «ИЛ» стала «*взрослая жизнь сказки*», и потому № 1 собрал эссе о всевозможных чудесах, метаморфозах и волшебствах.

Итальянка **Паола Каприоло** в романе «*Сон о ягненке*» рассказывает притчу о нищем старике со странным прозвищем Князь и его маленькой подружке сиротке Саре. Герои подвергаются унижениям и гонениям со стороны опрятных и внешне благопристойных жителей безымянного города, который вдруг начинает задыхаться от заполонивших его комаров и грызунов, а затем исчезает в языках пламени. Подобно библейскому праведнику, Князю вместе со своей воспитанницей удастся вовремя покинуть проклятый город, чтобы обрести если не рай, то покой. Используя мотивы апокалипсиса, праведничества и греха, Каприоло в иносказательной форме поднимает комплекс важнейших человеческих проблем.

Английский писатель **Стивен Миллхаузер** обращается к средневековому эпосу и создает вариацию на тему Тристана и Изольды «*Король среди ветвей*». В повествование вплетены шекспировские мотивы: карлик, открывающий Королю «глаза на правду» — мнимую измену жены, делает это через театральное представление; ухищрения некрасивого, раздираемого похотью и завистью сенешаля, и т. д. Культурный подтекст, составляющий суть философской сказки Миллхаузера, доступен лишь взрослому.

Двойного адресата имеют «*Две волшебные истории*» польского писателя и педагога **Збигнева Бжозовского**, творчество которого представлено двумя ироничными сказками, проиллюстрированными самим автором, а также «*Нелицеприятные сказки*» немецкого поэта, прозаика и художника **Карла Хермана Рерихта**. Сказка о художнике, искавшем всю жизнь идеальную мастерскую на земле, но нашедшего ее только на небе, напоминает, скорее, невеселую быль.

«Сказочный» номер «ИЛ» знакомит с творчеством писательницы **Беатрикс Поттер**, любимой английскими детьми, но почти не известной в России: ее простые, на первый взгляд, тексты сложны для перевода. О создательнице иллюстрированных книжек о Питере Кролике вспоминают и размышляют литературоведы и писатели, среди которых **Грэм Грин**. Он восторженно говорит о влиянии сказок Поттер на свое творчество и даже приводит отрывок из своего романа «*Брайтонский леденец*», указывая на прямое заимствование. Грин сделал попытку отследить этапы творческого пути Беатрикс Поттер, проанализировал образную систему ее сказок, ссылаясь на факты ее биографии и фрейдистские концепции, чем вызвал у самой Беатрикс довольно-таки саркастический отклик.

Людмила Петрушевская («*Тили-Бом, или Сказка о сказке*») предлагает прозаическую вариацию по мотивам сказок Андерсена с его печальными принцессами и жестокими принцами, смешивая воображение и быль, посещение музея Андерсена в Дании и собственные фантазии.

Английская писательница и литературовед **Антония С. Байетт** в эссе «*Лед, снег, стекло*» анализирует христианские мотивы сказки Андерсена о Снежной Королеве, выделяя символы-противопоставления красного и бе-

лого, льда и огня, снега и крови, жизни и смерти. Эссе **«Величайшая из всех когда-либо рассказанных историй, или Сказка сказок»** посвящено сказке о Шехерезаде, мотивы которой Байетт находит в творчестве Пруста, Борхеса, Кальвино, Рушди.

Творчеству Андерсена посвящено эссе **Урсулы ле Гуин «Ребенок и тень»**, в котором известная американская писательница и критик исследует архетипический смысл образа Тени. Именно через сказку ребенок учится сталкиваться с собственной тенью — темной стороной души и преодолевать страхи.

Во втором номере «ИЛ» читатель постепенно переключается от сказки к были. Постепенно — потому что **рассказ Хироми Каваками «Приход весны»** несет отголосок сказки, вернее, старинного японского предания. Рассказчица знакомится с женщиной, которая влюблена в мужчину, а, скорее, в «странное существо», появляющееся в ее жизни каждую зиму и, наконец, забирающее ее туда, *где много снега*. В истории зависимости или одержимости, а может, тоски по чуду сплетаются фольклорные мотивы и поэтическое бытописание.

Главным же событием второго номера можно считать очередной прозаический эксперимент — **роман Фредерика Бегбедера «Романтический эгоист»**, в котором представление жизни граничит с сюрреом, а также отрывки из **романа Мишеля Уэльбека «Возможность острова»**, который с тех пор уже вышел отдельным изданием¹. Гламурный эпатазирующий Бегбедер и депрессивный Уэльбек — два лидера современной французской литературы, каждый на свой лад, описывают закат Европы, процесс распада личности в обществе потребления. Бегбедер прибегает к характерным для него «спецэффектам». Повествование, построенное в форме коротких дневниковых записей, напигиговано шокирующими афоризмами. Но обаяние Бегбедера в том, что он умеет смеяться над собственной попой. У него неподражаемый дар в одном-двух предложениях сказать о своем поколении — циничном и обреченном на пустоту, утратившем способность любить и тоскующем по любви. *«Мы все, — констатирует он, — покорные замороченные Понтии Пилаты...»* Бегбедер — певец эпохи суррогата, глянцевого журналов и порнофильмов — любит прихвастнуть начитанностью. Он насыщает текст огромным количеством имен и цитат: Флобер, Амели Нотомб, Ш. де Лакло, Уэльбек, Бомарше, Одри Тату, Барри Уайт, — не говоря уже о названии, отсылающем к первому роману С. Фицджеральда, и эпиграфе, заимствованном из дневника С. Довлатова. Герой Бегбедера Оскар Дюфрен — копия автора: модный писатель, милый неврастеник, склонный к театральным эффектам, и собственную жизнь уподобляет *«безмолвному лимузину, который катит вперед, к моей кончине»*. Трагифарсовые опыты Бегбедера лишены той дозы отчаяния, какая есть в отстраненных, по-флоберовски-суховатых текстах Уэльбека. «Возможность острова» — вариация на излюбленные писателем темы депрессии, уходящего времени, утраченных возможностей, исчезновения нежности и привязанности вместе с потерей сексуального влечения. Цивилизация, поклоняющаяся богу счастья, страдает от установленных ею

¹ См. об этом статью *Евгения Ермолина* «Просьба о любви». — «Континент», № 129.

же фетишей: успеха, золотого яблока желания, молодости, красоты. Модель общества, описанная в «Возможности острова», — это реализованный проект героя «Элементарных частиц», мечтающего о размножении человеческого вида бесполовым путем, поскольку встреча полов слишком травматична. Один из последних представителей человечества клон Даниэль-24 спокойно наблюдает за исчезновением своего биологического вида. Этому монстру кажется чудовишной сама мысль о том, чтобы помочь человеку и — уж тем более — *«совокупиться с человеческой самкой»*. Вот он — Апокалипсис по Уэльбеку...

О том, какое место понятие счастья занимает в системе ценностей современного человека, рассуждает **Паскаль Брюкнер**, фрагменты из книги которого **«Вечная эйфория. Эссе о принудительном счастье»** напечатаны в № 3. *«Будьте счастливы! Есть ли предписание более парадоксальное?.. Ибо как узнать, счастлив ты или нет? Кто определяет нормы? Почему непременно, обязательно надо быть счастливым? И как быть с теми, кто сокрушенно признается: у меня не получается?»* Построив демократическое общество, став «свободным», — пишет Брюкнер, — человек лишился выбора: на дороге в Эдем не осталось препятствий, теперь каждый «обречен» на счастье, а если не счастлив, то ему остается пенять на себя. Сегодня счастье стало самоцелью, превратилось в догму, в жесткий кодекс, в коллективный наркотик, который все обязаны принимать. Культ счастья не только порождает гедонизм и зависть. Опасность куда серьезней: *«став частью политической доктрины, счастье превратилось в страшное оружие массового уничтожения. Никакие жертвы, никакие чистки человеческого стада не кажутся чрезмерными, если их цель — светлое будущее»*. *«Я слишком люблю жизнь, — пишет Паскаль Брюкнер, — чтобы желать одного лишь счастья»*.

А способна ли принести счастье любовь?.. Нет, она приносит рабство, зависимость, тоску — только не счастье. Во всяком случае, это следует из двух публикаций третьего номера, о которых пойдет речь. Безысходная мучительная любовь — сюжет произведений с созвучными названиями.

Героиня романа бельгийки **Амели Нотомб «Любовный саботаж»** («ИЛ», № 3) — воинственная семилетняя дочь бельгийского посла в Китае влюбляется в свою ровесницу — прекрасную итальянку и с первого взгляда понимает, *«что любить Елену и не страдать так же невозможно, как изучать французскую грамматику без учебника Гревиса»*. Это не единственный афоризм юной героини, которую никак не назовешь ребенком в полном смысле слова. Ей, к примеру, принадлежат и мысли вроде: *«без врагов человек — жалкое существо, а его жизнь — тяжелое испытание, полное уныния и скуки»*. Остается непонятно, неудача это писательницы или, напротив, особое намерение, но как бы то ни было, мир детства у Нотомб чаще всего населен маленькими монстрами, несущими различные взрослые пороки: изощренную жестокость и страсть, как в описываемом романе, похоть (роман «Антихриста»), странность и безумие (роман «Словарь имен собственных»)...

«История любви» американки **Николь Краусс** («ИЛ», № 3) — композиционно запутанный роман, в котором несколько сюжетных линий. Старый польский эмигрант Лео Гурски, живущий в Нью-Йорке, страдающий запорами и боящийся смерти, тоскует по своему сыну Исааку, с которым его разлучила

судьба... Девочка Альма Зингер, влюбленная в русского мальчика Мишу Шкловски и безуспешно пытающаяся выдать замуж свою маму... Скрепляющий центр всех перипетий — «История любви», рукопись, которая в итоге становится поводом для встречи Лео Гурски и Альмы, носящей то же имя, что и давно утраченная возлюбленная героя. Это роман о единственной встрече, которая изменила и погубила жизнь. Роман об эмиграции, о взрослых детях, воображающих себя мессиями и сыщиками, и о взрослых, беспомощных и наивных как дети. Это лирический детектив с открытым финалом.

Если мартовский выпуск «ИЛ» собрал тексты, затрагивающие вопросы счастья, любви, памяти, то следующий номер отмечен вниманием к истории, межкультурному диалогу, социальным отношениям.

В трагедии «Соглядатай (Ионадав)» Питера Шеффера по мотивам романа Дана Якобсона «Бесчестие Фамари» («ИЛ», № 4) рассказана история падения дома Давидова. События увиденны глазами Ионадава — племянника великого царя, терзаемого злобой и завистью к прямым наследникам престола. Ионадав мстит Давиду за собственную ничтожность, мечтая погрузить царский род в грязь и бесчестие. Он сталкивает между собой двух сыновей Давида — «похотливого бычка» Амнона и красавца Авессалома, используя как орудие разрушения их сестру Фамарь, к которой тайно вожделем оба брата. Однако Ионадав, воображающий себя кукловодом, сам оказывается марионеткой в руках оскорбленной Фамари, чья женская месть приводит в ужас даже циничного «соглядатая». Шеффер, исследуя природу страсти, движения веры и действие рока, предлагает свое видение истории, в котором великие династии обречены на падение, а суперсистемы — на исчезновение.

Дебютный роман Салима Баши «Пес Одиссея» («ИЛ», № 4) его переводчица Екатерина Лямина назвала *книгой обвинения, отчаяния и беспредельной усталости*. Подобно А. Камю, в двадцать лет покинувшему родной и в то же время ненавистный ему Алжир, Салим Баши также в юности уехал из Алжира во Францию с тем, чтобы никогда больше не возвращаться на родину. Алжирскую землю писатель считает больной и обреченной на гибель. И все же свой первый роман он посвящает именно Алжиру 90-х годов. Стране, атмосфера которой накалена воинствующей жестокостью исламских радикалов, сеющих повсюду разлад и безумие и держащих народ в наряженном ожидании террористических актов. Роман имеет политическую основу, но прихотливый ритм повествования, сложная конструкция и лирические отступления свидетельствуют о том, что перед нами произведение, в котором речь идет не только и не столько о делах недавнего прошлого и ближайшего будущего. Роман глубже и философичнее. Одним из главных его героев становится город, которого давно не существует, — разоренная в XIV веке карфагенская Цирта. Баши выдумывает его, творит своего рода миф о Цирте. В отношении автора к созданному его воображением городу заключена ностальгия, болезненная любовь к земле, которую он покинул: *«Цирта... Королева в звездном бархате ночи, под палящими лучами солнца превращается в замарашку из сказки... Город наших снов, этот готовый к подвигу воин в доспехах, соприкоснувшись с реальностью, разлетается на куски: он гол хрупок...»* Этот умирающий город — центр множества сюжетных линий романа. Аллюзии с мифом об Одиссее-Улиссе создают ситуацию диалога с

Гомером и Джойсом и расширяют смысловое и жанровое поля романа: от политического антиромана воспитания к философской притче.

В четвертом номере «ИЛ» представлен китайский прозаик **Ван Мэн**, который в своих «**Микрорассказах**» следует традиции старинных лаконичных анекдотов. Герой микрорассказов — очаровательный в созерцательной спокойной мудрости китаец Лао Ван. Он радостно воспринимает любые проявления жизни, даже старость, способен видеть великое в малом и смотреть на любую ситуацию философски.

Поклонников **Джона Фаулза** заинтересуют выдержки из его «**Дневников**» («ИЛ», № 4), в них мастер описывает период пребывания на греческом острове Спеце в качестве учителя английского языка. В опубликованных отрывках можно найти наблюдения Фаулза за нравами, поведением, языком местных жителей. Писатель анализирует собственные эмоции от встречи с Элизабет Кристли, которые легли в основу повести «Башня из черного дерева» и романа-бестселлера «Волхв».

Роман **Кристофера Т. Бакли «Флоренс Аравийская»** («ИЛ», № 5-6), написанный в манере сатирического триллера, наглядно показывает, что ни американское ЦРУ, ни многоопытная французская разведка, ни Бог, ни черт — ничто не может изменить уклад жизни людей, существующих по законам Средневековья. Общество, в котором смертная казнь и избиение женщин камнями является нормой, вряд ли способно признать необходимость реформ. С фантастическим проектом по борьбе за свободу женщин на Восток отправляется отчаянная американка Флоренс. Затронув «болезненное место» политической полемики, ведущейся мужчинами, — права женщин, Флоренс едва не лишается жизни. Проза Бакли не отличается изяществом, но в чем не откажешь экс-пиарщику, так это в знании политического истеблишмента, умении построить по-настоящему динамичный сюжет, создать ощущение подлинности и злободневности. Роман Бакли — готовый сценарий крепко сделанного боевика. Писатель смешивает политику и любовь, кинематографические трюки и юмор, доходящий до гротеска. И хотя попытки героини не оказывают никакого воздействия на проблему женщины на Ближнем Востоке, все же сама идея Бакли столкнуть два мировоззрения отвечает духу времени, в котором все чаще звучат идеи межкультурного диалога.

Хотя что мечтать о взаимопонимании Востока и Запада, когда часто близкие люди, говорящие на одном языке, враждебно относятся к тому, что пытается донести до них вроде бы родной человек. Пьеса **Гарольда Пинтера «Былые времена»** («ИЛ», № 5) — о тайне человеческих отношений, об одиночестве вдвоем. По существу, это драма разобщенности. Написанная в традициях драматургии абсурда, она поднимает проблему распада семейных связей. События вместе прожитых лет воспринимаются членами семьи совершенно по-разному. Диалоги «глухих» перебиваются долгими паузами, что создает ощущение пустоты и внутренней угрозы.

Английский писатель **Кадзуо Исигуро** в романе «**Не отпускай меня**» («ИЛ», № 7) затрагивает ту же тему, что и Уэльбек, — жизнь клонов. Но если Уэльбек рассматривает клонирование как путь к вымиранию человеческого в человеке, герои-клоны Исигуро подкупающе человечны. Несмотря на то, что они воспитываются в престижном интернате и получают прекрасное образование,

клоны обречены: каждый из них рано или поздно должен стать донором — отдать жизненно важные органы и умереть. Исигуро поднимает вечный вопрос ответственности ученого за свое открытие. Его герои — несчастные создания, стоят на ступень выше в иерархии нравственных ценностей, нежели их создатели. Автор наделяет клонов стойкостью духа, помогающей им безропотно принять свою судьбу и оставаться там, *«где положено быть...»*

В этом же седьмом номере помещено блестящее эссе **Стивена Фрая «Неполная, но окончательная история классической музыки»**. В духе моцартианской импровизации писатель рассказывает о рождении музыки в 1179 году, о Хильдегарде Бингенской — первой женщине-композиторе, о Бахе и Генделе, Гайдне и Глюке, плавно скользя *«от нотного стана к женскому»*, от Антонио Вивальди *«и его сестричек»* к любимцу Богов Амадею, явно отдавая последнему свои предпочтения. Эссе Фрая словно и не написано, а пропето, насвистано вдохновением и обожанием классической музыки.

Роман польской писательницы **Ольги Токарчук «Последние истории»** («ИЛ», № 8) — три лирических повествования о смерти. Смерть как старение тела, исчезновение эмоций, умирание любви и влечения, внутренняя пустота, спасение от которой — лишь мысль о скорой старости и смерти, забвение и провалы памяти... Токарчук не играет в языковые игры, не ставит острых социальных вопросов, ее психологическая проза построена на полутонах. Героини — это, чаще всего, несчастные, стареющие и все еще красивые женщины, ищущие покоя.

Персонажи **рассказов Збигнева Крушинского** («ИЛ», № 8) — духовные маргиналы. Они — вне общества, вне семьи. Одни из них занимают позицию невмешательства (герой **«Рождественского рассказа»** по инерции выбирает подарок жене, которая занимает в его жизни все меньше места). Другие из чувства протеста начинают подрывную деятельность. Мстя за собственное одиночество, герой рассказа **«Чат»** развлекается тем, что назначает в Интернете свидания разным людям в одно и то же время, кого-то таким образом сталкивая друг с другом, кого-то заставляя ждать. В результате этому интернет-человеку начинает казаться, что все люди, которых он видит на остановках и в очереди, стоят по его «распоряжению».

Тему маргинальности, внутренней изоляции продолжает **Януш Рудницкий** в цикле **рассказов** о польских эмигрантах в Германии («ИЛ», № 8). Они сушат волосы под кондиционером на улице, падают в шахту лифта, переправляют трубку пылесоса в Румынию. Смешные, одинокие, странные люди...

«Какой будет Польша через 50 лет?» — таким вопросом задаются писатели-футурологи, прогнозы которых вышли в сборнике «PL + 50» («ИЛ», № 8). В эссе **Станислава Лема** (1921 — 2006) **«Белый орел на фоне всеобщей нервозности»** рассматривается вопрос о том, какое влияние на будущее может оказать внедрение новых технологий. Знаменитый фантаст находит положительные стороны в глобализации, ведущей к расширению горизонтов мира, печалится по поводу сокращения человеческой популяции и увеличения количества пожилых людей в обществе. В то же время он верит в хорошо организованное общество, способное выдержать даже самых глупых и слабых правителей. Свое видение будущего общества **Байртек Сви-дерский** воплощает в небольшом **рассказе «Лебединая песня министра на-**

строения». Эмансипация достигла апогея. Женщины без конца рожают от разных мужчин, — с тем чтобы получить повышение по службе. Страной управляет президент, чья голова без туловища прикреплена к различным электроприборам, поставляющим информацию в мозг из любого конца света... Учитывая темпы развития электроники и движения, происходящие в общественном сознании, абсурдная картина мира, нарисованная Свидерским, может вполне претвориться в жизнь.

Замысел «**Фотографий**» **Януша Андермана** («ИЛ», № 8) напоминает долатовский «Компромисс». Каждая черно-белая фотография, сделанная плохоньким фотоаппаратом «Смена», отсылает героя к тому или иному событию его жизни. Этих фотографий — полный чемодан, и в них отражена эпоха конца 60-70-х со всем ее абсурдом — производственной практикой, воровством на заводах, совковыми лозунгами — и вместе с тем с романтикой студенчества.

О жизни польской эмиграции в Нью-Йорке вспоминает **Януш Гловацкий**. В своем очень смешном и очень грустном эссе «**Из головы**» («ИЛ», № 8) он пишет об унижении и расизме, о психологии равнодушной нью-йоркской толпы, о необразованности американских студентов, о судьбах женщин в эмиграции, о своей маме, которая приехала поддержать семью, но не выдержала одиночества и быстро умерла.

Одиннадцатый номер «ИЛ», приуроченный к восьмой международной ярмарке нон-фикшн в Москве, полностью посвящен загадочной и совсем не известной у нас современной канадской литературе. Когда появилась эта литература и что она собой представляет, как быть канадцем и можно ли написать *настоящий Канадский Роман* — на эти вопросы отвечают авторы номера.

В духе В. Вулф, утверждавшей, что «*в декабре 1920 года... переменялась сама человеческая личность*», критик **Мартин Левин** («ИЛ», № 11) считает, что «*весной 1996 года, — может быть, чуть раньше или чуть позже, — изменилась сама канадская литература*». За последнее десятилетие она приобрела самобытность, освободилась от американских и европейских влияний. За ней закрепились характерные темы (местная дикая природа, антиамериканизм, эмигрантский опыт) и своя художественная модель — постнациональная и полиэтническая. Среди канадских писателей есть и мусульмане, и индусы, и парсы. Молодость, быстрое развитие, эмансипированность — основные черты канадской литературы, стремящейся преодолеть комплекс неполноценности. В этом ей помогают многочисленные гранты, мастер-классы, конференции, писательские сообщества.

Тем не менее читать о канадской литературе интереснее, чем читать ее саму. Не сравнить по отточенности формы изложения и изяществу юмора фрагменты из публицистической книги **Уилла и Иана Ферлюсовнов** «**Как быть канадцем**» и роман молодой «многообещающей» писательницы **Надии Бисмют** «**Scrapbook**» («ИЛ», № 11). Последний явно уступает. Юная писательница влюбляется в женатого редактора, который тоже не прочь, — классическая ситуация, неизменно приводящая к тупику. Оригинальный ход, используемый Бисмют для описания отношений, — интернет-письма, заменяющие линейное повествование. Свою героиню — неунывающую и тщеславную — Бисмют приводит к хэппиенду в духе американских мелод-

рам: Анни получает стипендию (!) на написание второго романа, а в придачу — свободного бой-френда. А **Уилл и Иан Фергюсоны**, как следует высмеивая театр, кино, экономику, кухню, национальный гимн канадцев, всерьез берутся за канадскую литературу. Главе, посвященной канадским писателям, они дают говорящее название: **«Потуги канадской литературы, или Скоро в ближайшем мусорном ящике»**. Оказывается, канадским писателем, *«прекрасным и душой, и телом, и умом, и сердцем, и кошельком»*, может стать каждый, если будет следовать *«руководству для честлюбивых писателей»*, помещенному в статье в виде памятки (*«вырезать и сохранить»*): поменьше сюжета, побольше загадочных диалогов с намеком на измены в темном прошлом, немного иронии, несколько схематичных, но иронично воспроизведенных сцен насилия — и мы имеем готовый *Канадский Роман*.

О канадской литературе в одиннадцатом номере рассуждают **Маргарет Этвуд**, сравнивающая писательство с профессией могильщика; **Робертсон Дэвис**, исследующий механизмы вдохновения и утверждающий возможность открытия замысла Божьего лишь в старости; **Мария Карп**, анализирующая творчество Эллис Манро — Чехова, Флобера и Джейн Остин современной канадской литературы. В номере также можно найти легенды североамериканских индейцев, ставшие источником вдохновения для многих канадских прозаиков.

С Мишелем Уэльбеком, утверждающим, что жизнь заканчивается в 40 лет, может поспорить англичанин **Джулиан Барнс**. У героев его трех **рассказов** («ИЛ», № 12) жизнь начинается в шестьдесят! Барнс — этот «постмодернист с человеческим лицом» — легко смешивает грусть и юмор. Восемидесятидвухлетний дедушка уходит из семьи к «молодой» шестидесятилетней бабушке. В результате законная супруга и новая пассия объявляют друг другу войну за несчастного старика, который не выдерживает столь сильных страстей и попадает в больницу с инсультом. Самоиронией и легким кокетством проникнуты письма, адресованные автору некой дамой. Она вступает с «мистером Барнсом» в активную переписку, спорит с ним о судьбе и совпадениях, рассуждает о жизни и старости, не забывая рассказывать о своем житье-бытье в доме престарелых (*«Что у нас тут только не ходит! И мармелад хорошо идет, и слухи ходят. Ну как, вышло?» — спрашивают здесь друг друга про доставляющую всем немало беспокойства работу кишечника...»*). Последнее письмо, сообщающее о смерти этой умной и обаятельной старушки, оставляет чувство растерянности и утраты.

В рассказе Нобелевского лауреата минувшего года турецкого писателя **Орхана Памука** **«Смотреть из окна»** («ИЛ», № 12), как обычно, выбран оригинальный ракурс видения ситуации. Повествование ведется от лица стамбульского мальчика, отец которого тайком ушел из семьи, оставив жену с двумя детьми. Но трагедия униженной женщины вытекает из нештучными переживаниями самого мальчика, проигравшего брату все свои любимые вкладыши. Мать и сын — каждый погруженный в свою печаль, — словно живут в параллельных вселенных.

В рубрике «Документальная проза» публикуется фрагмент из книги «Гуантанамо», в котором итальянский журналист **Карло Бонини** вспоминает свое **«Путешествие в тюрьму для террористов»** на Кубе («ИЛ», № 12).

Многочасовые допросы предшествуют размещению заключенных в решетчатых камерах под палящим солнцем. Томящиеся в клетках, они напоминают побитых животных, на которых, как в зоопарк, приезжают поглазеть туристы. В лагере царит депрессия, граничащая с безумием. Цивилизованный мир живет под угрозой терроризма, безжалостного и кровавого в своих проявлениях. Но в своей борьбе цивилизация начинает использовать методы противника и сама становится воплощением зла. В воспоминаниях Бонини нет сочувствия, но нет и торжества. Есть объективный гуманизм, призывающий людей оставаться людьми даже в тюремных и военных условиях.

Обзор подготовила Ольга Маслова

2. Литературная критика

А. «Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Новый мир», «Октябрь», «Урал»

(Четвертый квартал 2006 г.)

Весь год в «Знамени» длилась дискуссия о русском языке, ради которой журнал даже создал рубрику «Родная речь», предоставляя слово филологам и философам, культурологам и педагогам². В 12-м же, завершающем год, номере **О СОСТОЯНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА** и собственной ответственности за него **ГОВОРЯТ ПИСАТЕЛИ. «Язык наш свободен...»** — так озаглавлена подборка их мнений. Максим Амелин напоминает, что споры о языке возникают в России примерно раз в столетие и всегда безрезультатны: язык наделен сильным охранительным инстинктом и в конце концов способен разобраться с заимствованиями, жаргонизмами и новыми смыслами, без помощи лингвистов отделить зерна от плевел. А то, что с языком нашим не все в порядке, отметил еще Петр Вяземский, чье мнение Амелин полностью разделяет. «Русские слова, — пишет он, — не слишком богаты оттенками значений, а для многих понятий вообще не существует именованый» — так, например, при богатейшем мате («предмете нашей национальной гордости») практически полностью отсутствует язык интимно-эротический. Кроме того, в русском языке практически отсутствуют (поскольку бездействуют) глаголы, считающиеся чуть ли не главными во всех романских, германских и славянских языках, — *быть* и *иметь*. «Последствия такого безглаголья катастрофичны», считает Амелин: носителям русского языка свойственно наплевательское отношение к жизни и собственности (то есть «бытию» и «имению»), прямо вытекающее из презрения к соответствующим глаголам. А тут еще пассивный залог, который довершает картину моральной катастрофы, «фактически оправдывая повальное российское бездействие и разгильдяйство зависимостью от обстоятельств и социальной среды». Так что нам ли бояться засилья англицизмов в СМИ и Интернете, когда у нас и родовых проблем — через край?!

Другой поэт, Виталий Кальпиди, настроен еще суровее: «Могучий русский язык не настолько могуч, не очень русский и не совсем язык. По крайней

² О некоторых из этих публикаций см. наш обзор в № 129.

мере, последнее столетие. Что бы с ним ни случилось, он достоин еще худшего. Почему? Да просто — в отместку. Именно наш язык формирует продажно-рефлексивную, патологически самопрощающую личность». И лишь одни поэты всегда борются с языком («возможно, они просто хотят стать ангелами»). Стихи же — развалины, остающиеся после такой драки. По их качеству можно судить, кто — кого, но только если побеждает язык, это скучно, а если автор, — мелко.

«Не трогайте русский язык. Он прекрасен, — вызывает **Алексей Цветков**. — И он принадлежит лично мне или любому другому русскому, а не Советскому Союзу или Российской Федерации, я получил его не из государственной инстанции или ученого конклава, а от родителей и друзей и намерен поступить с ним, как хочу». Защищая права языка, поэт в первую очередь протестует против защитников языка: любой язык развивается по собственным лингвистическим законам, и горе наречию, у которого появляются ревнители, блюстители и знаменосцы: тогда-то и рождается то, что Цветков называет *жандармским языковедением*. Возникает оно в государствах, склонных к деспотизму (пример тому — Россия и Франция), и вбивается в головы юных граждан силами «околоточных училищ». К главным инструментам такого лингвистического гнета относится, по мнению Цветкова, так называемый *литературный язык*, к действительности никакого отношения не имеющий, поскольку «это жандармская фикция». Но есть инструмент и пострашнее — «борьба с заимствованиями, которая прямо калечит язык, если борцы обладают реальной властью». А между тем, утверждает Цветков, «русский язык переживает небывалый подъем лексического творчества, ворует слова, придумывая заново или просто переиhrывая...» Ведь любой язык обогащается в основном путем заимствований, да и большая часть русской лексики была в свое время заимствована и вытеснила коренные слова. В первую очередь это утверждение относится к церковнославянизмам, которые принято считать исконно нашими, забывая, что искусственный церковнославянский язык создан на базе болгарского диалекта, то есть даже не из самой ближайшей родни — языка южнославянской группы, а не восточнославянской, как русский. «Оставьте мой язык в покое и бумажник тоже! — восклицает Цветков. — Существует единственно правильный язык — тот, на котором повседневно говорят его носители, вполне понимая друг друга. И никакие погони или ученые степени не дают права предписывать носителю». Но, разбив наголо всех жандармов от лингвистики, Цветков тем не менее не может удержаться от признания: «совершенно ясно, что часть лексики, нормально звучащей в бане или в баре, не вполне уместна на дипломатическом банкете». Распределять же, какая лексика к какому стилистическому слою относится и что хорошо для банщика, что — для атташе, Цветков вменяет в обязанность словарям, особо оговаривая, что они к лингвистической жандармерии не относятся. Не совсем, правда, понятно, почему.

«Язык — самый достоверный портрет человеческого сознания, — пишет **Игорь Клех**. — Состояние языка предсказывает общественные потрясения лучше, чем кошки землетрясения, — не за дни, а за годы и даже десятилетия». Писателю не вредно ощущать «ответственность перед языком», быть приверженцем умного консерватизма и при этом помнить мысль Чехова о

том, что перфекционизм — черта стилистически старческая и свидетельствует об окостенении. Многое, пишет Клех, становится на свои места, *«если относиться к языку как к полю незатухающей духовной битвы»*. Конечно, писатель и может, и обязан влиять на язык — хотя бы в пределах своего личного языка и речи, а вообще-то его дело — *«держать мысль в рабочем состоянии и любить плоть слова»*.

Причина того, что сегодня принято называть *«порчей языка»*, пишет **Светлана Кекова**, имеет прежде всего причины духовные; от них — и оскудение словаря, и деградация речи. Еще **Вячеслав Иванов** писал: *«Орудие потребностей повседневного обмена понятиями и словесности обыденной, язык наших грамотеев уже не живая дубрава народной речи, а свинцовый набор печатника»*. Это сказано в первые годы советской власти; то же, что происходило с русским языком дальше, на протяжении всего XX века, пишет Кекова, *«можно охарактеризовать как насильственную секуляризацию языка»* — того самого языка, который некогда, по словам того же Вяч. Иванова, *«был облагодатствован таинственным крещением в животворящих струях языка церковно-славянского»*. Такая секуляризация — дело не только грамотеев. Любой человек влияет на существование языка, в метафизическом пространстве которого остается все, что мы говорим. В этой сохранности *языковой личности* — одна из граней бессмертия. *«И еще, — пишет Кекова, — мне кажется, что есть рай языка и ад языка. Рай языка — это его соединение с логосом. <...> К сожалению, мы все сейчас погружены в ад языка... Задача любого нормального человека, а тем более человека, работающего со словом, — противостоять этому аду, не впускать его в свою речь»*.

Олег Павлов говорит, в сущности, о том же: язык — это духовные голоса людей. Сохранить этот духовный язык — значит уберечь от «порчи» — от пошлости, лицемерия, бездушия. *«Русский язык спасался правдой», — пишет Павлов. — «Главный инструмент художника — это его душа, и поменять что-то в настройке этого инструмента, привести его к такой гармонии, чтобы слово было чудом и правдой, может только пережитое, .. опыт страдающей души»*.

«Восточный ветер» да «западный ветер», — пишет Борис Екимов, — приходят и уходят, не в силах пошатнуть укорененное в веках и на широких просторах могучее древо русского языка, лишь освежая его, а значит, усиливая». Живая речь полнокровна и богата, а Интернет, газеты и журналы — достояние очень немногих сравнительно с почти стопятидесятиmillionным населением страны. И никакой «Новый мир» с его зауем, никакое «Знамя» с его «non fiction», «nomenclatura» или «Beaujlais Nouvea» при жалких тиражах серьезный урон русскому языку не нанесет. Так что *«балуйтесь, милые»*...

Евгения Щеглова, напротив, к толстым журналам относится с уважением и особенно высоко ставит **ЛИТЕРАТУРНУЮ КРИТИКУ**. В статье **«Герои наших романов. Как живет, борется, мечтает, страдает и пишет сегодняшний критик»** («Вопросы литературы», № 6), где речь идет о последних книгах **Наталии Ивановой** и **Андрея Немзера**, Щеглова пишет: *«...легче тому самому верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели нашему критику — отказаться от его, говоря высоким словом, миссии. И... какая погода на дворе ни будь, он, как и встарь, черное должен именовать черным, а белое — белым, .. пошлость называть пошлостью, дурновкусие — дурновкусием. Рейтин-*

ги и тиражи — не те идола, которым он поклоняется, <...> потому что... служит он Истине — даме требовательной и жестокой».

Писатель создает свой индивидуальный художественный мир, критик же — индивидуальный мир идей, где воплощается его идеал прекрасного, его собственная эстетическая вера, пусть даже это вера в неосуществимое. Так что **КРИТИКА В ВЫСШЕМ СМЫСЛЕ** — это исповедание утопии, пишет Валерия Пустовая в статье «**Китеж непотопляемый. Критика писателей как вид утопической литературы**» («Октябрь», № 10). Если же за критику берется писатель, он становится критиком в *наивысшем* смысле, поскольку в первую очередь реализует именно эту возможность непосредственного исповедания утопии — возможность *впрямую* заявить о своем кредо, выразить идеальные, абсолютные образы самого себя, критики вообще, своего читателя и литературы. Пустовая размышляет о критических сборниках трех писателей. У Олега Павлова как глубинные основы литературной миссии она обнаруживает вину и отчаяние, стремление к Добру и Истине и совершенное презрение к Красоте и литературности в литературе: *красивость дешевле выходит, чем правда*, и писать нужно *кровью, а не чернилами*. Дмитрий Быков, напротив, литературу и красоту воспринимает без чувства вины и вечную правоту склонен присуждать как раз не жизни, а искусству. Быкову прежде всего важно воспеть своего Героя, а в нем — *идеал собственной жизненной позиции, идеал самого себя*. «*Не случайно, что о Чехове, Тютчеве и Салтыкове-Щедрине Быков пишет как о своих других “я”*». Быковский идеал Героя — гордая личность, *маргинал, не покладаящий рук в надежде улучшить общую жизнь*; дело его безнадежно, борьба бессмысленна, а отчаяние и трагедия — плата за дар неусредненности. В отличие от обоих коллег, Кирилл Кобрин пафос изящества и точности ценит выше пафоса должностничества и последней правды. Он отлично чувствует себя в мире аналогий и отвлеченностей, выстраивая вокруг себя *убежище лучших реалий* и провозглашая, что *чтение — это и есть настоящее*. Подробно разобравшись с идейным миром каждого, сопоставив критические высказывания всех троих с их художественным творчеством, Пустовая приходит к оптимистическому выводу: если соединить достоинства всех троих писателей, получится идеальный критик, поскольку каждого из них отличают искреннее переживание за судьбу литературы, неравнодушие и бескорыстие в оценках, вера в подлинность творческого импульса и решимость «*строить священный град литературы, который ежедневно атакуют воды сиюминутной жизни, но который благодаря тем, кто в него верит, ... непотопляем*».

«*Начинающие литераторы — это та часть юности, что наиболее склонна к глубокой рефлексии, не закрылась броней “пофигизма” и способна внятно выразить в слове свое мироощущение*», — пишет Евгений Ямбург, воспринимающий **ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ** глазами педагога («**Дети и отцы: ключ к пониманию**» — «Знамя», № 10). Манифест поколения двадцатилетних — тех, кого автор статьи в прямом и переносном смысле относит к *плодам перестройки*, он находит в «*Потусторонниках*» Сергея Чередниченко. Вот лишь одна фраза из обширного монолога, в котором формулирует свои обвинения *отцам* герой этой повести: «*Под нашими ногами провалилась эпоха — у нас хронический нигилизм, он в крови*». Цинизм и отчая-

ние — два типа реакции на тотальную ложь. Но есть и третий: альтернатива вечному обману — высказывание жестокой правды, порой обнажающей и такое, от чего хочется отвернуться немедленно. *Дети* по-своему правы, пишет Ямбург, атмосфера обмана отравляла их с рождения, и сегодня они бьются над решением мучительнейших экзистенциальных вопросов, пытаясь понять, что с нами происходит. Так что «никакие они не “потусторонники”, а болеющие душой граждане своей страны», свидетельством тому — стихи Максима Свириденкова, рассказы Дениса Гуцко, Сергея Епихина, Ксении Стениловской. Мужество отчаяния толкает молодых авторов на бескомпромиссные оценки. Они беспощадны к миру взрослых, но еще беспощаднее к себе, они словно пишут донос на самих себя, однако «сквозь их эстетику не просматривается ни поза самолюбования, ни стремление к поэтизации “цветов зла”. Тексты точны, почти документальны...» В самом деле, пишет автор статьи, дети до хрипоты кричат о том главном, о чем предпочитают молчать «взрослые». Однако прямой и мужественный взгляд на изменившуюся жизнь, та неприглядная правда, которую вскрывают молодые писатели, — это еще не сама истина, а лишь первый шаг к постижению ее — своего рода «мертвая вода». А чтобы оживить героя, как известно из русского фольклора, нужен коктейль из мертвой и живой воды, и «живая вода содержится в не замутненных временем родниках культуры, бьющих на глубине религиозной и философской мысли». Упреки, которые бросает отцам герой Чередниченко, часто справедливы. А стало быть надо меняться и отцам — почувствовать свою ответственность перед новыми поколениями, сломать сложившиеся стереотипы, снова научиться читать, в конце концов. Потому что, как сказано в вынесенном в эпиграф стихотворении Максима Свириденкова:

Если время меняет лица,
Значит, лица меняют мир.

Все споры о **НОВОМ РЕАЛИЗМЕ** Ольга Лебедушкина объясняет тем, что, как и полагается в России, реализм у нас больше, чем реализм («**Реалисты-романтики**» — «Дружба народов», № 11). Новыми реалистами называют себя и двадцатилетняя молодежь, и литераторы под пятьдесят. Валерия Пустовая ведет их генеалогию от Сергея Шаргунова и относит к новым реалистам тех, кто родился в начале 80-х; Евгений Ермолин причисляет к ним четыре десятка представителей разных поколений, среди которых фигурирует даже и «поздний Пелевин»; Евгений Попов выстраивает собственный перечень, никак не совпадающий со списками Ермолина и Пустовой... Самой же Лебедушкиной вся эта возня с новым реализмом, а заодно и бесконечно выкрикиваемые манифесты кажутся признаком культурной амнезии, поскольку «в результате процветания реалистической прозы все больше получается официальная литература времен позднего застоя, годов этак 1970-х, только без цензурно-редакторских купюр». Штампы и клише тридцатилетней давности забили и даже приобрели свойства «новизны», и сегодня, как когда-то в «совписовской» прозе, безликую массу новых реалистов (имеются в виду не пять — шесть безусловных лидеров, а многочисленные фигуры второго ряда) отличает и сплачивает общее для всех «отсутствие неповторимого вкуса реальности». К тому же новые реалисты панически боятся быть заподозрен-

ными в стилистических изысках, интертекстуальности и прочих постмодернистских штучках, что на деле оборачивается профессиональной небрежностью и элементарным *снижением техники письма*. В свою очередь критикам, группирующимся вокруг идеи *нового реализма*, свойственна, по суровому суждению Лебедушкиной, «*фантастическая, запредельная ветхость методологического инструмента*». Словом, не молодость и новизна, а дряхлость и старческая сутулость — приметы *нового реализма*, который существует «*между XIX веком и пустотой*» и для которого также характерно романтическое мирозерцание — уверенность в своем праве судить мир (старшее поколение, страну, жизнь, эпоху, Бога) и в собственной сиротской свободе от какой-либо ответственности, что лучше всего сформулировал персонаж Ника Лукминского: «...мы пришли из ниоткуда, и нет на нас первородного греха». Это вовсе не означает, что герой новой прозы не терзается сомнениями и не знает душевной боли, — еще как терзается, просто все это направлено исключительно на себя самого, в любой же диалог с другими он вступает, предварительно заткнув уши. Оттого-то и выходят сплошные монологи, риторические вопросы и манифесты: «*Кому подражать? На кого равняться? Нет идеалов. Нет образцов<...> Я не отличаю добро от зла*» (героиня Маринны Кошкиной). Отсутствие образцов, отсутствие четкой этической системы есть отсутствие культуры, указывает Лебедушкина, а культура, разрушаясь, замещается *природой*; мир человеческих отношений превращается в царство фауны. И не только возмущенные критики, рассуждая о прозе двадцатилетних из антологии Ирины Денежкиной, употребляют эпитеты: «зверьки», «озлобленные», «агрессивные»; сами *новые реалисты* воспринимают себя и окружающих исключительно в зоологических категориях, — недаром одним из любимых становится определение «плотоядный», то и дело мелькающее у Кошкиной, у Чердниченко, у Прилепина, будто разясняя: *да, все мы хищники и живем в хищном мире*. Ведь это именно в царстве природы — все без греха и никто ни в чем не виноват. Герой новой реалистической прозы не способен испытывать радость: пресна и тускла для него не только жизнь, но и смерть; счастьем нынешних молодых не соблазнить; «*кайф*» для них изначально *тождествен «облому»*, а жизнь описывается по принципу — «*было как оно есть*». И «*нового*» в этом реализме сравнительно с реализмом раннего Горького или Леонида Андреева — лишь то, что сострадание к униженным и оскорбленным сменилось бесстрастностью. Однако Лебедушкина обнаруживает и отрадный пример своего рода конструкции от противного, попытку преодолеть изнутри пенсионерскую «*новореалистическую*» тенденцию. Молодежной прозой с противоположным знаком автору статьи представляется дебютный роман Натали Ключаревой «*Россия: общий вагон*», где есть не только положительный герой, но, что особенно важно, свой язык, своя запоминающаяся интонация, и при этом роман отзывается самими разными культурными ассоциациями и звучит на разные голоса.

О парадоксальном единстве, подразумеваемом сегодня под словосочетанием «**МОЛОДАЯ ПОЭЗИЯ**», пишет **Евгения Вежлян** («**Портрет поколения на фоне поэзии**» — «Новый мир», № 10). Собственно говоря, понятие *молодая поэзия* включает в себя не одно, а два поколения поэтов; условно их можно обозначить как «тридцатилетние» и «двадцатилетние». Дебютировав-

шие в 90-е *тридцатилетние* — дети позднего совка и ранней перестройки. Так или иначе определялись и утверждали свой статус они относительно «Вавилона» литературного сообщества, созданного Дмитрием Кузьминым. Творчество «вавилонян» было принципиально маргинальным, поскольку традиция, культурная мифология и самое *поэзия* воспринимались ими как нечто внешнее — нечто, от чего следует дистанцироваться да еще и всячески эту дистанцию подчеркнуть. Другая часть *тридцатилетних* — та, что была «призвана» толстыми журналами и в первую очередь «Арионом» (Максим Амелин, Глеб Шувляков, Дмитрий Тонконогов, Инга Кузнецова, Санджар Янышев, Борис Рьжий и др.), — как бы сделала шаг назад от господствовавшего постмодернизма и в качестве сознательной стратегии выбирала традиционный стих. Но, пишет автор статьи, этот островок «прекрасной эпохи» просуществовал недолго, и всего через несколько лет на свет явилась поэтическая эстрада, и «почти буквально ниоткуда, из *Интернета*, набежали авторы, они же публика, со своими кумирами, со своими лидерами, со своей иерархией и мощной организацией». Поэты поколения *двадцатилетних* воспринимаются пока что не по одиночке, а как общность или своего рода коллекция: при всей несхожести они «отличаются единством стиля, зачастую *подозрительным*», и «хорошо смотрятся в поэтических сериях». От *тридцатилетних* их радикально отличает то обстоятельство, что опыта проживания 90-х у них нет. Нет у них и того культурного багажа позднесоветской эпохи, которому противопоставляли (или с которым ассоциировали) себя их предшественники: их школьные годы пришлось на то время, когда не только стал распадаться литературный канон, — когда и самое чтение сделалось необязательным. И если *тридцатилетним*, чтобы написать «как нельзя», приходилось прилагать усилия, у *двадцатилетних* это получается само собой, слова у них *словно подчеркнуты не нагружены предыдущими употреблениями* — просто потому, что литературные образцы для них если и существуют, то где-то на периферии сознания. «Это, — пишет Вежлян, — пожалуй, первый прецедент поэзии “без контекста”», и единственные, кого *двадцатилетние* признают как литературных предшественников, — их *тридцатилетние* собратья по перу. Поэзия *двадцатилетних* продвигается от зарисовки к зарисовке, от ощущения к ощущению, становится продолжением эсэмэски, записи в «Живом журнале», телефонного разговора... Вежлян полагает, что в *пробирке «Дебюта»* и *реторте «Вавилона»* выработался новый стиль, за которым будущее. «А что до того, что некоторым приход нового поколения кажется “атакой клонов”, — заканчивает свою статью Вежлян, — так это новая раса. Просто мы еще не до конца научились различать ее представителей».

Свою статью о романе Бориса Акунина «Ф. М.» Алла Латынина озаглавила строчками из песни Б. Гребенщикова: «Когда Достоевский был раненный и убитый ножом на посту» («Новый мир», № 10). В «Ф. М.», сюжет которого построен по принципу компьютерной игры и где литературный мир Достоевского густо насыщен разнообразными элементами *МАССКУЛЬТА*, герой охотится за неизвестной рукописью писателя. История же создания повести «Теорияка» так правдоподобно переплетена с подлинными фактами биографии Достоевского, что на крючок могут попасться даже искушенные читатели. И хотя действие лишено психологической достоверности и

полно логических противоречий, это совершенно не важно, поскольку всякий *«персонаж здесь — просто функция сюжета, он принимает участие в игре, помогая или мешая герою пройти новый уровень»*... Акунин демонстративно предлагает сыграть с ним в игру и сам этой игрой захвачен. Но есть одна вещь, к которой, как пишет Латынина, автор, судя по всему, относится всерьез, — это сама разыскиваемая повесть. Акунин-Чартишвили, как подозревает критик, задался целью выполнить удачную стилизацию и тем самым потягаться в мастерстве с великим писателем. Однако *«играть с Достоевским получается, а вот писать под Достоевского — никак»*, и на сочинение Достоевского «Теорийка» походит, как неудачная пародия на оригинал. Впрочем, Акунин, похоже, понял это и сам, потому что посреди повествования бесценная рукопись в одночасье превращается в отвергнутый автором черновик — неудачу и «чушь», забракованную самим Достоевским. Итак, шедевр внезапно обесценивается, что наносит сюжету тяжелый урон: ведь герой-то и его противники охотились за сокровищем, а не за мусором, пусть и мемориальным. И чего бы Акунину не написать стилизацию поталантливее?

ФАНТАСТИКА все увереннее переходит в разряд «серьезной» литературы, становясь в наше время чуть ли не единственным способом говорить о вещах и явлениях адекватно, пишет **Мария Галина** в небольшой заметке **«Творцы миров»** («Знамя», № 11). Речь, собственно, идет о романе **Ивана Охлобыстина «XIV принцип»**. На первый взгляд, пишет Галина, роман вполне укладывается в схему фэнтези-киберпанк, живописующего приключения героев в мире высоких технологий. Книга, написанная отцом Иоанном, так и начинается: придумана увлекательная компьютерная игра, ее автор и несколько его друзей начинают в нее играть, обретая невиданные доселе возможности и постепенно выясняя, что внутри игры находится гораздо комфортнее, чем в реальной жизни, и, дабы разнообразить игру, некогда сплоченная группа друзей с общего согласия разделяется на силы Добра и Зла. А дальше, следуя закону самоорганизующихся систем, виртуальный мир переходит на качественно иной уровень, становится полностью реальным и начинает представлять угрозу и для нашего мира, и для себя самого; нависает перспектива «последней битвы», Армагеддона, и тогда приходит Спаситель... Иными словами, от принципиально внеэтичного, агрессивного и зачастую инфантильного мира киберпанка роман Охлобыстина отличается коренным образом: сотворенный по человеческому представлению мир начинает существовать по независимым от человека законам, по тем же непреложным законам в нем «как бы сама собой» возникает этическая система. *«Перед нами, — пишет Галина, — едва ли не беспрецедентная попытка создать христианский текст на суперсовременном материале, — причем текст, далекий и от заигрывания с верующими, и от назойливых нравоучений, и от умильного сосюканья. И гораздо более тактичный, чем... православные фантастические боевики, где бесовское воинство подлежит буквальному истреблению под небом Среднерусской возвышенности»*.

Предмет рассуждений **Александра Ананичева — ОБРАЗ АМЕРИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЭТОВ** («Поездка в Америку» — «Москва», № 10). В ходе проведенного исследования Ананичев выяснил, что об Израиле, Франции, Германии или Италии литераторы пи-

шут чаще и охотнее, нежели о США. Если же Америка все-таки упоминается, то, как правило, с негативной оценкой. Едва ли не единственное исключение — Иосиф Бродский. Абсолютное же большинство русских поэтов подобны Свидригайлову, который, планируя самоубийство, говорил: «*Уезжаю в Америку*», — и ассоциируют эту страну со смертью — со смертью духовной. «*Здесь я — кит на песке...// Я живу как в гостях*», — пишет Наум Коржавин. — *Странный сон... Длится жизнь...// А ее уже в сущности нет*». Не становится родной Америка и для Александра Межирова:

...За бусурманский
За англиш этот, за американский
Как следует он так и не засел,
Три слова знает: шоппинг, чендж и сейл.

Евгений Евтушенко — и тот охладел к Америке с ее хваленной демократией:

Я в Америку прыгнул,
Но цвет и ее бюрократии сер,
Будто я в перевернутом СССР.
Что мне делать с тобою, свобода?
Неужто проклясть?
Попроситься назад, где о всех
заключенных заботится власть?

Заканчивается же статья цитатой из стихотворения Инны Кабыш:

...Кто варит варенье в июле
В чаду на расплавленной кухне,
Уж тот не уедет на Запад
И в Штаты не купит билет,
Тот будет по мертвым сугробам
Ползти на смородиновый запах...

На чужой земле нет ни сугробов, ни расплавленных от смородинового чада кухонь, на которых десятилетиями иные наши соотечественники грезили о заокеанском «рае», резюмирует Ананичев, довольно искренне полагая, что все процитированные им стихи — о том, какая плохая страна Америка. Иными словами, — уж позволим себе додумать, — будь она получше, окажись нафантазированный в советских кухнях американский «рай» и впрямь раем, — и можно было бы так не убиваться ни по оставленной России, ни по уходящей жизни, ни по утраченному смыслу. Что-то, на наш взгляд, не сходится в этой патриотической риторике. Но есть в этом обзоре вещи посерьезнее, чем отсутствие здравого смысла. А именно — откровенная подлость. И когда Ананичев сообщает читателю, что Америка сама виновата в 11 сентября (какой же еще участи заслуживает мир чистогана, если даже у тех, кому вот-вот предстоит погибнуть, из карманов сыплется мелочь?! — «*Существенная деталь и символичная*», — пишет «московский» моралист), и когда по существу клеветает на поэта, запечатлевшего эту мелочь, приписывая этому поэту свое собственное злорадство, как-то неловко становится и за такой патриотизм, и за такой морализм, и за такой образ России. И хочется извиниться — и не только перед Америкой и жертвами 11 сентября, но и перед Виславой Шимбор-

ской, которая ради красного словца и «*символичной детали*» была включена Ананичевым в число российских поэтов и чье стихотворение «*Сфотографированное 11 сентября*» было оклеветано им. Защищая доброе имя польской поэтессы, приведем это стихотворение полностью (перевод Асара Эппеля):

Прыгнули с горящих этажей вниз —
один, двое, несколько
выше, ниже.

Фотография остановила их в живых
и сейчас упасает
над землей, к земле.

Каждый пока еще цельность
со своим лицом
и надежно упрятанной кровью.

Еще довольно времени,
чтоб разметало волосы,
а из кармана вывалились
ключи и, конечно, мелочь.

Они пока что в пределах воздуха
в его отрезках,
которые мгновение как отворились.

Всего-то две вещи я могу для них сделать —
описать полет
и не ставить последней фразы...

Статья **Леонида Костюкова «Заговор покемонов»** («Дружба народов», № 10) посвящена сборнику Юнны Мориц «По закону — привет почтальону». Первое впечатление критика — очень толстая книга: *«очень-очень толстая книга стихов, написанных за небольшой период времени. Чтобы добиться такого объема, надо а) писать стихи очень часто (примерно ежедневно); б) писать довольно длинные стихи»*. Второе впечатление: в массе своей стихи эти — *умышленные, созданные*. Не ставя под сомнение мощь таланта и версификаторское мастерство Мориц, Костюков пишет о *метафизической* неудаче ее книги: *«Поэт Юнна Мориц живет в мире, который — судя по стихам — ее активно не устраивает <...> Но невозможно долго и горячо писать о том, к чему ты относишься прохладно...»* Трудно писать о ничтожном, получается не поэзия, а рифмованная публицистика, порой впадающая в явную безвкусицу — «*сорочкинцку, мамлеевичку*». К примеру, вот это, до неразличимости напоминающее садистские частушки:

А в Чили, когда мочили,
Подвалы кровоточили,
И плыло людское мясо...

Пафос Мориц, пишет Костюков, — пафос *последнего подлинного поэта, трагически противостоящего* миру зла. Но чему же противостоит *последний поэт*? Костюков убедительно показывает: миру, не реально существующему, а населенному кошмарными *мультипликационными монстрами*. Миру,

существующему лишь в воображении самой поэтессы, потому что «*по адресу обвинений Мориц люди не живут*» и все прокламации, манифесты и заявления, брошенные в лицо мировому мультизлу, хоть и эффектны, но совершенно огульны. Оттого-то книга, оснащенная внушительным арсеналом стихотворной техники, становится «*настоящей энциклопедией банальностей и общих мест*». Поэзии здесь почти нет, потому что поэтесса «*очень много рассказала нам о своих антипатиях, но ничего не доверила*».

Противопоставление себя миру, продолжает эту же тему Леонид Костюков в статье «С собой и без себя» («Арион», № 4), свойственно детству. По мере же взросления человек все больше осознает себя частью мира; его «я» оказывается далеко не таким уж исключительным и вполне встраивается в разнообразные «мы», а лирика выворачивается в эпос. Принято считать, что поэзия — по большей части лирика, а проза — по большей части эпос, но Костюков это утверждение оспаривает. Коренное **ОТЛИЧИЕ МЕЖДУ ЭПОСОМ И ЛИРИКОЙ** он формулирует так: «*лирик пишет о том, что любит, а эпик любит то, о чем пишет*». Лирик заиклен на себе и своих ощущениях, его инфантилизм и бытовая неприспособленность вошли в поговорку. Жизнь для него — лишь эмоциональный полигон, а мир и другие люди необходимы как объект переживания; к тому же расширение границ лирического «я» вынуждает его переступить через скучные нормы человеческого общежития. Лирику важна интенсивность чувства, а она требует постоянной новизны и меркнет от повторений, поэтому для лирика нет ничего страшнее повседневности. Но в отрыве от повседневности жизнь исчерпывается много быстрее, чем проживается естественным путем, свежесть впечатлений уходит, интенсивность чувств спадает, остается лишь сделать последний шаг... Или повзрослеть и перейти к эпосу, потому что дорога чистого лирика, лирика от начала и до конца, отчетливо ведет в петлю. Многих и привела... Но, замечает Костюков, закон о тождестве поэзии и лирики не абсолютен, и буксует он как раз на вершинах поэзии: большие поэты редко бывают чистыми лириками, редко бывают даже лириками по преимуществу — взрослеют, перестают упиваться собственными эмоциями, переходят к поэтическому эпосу. Это и есть, подчеркивает Костюков, нормальный путь поэта. Тех, в чьей поэтической речи эпос обжился вполне, в статье названо несколько: Борис Херсонский, Андрей Родионов, Валерий Нугатов, Мария Галина, Сергей Гандлевский...

Одни и те же человеческие чувства, одни и те же мысли о вечном равно обуревают и истинных поэтов, и упертых **ГРАФОМАНОВ**. Результат только получается неодинаковый, пишет Владимир Блинов («Извечная маета графоманов» — «Урал», № 11) и цитирует следующие перлы версификации:

Не люби меня, милый, вполсилы,
Пусть любви полыхают огни...
Я за ноздри тебя полюбила:
Как двустовка для сердца они!

И еще — другого автора:

Жизнь такова, какова она есть,
И больше — никакова!

Обзор подготовила Ирина Дугина

С. «Звезда», «Нева»
(Четвертый квартал 2006 г.)

Своими впечатлениями от монографии А. Сковрцова «Игра в современной русской поэзии» (Казань, 2005) делится Леонид Дубшан («Этот ктё тяжёлый класивый», или Игра в нагрузку» — «Нева», № 12). Сковрцов классифицирует поэзию по способу отношения к художественной игре, используя вполне традиционные названия: поэтов он разделяет на «архаистов», «новаторов» и «центристов». Но все не так просто: к примеру, в группу «архаисты» он объединяет таких разновозрастных поэтов, как Олег Чухонцев, Юрий Левитанский, Давид Самойлов, Александр Кушнер, Дмитрий Быков, давая им такую общую характеристику, указывает Дубшан, будто речь идет о Ломоносове и Сумарокове. «Новаторы» же — это Александр Еременко, Всеволод Некрасов, Лев Рубинштейн, Дмитрий Александрович Пригов и т. д. То есть те, кого отличает *игра как цель*, то есть, как пишет Сковрцов, «*принципиально бесполезный, непрагматический характер творчества*». «Центристы» — это, по Сковрцову, Иосиф Бродский, Тимур Кибиров, Сергей Гандлевский, Игорь Иртеньев, Александр Цветков. Дубшан утверждает, однако, что книгу характеризует не исследовательский, а чисто вкусовой, пристрастно-любовный характер.

Исследование Валерия Барзаса называется «**А. П. Чехов и “еврейский вопрос”**» («Нева», № 10). В статье утверждается, что классик пережил «еврейский вопрос» с юмором, во всяком случае, стремился к этому. Чехов, сказано в статье, «действовал по известной русской манере — “бьет,— значит любит”», так что «евреи могли бы назвать Чехова “антисемитом” скорее в том случае, если бы он обошел их своим насмешливым вниманием. Это была бы подлинная дискриминация по национальному признаку...» Тем не менее судить Чехова по нашей эпохе, где был Холокост, нельзя, поскольку «в активе» тогдашней России было, полагает В. Барзас, «лишь несколько почти бескровных еврейских погромов». Автор призывает не идеализировать Чехова, а отнестись к нему «с сочувственным пониманием».

С. Гедройц пишет о книге Александра Проханова «Теплоход “Иосиф Бродский”» («Звезда», № 11). Читать эту книгу, утверждает критик, нелегко: то скука одолевает, то безразличность. И все оттого, что «такая странная у этого Александра Проханова творческая фантазия, что разжигается только гнусным. Обыкновенное убийство, нормальный секс у него выходят тусклыми донельзя. А гнусные — ничего, впечатляют». Понятно, что это «тот случай, когда у автора недержание, а он думает — это талант».

Обзор подготовила Евгения Щеглова

Беседы в редакции

Продолжая нашу традиционную рубрику «Беседы в редакции», мы предлагаем вниманию читателей интервью Сергея Арцибашева, одного из значительных и серьезных мастеров современного российского театра.

Сергей Николаевич Арцибашев родился в 1951 году в селе Каляя Свердловской области. Известность молодому режиссеру принес дипломный спектакль «Надежды маленький оркестрик», выпущенный в 1981 году на сцене Театра на Таганке. В 1989 Арцибашев был назначен на должность главного режиссера Московского Театра Комедии, через два года переименованного в Театр на Покровке. С января 2002 года — художественный руководитель Московского академического театра им. Маяковского. Лауреат Государственных премий, народный артист России.

Об искусстве, судьбе и взглядах на жизнь с Сергеем Арцибашевым беседовали Игорь Виноградов и Ирина Дугина.

Сергей АРЦИБАШЕВ

ДЛЯ МЕНЯ ТЕАТР — ЭТО ХРАМ...

Интервью режиссера Сергея Арцибашева журналу «Континент»

Вы родились где-то далеко на Урале. Как же вышло, что избрали профессию режиссера? Или это получилось случайно?

Нет, не случайно. Я с детства думал, что буду либо учителем, либо тренером, либо актером. А потом понял, что все это есть в режиссуре — и учитель, и тренер, и актер. К тому же в поселке была такая унылая жизнь... Там, в поселке, и состоялся мой дебют — организаторский, то есть почти что режиссерский: когда в газетах объявили турнир между детскими футбольными командами «Кожаный мяч», мне было уже тринадцать лет, и я решил организовать все это у нас. Я ходил по кварталам, собрал восемь команд и организовал все по-серьезному: отец дал трактор, расчистили, сделали поле, ворота поставили, и мы, детская команда, стали проводить тренировки. Я увлекался спортом и знал все правила, все как положено, форму организовал, судей, с протоколами, с оценками, и восемь команд играли в два круга, — чемпионат просто. В своей команде я был и тренер, и вратарь, и дублеров готовил по группам, начиная с семилетнего возраста. И это все с расписанием тренировок, с таблицами, кто куда пасует... И мы выиграли первенство, и поехали в район, и там побеждали всех, и в финале у детской спортивной школы выигрывали, — и выиграли бы, если бы судья время раньше не остановил...

Но футбольный тренер и театральный режиссер — все-таки не совсем одно и то же...

В театральное я хотел идти уже после восьмого класса (в Свердловске принимали после восьмого), пришел к отцу и сказал, что хочу пойти в театральное. Он, конечно, знал, что я занимаюсь театром, в кружках участвую, и на сцене меня видел (я ведь даже на фортепьяно учился играть, правда, недолго, — брал уроки у одной женщины. Платили не деньгами — молоком. У моей учительницы был инструмент, а у нас дома, конечно, не было, но я устроил себе что-то вроде немой клавиатуры — и занимался). Но отец сказал, что это не профессия: все артисты пьяницы, все артистки проститутки; получи профессию, а уже потом думай... А отцу перечить нельзя было, он орел был такой, гроза поселка, мастер лесоразработок, красавец мужчина... И я пошел в политехникум, — тем более, там уже два брата учились. Это ведь был Свердловск, мне же надо было просто вырваться из поселка...

Вы собирались связать судьбу с театром. А в театре-то когда-нибудь бывали?

Нет, театра я никогда не видел, поэтому я и рвался из поселка. К нам и артисты-то никогда не приезжали. Поселок такой заброшенный, самый дальний был. И когда я вырвался в Свердловск, с первой стипендии стал копить деньги — на театр. Я не хотел идти кое-как на входной билет: первое посещение должно пройти достойно... Накопил, потом пришел в кассу и спросил, какой у них самый лучший спектакль. Мне ответили, что все хорошие. Я говорю, что в первый раз в жизни иду в театр и хочу лучший спектакль и лучшее место, чтобы впечатление получить. Кассирша говорит: «Мещане» Горького. И дала мне билет на самое лучшее место — в центре, у прохода. И у меня был праздник. Я пришел получить представление, что же такое настоящий театр. И вот когда занавес распахнулся, и на меня пахнуло этим клеєм, папье-маше, этим запахом грима, театральной пыли, я сразу почувствовал: это мое. Всё, это мое!

И бросили техникум?

Нет. Просто пошел в кружок, в народный театр. Но там мне не понравилось: не понравилось, что режиссер требует сразу результата. А это был Кальдерон, «Дама-невидимка», и я в пятнадцать с половиной лет играл роль Косме — роль возрастная, а я пацан молодой. И я чувствую: что-то здесь неправильно, что-то здесь не так, какая-то неправда, и я неестественно как-то делаю, наигрываю. Что же делать? И я пошел в библиотеку — центральную, которая подольше работает, потому что занятия, спорт (я самбо занимался), и после занятий этих я каждый вечер до десяти, пока работает библиотека, давай штудировать. Кто у нас там по театру главный? Станиславский. Начал Станиславского читать, все его труды: «Работа актера над собой», «Моя жизнь в искусстве»... Читаю, как это в театре происходит, и вижу, что вот тут правда, тут какая-то органика, тут мне интересно... И я в этой библиотеке перечитал все книги из разделов «театр», «режиссура»... И так я за два года изучил всю теорию режиссуры всех направлений — Брехт, Мейерхольд, Вахтангов... Очень хотелось иметь что-то при себе, но денег-то

не было, а тогда была такая энциклопедия театральная, пятитомник. Я понимал, что никогда не смогу себе ее купить, и я брал тетрадочку и все, что меня интересовало, туда переписывал: о режиссерах, актерах, драматургах, — ну все, что связано с театром... Так что у меня была своя энциклопедия. Когда я потом пришел в ГИТИС, мне все это уже не надо было учить, теоретически я был готов. Так я набирался всей этой премудрости и мог выбирать, что на душу ложится. Сразу же лег Станиславский. Потом стал выбирать, прикидывать — и опять пришел к Станиславскому: вот оно, здесь фундамент... Я почувствовал тут органику, — что это не кривляние, что это серьезно, что это база, без которой ничего не может получиться.

И применили эти знания в народном театре?

Конечно, мне очень хотелось проверить, как все это может быть практически. Но не в народном театре, конечно. Там же другой режиссер, не я. И вот последний курс техникума, надо защищать диплом, а я объявил, что набираю театральную студию при техникуме. Пришли, естественно, первокурсники, в основном девочки, надо было с ними что-то ставить. Я взял пьесу и в течение учебного года месяцев за пять-шесть сделал с ними спектакль. Я делал все по школе Станиславского и сам был потрясен, как они перевоплотились, эти девочки, которые и стихи-то умели читать только «по-школьному». Девочки все до одной серьезно работали, приносили мне автобиографии своих героинь, — придумывали, как и где они родились. Это было «Отважное сердце» Иды Эвальд — одноактная пьеса про революцию, которая всегда идет в самодеятельности: там четыре или пять женских ролей, — ведь юноши в театральные кружки забредают редко. Я роли предложил всем выбрать себе самим. И вот одна девочка пришла, робенькая такая, ей очень трудно было просто грубое слово произнести, она краснела сразу. А выбрала одну из ярких ролей — Соньку-Золотую ручку, проститутку. Я сказал: хорошо. А сам думал, перевоплощение по Станиславскому — как это у нее получится? Не уверен был. Она когда пришла в студию, так даже стихи читать не могла — так краснела. А потом она сочинила автобиографию и нашла мотивации, как она попала в эти проститутки, как дошла до жизни такой и при том осталась человеком, потому что она там совершает благородные поступки и идет чуть не на смерть, спасая разведчицу. Не было актрисы только на роль надзирательницы, и я загримировался и сам сыграл ее. Это первое у меня было соединение актерской и режиссерской работы. А на премьере я был просто потрясен тем, как зал принял. Пришли школьники, — это рядом со школой; полный зал нагнали этих школьников, огромный зал — 400 мест. Час с лишним шел спектакль, и школьники смотрели замерев: так эмоционально точно сыграли мои девочки. Так что мы победили, это была серьезная реалистическая работа. И я в эту систему поверил не только теоретически: я ее практически проверил и понял, что, кроме всего прочего, это демократично, никто ни на кого не давит, человек идет от себя, находит в себе какие-то внутренние запасы, привносит и создает нечто — образ... И возникает уже какое-то новое художественное произведение. Ну, так вот отсюда и пошло все.

Вам было восемнадцать лет. Вы закончили техникум. Это что означало — армию?

Ну да. Правда, я думал, что останусь в Свердловске и буду служить где-нибудь в оркестре или в спортивном клубе. А оказался в самой настоящей армии — под Псковом, в пушкинских местах, за колючей проволокой в ракетных войсках, без выездов, без увольнительных. Ну думаю, ладно, что же делать, два года потрачу на самообразование: библиотека там была... Все-таки пошел в клуб: тянет театральщина эта. Смотрю, кто-то стихи читает, кто-то на гитаре играет. Думаю, подходит 7 ноября, предложил концерт какой-нибудь к празднику сделать. Начал понемножку. А там пошло, выгнали за пьянку из дивизии музыкантов каких-то, и у меня появился не только гитарист, но и саксофонист. Трубоч появился, потом танцор. В общем, к 7 ноября секрета́р organized целый ансамбль песни и пляски. Но и хор же нужен, а так просто никто в него не идет. И я так потихонечку к каждому подхожу и говорю, что если мы сделаем концерт классный, нас будут всюду приглашать, будем ездить по поселкам, выступать. И послушали. Хор собрался восемьдесят человек: народ в него так и побежал, ведь нет другой легальной возможности выехать за пределы части. Восемьдесят человек хор, чтецы, музыка, песни, танцы, — и концерт действительно прозвучал. Тут у них уходит на дембель организованная комсомольской организации. Надо искать замену, а чего ее искать: вот же он, смотри, какую организовал самодеятельность. Давай в секретари освобожденные! Ну, так вот и стал я в результате освобожденным секретарем — от всего освобожден и кругом начальник: клуб — подо мной, библиотека — моя, кино — мое, я секретарь всего дивизиона. И все хорошо: скоро стали мы лучшим дивизионом в дивизии, показательным дивизионом. А я, надо сказать, вел себя нагло, потому что защищал интересы солдат. Например, добился того, чтобы каждую неделю менялись фильмы, сам ездил за ними во Псков, выбирал, какие получше. Комбат меня за это ненавидел, все время говорил: не положено, вы особые. А я ему: я работаю с комсомольцами, мы служим Родине, а Родина — вот она, рядом с нами — Пушкинские Горы, только люди сидят бедные за колючей проволокой и никакой Родины не видят. Надо организовать экскурсии в Пушкинские Горы, во Псков, чтобы солдаты все увидели и осознали, что они защищают в самом деле. А в ответ опять: не положено, товарищ, вы особые. Мой-то комбат меня ругал, а старший в дивизии поддерживал: я ведь у них был как бы показательный, и они меня в обиду не давали. Как меня накажут, я сразу туда и жалуюсь: дескать, не дают работать. И в итоге каждое воскресенье — автобус в Пушкинские Горы, 30 человек, и во Псков — 30 человек. А какое сразу уважение у солдат: это все Арцибашев пробил! Люди дорожили этими поездками, порядок установился идеальный: никаких самоволок, никакого бардака. Оставляли меня там: в партию, говорят, пойдешь, в академию... квартиру, всё-всё обещали. А я — нет, мне в театральный институт поступать.

И Вы поступили в театральный институт?

Нет, в ГИТИС я поступил только через четыре года, в 1976-м. Сразу после армии я сдавал в него, но срезался сходу. Набирала Мария Осиповна Кне-

бель, к которой я хотел: знал, что это ученица Станиславского, актриса МХАТ, известный режиссер, конспектировал ее книжки... Поступал к ней, но первый экзамен — актерский, а я не был готов. Я теоретически подготовлен был, по режиссуре — пожалуйста, а актерский — читать надо, стихотворение, басню, прозу... А я это упустил. Надо было ехать в Свердловск. Но я сначала здесь походил: хотел остаться в Москве и куда-нибудь пристроиться в театр — хоть монтировщиком. Куда? Конечно, во МХАТ, в первый театр страны, там Ефремов, — я же все знал, штудировал. Пришел туда, говорю, вот, после армии. Завпост обрадовался: молодец какой, говорит, хочешь в театр? Я говорю, что готов монтировщиком или кем угодно, только в театр, чтобы на репетициях быть, а потом на режиссуру поступать. Он говорит, что как раз Олег Николаевич курс набирать будет. А я-то так и выстраивал, такой вот путь и намечал. Все отлично, только я ведь не из Москвы, мне жить негде. Он обещал что-нибудь придумать, в общежитие, может быть, пристроить. Но я к тому времени был уже женат. А с женой уже не было возможности пристроить, не получилось. Пришлось возвращаться на Урал.

Поехал в Свердловск, в театральное училище. Думал, если поступлю, позанимаюсь актерством год, а летом опять приеду поступать в Москву. Но я уже буду при деле, уже студентом. Не поступлю — назад в училище, а через год опять... В конце концов я их добыю когда-нибудь. И поступил, не особо-то и старался. Поступил средненько, середнячком, определили мое амплуа как комик-буфф. Начались занятия, я сижу себе спокойно, смотрю, как обучаются. Прошло месяц, два... Что случилось, я не знаю: прозрение, судьба, счастье, везение? Руководителем курса у нас был Василий Константинович Козлов, ведущий актер, опытный педагог. Это был 72-й год, то есть в декабре должно было отмечаться 50-летие Союза. Каждый курс отвечал за определенную республику и должен был готовить концерт, и нам, первому курсу, досталась Белоруссия. И вот Козлов почему-то объявляет (до декабря еще месяца два, и мы все знакомимся только), что отвечать за этот концерт будет Сережа Арцибашев. А я сидел где-то на заднем плане, не совался никуда, так сидел спокойно, наблюдал больше. Ну вот, концерт мы, конечно, сделали, — и он получился лучший в училище. А потом назначали старосту, — назначили меня. На полгода: Козлов сказал, что через каждые полгода будет назначаться новый староста, чтобы все могли ответственность почувствовать. А через полгода опять меня назначили, и так до конца выпуска...

И вот тут я думаю: раз Козлов так обратил на меня внимание, чего зря время терять? Вы меня — комиком-буфф?! А если по системе Станиславского? Я же ведь внутри трагик. Но как вас переубедить? И я так понемножку (там ведь самостоятельные упражнения) делаю этюды с драматическим уклоном. Это все так негласно. Пусть видят, что я не только комик-буфф, но и драматический комик! Проверяю. Прошло! Хорошая, говорят, работа. А давайте и в учебной работе выявим? И вот Козлов дает мне отрывочек драматического комика. Я думаю: раз уже драматического комика дали, пойду-ка я теперь в социальные герои, попробую и это амплуа. Опять подбрасываю какой-то материал. Ах, ты так? И Козлов опять идет навстре-

чу и дает следующую учебную... И на кафедре опять принимают: хорошая работа, парень растет. Я как бы разрешения спрашивал, а Козлов меня не только видел в этом, он мне еще и подбрасывал что-то на ту же тему. И, взяв меня как комика-буфф, он хотел, чтоб на дипломе я сыграл Федю Протасова в «Живом трупе». Но он не довел нас: умер Василий Константинович за год до окончания... Но оставил завешание, где написал, какие ему видятся дипломные спектакли, в чьей постановке, даже распределение ролей сделал... В общем, за два с половиной года мы с ним прошли весь этот путь, убеждая я — его, он — меня, и вместе — кафедру, что у Арцибашева диапазон не только комических ролей. И, конечно, когда кончили первый курс, я решил, что никуда от такого педагога не поеду, я у него должен научиться максимально всему. Василий Константинович был первым человеком, который поверил в меня. Я-то в себя верил. Когда я хотел поступать в театральный, мне говорили: ты посмотри на себя — ни роста, ни внешности! Даже если закончишь, будешь «кушать подано» выносить. Обращивали все! Ни родственников, ни знакомых — никого не было, кто бы сказал: иди! — или хотя бы: попробуй. Все только отговаривали. А я верил Станиславскому: *нет маленьких ролей — есть маленькие актеры*.

Вы были готовы говорить: «Кушать подано»?

Я знал, что буду режиссером. В училище режиссерского не было, но я-то знал, что буду режиссером, буду ставить спектакли. Но пройти актерскую школу я хотел. И понял, что с Василием Константиновичем должен до конца пройти. И когда он меня приглашал к себе, он говорил, что актерская судьба тяжела и надо найти режиссера, который бы в тебя поверил, вот как Ефремов с Евстигнеевым. Такая вот надежда у него была, верил он в меня. Мне потом сказали, что мое фото стояло у него на видном месте. А я-то в это время уже начал свою режиссерскую работу, не сказав ему, — ставил спектакль в училище с однокурсниками. Я готовил «Антигону» Ануя и сам играл Креона. И когда Козлов говорил о режиссере для меня, я всякий раз про себя думал, что уже нашел себе режиссера: этот режиссер — я. И я уже ставил спектакль: хотел сюрприз ему сделать, Но не успел. Он умер 5 апреля, а 25 апреля состоялась премьера. Так он и не узнал, что беспокойство его напрасно и моя актерская судьба определена.

...А в тот наш последний год без Козлова надо же было, чтобы кто-нибудь руководил выпускным курсом. Ректор с завучем пришли к нам в полной растерянности: зная, каким авторитетом был для нас Василий Константинович, не могли подобрать нам руководителя. А курс сказал: «Нам не надо никого назначать, у нас есть руководитель — Арцибашев». — «Как так?» — «А так. Режиссеры есть, по завещанию написано, кто что ставит. Нам не нужен никакой руководитель». Курс стоит намертво, около тридцати человек, — большой курс был. Они говорят: «Такого быть не может. Ну как студент может быть руководителем курса?» — «Но Василий Константинович все передал Сереже».

И согласились?

Да, решили попробовать. Только куратора нам дали. Куратором назначили художественного руководителя училища народного артиста Георгия Николаевича Полежаева: будет, говорят, хоть немного защищать вас. Но не вмешиваться... И вот дипломная декада, принимать госэкзамены приезжает из Ленинграда, из ЛГИТМИКа профессор и говорит, что хочет поговорить с руководителем курса. Завуч и декан мнутя, потом говорят, что руководитель год как умер. «Ну и что, кто-то же сейчас руководит курсом?» — «Вы понимаете, руководит студент этого курса». Начинается ругань, крики: «Это какой-то бардак, что у вас тут происходит, я уезжаю обратно!» Ему объясняют, что это уникальный курс и это уникальная ситуация. Уговаривают сходить посмотреть хоть один спектакль, хоть одно занятие. А он говорит: что там смотреть, что у них может быть без руководителя? А ему говорят, что в дипломной афише помимо запланированных четырех спектаклей выпускники самостоятельно сделали еще четыре. И оценки у всех отличные, и восемь спектаклей, а названия-то какие: «Чайка», «Укрощение строптивой», «Антигона», «Мой бедный Марат», «Играем Стриндберга» Дюрренматта, «Чудак» Афиногенова. Ничего себе! И когда он посмотрел нас, говорит: «Давайте я напишу вашему Арцибашеву рекомендательное письмо в ГИТИС».

И Вы поехали в ГИТИС?

Да. А там как раз опять набирает курс Кнебель. И тут я приезжаю уже с письмом, и сразу поступаю, и первый курс меня хвалят, ставят в пример: вот, де, как может работать человек, вот какой ответственный! А меня гложет, что впереди пять лет учебы, а мне надо ставить спектакли. И, честное слово, я бы уехал. Ведь уже была идея. Была группа единомышленников, с ними было поставлено три спектакля, и нашелся чудак главреж в Петропавловске-Камчатском, который согласился взять 10–15 человек молодежи: работайте, ставьте. Я-то был готов — в любой театр, лишь бы ставить, а диплом можно и заочно получить. Поехал в Петропавловск с товарищем, посмотрели театр, посмотрели город. Товарищ говорит: не поеду. И так и пошло: один не поедет, второй не поедет. Ну, что ж, вернулся назад, в ГИТИС.

Через полгода подумал: а что это я все им доказываю, что знаю реалистический, психологический театр. Все эти психологические разборки я ведь уже понял. Уровень здесь можно расширять, углублять, но я это знаю: как все строится, понимаю; все же стадии прошел — и теоретически, и практически. Я же пока студент, и вокруг столько всего: и Мейерхольд, и Вахтангов, и пластика, и форма, — надо же и ими позаниматься, пока есть время! Чего же его терять? И я начал заниматься формой. Искать, как через форму выразить то, что в отрывках выражал через переживание... Педагоги на меня стали коситься: что это с ним стало во втором семестре?! А я-то пока учусь, я студент, я же еще безответственный! Дайте мне напиться этим, объесться этого, увидеть, что через опрокинутый стол, стул и висящую веревку человеческая судьба видна! Но нет, долбают меня педагоги. Настолько задолбали, что я чуть ли не ухожу из института: я же так не могу, я учусь! Тем более ходил на Таганку уже, к Любимову, видел, как формой что хочешь можно выразить. И я должен поучиться и этому. Но — не дают...

И я поехал опять искать театр. Ездил, просил, — меня берут, жену берут, а вот группу, да еще режиссировать... Но один театр заинтересовался — город Кимры Тверской губернии. Зову ребят: приезжайте, я нашел место — и театр, и общежитие, можно ставить спектакли. Десять человек берут. Приехали, посмотрели... Потом смеются: нет, Сережа, ты заканчивай ГИТИС, а уж тогда посмотрим. А я уже месяц, наверное, пропустил занятий: ездил же, искал. Помню, приезжаю после майских праздников, и первый человек, которого встречаю на пороге института, — Мария Осиповна. И я понимаю, что либо пан, либо пропал. А она говорит: «Ну что, Сережа, решили все-таки продолжить учиться?» Я говорю: «Хотелось бы». — «Ну, подымайтесь в класс»...

И я остался. И уже учился, и никаких... Понимал, что надо брать все от Марии Осиповны, ее окружения. И репетиции Эфроса, и репетиции Любимова, и репетиции Хейфеца, где только можно... Занятия обойдутся, а надо смотреть, пока есть возможность, потому что знал, что кончится учеба, и я уеду в Свердловск. Никаких поползновений не было биться, искать в Москве чего-то, какую-то тропинку... Зачем? В Свердловске главный режиссер меня помнит, говорит: никого не беру — держу место для Сережи. В Свердловске я известен, там я легенда. И в училище обещали, что сразу, как приеду, дадут мне курс. И я спокойно учусь, никуда не рвусь. Уже четвертый курс — предпоследний, а зимой Мария Осиповна говорит, что есть возможность поставить сказку в Театре Советской Армии. И я с удовольствием: почему нет?

Это были «Стрелы Робин Гуда»?

Да, мы начали репетировать в середине зимы, а весной приходит ко мне Нина Красильникова с параллельного актерского курса и просит выручить ее: надо помочь с выпускным показом. Принесла материал — Александр Володин, рассказик «Женщина и дети». Ну хорошо, решил попробовать. Стали работать, и получилось. И на показе — фурор, открытие артистки. Проходит время, она опять приходит: давайте сделаем с вами «Любовь» Петрушевской. Ну и мне как раз по учебному плану тоже надо делать отрывок, так что мы сделали эту одноактовку на двоих: я там играл с ней. На актерском четыре года учатся, у нас — пять. Нина закончила и пошла показываться Любимову. Показала «Женщину и детей». И он ее взял. Потом мы с ней показали «Любовь» худсовету Таганки, и Любимов предложил мне ставить спектакль. «Когда, — спрашиваю, — выпускать?» — «А чего выпускать, у вас две одноактовки уже готовы, делай третью, “Два пуделя” Злотникова, и к концу сезона (а он заканчивался 10 августа) — премьеры. Сможешь?» — «А чего тут не смочь?». И я пошел репетировать. В июне приступил, к августу планировал закончить. И все так бы и случилось, но это был восьмидесятый год, и 25 июля умер Высоцкий. Тут уже не до выпускных, и «Надежды маленький оркестрик» (так назывался мой спектакль) вышел в декабре. Дальше Любимов говорит: «Мы к вам присмотрелись, не хотели бы остаться у нас работать дальше?». А я студент пятого курса. Я говорю: «Я бы и остался, но надо куда-то ехать дипломный спектакль ставить». Он и сказал тогда, что «Оркестрик» будет моей дипломной работой: «Я только ху-

дожественный руководитель твоей практики, но спектакль — твой». И я остался... А на дипломе я повесил афишу Таганки — вот и вся защита. Афиша сама за себя говорила. Вот такой получился триумф... Любимов говорит: «У меня сейчас режиссерской ставки нет, только ассистентская. Ассистентом режиссера пойдешь? Но я тебе даю слово, что пробую эту ставку». В ГИТИСе все издавались: ну зачем тебе это — ассистентом режиссера?! Говорили, что до пенсии так и останусь ассистентом. Но я Любимову поверил: обещал же. Вообще я себе всегда два года давал. Год — мало, а вот два года буду что-то делать. Если получится, идем дальше, не получается, я это дело бросаю. И тут я себе тоже два года дал — пусть даже ассистентом. Но на Таганке за два года я многому должен научиться, впитать. Через два года видно будет. Свердловск у меня всегда есть. А в июле прихожу оформляться в театр, бежит завкадрами: «Сделал, сделал вам ставку, идете сразу на режиссера-постановщика». Пробил Любимов ставку, не обманул.

Вы проработали на Таганке чуть ли не десять лет, но кроме «Оркестрика» режиссерских работ у Вас там, кажется, не было...

Да, Таганка — это отдельная мощная история. Так вышло еще, что я попал в самый пик: смерть Высоцкого, запрещение спектаклей, отъезд Любимова, приход Эфроса, взаимоотношения с Эфросом, смерть Эфроса, приход Губенко, взаимоотношения с Губенко... И каждый раз повторялось одно и то же... Поначалу трудно складывались взаимоотношения с Любимовым: поставил Малайгина, — не пошло: «не наш автор»; хотел ставить Цветаеву, Любимов говорит: не время, репетируй «Годунова», — и уехал. Потом приехал, занялся «Годуновым» сам, а всего, что мы без него с Анатолием Васильевым наработали, вроде и не было, — даже и не спросил ни о чем... А уже мои два года заканчиваются, и у меня кроме «Оркестрика» — ни одной постановки. Я тогда Любимову сказал: «Я у вас не режиссер, я у вас, как в “Добром человеке...” говорится: летчик, который не летает, — мертвый летчик. Режиссер, который не ставит, — мертвый режиссер. Вот я у вас такой мертвый режиссер». Назавтра он меня вызвал: «Чего ты кричишь, мертвый режиссер? Это из-за того, что я тебе Цветаеву закрыл? Пожалуйста, делай Цветаеву. Но сейчас ведь надо “Годуновым” заниматься. Приходи, садись, помогай. Чего ты кричишь — мертвый режиссер! Садись рядом, помогай, подсказывай, у тебя ведь свежий взгляд». Говорю: «Хорошо, ладно, приду». Включился в «Бориса». Месяц работы — ну счастье, доверие. Любимов-то своим ходом шел, а пришел в конце концов к тому же, что мы с Васильевым намечали. Но ему надо самому проиграть, прожить. Все равно пришло к этому, к тем же психологическим ходам. И в конце уже апофеоз был счастья, такое слияние было. Оставалась последняя мизансцена — арест детей Годунова, и она была у нас не решена. Я мучился-мучился, и ночью что-то не то приснилось, не то привиделось, быстренько сел, зарисовал эту мизансцену, чтобы завтра Любимову показать. Утром бегу к нему, а он: «Я мизансцену придумал!» — и показывает, что нарисовал он. Один в один рисунок! Я свой даже не стал доставать. Но это ощущение: это ж на каком уровне уже сотворчество и сопонимание и материала, и всей композиции, что мне может

прийти в голову такая же мизансцена, как и великому мастеру! Я понимал, что я в эту работу уже много вложил, я весь уже там, и много получил от этой работы. Это было счастье. И, уезжая в Лондон, Любимов вызвал попрощаться и говорит: «Когда вернусь, приступаем к Цветаевой». Так что летом 83-го я первый отпуск отдыхал свободно, расслабленно, без мук. Думал: два года прошли, победа за мной. Приезжаю, — а Любимов остался за границей.

Я не то что до ноля упал, а вообще, что называется, ниже плинтуса, потому что приходит Эфрос, для которого я одна из мелких песчинок, любимо-вский щенок. Я и тут сказал себе: два года. Анатолий Васильевич — для меня величина большая, один из любимых режиссеров, бегал к нему на репетиции, смотрел все спектакли по нескольку раз. Удача, счастье, что можно будет непосредственно, в процессе познакомиться, поработать. Через какое-то время он говорит: «Сыграй у меня в спектакле “На дне”. Кого бы ты хотел сыграть?» — «Сатина». Он смеется. «Ну почему, Евстигнеев же играл Сатина». — «Ну, ты же не Евстигнеев». — «А кого вы мне дадите?» — «Актера». Ну хорошо, Актера. Репетировал Актера, сыграл пару раз. Я в актерство не очень уходил, — это отвлекает от режиссуры, — так, заменить, подменить, выручить, не больше. Через год Эфрос берет меня на курс, дает поставить «Уроки музыки» Петрушевской. Говорит: если выступишь удачно спектакль в ГИТИСе, перенесем в театр. Думаю: ну вот, опять стал подыматься. С Эфросом мы набрали новый курс, у меня пошла самостоятельная работа на основной сцене — «Уроки музыки», состав замечательный, репетиции в разгаре... И тут Эфрос умирает. Приходит Губенко, и как-то выходит, что я теперь эфросовский щенок. Говорю ему: «Николай Николаевич, я два года потратил, выстраивая взаимоотношения с Любимовым, два года доказывал, что буду нужен ему. Доказал. Два года доказывал, что буду нужен Эфросу. Доказал. Давайте, я вам не буду доказывать два года, что я вам нужен. Сейчас дайте выпустить спектакль». — «Потом, — говорит, — потом». Спектакль закрыли.

...Практически семь лет без постановки, без самостоятельной работы... Мертвый режиссер... После «Оркестрика» в первый же год меня звали по театрам — во МХАТ звали, в «Современник»... Я говорил: «Не могу, Любимов для меня выбил место, взял меня режиссером, я должен отработать. Я должен пахать здесь, я не могу предать его и уйти». И отказывал одним, другим, третьим. Некоторые до сих пор со мной не разговаривают за то, что я посмел отказать. В результате за семь лет — шесть или семь работ закрытых на разных стадиях. А это все пахота с утра до ночи, и по разным причинам ни один спектакль не вышел. Гончаров, главный режиссер театра Маяковского, мне протянул тогда руку, выручил. И то просил «Уроки музыки», а я говорю, что это я на Таганке делать буду, жду решения. Тогда он дал «Жанну» Галина. Тоже повезло: хорошая пьеса и актеры — Тенин и Сухаревская. Это молодому-то режиссеру...

Это какой уже год?

«Жанна» — это 87-й. А через год, в 88-м, вернулся Любимов. Мы встретились. 8 мая он позвонил по телефону, мы 40 минут разговаривали. Все

вспомнил, говорит, давай сейчас «Бориса Годунова», потом Цветаеву — по плану все... На следующий день репетиция «Бориса Годунова», он в окружении прессы, к нему не подпускают, тем не менее зовет: садись рядом. Но я не хотел светиться: там прессы столько. А на второй день уже не зовет, на третий тоже, на четвертый вроде как меня и нету. Думаю, значит, сказали уже, что я эфросовский, я предатель, работал с Эфросом, и он не хочет общаться. Ну, что делать, потерпим... В следующий его приезд за восемь месяцев ни одной встречи со мной, ни одного разговора. Я на глаза, — отворачивается, нет у него времени... Чего же я тогда тут делаю? А тут приходит человек, предлагает мне возглавить Театр Комедии. А я хорошо помню, как в юности, в двадцать пять лет, не знаю уж, что мне взбрело, брякнул при всех: «Я пока не режиссер, но через десять лет я буду главным режиссером, но буду недолго. В тридцать пять я буду главным, и в сорок пять умру». И вот я думаю: время идет, мне уже тридцать семь, а я все на Таганке, — и много лет ни единой постановки, а тут мне предлагают быть главным в областном Театре Комедии. В этом театре нет сцены, репетируют они по всяким ДК, а спектакли показывают на выездках. Я сходил, посмотрел. Конечно, ничего не скажешь, — периферийный, областной театр. Возле Елоховки на Ольховской улице у них была база, где они собирались на собрания и получали зарплату. Ну, мне 37 лет, на два года я в своих пророчествах ошибся, но ведь на Москву я не рассчитывал, для столицы можно два года набавить. Значит, надо соглашаться, уже ясно, что на Таганке делать нечего, перспектив нет. Но Любимов в Италии, очередную оперу ставит, а мне же надо ему сообщить как-то. А тут все срочно: в Министерство культуры надо срочно давать ответ. Иду, спрашиваю, как позвонить в Италию. Мне говорят: он сам звонит, что передать? Я говорю: «Передайте, что я увольняюсь». А у меня были тогда напряженные отношения: меня выгоняли с Таганки, когда Губенко пришел, выгоняли просто всем театром.

За что?

За хулиганство, я же вел себя безобразно. Ну, как безобразно? Справедливо. И с Любимовым, и с директором: мог кричать, орать, отстаивать свою позицию, доказывать. И вот Любимова нет, директор с удовольствием говорит: «Я подпишу», — и тут же подписал... Приезжает Любимов, встречает меня, говорит: «Мне сказали, что ты уходишь, мог бы меня предупредить». Я говорю: «Юрий Петрович, я пытался, но не смог. А потом за целый год, что вы были здесь, вы не нашли времени со мной переговорить». Он говорит: «У меня три сцены: старая, новая, малая. Выбирай любую, — экспериментируй, пробуй». — «Ну, а где вы были-то? Год целый ходили рядом. А сейчас, когда ухожу... Сейчас уже поздно, я уже написал заявление»... Любимов меня как предателя до сих пор простить не может.

Сколько лет Вы на Таганке проработали?

Девять — с 80-го по 89-й... Для меня Таганка очень много значит. Хотя меня и мотало там сверху вниз, взлеты и падения, ушибы сильные, но все

равно она мне очень много дала. Но теперь-то, теперь началась уже другая эпопея. Пришел в свой новый театр, посмотрел... Надо торопиться — в связи со сроками, которые сам же себе обозначил. Надо успевать. Тридцать семь уже, возраст переломный, переход; может быть, и тот, следующий возраст будет не сорок пять, а сорок семь. Пошел в Министерство, говорю: дайте мне право?... Мне говорят: «Делай с этим театром что хочешь. Полный карт-бланш. Потому что этот театр — он и есть, и вроде бы как нет его». И в самом деле, состав труппы впечатлял: моложе тридцати лет было максимум два человека, от тридцати до сорока — человека четыре или пять и от сорока до пятидесяти — столько же. А остальные — от шестидесяти до семидесяти пяти лет. И у них, конечно, вопрос первый был — увольнение. Я сказал: «Увольнять никого не буду. Революционных идей у меня никаких нет. Если вы будете соответствовать моим требованиям, пожалуйста, все работайте». Я сразу несколько спектаклей начал делать, нашел возрастные роли, чтобы максимально занять всех. Допустим, есть три старика — все три на эту роль. Есть три старухи — все три на роль. Всем дал работу. И пошли репетиции. Но ведь что такое в пьесе старик: он же не просто так, не просто ходит по сцене, а это такая роль. Вот «Назначение» Володина, там роли отца, матери. Это же не просто возрастные роли. Они сами в соку, сами еще соперничают с молодыми... Говорю: «Если хотите сыграть, надо по этой вот лестнице вверх в секунду вбежать». Один говорит: «Я не могу». — «Значит, вы не подходите, мне такого немощного старика не надо». — «Да, — говорит, — я тут, наверное, не подхожу». Значит, будет играть другой. «А вы?» — «И я не могу». — «А вы?» — «И я не могу». — «А чего же вы тогда можете? На скамейке сидеть? Не знаю, когда такие роли будут. Здесь психофизическая задача другая. А где же мне для вас такие роли найти? Нет таких. Значит, надо на пенсию идти»...

В течение года я убрал пенсионеров. На освободившиеся ставки набрал ребят — с курса, молодежь. Загодя их посмотрел, сделал с ними экспериментальную работу. А через год началась кампания по закрытию театров. Мы относились к «Росконцерту». Пошла перестройка, надо «Росконцерт» ликвидировать. И ведь ликвидируют! А у меня уже спектаклей пять, и они выезжают, гастролируют, публика смотрит, актеры работают. И тут родилась идея «Трех сестер». В самом начале 91-го я собрал труппу и сказал, что есть вариант, если мы докажем этим спектаклем, что мы перерастаем из театра комедии в другой театр. И где-то 1 февраля я говорю: «Через две недели — премьера “Трех сестер”» — «Через две недели премьера? Ха-ха-ха!» Ну ладно, ха-ха-ха! Премьера состоялась пятнадцатого или семнадцатого. Там просто из-за выходных сдвинули на день-два, но практически на спектакль ушло две недели. Хотя ни костюмов же, ничего. Съездили на киностудию, подобрали костюмы, привезли... Я понимал, что у меня нет сцены: премьера на Ольховке, где у нас бухгалтерия-то помещалась, — это комната в 28 метров. Сейчас у Театра на Покровке 80 метров, а там, значит, было раза в три меньше. Всего тридцать человек зрителей помещалось. Две двери и очень длинный коридор. Поэтому в первой части гости садились сначала в коридоре, и артисты выходили из разных дверей. Вот такой это дом был Прозоровых. Я думал: здесь репетирую спектакль, а играть будем по домам-музеям

всяким. И по-настоящему премьеры действительно состоялась в мае в домемузее Станиславского, было там четыре спектакля. За две недели сделали и показали группе зрителей, артисты убедились, что спектакль состоялся, потом еще поработали, а в мае я уже пригласил Министерство. Это 1991 год. Театр хотели закрывать, а я вышел с предложением: «На этой базе — затрат-то нет никаких, я от вас ничего не требую, ни помещения, ничего... Дайте только шанс сделать экспериментальный театр — с такой вот программой, с русской классикой». Тогда был министр Соломин, и в сентябре он подписал приказ об открытии театра.

А помещение на Покровке уже ваше было?

Нет, тогда только шли переговоры. В этом помещении были квартиры. Недавно жильцы той квартиры, где теперь расположен зрительный зал, пришли посмотреть какой-то спектакль. Я не знал их, а они потом подходят и говорят: мы жили в этой квартире, и мы счастливы, что это помещение попало в хорошие руки. Шли и волновались, что же в их доме, в их квартире.

...В общем, Министерство пошло навстречу, и на три года подписали контракт. В 91-м в сентябре открыли, в 93-м мы уже в Мюнхене на фестивале побывали... В России негде было играть: Покровка еще не была готова, а на Ольховке пожарные запрещали: второго выхода нет, и так далее. На Ольховке мы показывали только закрытые спектакли, для специально приглашенных. Идти к театру надо было всякими кривыми ходами, дворами, переулками, я встречал гостей у метро и вел. А во дворе там еще какие-то памятники делали — статуи какие-то; перестройка, все кувырком, — и их выставили во двор. Солдат какой-то стоял огромный. Иностранцы шибко удивлялись такой экзотике, фотографировали. Проходили двор и попадали в обшарпанное такое казенное помещение (там в конце XIX века был полицейский участок) и вдруг оказывались в каком-то совсем другом измерении. Посол Италии смотрел «Месяц в деревне» и удивлялся потом: «Как это у вас происходит? Откуда так много пространства? Я же вижу, что здесь ничего нет, и почему такой воздух, такая глубина?» И мы все спектакли там играли. И когда открылось помещение на Покровке, вышли уже с репертуаром. И появились в Москве как гром среди ясного неба. Ходили, конечно, слухи, что какой-то там подвальчик у Арцибашева, что-то он вроде делает. Но настоящего театра не ожидал никто. А потом Ефремов приехал с фестиваля и говорит: «Арцибашев произвел фурор. И где этот “Театр на Покровке”, где их хоть посмотреть можно? Мне все уши прожужжали». Находит нас Ефремов, «Ревизор», премьеру, смотрит: «Да, это напомнило мне мой “Современник”...» И стал завсегдатаем, полрепертуара пересмотрел. А в 94-м уже в Польше наш спектакль занял второе место после Некрошоса, актриса получила «Золотую карету» за лучшую роль. Потом во Франции, и там уже пошло. Когда в 95-м мы открылись на Покровке, в афише была сплошная классика. Все еще только думали поворачиваться к ней, а у нас уже 5–6 спектаклей готовых и сколько-то еще репетируется. Тут еще в 95 году в Москве проходил фестиваль, посвященный Смоктуновскому — к первой годовщине смерти. Вся Москва, все театры выстави-

ли свои лучшие спектакли, и наш «Ревизор» занял первое место... Так мы сходу и очень достойно вписались в карту театральной Москвы.

Вот вы пробивали дорогу себе в театре. Какова роль в этом честолюбия?

Честолюбие могу сказать, какое. Я всегда хотел быть первым. Это существенный момент, такая установка. Я хотел быть мастером; я должен был быть первым, лучшим в профессии, самым-самым. Хотел быть лучше всех. Но дальше появился другой момент. Что это значит — быть лучше всех? Первым в мире, что ли? Сам себе удивлялся: ты чего, парень, — лучше всех?! И сам себе отвечал: да, такая у меня задача — стать лучшим. Но не могу же я стать лучшим сразу. И я сказал себе: буду идти потихонечку. Буду пока лучшим вот здесь — в этом училище. Или в этом институте. Или где-то еще... И так постепенно — все дальше и дальше. Но не сразу, не вдруг. В «Бесах» у Достоевского прочитал потом про Ставрогина, что «вдруг» — это нельзя, «вдруг» — это бесовщина. По-настоящему — это постепенно. Так что трудно, медленно, мучительно, но я иду вперед — и в ремесле, и в постижении чего-то главного...

Значит, все-таки критерий подлинности, искренности — он главный?

Ориентация на это.

А материальные, карьерные соображения играли какую-то роль?

Нет. Хотя я понимал, что если я буду первый, я, конечно, буду обеспечен. Но не для того, чтобы обеспечить, я должен быть первым. Я понимал одно: работай — и все придет. Работай — и все будет. Потом мне подтвердил это Питер Брук. Однажды, когда я в отчаянии был... У меня ведь как: энергия, энергия, энергия, потом все отдал — полная депрессия: все, что я делаю, никому не нужно, за этим ничего нет, все бессмысленно, никто ни во что не верит, ничего не происходит... И вот опять накатило... А я сижу на этой Ольховке, в казематах, пять лет я там вообще жил: не было ни квартиры, ничего. С женой разошелся, оставил им квартиру, жил в кабинете. Пять лет. Без горячей воды, без условий всяких. Спал на работе. Первый встречал всех, открывал двери. И вот сижу в депрессии в своем кабинете. А тут Питер Брук, — маленькая заметка в книге, — пишет, что получил от одного молодого режиссера очень гневное письмо: «Вот вы достигли всего в искусстве, вам все можно, а нам, молодым, ничего не дают, все закрывают. Как в таких условиях быть режиссером?!» И Брук признается, что долго думал, что ответить этому молодому рассерженному режиссеру. Ничего не мог придумать. И написал ему: «Первое: для того, чтобы стать режиссером, вы должны сами сказать себе: я режиссер. Второе: должны собрать группу людей, которых вы убедите в том, что вы режиссер. Третье: начать ставить спектакли — все равно где: в подвале, на лестничной клетке, в квартире, в больнице, в тюрьме. Ставьте спектакль и доказывайте, что вы режиссер. И не ждите никаких благоприятных условий, потому что этих условий может никогда

не быть». И я сижу, читаю и думаю: «Господи, у меня есть не подвал, у меня есть зал, есть труппа, у меня есть какие-то деньги. Я ведь так и делал, ставил везде — в техникуме, в институте... Есть ведь известные слова: “Делай, что должно, и пусть будет, что будет”. Вот, делай, что должно». Вот этому я следовал. Просто Брук мне вовремя сказал: «Ты делаешь то, что надо».

Депрессии, увь, вещь у творческих людей частая. А не было какого-то суеверного страха, что Вы сами себе напророчили судьбу? Вы ведь положили себе прожить только сорок пять лет.

И это, конечно. Я очень торопился, именно потому что срок сам себе определил. И действительно ведь, лет примерно в сорок пять я чуть не умер: очень мрачное было состояние, перенапряжение сильное, депрессия, практически умирал. И умер — во сне. Не знаю, сон это был или что, но я точно помню это, потому что проснулся от укола в сердце. Кольнуло сердце и вернуло меня к жизни. А до этого сон снился, что я умер и меня ведут в чистилище. И такая вверх большая лестница, и замок наверху стоит. И голос откуда-то со мной разговаривает, подсказывает, что мой путь туда. А есть путь сюда: лестница продолжается куда-то к морю, там стоят корабли. Вот эти корабли отправляются опять на землю. Ты куда хочешь? По лестнице вверх или по лестнице вниз? Корабли скоро уходят, потому что я вижу сверху, как люди, одетые в разные театральные костюмы, спускаются с чемоданами на корабль, бегут. Я раздумываю, что я бы конечно вниз, я еще не доделал многое, мне бы надо туда. Мне говорят: тогда есть испытание. Стоит тумба какая-то каменная: столкнешь — пойдешь, не столкнешь... Ну, я поднапрягся, и она сдвинулась. И я на корабле. И тут кольнуло сердце. Я потом даже записал этот сон, я его помню четко. И я помню укол, просыпаюсь — и слезы текут. Видимо, это был момент, когда я был на какой-то грани. Я уже не помню, над чем я тогда работал, но состояние было никакое... Ну, вернулся, дали возможность. И дальше пошел новый всплеск жизни.

А сон, который вы видели, как-то связан с вашим видением мира? Вы видите в другой мир?

Я всегда в это верил. Я крещеный с детства. Мать была у нас учительница, депутат поссовета, но она всех шестерых детей крестила — отвозила куда-то за много километров и крестила. Я не религиозен настолько, чтобы постоянно ходить в церковь. Несколько раз в трудные минуты попробовал, но как-то смущает вся эта стилизация, театральность. Но я верю, что все в жизни взаимосвязано, все не просто так. И в то, что, как сказано у Достоевского, все за всех в ответе и все друг перед другом виноваты. Я знаю, что все имеет два полюса, две стороны — добро и зло. Есть добро и зло, Бог и дьявол, идет борьба, и поле битвы — сердца людей. И человек должен отдавать себе отчет, с кем он, куда работает, чему хочет служить своим творчеством, своей жизнью — добру или злу? Вот тут выбор, он есть у каждого. Так и в творчестве. Спектакль — повод для такого разговора. Вот я человек верующий и хотел

бы работать на добро, хотя это и тяжело иногда. На зло легче работать. Созидать, творить — это вообще гораздо труднее, чем разрушать.

Да, из Ваших работ видно, что к творчеству Вы подходите с высокой мерой нравственной ответственности...

Для меня театр — это храм. Я не церковный человек, но мне хочется вести разговор с верхом, с Небом, со Вселенной, перед кем-то отчет держать. Для меня сцена и есть такое лобное исповедальное место. Да, я выступаю здесь под прикрытием персонажа и вроде бы скрываюсь за образом, но я могу исповедаться во многих грехах, рассказать о многих поступках и даже публично получить ответ, прав я или не прав. Конечно, как и во всем, тут важна мера. А мне под прикрытием — свобода. Сознаться в каком-то грехе мне самому не хватит смелости, мне легче и откровеннее это сделать за персонажем. Кто понимает, поймет, что я рассказываю о себе. Мне, например, помогает, когда я знаю, что в зале сидит какой-то мой знакомый. Многие боятся этого, а мне интересно: значит, есть конкретный адресат. Люблю, когда люди после спектакля говорят: «Так вот ты оказывается какой! Теперь-то мы тебя поняли». Значит, услышали, что не вру, что говорю от себя. Но даже если и не знакомые, — это же люди сидят... И мне очень важен этот разговор с залом. Зритель для того и идет в театр: он же ждет разговора на волнующую тему. У человека ведь так много проблем и не так много мест, где он их может осмыслить.

Но все вокруг твердят, что современный зритель бежит от проблем и ищет одних развлечений.

Как практик свидетельствую, что это не так. Иначе русская классика не собирала бы полные залы.

А как бы Вы сами сформулировали, почему Вас по преимуществу интересует именно классика?

Я еще когда только начал заниматься театром, всегда мечтал ставить русскую классику, потому что понимал, что в ней золотой духовный запас, без которого невозможно. Мы и «Покровку» открывали как театр русской классики. А это вообще был 91 год, когда ни театр, ни классика никому не нужны были. Был театр политический, телевизионный, где раздеваются, где ругаются матом. И когда я дал актерам «Три сестры», они мне говорят: «Сергей Николаевич, какая красота мысли, какой отрыв от обыденности, какие мечты...» А за окном — что? Талоны на все. А я им говорю: вот про это мы сейчас «Три сестры» и делаем. Вся эта повседневность, серость — все это нас опускает, но мы должны помнить и о вертикали. О том, что вертикаль есть. И хотя бы голову поднять туда. Потому и классика, что она всегда об этом помнит, что в ней всегда точка отсчета — Бог. Даже отрицательные персонажи существуют с оглядкой на Бога. Люди-то все те же, и болевые вопросы — это вопросы вечные, и ответы надо держать перед лицом вечности.

И все-таки это кажется парадоксальным, что вместо того, чтобы сидеть дома перед телевизором, люди приходят в театр смотреть классику. Ведь современный человек как будто и слышать не желает о вечном

Так никто же не объявляет: «мы сейчас будем разговаривать о вечном»! Да нет, мы рассказываем о том, например, что я люблю ее, а она любит другого. Или о том, что будет, если я отобью ее у мужа, или там совершу насилие, или убью, или что-нибудь еще, не такое громкое, — и как это потом мне откликнется, аукнется... Потому что любая самая обычная жизненная ситуация порождает много сомнений и много вопросов. Возникает амплитуда размышлений у автора, у персонажей пьесы, и это соединяет их со мной, у которого тоже есть мысли о том, а как это будет перед Вселенной, а как это будет перед обществом, а что скажет княгиня Мария Алексеевна или мой уважаемый педагог, как они меня оценят. Со зрителями надо наладить контакт, победить их или сдаться перед ними... Конечно, они пришли не ради скучного «разговора о вечном», но они хватаются за первый пласт — жизненный, житейский, клюют на это, а потом оказывается, что пластов-то больше — и вверх к Богу, и вниз к дьяволу, а посредине человек, раздраемый противоречиями... А дальше ты уже делаешь выбор, парень, сам: убивать тебе, отбивать, ревновать, мучить, страдать... Или радоваться, жить в мире, искать другой путь. Ведь в общем-то в самые простые житейские ситуации и укладывается вся наша жизнь. Потому-то классика всегда и интересна, что там все пласты есть — и горизонтальные, и вертикальные, и нам всё уже давно рассказали — в восемнадцатом веке, в девятнадцатом, умнейшим, прекраснейшим языком. Все рассказали — про нас, про прошлое, про будущее, про настоящее. Проживи этот урок, и увидишь, куда что ведет и что к чему приводит. Результат-то есть уже, тебе его уже показали. Чего же опять наступать на эти грабли, опять изобретать...

Вы оптимист?

Я назвал бы свое мироощущение трагифарсовым. Я и классику так понимаю. Может быть, и само это трагифарсовое восприятие жизни идет у меня немножко от классики: ведь она совсем не оптимистична. Я болезненно воспринимаю очень многие вещи, очень болезненно. Сначала-то вообще казалось, что мир трагически устроен, а с годами все больше начинает казаться, что фарсово, и люди сами с собой этот фарс разыгрывают. Трагифарс возникает от нарушения самых главных законов бытия, от несоответствия средств и целей, от поразительной какой-то нашей безответственности. А жизнь постоянно показывает именно эту трагифарсовую свою природу — то, что человек очень злое и противоречивое животное и в то же время наделенное многими божественными неосознаваемыми вещами — душой, совестью, способностью забыть себя ради другого. Я смотрю на детей, вижу, что человек рождается чистым, добрым. Потом начинается... направо, налево, вперед, вверх, вниз, соращения, искушения. И куда он в итоге движется? Но это и самая интересная загадка, тайна человеческого существования, тайна взаимоотношений человеческих со всем окружающим миром и с самим собой... И вот

тут еще копать и копать... Действительно, бывают ископаемые, которые не кончаются. И трогаешь эти пласты, и пытаешься глубже заглянуть в них, и открыть в них еще затаенные человеческие слабости, пороки, вытащить их на свет, рассмотреть. Надо все вытаскивать: с явным врагом гораздо легче справиться или вступить в диалог, и это лучше и полезнее, чем пытаться запихнуть наши проблемы поглубже и сделать вид, что их нет.

И все же Вас хочется скорее отнести к оптимистам, поскольку Вы, — и это следует не только из сейчас сказанного, но прежде всего из Вашего творчества, — верите в благотворную, преображающую силу искусства.

Я не только верю в это. Я не раз был свидетелем такого преображения, я сам видел, как спектакль мог реально повернуть жизнь человека. Такое бывало и в моей биографии.

Расскажите!

Ну вот, например, такая история. Некрасивая женщина, родственница моей знакомой, как-то в компании встретились... Действительно некрасивая: зубы огромные и торчат вперед так страшно, сидит одна, забытая, обделенная какая-то и в возрасте уже приличном — лет 35—36. И такая исходит от нее энергия озлобленности на мир, на все, что находится рядом неуютно. Спрашиваю: кто это? Говорят, сестра вот этой. Одинокая, жизни нет, страдает, мучается... Прошло года два. Опять какой-то сабантуйчик. Собрались, пора уже садиться за стол, а все чего-то ждем. Говорят: Свету. Что еще за Света, которую надо ждать? Мне говорят: а вот помнишь, это та, которая некрасивая. Ну, может ее из-за ее убогости и надо подождать, а то обидится. Вот, говорят, уже идет. Открывается дверь — и заходит не Света, а солнце заходит. Действительно, свет заходит: пышущая, радостная, улыбается, и зубы, которые торчали, — ничего, зубы как зубы. Теперь улыбка огромная, не стесняется она этих зубов. Она теперь ничего не стесняется. Глаза горят, энергия. И коляску за собой тащит с ребенком. Я спрашиваю: что это такое? А мне говорят: ты что, не знал? Оказывается, она посмотрела спектакль, и что-то в этом спектакле ее толкнуло подумать над своей жизнью, перестроить ее по-другому. И вот эта некрасивая Света куда-то исчезла, где, что — никто не знает, родила ребенка и теперь — счастливый человек. И вся компания человек пятнадцать только на нее смотрят...

Был еще случай на Таганке. Вдруг подходит ко мне монтировщик декораций и говорит: «Спасибо за то, что вы спасли мою сестру от смерти!» И рассказывает, что два года назад у его сестры были проблемы с молодым человеком. Девушка была в полной депрессии: не пьет, не ест, институт забросила, нигде не ходит, никого не подпускает, лежит, и все — месяц, второй... Мать плачет, отец плачет, боялись, не выбросилась бы в окно. Брат ее и в кино зовет, и на концерт, и на «Мастера и Маргариту», — она нигде не идет. А он все зовет: пойдем, сегодня премьера «Надежды маленький оркестрик». И вдруг она соглашается пойти. Приходит, смотрит спектакль. А на следующий день говорит, что идет в институт. Вернулась к жизни. Сейчас

счастливая, родила ребенка, заканчивает институт. «Спасибо вам!» — говорит. Думаю: неужели так?! Значит, если хотя бы одного...

А как-то на «Ревизоре» в Театре на Покровке весь зал сняли фармацевты — сотрудники института, где придумывают какие-то новые лекарства. А после спектакля они захотели пообщаться с актерами. Я вышел, ко мне подошла группа, стали благодарить: как замечательно, сколько придумок, как по-своему все сделано. А один говорит: «Знаете, что вы сделали?» Я говорю: «Знаю, поставил спектакль». — «Нет, вы понимаете, что вы сделали». И несколько раз так. Я уже запутался: не понимаю, знаю я, что сделал, или нет. «Что вы от меня хотите-то?» — спрашиваю. Наконец, он говорит: «Не понимаете вы, что я с середины спектакля очень хотел, мечтаю просто, чтобы скорее наступило утро и я пошел на работу. И это сделали вы». Я даже опешил: «Это-то здесь причем?» Он говорит: «Вот вы и не понимаете, что вы сделали. Когда я увидел, что вы совсем по-другому, под другим углом посмотрели на вещь, которую я смотрел много раз, и я хохотал, смеялся, удивлялся, а потом думаю: елки-палки, почему Арцибашев на известную пьесу может посмотреть под другим углом, а я на работе своей сижу и уже несколько лет решаю проблему и, как баран, в эти ворота протоптанные пытаюсь пробиться, когда, может быть, нужно взглянуть под другим углом! И вот я мечтаю скорей добраться до работы и там...» И я подумал: вот это — высшая оценка! Это творчество, которое возбудило творчество в другом человеке, не для того, чтобы он стал артистом, а чтобы он творил свою работу и творил свою жизнь. Может быть, он на свою жизнь тоже сможет посмотреть под другим углом. Мне кажется, в этом есть и мое оправдание, и для этого и зритель идет, надеясь, что ему что-нибудь откроют такое, что у него вдруг что-то перевернется. Все люди талантливы, надо только это открыть. Вот я верю в это. И ради этого мне хочется заниматься своим делом. И когда наступает депрессия, нежелание всего, бессилие, я вспоминаю эти случаи и еще глаза зрителей после спектакля. Я люблю выходить кланяться, чтобы посмотреть как раз эти глаза. Что в них — радость, удовольствие или просто хохот? А свет там есть? Есть это мерцание, когда они благодарят и подходят с цветами?..

В ваших постановках как-то очень естественно сочетается прямое общение с залом и классический принцип «четвертой стены»...

Я стремлюсь освободить актеров от этой постоянной мысли: я за «четвертой стеной», публика мне не видна, я на нее не реагирую — и в то же время играю для зрителя. Вот эта обманка какая-то педагогическая, которая меня корбит. Актер-то работает все равно на зрителя, он не может без зрителя, и многое в спектакле зависит от того, какой установится контакт с залом. Для меня программный спектакль — «Три сестры», потому что там я закладывал мои отношения актера-исполнителя роли с публикой. Когда мы только делали этот спектакль, в самом-самом начале персонажи выходили даже в гардероб, мы начинали в фойе: «привет-привет», «Ирина, у тебя день рождения», и т. п. — а потом шли в зал, к столу. Это такое непосредственное должно было быть вовлечение, без насилия. При-

глашают к столу — все пошли в зал, подняли бокалы. Это совсем не то прямое общение, как в цирке, когда актеры навязывают зрителю: выпей ты, выпей шампанского, пей, пей. Ни в коем случае! Мы приглашаем, но не тащим. Зритель — мой партнер и мой судья. Это зритель, которого я должен в чем-то убедить и который должен пойти за мной, поверить мне, независимо оттого, отрицательную я играю роль или положительную. Но это и тот, перед кем я держу ответ.

Непривычно слышать от театрального человека доброе слово по адресу публики...

Почему? Мы же работаем для зрителя, для людей, для себе подобных. И меня волнует, что они думают. Вот они приходят тысяча человек, садятся вместе и какой-то опыт получают от истории, которую мы рассказываем, пытаются понять этот опыт. И мне хотелось бы, чтобы зритель вошел в эту ситуацию, стал играть вместе с нами что-то свое. Мне важно и в зрителе возбудить творчество, возбудить творческий процесс, помочь приподняться. Если он будет просто сидеть и следить за действием, — что это будет? Пусть человек подключится и вспоминает свою жизнь, чью-то еще жизнь рядом, и пусть он играет какой-то свой спектакль — про себя, про судьбу, и начинает сопереживать, начинает смеяться, плакать, реагировать, испытывать живые эмоции... И тогда человек в зале и вправду начинает творить, плачет, смеется. А это же проявления — человеческие, и он понимает, что он человек, потому что способен сопереживать, плакать над чужой бедой, радоваться чужой радости. Он в театре ощутил себя таким человеком. Очистился, испытал катарсис...

То есть в спектакле Вы выстраиваете своего рода модель мироздания, которая включает не только то, что происходит между персонажами, между режиссером и драматургом или между персонажами и исполнителями. В эту модель на совершенно равных правах Вы вписываете зрителя — не как потребителя театрального действия, а как его участника, причем самого непредсказуемого...

Ну конечно, я уже говорил об этом. И мне хочется, чтобы и актеры испытали это удовольствие не просто изображать персонаж, создавать образ за «четвертой стеной», а вести публичный разговор, откровенный, искренний, одновременно и вкладывая и обретая в этом какой-то настоящий человеческий смысл. Станиславский требовал: отхаркайтесь перед входом в храм; забудьте все, что с вами происходит; не несите ничего извне — войдите чистыми и творите. Я говорю актерам: ни в коем случае, все свое несите сюда! Каждому из нас дорога своя жизнь, и трудно забыть, что у тебя болен ребенок, хотя сейчас ты будешь играть человека, у которого дети здоровы и счастливы. Я считаю, что было бы насилием над человеческой природой заставить актера забыть обо всех его проблемах, о его живом и страдающем ребенке ради того, чтобы три часа выяснять какие-то якобы более важные вопросы и разбираться в якобы более неотложных обстоятельствах,

сочиненных драматургом. И я говорю: ни в коем случае не выбрасывайте ни того, что у вас свои сложности, ни того, что у вас болен ребенок, — это переплавляется в спектакле и всегда дает какой-то новый смысл, всегда отсвечивает какой-то другой глубиной, создает дополнительный воздух. Тут возникает какое-то такое уже измерение, что-то настолько по-человечески подлинное, что вспоминается Сикстинская Мадонна, держащая на руках своего поразительного Младенца с грустными глазами...

Вы ставите разную классику — Тургенев, Гоголь, Островский, Чехов. Но тем не менее возникает ощущение единства вашего прочтения этой классики.

Вы правы, конечно, одна подоплека всего, один нерв. По существу, если разобраться, я всю жизнь ставлю один и тот же спектакль. Просто с разных сторон кручусь вокруг одного и того же. И это одно — человек, дом, семья. Все вокруг этого, это самое главное, ячейка абсолютно всего. В любом моем спектакле, если посмотреть, семья — это либо центр существования, либо предмет устремлений, мечты... В моем понимании дом — это квинтэссенция всего. Что мне судьба народная или судьбы народов, судьбы мира, судьбы вселенной, если это абстракции, а не вопрос человеческого счастья! А человеческое счастье — это объединение двоих, создание своего очага, уюта, дома. Человек рождается в одиночестве и в одиночестве умирает, но жить в одиночестве не хочет, хочет куда-то притулиться, создать свой мир, в котором было бы комфортно, тепло и радостно существовать. Далее появляется второй человек — другого пола, созданный совершенно по другим законам. Вроде все то же, а законы существования другие, и представления о жизни, соответственно, у одного одни, у другого — другие. И эти два человека начинают пытаться сговориться, сойтись, как-то вместе существовать. А это уже конфликт. Помимо того, что существует конфликт у каждого с самим собой: каждый человек чего-то не знает, не понимает, с чем-то спорит, чем-то доволен, а чем-то нет — жизнью, судьбой, Богом, в конце концов. У каждого множество вопросов: где я живу? в какой стране? так ли живу? почему меня сюда забросило? И вот рядом возникает другой мир, другой микрокосм... А потом рождается еще третий. Как они существуют друг с другом? Вот начинается... А сколько нас на планете, таких микрокосмов!.. Но ведь если два человека могут сговориться, понять друг друга, — хотя бы сделать попытку понимания, — то, может, тогда это возникнет и между народами, между другими людьми, между планетами и так далее... Но все начинается с одного — с индивидуальности, которая появилась и которая хочет создать свое счастье, испытать его. А отсюда возникает то невысказанное, то силовое поле любви — нелюби, которое и привлекает художника...

Одна из характерных примет Вашего «единственного спектакля» — музыка. Она обязательно присутствует и всегда вносит душевный, лирический элемент. Как Вы определяете для себя ее роль и место в Ваших работах?

Конечно, музыка для меня очень много значит, и меня часто упрекают, что ее очень много. Но она мне необыкновенно важна, она камертон, внут-

ренная душевная партитура, она работает на образ спектакля в целом, но возникает каждый раз по разным причинам. Допустим, в «Мертвые души» я ввел песни только потому, что мне не хватало там народного звучания. У Гоголя есть этот народный пласт, — начиная хотя бы с крестьян, обсуждающих колесо... А в инсценировке не было. И я решил дать присутствие народа, его отношение к событиям спектакля через эти русские песни... А вот, например, в «Трех сестрах» без музыки вообще почти ничего не происходит. Там звучат «Времена года», и музыка ложится на все происходящее, подчеркивает, оттеняет, создает тональность идущего, уходящего времени. Ведь и у Чехова так: весна, зима, лето, осень — все времена года. Плюс врывающийся Шнитке, современные мотивы... Но в музыке обязательно должно быть что-то небесное, что-то возвышенное. Это я всегда говорю композитору, который оформляет спектакль.

Хочется заметить, что порой Вы умеете извлечь возвышенное из довольно неожиданных вещей. Вы умудряетесь поднять на уровень классики цыганищину, а в основание целого спектакля положить жестокий романс, — как в «Женитьбе», где лейтмотивом становится «Молчи, грусть, молчи», — и на музыке и тексте этого романса построено так много, что пьесы отдельно уже и не мыслишь. Вы берете, казалось бы, низкопробный музыкальный материал, и в лучших Ваших спектаклях он как будто очищается: становится видна его вечная составляющая.

Да, чаще всего я использую популярную классику, романсы. Часто употребляю даже то, что на слуху у всех. Вот, допустим 40-я симфония Моцарта... ну навязла уже в зубах у всех, в телефонах звенит. А я считаю: хорошо, что в телефонах звенит, — значит, знают ее, узнают. Но здесь-то она по-другому, по-настоящему будет звучать. Музыка ведь помогает навести мосточки к прошлым переживаниям зрителя, к детству, к каким-то добрым и светлым событиям жизни, будит ассоциации — в конечном итоге, побуждает к творчеству... А за цыган меня ругали не раз, но я все-таки ввел в «Карамзовых» песни и пляски. А что делать, если в Мокром Митя позвал и русский хор, и цыган. Выкинуть их? — это как выкинуть из «Живого трупа»... Ну а как, если Федя едет не просто погулять?! Ему же душа цыганская важна, свобода, воля... Я тоже мечтал о «Живом трупе»... Как же без цыган?! Конечно должны быть такие цыгане, чтобы от них улет был. Почему-то ведь тянет туда, к ним русского человека... И Пушкина, и Толстого, — великие же люди, а почему-то тоже влекло к цыганам... К их жизни, кочевности, к этим вот песням, к разгулу, к свободе, независимости, полному отсутствию цепей. А у человека цивилизованного, человека культуры, — сплошные долги, сплошная ответственность... Цепи, цепи...

Вы говорите, что Вас ругают за цыган, за то, что много музыки. Стало быть, прислушиваетесь к чьим-то суждениям, задумываетесь над чьими-то оценками. Впрочем, это понятно: человеку, который так перевозносит зрителя, не может быть безразлично мнение этого зрителя. И один из вопросов, который мы предполагали Вам задать: как Вы относитесь к театральной

критике? Подмечает ли она те недостатки, о которых Вы как действующий художник, возможно, и не подозревали? Помогает ли взглянуть на свое творчество трезво и беспристрастно? Или, может быть, побуждает идти от противоположного и, несмотря на критическую оценку, доказывать и доказывать свою правоту, — вот как с цыганским хором? Однако, готовясь к нашей беседе и просматривая прессу, мы с удивлением обнаружили, что критики, как правило, вовсе не ставят себе целью анализировать спектакль, не пытаются понять, какие задачи ставил перед собой театр и сумел ли эти задачи решить в рамках выбранной пьесы, стиля, традиции. Напротив, из всех сил стремятся уличить театр в непрофессионализме, доказать, что режиссер не компетентен, актеры фальшивы, а публика, которой это все нравится, — глупа. И от массы прочитанных статей возникло одно общее ощущение: критики анализируют не столько реально существующий, сколько какой-то ими самими придуманный спектакль, поскольку стремятся не столько помочь театру, сколько во всеуслышание заявить о себе — «образованность свою показать», как говорилось когда-то.

К сожалению, многое из того, что вы сказали, правда: критики заняты своими проблемами, а СМИ интересуются, как правило, только скандалом и сенсацией. Так что по большей части я критических статей не читаю — ни бранных, ни хвалебных. Но зато я не раз получал настоящую помощь от квалифицированного, доброжелательного и беспристрастного разбора спектакля. Это не были рецензии или обзоры в печати, это были разговоры, беседы с людьми — и с театральными критиками, и просто со зрителями, которые мне подробно рассказывали о спектакле. И было поразительно. Вот такая критика совершенно необходима, потому что многое же, о чем я думал, о чем мечтал, чтобы это было в спектакле, я запрятал внутрь, — я же не говорю впрямую текстом: я хотел добиться этого, этого, этого, сказать об этом, о таких проблемах. Они спрятаны в спектакле, они прикрыты, они остаются вторым планом. И меня радовало, что этот второй план доходит. И еще одна вещь: спектакль спектаклю не равен. В этом эфемерность театрального действия, это все штучное, легенда: завтрашний спектакль уже другой, вчерашнее никогда не повторится. Ты смотрел сегодня, а я вчера, — зачастую это совершенно разные спектакли, и нам даже спорить невозможно. Вот был Зиновий Паперный, который по несколько раз отсматривал спектакль и уже мог говорить о тенденции... Но чаще всего совершенно бесценные рецензии я получал от простых зрителей. И это не обязательно были положительные отзывы: люди находили и недостатки, и несоответствия, — но они судили с пушкинских позиций — *по законам, самим художником над собою признанным*. Начиная разговор, как бы уточняли: «Ты хотел рассказать об этом. Я понял тебя так. Правильно?» И тогда шло: здесь получилось, здесь недостаточно, а здесь ты не проявил, а здесь это, здесь то; вот это отвлекает, а здесь слишком корявая шутка, и меня это покорило. Вот такой критик мне необходим! И тогда я думаю: а он прав, я здесь уровень разговора опустил. И зачем мне здесь вот это? И не убрать ли? — И я убираю. Еще что-то сказали: а тут, в «Женитьбе», много песен, слишком отвлекают. Можешь убрать парочку? — А почему нет, если это отвлекает? Я

не хочу, чтобы был перебор, действительно, давайте откажемся от этого. Посмотрел: что-то изменилось? Ничего не изменилось, только собранней стало. Вот такой разговор я понимаю. Но когда пишут то, о чем я и думать не думал, чего в спектакле нет и быть не может, даже и персонажа по-другому зовут... Если критик приходит и сразу прикидывает: за что он будет ругать, ведь ему же и себя показать надо — и размазать, растоптать, испортить настроение... И каждый тянет на себя. Как же еще реагировать на такую критику? Только не обращать внимания, по-моему.

Про «Мертвые души» теперь пишут, что Вы воспеваете российскую государственность и военный трибунал как спасение от всех наших бед. «Либеральная» критика подозревает, что Вы выполняете заказ Кремля; «почвенники» убеждены, что спектакль и впрямь агитирует за карательные методы борьбы с «бесами либерализма».

Дело, видимо, в последнем монологе? Ко мне часто подходят и спрашивают: этот текст Маягин придумал? Помните там: *«Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплемennых языков, а от нас самих; что уже, мимо законного управления, образовалось другое управление, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия, все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность»*... А я говорю: вы что, не читали, это же второй том «Мертвых душ», поэма же заканчивается на этом! Мне стоило немало мужества пойти на это: когда персонаж сбрасывает с себя вицмундир, делает шаг к зрителю и произносит этот монолог уже от себя, от артиста Игоря Костолевского. Когда я, мы все обращаемся прямо в зал, лично к каждому из сидящих в нем соотечественников: земля наша гибнет от нас самих. При чем тут кремлевский заказ?! Я-то считал, что это мой мужественный поступок, хотя я понимал, что скажут: публицистика, от Гоголя ушли. А почему? Гоголь и был публицистом и моралистом. Я когда все это раскладываю, я думаю: нет, я тут ни в чем от автора не отхожу. Тем более, что это гоголевское, не я это придумал. И если этого не видит критика, меня это не печалит. Главное, это прочитывают зрители. А то, что они это прочитывают, я понимаю, иначе они не ходили бы на спектакль. Потому что все Чичиковы. Сейчас все Чичиковы. И эти, внизу, и эти...

Может быть, этот лобовой прием и не прозвучал бы, если бы Вы не завоевали на него право всем спектаклем — убедительнейшим первым актом, где тот же Костолевский играет роль Плюшкина, да так играет, что его, красавца, романтического героя, не сразу и узнаешь. Кстати, тут же возникает вопрос. Труппа большая, много народу не занято, надо их как-то использовать, а вы одним и тем же людям даете в «Мертвых душах» по две главные роли: одну — в первом акте, другую — во втором. Почему?

Тут принцип такой был. Здесь мне хотелось показать, во-первых, что есть оборотные вещи, — раз. Во-вторых, подумал об актерах, которых часто использовали в одном строго определенном амплуа, хотя они способны на

большее, и мне захотелось дать им возможность сыграть в одном спектакле по-разному... И, в-третьих, по-моему, тут есть такая гоголевская мистификация: Плюшкин и Князь, Коробочка и Дама Приятная Во Всех Отношениях, Манилов и Костанжогло... Постарался, чтобы разнопланово это было более-менее, чтобы интересно было для зрителя, чтобы это входило в такой перевертыш, что в одной обертке может быть разное существование. И по-гоголевски. Ну, плюс театральность. Все думают, что Костолевский годится только в герои-любовники.

А не было искушения дать Костолевскому роль Манилова?

Я мог бы, но это слишком в лоб, и ему самому не интересно. Я мог бы и Князя другому дать. Но хотелось бы, чтобы вышел человек, который как личность завоевал уже расположение, которому зрители верят: ведь когда-то у многих он был идеал. Вышел бы Костолевский и сказал от себя, и сейчас он к этому подходит все ближе и ближе; и я ему говорю, что совсем надо бросить играть. Этот финальный монолог вообще и особенно когда он просит: *«Теперь,.. когда приходится спасать свое отечество,.. я должен сделать клич к тем, у которых еще есть в груди русское сердце и понятно сколько-нибудь слово б л а г о р о д с т в о»*, — это говорит Костолевский. Так вот доверительно, по-человечески говорит сам Костолевский, которому изначально наверняка верят если не весь зал, то ползала...

В январе 2002 года Вы стали главным режиссером Театра им. Маяковского и уже пять лет возглавляете два совершенно непохожих коллектива. Одно дело камерная «Покровка», где актеры не избалованы кино и рекламой, не испорчены громкой известностью, но влюблены в свое дело и, как кажется, могут буквально всё. В «Маяковке» же, напротив, — звездная труппа, актеры по большей части хорошо известны по театру и кино, но зато, что практически неизбежно сопутствует славе, каждый имеет более или менее обширный набор фирменных приемов — гримасок, улыбок, ужимок, интонаций, того, что называют «штампами». Не потому ли Ваши постановки на академической сцене — и «Женитьба», и «Мертвые души», и «Братья Карамазовы» — строятся отчасти по дивертисментному принципу — как набор более или менее обособленных концертных номеров?

Вы очень точно сказали по поводу разных манер. Но дело не только в этом. В «Маяковке» тысячный зал, и актеры привыкли к тому, что его надо брать, забирать — энергией, эмоцией, забирать, забирать. Тут есть какой-то такой технологический актерский аппарат, который нужно учитывать, чтобы в первом ряду не казалось, что я ору, а в последнем было слышно. Вот какой-то посыл, полет какой-то дополнительный. Даже не то, чтобы громче, а вот учитывать пространство. А часто хочется сказать: «Ребята, потише, тише». Когда маяковцы Филиппов и Костолевский пришли в спектакль на Покровке, мне надо было у них и звук, и выразительные средства приглушать, потому что в метре расстояния это выглядело театрально. А в «Женитьбе», конечно, мне хотелось бы звучания камерного: моя же задача — создать

правдоподобие, чтобы зрители поверили. Конечно, на Покровке это дается легче: я все-таки там сам себе почву готовил годами, — но и обстоятельства мне помогали: там не огромная сцена, а комната, — ну и чего орать, разговаривайте нормально. Свою режиссерскую работу в театре Маяковского я начал с того, что повторил здесь «Женитьбу». Это был первый спектакль здесь, и он нужен был как успешный, поэтому вышли все «звезды», самые яркие исполнители. Да, вышли «звезды» и начали друг перед другом фасон держать. Собственно, в пьесе это заложено, такое соревнование между жёнами. Но опять-таки нужна мера, и когда они совсем разыгрываются, заводятся друг от друга, я их каждый раз пытаюсь вернуть к началу, напомнить, что все эти персонажи — одинокие пожилые люди, закомплексованные и неприкаянные, а вовсе не такие наглые и победительные, как они тут пытаются представить: иначе бы и невесту не искали так долго и так безуспешно. Но, конечно, когда идет реакция, когда зал подхватывает, актеры начинают поддавать, и еще, и еще, и еще... И если спектакль идет часто, начинают придумывать для себя уже новые допинги. В данном случае я не очень их останавливаю, ругаюсь, конечно, но, с другой стороны, если они что-то придумают, и это что-то живое, не просто так, значит, они об этом думают, это не просто машинальное исполнение роли. И отсюда какая-то жизнь создается, это передается в зал, и зал видит, что это живой спектакль. А дальше «Карамазовы», «Мертвые души»... В «Мертвых душах» тоже есть момент такого дивертисмента, но уже меньше. Артисты все-таки немножко еще поглядывают, как я реагирую. Но мне бы хотелось, конечно, именно той манеры — «покровкинской». Постепенно, может быть... Это трудно. Я пробую в других спектаклях, пробую играть совсем тихо, проверяю реакцию. Я прошу: вы почувствуйте, где просто тишина в зале. И даже говорю: разговаривайте, как в комнате. Тысячный зал, полный зал — и разговаривают нормально, никто не жмет. И зал замирает, потому что вдруг заговорили не театрально, по душе. И актеры видят: значит, можно не орать. Значит, зал вовлекается и чем-то другим...

Но есть, конечно, первачи, «звезды», взлет... И наработки, которые люди эксплуатируют годами... Мне трудно их перевоспитывать, да я и моложе многих. Но дать им почувствовать, что можно и по-другому, мне бы хотелось. Я не могу на них давить, не могу их унижать, мы должны договариваться. А это часто мучительно, трудно. Конечно, всегда проще стукнуть кулаком, обматерить. Но ведь хочется, чтобы было в радость, чтобы удовольствие в работе было. И я вспоминаю, как умели работать с актерами великие мастера, тот же Любимов и Гончаров, во всем этом конфликтном мире варясь и понимая, что это и есть жизнь. Но как это не допускать близко к сердцу и очень сильно об этом не волноваться? Иногда я не знаю, как работать с актерами. Но все-таки ставлю задачи интересные, хотя они не всегда их выполняют, но даже хотя бы это остается где-то, что держит рисунок роли. К примеру, говорю, что тот же Ноздрев — это не только пьяница, дебошир и все прочее, а он поэт в этом. А то, что он дебоширит — он наказывает пороки, — у него свои способы. И когда актеры удивляются, неужели так можно взглянуть, я рад: отсюда уже росточки идут, от этого, а не от «*чем будем удивлять*». Вот этим и будем удивлять, другим взглядом.

Вы рассказывали, как начинали, и был период, когда вы пробовали разные вещи — Мейерхольд, форма, пластика. Сейчас есть такие соблазны — «удивлять»?

Соблазны есть, и они, к сожалению, лежат наверху, потому что рынок толкает конкурировать, все время побеждать: другие что-то придумывают, а я что ли не могу?! Конечно, иногда подмывает, — и даже пробуешь. Но тут возникает другой вопрос: то, чем я занимаюсь, исчезает, начинает теряться эта глубина... И поэтому, пока есть возможность, пока я вижу, что есть отклик на серьезный разговор, пока есть публика, которая приходит и каждый вечер заполняет зал, я буду всем этим заниматься. Вот когда уже увижу, что никому это не интересно, тогда можно и попробовать... Чего мы еще не пробовали? Не стояли на ушах? Можем и постоять. Но пока... Пока, когда меня спрашивают об этом, я отвечаю, что я консерватор.

Вы один из самых богатых людей: среди Ваших учителей Кнебель, Эфрос, Любимов, Гончаров...

Да, это великие режиссеры, с которыми, может быть, я иногда и спорю, и делаю это по-своему, но, конечно, диалог с ними существует у меня постоянно. Для меня Эфрос, что бы он ни ставил, — это все равно будет поэзия. Любимов — это социальный, жесткий, целенаправленный, образный театр. Кнебель и Станиславский — реалистический, психологический театр. И Вы правы, безусловно — это всё мои накопления, мое богатство. Я беру свое добро там, где нахожу. Оно не само свалилось мне в руки, я бегал и искал, и то, что у меня там отложилось, как-то, конечно, переваривается и как-то синтезируется во мне. А мой первый наставник Василий Константинович Козлов, человек, который поверил в меня!.. А педагог по истории зарубежного театра Яков Соломонович Тубин, ведущий критик, второй человек, который сказал мне: «Ты режиссер». Его уже нет, Царство ему Небесное. Многие уже ушли, но они со мной. И когда так хочется покоя, хочется лени, хочется соблазнов, хочется всего того, что противостоит истине, вот тут они мне не дают покоя, и я не могу какие-то вещи переступить, думаю: «Что скажет Мария Осиповна? Что скажет Василий Константинович? Что скажет Яков Соломонович?»... Надо бороться, надо отстаивать, надо тратить энергию, силы, кровь, пот. Все дается нелегко, постоянный выбор, постоянный самоконтроль, от которого хочется отмахнуться. А мои учителя, мои наставники, меня держат, удерживают. И мне есть, чем отчитаться перед ними.

ДНЕВНИК РЕДАКТОРА

Выпуск четвертый

Январь–март 2007 г.

Еще о Солженицыне, «национальной идее» и «особом» русском пути

1. Спрашиваете? Непременно отвечу...

Ставя последнюю точку в предыдущем выпуске своего *Дневника*, испытал ли я то облегчение, которое приходит, когда сказано, в общем, все или почти все, что хотел и мог?

Да ничуть, конечно. Хотя сдвоенный выпуск тот, полностью посвященный феномену *национальной идеи*, потому и разросся чуть ли не в целый трактат, что нацелен был на определенную полноту и завершенность в рассмотрении темы. Пусть и относительную. Иначе просто нелепо было бы и приниматься за обзор той большой конференции, которая была проведена «Континентом» по этой проблеме в ноябре 2005 г. и материалы которой и стали предметом моего внимания.

Но проблема *национальной идеи* настолько объемна и сложна и так упорно продолжает будоражить наше общественное сознание, что я никак не мог исключить, конечно, что, может быть, не раз еще придется к ней возвращаться.

Вот только я совсем не предполагал, что произойдет это так быстро. Да еще по такому неотменимому поводу — обязанности отвечать своему читателю, раз уж я решился на столь личностный жанр — дневникового с ним общения. Положа руку на сердце, я не держал и в уме, что необходимость *такого* рода вообще может возникнуть в каком-то ближайшем будущем. Давно прошли времена, когда редакции толстых журналов были завалены читательскими письмами, — и дело здесь не только в том, что по ряду причин ушли в далекое прошлое бывшие громадные их тиражи. Даже делая на эту убыль соответствующую пропорциональную поправку, приходится признать, что все равно нынешний читатель принимается за письмо в редакцию гораздо реже, чем раньше. Что-то изменилось, видно, в самом воздухе эпохи, в самом конструкте диалогической связки «писатель — читатель».

**Игорь
ВИНОГРАДОВ**

— родился в 1930 г. в Ленинграде. Окончил филологический факультет МГУ. Литературовед, критик, публицист. Автор семи книг и многих статей по русской классической и современной литературе, по проблемам эстетики и культуры, социологии и религиозной жизни. С 1992 г. — главный редактор «Континента». Живет в Москве.

Может быть, дело в повальной уже привычке современной продвинутой публики общаться в режиме *online* — на сайтах всемирной паутины, в разного рода «живых журналах» и т.п.? И удобно, и быстро. А тут жди, пока наша молниеносная почта донесет твою эпистолу до редакции, пока там ее прочтут, соберутся ответить. Да и соберутся ли?..

Словом, работая сегодня в журнале, все чаще вспоминаешь знаменитое: «писатель пописывает, читатель почитывает». Иногда от унылой этой привычки становится так даже уже и тошно, что поневоле думаешь — да зачем все это?.. кому это нужно?.. И спасает только то, что из библиотек громадной страны нашей, испытывающих хронический дефицит подписного бюджета, непрерывно идут письма с просьбами помочь со льготной или благотворительной подпиской на журнал, который, как выясняется, пользуется-таки у читателей немалым спросом...

Нет, — конечно же, и сегодня почта редакции достаточно велика. Но в основном это либо авторские рукописи, либо предложения каких-то тем или материалов для публикации — откликов на напечатанное куда меньше. Еще проза или стихи — куда ни шло, но то, что печатается в наших так называемых интеллектуальных рубриках... Серьезная публика, которая все это читает, и в старье-то времена не отличалась сколько-нибудь заметным энтузиазмом в поддержании обратной связи, а уж сегодня... Так что я был даже несколько удивлен, когда пришли-таки какие-то отклики и на мой Дневник с «национальной идеей». Нет, совсем немного. Но — пришли. Пришло письмо от двух преподавателей Заокской духовной Академии — с отрадной для меня поддержкой некоторых главных позиций, обозначенных мною в трактовке проблемы. Высказал свою поддержку («*интересно, убедительно*») и некоторые свои соображения по проблеме и читатель из Белгородской области. Пришло и еще несколько более общих откликов, не требующих какого-либо специального ответа, кроме искренней благодарности за внимание.

Но в одном из писем прозвучал вдруг такой недоуменный вопрос: а почему я в предыдущем своем Дневнике о национальной идее («*таком огромном*») так и не нашел места для Солженицына? Участников нашей континентской конференции кого угодно помянул, даже заокеанских политологов не обошел, а о Солженицыне — ни полслова. Неужели, спрашивает меня читатель, взгляд Солженицына на русскую национальную идею как идею «сбережения народа» для меня менее значим, чем, например, мнения Р. Гальцевой, А. Зубова или И. Роднянской?..

Нет, конечно. Более того, я совершенно убежден, что многократные и очень острые высказывания А. Солженицына о современной ситуации в России, о проблемах, которые ей предстоит решить, выводят как раз к едва ли не самой важной сегодня для России задаче ее принципиального исторического самоопределения, — задаче, которая внутренне, хотя и не напрямую, действительно связана с проблемой так называемой *национальной идеи*.

Но она имеет настолько сложное *собственное* свое содержательное поле, что требует специального же и рассмотрения. И вот именно это обстоятельство — и только оно — и заставило меня отказаться от обращения к этой теме в предыдущем выпуске Дневника, где она была затронута лишь в самой общей форме. Дневник и без того ведь слишком разросся. И я решил

отложить этот сюжет до лучших времен, будучи уверен, что для обращения к нему наверняка и не раз появятся еще какие-нибудь актуальные стимулы. А сам начал уже продумывать иные темы для следующего выпуска Дневника, — благо их столько, что сами, можно сказать, просятся на его страницы. И даже начал уже работать над иными из них. Но тут и пришло как раз письмо с вопросом о Солженицыне. И я понял, что нет — откладывать не буду, раз, оказывается, отсутствие солженицынской темы в выпуске Дневника о национальной идее привлекло-таки все же чье-то недоуменное внимание. И раз уж кому-то интересно, как я отношусь к солженицынским на этот счет взглядам. Скажу честно — в наш век столь острого и всеохватного дефицита на живое общение с читателем я слишком дорожу любым читательским откликом, любым актом заинтересованной обратной связи, чтобы позволить себе пренебречь возможностью всячески эту связь и со своей стороны поддержать. Так что и на будущее могу заверить: если кому-то из читателей Дневника захочется о чем-то меня спросить и он потратит свое время даже на письмо, — пусть спрашивает. Я непременно отвечу. И, может быть, даже и на страницах журнала, если тема будет заслуживать, на мой взгляд, того, чтобы сделать ее предметом публичного рассмотрения. Как — в отношении солженицынской темы — это и должно было произойти на страницах уже предыдущего номера. И, конечно, произошло бы, если бы по ряду сугубо личных, но, право, достаточно серьезных обстоятельств мне не пришлось и вообще отложить тогда работу над этим выпуском Дневника. За что и приношу свои искренние извинения читателю.

Зато в текущем номере сделать это мне уже ничто, надеюсь, не помешает и я сумею показать, что в контексте той проблемы, которую мы связываем с понятием национальной идеи, солженицынский сюжет действительно представляет очень большой, очень важный для сегодняшней России интерес.

Но чтобы подойти к этому, попробуем сначала уяснить, как видит отношение своей формулы «сбережение народа» к проблеме так называемой *национальной идеи* сам Солженицын.

2. «Сбережение народа» — национальная идея или исторически неотложная государственная задача?

Отметим, во-первых, что формула «сбережение народа» действительно для Солженицына принципиальна. Недаром именно ее, как правило, прежде всего и держат в виду, когда речь заходит о его позиции по проблеме национальной идеи. Весомо присутствует эта формула и в уже упомянутом его интервью с главным редактором «Московских новостей» Виталием Третьяковым.

Однако обратим, во-вторых, внимание на то, в каком проблемном контексте появляется обычно у Солженицына эта формула. А появляется она у него всегда в контексте одной и той же исторической темы (для его мировоззрения тоже принципиальной). Это его видение русской истории как чрезвычайно драматичной, а временами просто гибельной для самого существования русского народа как коренной в России национальной общности, для его физического и духовного здоровья. На такой оценке российской государственной политики со времен Петра I и вплоть до на-

ших дней Солженицын всегда и решительно настаивает, и именно в этом контексте формула «сбережение народа» впервые и появляется в его публицистике. Я имею в виду знаменитую брошюру «Как нам обустроить России», за которую он, с головой ушедший в главную работу всей своей жизни, многолетнюю эпопею «Красное колесо», немедленно и с жаром тем не менее принялся, как только в России началась так называемая перестройка и стало ясно, что страна расстается со своим коммунистическим прошлым, выходит на какой-то совсем другой исторический путь. На какой же?.. Это действительно важно было понять, как-то на этот запрос истории ответить, и с этим кто угодно мог подождать, посмотреть, как и куда что повернется (и многие так и промолчали), но только не Солженицын. Недаром же он еще в 1973 году попытался повлиять на ход российской истории, предлагая в тогдашнем своем «Письме вождям Советского Союза» безотлагательные меры для выхода страны из очевидного уже тогда государственного и национального кризиса. Брошюра «Как нам обустроить Россию», появившаяся в 1990 г., продолжила начатую этим «Письмом» традицию, но — на совершенно новом уже историческом повороте. Это была масштабная, продуманная, глубоко концептуальная и вместе с тем достаточно конкретная программа реформирования страны — программа, равной или хотя бы соразмерной которой, как бы ни относиться к ней по существу, никто тогда, надо признать, выдвинуть так и не решился. А он — решился. И именно там, в прямой связи со всем комплексом представленных там деятельных его советов и предложений, и прозвучала она, эта формула, как своего рода обобщающий их лозунг и ориентир:

«Размеренный выход из полосы наших несчастий, который Россия сумеет или не сумеет теперь осуществить,— трудней, чем было встряхнуться от татарского ига: тогда не был сокрушен самый хребет народа и не была подорвана в нем христианская вера.

В 1754 году, при Елизавете, Петр Иванович Шувалов предложил такой удивительный — Проект сбережения народа.

Вот чудак? А ведь — вот где государственная мудрость»¹.

Итак, возьмем на заметку — формула «сбережение народа» обозначена здесь Солженицыным как формула настоящей *государственной мудрости*. То есть как некая *государственная* прежде всего задача, задача *власти*.

В том же звучании и контексте появляется упоминание о проекте Шувалова и в написанной через четыре года после «Обустройства» известной работе Солженицына «Русский вопрос» к концу XX века». Здесь Солженицын подвергает беспощадному анализу — *«по линии упущенных возможностей внутреннего развития и безжалостной растраты народных сил на ненужные России внешние цели»²* — политику государственных правителей

¹ См. Солженицын А. И. На возврате дыхания. Избранная публицистика. М., Вагриус, 2004. С. 389. В дальнейшем ссылки на это издание даются в скобках в тексте — с обозначением «НВД» и указанием страницы.

² См. Солженицын А. Публицистика. В трех томах. Том 1. Ярославль, 1995. С. 670. В дальнейшем ссылки на это издание даются в скобках в тексте — с обозначением «П» и указанием тома и страницы.

России на протяжении четырех последних веков русской истории. Политику, в результате которой «население, создавшее и державшее Россию, все ослаблялось», так что теперь мы на грани катастрофы — «мы в ы м и р а е м» (П-1, 666, 695, 698).

«Мы начали **вымирать**!» — вновь и вновь страстно пытается он достучаться, наконец, до сознания власти, выступая и в Государственной Думе. Обращаясь к ней, Солженицын вновь и вновь повторяет: «Наша высшая и главная цель — это сбережение нашего народа, и так столь уже измученного, его нравственного бытия, его культуры, его традиции» (НВД, 503, 519).

Здесь, как видим, задача сбережения народа обозначена уже шире и полнее — как задача сбережения не только физического, а и нравственного, и культурного. Но тоже именно как цель и задача, стоящие прежде всего перед ответственной национальной властью.

Наконец, в том же адресном формате употреблена эта формула и в связи с вопросом об отношении Солженицына к политике Путина в интервью с В. Третьяковым: «“Сбережение народа” — и в самой численности его, и в физическом и нравственном здоровье — высшая из всех наших государственных задач. <...> К этой цели должна быть настроена вся атмосфера жизни в стране»³.

И только единственный раз, в интервью телекомпании НТВ (23 марта 1997 г.), Солженицын действительно употребляет по отношению к «сбережению народа» термин «национальная идея».

Но, во-первых, в ответ вот на какой вопрос: «Александр Исаевич, вот сейчас в обществе возобновилась дискуссия, давняя, о русской идее, об идее новой России. Как вы считаете, есть такая идея? Возможна ли она? <...> В администрации Президента есть группа, которая над этим работает...»

А во-вторых, — вот в какой редакции и вот с какими пояснениями:

«Национальная идея — если она возможна в какой-то период, в какой-то нации, — она должна сама созреть и родиться в сотнях голов, в тысячах голов и грудей. И тогда она формулируется постепенно и ведет страну.

Да, счастье было бы наше, если бы мы национальную идею такую могли сегодня сформулировать. Я сам семь лет назад такую одну национальную идею предложил. <...> Да я и не сам придумал — я повторил, только повторил то, что за 250 лет до меня сказал елизаветинский деятель Петр Иванович Шувалов. И вся та идея была сформулирована им в двух словах: “Сбережение народа”. Только и всего. Но тут огромный смысл.

Я не говорю, что эта идея на века. Я не говорю, что она может нас вести через тысячелетия. Но на 20–30 лет нельзя придумать лучше идеи, чем у Шувалова. <...>

Вот такая идея на 20 лет. Примут ее? Боюсь, что нет. Императоры довольно хладнокровно отнеслись к идее Шувалова за 250 лет. О большевиках даже не спрашивай! Но и сейчас на то, что я семь лет назад предложил, почти никто не отозвался. Вот так» (НВД, 607–608).

Да, вот так. Вот такая вот трактовка «сбережения народа» как национальной идеи. Очень, как видим, условная. Ибо хотя Солженицын и прибе-

³ Московские новости № 15, 28 апреля — 4 мая 2006 года.

гает здесь именно к этому термину, он употребляет его, конечно же, совсем не в том его значении, когда имеется в виду, согласно знаменитой формуле Вл. Соловьева, *высший смысл существования народа в истории*. То есть тот смысл, который возможен только в религиозном измерении мира, а применительно к христианским странам вообще и к России состоит именно в том, что заповедано всякому народу Самим Христом, сказавшим своим апостолам: *идите и научите все народы соблюдать все, что Я повелел вам*.

Обо всем этом, напоминая, достаточно подробно говорилось в предыдущем выпуске Дневника.

Итак, понятно, что и в интервью компании НТВ Солженицын тоже имел в виду, конечно же, не эту высшую и общую задачу существования нашей нации в истории, а именно лишь ближайшую, насущнейшую и совершенно конкретную, исторически неотклонимо вставшую перед Россией по причине все более катастрофического внутреннего ослабления и уже просто *вымирания* русского народа — вымирания, грозящего нам и вообще уже исчезновением как самостоятельной и значимой национальной общности. И, кстати, сам чувствуя, видимо, эту условность, какую-то неточность своего употребления термина «национальная идея», когда он возводит шуваловский «проект» в этот высокий категориальный статус, Солженицын сам же, в сущности, как мы видели, это и признает — ну пусть, де, национальная идея России не вообще, а хотя бы лет на двадцать...

Но вот тут мы и подходим к самому интересному.

Итак, Солженицын, судя по всему, сам чувствует какую-то неточность, какую-то натяжку, когда называет *сбережение народа* нашей национальной идеей. Хотя теоретическим изучением проблемы национальной идеи в ее собственно-понятийном содержании он вряд ли, конечно, занимался. Скорее всего он чувствует эту неточность, заставляющую его идти на оговорки, просто как человек и художник, природно и профессионально очень чуткий к слову, к его смысловой ауре, к органичности его звучания.

Но ведь, с другой стороны, одновременно он все-таки идет на такую неточность — идет, даже и чувствуя ее! Значит, одновременно он чувствует и какую-то языковую *органику*, какую-то *оправданность* такой неточности — какую-то способность словосочетания «национальная идея» прилагаться и к тому, что означает собою формула «сбережение народа», хотя это собственно национальной идеей, конечно же, не является.

В чем же дело? Почему так тянет его к соединению этих совсем вроде бы разных вещей?

Я думаю, что ответ — и очень важный, действительно выводящий нас к одной из фундаментальнейших проблем исторической жизни России, — мы найдем там же, где и ответ на другой вопрос. На вопрос о том, почему и вообще русская мысль последних двух уже почти веков так охотно и часто пользуется именно этой высокой терминологической лексикой, хотя сплошь и рядом речь идет о вещах куда более скромных, чем смысл существования русской нации вообще. На это, напоминая, еще на нашей конференции по национальной идее обратил свое удивленное внимание Жорж Нива — что такое, везде в Европе живут себе нации и не заботятся ни о каких национальных идеях, даже потребности как-то сформулировать их не испытывают... А у вас

в России чуть что — так сразу уже непременно и *свой особый путь*, и своя *русская идея*, и национальная российская *уникальность*, и т.д. и т.п. В чем дело?

И вот здесь нам стоит вспомнить о некоторых очень важных для понимания нашей русской истории характерных ее особенностях.

3. Догоняющее развитие

Я имею в виду те особенности нашего исторического пути, которые, судя по всему, заделали внимание уже и С.М. Соловьева, отметившего *запоздалое* развитие России.

Само по себе это не было, конечно, каким-либо открытием.

Но общеизвестный факт этот, всем давно вроде бы очевидный и лишь в самом общем же своем виде обозначенный и С. Соловьевым, привлек к себе совершенно особое внимание его ученика и преемника, крупнейшей русской историка конца XIX — начала XX вв. В.О. Ключевского, автора знаменитого «Курса русской истории». В результате Ключевский пришел к ряду настолько любопытных теоретических наблюдений, что они, в свою очередь, заставили уже некоторых его преемников, наших современников, внимательно сквозь призму этих наблюдений всмотреться и в ход всей дальнейшей российской истории. И это привело их к выводу, что основные теоретические формулы, предложенные когда-то Ключевским для предшествовавшей русской истории, обладают принципиальной методологической значимостью для понимания чуть ли не всего хода исторического развития России — начиная с эпохи освобождения от татарского ига и кончая перестроечными и постперестроечными временами. Взгляд на русскую историю, основанный на этом выводе, последователи Ключевского называли концепцией «догоняющего развития»⁴, по справедливости отдав здесь пальму первенства своему учителю, хотя сам он никогда эту формулу впрямую не употреблял. Но сквозная концептуальная схема, образующая внутреннюю интригу его знаменитого «Курса русской истории», доведенного до великих реформ Александра II, действительно и вполне отвечает именно этой формуле.

Напомню вкратце, в чем суть концепции «догоняющего развития».

Она построена на констатации поразительной *повторяемости* одной и той же типовой исторической ситуации, проходящей через несколько веков русской истории, — ситуации, которую впервые в исторической науке не просто обнаружил, но описал, проанализировал и осмыслил как раз именно Ключевский. Речь идет о XVI–XVII вв., когда Московскому государству, сумевшему в XV в. окончательно освободиться от власти ослабевшей Орды, пришлось убедиться, что теперь, чтобы отстоять свою целостность и независимость, ему предстоит иметь дело уже прежде всего с западными и северными соседями, которые за время татарского владычества и особенно в течение XVI в. далеко ушли вперед в своем цивилизационном развитии. Между тем сформировавшееся в условиях борьбы против татар «царски-боярское земледельчески-военное» Московское боевое государство (как

⁴ См. например: *Плимак Е., Пантин И.* От смуты до смуты. Россия в тупике «догоняющего развития». «Октябрь», 1993, № 1.

определяет его Ключевский), освободившись, так и продолжало по инерции оставаться в своей прежней структуре *«государства-вотчины»*, вылепленной предыдущими историческими условиями существования. Оно, пишет Ключевский, *«никак не участвовало во всех этих успехах»* Запада, по-прежнему *«тратя свои силы и средства на внешнюю оборону и кормление двора, правительства, привилегированных классов с духовенством включительно, ничего не делавших и не способных что-либо сделать для экономического и духовного развития народа»*. В результате все очевиднее становилась постоянно *«вскрывавшаяся в войнах, в дипломатических сношениях, в торговом обмене скудость собственных материальных и духовных средств перед западноевропейскими»*. Это, показывает Ключевский, вполне обнаружилось уже в XVI в., когда Россия принялась за *«восстановление политического и национального единства всей Русской земли»*, утраченного при татарах. Уже на начальных этапах задача эта потребовала от Московского государства поистине громадного напряжения сил, а *«в XVII в., после территориальных потерь Смутного времени, эта борьба стала еще тяжелее»*, и *«тягостями войн с Польшей и Швецией»* Россия уже окончательно оказалась подведена к осознанию безотлагательной необходимости что-то делать со своей отсталостью. Но ей пришлось еще чуть ли не четверть века дожидаться Петра I, чтобы то, что и до Петра в царско-боярской России уже начиналось делаться, но из-за косной привычки к устоявшемуся очень еще медленно, лениво и робко, приобрело, наконец, размах действительно мощной, решительной и крутой, хотя и не глубинной преобразовательной реформы. Причем и это произошло, констатирует Ключевский, именно и только тогда, когда Петру, который *«самой тяжелой потерей»*, понесенной Московским государством в XVII в., как раз и *«считал утрату земель прибалтийских, лишивших Россию общения с просвещенными народами Запада»*⁵, пришлось самому убедиться, что вернуть эту утрату старой России уже вряд ли по силам.

Так в российской истории послемонгольского периода впервые созрела ситуация, когда страна обнаружила и осознала себя очень опасно отставшей от ближайших соседей, перманентных своих противников. И именно эта реальная острая внешняя опасность и потребовала властно немедленных усилий по внутреннему преобразованию, чтобы выйти хотя бы на уровень их военных возможностей и сил.

Но тем самым это была первая ситуация, когда впервые же проявил себя во всей своей жесткости и тот неумолимый *«закон жизни отсталых государств или народов среди опередивших»*, который позднее, уже в конце жизни, в 1911 г., чеканно сформулирует Ключевский: *«Нужда реформ назревает раньше, чем народ созреет для реформы. Необходимость ускоренного движения вдогонку ведет к перениманию чужого наскоро»* (IX, 361).

Действительно: именно так ведь все и произошло. Начиная с того, что именно *«война привела его (Петра I — И.В.) и до конца жизни толкала к реформам»*. Именно она *«вызвала и направляла»* его реформу, став ее непосред-

⁵ Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. М., «Мысль», 1990 Т. IV. С. 195. В дальнейшем ссылки на В.Ключевского даются по этому же изданию и приводятся в тексте в скобках (римская цифра — том, арабские — страница).

редственной «обстановкой» — «*колыбель реформы в другие времена, война при Петре стала ее школой*» (IV, 190). Именно она потребовала «*ускоренного движения вдогонку*». И именно поэтому реформа стимулирована была прежде всего тем, чтобы «*наскоро перенять*» в первую очередь то «*чужое*», в котором Россия нуждалась для успешного ведения и завершения войны. Смысл реформы Петра, констатирует Ключевский, в том и заключался, чтобы «*вооружить Русское государство и народ готовыми западноевропейскими средствами, умственными и материальными, и тем поставить государство в уровень с завоеванным им положением в Европе*» (IV, 202).

Но, заимствуя «наскоро» эти средства, Петр, естественно, вынужден был переносить их именно на ту почву «*царско-боярской, земледельческо-военной*» Руси, которая очень далека еще была от европейской — той, на которой эти средства органично выросли, созрели и упрочились. Петр, подчеркивает Ключевский, «*у Запада заимствовал технические средства для устройства армии, флота, государственного и народного хозяйства, правительственных учреждений*». А «*государственные силы, верховную власть, право, сословия*» — «*взял из старой Руси*». И потому как ни грандиозно совершенное Петром, как ни упрочили его реформы внешнее положение России в мире и как много нового ни внесли они в ее внутреннюю жизнь, они не были и не могли стать *глубинно-структурными*, изменить сам *строй* и *природу* российского государства. Ключевский не просто прекрасно понимает это, — он постоянно и настойчиво подчеркивает этот половинчатый, незрелый, «наскоро», их характер, равно как и чудовишные, варварские, деспотические способы их проведения. Но в то же время он полностью отдает себе как историк отчет и в том, что даже если бы Петр сам понимал, что страна нуждается в куда более глубинном и широком движении «вдогонку» Запада, требующем куда большего исторического времени и куда более коренных перемен в жизни, и даже если бы он и готов был начать именно такое движение, он просто *не мог бы* этого сделать. Не мог бы уже потому, что нужного для этого куда большего исторического времени у него *просто не было*. И не было именно потому, что ему пришлось действовать в ситуации, когда «*внешние опасности государства*» не просто «*опережали естественный рост народа, закосневшего в своем развитии*», — они опережали его слишком грозно и сильно, чтобы можно было ждать, когда русская «закосневшая» жизнь сама совершит, наконец, тот естественный свой рост, который позволит ей сравняться с жизнью соседей, сама произведет из себя все средства, необходимые для защиты своего существования как жизни целостного национального организма.

В LXVIII лекции «Курса русской истории» мы находим любопытный фрагмент, заостренный против тех, кто позднее так любил винить Петра за его попытку навязать русской жизни то, до чего она сама еще не созрела, насильственно подтолкнуть ее к европейской хотя бы частично. «*Уже люди екатерининского времени понимали*, — твердо замечает по этому поводу Ключевский, — *что обновление России нельзя было предоставлять постепенной, тихой работе времени, не подталкиваемой насильственно*». И в подтверждение ссылается на знаменитого историка и публициста XVIII в. князя М. Щербатова, который, кстати, как раз очень «*косо смотрел на реформу Петра*» и отнюдь «*не был и приверженцем самовластья*», считая его «*безусловно вред-*

ным для народа способом управления». Но и он вынужден был признать, напоминает Ключевский, что, согласно сделанному им, Щербатовым, хронологическому подсчету, без Петра «Россия даже до того далеко еще не совершенного состояния, в каком она находилась к исходу XVIII в., достигла бы только через сто лет, к 1892 г., да и то при условии, если бы в течение этого долгого промежутка времени не случилось никакого помешательства, ни внутреннего, ни внешнего, и если бы в это время не явились государи, которые неразумными мерами разрушили бы то, что сделали два или три их предка, и тем задержали бы обновление России. А между тем, — саркастически заключает Ключевский, — какой-нибудь Карл XII или Фридрих II поотрывали бы себе части России и тем еще более замедлили бы ее развитие» (IV, 191–192).

Не могу отказать себе в удовольствии прервать на минуту наше путешествие по этапам «догоняющего развития», чтобы выразить свое восхищение редкостной объемностью, мощью и просто мудрой зрелостью историко-философской мысли Ключевского. Его анализ и оценка реформы Петра, которая, «как она была исполнена Петром, была его *личным делом, делом беспримерно насильственным и, однако, произвольным и необходимым*» (там же, выделено мною — И.В.) — это только один из замечательных методологических его нам уроков.

В самом деле, — с одной стороны, абсолютно надежно вооруженная высшими нравственными критериями в оценке наблюдаемых исторических фактов, мысль Ключевского никогда не избегала называть деспотизм деспотизмом, насилие — насилием, зло — злом. Но, с другой стороны, она никогда не поддавалась в то же время и очень опасному для нее, постоянно подстерегающему ее неизменный, искренний и совершенно необходимый нравственный пафос великому соблазну поспешного, абстрактного морализма.

От Ключевского, человека глубокого религиозного взгляда на мир, ученого-христианина, не было, естественно, закрыто, что нравственные энергии не только всегда включены, но, в конечном счете, всегда и определяют собою движение исторического процесса. «Разум, правда, истина, свобода, религия, — читаем в его набросках к “Курсу русской истории”, — это не просто основы или правила политической и нравственной жизни, усвояемые сознанием и волей: это — *мировые силы, или законы человеческого бытия, действующие, подобно законам природы, независимо от нашего к ним отношения*» (V, 387, выделено мною — И.В.).

Но в то же время Ключевский вполне отдавал себе отчет в том, что эти мировые силы, создающие нравственное измерение истории и делающие не только возможной, но и обязательной нравственный же оценочный на нее взгляд, проявляют свое действие, как правило, лишь *на очень длительном отрезке времени*. И через очень причудливую и протяженную цепь исторических событий, разглядеть и выявить причинно-следственную взаимосвязь которых как раз и есть главное дело историка.

Вот почему мысль Ключевского — всегда в самой сердцевине исторической жизни и никогда не спешит ограничить *историческую оценку* того или иного исторического явления и факта лишь тем общим для него всеобъемлющим категорическим моральным вердиктом, которого этот факт или явление заслуживают сами по себе, в своей самозамкнутой исторической

ограниченности. Как бы ни был такой вердикт вообще, в пространстве чистого морального уможения, оправдан и необходим, Ключевский — как историк — всегда переносит проблему оценки прежде всего в пространство самой *динамики* исторического процесса. Он всегда занят исследованием того, какой глубинной причинно-следственной связью и каким нравственным зарядом предыдущих событий был данный факт вызван — и к какой логике дальнейшего развития, в том числе и к каким дальнейшим вмешательствам *нравственной* воли обязывал. И это вовсе, стало быть, не отказ от моральной точки зрения и тем более не готовность идти на какой-либо компромисс в нравственной оценке исторического события. Нет, это всегда стремление понять как раз истинный потенциал его возможного нравственного же воздействия на последующий ряд событий, которые неизбежно окажутся с ним связанными, — какими своими сторонами и какие тенденции исторического развития оно может усилить и поддержать? А это и значит, повторяю, что полная моральная стоимость любого акта истории всегда выявляется у Ключевского именно через систему конкретных взаимосвязей этого акта с прошлым и будущим, а не умозрительно-абстрактно.

На примере оценки Ключевским петровской реформы особенно хорошо, может быть, видно, как далека поэтому его методология и от прекраснотушного абстрактно-патристического морализма славянофильски-почвеннического толка, обличавшего Петра за насильственное вторжение в органику седебородой старины, и от восторженного либерально-западнического его превозношения как истинного просветителя и апологета европейской цивилизации. Недаром с такой язвительной на этот счет иронией напоминает он слова, сказанные однажды Петром Остерману: *«Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться задом»*. И как раз именно такой подход к оценке Петра (очень близкий, кстати, к Пушкинскому взгляду) и дает Ключевскому возможность найти верные ориентиры для той точки зрения, с которой только и может быть адекватно увидено и верно оценено дальнейшее движение русской истории.

В самом деле — ведь главное внутренне противоречие необходимой, неизбежной и в то же время предельно жестокой, деспотической петровской реформы состояло, как пишет историк, в том, что Петр *«надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе. <...> хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно»*.

Но *«совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства — это политическая квадратура круга»*, констатирует Ключевский. И вот это «квадратура круга» и была, следовательно, оставлена Петром своим преемникам как та главная им «загадка», которую русская история должна была как-то разрешить, чтобы выйти на дорогу здорового, а не в раздрающих внутренних противоречиях, органического развития. И потому в центре дальнейшего исторического анализа и становится у Ключевского исследование того, как же двигалось дело с этой *«загадкой, разрешавшейся у нас со времен Петра и доселе не разрешенной»* (IV, 203).

И вот здесь, обращаясь к послепетровской истории, Ключевский, сумевший трезво увидеть, что Петр не только не мог эту «загадку» разрешить, но не мог и вообще ставить ее перед собою, даже если бы, перепрыгнув свое

время и свой менталитет, способен был ее увидеть и осознать, — здесь Ключевский не находит уже никакого оправдания тому, что загадка эта никак не разрешалась еще почти целых полтора века. Хотя времени для этого, и куда более благоприятного, чем при Петре, было уже достаточно. В своем «Курсе русской истории» Ключевский подробно показывает, как непростительно долго тянуло с ее решением не только непосредственные *«недостойные преемники и преемницы преобразователя»*, но и Павел, и Александр I, и Николай I, которые, как пишет Ключевский, лишь *«владели, а не правили Россией, проводили в ней свой династический, а не государственный интерес»*. И, *«не желая и не умея понять нужд народа, истощили в своих видах его силы и средства, не обновляя и не направляя их к целям народного блага»* (IX, 361).

Так старый социально-экономический и политический порядок, основанный на крепостничестве, и после Петра продержался на протяжении еще столь долгого времени, что в результате Россия, упорно сдерживаемая в своем развитии его деспотической уздой, опять оказалась в ситуации все более очевидного отставания от Европы, все дальше уходившей вперед в своем цивилизационном развитии, в наращивании промышленной и военной мощи, в успехах науки и просвещения, в стимулировании творческой самоорганизации и самодвижения общества. Недаром уже при Екатерине, когда крепостная почва «затряслась под ногами» ее самодержавия, — уже тогда, подчеркивает Ключевский, *«в правящих сферах»* не могла не всплыть *«мысль об уравнивании общества, о смягчении крепостного права»*. Но еще почти целый век «сферы» эти, в сущности, только мусолили в своих комитетах и комиссиях эту «мысль» — *«хмурясь и робея, пережевывая одни и те же планы и из царствования в царствование отсрочивая вопрос»*. И в результате *«малодушными попытками улучшения, не оправдывающими громкого титула власти, довели дело к половине XIX в. до того, что его разрешение стало требованием стихийной необходимости, особенно когда Севастополь ударил по застоявшимся умам»* (выделено мною — И.В.).

Так опять лишь прямое и грубое внешнее принуждение — позорным поражением в Крымской войне — заставило российское самодержавие приняться за реформы. Хотя отставание России от Запада к середине XIX достигло уже такого катастрофического, в сущности, уровня, что если бы старый порядок не был, наконец, преодолен, Россия, считает Ключевский, и вообще просто *«выбыла бы из числа европейских стран»*. И опять — из-за чудовищного исторического промедления — преодолевать этот старый порядок пришлось в том же неизбежном для жизни *«отсталых стран и народов»* алгоритме — наскоро, вдогонку перенимая формы, веками органически выраставшие в «опередивших» странах Запада, и пересаживая их на исторически очень еще плохо подготовленную для этого почву — как народную, так и административную.

Правда, в самом «Курсе русской истории», который как раз и был доведен Ключевским до переломной вехи 1861 г., он решился познакомить своих слушателей только с общим содержанием великих реформ Александра II и с фактическим ходом их разработки. Но не счел себя вправе давать им какую-либо итоговую обобщающую оценку. *«Для этого, — объяснял он, — еще нет достаточных исторических данных, по которым он (историк — И.В.)*

мог бы судить о значении той или иной реформы (Ключевский говорит о двух главных — освобождении крестьян с землею и введении земских учреждений, — И.В.); ни та, ни другая не обнаружили своих последствий, а исторические факты ценятся главным образом по своим последствиям» (V, 259).

Но в дневниковых записях позднейших лет, существенно обогащающих наши представления о его взглядах, которые он выражает здесь зачастую куда острее и откровеннее, чем в официальном Курсе, мы находим ряд интереснейших суждений, проливающих свет на то, к какой оценке реформ Александра II подвели его, в конце концов, дальнейшие события русской истории. Ведь он мог наблюдать их в течение еще целых тридцати лет после гибели царя-реформатора. А значит — вполне мог уже разглядеть и какие-то «исторические последствия» реформ Александра II — последствия того, как и в каких границах были они проведены.

«Все его великие реформы, непростительно запоздалые, были великодушно задуманы, спешно разработаны и недобросовестно исполнены, кроме разве реформы судебной и воинской, — читаем мы, в частности, в дневниковой записи от 24 апреля 1906 г. К тому же даже эти неполные, недобросовестно исполненные и тем сложнее прививавшиеся к российской почве реформы уже при Александре III «*решено было*», как в этой же записи отмечает Ключевский, не только «*окорнать*», но еще и «*добросовестно, открыто признать*ся в этом». «Правительство, — констатирует Ключевский, — прямо издевалось над обществом, говорило ему: вы требовали новых реформ — у вас отнимут и старые; вы негодовали на недобросовестное искажение высочайше даруемых реформ — вот вам добросовестное исполнение высочайше искаженных реформ». Так традиционная «правительственная провокация получила новый облик, — заключает Ключевский. — Прежде она п о д с т е р е г а л а общество, чтобы заставить его обнаружиться; теперь она д р а з н и л а общество, чтобы заставить его потерять терпение. Результаты соответствовали изменению провокаторской тактики: прежде так или иначе вылавливали подпольных крамольников, теперь и так и этак загоняли открытую оппозицию в подпольную крамолу» (IX, 342–343).

И вот итог: уже весной 1898 г. Ключевский записывает: «*Р[оссия] на краю пропасти. Каждая минута дорога. Все это чувствуют и задают вопросы: что делать? Ответа нет*» (IX, 417).

Еще более показательна запись от 7 августа 1904 г. «*После Крымской войны, — пишет Ключевский, — р[усское] правительство поняло, что оно никуда не годится; после болгарской войны и р[усская] интеллигенция поняла, что ее правительство никуда не годится; теперь р[усский] народ начинает понимать, что и его правительство, и его интеллигенция равно никуда не годятся. Остается заключить такой мир с Японией, чтобы и правительство, и интеллигенция, и народ поняли, что все они одинаково никуда не годятся, и тогда прогрессивный паралич русского национального самосознания завершит последнюю фазу своей эволюции*» (IX, 331–332).

Жестокий приговор! Но согласимся — сомневаться в его исторической оправданности никаких сколько-нибудь серьезных оснований у нас, увы, не имеется. Ключевский как в воду глядел, — именно «такой» мир с Японией и был заключен, и этим новым, еще более позорным, поражением России в

русско-японской войне ее опять рвануло новым лихорадочным скачком вдолгонку упущенного. Но уже не просто реформой, а революцией, которая хотя и не смела еще обанкротившее самодержавие вчистую, однако подвела его к черте, за которой почти не оставалось уже исторического времени, чтобы понять, наконец, что дальнейшую нетрезвость в осознании своего реального исторического положения на мировой арене никакое русское «авось» уже не спасет. Что и подтвердилось в результате бездарного правления Николая II, о котором позднее Солженицын скажет, что уже за первые 11 лет своего царствования (т. е. к 1905 г.) он *«почти выпустил власть из своих рук»* (РВ, 668). И как показатель, что и Ключевский в начале 1911 г. тоже констатирует:

«Нынешняя политика: менять законы, реформировать права, но не трогать господствующих интересов».

Чем более мы сближались с Западной Европой, тем труднее становилось у нас проявлению народной свободы. <...> Главная доля вины — на бессмысленном управлении» (IX, 360; выделено мною — И.В.).

А вот другая запись примерно того же, судя по всему, времени. Ключевский отмечает, что начиная с Александра III, с его детей, в династии Романовых *«вырождение нравственное сопровождается и физическим»*. И предсказывает: *«Она, эта династия, не доживет до своей поли[тической] смерти, вымрет раньше, чем перестанет быть нужной и будет прогнана. В этом ее счастье и несчастье России и ее народа, притом повторное: ей еще раз грозит бесцарствие, смутное время»* (IX, 442–443).

Какая поразительная опять историческая прозорливость! Ведь Ключевский ошибся только в том, чего и не мог предвидеть наверняка, — мы знаем, что политическая смерть династии Романовых наступила раньше физической, а физическая произошла отнюдь не «вымиранием», то есть не естественным все же (пусть даже и через физическое вырождение) путем, а страшным зверским большевистским расстрелом Николая II и всей его семьи в ипатьевском подвале Екатеринбурга, и это ни в какой мере не было, следовательно, для них всех «счастьем».

Но это отнюдь не отменило и не могло отменить *«несчастье России и ее народа, притом повторное»* — новая смута, и страшнейшая в русской истории, действительно началась. И началась опять-таки именно потому, что и последний страшный вызов истории, пошатнувший трон Николая II в 1905 г., так и не был им услышан даже и во вторую половину его царствования. Хотя у него были государственные деятели поистине великого исторического чутья и мудрости, прекрасно видевшие, в какую бездну катится страна, которая при всех небывалых как будто бы успехах своего экономического развития, бурно начавшегося через полвека после отмены крепостного права, так и не сбросила с себя проклятье той социально-политической «квадратуры круга», о которой писал Ключевский. Роковой разрыв между властью и обществом довел-таки, в конце концов, Россию до того, что через следующие 12 лет после 1905-го опять рвануло новой и куда уже более страшной февральской революцией 1917 г., поскольку она, можно сказать, всем ходом предшествовавшей российской жизни была просто обречена выявить всю незрелость русской гражданственности, всю ее неподготовленность к демократии. А потому мгновенно и сорвалась, не могла не сорваться, в Октябрь. И

вместо так долго, медленно и таким тяжким катком катившегося по вечно догоняющей России Белого колеса российской самодержавной государственности покатилося по ней уже новое, во многие разы страшнейшее и кровавейшее Красное колесо большевистской дьявольской диктатуры...

Но как характерно, что и на этом новом семидесятилетнем историческом отрезке жизнь страны опять оказалась подчинена все тому же роковому для нее алгоритму! Ведь только страхом перед «капиталистическим окружением», а вовсе не заботой о народном благе и была вызвана та гигантская реформа сплошной «индустриализации», «коллективизации» и гулагизации страны, которая лишь ценой чудовищных жертв и предельного напряжения всех сил народа и дала Сталину, по формуле Ключевского, все необходимые ему «технические средства», чтобы его *«первое в мире социалистическое государство»* смогло одержать победу над армиями первого в мире «национал-социалистического» Рейха. Да и то ведь — лишь на волне поднявшегося мощного национального чувства народа, не желавшего соглашаться на участь низшей расы, обреченной быть рабской рабочей силой у высшей, и защищавшего свое право на независимое национальное бытие. И точно так же лишь абсолютная невозможность для скрежещущей советской экономики, катастрофически соскочившей к тому же с нефтяной иглы, выдержать грозно ожидавшую нас гонку «звездных войн» вызвала всю нашу так называемую перестройку. Недаром истинным отцом ее так часто и называют не Михаила Горбачева, а Рональда Рейгана...

Вот так и случилось, что и через век после смерти Ключевского нам все еще приходится удивляться, до какой степени точно соответствуют сквозному рисунку вообще всей российской истории, начиная с XVII и по наше время, выведенные им когда-то теоретические ее формулы.

Например — из лекции XLI:

«Едва ли в истории какой-либо другой страны влияние международного положения государства на его внутренний строй было более могущественно» (III, 12).

Или — из лекции LXVIII:

«В жизни государств внешние войны и внутренние реформы обыкновенно не совмещаются, как условия, взаимно противодействующие. Обычно война — тормоз реформы, требующей мира. В нашей истории действовало иное соотношение: война с благополучным исходом укрепляла сложившееся положение, наличный порядок (например, хоть победа в войне 1941–1945 гг., не так ли? — И.В.), а война с исходом непристойным вызывала общественное недовольство, вынуждавшее у правительства более или менее решительную реформу, которая служила для него решительной переэкзаменовкой. <...> Так успехи внутренней политической жизни приобретались ценой внешних несчастий» (IV, 190).

Набрасывая эту, как он сам ее называет, «схему», Ключевский настаивает: *«в ней заключается существенное значение изучаемого периода (1612–1855, — И.В.), ключ к объяснению его важнейших явлений»* (III, 13–14).

Но разве эта схема не может служить одним из важнейших ключей и к сквозным особенностям последующих этапов исторического развития России?

Или такая, например, формула Ключевского, дающая обобщенную характеристику результатов типичного для России *«неестественного отношения внешней политики государства к внутреннему росту народа»* (выделено ав-

тором — И.В.): «народные силы в своем развитии отставали от задач, ставших перед государством вследствие его ускоренного внешнего роста, духовная работа народа не поспевала за материальной деятельностью государства. **Государство пухло, а народ хирел**» (III, 12, выделено мною — И.В.).

Опять ведь не в бровь, а в глаз любому российскому государству — хоть самодержавному, хоть сталинскому, хоть ельцинскому, хоть путинскому...

И, наконец, такая, подводящая как бы общий печальный итог вечному догоняющему развитию России:

«Вековыми усилиями и жертвами Россия образовала государство, подобного которому по составу, размеру и мировому положению не видим со времен падения Римской империи. Но народ, создавший это государство, по своим духовным и материальным средствам еще не стоит в первом ряду среди других европейских народов. По неблагоприятным историческим условиям его внутренний рост не шел вровень с его международным положением, даже по временам задерживался этим положением. Мы еще не начинали жить в полную меру своих народных сил...» (I, 61; выделено мною — И.В.).

Или, может быть, мы с е г о д н я зажили, наконец, в п о л н у ю м е р у? Не потому ли и в ы м и р а е м?..

4. Плюсы и минусы «догоняющего развития»

Вернемся, однако, из путешествия по просекам и тупикам «догоняющего развития» к нашей стартовой точке. Напомню повод, в непосредственной связи с которым мы, собственно, и предприняли весь этот не такой уж краткий обзор нашей истории по Ключевскому. Но, как увидим, без него мы просто никак не обошлись бы.

Напомню, что мы начали с известной формулы А. Солженицына — «сбережение народа». И обратили внимание на то, что Солженицын отлично понимает, конечно же, насколько не «по рангу», что ли, даже такой важной задаче, как «сбережение народа», полноправно именоваться нашей национальной идеей. И однако же его почему-то явно тянет обозначить ее иной раз все-таки именно так. Почему же? Не потому ли, невольно возникает параллель, почему и вообще вся русская мысль последних двух по крайней мере веков проявляет совершенно очевидную склонность обсуждать едва ли не всякую конкретную историческую задачу, встающую перед Россией, почти непременно в том же высоком регистре *национальной идеи*, никак не меньше?

Откуда же эта склонность? Что питает ее?

Да вот именно то и питает, что, как уже было сказано, за всей этой как будто бы очевидной терминологической путаницей — или, по крайней мере, неряшливостью — скрывается как раз очень серьезная и очень важная, остро насущная для России *объективная историческая проблема*. Будь иначе, разве получила бы эта удивительная наша завроженность «русской идеей», «особым» нашим путем, нашей «уникальностью» и т.п. такую власть над нашей общественной мыслью? Ведь эту упрямую российскую нашу привычку никак, конечно, не объяснишь лишь какой-то инфантильностью, недостаточной интеллектуальной выучкой и воспитанностью типового интеллигентского русского ума, его неистребимым провинциально-комплексным пристра-

стием к пафосному глаголению. Этого, правда, тоже от нас не отнимешь, ибо какое же русское сердце, ущемленное вечной своей непрезентабельностью перед лощеным благообразием цивилизованного европейца, не испытает хотя бы минутного соблазна утешиться тем, что зато, де, у России великая мировая миссия быть главным светочем истинной веры (православной ли, коммунистической ли, но равно обеспечивающей ей первое место в мире)... Или что у нее вообще абсолютно свой, совершенно особый способ исторического бытия, своя особая статья, никаким общим аршином никакого западного рации не измеряемая и суду его не подвластная... Сколько доморожденных идеологических тараканов подобного типа, пытающихся вести свою родословную от великой славянофильской традиции, но взрощенных, однако, и не без гуманитарной западной помощи, начавшей поступать к нам еще из роковой для нас духовной кормушки немецкого философского романтизма, оставило неизгладимый след своего посещения даже в самых незаурядных порою русских головах, не говоря уж об интеллигентской, вернее образованческой поспе! Тут и вечно воняющий на нас, веками гниющий в своем цивилизационном шоколаде безбожный Запад, и перманентный заговор всего мира против России, и жидо-масонские антирусские козни, и высшая призванность России к построению на Земле спасительной православно-мусульманской резервации, такого российского евразийского гетто, и гордое упование даже тем, что русский человек способен быть и разбойником, и святым, но, слава небесам, не способен быть честным — всего лишь заурядным носителем этой пошлой буржуазной добродетели...

Да, подобного рода бреда у нас хватает с избытком.

Но ведь и вся эта чудовищная, нелепая, фантастическая ахинея, не способная как будто бы выдержать ни малейшего соприкосновения со светом хоть разума, хоть веры, тоже никак не могла бы, конечно, произрасти на одной лишь сугубо субъективной психологической почве. А сегодня — превратиться еще и в очень хорошо продающийся на всякого рода телевизионных и прочих поп-ток-шоу идеологический товар, который умело сбывают с рук всякого рода коммерческие наши «патриоты» откровенно мошеннически-цинического извода — идеологические и политические прохиндеи типа А. Проханова или В. Жириновского. Не забудем к тому же, что это ведь именно на их «рейтингах», на их козырных физиономиях, нещадно, в хвост и в гриву эксплуатируемых на всех смотровых площадках нашего телевидения, столь же успешно набирают свой политический и не только политический жирок и столь же коммерческие либералы-правдолюбцы типа Владимира Соловьева, Владимира Киселева или Андрея Малахова...

Нет, в том-то ведь весь и секрет, что мародерство процветает там, где есть что пограбить. В том-то и секрет, что и вся эта псевдопатриотическая мифология, и разнобразная на ней коммерция держатся только тем, что паразитируют на действительно существующей, реальной проблеме, чрезвычайно для России важной и острой. И вот к ней-то, к отчетливому осознанию ее очень серьезного объективного содержания, как раз и подводит нас историческая концепция «догоняющего развития» России.

Дело в том, что процесс «догоняющего развития», в который мы, по Ключевскому, оказались сначала вброшены неблагоприятным стечением

исторических обстоятельств (250 лет татарщины), а затем успешно задерживались в нем великой мудростью наших самодержавных управителей, — процесс этот, сколь ни дорого он нам обошелся, никак нельзя назвать тем не менее одним лишь историческим нашим проклятием.

Да, с одной стороны, на протяжении нескольких веков он и вправду воспроизводил себя все время как некое поистине сплошное, просто-таки роковое какое-то наше несчастье. Мы никак не могли и до сих пор не можем выбраться из этой неостановимой обреченности быть все время в положении страны, вечно догоняющей ушедший вперед Запад. Ибо мало того, что мы оказываемся все время крепки, что называется, лишь задним умом — причем до постыдного буквально: только тогда, когда нам действительно дают как следует под зад. Нет, даже и задним-то умом (как все время тычет нас носом наша «догоняющая» история) мы не так уж, выходит, и крепки, если все время доводим себя до того, чтобы опять непременно дожидаться очередного пинка извне и лишь тогда судорожно начинать очередной рывок «вдогонку». Причем рывок по неизбежности опять лишь наскоро, наспех — вместо того чтобы взяться за ум и найти, наконец, путь, который способен был бы избавить страну от этой судорожной горячки, все более ее выматывающей.

Да, все это так.

Но ведь, с другой стороны, тот факт, что на протяжении нескольких веков мы все время оказывались вынужденными как-то догонять ушедшие вперед европейские народы, — факт этот, согласимся, постоянно открывал перед нами и совершенно особые, в высшей степени перспективные возможности нашего исторического развития.

В самом деле, — разве мы, отставшие от Запада — и отставшие на очень порядочную историческую дистанцию, имели так уж мало времени и возможностей с полной трезвостью разглядеть и оценить величину этой дистанции, ее весомость? Особенно — имея за собственными плечами тот все более нараставший опыт, который неопровержимо доказывал: все наши попытки догнать Запад *наскоро*, всего лишь простым *перехватыванием* у него того, что вырабатывалось там долгим историческим вызреванием, в большом историческом масштабе практически бессмысленны. Они ведут лишь к новому возникновению все той же ситуации, когда опять придется судорожно предпринимать что-то наспех.

Это — во-первых.

Во-вторых же, осознав это, мы вполне могли, следовательно, осознать и то, что действительно прочно и надежно сравняться с ушедшим Западом размером своих материально-организационных возможностей и сил мы сумеем только при одно неперменном условии. Только в том случае, если и сами окажемся способны пусть и ускоренно, но все-таки реально пережить весь тот органический процесс развития народной жизни в ее социальном, политическом и экономическом движении, в результате которого и были обретены Западом такие опасные и такие лакомые для нас цивилизационные его успехи.

В-третьих, держа перед глазами уже пройденный другими исторический путь, мы всегда имели возможность взглянуть на него свежим взглядом со стороны и оценить отнюдь не только его положительные, устраивающие нас и желательные нам результаты. Мы всегда могли трезво разглядеть и те

или иные явно злокачественные новообретения, и те или иные очевидные издержки и потери, понесенные народами Запада в результате пройденного ими пути. А значит — всегда имели полную возможность и поразмыслить над тем, какими же именно факторами пережитого исторического процесса были вызваны эти досадные утраты и отрицательные последствия. И как можно было бы попытаться их избежать.

И в четвертых: осознав все это и догадавшись, наконец, что нам, если мы действительно хотим догнать ушедших вперед, неминуемо придется для этого в чем-то главном повторить их путь вживе, а не наспех, разве мы не получали реальную историческую возможность попытаться как-то и учесть на этом пути ошибки тех, кто прошел по нему раньше нас? И пройти-таки его более успешно? Другими словами, разве не было у нас всегда возможности обратить свое *отставание* в свое *преимущество*, свой исторический *проигрыш* — в свой *выигрыш*?

Вот, стало быть, какова вторая сторона той медали, которая называется нашим «догоняющим развитием». Ибо если на лицевой, видимой ее стороне, наша непрезентабельная «догоняющая» реальность, то на второй, невидимой, — перечень наших упущенных выигрышей. И вот эта-то, тоже вполне реальная сторона нашей догоняющей исторической судьбы как раз и заставляет понять, почему при всей чудовишной глупости наших типичных российских завываний о *собственном, особом пути* — это проблема для России вовсе не надуманная, не пустая.

Да, она становится не надуманной, не пустой только в том случае, когда мы перестаем, обманывая себя, тешить себя сказкой, что для нас, страны, существующей (и претендующей существовать) на арене европейского (а теперь и мирового) международного сообщества, страны, вписанной в единую мировую систему неотменимых хозяйственных взаимосвязей и взаимозависимостей, возможно какое-то совершенно особое, совершенно иное какое-то, чем у других, внутри всего этого бытие. Что мы можем начисто презреть те универсальные законы экономического и хозяйственно-организационного цивилизационного роста, которые основаны, по неплохой формуле хоть того же Ключевского, на выявлении все новых и новых потенций «*свободного труда*» и которые движут всем миром.

Но если мы свободны от этой дурости, то никак нельзя не признать, что у нас, догоняющих, всегда была и всегда есть возможность найти в этом общем движении наиболее продуктивный, безболезненный, более разумный и верный, чем у других, и в этом смысле действительно *свой, особый* путь — путь, разумно учитывающий как явные чужие просчеты, способные быть нам хорошим уроком, так и устойчиво сложившиеся к данному историческому моменту особенности нашего собственного национального бытия.

Вот почему при всей бессодержательности таких же амбициозных наших завываний о совершенно уникальном мессианском жребии и судьбе России, никак нельзя не признать и то, что наша история на протяжении трех последних своих веков действительно предоставляла-таки нам своим догоняющим характером совершенно удивительные возможности исторического развития — возможности пусть и не абсолютно уникальные, но в

истории крупнейших европейских стран и в самом деле редко кому выпадавшие. Возможности, действительно позволявшие и позволяющие нам, русским, обрести, наконец (если только трезво их увидим и реализуем), то внутреннее право, которого мы, при всей нашей комплексной заносчивости, так давно и так страстно втайне жаждем, — право действительно спокойной, уверенно и достойно смотреть в глаза любим, даже самым продвинутым в своих материальных цивилизационных успехах, самым благополучным и самым социально добротным и справедливо устроенным в своих национальных домах соседям нашим по планете.

Все это — действительно ведь отнюдь не традиционные наши миражи и мифы утешительно-успокоительного для нашей национальной комплексности происхождения, а живая, действительно возможная реальность, стоит только ее разглядеть и проявить волю к ее бытию. Разве не об этом постоянно и свидетельствует пройденная нами история, разве не к этому постоянно и призывает? *Ведь ее догоняющий характер — это вовсе не фатум наш, не рок, а лишь постоянный нам вызов.*

Так что же и кто, спрашивается, мешал нашей хваленой русской государственности, мощью которой так любит кичиться безмозглый патриотизм наших нынешних «державников», так ничему и не научившихся у собственной истории, постараться обратить наш нелегкий исторический жребий в наше преимущество и выигрыш?

Но нет, *государственная* наша Россия, если воспользоваться едкой образностью знаменитых строчек Петра Вяземского, как была, так и продолжала оставаться физически — Федорою, а нравственно — дурой, ибо «*что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим враспяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст*»?..⁶ Но мы продолжали лежать и лежать, потому что отчего же и не лежать, если даже и без корешков, благодаря одним только вершкам, перехваченным у Европы и оснастившим нашу необъятную армию, государственная Федора наша обрела такую военную мощь, что, как фиксирует Ключевский, уже с Полтавы начиная (то есть уже при Петре!), почувствовала себя в состоянии перейти от оборонительных войн, которые приходилось нам вести раньше, почти исключительно к завоевательным? За кои и принялась со всем тем размахом, что обеспечивали ей (вспомним опять Вяземского) бесчисленные армейские ее «машины». Ключевский недаром ведь говорит, что до Александра II в нашей истории нового времени он видит, в сущности, только одного государя, которого действительно можно назвать *историческим деятелем*, — Петра I. Потому что он единственный был исторически действительно адекватен своей эпохе — и тем, что не замедлил сделать для России именно то, что было ей неотложно тогда необходимо (промедление XVI века — не его вина), и тем, что сделал действительно все, что мог, потому что на большее у него просто не было отпущенного ему времени, даже если бы он и способен был понять, что гигантские реформаторские его усилия не только не решили и не могли решить проблему отставания России сколько-нибудь кардинально, но задали его преемникам историческую задачу такой взрывной силы, что после него ее

⁶ Вяземский П.А. Из записных книжек. М., С. 146–147.

нужно было решать уже незамедлительно⁷. А что сделали с этой крепостнической квадратурой круга российской жизни его «недостойные приемники и приемники» — от сверкающего квартета царственных дам, чередой взбравшихся на российский трон (не избежала этой жесткой аттестации Ключевского и «великая» Екатерина) и до Павла I, Александра I и Николая I? С уничтожающей оценкой Ключевским их исторической мудрости, проявленной характером их забот о благе и развитии русского народа, мы уже знакомы — как и с горькими его суждениями о печальной незрелости великих реформ Александра II и о том, до какой степени бездарно было в этом отношении правление и Александра III, и особенно Николая II, доведших Россию сначала до Цусимы и революции 1905 г., а потом и до февраля 17-го, который практически был просто обречен сорваться в октябре. Этого, правда, Ключевский уже не застал, но зато застал Александр Солженицын, написавший в 1994 г. свой отчаянный «Русский вопрос в конце XX века», стержневая мысль которого таким удивительным и, конечно же, совсем не случайным эхом вторит оценкам Ключевского. И, оглядываясь на пройденный нами путь, никуда не уйдешь от того, что за исключением обнадеживающего рывка пусть даже и поспешных, незрелых, но действительно существенных реформ Александра II (никак не подхваченных, однако, должным образом его преемниками) и столь же обнадеживающих начинаний нашего государственного гения Петра Столыпина (тоже после его рокового для России убийства очень быстро заглохших) все развитие России после Петра оказалось, в сущности, всего лишь непрерывной дорогой именно к Октябрю 1917 г. Причем несмотря на всю приоритетность для ее самодержавия международно-жандармских и имперски-военных амбиций, оно не смогло обеспечить себе даже то, ради чего оно больше всего, собственно, и старалось. Ведь и после 1861 г. России не раз приходилось убеждаться в том, что уже в 1831 г. не было секретом для П. Вяземского, заметившего после подавления Польского восстания в 1830 г., что «нам с Европою воевать была бы смерть».

Увы, оказалось — не только с Европой, объединившей свои силы против нас во время Крымской войны, но и с Японией, и с Турцией, и, наконец (даже и в союзе с остальной Европой), против одной Германии...

Да, как ни горько признать: свой уникальный исторический шанс наша российская государственность бездарно упустила. А благодаря ей — и Рос-

⁷ И как же далек здесь, увы, и от Ключевского, и от Пушкина, от мудрой объемности их не менее острого, чем у него, исторического нравственного чувства наш Солженицын, столь близко совпадающий с Ключевским в оценке общего тока русской истории, лишь непрерывно обессиливавшей народ. Но он так не сумел увидеть и понять, что в череде российских императоров одного лишь Петра история освободила от обвинения в неверно использованной и тем упущенной возможности — не перехватывать у Европы технические средства и силы, а начать мудро перестраивать самую органику российской жизни. Нет, по Солженицыну выходит, что все дело оказывается, не в жестоком диктате безвыходной для государства исторической ситуации, а в том, что «Петр заурядный, если не дикарский ум», который «не возвысился до понимания того, что нельзя переносить (с Запада) отдельные результаты цивилизации и культуры, упустя ту психическую атмосферу, в которой они (там) созрели» (П-1, 619).

сия. И это не чья-то пристрастная оценка. Это объективный исторический факт.

Вот тот *первый* вывод, в котором нам нужно трезво отдать себе отчет, если только мы действительно хотим извлечь уроки из нашей истории.

5. «От мысли до мысли»...

А между тем необходимость решения проблемы догоняющего развития не лихорадочными рывками, а глубинно, отыскивая для этого свой, органичный для страны *особый* путь, — необходимость эта вовсе не была такой уж непосильной для русского ума загадкой.

В самом деле, — ведь на что же еще, если не на поиски ее решения, и был потрачен такой громадный запас интеллектуальной энергии и страсти — нет, не государства, но русского общества, его высшей культурной элиты, очень рано, еще в XVII в. сумевшей внять этому главному вызову своей истории? Князь Щербатов и Николай Новиков, Радищев и Карамзин, Чаадаев и Пушкин, Грибоедов и Вяземский, западники и славянофилы 40-х гг., либералы, радикалы и почвенники 60-х, Чернышевский и Аполлон Григорьев, революционное и земское народничество 70-х и 80-х, Достоевский и Толстой, С. М. Соловьев и В. Ключевский, Вл. Соловьев и Н. Данилевский, «веховцы» и марксисты, — чем же еще, если не этой стержневой российской проблемой, и была более всего озабочена, переполнена и терзаема их социальная, политическая, культурологическая, историософская и метафизическая мысль о России, их ожесточенные споры и дискуссии о ее судьбах, составившие едва ли не важнейший ландшафт интеллектуально-духовной жизни страны на протяжении не менее чем полутора веков?..

Все это была, несомненно, самая непосредственная, самая прямая рефлексия нашего российского общественного сознания именно на ту главную, крупнейшую историческую задачу, которая все время стояла перед Россией и от которой чуть ли не на каждом конкретном этапе исторической ее жизни так трусливо и бездарно отводила свои глаза, не желая видеть ее реального содержания, государственная наша власть.

Можно ли, однако, сказать, что, в отличие от нашей государственности, хотя бы наша русская мысль и ее носительница, русская наша интеллигенция, с в о й уникальный исторический шанс не упустили?

Это сложный и трудный вопрос. И он, при всем как будто бы изобилии литературы, посвященной истории нашей общественной мысли, еще только ждет, в сущности, своего изучения. И даже просто постановки — в той ясной, четкой и прямой форме, которая требует такого же ясного, четкого и прямого ответа: можно ли сказать, что по отношению хоть какому-то моменту нашей истории, пусть и поздно и пусть хотя бы на уровне только теоретических еще прикидок, но мы все-таки поняли, чего реально она от нас требует, и все-таки выработали искомую историческую программу, более или менее убедительную и реальную — программу нашего *особого пути*, реального и достойного выхода из бесконечного тупика нашего догоняющего развития?

Повторяю, — это очень трудный и сложный вопрос, и на него вряд ли возможен какой-то однозначный ответ. Во всяком случае, уже просто для

того, чтобы хотя бы как-то двинуться к его реальному разрешению, нам придется сначала самым внимательнейшим образом, очень обстоятельно сопоставить историю этих исканий с параллельным им ходом реальной российской жизни, — и с ее реальным экономическим, политическим, социальным, ментальным и т. д. состоянием и с тем, что предпринимала в это время административная, управленческая и реформаторская созобразительность нашей всеохватной государственности. А эта интереснейшая, одна из самых, на мой взгляд, увлекательных тем нашей истории, в высшей степени перспективная для трезвого и объемного ее понимания, тоже только ждет ведь еще, к сожалению, своего пристального исследователя, современного преемника великой методологической традиции Ключевского.

Но сумела или не сумела русская мысль адекватно ответить на вызов своей истории, а то, что она его услышала, приняла и самоотверженно пыталась на него ответить, — это все-таки и в самом деле несомненно. И выразительнейшим подтверждением этому как раз и служит та характерная особенность восприятия ею насущных проблем развития России (связанных именно с «догоняющим» типом ее истории), которая была нами специально отмечена — ее явная склонность рассматривать эти проблемы почти непременно в масштабе не меньшего уровня, чем масштаб *национальной идеи*. Хотя, повторяю, все эти русские наши споры и обсуждения, о которых идет речь, вовсе не имели как раз своим прямым предметом уяснение «национальной идеи» страны в том высшем и, в сущности, единственно точном религиозном содержании этого понятия, когда оно означает общий и высший смысл существования нации в истории. Нет, все эти поиски и споры, прошедшие через весь XIX и весь XX века, были стимулированы очень важной, кардинально для России важной, но все-таки, конечно же, проблемой куда более ограниченного исторического масштаба, куда более все-таки скромной, исторически-конкретной: объективно-насущной для России задачей выхода ее из изматывающей нескончаемой судороги поспешного, наскоро, догоняющего развития.

Но ведь в том-то и дело, что эта исторически вполне конкретная, локальная, а вовсе не вневременная задача была, как это давно и было нами уже отмечено, задачей отнюдь и не узко-практической, не технологической, — задачей, никак не решаемой всего лишь перениманием у Запада каких-то отдельных средств и успехов, простым пересаживанием к себе тех или иных внешних форм организации жизни в стране. На каждом этапе нашей догоняющей истории мы стояли перед объективной необходимостью преодолеть настолько значительную историческую дистанцию, на которую ушел вперед Запад, что преодоление ее могло произойти лишь при условии очень крупных *структурных* перемен — перемен в самом строе российского общества, в самом качестве его жизни. Сначала это была прежде всего крепостническая «квадратура круга», затем — катастрофический разрыв между властью и обществом, все нараставшее напряжение между пробудившейся самостоятельной энергией народа и сдерживающей нормальное, эволюционное гражданское развитие страны самодержавной уздой. А это и значит, что всегда, в любой момент нашей истории, речь шла о необходимости для страны обрести именно *качественно новый облик* — иное, новое лицо и природу.

Но ведь такие перемены всегда связаны с переменами и в самой системе исторических ценностей, в смене *ценностных ориентиров*. А система ценностных ориентиров — это уже область фундаментальных историософских и нравственно-метафизических с м ы с л о в. То есть та самая область, к которой и принадлежит как раз проблема «национальной идеи» как высшего смысла пребывания той или иной нации в истории. Об этом, напоминая еще раз, достаточно подробно говорилось в предыдущем Дневнике, так что повторяться на этот счет нет, надеюсь, никакой надобности. Как нет, видимо, необходимости сколько-нибудь подробно разъяснять и то, что вызов, который постоянно обращала к нам, к нашей мысли, догоняющая история России, всегда состоял, стало быть, в том, чтобы мы продумали и обосновали предстоящий нам этап нашей качественно новой исторической жизни с точки зрения именно таких — высших, фундаментальных историософских, социальных и нравственных общественных смыслов и ценностей. Другими словами, от нас всегда требовалось выработать определенную целостную, концептуальную и д е ю страны — идею ее предстоящего принципиального устройства и образа жизни. Пусть не вообще, не навсегда, но все же на какой-то достаточно длительный исторический срок.

Так почему бы, собственно, и не отнестись к необходимости реализации *такой и д е ю* страны как к нашей насущной исторической *национальной задаче* — к нашей *национальной идее*? Пусть тоже не вечного, но все же достаточно крупного исторического захвата?

Вот почему рядом с термином «национальная идея» в том высшем его содержании, в каком употребляет его, например, Вл. Соловьев, русская мысль уже в XIX в. начинает обживать этот термин и в ином, менее масштабном, но все же достаточно органичном, оправданном звучании — *наша насущная крупная историческая задача, наша насущная национальная идея*. Тем более что определенная область соприкосновения, некое общее смысловое поле у этих понятий действительно существует — как существует и определенная иерархическая взаимозависимость.

Правда, эта обязательная связь открывается лишь религиозному мировоззрению, в пространстве которого, вообще говоря, только и может размещаться область общих безусловных смыслов — смыслов и отдельного, и совместного, и национального бытия. Но именно для такого мировидения эта связь не только открыта, но, в сущности, даже и обязательна к осознанию.

Вот почему в работе русской мысли, занимавшейся формулированием нашей «национальной идеи» как нашей ближайшей крупномасштабной исторической задачи всегда такое большое и страстное участие и принимала именно *христианская* мысль — начиная со славянофилов и кончая Вл. Соловьевым и авторами знаменитых «Вех». И вот почему в русле именно этой работы и было, напомним, выработано (Вл. Соловьевым) такое принципиально важное для христианской мысли понятие, как *христианская политика*, — понятие, как раз и предполагавшее, что христианин не только может, но и должен заботиться о том, чтобы вся жизнь общества, в котором он живет, была предельно ориентирована и структурирована высшими христианскими ценностями. В том числе и тем более — в периоды таких исторических перестроек, какая России неминуемо предстояла со времен Петра.

Здесь, конечно, опять уместно поставить прежний наш вопрос, заданный всей нашей русской мысли, искавшей выход из давнего российского тупика. А *христианская* мысль — справилась ли, и насколько успешно справилась *она* с этой задачей?

И вот здесь, так же твердо настаивая, что ответ и на этот вопрос столь же сложен и вряд ли может быть однозначен, никак тем не менее невозможно обойти тот факт, что в смысле реального исторического *результата* и наша христианская мысль, и наша Церковь, и все политическое движение, более или менее ориентированное христианскими ценностями человеческого и общественного бытия, свой бой за Россию, конечно же, начисто проиграли в 1917 г.

Вот **второй** важный вывод, который мы обязаны, на мой взгляд, трезво осознать и принять, подводя итоги нашему вторжению в тему «догоняющего развития». Ведь оно было предпринято, как трудно понять, вовсе не потому, что тема эта уже и сама по себе, в чисто академическом, так сказать, плане чрезвычайно любопытна. Конечно же, она важна нам прежде всего своей обращенностью к нашему сегодняшнему дню. Сегодня вряд ведь ли нужно хоть одному здравомыслящему человеку доказывать, что Россия по-прежнему отнюдь не преодолела еще своего отставания от цивилизованного западного мира, что мы отнюдь не выбрали еще, конечно, свою новую историческую дорогу, что страна наша вся еще перед необходимостью заново и всерьез себя осмыслить, вся еще на перепутье. Потому что нельзя же ведь считать нашей дорогой ту, на которой мы, по верному слову Солженицына, *«создаем жестокое, зверское, преступное общество — много хуже тех образов, которые пытаемся копировать с Запада»* (П-1, 695).

Но если это так, это значит, что опять особая и тягчайшая ответственность за то, сумеет ли Россия, заново и всерьез себя осмыслив, выбраться, наконец, на верную историческую дорогу, падает именно на современную христианскую мысль России. Недаром и Солженицын — еще в «Письме вождям Советского Союза» (1973 г.!) — не остерегся когда-то впрямую выразить: *«Сам я не вижу сегодня никакой живой духовной силы, кроме христианской, которая могла бы взяться за духовное исцеление России»* (НВД, 179).

Но из этого, в свою очередь, следует, что всем нам, кто это сознает и от этой ответственности не бежит, крайне важно извлечь все необходимые уроки из того реального исторического поражения, которое потерпело русское христианство в прошлом, в 1917 г.

Да, уроки эти тоже многообразны, они тоже требуют многостороннего и конкретного к себе подхода, и это тоже специальная, многоаспектная, огромная тема. Но разве, по крайней мере, два из них не настолько очевидны, чтобы мы могли зафиксировать их уже и здесь?

В самом деле, — разве не очевидно, что то, что произошло в Октябре 1917 г., никогда не произошло бы, если бы в России существовало такое мощное христианское общественно-политическое национальное движение, которое пользовалось бы поддержкой большинства ее населения? И что эта поддержка была бы возможна только при условии (понятно — не единственном), если бы это движение было вооружено такой абсолютно внятной, отчетливо ориентированной именно христианскими ценностями добра, любви к ближнему, человеческой солидарности и справедливости и вместе с тем совер-

шенно конкретной политической, экономической и социальной программой, которая удовлетворяла бы тогдашним справедливым общественным ожиданиям России, вконец загнанной своим правителями. Ведь то, что это так, как раз и доказал Октябрь 1917 г., который тем ведь и увлек за собою в кошмар атеистического казарменного коммунизма миллионы и миллионы россиян, что обманным перехватом проэксплуатировал как раз именно те лозунги социальной справедливости, которые должны были бы быть написаны на знаменах *христианской политики*. В результате опять не мы поучились на уроках Запада, как это могло было бы быть, а наоборот: именно Запад, где после Октября началась такая мощная социализация жизни и возникло такое влиятельнейшее движение, как *христианская демократия*, — извлек очень много полезного из нашей исторической катастрофы.

Так вот — разве такая конкретная программа истомого плодотворного христианского преобразования России у нашего дореволюционного христианства имела? Да ведь как ни глубока была метафизическая мысль Вл. Соловьева, Н. Бердяева или С. Булгакова, она задавала ведь только общие, теоретические параметры разрешения проблемы! Но была очень еще далека от столь насущно важной для тогдашней России программной конкретности. А как ни конкретны и даже ни верны были те или иные пункты кадетской или эсеровской программ, они никак или почти никак не соединялись, в сущности, с той необходимой духовно-ценностной своей обоснованностью, какую им могла дать только метафизическая мысль русской религиозной философии конца XIX — начала XX вв. У нас *«от мысли до мысли пять тысяч верст»*, с отчаянием писал когда-то П. Вяземский. Вот то-то и оно, что пять тысяч верст пролегли у нас когда-то, накануне столь рокового для России Октября 1917 г., и от мысли метафизиков до мысли политиков...

Но, стало быть, не менее очевидно должно быть для нас и то, что и сегодня все наше современное христианство окажется по отношению к реальным историческим судьбам России скорее сторонним наблюдателем, чем реальным участником их формирования, если не возникнет и не возрастет у нас мощное общественное движение именно того типа, которому на Западе давно и дано уже имя *христианской демократии*. И которого у нас до сих пор, к сожалению, так пока толком и не появилось.

А с чего же и начинаться такому движению, если не с выработки прежде всего своей принципиальной программы?

И вот это и есть тот *третий* и последний важный вывод, который мы обязаны, на мой взгляд сделать из всего того, что с нами происходило, начиная с XVI в., и происходит сегодня. Наша сегодняшняя христианская мысль должна озаботится выработкой ясной, четкой, конкретной программы такого обновления России на неизведанном и так плохо начавшемся еще пока новом историческом ее пути, которая была бы программой ее *христианского обновления*. Это ее неотъемлемый национальный долг.

И вот тут мы и возвращаемся, наконец, к тому, с чего начали. К Солженицыну. К его «сбережению народа». И шире — к его знаменитой, но так по-настоящему и не обсужденной еще программе «обустройства» России.

В самом деле, — ведь что же и представляет собою его брошюра «Как нам обустроить Россию», если не попытку предложить сегодняшней России

такую программу ее реформирования, которая и ориентирована прежде всего как раз на *христианские* ценности?

Да, работа эта, как, надеюсь, хорошо помнят все, кто ее читал, очень разнообразна, очень сложна по своему составу. В ней много уровней и множество проблем, предложенных к обсуждению — и как строить отношения с нашими ближайшими соседями, бывшими республиками Советского Союза, и как быть с проблемой многих миллионов русских, оказавшихся там, и как организовать систему выборов в наши государственные органы, и какими могут быть сами эти органы нашего государственного устройства, и т. д. и т. п.

Но напоминаю: ведь все это у Солженицына — лишь предлагаемые к дискуссионному обсуждению конкретные способы и формы реализации тех двух *главных, основополагающих* принципов, которые должны быть заложены, с его точки зрения, в основание новой России и на которых он постоянно, при всяком удобном случае настаивает. И не только в «Обустройстве».

«Мы должны строить Россию нравственную — или уж никакую, тогда и все равно» (П-1, 702).

Вот первый из этих принципов, вытекающий из того, что *«источник силы или бессилия общества — духовный уровень жизни, а уж потом — уровень промышленности. Одна рыночная экономика и даже всеобщее изобилие — не могут быть венцом человечества. Чистота общественных отношений — основной, чем уровень изобилия!»* (НВД, 385–386). И какой же еще этот основополагающий для Солженицына принцип нашего искомого российского жизнеустройства, если не тот, который органичен для него именно как для христианина? И почему же еще он всегда и желает сегодняшней России прежде всего *«нравственного, духовного выздоровления» — «так, чтобы совет у нас оказалась выше экономики и важней экономики»* (НВД, 437)?

И второй фундаментальный принцип — обеспечение *свободы* проявления человеческой воли, участвующей в построении общества. Это тоже ведь чисто *«христианский взгляд»* (П-1, 701). Потому что только свободным человеческим усилием становится животворным любой нравственный выбор — человека ли, многих ли людей осуществляющих свою свободу как гражданское общество. Вот почему так много и говорит Солженицын все время о земстве — о демократии *«с н и з у, с м е с т»*. Прав он или не прав, так упирая именно и почти исключительно на земство, — это вопрос конкретной формы, которая требует, конечно, обсуждения. А вот существо темы — очевидно и вряд ли оспоримо.

Итак, высказанная не однажды и не только в одноименной работе солженицынская программа обустройства России — это, конечно, попытка наметить и сформулировать то *генеральное* направление, в котором должны, на его взгляд, формироваться принципы новой России, именно как направление ее *христианского* развития.

Но ведь в то же время это программа, формулирующая не только генеральные принципы такого ее развития. Это попытка еще и достаточно детальной программной *конкретизации тех форм*, в которых, на его взгляд, могут быть реализованы эти генеральные принципы. Другими словами, перед нами набросок именно той конкретной программы современной российской христианской политики, которая нужна нам сегодня как воздух и од-

ним из концентрированных обобщений которой как раз и стала у Солженицына его формула духовного и физического *сбережения народа*. Конечно, это набросок очень еще черновой, приблизительный, во многом — от проблемы партий и организации земского самоуправления до отношений с бывшими советскими республиками — достаточно спорный. И потому требующий очень серьезного обсуждения.

Но, во-первых, и сам Солженицын всегда подчеркивал, напоминая, именно такой, предварительный характер своей программы, ее открытость к самому широкому обсуждению. А во-вторых — согласимся, что пока что это все еще и единственный, в сущности, проект, реально пригодный для такого обсуждения. Но так ведь пока этого обсуждения и не дождавшийся. Я хорошо помню вытянутые физиономии наших либералов из Государственной Думы, когда они слушали речь Солженицына, в которой он пытался донести до них то, что сказал не только в «Обустройстве», но что много раз говорил, уже и приехав в Россию. Похоже, они просто не понимали (не способны были понять?) — о чем это он? Какая там нравственность, какое земство, какие духовные *основы*, когда нужно думать о законах макроэкономики, о рынке, о скорейшей приватизации — и т. д. и т. п.?!..

Так вот — у «Континента» не такой уж большой тираж, и по своим информационным возможностям он, что называется, и рядом не стоит с нашими мощными медийными монстрами. Но ведь с чего-то надо начинать. А мы действительно готовы предоставить его страницы и для такого обсуждения солженицынской программы, и для дальнейшей выработки той программы, которая могла бы быть предложена обществу как реальный и продуманный путь к современной Свободной Христианской России. Хорошая ведь формула нашей сегодняшней «национальной идеи» — не правда ли? О ней тоже, кстати, говорилось — и достаточно внятно (например, Андреем Зубовым) — на нашей конференции в 2005 г.

Но для того, чтобы она превратилась в конкретную программу развития страны, требуется еще очень большая совместная работа и политиков, и экономистов, и социальных психологов, и историков, и правоведов, и международных, способных каждый в своей области оценить нынешнее состояние России именно с позиций основополагающих христианских принципов. И предложить реальные конкретные меры их практической реализации в сегодняшней секулярной России.

Так, может быть, проснемся, наконец, братья-интеллектуалы-христиане-интеллигенты?..

Корректоры

А. З. Лазуткина, Ю. Н. Маслов

ЛР № 066469

Подписано в печать 10.04.2007. Формат 60х90/16. Бумага типографская.

Гарнитура «Таймс». Печ. л. 32,00. Тираж 2500 экз.

Заказ № 692

Электронный вывод и печать в ППП «Типография «Наука»

121099, Москва, Шубинский пер., 6

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

«КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.

Наши подписные индексы

71682 (годовая подписка), **73218**

и 18047 (льготный для библиотек)

в красно-бело-синем каталоге «Роспечати»

В помещении редакции «Континента» (ул. Плющиха, 27, кв. 1) можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.

В редакции «Континента» можно приобрести также отдельные номера журнала прошлых выпусков.

В МОСКВЕ журнал «Континент» продается в книжных магазинах:

“AD MARGINEM” – 1-й Новокузнецкий пер., 5/7; тел. 951.93.60

“КНИГА” – Нижняя Радищевская, 2; тел. 915.27.97

**КНИЖНАЯ ЛАВКА ПРИ ЛИТИНСТИТУТЕ –
Тверской б-р, 25; тел. 202.86.08**

**ЖУРНАЛЬНЫЙ КИОСК “НОВОЙ ГАЗЕТЫ” –
Страстной бульвар, 8**

**“ПИРОГИ” – Б. Дмитровка, 12; тел. 229.34.53 и
Никольская, 19/21; тел. 921.58.27**

“ПРОЕКТ ОГИ” – Потаповский пер., 8/12 стр. 2; 927.56.09

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА “ЗНАМЯ” – Б. Садовая, 2/46; тел. 299.52.83

**СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ книжный киоск –
ул. Покровка, 29, офис 38; тел. 923.03.80**

“ФАЛАНСТЕР” – Мал. Гнезниковский пер., д. 12/27. Тел. 504.47.95

ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА – Столешников пер., 2; тел. 229.52.62

В РЕДАКЦИИ «КОНТИНЕНТА» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ:

Двухтомник Ольги СЕДАКОВОЙ «Стихи. Проза»

Двухтомник издан издательством «Эн Эф Кью». Издание вышло ограниченным тиражом и состоит из тома стихов (574 стр.), в который включены также и поэтические переводы, и тома прозы (959 стр.), содержащего разделы: заметки и путешествия, эссе, исследования, очерки словесности, воспоминания, вместо заключения (в этот раздел, в частности, включена речь при вручении премии Владимира Соловьёва). Вступительная статья Сергея Аверинцева, художник А. Райхштейн.

Книга Ольги СЕДАКОВОЙ «Музыка»

В книгу, изданную в «Русском мире» в 2006 году, вошли стихи, филологические и религиозно-философские эссе. Книга выпущена в серии «Литературная премия Александра Солженицына».

Книга сестры ЭММАНУЭЛЬ

«Меджугорье, девяностые годы. Торжество сердца»

Издание общины «Беатитюд». Перевод с французского, 284 стр. В книге собраны свидетельства, а также наблюдения и размышления о Меджугорских событиях. Автор — сестра Эммануэль Майар — живет в Меджугорье с 1989 г.

Книга Нелли БИУЛЬ-ЗЕДГИНИДЗЕ «Литературная критика журнала «Новый мир» А.Т. Твардовского (1958-1970 гг.)»

Издание Культурно-просветительского центра «Первопечатник», 439 стр. Докторская диссертация автора, защищенная на факультете славистики Женевского университета. Исследуется творчество ведущих критиков «Нового мира»: В.Я. Лакшина, Ю.Г. Буртина, И.И. Виноградова, А.Д. Синявского в контексте журнальной политики.

Книга Игоря ВИНОГРАДОВА «Духовные искания русской литературы»

Издательство «Русский путь», 2005 г., 672 стр. Автор предлагает галерею масштабных мировоззренческих портретов русских писателей и мыслителей XIX-XX веков от Лермонтова и Писарева до Солженицына и Искандера. Книга обращена к духовным проблемам нашего времени — прежде всего к проблемам того «открытого сознания», которое свойственно современным людям, в подавляющем большинстве своем живущим вне мира религиозной веры. Книга для всех духовно вменяемых наших современников, которые не утратили способности терзаться высшими загадками бытия.

Книга «ХРОНИКА КАЗНИ ЮРИЯ ГАЛАНСКОВА (в его письмах из зоны ЖХ-385, свидетельствах и документах)». Составитель, автор Вводной статьи и комментариев — Геннадий Кагановский.

Книга выпущена издательством «Аграф». Поэт, мыслитель, подвижник Ю. Галансков погиб в мордовском лагере строгого режима в возрасте 33 лет на шестом году заключения. Его письма из-за колючей проволоки, а также другие материалы, сопряженные с кульминационным периодом жизни Галанскова (пребывание под следствием в Лефортовском изоляторе, судебный процесс, лагерные хождения по мукам), позволяют читателю составить представление об этой яркой неповторимой личности, о том времени и о том режиме, которые предопределили его мучительный путь.

Также имеются в продаже

остатки тиража некоторых номеров «КОНТИНЕНТА» с 1993 года

Звоните и приходите!

Тел. 248.62.35 Адрес: ул. Плещиха, д. 27, кв. 1



«КОНТИНЕНТ» № 131, 512 стр., подписные индексы в каталоге Роспечати 73218, 71692
и 18047 (для библиотек)

2007
№1